ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

Советский писатель

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья
Л. И. Левина

Составление, подготовка текста
и примечания
Н. Б. Банк

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1982

Р2
А 72

Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896—1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза. Гражданский пафос, сила патриотизма, высокая культура стиха придают поэтическому наследию П. Антокольского непреходящую ценность.

Настоящее издание является первым опытом научно подготовленного собрания произведений выдающегося советского поэта. Все лучшее из поэтического наследия Павла Антокольского вошло в книгу. Ряд стихотворений публикуется впервые.

А $\frac{4702010200-181}{083(02)-82}$ 418—82

ЧУВСТВО ПУТИ

В двадцатых годах существовало в Москве кооперативное издательство «Узел». В 1926 году оно выпустило — почти одновременно, в одинаковом оформлении и одинаковым тиражом в семьсот экземпляров — книги трех поэтов: Павла Антокольского, Ильи Сельвинского и Владимира Луговского. Антокольскому было тридцать, Сельвинскому двадцать семь, Луговскому двадцать пять. Сельвинский и Луговской выступали с книгами впервые. Поэтический дебют Антокольского состоялся раньше: в 1922 году в Госиздате вышла его книга «Стихотворения».

Сельвинский, Луговской, Антокольский, как и Тихонов, Багрицкий, Мартынов, Светлов, Саянов, Ушаков, Кирсанов, не все были ровесниками, но в равной мере принадлежали к тому поэтическому поколению, которое Антокольский однажды назвал «великим поколением двадцатых годов» [1].

Именно в двадцатые годы во всю мощь звучал голос Маяковского, еще не умолкла песенная муза Есенина, с особой силой раскрылся неповторимый дар Пастернака, тонким лириком показал себя Асеев, со всем пылом революционной молодости заговорили о мире Тихонов, Багрицкий, Светлов. Именно тогда создавалась советская поэзия, формировались ее высокие традиции, которым суждено было продолжаться и в тридцатых годах, и в сороковых — в дни Великой Отечественной войны, — и в послевоенное время, вплоть до наших восьмидесятых.

Антокольский работал в советской литературе без малого шестьдесят лет. Годы бурного подъема — скажем, в двадцатых годах или в первой половине тридцатых — чередовались в его биографии с временем относительно меньшей творческой активности — скажем, в начале пятидесятых. Но теперь, на расстоянии, особенно ясно вид-

---

[1] П. Антокольский, Собр. соч. в 4-х тт., М., 1971—1973, т. 4, с. 134. (В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться сокращенно: Собр. соч., том, страница.)

но, что без него, без его бурнопламенных стихов и поэм, без его мастерских переводов, без его проникновенных очерков о классиках русской и мировой поэзии, а также о современных поэтах, без его поистине традиционной заботы о новых поэтических поколениях невозможно представить себе советскую поэзию. Творческому наследию Антокольского суждена долгая жизнь. Оно вошло в сокровищницу советской литературы.

1

Антокольского принято считать коренным москвичом, да так оно, в сущности, и есть, но родился он все-таки не в Москве, а в «столичном ненастном городе Санкт-Петербурге» [1].

Отец его — Григорий Моисеевич Антокольский — окончил юридический факультет санкт-петербургского университета и работал помощником присяжного поверенного в частных фирмах. (После революции он много лет, вплоть до 1933 года, служил в советских учреждениях, скончался в 1941 году.) Мать — Ольга Павловна — посещала знаменитые Фребелевские курсы.

1 июля 1896 года в семье Антокольских родился первенец, которого нарекли Павлом. Затем состав семьи стал быстро увеличиваться: через год появилась на свет дочь Мария, позже родились Евгения и Надежда. Ольге Павловне ничего не оставалось, как бросить курсы и полностью отдаться воспитанию детей.

В 1935 году, когда Ольга Павловна умерла, Антокольский посвятил ее памяти скорбное стихотворение:

Твой мир — это юность в сыром Петербурге и куча
Сестер и братишек, худых необутых ребят,
Которые учатся рядом и, книгой наскуча,
Всеобщую няньку, большую сестру, теребят.

Твой мир — это мы, твои дети в кроватках, когда мы
Росли, и когда ты была молода, и когда
На пачку ломбардных квитанций, на сумочку дамы,
Не очень зажиточной, смутно глядела беда [2].

(*«Памяти матери»*)

Была в этом стихотворении и такая строка: «Твой мир — это зимы и весны, Некрасов и Чехов». В то время как отец «вечно но-

---

[1] «Советские писатели. Автобиографии в 2-х тт.», М., 1959, т. 1, с. 74. (В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться сокращенно: «Советские писатели», том, страница.)

[2] Произведения Антокольского цитируются в этой статье по первоначальным редакциям.

сился с какими-то планами переустройства своей жизни и судьбы», мать «истово растила и воспитывала четырех маленьких детей-погодков»[1].

В раннем детстве Антокольский больше всего увлекался рисованием цветными карандашами и акварелью. Особенно любил он рисовать голову из «Руслана и Людмилы». Затем ее сменило изображение Ивана Грозного, навеянное, быть может, известной статуей М. М. Антокольского, который приходился родственником будущему поэту. Рисованием Антокольский увлекался впоследствии всю жизнь: он не только сам оформлял свои книги, но писал картины и принимал участие в коллективных выставках писателей-художников.

Ему было восемь лет, когда семья переехала в Москву к новому месту службы отца, ставшего к тому времени присяжным поверенным. Поселились в Большом Афанасьевском переулке, в одноэтажном домике. Вскоре старшие дети — сын Павел и дочь Мария — поступили в частную гимназию Е. А. Кирпичниковой. Учился Антокольский, по собственному признанию, весьма посредственно. Издание рукописного журнала «Призыв», писание стихов, участие в самодеятельных спектаклях (в одном из них он сыграл Перикла), декламация — все казалось ему гораздо важнее учения. Пришлось нанять репетитора. Так в доме Антокольских появился студент Дмитрий Куликов. Его поместили в одной комнате с воспитанником.

В декабре 1905 года в Большом Афанасьевском восставшие рабочие воздвигли баррикаду. Слышалась ружейная и револьверная стрельба. Участники боев то и дело забегали к Антокольским. Ольга Павловна поила их чаем и кормила чем бог послал. Однажды ночью нагрянула полиция. В квартире произвели обыск, искали оружие и нелегальную литературу. Ничего не нашли, но арестовали Куликова — он оказался участником революционных событий. Все попытки взять его на поруки ни к чему не привели.

Крики газетчиков о смерти Чехова и о цусимском поражении, баррикады и стрельба в Большом Афанасьевском, арест Куликова — все это было первым соприкосновением ребенка с дотоле неведомым ему миром исторических событий.

Кончив гимназию в 1914 году, Антокольский некоторое время посещал лекции в народном университете имени Шанявского, а затем поступил на юридический факультет Московского университета. Почему на юридический, а не, скажем, на филологический или в Академию художеств? «Может быть, — отвечал на этот вопрос поэт, — хотел идти по стопам отца, но вернее всего потому, что юридический факультет представлял собою в те времена вожделен-

[1] «Советские писатели», т. 1, с. 74.

ное место для нерадивых молодых людей, собиравшихся кое-как сдавать экзамены, поменьше ходить на лекции и совсем не работать сверх положенного. Так поступал и я» [1].

Однажды Антокольский прочел в университетском здании на Моховой объявление о том, что открыт прием в некую Студенческую студию под руководством артистов Художественного театра. Студия помещалась в Мансуровском переулке на Остоженке.

Мечта стать актером пересилила юриспруденцию. Юридический факультет был тотчас брошен.

Что мне делать с моим призваньем,
Кем я стану, что я решу?
Только с высшим образованьем
Навсегда расстаться спешу.
Не сдавая римского права,
Государственного не сдам,
Рассуждая зрело и здраво,
Не вернусь к отцовским следам.

(«Повесть временных лет»)

Так Антокольский написал через пятьдесят с лишним лет, вспоминая начало своего жизненного и творческого пути.

«Означал ли мой приход в Студию желание стать актером? — спрашивал впоследствии Антокольский. — Еще как означал! Только это и означал. Тем не менее актер из меня не вышел и, видимо, не мог выйти. . .» [2].

Театр навсегда остался его горячей привязанностью, в течение многих лет он был тесно связан со Студией Евгения Вахтангова, а затем и с театром его имени. Но истинной страстью Антокольского должна была стать и стала поэзия. Вахтангов был прав, когда, подводя итог тому, что сделала за пять лет его Студия, между прочим, отметил: «Приобрела поэта, знающего театр (играл, режиссировал)» [3].

Антокольский действительно был рожден не актером и не режиссером, а *поэтом, знающим театр.* Он всю жизнь мечтал о театре поэта и сокрушался, что наши театры чуждаются стихотворной драматургии, в частности, драматургии Блока и Сельвинского. Последней книгой, которую Антокольский сам составил незадолго до кончины, стала книга «Театр», куда вошли его драматические поэмы «Робеспьер и Горгона», «Франсуа Вийон», ранняя новогодняя сказ-

---

[1] «Советские писатели», т. 1, с. 75.
[2] Там же.
[3] Вахтангов, Записки. Письма. Статьи, М.—Л., 1939, с. 211.

ка «Пожар в театре», а также фантастическая сцена из поэмы «Кубок Большого Орла». Увидеть свой «Театр» вышедшим в свет Павлу Григорьевичу уже не удалось, но он знал, что книга близка к выходу, и радовался этому.

В работе Антокольского-поэта всегда ощущалось магическое воздействие театра. Не только темы, но и образные средства его стихов очень часто диктовались театральными впечатлениями. Это было одной из главных особенностей его поэзии, по которым ее привыкли узнавать. «В поэзии он был человеком театра, а в театре человеком поэзии, — очень точно написал о своем старом друге В. Каверин. — Причудливо переплетаясь, эти две неукротимые страсти сделали его не похожим на других поэтов, подняв его поэтический голос и заставив его звучать полновесно и гордо, как звучали со сцены голоса Остужева и Ермоловой, Качалова и Коонен» [1].

Писать стихи Антокольский начал еще в гимназии. Когда он поступил в Мансуровскую студию, у него уже была заветная поэтическая тетрадка. Ее заполняли стихи, сильно напоминавшие Александра Блока. В написанном полвека спустя очерке о Блоке Антокольский назвал его «любимым поэтом, кумиром моего отрочества» [2]. Роль, которую Блок сыграл в его поэтической судьбе, Антокольский определил так: «Его творчество оказало решающее влияние на мои первые робкие и неуклюжие попытки выразить свой мир в словах» [3]. С полным правом можно сказать, что Антокольский вступал в поэзию под знаком автора «Страшного мира» и «Стихов о Прекрасной Даме».

Причудливое переплетение неукротимых страстей — к театру и к поэзии, — о котором говорит В. Каверин, сказалось уже и в первой книге Антокольского «Стихотворения», где первостепенную роль играет Мельпомена:

То в мертвый мировой театр
Вступают хором Мельпомены
Давно потопленных эскадр
Сереброгорлые сирены.

(«Голос»)

Антокольский дебютировал в печати двумя стихотворениями, которые В. Я. Брюсов опубликовал в 1921 году в своем временнике «Художественное слово». Одно из этих стихотворений — «Медный всадник». В нем есть такие строки: «Из тьмы чудовищ Мировой

---

[1] В. Каверин, Вечерний день, М., 1981, с. 253.
[2] Собр. соч., т. 4, с. 429.
[3] Там же, с. 431.

Театр Неукрощенным предпочел меня». Они чрезвычайно характерны для раннего Антокольского и его первой книги. В ней немало стихов, где образы театра служат главной темой: «Театральный разъезд», «Лондон 1666», «Гамлет», «Девятая симфония». Но даже и там, где поэт, казалось бы, выходит из круга театральных ассоциаций, они все-таки продолжают определять его образное мышление:

Как занавес, ливней заливистых проседь
Закрыла железный Театр;
Лишь галочьим стаям под занавес бросить
Осталось: «Прощай, Император!»

(«Последний»)

Речь идет о последнем русском царе. Все, что видит и о чем думает поэт, представляется ему гигантским «Театром Мирового Сраженья», на подмостках которого развертывается грандиозное историческое действо. На необъятной исторической сцене сменяют друг друга события и люди — то выступают русские императоры Петр и Павел, то уходит в небытие Николай, то «щелкает по позвонкам» нож Гильотена, то колышет знамя революционный Петроград 1918 года, то гремит «стократный раскат» Девятой симфонии.

И весь Двадцатый Век,
И быль Уэльсова о Двадцать Первом Веке
Прошли Театрами для кукол и калек
И гримом клоунским легли ему на веки.

(«За год»)

В то же время сквозь затейливую и не всегда поддающуюся реальному истолкованию игру театральных ассоциаций в книге проступает могучий и неотвратимый ход истории. Это она влечет в свой «сорвавшийся крутень» последнего русского царя, она возвращается в города солдатами «с фронта и тыла», она цокает копытами по торцовым мостовым шагающего в будущее революционного Петрограда.

Вторую книгу Антокольского — «Запад», ту самую, которая вышла в издательстве «Узел» тиражом в семьсот экземпляров, составили стихи о Швеции и Германии. В 1923 году Антокольский впервые выехал за границу. Вахтанговцы побывали тогда в Швеции и Германии. Антокольский участвовал в этой поездке. Она сыграла в его жизни значительную роль.

Много лет спустя в книге «Сила Вьетнама» Антокольский писал: «В начале двадцатых годов я впервые побывал за рубежами

нашей родины, на Западе. Всем инстинктом художника я ощутил прикосновение к темам и образам, которые определили мою работу на очень долгий срок. И действительно тема кризиса и гибели капиталистической культуры почти вплоть до второй мировой войны главенствовала в моих стихах и поэмах»[1].

Впервые оказавшись за границей, поэт увидел сытое самодовольство избежавших войны шведских буржуа, горы коровьих и свиных туш в мясных лавках Стокгольма и сразу после этого — голодный Берлин с безногими инвалидами на тележках и костлявыми проститутками.

Стихи о Швеции и Германии Антокольский когда-то назвал «мандатом для входа в актуальную советскую поэзию»[2]. Так оно и было. «Стокгольм», «Белая ночь», «Камень» и — особенно! — «Ночной разговор», «Гроза в Тиргартене» проникнуты острым чувством времени, продолжают существовать в нашей поэзии и поныне.

Так мрачен бред былых династий.
Так мрачен час ночных громил.
Так мрачен парк. Так прочен мир.
Так прочно сделано ненастье.

Так человек молчит, когда,
Заболтана грозой на горе,
Захлещет рыжая вода
На бронзу голых аллегорий.

(«Гроза в Тиргартене»)

Таким предстает перед поэтом страшный мир ночного капиталистического города. Поэтом овладевает предчувствие бури, надвигающейся на германскую столицу. Над парком раздаются раскаты грома, вспыхивает молния. Она произносит гневный монолог.

Не менее острым ощущением приближающейся бури проникнут и «Ночной разговор». Поэт вводит нас в мир послевоенной Европы, населенной людьми-призраками. От имени одного из них и написано стихотворение. «Я — сумрак всех улиц и сцен, Городов обнищалая роскошь», — говорит он о себе. Он воевал под Шарлеруа и под Варшавой, он вернулся домой в надежде на то, что его ждет наконец человеческая жизнь, но вместо нее попал в ад: «В буре бирж и в джазбандовом лязге Ни плясать, ни учиться, ни спать».

---

[1] Собр. соч., т. 4, с. 317.

[2] Здесь и далее многие высказывания Антокольского приводятся по его незаконченным автобиографическим запискам «Повесть временных лет», хранящимся в архиве поэта (далее в сносках — Архив П. Г. Антокольского).

Стихи Антокольского о Германии, да и о Швеции, были одной из первых в советской поэзии попыток реально показать мир послевоенной капиталистической Европы: голод, безработицу, бросающееся в глаза богатство одних и гнетущую нищету других.

Теперь, когда прошли десятилетия, особенно отчетливо видно, что эта попытка удалась: Антокольский не просто бранит буржуазную цивилизацию, а создает ощущение внутренней неизбежности ее краха. Почти в каждом стихотворении, вошедшем в «Запад», мы чувствуем дыхание истории. Поэт как бы концентрирует в себе историческую память человечества: «Европа! Ты помнишь, когда...»

В некоторых стихах Антокольского о Западе чувство истории горит неестественно резким, слишком эффектным, театральным светом. В книге «Запад», как и в «Стихотворениях», время от времени «взвивается занавес века», а молния озаряет воображаемую мировую сцену. Сквозь эту неизменно характерную для поэзии Антокольского причудливую игру театральных ассоциаций проступает, однако, главное: способность постоянно видеть исторические события в их внутренней связи с современностью и ощущать сегодняшний день как закономерный итог исторического развития. Она — эта органически присущая Антокольскому способность — разовьется впоследствии и определит собой все его творчество поэта, прозаика, переводчика, исследователя отечественной и мировой поэзии, наставника многих поэтических поколений, идущих на смену «великому поколению двадцатых годов».

Через год после «Запада» Антокольский выпустил «Третью книгу». В ней впервые появился знаменитый «Санкюлот» («Мать моя — колдунья или шлюха, А отец — какой-то старый граф»). По собственным словам поэта, он стремился выразить в этом стихотворении самое заветное: «чувство истории, которая продолжается и сегодня, продолжается и в нас, современниках великой эпохи» [1].

«Санкюлот» сыграл в творчестве Антокольского особую роль. «С этого стихотворения, — сказал однажды поэт, — началось мое увлечение определенной эпохой — французской революцией. До «Санкюлота» я о ней не думал» [2].

«Санкюлот» включен в большой раздел «Фигуры», где мы находим ставшие традиционными для Антокольского романтические театральные образы: Дон-Кихот, Карлик, Актер. Они, как всегда, скульптурны и эффектны, но не вносят в поэзию Антокольского ничего нового по сравнению со «Стихотворениями» и «Западом». Исключение должно быть сделано только для «Санкюлота». В конце этого стихотворения герой его — горбун и акробат, участник со-

---

[1] Архив П. Г. Антокольского.

[2] «Вопросы литературы», 1967, № 2, с. 117.

бытий якобинской диктатуры — обращается к поэту и ко всем людям двадцатого века:

И сейчас я говорю с поэтом,
Знающим всю правду обо мне.
Говорю о времени, об этом
Рвущемся к нему огне.

Разве знала юность, что истлеть ей?
Разве в этой ночи нет меня?
Разве день мой старше на столетье
Вашего младого дня?

В «Третью книгу» вошел также большой раздел «Обручение во сне». Он открывает новые грани в поэзии Антокольского. Повторяя название ранней стихотворной пьесы, поэт вводит нас в свой лирический мир. Эта новая грань поэзии Антокольского не отделена от других, нам уже известных. Романтическая интонация продолжает господствовать и в лирике Антокольского, поэт остается верен привычному кругу театральных образов и представлений: «Будешь теперь Антигоной Всем, кто ослеп в эту ночь?» Любовная лирика отныне будет занимать почетное место едва ли не в каждой его книге.

Мне снился накатанный шинами мокрый асфальт.
Косматое море, конец путешествия, ветер —
И девушка рядом. И осень. И стонущий альт
Какой-то сирены, какой-то последней на свете.

(«Мне снился. . .»)

Неизменным адресатом любовной лирики Антокольского станет Зоя Бажанова, в те годы молодая актриса вахтанговского театра. Павел Григорьевич познакомился с ней в дни первой заграничной поездки. Она стала его женой, его другом, его музой: «Это ты, моя сила и слава моя. Это ты, моя Зоя Бажанова».

В 1928 году вахтанговцы снова отправились за границу — на этот раз в Париж. У Антокольского было ощущение, что и до первого свидания с мировым городом он знал его вдоль и поперек. Еще бы — ведь он был уже автором «Санкюлота», а в его письменном столе лежала рукопись «Робеспьера и Горгоны»!

Одним из самых запомнившихся парижских впечатлений была встреча с Цветаевой. Марина Ивановна — Антокольского связывало с ней давнее близкое знакомство — подарила ему книгу «После России» и написала: «Дорогому Павлику Антокольскому», добавив

цитату из Райнера Марии Рильке: «Vergangenheit steht noch bevor» («Прошлое еще предстоит»). Впоследствии Антокольский не раз возвращался к жизни и судьбе Цветаевой, к своим встречам с ней, имевшим для него первостепенное значение (очерк «Марина Цветаева», стихотворение «Марина», статья «Пушкин по-французски»). «Марина Цветаева, — писал он, — была первым поэтом, которого я узнал лично и близко. Мало того, первым поэтом, который во мне угадал собрата и поэта» [1].

После поездки в Париж Антокольский написал новый цикл стихов. Этот цикл удалось включить в подготовленную еще до поездки книгу «1920—1928». Тема кризиса и гибели буржуазной культуры, возникшая в стихах о Швеции и Германии, получила в стихах о Париже еще более острое решение. Поэта окружал «обугленный мир», но он все-таки верил, что великий и вечно молодой город вспомнит прошлое, смоет со своих улиц и площадей «танцующий ад лупанаров, Гарцующий ад мостовых», возродит свои революционные традиции.

Ты вспомнишь — и ружья бригады
Сверкнут в Тюильрийском саду.
Возникнет скелет баррикады,
Разбитой в тридцатом году.

Ты вспомнишь — и там, у барьера,
Где Сена, как слава, стара,
Забьется декрет Робеспьера,
Наклеенный только вчера.

(«Итог»)

Стихи Антокольского о Западе до сих пор занимают видное место не только в его творчестве, но и в советской поэзии вообще.

Той же рукой, что и стихи о Западе, написаны драматические поэмы Антокольского — «Робеспьер и Горгона» (1928), «Коммуна 1871 года» (1931), «Франсуа Вийон» (1934). Все они, в сущности говоря, вышли из «Санкюлота».

В первом издании Антокольский назвал «Робеспьера и Горгону» «драматической поэмой в восьми главах». Затем она стала именоваться «драматической поэмой» и наконец просто «поэмой». В Собрании сочинений она вновь названа «драматической поэмой».

Было бы наивно искать здесь глубокого и объективного раскрытия социально-психологической драмы Робеспьера. Перед нами воплощенная в образе Робеспьера романтическая трагедия некоей мировой усталости.

---

[1] Собр. соч., т. 4, с. 42.

Белинский писал: «Всякое лицо трагедии принадлежит не истории, а поэту, хотя бы носило и историческое имя»[1]. Это полностью относится к «Робеспьеру и Горгоне». Только так и можно рассматривать это произведение. При таком подходе обнаружатся его незаурядные качества: острое чувство трагического, подлинный драматизм, неподдельная патетика, мастерское владение поэтическим диалогом. И над всем этим — страстное желание сделать поэзию достоянием театра, осуществить свою давнюю мечту — создать театр поэта. Поэма «Робеспьер и Горгона» написана *поэтом, знающим театр.*

В ней есть место, где Автор выходит из-за кулис и прямо обращается к зрителям с явно полемическим монологом:

Историки вправе гордиться бесполым
Законным и хладным забвеньем легенд.
Но я человек. Я отчаянья полон.
Итак — в Тюильри заседает Конвент...

...И вот они гибнут. Но тут же, сейчас же,
Добыты из пепла природы навек —
В загадочных ссадинах, в дыме и саже —
Сент-Жюст. Робеспьер... Человек. Человек...

То, чем вправе гордиться историк, приводит в отчаянье поэта. Он хочет разгадать «загадочные ссадины», воскресить преданные забвенью легенды, добыть «из пепла природы» и вернуть к жизни тех, кого звали Сент-Жюстом и Робеспьером.

Поэма «Робеспьер и Горгона» была написана до поездки во Францию. Оказавшись в Париже, автор поэмы побывал в музее Карнавале, где собраны материалы и документы французской революции, побывал в доме Дюпле, где жил Робеспьер. Однако, рассказывал Антокольский впоследствии, «я ничего не прибавил в поэме о нем, ни одной строки не зачеркнул, не переделал. Может быть, это было самонадеянно...»[2].

После «Робеспьера» Антокольский взялся за поэму о Парижской коммуне, но его внимание отвлекла незаконченная рукопись о Франсуа Вийоне. «Еще в разгар работы над «Коммуной», — вспоминал поэт, — я хлопнул себя по лбу и решил, что мое настоящее дело не эти разрозненные фрагменты о Париже 1871 г., а веселая,

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч. в 13-ти тт., М.—Л., 1953—1959, т. 5, с. 58.

[2] П. Антокольский, Путевой журнал писателя, М., 1976, с. 295.

живая, театральная вещь, озорство средневековья, с шутами, чертями, монахами, пропойцами»[1].

Над «Вийоном» поэт работал с огромным увлечением. «Предлагаемая поэма, — писал он в кратком предисловии к первому изданию «Франсуа Вийона», — не претендует на то, чтобы использовать архивную пыль, относящуюся к Вийону. Вийон поэмы — литературный герой, а не историческое лицо. Все описанные здесь его приключения выдуманы мной»[2]. Как тут не вспомнить еще раз слова Белинского...

В полном соответствии со своим замыслом, Антокольский ввел в поэму и шутов, и чертей, и монахов, и пропойц. Герой поэмы возвышается над окружающим его миром благопристойных торговцев, напыщенных рыцарей, псевдоученых каноников, похотливых монахов, церковных воров. Демократически-плебейский дух Вийона сродни его потомку санкюлоту.

Какими бы страшными карами ни грозили Вийону его многочисленные и опасные враги, он остается верен своей романтической юности:

Действительно, каюсь, я рвань-голытьба,
Не рыцарь, не папа, — мадонна, прости! —
Кабацкая вывеска вместо герба
Висит на моем худородном пути.

Многих советских поэтов, выступавших в двадцатые годы, принято именовать романтиками. Своего «Санкюлота» Антокольский называл «чем-то вроде манифеста поэта-романтика»[3]. Говоря о «Франсуа Вийоне», он замечал, что здесь «сконцентрированы признаки моего раннего романтизма»[4].

Романтиками обычно называют и Багрицкого, и Светлова, и Тихонова. Это, конечно, верно. Больше того — при желании можно найти много общего между этими советскими поэтами и Антокольским. Так, например, пристрастие Антокольского к романтической литературной традиции, его любовь к классическим «мировым» образам — Гамлет, Гулливер, Дон-Кихот! — не только не обособляют его, но скорее сближают и связывают с Багрицким или Тихоновым. Вспомните стихи Тихонова о Гулливере или Багрицкого о Тиле Уленшпигеле. И у Светлова мы найдем похожие мотивы — вспомните рабфаковку, грезящую о Жанне д'Арк...

---

[1] Архив П. Г. Антокольского.
[2] П. Антокольский, Франсуа Вийон, М., 1934, с. 3.
[3] П. Антокольский, Путевой журнал писателя, с. 293.
[4] Архив П. Г. Антокольского.

В то же время у каждого из этих поэтов — собственный мир. У Багрицкого — серебряные трубы революции, красные знамена над атакующими полками, дымящаяся под солнцем черноземная плоть земли, готовая принять в себя семена новой жизни. У Тихонова — сдержанная, мужественная патетика простого солдатского подвига, клинки и тачанки, пыль под сапогами пехотинцев и копытами коней. У Светлова — прерывистый стук сердца под солдатской шинелью, боль прощаний и счастье встреч, грустно-ироническая усмешка бойца, потерявшего очки в минуту атаки.

Свой собственный мир и у ранней романтической поэзии Антокольского. В нем не скачут кони и не гремят орудия гражданской войны, но и его озаряют грозовые молнии революционных битв. В нем слышатся воинственные клики борющихся за свободу гезов, бесстрашно идет навстречу гибели неподкупный Робеспьер, гибнут под пулями версальцев парижские коммунары, штурмуют самодержавие солдаты русской революции, поднимаются на борьбу вчерашние рабы капитала.

Очень многое определив в творческой биографии автора, резко очертив его ни на кого другого не похожую поэтическую манеру, ранние произведения Антокольского вместе с тем создали ему репутацию книжного поэта и дали пищу для многочисленных пародий и эпиграмм, где неизменно фигурировали всяческие горгоны и химеры. Забавно спародировал «Санкюлота» талантливейший Александр Архангельский: «Мать моя меня рожала туго. Дождь скулил, и град полосовал» и т. д.

Однако Антокольский стоял на своем. Он не пренебрегал невольно возникавшими у него историческими ассоциациями и не чуждался книжных на первый взгляд сюжетов — это значило бы для него отказаться от самого себя.

Если в ранних стихах Антокольского исторические ассоциации нередко приобретали самодовлеющее значение, а книжность приглушала живое биение мысли и чувства, то уже в стихах о Западе, в «Санкюлоте», во «французских» поэмах все это лишь сопутствовало реальным жизненным впечатлениям, обогащало их, создавая атмосферу *историзма*. Без этой атмосферы вообще нет Антокольского.

2

Тридцатые годы начались для Антокольского, как и для многих других советских писателей, с дороги, с бригады, с командировки. Он поехал на Сясьстрой. Эту поездку Антокольский называл своего рода прологом к его творчеству тридцатых годов. Нельзя

сказать, что она решающим образом отозвалась на его работе. Но свою роль в сближении поэта с новой действительностью она все-таки сыграла.

Писательская бригада увидела весь процесс производства, «начиная с лесосплава на реке Сясь и вплоть до того момента, когда из-под валов выходит рулон еще влажной целлюлозы» [1].

На Антокольского обрушились новые и непривычные впечатления. Велико было искушение сразу воплотить их в стихи. Поэту мерещился «свободный верхарновский стих и синтаксис, широкие картины труда, преображающего природу» [2], а возникли стихи, более похожие на очерк и явно перегруженные технологическими деталями. Примерно тогда же Сельвинский изучал процесс производства электрической лампочки, а Тихонов и Луговской знакомились с тракторным парком среднеазиатских колхозов.

По-настоящему воплотить в стихи то, что он увидел, Антокольский не смог. «Впечатления ложились одно на другое, — писал он много лет спустя. — Они были разными и резкими в своей разности. Я слишком привык регистрировать их без отбора» [3].

Поездка на Сясьстрой состоялась в 1930 году. В 1934, 1935 и 1939 годах Антокольский выезжает в Армению, в 1935 — в Грузию, в 1937 и 1938 — в Азербайджан, в 1939 — на Украину. Он видит многонациональную страну, строящую социализм. Он преодолевает большие расстояния, и всюду перед ним развертываются картины творимых народом великих перемен.

Так одна за другой возникают книги Антокольского «Действующие лица» (1932), «Большие расстояния» (1936), «Пушкинский год» (1938).

Прочитав стихотворение, открывающее книгу «Действующие лица», мы сразу попадаем в хорошо знакомый поэтический мир Антокольского. Вновь перед нами грандиозная мировая сцена. На ней развертывается очередной акт исторического действа:

Молчанье. Тухнут лампы. Взмах
Смычков. И, струнам вторя,
Изображается впотьмах
Последний том истории.

(«Пролог»)

Мы без всякого труда узнаем Антокольского и по традиционному просцениуму, и по взвивающемуся занавесу, и по взмаху смыч-

---

[1] Архив П. Г. Антокольского.
[2] Там же.
[3] П. Антокольский, Путевой журнал писателя, с. 296.

ков — короче говоря, по характерному для его ранней поэзии привычному кругу привычных театральных ассоциаций.

В книгу «Действующие лица» вошла также «Армия в пути». В ней Антокольский щедрой рукой набрасывает живописные картины революционной войны гезов. И без того замысловатый сюжетный ход этого произведения осложняется тем, что героем его оказывается некий неудачник, воюющий на стороне гезов, мучительно размышляющий о бессмысленности своего участия в войне и тем не менее продолжающий воевать. Внутренним оправданием этого сюжета, по замыслу автора, должны служить заключительные строки:

Ты — армия в пути,
Ты — молодость чужая.
Тебя не обойти,
Форпосты объезжая...

...Иду, как все они,
С твоей походкой вровень.
Огнем в лицо дохни.
Узнай меня по крови.

По рваному плащу,
По облику худому.
Не я в тебе гощу,
А ты во мне — как дома.

Рассказывая о своей работе над «Армией в пути», Антокольский подчеркивал, что он писал это «о самом себе, о желании войти в окружавшую меня действительность и быть в ней не гостем, а хозяином, быть „как дома“»[1]. Не приходится сомневаться, что так и было. Но никакой, даже самый многозначительный курсив, никакая разрядка, я думаю, не могут убедить читателя в том, что этот вывод вытекает из образной логики произведения. «Желание войти в живую окружавшую... действительность» оказалось слишком уж зашифрованным; его заслонили не в меру щедрые и броские картины условно-романтической войны.

Но все-таки главное в «Действующих лицах» — время, властно врывающееся в поэтический мир Антокольского. Недаром книга заканчивается торжественной клятвой. Поэт приводит строки «Интернационала». Такова великая правда века — «большей правды нет».

---

[1] Архив П. Г. Антокольского.

Она придет, как женщина и голод,
Всё, чем ты жил, нещадно истребя.
Она возьмет одной рукою голой,
Одною жаждой жить возьмет тебя.

И ты ответишь ей ночами схимы,
Бессонницей над бурей цифр и схем,
Клянясь губами жаркими, сухими
Не изменять ей. Никогда. Ни с кем.

(«В тот год»)

«Как все мы, — писал по поводу этих строк В. Луговской, — Антокольский в это время прорвался к большой правде, которую тогда мы понимали, может быть, наивно, как подвижничество, пафос цифр и схем. . .» [1].

Наивно или не наивно понимали тогда Луговской и Антокольский правду века, но они, как и многие другие советские писатели, близкие им по социальному воспитанию, действительно прорвались к ней, и она все громче звучала в их творчестве.

«Приезд бригады», «Париж, вторая серия», «Девятьсот четырнадцатый», стихи о Гоголе с их неожиданными для Антокольского сатирическими мотивами, «Катехизис материалиста» — все это вместе взятое делает книгу «Действующие лица» заметным рубежом в творческом развитии поэта.

Цикл «Париж, вторая серия» тесно связан со стихами о Париже, опубликованными раньше, и также построен на резком противопоставлении славного революционного прошлого, которым по праву гордится французская столица, и ее настоящего. Впоследствии этот цикл, как и многие другие, пересоставлялся поэтом, но в данном случае речь идет о том его составе, в котором он опубликован впервые.

В цикле «Девятьсот четырнадцатый» Антокольский вновь, как и в книге «Запад», куда вошло стихотворение «1914—1924», обращается к теме первой мировой войны. Теперь его взгляду на события четырнадцатого года присуща гораздо бóльшая острота, его протест против войны звучит с новой силой, его антимилитаристская позиция более осознанна и более активна.

Цикл «Катехизис материалиста» направлен против религиозных представлений. По фельетонно-частушечному пути поэт не пошел — это для него исключалось. Как и следовало ожидать, он предпринял экскурс в историю религии. Цикл «Катехизис материалиста» завершается стихотворениями «Для этих бог — бездарный архитектор. . .»

[1] В. Луговской, Собр. соч. в 3-х тт., М., 1971, т. 3, с. 346.

и «Нет! Мало еще доказательств...». Поэт обращается к небу, освобожденному от бога и расчищенному для обсерваторий. Строки, которыми цикл заканчивается, звучат пророчески, особенно если иметь в виду, что они написаны полвека назад:

Туда, в серебро межпланетного льда!
Сквозь вьюгу, сквозь время, сквозь гибель — туда
Мы двинулись! Лучшего жребия нет нам,
Чем стать человечеством междупланетным!

(«Нет! Мало еще доказательств»)

Книга «Большие расстояния» вышла через четыре года после «Действующих лиц». Центральное место в ней занимают стихи об Армении и Грузии. Книга открывается «Застольной»: «Да здравствует время! Да здравствует путь! Рискуй. Не робей. Нерасчетливым будь!»

Итак, время, помноженное на путь! В книге, кажется, нет ни одного стихотворения, где поэт так или иначе не обращался бы к времени: «Как время шумит в человечьих ушах...»; «Век надо мной вставал, веселостью даря...», «Мы не знали, время ли шумело, Ночь прошла или короткий час...».

«Я видел всю страну», — с гордостью заявляет поэт. Армения и Грузия входят в его стихи так же, как Туркмения в стихи Тихонова и Луговского, в повести Леонова и Павленко. Поэт спешит воплотить в стихи все, что увидел и пережил, и снова торопится «туда, где мечутся прожекторов снопы, Где вся страна лежит, от дыма хорошея».

Армянский и грузинский циклы с наибольшей остротой свидетельствуют о тех переменах, которые произошли в поэзии Антокольского. Чувство истории, неизменно его отличавшее, органически связано в них с чувством современности. Эта связь отныне будет сопутствовать Антокольскому.

Главное в «Больших расстояниях» — полные динамики, весомые и зримые, написанные с истинным подъемом стихи об Армении и Грузии, а также лирические стихотворения («Зоя», «Приближается время осенних пиров», «Тост»).

Я «молнии» слал в эту мглу дождевую, —
Мне сдачу давали с квитанцией вместе.
Ты снилась мне каждую ночь. И живу я
Придуманной жизнью, придуманной вестью...

(«Зоя»)

Некоторые из этих стихотворений прочно вошли в лирику Антокольского и стоят в ряду его лучших достижений.

Среди грузинских стихов особое место занимают портреты — Тициана Табидзе, Нико Пиросманишвили, Тамары Абакелия.

Одно из самых значительных стихотворений грузинского цикла — «Ночь в селении Казбек». Поводом для него послужило истинное трагическое происшествие. В горах разбился почтовый самолет. С трудом разыскав тела погибших, летчики и альпинисты справляли поминки по своим товарищам. Это было летом 1935 года. Ю. Герман, Я. Горев, В. Саянов, Е. Шварц, А. Штейн и автор этих строк встретились в селении Казбек с П. Антокольским, З. Бажановой, В. Гольцевым и сопровождавшим их Т. Табидзе. Все мы участвовали в поминках. В стихотворении Антокольского есть такие строки:

Шли тучи. Звезд не было. Ночь растянулась. Но в сфере
Огня керосиновых ламп продолжалась еще
Трагедия.
И, как защитник на смятом бруствере,
Встал кто-то из летчиков, заговорил горячо.

Летчик недаром встает, «как защитник на смятом бруствере». Катастрофа в горах представляется поэту эпизодом на поле боя. Он видит, как горы идут за гробом погибших и поют «Вы жертвою пали в борьбе. . .».

Через два года после «Больших расстояний» Антокольский выступил с книгой «Пушкинский год».

В 1937 году наша страна отмечала столетие со дня гибели Пушкина.

Антокольский обратился к пушкинской теме не впервые. «Третья книга» заканчивалась стихотворением «Пушкин», а «Нева» — стихотворение, посвященное наводнению 1924 года, — во многом была продиктована историческими и литературными реминисценциями: «И словно на тысячах лиц Посмертные маски империи. . .», «И в куцей шинели, без имени, Безумец, как в пушкинской ночи. . .»

Стихотворение «Пушкин» входило в «Третьей книге» в раздел, целиком посвященный размышлениям о поэтическом труде («Поэт», «Ремесло»). Объединяя стихотворение «Пушкин» с этими стихами, Антокольский как бы подчеркивал, что пушкинское творчество для него — личное внутреннее достояние, постоянный предмет сокровенных размышлений о тайнах поэзии, неотъемлемая часть жизни каждого поэта. Уже тогда мысли о Пушкине были для Антокольского необходимой составной частью его мыслей о труде поэта вообще, поэтического мировоззрения в целом.

Через десять с лишним лет в «Пушкинском годе» появились «Дорога», «Работа» и «1837—1937» (впоследствии Антокольский назвал это стихотворение «Столетие»; в Собрание сочинений оно вошло

под названием «Бессмертие»). Это — золотой фонд пушкинианы Антокольского. Трагический и вместе с тем полный любви к жизни образ поэта дается на фоне грозных событий века. Оставшись наедине со свечой и гусиными перьями, Пушкин думает о приникшем к тюремной решетке Рылееве и мечтает найти в няниных сказках, в книгах, в пурге, в глубинах равелина, где томятся обреченные борцы за свободу, единственно нужное, гневное, разящее слово:

И такая наступит тогда тишина,
Что за тысячи верст и в течение века
Дальше пушек и дальше набата слышна
Еле слышная, тайная мысль человека.

(«Работа»)

Еще через двадцать лет, в книге «Мастерская», мы прочли «Балладу о чудном мгновении» — одно из лучших стихотворений Антокольского.

С собственными стихами о Пушкине в «Пушкинском годе» соседствовали переводы — из классика азербайджанской поэзии Мирзы Фатали Ахундова («На смерть Пушкина») и из современного армянского поэта Наири Зарьяна («Пушкину»). К тому времени Антокольский уже много сделал для укрепления дружеских связей между национальными литературами нашей страны. По-своему он запечатлел это в «Послании друзьям»: «С Новым годом, Бажан, Чиковани, Зарьян и Вургун! Наша песня пройдет по республикам прежним и новым. . .»

Возвращаясь осенью 1934 года из Армении, Антокольский вез с собой цикл стихов об Армении и переводы поэм Ованеса Туманяна и Егише Чаренца. В Грузии он переводил Шота Руставели, Симона Чиковани, Тициана Табидзе, Карло Каладзе, в Азербайджане — Низами Ганджеви, Мирзу Фатали Ахундова, Самеда Вургуна.

Многие годы Антокольский занимался и переводами из французских поэтов. В одной из своих последних книг он писал, что его тяготение к французской истории и культуре было сильным и до поездки в Париж, а после нее особенно возросло: «Пошли и стихи парижского цикла, и переводы Гюго, Барбье и Беранже, и сравнительно легкое овладение языком — уже на всю жизнь» [1].

Переводы Антокольского из французской поэзии издавались не раз. Кроме «Гражданской поэзии Франции» (1955), назову книги «От Беранже до Элюара» (1966), «Медная лира» (1970). В 1976 году вышла книга «Два века поэзии Франции», где собраны стихотворения двадцати французских поэтов, от Руже де Лиля, родившегося

---

[1] П. Антокольский, Путевой журнал писателя, с. 294.

в 1760 году, до Шарля Добжински, родившегося в 1929-м. Книга охватывает как гражданскую, так и любовно-лирическую поэзию Франции, начиная с Шарля Бодлера и кончая Жаном Кокто.

В кратком вступлении к «Двум векам поэзии Франции» Антокольский сжато, но с полной определенностью формулирует творческие принципы, которые лежат в основе его работы переводчика. Перевод требует верности в передаче оригинала, но верность — это далеко не точность. Точна фотография. Верен портрет, сделанный художником. В другом месте Антокольский рассказывает, что Врубель, работая над портретом Брюсова, «внезапно и резко отхватил часть лобной кости, скосил височную часть лица». Брюсов был недоволен, но портрет «разительно выиграл в сходстве» [1].

Антокольский назвал свою новую книгу «Пушкинский год», но это название не исчерпывает ее содержания. Да и 1937 год, как помнят люди старшего поколения, был не только пушкинским.

Через тридцать с лишним лет Антокольский написал:

Будет строк этих продолженье
Бегло, коротко и общо:
Как мое под уклон скольженье
Незаметно тебе еще...

Как с мороза, назло невзгодам,
Ковыляя ночью домой,
Назову я Пушкинским годом
Незабытый — тридцать седьмой...»

(«Зоя Бажанова»)

«Пушкинский год» лишен той гармонической цельности, которая ощущалась в «Больших расстояниях». Антокольский не был бы самим собой, если бы всем существом не ощущал времени, не предчувствовал грозной опасности, неотвратимо надвигающейся из-за рубежа. «Мы вглядываемся, — писал он, — на севере, на юге, На западе черно. Черно, как никогда». Вошедший в книгу раздел «Стихи из дневника» — первый насквозь публицистический цикл Антокольского — от начала до конца проникнут тревогой. Ее нельзя назвать иначе, как предвоенной. Менее сильным оказался раздел «Октябрьские стихи», где поэт не достигал привычной для него образной силы, а иногда и попросту переходил на язык газетной публицистики.

«Пушкинский год» завершается поэмой «Кощей». Эпиграфы из Пушкина и русских народных сказок Афанасьева как бы предвещают

---

[1] П. Антокольский, Путевой журнал писателя, с. 138.

традиционно фольклорную трактовку этого персонажа, но Антокольский придает своему Кощею черты русского капиталиста, героя эпохи первоначального накопления, бегущего от революции, но не теряющего надежды когда-нибудь вернуться с победой. Образ героя не лишен сказочности — он проходит через века, сохраняя и умножая присущую ему сверхчеловеческую страсть к золоту. Но исторический план (1812 год, 1905-й, 1914-й наконец, Октябрь 1917-го) дан в реалистическом духе. Образ Кощея запечатлевает цепкую живучесть старого мира с его неистребимой и всепоглощающей жаждой наживы.

В конце тридцатых годов Антокольский как поэт работал менее интенсивно. Но незадолго до Великой Отечественной войны его поэзия вновь начала набирать привычную высоту. Он написал поэму «Два портрета», в которой эмигрировавший в Россию якобинец дарит крепостному художнику драгоценную реликвию — рисунок мертвой головы Робеспьера. Истинный герой поэмы в конечном счете именно Робеспьер. Романтическая встреча русского художника и французского революционера, полная трагизма судьба обоих — одного в собственной стране, другого в горьком изгнании, — звучный, повышенно эмоциональный стих — все это невольно заставляет вспомнить о «французских» поэмах, но предстает в ином обличье, показывает более трезвое и зрелое отношение к историческим событиям и лицам.

После «Двух портретов» — уже перед самой войной — Антокольский подготовил свой последний предвоенный сборник, куда, наряду с «Большими расстояниями» и «Пушкинским годом», вошел раздел «Молодость не кончается» — в сущности, целая новая книга.

В некоторых стихах Антокольского, написанных тогда, проскальзывают нотки благодушия. Многовато «застольных». С ними соседствуют стихи одического склада. Но большинство стихов свободно от преходящих наслоений времени и проникнуто его подлинным духом. Главное в них — счастье мирного бытия, творчества, любви и, конечно, тревожное предчувствие надвигающейся военной грозы. Так думали и чувствовали тогда и Светлов, и Тихонов, и Луговской.

Острым предчувствием мировой трагедии дышит стихотворение «Июнь сорок первого года», написанное тогда же, но впервые опубликованное в первой послевоенной книге Антокольского (позже оно было названо очень точно: «Накануне»):

Согрейся у этих приморских камней,
У этих неярких и ровных огней!..

...Согрейся! Еще есть надежда. Еще
Так близко, так близко рука и плечо...

...И мирная зелень еще не красна
От пятен того дорогого вина,
Которое завтра прольется так щедро.

Хотя надежда еще и не покидает поэта, всем его существом владеет ощущение кануна. Ждать трагических событий, зная, что они неизбежны, может быть, страшнее, чем встретить их лицом к лицу...

3

Новый этап жизни Павла Григорьевича Антокольского начался 22 июня 1941 года, когда на писательском митинге в Москве он подал заявление о приеме в партию.

«Полгода» (1942), «Железо и огонь» (1942), «Сын» (1943), «Третья книга войны» (1946) — таковы названия книг, которые включают почти все написанное Антокольским-поэтом в военную пору. Почти, потому что здесь нет драматической поэмы «Чкалов», а также многих стихов, печатавшихся в периодике.

Особенно много Антокольский писал в первые месяцы войны. Его по-прежнему воодушевляло издавна присущее ему чувство истории. Одно из первых его стихотворений военного времени так и озаглавлено — «Страница новой истории».

В годы войны Антокольский включал в свой арсенал все новые виды поэтического оружия. «Черноморская баллада», «Послание в Ленинград», «Русская сказка», «Волчий вальс», «Письма в Среднюю Азию», «Баллада о парне из гитлеровской дивизии „Великая Германия“» — уже одни названия этих стихов показывают, что их автор стремился использовать все поэтические жанры, заботился не только о том, чтобы поскорее откликнуться на события, но и о том, чтобы эти отклики становились фактами поэзии.

Большинство из написанного Антокольским в военные годы — это *стихи*, а не просто стихотворные отклики на войну, какие во множестве писались в те годы.

Отдавая должное ежедневной поэтической работе Антокольского в военное время, следует все же особо выделить поэму «Сын» — лучшее из того, что им создано.

Свою первую книжку, вышедшую во время войны, — «Полгода» — Антокольский открыл стихотворением «Мой сын». Провожая единственного сына в армию, поэт напутствовал его: «Лети. Будь счастлив. Если бы ты не был Самим собою, — я не мог бы жить». Во второй книжке военного времени — «Железо и огонь» — есть адресованные сыну «Письма в Среднюю Азию»: «Сын. Комсомолец. Школьник. Человек. Вступаешь ты в железный грозный век...»

Но этим письмам не суждено было дойти до адресата. В той самой книжке, куда они вошли, на титульном листе появилось посвящение, вставленное в последнюю минуту: «Светлой памяти моего сына младшего лейтенанта Владимира Павловича Антокольского».

Как же *это* случилось?

У Павла Григорьевича был заветный ларец, где хранились материалы, связанные с жизнью и смертью его сына, а также с поэмой о нем. В свое время Антокольский запер ларец и решил, что до конца жизни не откроет его. Я убедил его открыть ларец. То, что в нем содержалось, дышало неподдельной правдой жизни и смерти, породившей такую же неподдельную правду искусства. Передо мной от начала до конца прошла восемнадцатилетняя жизнь Володи Антокольского.

15 июня 1941 года Володя окончил школу. Через несколько дней после начала войны по призыву райкома комсомола уехал рыть противотанковые рвы. В конце сентября был мобилизован. 10 июня 1942 года окончивший артиллерийское училище младший лейтенант Антокольский отправился на фронт. Из действующей армии он прислал отцу две открытки — от 13 и от 18 июня.

1 июля Антокольский отправил Володе большое письмо. Прошло две недели — письмо вернулось. На конверте значилось: «Адресат выбыл 6—07—42. Старшина (подпись неразборчива)». Может быть, Володю перевели в другую часть?

Но еще через несколько дней пришел маленький самодельный конверт — сложенный треугольником лист из школьной тетради в одну линейку: «Антокольскому Павлу Г. от товарища вашего сына Антокольского Володи. Дорогие родители, я хочу сообщить вам о весьма печальном событии. Хоть и жаль вас, что сильно расстраиваться будете. Но сообщаю. Ваш сын Володя в ожесточенной схватке с немецкими разбойниками погиб смертью храбрых на поле битвы 6 июля 1942 года. Но мы за вашего сына Володю постараемся отомстить немецким сволочам. Пишет это вам его боевой товарищ Вася Севрин. Похоронен он возле реки Рессета — приток Жиздры. До свидания. С пламенным приветом к вам В. Севрин» [1].

Письмо Севрина пришло 15 июля. К тому же дню относится последняя запись в дневнике, посвященном сыну: «Вовы нет. Маленькая жизнь кончилась, не начавшись. Жизни его еще не было. Он не успел ничего... Все это кончилось, кончилось, кончилось навеки» [2]. На следующей странице дневника, как его прямое продол-

---

[1] Архив П. Г. Антокольского.
[2] Там же.

жение, — первые наброски поэмы о сыне, первые строки, впоследствии не вошедшие в нее:

Пусть в этой книге, кажется, последней,
Которую напишет человек,
Его ребенок, взрослый сын, наследник,
Живой навек, останется навек [1].

Вскоре пришла похоронная. В ней сообщалось, что младший лейтенант Владимир Павлович Антокольский убит 6 июля и похоронен в Орловской области, в семистах метрах восточнее деревни Сусея.

Еще одно письмо пришло от Севрина, который выполнил просьбу отца и написал о последних минутах жизни сына: «Он лежал в окопе. И, по-видимому, хотел подойти к своему орудию. Только поднялся с окопа, и ему ударила в верхнюю губу — пробила и в полости рта разорвалась» [2]. 14 сентября Антокольский написал Севрину («Ты столько сделал для меня своими письмами, что мне захотелось обратиться к тебе на «ты», как к родному сыну, ты не обидишься на это?» [3]), но письмо вернулось с той же роковой надписью: «Адресат выбыл...» Вася Севрин прожил на свете только на два с половиной месяца дольше Володи Антокольского.

Так оборвалась последняя фактическая нить, связывавшая отца с жизнью и смертью сына. Воскресить Володю, дать ему новую жизнь — на этот раз вечную — могло только творчество. И Антокольский с головой погрузился в работу над поэмой о сыне. Работа началась тотчас после гибели Володи — летом 1942 года. Через год поэма была опубликована и сразу завоевала всенародное признание (позже — в 1946 году — ее автору была присуждена Государственная премия).

В «Сыне» воплотилось высокое понимание трагического, всегда сопутствовавшее автору «Робеспьера и Горгоны», «Франсуа Вийона», «Двух портретов».

Трагическое неизменно влекло к себе Антокольского и в юности, когда он только начинал жить стихом, и позже, когда он увидел послевоенную Европу, и в годы, когда он всматривался в жизнь Вийона, в участь Робеспьера, в судьбу Коммуны, и наконец во время Отечественной войны.

Острое ощущение трагического в жизни и поэзии сказалось уже в первой книге Антокольского — ведь Мельпоменой греки называли именно музу трагедии.

---

[1] Архив П. Г. Антокольского.
[2] Там же.
[3] Там же.

В «Третью книгу» вошло «Ремесло», в котором есть такие строки: «На собственной золе ты песню сваришь, Чтобы другим дышалось горячо».

«Многие путают трагедию и трагическое в искусстве с пессимизмом, — писал Антокольский однажды. — Вредная путаница! У трагедии нет ничего общего с пессимизмом»[1]. И еще: «Трагедия может вывернуть человека наизнанку, но человек в конечном счете поблагодарит ее за громовый урок *о вечном торжестве жизни*»[2].

Этот громовый урок — не что иное, как Аристотелев *катарсис*, который неизменно сопутствует трагическому в искусстве.

Слова Антокольского о трагическом и трагедии — не случайные для него и не проходные слова. Он цитирует блоковское «Крушение гуманизма»: «Оптимизм вообще — несложное и небогатое миросозерцание, обыкновенно исключающее возможность взглянуть на мир как на целое. Его обыкновенное оправдание перед людьми и перед самим собою в том, что он противоположен пессимизму; но он никогда не совпадает также и с *трагическим* миросозерцанием, которое одно способно дать ключ к пониманию сложности мира»[3].

Антокольский развивает эту мысль Блока. Сущность трагического миросозерцания, «прежде всего, в *диалектике*, в полной открытости конфликтам и противоречиям жизни». Задача художника — «разглядеть и понять жизнь в борьбе ее противоположных сил, в вечном потоке движения»[4]. Таково представление о трагическом, присущее Антокольскому как художнику, который особенно выразил себя именно в этой сфере искусства.

Особое место, завоеванное Антокольским еще в поэзии двадцатых годов, во многом определялось трагической патетикой его стихов о Европе и «французских» поэм — каждую из них мы вправе назвать поэтической трагедией.

Шекспир — создатель «Гамлета», к которому Антокольский столько раз возвращался в стихах (цикл стихов о Гамлете формировался на протяжении всей его жизни; о Шекспире он писал, что его «надо принять целиком, таким, каков он есть. В живой диалектике раздирающих его противоречий»[5]. Читай: во всей *цельности* его трагизма!), Шиллер — автор «Разбойников», где столь ощутимо приближение трагических бурь французской революции, Пушкин — творец маленьких трагедий и песни Председателя, наконец Блок — проповедник трагического в поэзии, — без всех этих имен нельзя составить себе сколько-нибудь полное представление о поэзии Антокольского.

---

[1] П. Антокольский, Поэты и время, М., 1957, с. 135.
[2] Там же.
[3] А. Блок, Собр. соч. в 8-ми тт., М.—Л., 1960—1963, т. 6, с. 105.
[4] Собр. соч., т. 3, с. 402.
[5] Там же, с. 443.

«Война, — говорил Антокольский в 1943 году, — это трагедия, и участие в ней человека тоже трагично». И дальше: «Война — это школа страдания. Такой же школой всегда были и будут трагедия и трагическое в искусстве. Поэтому во весь размах должна прозвучать скорбь о погибшем. Во весь рост выпрямившейся, побеждающей, предельно напряженной души. Со всей пронзительной надеждой на победу» [1].

Страстное желание оплакать павших, воскресить их в образах искусства, дать им новую, на этот раз бесконечную, жизнь становится во время войны поистине общественной потребностью. Именно этой потребности отвечали «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Зоя» М. Алигер. «Вот — прими печаль мою и слезы, Реквием несовершенный мой», — писала О. Берггольц, оплакивая вместе с незнакомой девочкой гибель ее брата, павшего на Вороньей горе под Ленинградом.

«Сын» — тоже реквием, может быть, самый пронзительный из всех, созданных советской поэзией за военные годы.

Поэма начинается прямым и очень личным обращением к сыну:

Вова! Я не опоздал! Ты слышишь?
Мы сегодня рядом встанем в строй.
Почему ты писем нам не пишешь,
Ни отцу, ни матери с сестрой?

Щемящая скорбь вопроса удваивается его заведомой горькой беспомощностью. Уже следующие строки дают ответ на него, который невозможно ни предотвратить, ни смягчить: «Вова! Ты рукой не в силах двинуть, Слез не в силах с личика смахнуть...»

На обращение отца сын отвечает «из дали неоглядной. Из далекой дали фронтовой». Это та даль, откуда не возвращаются: «Оба мы — песчинки в мирозданье. Больше мы не встретимся с тобой».

После этого Володя воскресает в поэме. Поэт вспоминает год рождения сына: «А в том году спокойном, двадцать третьем...» В том году поэт побывал в Берлине, городе, откуда впоследствии пришла смерть: «Он был набит тщеславием, как ватой, И смешан с маргарином пополам». Здесь родился и вырос ровесник сына — «Вотан по силе, Зигфрид по здоровью». Через двадцать лет он пошлет роковую пулю, но и сам погибнет в русских снегах. «Мой сын был комсомольцем. Твой — фашистом, — обращается поэт к тому, кто произвел на свет и воспитал будущего убийцу. — Мой мальчик — человек. А твой — палач». Это противопоставление приобретает в

[1] П. Антокольский, Чувство истории. — «Литература и искусство», 1943, 10 апреля.

поэме обобщающий смысл — поэт говорит не только о двух сыновьях, но о двух мирах, от чьей смертельной схватки целиком зависит будущее человечества.

«Сто раз погибнув и родившись снова, Мой сын зовет к ответу твоего», — после этих строк автор поэмы возвращается к мирным дням: «Идут года — тридцать восьмой, девятый. Зарублен рост на притолке дверной». Вот уже окончена школа. Перед сыном открыты все дороги, его ждет огромный мир творчества, любви, дружбы. Но праздник жизни трагически обрывается войной.

Вторая половина поэмы, где действие развивается в дни войны, написана с особой драматической силой. Скорбь о погибшем звучит в ней, по слову самого автора, «во весь рост выпрямившейся, побеждающей, предельно напряженной души».

Володя учится в Фергане, в артиллерийской школе: «Тогда он жил в республике восточной, Без близких и вне дома в первый раз». Уезжает из Москвы на фронт: «Пошли мы на вокзал — таким беспечным И легким шагом, как всегда вдвоем»; «Ну, а теперь еще раз, по-мужски. — И, робко, виновато улыбаясь, Он очень долго руку жмет мою». Погибает в бою: «В то же мгновенье разрывная пуля, Пробив губу, разорвалась во рту».

От образа сына поэт идет к образам его ровесников, ко всему его поколению. «Ты, может быть, встречался с этим рослым, Веселым, смуглым школьником Москвы...» — спрашивает он и тут же нетерпеливо повторяет свой вопрос:

А может быть, встречался ты и раньше
С каким-нибудь из наших сыновей —
На Черном море или на Ла-Манше,
На всей планете солнечной твоей.

Теперь в образе сына как бы собраны черты «всех подростков мира», борющихся против фашизма: «Уже он был жандармом схвачен в Праге, Допрошен в Брюгге, в Бергене избит», «Пойдем за ним, за юношей, ведомым По черному асфальту на расстрел».

Реквием по Володе Антокольскому превращается в реквием по миллионам его сверстников, так же, как и Володя, отдавших жизнь во имя победы над фашизмом.

Благодаря этому становится возможным и внутренне оправданным горестно-мучительный и глубоко выстраданный вывод:

Нет права у тебя ни на какую
Особую, отдельную тоску.
Пускай, последним козырем рискуя,
Она в упор приставлена к виску.

Не обольщайся. Разве это выход?
Всей юностью оборванной своей
Не ищет сын поблажек или выгод
И в бой зовет мильоны сыновей.

«Особая, отдельная» тоска приобретает общее значение. Острую боль, кажется, удалось унять, но тут же она разгорается с новой силой. В заключительной главе скорбь о погибшем продолжает нарастать и диктует потрясающие строки финала: «Прощай. Поезда не приходят оттуда. Прощай. Самолеты туда не летают». (Эта, быть может, самая замечательная строфа финала — в отличие от других, которые поэт много раз переделывал, — написалась сразу. В ней была сделана только одна поправка. Последняя строка сначала выглядела так: «А сны расплываются, снятся и тают». В окончательном тексте: «А сны *только снятся нам...*») [1]

Трагическая поэма «Сын» поистине способна «вывернуть человека наизнанку». Но автор ее прав: в конечном счете читатель поблагодарит его «за громовый урок о *вечном торжестве жизни*». Катарсис, очищение безысходной страшной болью — своего рода кульминация поэмы и в то же время ее внутреннее глубоко человеческое, гуманистическое оправдание:

И в том бою, в строю неистребимом
Любимые чужие сыновья
Идут на смену сыновьям любимым
Во имя правды, большей, чем твоя.

Вот что говорил о «Сыне» Н. Тихонов: «В дни войны вступают в строй и самые древние формы поэзии, которые, казалось бы, давно ушли в прошлое. Что мы помним о древних скальдах, сопровождавших дружины и слагавших свои песни на поле брани, славивших павших героев или звавших своей песней к мести? А вот мы читаем прекрасную поэму Павла Антокольского «Сын», о которой люди посвященные говорят, что это и есть песня скальда над могилой сына, павшего за родину. Вместе с тем поэма эта — не надгробная надпись, не эпитафия. Она говорит о нашей живой действительности» [2].

О. Берггольц назвала поэмы «Сын» Антокольского и «Василий Теркин» Твардовского «лучшими произведениями советской поэзии военных лет». Далее она сказала: «Лучшие вещи нашей литературы, в первую очередь произведения лирической поэзии, трагедийны и ис-

---

[1] Архив П. Г. Антокольского.
[2] Н. Тихонов, Советская литература в дни Отечественной войны. — «Литература и искусство», 1944, 12 февраля.

поведны. Вновь сошлюсь на «Сына» П. Антокольского. Эта поэма очень трагична — она не утешает, но зато очищает и утоляет» [1].

В уже упоминавшемся мною заветном ларце хранится множество писем, полученных Антокольским после выхода поэмы со всех концов нашей страны и из-за рубежа. Остановлюсь только на одном письме, пришедшем из Австралии.

В конверт вложена фотография с изображением памятника, воздвигнутого в Сиднее в честь погибших на войне. У подножия памятника груда цветов. На обороте фотографии написано: «6 июля 1947 года (пять лет со дня гибели Володи Антокольского. — *Л. Л.*) в Сиднее мы положили букет красного горошка в память Владимира Антокольского от матерей, сестер и жен „любимых чужих сыновей"» [2] (последние слова — из поэмы «Сын»).

Осенью 1943 года Антокольский дважды побывал на фронте — на только что освобожденной от врага Орловщине (в составе бригады, куда входили А. Серафимович, К. Федин, Б. Пастернак и Вс. Иванов) и под Киевом, где ожидались решающие бои (вместе с М. Бажаном, А. Копыленко и Ю. Яновским). Обе поездки оставили заметный след в его творчестве.

Вернувшись с Орловщины, Антокольский вскоре опубликовал цикл стихов «Осень 1943».

Армия шла по орловской земле,
Мимо развалин, заросших бурьяном,
Рвов перекопанных, кладбищ в золе,
Танков, потерянных Гудерианом.

(*«Армия шла»*)

Так же начиналась «Армия в пути»: «Армия шла по равнинам Брабанта...» Но эти строки, внешне столь похожие друг на друга, внутренне разделены дистанцией огромного размера. В «Армии в пути» бьют барабаны, шагают аркебузиры и лучники, слышатся воинственные кличи во славу гезов, но все это в конечном счете и придает поэме особенно мирный характер.

Совсем иное дело — «Осень 1943», включающая стихотворения «Армия шла», «Памяти Тургенева», «Жар-птица», «Леди Гамильтон», «В районе Жиздры». Здесь, как и в «Сыне», нет никаких театральных красок.

Во фронтовом дневнике Антокольского есть такая запись: «За вчерашний вечер ничего не произошло. Продрогли дико, глядя на „Леди Гамильтон"» [3].

---

[1] «Литературная газета», 1945, 26 мая.
[2] Архив П. Г. Антокольского.
[3] Там же.

Вероятно, стоило продрогнуть, чтобы потом написать:

В старом Брянском лесу, у могучих дубов,
Услыхали бойцы про чужую любовь.

И запели бойцы о своей дорогой,
Как прощались-клялись под крещенской пургой...

...Пусть оторван от милой на тысячу лет,
Пусть устал и небрит, раньше времени сед,

Пусть огнем опален, до костей пропылен...
Защищающий родину — трижды влюблен.

(«Леди Гамильтон»)

В 1946 году вышла «Третья книга войны» — последняя военная книга Антокольского. Главный ее раздел называется «От Орла до Берлина». Сюда включены стихи, написанные после трех фронтовых поездок (в 1944 году Антокольский побывал в армии, освобождавшей Белоруссию и вступившей в Польшу).

Книга вышла незадолго до пятидесятилетия автора. «Что же, старость — так старость. Посмотрим, куда она гнет...» — писал Антокольский. Его мысли о старости были особенно горькими из-за постоянной, непреходящей тоски по сыну (могилу его отец тщетно пытался найти во время поездки на Орловщину): «Но далёко мой мальчик уехал, куда — не сказал». Стихотворение, которое я цитирую («Что же, старость — так старость, нехитрая, кажется, вещь...»), малоизвестно, поэт никогда не переиздавал его. Оно проникнуто щемящей, безысходной грустью. Что же делать, если отцу суждено было справить торжество победы на тризне единственного сына.

Пройдет какое-то время — и трагическая тема сына найдет разрешение, своего рода катарсис в «Надписи на книге молодого». Это стихотворение сначала называлось «Поэзия». Все оно — от первой до последней строки — страстный монолог, обращенный к Поэзии:

Найди его в любой шинели рваной,
Без орденской колодки на груди.
Войди к нему неузнанной, незваной,
Пускай незваной — все-таки войди!..

...Не бойся зла, свершенного навеки,
И мертвых, мертвых, мертвых без числа,
Стоящих рядом с вами. Шире веки,
Поэзия! Ты сына понесла.

«После войны появились молодые поэты, пришедшие из армии и армией воспитанные, — писал однажды Антокольский. — Потрясающий душевный и исторический опыт стал темой их первых книг. Дружба и близость с ними сделались насущной потребностью для меня после войны» [1].

4

Конец сороковых и начало пятидесятых годов мало чем обогатили творчество Антокольского. Книги его выходили — «Избранное» (1947), «Стихи и поэмы» (1950), «Десять лет» (1953), — но включали в себя мало нового. То, что движение поэта замедлилось, объяснялось и некоторыми объективными обстоятельствами. В конце сороковых годов Антокольский попал под огонь резкой и несправедливой критики. Его обвинили в том, что он стал во главе поэтов, насаждающих и охраняющих декаданс. О его стихах говорилось, что они напоминают переводы с иностранного и почти не связаны с поэтической культурой русского народа.

Вряд ли сейчас есть необходимость опровергать эти обвинения — их давно опровергла сама жизнь. Но о них нельзя и промолчать — уже хотя бы потому, что они не могли не отразиться на работе поэта. Впрочем, надо отдать должное Антокольскому — при всей серьезности предъявленных ему обвинений он не терял оптимизма и ни на один день не прекращал работы. Это запечатлел Р. Гамзатов:

Казалось мне, что опустил ты руки,
Приемля незадачливый удел,
Но ты работал и в блаженной муке
На мир, как прежде, с удалью глядел...

(«Павлу Антокольскому».
Перевод Я. Козловского)

Именно тогда Антокольский задумал и начал писать большую поэму «В переулке за Арбатом». Она появилась в печати в 1954 году.

Это было уже не первое обращение Антокольского к жанру поэмы после «Сына». В 1948 году он написал к столетию «Манифеста Коммунистической партии» небольшую поэму «Тысяча восемьсот сорок восьмой» (впоследствии она была названа «Коммунистический манифест»). Подобно «французским» поэмам Антокольского, «Коммунистический манифест» проникнут ощущением исторической правомерности революционных преобразований, но оно отличается те-

[1] «Советские писатели», т. 1, с. 86.

перь большей зрелостью и помогает создать зримый образ Маркса, пишущего свой гениальный труд. Образ Маркса дан в поэме на фоне революционных событий во Франции: «И Маркс пришел сюда. В разгар событий, в упоенье, в схватку прений», «И в пламени багровом, Казалось, дома был, как под отцовским кровом».

Отношение поэта к историческим событиям стало более глубоким и зрелым, но в «Коммунистическом манифесте» отсутствует то, чем были сильны «Робеспьер и Горгона» и «Франсуа Вийон», — клокотание страстей, поэтическое упоение, «неизъяснимый сердца жар», как говорил Пушкин. В этом смысле «Коммунистический манифест» ближе к «Коммуне 1871 года».

Через два года после «Коммунистического манифеста» Антокольский задумал поэму «Океан», но она печаталась лишь в отрывках, была завершена позже и появилась в книге «Мастерская» (1958).

Поэма «В переулке за Арбатом» задумывалась эпически широко. Ее герой Ваня Егоров десятилетним мальчиком приезжает в Москву двадцатого года, попадает в детский дом, разместившийся в одном из дворянских особняков за Арбатом, мечтает строить парки, театры, памятники, трибуны. В детдоме на Ваню обращает внимание бородатый студент-историк Бороздин, своего рода двойник автора («И я служил в детдоме этом, Ребятам Пушкина читал, Не смел считать себя поэтом, Но о поэзии мечтал»).

Идут годы, Иван Егоров становится студентом, женится, в качестве инженера вступает в самостоятельную жизнь, участвует в войне, получает тяжелое ранение, после победы со славой возвращается домой, обнимает горячо любимую жену-актрису (так входит в поэму традиционная для Антокольского театральная тема) и в мирной жизни целиком отдается творчеству: «Вот, вот они — театры, арки, Трибуны, башни, корпуса Жилых домов, большие парки, Лесных массивов полоса...» На постройке школы Егоров после тридцатилетней разлуки встречается с Бороздиным: «Они глядят в глаза друг другу. Им нелегко найти слова. Над ними простирает руку Виды видавшая Москва».

Многое в поэме удалось — прежде всего, лирические отступления, посвященные довоенной, военной и послевоенной Москве.

Но читателю, уже привыкшему к тому, что в каждом произведении Антокольского кипят страсти, возникают острые трагические конфликты, сталкиваются миры, вспыхивают молнии внезапных догадок и неожиданных решений, поэма «В переулке за Арбатом» неизбежно покажется менее напряженной и драматичной, чем можно было ждать. Рассказанная в ней биография Ивана Егорова на первый взгляд выглядит как весьма типическая, но при ближайшем рассмотрении эта типичность оказывается скорее чем-то среднеарифме-

тическим и потому лишенным индивидуальности. По верному замечанию В. Луговского, поэма «В переулке за Арбатом» оказалась «несколько приглушенной в общем пламенном потоке творчества Антокольского»[1]. Говоря о ней, Луговской отмечал «теплоту образа героя»[2]. Но от поэзии мы вправе ожидать пламенности, а не теплоты.

Новый подъем в поэзии Антокольского начался во второй половине пятидесятых годов. Многие поэты старшего поколения пережили тогда как бы свою вторую молодость. Обычно это говорится прежде всего о В. Луговском, Л. Мартынове, Н. Заболоцком. В точно такой же мере это относится и к Антокольскому.

Книга «Мастерская» открывалась стихотворением, видимо, имевшим для его автора программный смысл:

Я спросил у самого себя:
Для чего мне эта мастерская?
Стены, окна, пол и потолок,
Книжные захламленные полки...

...Что мне дальше делать? Глину мять,
Сочинить роман о Дон-Кихоте,
Вырезать из дерева божка,
Напоследок в зеркало вглядеться?

(«Мастерская»)

Это отнюдь не риторические вопросы. На них необходимо ответить, чтобы осмыслить себя, свое место в жизни и поэзии.

В «Мастерской» Антокольский возвращается к своему старому стихотворению о Дон-Кихоте. В сущности, он пишет его заново. В образе Дон-Кихота он видит теперь то, чего не видел раньше: мужество, энергию, деятельное стремление к правде. Раньше Дон-Кихот у Антокольского предавался иллюзиям, был во власти прекраснодушно-лживых представлений о жизни. Теперь он готов к борьбе за торжество правды.

Среди стихотворений, впервые появившихся в «Мастерской», особое место занимает «Баллада о чудном мгновении».

Цитируя в книге «О Пушкине» строки из энциклопедии Брокгауза и Ефрона, посвященные Анне Петровне Керн («Она умерла в глубокой бедности. По странной случайности ее гроб встретился с памятником Пушкину, который ввозили в Москву»), Антокольский замечал: «По всей видимости, это сообщение всего только недосто-

---

[1] В. Луговской, Собр. соч., т. 3, с. 349.
[2] Там же.

верная легенда» [1]. Ну и что из того? Легенда, пусть и вовсе недостоверная, вызвала к жизни стихотворение, полное поистине неизъяснимой поэтической прелести. Рядом с печальным образом старой барыни, дожившей свои дни в безвестности и нищете, перед нами возникает словно отлитый из бронзы, сверкающий на солнце образ бессмертного поэта.

Необыкновенная — пусть и воображаемая! — встреча «нежно и грозно» обвенчала «смертный прах старухи с бессмертной бронзой». Чудное мгновенье этой встречи изображено с неподдельной энергией и силой:

И горячие кони били оземь копытом,
Звонко ржали о чем-то еще не забытом.
И январское солнце багряным диском
Рассиялось о чем-то навеки близком.

(«Баллада о чудном мгновении»)

Вслед за «Мастерской» одна за другой появляются книги Антокольского: «Сила Вьетнама» (1960), «Высокое напряжение» (1962), «Четвертое измерение» (1964), «Повесть временных лет» (1969). Каждая из них в той или иной степени отвечает на вопросы, заданные в стихотворении «Мастерская».

Поэзия Антокольского всегда отличалась «высоким напряжением» мыслей и чувств. Все, что поэт писал в шестидесятых годах, пронизано током вечно ищущей и вечно неудовлетворенной человеческой мысли, стремящейся понять время в его безостановочном движении, в постоянной смене прошлого настоящим и настоящего будущим. Для того чтобы понять время, поэт обращается к прошлому, осмысливает настоящее, заглядывает в будущее, пытается охватить весь современный ему, клокочущий социальными бурями, пестрый, разноплеменный мир.

Поэтическое мышление Антокольского достаточно сложно, но эта сложность непреднамеренна — в ней отражается интеллектуальная жизнь нашего современника, человека второй половины двадцатого столетия, которому ведомы и вечный огонь Прометея, и скульптуры Фидия, и полотна Босха, и яблоко Ньютона, и симфонии Бетховена, и открытия Эйнштейна.

Весь мир для Антокольского — огромная мастерская, где человек разгадывает вековые тайны материи, ищет на поверхности планет давно исчезнувшие города, различает в картине микромира бег частиц и колебания волн. Но с особой силой влечет его к себе, цели-

---

[1] Собр. соч., т. 3, с. 239.

ком поглощает, постоянно заставляет размышлять о нем древнейший и неотразимо прекрасный вид человеческого творчества — искусство. «Искусство не ждет приглашений», «Рождение искусства», «Конец искусства», «Поэзия», «Черновик», «Жизнь поэта», «Старый скульптор» (стихотворение, посвященное М. М. Антокольскому), «Баллада о поэзии», «Иероним Босх», «Рабы Микеланджело», «Пикассо», «Шекспир», «Памяти Эсхила», «Фламандская школа», «Циркачка», «Замысел», «Экспрессионисты», «Эдмонд Кин», «Ольге Берггольц» и т. д., и т. п. Я перечисляю только те стихи, уже одни названия которых говорят сами за себя.

Может возникнуть вопрос: не слишком ли много стихов о поэтах, живописцах, скульпторах, актерах и прочих служителях муз? Не ограничивает ли традиционное и давнее пристрастие Антокольского к теме искусства жизненный диапазон его поэзии?

Но в трактовке Антокольского тема искусства всякий раз оказывается шире самой себя и становится символом неиссякаемого духа творчества, проникающего во все поры человеческого существования. Искусство для Антокольского прежде всего — духовный подвиг, безраздельная поглощенность творчеством, одна из наивысших форм служения обществу. Антокольский всегда так или иначе утверждает свой идеал человеческой личности: волю к творчеству, жажду риска, одержимость идеей, совершенство мастерства.

Давно отмечено, что Антокольский был, как никто из современных поэтов, одарен способностью перемещения во времени и пространстве.

Так, например, оказавшись в бельгийском городе Дамме, поэт тотчас вспоминает гезов, борцов за свободу Франции.

Бельгийские баллады возникли через сорок лет после стихов о Швеции, Германии, Франции. Но зрение поэта не стало менее острым, темперамент не оскудел, сила обличения не только не притупилась, но приобрела новый оттенок — сатирический. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть любую из бельгийских баллад — «Балладу о пропаганде», где Старый Скептик и Буржуа развертывают свое убийственно саморазоблачительное кредо, «Балладу о поэзии», где звучит злая издевка над кабинетно-магнитофонной профанацией поэтического творчества, или «Балладу сюрреалистическую», где поэт, используя ультрасовременные литературные приемы, посмеивается и над ними, и над всем торгашески-манекенным миром, который предстал перед ним дождливой ночью на улицах ярко освещенной бельгийской столицы.

Чувство времени, чувство истории — таков тот «магический кристалл», овладев которым Антокольский, собственно, и стал самим собой, тем Антокольским, чья поэзия неотъемлемо вошла в советскую литературу.

В книге «Четвертое измерение» есть раздел «Путевой журнал», посвященный Адриатике. На первый взгляд, он лишен прямой связи с общим идейным замыслом книги, чей главный герой — Время. На самом же деле каждое стихотворение — и «Адриатика впервые», и «Адриатика в полдень», и «У Диоклетиана», и «Сараево, 1914» — продиктовано все тем же чувством истории, чувством времени.

Оказавшись в Сараеве, Антокольский, естественно, вспоминает о Гавриле Принципе. Не только потому, что поэт вообще привык мыслить историческими ассоциациями, но и потому, что выстрел в Сараеве занимал его на протяжении многих лет. Речь о нем так или иначе шла и в других произведениях: «1914» (вошло в книгу «Запад»), «Кощей» и — несколько позже — «Пикассо».

В «Четвертом измерении» Антокольский пишет о замысле своей книги: «Пускай он не современный, он все-таки своевремен».

Подлинно современным делают поэта не свободный стих и корневая рифма, а характер и тип мышления. Это в свое время с полной убедительностью доказала, например, книга Я. Смелякова «День России». Одна из лучших статей об этой книге принадлежит Антокольскому. Она заканчивается четверостишием Смелякова, выбранным, конечно, не случайно:

Мне этой радости доныне
Не выпадало отродясь.
И с каждым днем нерасторжимей
Вся та преемственность и связь.

(*«История»*)

Слово «история» Смеляков стал писать с большой буквы. Кто, как не Антокольский, должен был тотчас заметить это и обрадоваться от всей души. Его полку прибыло!

Отличительная черта Антокольского второй половины пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов — торжество исторического мышления. Именно благодаря своему *историзму* и «Высокое напряжение» и «Четвертое измерение» по праву должны быть названы книгами *современными.*

«Высокое напряжение» — современная книга не только потому, что в ней есть стихи о полете Юрия Гагарина. Даже тихие лирические пейзажи увидены глазами поэта, полностью принадлежащего современности:

Два века — нынешний и прежний —
Горды соседством и собой, —
Антенна рядом со скворешней
Над подмосковною избой.

Но, протянув друг дружке руки,
Две разных палки врозь торчат.
Ждут телевиденья старухи,
А внуки пестуют скворчат.

(«Антенна и скворешня»)

«С тобою, время неистовое, Я жизнь мою перелистываю» — так Антокольский начинает книгу «Четвертое измерение» и так начинается диалог с временем, идущий на всем ее протяжении.

Этот диалог продолжается и в поэме «Пикассо». Логически говоря, поэт рассказывает о том, как Пикассо создал своего знаменитого Голубя. Но как мало дает это логическое определение!

В образе молнии, ударившей в глаза художнику и осветившей для него весь мир, Антокольский соединяет и динамическую картину века с его непримиримыми противоречиями, и мгновенное творческое озарение, внезапно открывающее глаза художнику на все, что его окружает. «Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы!» Думаю, не ошибусь, если скажу, что тень пушкинского «Пророка» витала над Антокольским, когда он писал «Балладу молнии».

В одной из статей, опубликованных после выхода книги «Четвертое измерение», Антокольский, характеризуя свою музу, подчеркивал, что она «и на склоне лет осталась служанкой истории».

Это подтвердила поэма, над которой он тогда начал работать, — «Повесть временных лет». По замыслу автора, она должна была «вместить в себя всю его жизнь, а значит, и события нашего века» [1]. Недаром эпиграфом к ней были взяты слова пушкинского Пимена: «На старости я сызнова живу, Минувшее проходит предо мною...»

Однако задуманного широкого историко-биографического полотна, к сожалению, не получилось. Поэтическую летопись своей жизни Антокольский оборвал, в сущности, на прологе.

С «Повестью временных лет» связан законченный примерно тогда же «Венок сонетов. 1920—1967», вошедший в цикл «Зоя Бажанова». В нем поэт оглядывается на пройденный им путь длиною почти в полвека. Если угодно, это продолжение «Повести временных лет». Но в «Повести...» поэт развертывал неторопливое эпическое повествование, а сонетная форма диктовала ему совсем другую интонацию: романтическую, приподнятую, эмоционально насыщенную, порой торжественную:

Пусть запылают звездные огни!
Громады солнц, махины мировые,
Для нас одних зажженные впервые,
Предвидят наши судьбы искони.

---

[1] «Литературная Россия», 1966, 18 ноября.

В конце шестидесятых годов Антокольского постиг тяжелый удар: 30 декабря 1968 года скоропостижно скончалась Зоя Константиновна Бажанова, его жена и верный друг, безотлучный спутник почти полувека его жизни.

Сказать, что Зоя Бажанова была женой и другом Антокольского, еще не значит определить место, которое она занимала в его жизни и поэзии. Она была не только женой, не только другом, не только музой, наконец. Стихи и поэмы не только посвящались ей. Они *о ней писались.* «А ты не вымысел, не музыка, не муза. Ты и не девочка. Ты просто жизнь моя!» — восклицал Антокольский.

31 декабря 1968 года Антокольский начал работу над поэмой о Зое Бажановой и закончил ее в марте 1969 года. В том же году вышла его книга «Повесть временных лет». В ней был раздел «Зоя Бажанова», куда вошли одноименная поэма и «Венок сонетов. 1920—1967».

В поэме стремительно сменяли друг друга картины совместно прожитой долгой счастливой жизни. Особенной драматической силы поэма достигала, когда на ее автора обрушивался беспощадно страшный удар войны: известие о гибели сына. Новая не менее страшная потеря, пришедшая через четверть века, диктовала поэту строки, полные сдержанной и тем более щемящей скорби:

...Узнав про гибель сына моего,
Тебе я отдал смятый треугольник.

. . . .

Ты встретишь в беспредельности его,
Разговоришь молчанье безглагольных
И озаришь хоть на мгновенье тьму.
И если тьма прислушается немо,
И если можешь — страшную поэму
Вслух прочитаешь сыну моему.

В статье «У себя дома» Антокольский писал: «Минуя пятидесятые и шестидесятые годы, как время относительной нормы, минуя написанные тогда вещи, даже очень важную книжку «Четвертое измерение», я хочу сказать о важнейшем и в жизни и в поэзии, то есть вспомнить только одну поэму — „Зоя Бажанова“» [1].

Написав и напечатав эту поэму, Антокольский не мог расстаться с тем, что столько лет наполняло и освещало его жизнь. «Но как же о тебе могу забыть я, Когда все дни и ночи, все событья Глядят, гля-

---

[1] П. Антокольский, Путевой журнал писателя, с. 299.

дят, глядят в твои глаза!» — это строки из стихотворного цикла «После поэмы», Антокольский работал над ним весь 1969 год. Не писать о Зое он не мог. Книга «Ночной смотр» (1974) открывается тремя стихотворениями, в каждом из которых так или иначе поминается ушедшая. Новые стихи о Зое Бажановой вошли и в последнюю книгу Антокольского — «Конец века» (1977). Незаживающая рана кровоточит в стихотворениях «Кладовая», «Только ритм», «Последнее прибежище» — подобной трагической силы Антокольский достигал, пожалуй, только в «Сыне».

Долго жить в атмосфере такого отчаяния попросту невозможно. В одном из стихотворений, вошедших в цикл «После поэмы», есть такие строки:

Прости за то, что я так стар,
Так нищ, и одичал, и сгорблен.
И всё же выдержал удар
И не задохся в душной скорби.

Прости за то, что не могу
Опять с тобой соединиться,
Что вечно бодрствует в мозгу
Седая зимняя денница.

К великой чести старого поэта должно сказать, что он «выдержал удар И не задохся в душной скорби». Труд его продолжал спориться, да еще как!

Выше уже говорилось, что на протяжении многих лет Антокольский в своем творчестве тяготел к трагическому в жизни и искусстве. За последние годы его работы это тяготение приобрело новую окраску. Оно все чаще выражалось в обращении к *сказочному.*

Вообще говоря, сказка давно влекла к себе Антокольского. Достаточно вспомнить его раннюю драматургию: «Куклу инфанты» (это ее цитирует в своей «Повести о Сонечке» М. Цветаева: «Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти, Лишь только бы мне знать, Что будут на меня глядеть твои глаза...»), «Обручение во сне», «Пожар в театре». В сущности, в том же ряду и знаменитая «Баллада о чудном мгновении». В этом смысле не только не случайна, а глубоко закономерна и единственная книга прозы Антокольского — «Сказки времени» (1971).

В статье «Образ времени в поэзии» — она открывает «Путевой журнал писателя» — Антокольский писал: «На что был учен, трезв, осторожен лучший русский историк Василий Осипович Ключевский, но ведь и он обмолвился крылато: „Сказка бродит по всей нашей ис-

тории“»[1]. Бродила она с некоторых пор и по всему творчеству Антокольского.

Это подтверждается книгой «Ночной смотр». В ней есть раздел, так и озаглавленный: «Сказки». В него входят «Похищение Европы», «Калиостро», «Манон Леско». В одном из них содержатся строки, мимо которых нельзя пройти, настолько они характерны для Антокольского семидесятых годов:

Пора! Пора! Еще ничто не ясно.
Воображенье — лучший проводник.
Весь мир воображеньем опоясан.
Он заново разросся и возник.

(«Калиостро»)

«Весь мир воображеньем опоясан» — эти слова выражают то юношески свежее, острое, если хотите, романтическое ощущение заново возникшего и разросшегося мира, которое было характерно для Антокольского в последние годы его жизни.

В книгу включена поэма «Кубок Большого Орла», куда, кстати сказать, перекочевал эпиграф из Ключевского (он был предпослан также полной трагизма поэме «Княжна Тараканова» — о горестной судьбе таинственной авантюристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Разумовского, за внучку Петра, за сестру Пугачева). Поэт как бы заранее предупреждает, что нам предстоит встреча со сказкой.

Однако поначалу ничто не предвещает этой встречи. «Здесь шла история России, Шла, как могла, — вразброд, навзрыд» — такими словами начинает поэт свое неторопливое повествование, охватывающее и путь из Варяг в Греки, и дружину Святослава, и литовца Витовта, и Ивана Третьего, и Ивана Четвертого, прозванного Грозным, и Тушинского вора. С особым подъемом написаны главы о Петре. Для автора поэмы жизнь Петра — один из узловых, решающих этапов русской истории. Петр — один из тех ее героев, которыми всегда было особенно поглощено его воображение.

Предпринятый поэтом широкий исторический обзор внезапно прерывается фантастической сценой «Всешутейшее действо». Мы попадаем в 1700 год. К шведскому королю, юному Карлу XII, в палатку под Нарвой является... репортер «Ньюс Геральд», юноша XX века в «помятом пиджаке и узких брюках». Вскоре Карл превращается в свой бронзовый памятник на одной из площадей современного Стокгольма. Действие неожиданно переносится на берега Невы, в Эрмитаж, где Восковая Персона становится живым Петром. Возни-

---

[1] П. Антокольский, Путевой журнал писателя, с. 18.

кает некое чучело, именующее себя Хроносом. В конце концов оно оказывается... автором поэмы. Так извилистыми путями поэтической фантастики Антокольский вновь и вновь приходит к своим постоянным размышлениям о времени, подтверждает прочно установившуюся за ним репутацию поэта истории.

И автор в призраках нетвердых
Узнает всех живых и мертвых,
Кого любил он, с кем дружил.
Он вспомнит белое каленье
Октябрьского поколенья,
Чей он слуга и старожил.

Слуга и старожил Октябрьского поколения — право на такую автохарактеристику Антокольский завоевал долгими годами своей поистине самоотверженной работы в советской поэзии.

В книгу «Ночной смотр» вошел большой раздел «Очей очарованье». Он состоит из лирических стихотворений начала семидесятых годов. Некоторые из них по силе поэтического чувства, по остроте переживания, по напряженности лиризма не уступают лучшим лирическим стихам молодого Антокольского.

Каждая строка цикла «Очей очарованье» проникнута едкой горечью поздней любви: «Ну и пускай! Мне нечего терять, Ее обрадовать мне нечем, — Вот разве что со лба крутую прядь Дыханьем сдунуть сумасшедшим». Заканчивается стихотворение трагическими словами: «Последнее прибежище мое — Моя проклятая живучесть». Эти слова прямо ведут нас к стихотворению «Последнее прибежище» — оно вошло в последнюю книгу Антокольского «Конец века». В ней собраны стихи середины и второй половины семидесятых годов.

Последняя книга Антокольского, как и каждая его книга, полна напряженных размышлений о времени и о человеке.

В стихотворениях «Конец века», «Приключения фантаста», «Колодец», «Погоня» Антокольский именно размышляет, думает, если хотите — философствует.

Осталось четверть века — и простится
Земное поколение с двадцатым.
Погаснет век, сверкавший нам жар-птицей,
Но, черт возьми, куда же до конца там!

Так он начинает стихотворение «Конец века», в котором «двадцатый век, встречая двадцать первый, Не тормозит и на последнем въезде». Ибо у кончающегося века дел еще невпроворот: в стройном мирозданье он разглядел «опасные пробелы», разослал письма по вселен-

ной, и, может быть, где-то там, в открытом космосе, «люди жаждут братской переклички».

В то же время нельзя сказать, что внимание Антокольского целиком поглощено размышлениями этого рода. Он не забывает и о землянах. Новую грань в его поэзии открывает «Неотправленное письмо». Это своего рода инвектива. Человек, судя по всему еще не старый, потерял себя: «Как же это случилось? Откуда Взгляд потухший, растерянный смех?» В стихотворении «Другой» речь идет о двадцатилетнем волосатом молодом человеке «в линялых джинсах». Между ним и самим поэтом нет пропасти:

Как часто моды ни меняй,
Какой заразе ни подвержен,
Как ни рассержен, как ни сдержан —
А смахивает на меня!

Заканчивая стихотворение этим лукавым, озорным восклицанием, старый поэт, прошедший за свою жизнь огонь, воду и медные трубы («Бывал же я переобучен Раз двадцать на своем веку. Бывал не раз перекалечен. . .»), как бы дает понять, что длинные волосы, линялые джинсы, рассерженный вид — все это ничего, в сущности, не определяет и не дает права окончательно судить о человеке.

В начале семидесятых годов, отдавая дань памяти И. Сельвинского, Антокольский писал: «Крушение такой жизни похоже на то, когда от подземного толчка обрушивается в океан скалистый остров с многолюдными гаванями и причальными дамбами, с маяками, дающими сигналы кораблям» [1].

Теперь мы можем отнести эти слова к нему самому.

Без малого шестьдесят лет работал Антокольский в советской поэзии и оставил после себя то, что всегда оставляет каждый подлинный мастер: тома сочинений, отмеченных печатью глубокого ума, яркого таланта, высокой культуры; множество учеников, принадлежащих к самым разным поколениям и в свою очередь выделивших из своей среды зрелых мастеров.

В свое время Антокольский, пользуясь его же собственным выражением, *крылато* обмолвился, что на протяжении сорока лет работы в литературе он прожил *четыре* жизни. При всей само собой разумеющейся иносказательности этих слов мне показалось соблазнительным назвать так статью, напечатанную в «Новом мире» к семидесятилетию Антокольского, а впоследствии и книжку о нем.

Но с некоторых пор Павел Григорьевич неожиданно стал возражать против названия — а значит, и построения — моей книжки.

---

[1] Архив автора этих строк.

16 июля 1966 года он писал мне: «Совсем не хочу и не могу поддерживать версию о «четырех жизнях», якобы прожитых мною. Деление это условно и произвольно. Я прожил только *одну* жизнь. Потому что больше всего дорожу «чувством пути», а он был абсолютно непрерывным и никаким иным быть не мог. Вы спросите, откуда же в предисловии к двухтомнику 1961 года появилась эта версия о двадцатых, тридцатых и так далее годах... Право, теперь уже трудно объяснить, как это произошло. Может быть, для удобства читателей, чтобы они легче воспринимали разделы книги».

В кратком обращении к читателям, предварявшем его книгу «Время», говорилось: «Десять лет назад я писал: «Иногда мне кажется, что за сорок лет я прожил не одну, а по меньшей мере четыре жизни...» И разделил эти «четыре» на десятилетия: двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы литературной работы. Действительно, десятилетия сами по себе были очень разные, резко отличались одно от другого. Но жизнь у меня, как у всякого другого человека, была одна-единственная, так что утверждение о каких-то четырех не соответствует истине» [1].

К теме «четырех жизней» Антокольский еще раз вернулся в дневниковой записи от 21 февраля 1978 года (после его смерти выяснилось, что в шестидесятые и семидесятые годы он систематически вел дневник). Получив от меня накануне второе издание книги о нем, он записал: «Льву Ильичу не удалось отказаться от «четырех жизней», хотя если так, то следовало бы отхватить по меньшей мере пять, а то и шесть, и семь... Уж восемь-то наверняка жизней я прожил» [2]. Эта запись оказалась последней — на ней дневник оборвался. 9 октября 1978 года Павла Григорьевича не стало.

Почему же Антокольский подверг столь суровой ревизии свои собственные слова и так настойчиво возражал против того, что я воспользовался его *крылатой* обмолвкой? Дело было, видимо, в том, что он опасался, как бы его воображаемые четыре жизни не были обособлены друг от друга, как бы не потерялось ощущение непрерывности и цельности пройденного им пути. Недаром в письме ко мне (от 8 мая 1966 года) Павел Григорьевич писал: «Мне хочется убедить Вас в том, что на протяжении пятидесяти лет (!) в моем творчестве (лучше сказать: в *работе*) все было очень органично связано: аукнулось в 20-х годах, откликнулось в 50 или 60-х».

В одном из ранних стихотворений Антокольского песня обращается к поэту:

---

[1] П. Антокольский, Время. Стихи и поэмы, М., 1973, с. 4.
[2] Архив П. Г. Антокольского.

— Вот я стучу в окно твое крылами.
Возьми меня, летучую как пламя,
Всю сразу, с сердцевинкой голубой.
Сложи меня из лучших слов на свете.
— Как мне тебя услышать?
— Слушай ветер!
— Как быть тебя достойным?
— Будь собой!

(«Рождение песни»)

Антокольский имел право на такие слова, потому что на протяжении всей своей долгой жизни в литературе действительно оставался самим собой. Поэтому он и писал, что *больше всего дорожит* «чувством пути».

Последние книги Антокольского — «Ночной смотр» и «Конец века» — еще и еще раз показали, насколько органичен и последователен был его путь в поэзии, насколько он остался верен себе и в тех книгах, которым суждено было завершить его поэтическую судьбу.

Один из важнейших разделов Собрания сочинений Антокольского — «Середина века» — открывается стихотворением «Поэт и время». Оно имеет программное значение, хотя Антокольский и писал мне однажды, что «термин «программный» в применении к тем или другим стихам звучит как-то диковато, чужеродно вообще для поэзии. Программными в ней бывают манифесты». Но как не назвать программными такие, например, строки:

Мой выбор сделан издавна.
Меж девяти сестер одна
Есть муза грозной правоты,
Ее суровые черты,
Ее руки творящий взмах
И в исторических томах,
И на газетной полосе.
Она мне диктовала все
Стихи любимые. И с ней
Мой труд страстней, мой путь ясней.

Муза грозной правоты — муза Истории.

В течение более полувека паруса поэзии Антокольского были полны ветром Истории. За это время неузнаваемо изменилась жизнь, окружающая поэта, изменились и его стихи, прошедшие через все перевалы эпохи. Неизменным осталось только одно — служение духу Творчества, высшим выражением которого всегда были для поэта революционные свершения народа, борющегося за новую жизнь на земле. Судьба народа была судьбой поэта.

Л. Левин

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Как здесь, где петухам лишь впору биться,
Вместить равнины Франции? Иль скучить
Здесь в деревянном «О» хотя бы шлемы,
Наведшие грозу под Азинкуром?
Простите же! Но если рядом цифр
На крохотном пространстве миллионы
Изобразить возможно, то позвольте
И нам, нулям ничтожным в общей сумме,
Воображенья силу в вас умножить.

Шекспир

1. НА РОЖДЕНИЕ МЛАДЕНЦА

Модели, учебники, глобусы, звездные карты и кости,
И ржавая бронза курганов, и будущих летчиков бой...
Будь смелым и добрым. Ты входишь, как в дом,
во вселенную в гости,
Она ворохами сокровищ сверкает для встречи с тобой.

Не тьма за окном подымалась,
не время над временем стлалось —
Но жадно растущее тельце несли пеленать в паруса.
Твоя колыбель — целый город и вся городская усталость,
Твоя колыбель развалилась — подымем тебя на леса.

Рожденный в годину расплаты, о тех,
кто платил, не печалься.
Расчет платежами был красен:
недаром на вышку ты влез.

Недаром от Волги до Рейна, под легкую музыку вальсов,
Под гром императорских гимнов,
под огненный марш марсельез,

Матросы, ткачи, инженеры, шахтеры,
застрельщики, вестники,
Рабочие люди вселенной друг друга зовут из-за гор,
В содружестве бурь всенародных и в жизни
и в смерти ровесники, —
Недаром, недаром меж вами навек заключен договор.

Так слушай смиренно все правды, обещанные в договоре.
Тебя обступили три века шкафами нечитанных книг.
Ты маленький их барабанщик,
векам выбивающий зорю,
Гремящий по щебню и шлаку и свежий,
как песня, родник.

1920, ⟨1929⟩

Неизвестные солдаты

2. ИЮЛЬ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ГОДА

С полудня парило.
И вот
По проводам порхнула искра.
И ветер телеграмму рвет
Из хилых рук премьер-министра.
Над гарью городов гроза.
Скатилась жаркая слеза
По каменной скуле Европы.
Мрачнеют парки. Молкнет ропот.
И пары прячутся.
И вот
Тот выстрел по австрийской каске,
Тот скрюченный громоотвод.
И лиловеет мир, как в сказке.
Еще не против и не за,
Глядит бессмысленно гроза
И дышит заодно со всеми.

Внизу — кровати, книги, семьи,
Газоны, лошади...
                                        И вот
Черно на Марне и на Висле.
По линии границ и вод
Кордоны зоркие нависли.
Скосив огромные глаза,
В полнеба выросла гроза.
Она швыряет черный факел
В снопы и жнивья цвета хаки.
Война объявлена.

1924

3. КУСОК ИСТОРИИ

А океан бил в берега,
Простой и сильный, как и раньше.
А ураган трубил в рога
И волны гнал назад к Ла-Маншу.

Под звон цепей, под лязг вериг,
В порывах пара, в мчанье тока,
От Дувра до Владивостока
Метался старый материк:

Казармы, банки, тюрьмы, храмы
Черным-черны, мертвым-мертвы.
Избороздили землю шрамы —
Траншей заброшенные рвы.

Здесь были войны, будут войны.
Здесь юноши на первый взгляд
Вполне послушны и пристойны,
Они пойдут, куда велят.

Они привыкнут к дисциплине,
И, рвеньем доблестным горя,
Они умрут в траншейной глине
За кайзера и за царя.

В Санкт-Петербурге иль в Берлине
Не спят штабные писаря,

Иль железнодорожных линий
Поблескивают стрелки зря...
Они умрут в траншейной глине
За кайзера и за царя.

Куда ни глянешь — всюду тот же
Зловещий отблеск непогод.
Век свое отрочество отжил.
Ему четырнадцатый год.

⟨1956⟩

4. МОЛОКО ВОЛЧИЦЫ

* * *

Прочтя к обеденному часу,
Что пишут «Таймс» и «Фигаро»,
Век понял, что пора начаться,
Что время за него горой.

Был выпуск экстренный не набран.
Был спутан телеграфный шифр
С какою-то абракадаброй.
И тучи, засветло решив
План дислокации, дремотно
Клубились вкруг его чела.

В дыму легенд, в пыли ремонтов
Европа слушать начала:
Откуда пыль пылит? Иль мчится
За ней гонец?
                    Как вдруг — бабах!..
Век знал, что некогда учиться,
Знал, что гадает на бобах,
Что долго молоко волчицы
Не просыхает на губах.

Что где-то там Джоконды кража,
Процесс Кайо и прочий вздор,
Что пинкертоновского ража
Ему хватало до сих пор

И на бульварный кинофильм,
И на содружество гуляк,
Что снится ночью простофилям
Венец творения — кулак.

Век знал, что числится двадцатым
В больших календарях. Что впредь
Все фильмы стоит досмотреть, —
Тем более что нет конца там

Погоне умных за глупцом.
И попадет на фронт Макс Линдер,
Сменив на кепи свой цилиндр,
Но мало изменясь лицом.

* * *

В миазмах пушечного мяса
Роился червь, гноился гнев.
Под марлей хлороформных масок
Спал человек, оледенев.

Казалось без вести пропавшим,
Что вместе с ними век пропал.
Казалось по теплушкам спавшим,
Что вместе с ними век проспал.

О, сколько, сколько, сколько всяких
Живых и мертвых лиц внизу!
Мы все, донашивая хаки,
Донашиваем ту грозу.

Гроза прочна, не знает сносу.
Защитный не линяет цвет.
Век половины не пронесся
Ему сужденной сотни лет.

Он знал, что не по рельсам мчится.
Знал, что гадает на бобах,
Что долго молоко волчицы
Не просыхает на губах.

* * *

Бедняк. Демократ. Горожанин.
Такой же, как этот иль тот.
Он всех нецензурных пустот
Почуял в себе содержанье.

Он видел, как статуи слав
От львиного рыка Жореса
Внезапно лишаются веса
И — рушатся, голос послав
Потомкам своим.
                    Кто подскажет,
Как жить и что делать? Никто?
. . .Он прет, распахнувши пальто,
За нацией.
          Ну и тоска же!

И вот он расчесан, как зуд.
И занумерован под бляхой.
И вот. Как ни вой. Как ни ахай.
Вагоны. Скрипят. И ползут.

* * *

Москва. Зима. Бульвар. Черно
    От книг, ворон, лотков.
Всё это жить обречено.
    Что делать! Мир таков.

Он мне не нравился. И в тот
    Военный первый год
Был полон медленных пустот
    И широчайших льгот.

Но чувствовал глубокий тыл
    Квартир, контор, аптек,
Что мирных дней и след простыл,
    Просрочен давний чек.

И все профессии равно
    Бесчестны и смешны
Пред бурей, бьющейся в окно,
    Перед лицом войны.

⟨1961⟩

5. МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

И тьмы человеческих жизней, и тьмы,
И тьмы заключенных в материю клеток,
И нравственность, вбитая с детства в умы...
Но чей-то прицел хладнокровен и меток.

Наверно, секунд еще десять в мозгу
Неслись перелески, прогалины, кочки,
Столбы, буераки, деревья в снегу..
Но всё убыстрялось, не ставило точки,
Смещалось...
Пока наконец голова
Не стукнулась тыквой в ничто.
И вот тут-то

Бессмертье свои предъявило права.
Обставлено помпой, рекламой раздуто,
Под аркой Триумфа для вдов и сирот
Горит оно неугасимой лампадой,
И глина ему набивается в рот.

Бессмертие! Чтимая церковью падаль.
Бессмертие! Право на несколько дат.
Ты после войны для того и осталось,
Чтоб крепко уснул Неизвестный Солдат.
Но он не уснет. Несмотря на усталость.

⟨1932⟩

6. РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА

Был тусклый зимний день, наверно.
В нейтральной маленькой стране,
В безлюдье Цюриха иль Берна,
В тревожных думах о войне,
Над ворохами русских писем,
Над кипой недочтенных книг —
Как страстно Ленин к ним приник!
Как ледяным альпийским высям
Он помыслов не доверял!
Как выше Альп, темнее тучи
Нагромождался матерьял
Для книги, медленно растущей!

Сквозь цифры сводок биржевых
Пред ним зловеще проступала
Не смытая с траншей и палуб
Кровь мертвецов и кровь живых.
В божбе ощерившихся наций,
Во лжи официальных фраз
Он слышал шелест ассигнаций
В который раз, в который раз.
Он слышал рост металлургии
И где-то глубоко внизу —
Раскаты смутные, другие,
Предвозвещавшие грозу.
Во мраке жарких кочегарок,
В ночлежке жуткой городской
Он видел жалостный огарок,
Зажженный трепетной рукой,
И чье-то юное вниманье
Над книгой, спрятанной в ночи,
И где-то в пасмурном тумане
Рассвета близкого лучи.

Во всей своей красе и силе
Пред ним вставали города
И села снежные России, —
О, только б вырваться туда!

Ему был тесен и несносен
Мещанский край, уютный дом.
Он жадно ждал грядущих весен,
Как ледокол, затертый льдом.

В его окно гора врезалась
В литой серебряной резьбе.
И вся история, казалось,
С ним говорила о себе.

С ним говорило мирозданье,
С ним говорил летящий век.
И он платил им щедрой данью
Бессонных дум, бессонных век.

И Ленин ждал не дня, а часа,
Чтобы сквозь годы и века
С Россией новой повстречаться,
Дать руку ей с броневика.

⟨1956⟩

7. МЫ НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ

И год и два прошли. Под хриплый
Враждебный крик
Со дна времен внезапно выплыл
Наш материк.
Шестую часть планетной суши
Свет пронизал.
Ударил гул «Авроры» в уши
Дворцовых зал.
Взвивайся в честь октябрьской даты,
Знаменный шелк!

Мы Неизвестные Солдаты.
Наш час пришел.
Мы, что на Висле иль на Марне,
В грязи траншей,
В госпиталях, в кровавой марле,
Кормили вшей, —
Мы — миллионы в поколенье
Живых мужчин.
Идти в растопку, как поленья,
Нам нет причин.

Пройдет и десять лет, и двадцать,
И сорок лет, —
Молиться, кланяться, сдаваться —
Нам смысла нет!

⟨1956⟩

Кубок Большого Орла

8. ПЕТР ПЕРВЫЙ

В безжалостной жадности к существованью,
За каждым ничтожеством, каждою рванью
Летит его тень по ночным городам.
И каждый гудит металлический мускул
Как колокол. И, зеленеющий тускло,
Влачится классический плащ по следам.

Он Балтику смерил стальным глазомером.
Горят в малярии, подобны химерам,
Болота и камни под шагом ботфорт.
Державная воля не знает предела,
Едва поглядела — и всем завладела.
Торопится Меншиков, гонит Лефорт.

Огни на фрегатах. Сигналы с кронверка.
И льды как ножи. И, лицо исковеркав,
Метель залилась — и пошла, и пошла...
И вот на рассвете пешком в департамент
Бредут петербуржцы, прильнувшие ртами
К туманному Кубку Большого Орла.

И снова — на финский гранит вознесенный —
Второе столетие мчится бессонный,
Неистовый, стужей освистанный Петр,
Чертежник над картами моря и суши,
Он гробит ревижские мертвые души,
Торопит кладбищенский призрачный смотр.

1921, ⟨1966⟩

9. ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ

Величаемый вседневно, проклинаемый всенощно,
С гайдуком, со звоном, с гиком мчится
в страшный Петербург,
По мостам, по льду речному мчится, немощный
и мощный,
И трубит хмельной фельдъегерь в крутень
пустозвонных пург.

Самодержец всероссийский!
Как же так, какой державе
Сей привиделся курносый и картавый самодур?
Или скифские метели, как им приказал Державин,
Для него оберегали трон богоподобных дур?

Что же это за фигурка неказистая маячит,
Чей там каркающий голос сорван ветром на плацу?
Он огонь очами мечет, он трусливо очи прячет,
Он не по сердцу России, Петербургу не к лицу.

Мчится время, облетая многоверстное пространство.
Ждут заморские державы смутно чаемой грозы.
Глухо мается крестьянство.
Между тем уже дворянство
Разбирает по казармам грозной азбуки азы.

Наступает час расплаты. И в тишайшую из спален
Вламываются гвардейцы, стряхивают мокрый снег.
Громогласно и раздельно говорит царю фон Пален:
«Отдавайте, сударь, шпагу, бросьте шутки,
что за смех!»

Столбенеет самодержец, очи мертвенные пучит,
Хнычет, милости канючит, прячет мертвенный смешок.
Но на шее шарф закручен, он его дышать отучит.
Выпотрошен Павел Первый, брошен на пол, как мешок.

И отпетый, будто вправду помер от апоплексии,
Вылупляет очи слепо из-под вывернутых век.
Солнце мартовское скупо освещает снег России.
Господа Сенат встречают манифестом новый век.

1917, ⟨1966⟩

10. ПОСЛЕДНИЙ

Над роком. Над рокотом траурных маршей.
Над конским затравленным скоком.
Когда ж это было, что призрак монарший
Расстрелян и в землю закопан?

Где черный орел на штандарте летучем
В огнях черноморской эскадры?
Опущен штандарт, и под черную тучу
Наш красный петух будет задран.

Когда гренадеры в мохнатых папахах
Шагали — ты помнишь их ропот?
Ты помнишь, что был он как пороха запах
И как «на краул» пол-Европы?

Ты помнишь ту осень под музыку ливней?
То шли эшелоны к границам.

Та осень! Лишь выдыхи маршей росли в ней
И встали столбом над гранитом.

Под занавес ливней заливистых проседь
Закрыла военный театр.
Лишь стаям вороньим под занавес бросить
Осталось: «Прощай, император!»

Осенние рощи ему салютуют
Свистящими саблями сучьев.
И слышит он, слышит стрельбу холостую
Всех вахту ночную несущих.

То он, идиот, подсудимый, носимый
По серым низинам и взгорьям,
От черной Ходынки до желтой Цусимы,
С молебном, гармоникой, горем...

На пир, на расправу, без права на милость,
В сорвавшийся крутень столетья
Он с мальчиком мчится. А лошадь взмолилась,
Как видно, пора околеть ей.

Зафыркала, искры по слякоти сея,
Храпит ошалевшая лошадь...
. . . .
— Отец, мы доехали? Где мы? — В России.
Мы в землю зарыты, Алеша.

1919

11. ПЕТРОГРАД 1918

Сколько выпито, сбито, добыто,
Знает ветер над серой Невой.
Сладко цокают в полночь копыта
По торцовой сухой мостовой.

Там, в Путилове, в Колпине, грохот.
Роковая настала пора.
Там «ура» перекатами в ротах,
Как два века назад за Петра.

В центре города треском петарды
Рассыпаются тени карет.
Августейшие кавалергарды
Позабыли свой давешний бред.

Стынут в римской броне истуканы,
Слышат радужный клекот орла.
Как последней попойки стаканы,
Эрмитажа звенят зеркала.

Заревым ли горнистом разбужен,
Обойден ли матросским штыком,
Павел Первый на призрачный ужин
Входит с высунутым языком.

И, сливаясь с сиреной кронштадтской,
Льется бронзовый голос Петра —
Там, где с трубками в буре кабацкой
Чужестранные спят шкипера.

⟨1922⟩

12. НЕВА В 1924 ГОДУ

Сжав тросы в гигантской руке,
Спросонок, нечесаный, сиплый,
Весь город из вымысла выплыл
И вымыслом рвется к реке.

И ужас на клоунски жалостных,
Простуженных лицах, и серость,
И стены, и краска сбежала с них —
И надвое время расселось.

И словно на тысячах лиц
Посмертные маски империи,
И словно гусиные перья
В пергамент реляций впились.

И в куцей шинели, без имени,
Безумец, как в пушкинской ночи,
Еще заклинает: «Срази меня,
Залей, если смеешь и хочешь!»

Я выстоял. Жег меня тиф,
Теплушек баюкали нары.
Но вырос я сверх ординара,
Сто лет в один год отхватив.

Вода хоть два века бежала бы,
Вела бы в дознанье жестоком
Подвалов сиротские жалобы
По гнилистым руслам и стокам.

И вот она хлещет! Смотри
Ты, всадник, швырнувший поводья:
Лачуги. Костры. Половодья.
Стропила. Заря. Пустыри.

Полнеба — рассветное зарево.
Полмира — в лесах и стропилах.
Не путай меня, не оспаривай —
Не ты поднимал и рубил их.

А если, а если к труду
Ты рвешься из далей бесплотных —
Дай руку товарищу, плотник!
Тебя я на верфь приведу.

⟨1961⟩

13. ПУШКИН

Ссылка. Слава. Любовь. И опять
В очи кинутся версты и ели.
Путь далек. Ни проснуться, ни спать —
Даже после той подлой дуэли.

Вспоминает он Терек и Дон,
Ветер с Балтики, зной Черноморья,
Чей-то золотом шитый подол,
Буйный табор, чертог Черномора.

Вспоминает неконченый путь,
Слишком рано оборванный праздник.
Что бы ни было, что там ни будь,
Жизнь грозна, и прекрасна, и дразнит.

Так пируют во время чумы.
Так встречают, смеясь, командора.
Так мятеж пробуждает умы
Для разрыва с былым и раздора.
Это наши года. Это мы.

Пусть на площади, раньше мятежной,
Где расплющил змею истукан,
Тишь да гладь. Но не вихорь ли снежный
Поднимает свой пенный стакан?

И гудит этот сказочный топот,
Оживает бездушная медь.
Жизнь прекрасна и смеет шуметь,
Смеет быть и чумой и потопом.

Заливает! Снесла берега,
Залила уже книжные полки.
И тасует колоду карга
В гофрированной белой наколке.
Но и эта нам быль дорога.

Так несутся сквозь свищущий вихорь
Полосатые версты дорог.
И смеется та бестия тихо.
Но не сдастся безумный игрок!

Всё на карту! Наследье усадеб,
Вековое бессудье и грусть...
Пусть присутствует рядом иль сзади
Весь жандармский корпус в засаде, —
Всё на пулю, которую всадит
Кто в кого — неизвестно. И пусть...

Не смертельна горящая рана.
Не кончается жизнь. Погоди!
Не светает. Гляди: слишком рано.
Столько дела еще впереди.

Мчится дальше бессонная стужа.
Так постой, оглянись хоть на миг.
Он еще существует, он тут же,
В нашей памяти, в книгах самих.

Это жизнь, не застывшая бронзой,
Черновик, не вошедший в тома.
О, постой! Это юность сама.
Это в жизни прекрасной и грозной
Сила чувства и смелость ума.

1926

Запад

14. ВСТУПЛЕНИЕ

Европа! Ты помнишь, когда
В зазубринах брега морского
Твой гений был юн и раскован
И строил твои города?

Когда голодавшая голь
Ночные дворцы штурмовала,
Ты помнишь девятого вала
Горючую честную соль?

Казалось, что вся ты — собор,
Где лепятся хари на вышке,
Где стонет орган, не отвыкший
Беседовать с бурей с тех пор.

Гул формул, таимых в уме,
Из черепа выросший, вторил
Вниманью больших аудиторий,
Бессоннице лабораторий
И звездной полуночной тьме.

Всё было! И всё это — вихрь...
Ты думала: дело не к спеху.
Ты думала: только для смеха
Тоска мюзик-холлов твоих.

Ты думала: только в кино
Актер твои замыслы выдал.
Но в старческом гриме для вида
Ты ждешь, чтобы стало темно.

И снова голодная голь
Штурмует ночные чертоги,
И снова у бедных в итоге
Одна только честная боль.

И снова твой смертный трофей —
Сожженные башни и села,
Да вихорь вздувает веселый
Подолы накрашенных фей.

И снова — о, горе! — Орфей
Простился с тобой, Эвридикой.
И воют над пустошью дикой
Полночные джазы в кафе.

1922

15. СТОКГОЛЬМ

Футбольный ли бешеный матч,
Норд-вест ли над флагами лютый,
Но тверже их твердой валюты
Оснастка киосков и мачт.

Им жарко. Они горожане.
Им впаянный в город гранит
На честное слово хранит
Пожизненное содержанье.

Лоснятся листы их газет,
Как встарь, верноподданным лоском,
Огнем никаким не полоскан
Нейтрального цвета брезент.

И в сером асфальтовом сквере,
Где плачет фонтан, ошалев,
Отлично привинченный лев
Забыл, что считается зверем.

С пузырчатой пеной в ноздрях,
Кольчат и колюч, как репейник,
Дракон не теряет терпенья,
Он спит, ненароком застряв

Меж средневековьем и этим
Прохладным безветренным днем.
Он знает, что сказка о нем
Давно уж рассказана детям.

Пусть море не моет волос,
Нечесаной брызжет крапивой,
Пусть бродит, как бурое пиво,
Чтоб Швеции крепче спалось!

1923

16. НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Wer ruft mir?
Schreckliche Gesicht!

Goethe[1]

«Кто позвал меня?»

Буря громовых рулад... И орлы, как бывало, на флагах крылят в поднебесье, когда-то орлином. И, как черное пиво, как липы в грозу, прошумело: «Ты слышишь? Уже я грызу кандалы под бетонным Берлином».

«Кто позвал меня?»

Прытче вагонных колес по витью нескончаемых рельсов неслось: «Кто дает мою страшную цену?» И, в железные скрепы вцепившись, дугой перегнулись над пропастью тот и другой. И гроза озарила им сцену.

Я позвал тебя. Думаешь — тот,
Персонаж философского действа?
На фантастику, брат, не надейся!
Я реален, как сток нечистот.

Ты же сам мне солгал, обещав,
Что на черных конях непогоды,
Что в широких, как юность, плащах
Мы промчимся сквозь версты и годы.

Посмотри мне в лицо: человек
Цвета пыли. Защитного цвета.

[1] Кто зовет меня? Ужасный облик! Гете (нем.) — *Ред.*

Тот, чья память со скоростью света
Догоняет несбыточный век.

Узнаешь? Не актер, не доцент,
Не в цилиндре с тускнеющим лоском...
Нет! Я — сумрак всех улиц и сцен,
Городов обнищалая роскошь.

Мне осталось проверить прицел,
Крепко сжать леденящее дуло, —
Чтобы ты из подземного гула
Вырос выше всех выросших цен.

Слышишь: поверху — визг ветровой?
Видишь: понизу, в пламени окон,
Города мои красной травой
Обрастают, как факельный Броккен?

Всё черно. И опять, и опять
От сирийских песков до Аляски
В буре бирж и в джазбандовом лязге
Ни плясать, ни учиться, ни спать.

Ты мерцал мне асфальтом сырым.
Ты гудел под грозой, как Тиргартен.
В дымном штабе я знак твой открыл
По флажками истыканным картам.

Понимаешь? Я ждал до поры.
И под Шарлеруа, под Варшавой
Шел я рядом в шинели шершавой,
Резал спину ремень кобуры.

Там... не искра под рурской киркой,
Не глаза семафора в туннеле.
Это тень твоя стала *такой* —
Еще старше и осатанелей.

Это ночь. И уже до утра
Только час торговать ресторанам.
Как бы не опоздать до утра нам!
Не закуривай! Скоро пора.

1923

17. ГРОЗА В ТИРГАРТЕНЕ

Ночь затрубила им отбой.
И толпы схлынули. И разом
Весь парк забушевал божбой
Желавших боя лип и вязов.

Сквозь ширь асфальтовых аллей
Такси крылами света брызжут.
Курфюрсты мраморные в брыжах
Встают — папье-маше белей.

Так мрачен бред былых династий.
Так мрачен час ночных громил.
Так мрачен парк. Так прочен мир.
Так прочно сделано ненастье.

Так человек молчит, когда,
Заболтана грозой на горе,
Захлещет рыжая вода
На бронзу голых аллегорий.

Не миф, что молот поднял Тор!
И лишь для дураков и добрых
В пролете Бранденбургер-тор
Еще стоит хромой фотограф.

Он вскинул на плечи статив,
Прошел с картавым «gradeaus», [1]
В свои несчастья посвятив
Асфальтов непросохший хаос.

И сколько б он еще ни дрог,
И сколько б ни снимал туристов,
И сколько погребальных дрог
Ни слал бы город, — но на приступ

Навстречу песне дождевой,
Навстречу ветру рвутся липы.
Три ночи кряду визг и вой,
Смех и младенческие всхлипы.

---

[1] «Прямо» (нем.). — *Ред.*

Гнутся вязы под ветром. Ворон
Сел на черный сук, закаркал:
«Парк осужден моим приговором.
Гром и молния! Слово — за парком».

И, громыхнув перекатом на запад,
Вспыхнул, как хлопок, бело и внезапно
Тихой молньи о мщенье обет.
Слушают куклы Аллеи Побед:

«Я клянусь морям и суше
Жечь светло и горячо,
Говорить как можно суше
И отрывистей еще.

Я ручаюсь в этом быстрой,
Скрюченною в провода
Электрическою искрой,
Бьющей в цель везде, всегда.

Люди сонные не помнят,
Как зеленый мой зигзаг
Озарил потемки комнат
И плясал у них в глазах.

Снится им в поту подушек
Безобразно и мертво,
Как вверху растет удушье —
Час предгрозья моего.

И сейчас мгновенной вспышкой
Каждой вольтовой дуги,
Каждой озаренной вышкой
Я клянусь, что мы враги».

Ворон — молнии: «Бури не сваришь.
Утром в Норден погонит гудок их».
Молния (дико смеясь): «Товарищ,
Сварим бурю на гамбургских доках!»

Город — молнии: «Чем ты горда?
Музыкой, что ли? Блеском? Гарью?»
Молния: «Эй, сторонись, города!
Рано иль поздно — но я ударю!»

Ночь продолжается. В жбанах
Брызжет золотом пиво.
Голые звуки джазбандов
Бьют по нервам крапивой.

Сумрак подводный царит там.
Стелется медный пар.
Рушатся в негрский ритм
Стаи клешнями сцепившихся пар.

Вот наплывает. Мигает экран.
Рябь. И мутнеют глуби.
Снова по циркам, пивным, дворам
Борются. Бредят. Любят.

1923

18. ЭКСПРЕССИОНИСТЫ

Толпа метавшихся метафор
Вошла в музеи и в кафе —
Плясать и петь, как рослый кафр,
И двигать скалы, как Орфей.

Ее сортировали спешно.
В продажу худший сорт пошел.
А с дорогим, понятно, смешан
Был спирт и девка голышом.

И вот, пресытясь алкоголем,
Библиотеки исчерпав,
Спит ужас, глиняный как Голем,
В их разможженных черепах.

И стужа под пальто их шарит,
И ливень — тайный их агент.
По дымной карте полушарий
Они ползут в огне легенд.

Им помнится, как непогода
Шла, растянувшись на сто лет,
Легла с четырнадцатого года
Походной картой на столе...

Как пораженческое небо
И пацифистская трава
Молили молнийную небыль
Признать их древние права.

Им двадцать лет с тех пор осталось,
Но им, наивным, ясно всё —
И негрского оркестра старость,
И смерть на лицах Пикассо,

И смех, и смысл вещей, и гений,
И тот раскрашенный лубок, —
Тот глыбами земных гниений
Галлюцинирующий бог.

Летят года над городами.
Вопросы дня стоят ребром.
Врачи, священники и дамы
Суют им Библию и бром.

Остался гул в склерозных венах,
Гул времени в глухих ушах.
Сквозь вихорь измерений энных
Протезов раздается шаг.

Футляр от скрипки, детский гробик —
Всё поросло одной травой...
Зародыш крепко спит в утробе
С большой, как тыква, головой.

1923
Берлин

19. ПАРИЖ

Париж! Я любил вас когда-то.
Но может быть, ваши черты
Туманила книжная дата?
Так, может быть, выпьем на «ты»?

Не около слав Пантеона,
Почтивши их титул и ранг...

А дико, черно, потаенно —
Где спины за ломаный франк

Сгибаешь ты лысым гарсонам;
Где кофе черней и мутней;
Где ночь семафором бессонным
Моргает — и ветер над ней;

Где заперта ценность в товаре,
Где сущность — вне рыночных цен;
Где голой и розовой тварью
Кончается тысяча сцен, —

Над пылью людского размола,
Над гребнями грифельных крыш,
Ты все-таки, все-таки молод,
Мой сверстник, мой сон, мой Париж!

1928

20. ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА

Сто лет назад, немного раньше,
Круша дома, кружа умы,
Здесь проходила великанша
На битву с чучелами тьмы.

Она влекла людей не пудрой,
Не блеском роб и куафюр,
Когда на площадях под утро
Толклись колеса смертных фур;

Когда от крепких поговорок,
Жары и ненависти жгло
В гортанях, и прицел был зорок,
И были сабли наголо.

Но вот над шипром и бензином,
Над воздухом ничтожных слав,
Каким-то стихнувшим разиням
Свой воспаленный взор послав,

Сжав зубы, мускулы напружив,
Встает из пепла и вранья,

Гравюр, и мраморов, и кружев,
Париж, любимица твоя!

Со дна морей, песков Кайенны,
Контор, комендатур, казарм
Доносится раскат военный,
Гудит далекое «Aux armes!»[1]

Гражданка, собственно, и в прозе
Могла б ответить на вопрос —
О, не метафорой предгрозья,
А гулом настоящих гроз.

Но, разбудив умы — вот горе! —
И реставрировав дома,
Она меж прочих аллегорий
Столь же беспола и нема.

Литую шкуру леопарда
Скрепил навек литой аграф.
Гражданский кодекс Бонапарта
Расплющил гнев священных прав.

Над белизной жилетов фрачных
И лоском лысин вознесен
Ночей девических и брачных
Восьмидесятилетний сон.

Мегера смерти не торопит,
Толстеет, пьет аперитив,
Сантимы тратит, франки копит,
Банк лондонский опередив.

Мегера. Фурия. Горгона.
Всё это, собственно, слова...
От якобинского жаргона
Пускай не пухнет голова!

Да и не надо головы ей:
На манекене, как желе,
Трясутся складки жировые
И груди — ядер тяжелей.

[1] «К оружию!» (Франц.). — *Ред.*

Оркестры негров бьют крапивой
И нервы мертвых вьют в жгуты —
Во славу этой нестроптивой,
Давно не жгучей наготы.

1928

21. БУЛЬВАР СЕН-МИШЕЛЬ

Здесь, в серой тесноте Латинского квартала... —
Так я хотел начать. Но старость этих стен
Сильна в схоластике. Она отбормотала
Давно всё, что могла, по части всех систем.

Здесь висельник Вийон шептал за кружкой пенной
Распутные стихи сорбоннским школярам.
Здесь, может быть, Бальзак, мрачнея постепенно,
Распутывал ходы житейских дрязг и драм.

Здесь было почему не спать ночей. И время
Для воспаленных глаз бессонницы росло,
До хруста сжатое Декартом в теореме,
Чтобы упасть без чувств, как исповедь Руссо.

Здесь... Но постой! Вернись к дыханью этой скуки,
В междуязычный гам, в международный шлак.
Хлыщей потасканных прельщают потаскухи.
Под ветром плещется трехцветный старый флаг.

И вот едят и пьют. Ползут в музеи. Лезут
На вышку Эйфеля. Болеют и блюют.
Вдыхают пудру, пыль и пепел «Марсельезы»,
Блуд мировых ревю, размер валют и блюд.

А может быть, затем и шла раскачка истин,
Стук ставок и костей, швыряемых в ничто,
Чтоб мир обугленный был юным ненавистен
И глухо отступал пред всяческой мечтой...

Но столько вышины и воздуха, вспоенных
Смертями стольких слав, — и тут, и там, и над...
Так, может, для того и вешали Вийонов,
Чтоб этот висельник сосал свой ситронад!

Июнь—июль 1928

22. ХИМЕРЫ

Светает... Пасмурно. На птичий глазомер
Париж отсюда пуст, как в молодые годы.
Есть у него друзья. Есть общество химер
Над человечеством и скукой непогоды.

И мы кричим ему, что просмотрели всё:
Курс европейских бирж, виденья Пикассо,
Слыхали шепоты любой любовной ночи,
Остроты кабаре и стуки одиночек.
Но мы полны своим. Да, до корней волос,
До каждой оспины на этом камне голом,
За каждою из морд, с какою довелось
Вам встретиться во сне... Мы тоже знали голод.
Мы тоже старые.
А надо здесь висеть,
И спины выгибать, и лаять в эту сеть
Косых дождей, и грызть подобье винограда
(Он тоже каменный)...
И видеть (вот награда),
Как размножаются уроды там, внизу:
Скрипят протезами, считают су и держат
Таких же злых старух на должностях консьержек.
А там... Смотри, сестра! Ведь это я ползу
В батистовом чепце с чертенком кривоногим...
«И я! — И я! — И я!»
Кусаясь и давясь,
Гримасы по частям одалживая многим,
Мы в слепках мерзостных гуляем между вас.

Июнь—июль 1928

23. ПЕСНЯ ДОЖДЯ

Вы спите? Вы кончили? Я начинаю.
Тяжелая наша работа ночная.

Гранильщик асфальтов, и стекол, и крыш —
Я тоже несчастен. Я тоже Париж.

Под музыку желоба вой мой затянут,
В осколках бутылок, в обрезках жестянок,

Дыханием мусорных свалок дыша,
Он тоже столетний. Он тоже душа.

Бульвары бензином и розами пахнут.
Мокра моя шляпа. И ворот распахнут.

Размотанный шарф романтичен и рыж.
Он тоже загадка. Он тоже Париж.

Усните. Вам снятся осады Бастилий,
И стены гостиниц, где вы не гостили,

И сильные чувства, каких и следа
Нет ни у меня, ни у вас, господа.

1928

24. ИТОГ

Но как бы ты ни был зачеркнут
Всей силой, подвластной уму, —
Красы этой грустной и черной
Нельзя позабыть никому.

И мча по широким бульварам
Сторотый и сытый поток,
Торгуя дешевым товаром
И зная всех истин итог,

Ты все-таки, все-таки молод,
Ты все-таки жарок и горд
Кипеньем людского размола
На площади Де-ля-Конкорд.

Ты вспомнишь — и кровь коммунаров
В мгновение смоет, как вихрь,
Танцующий ад лупанаров,
Гарцующий ад мостовых.

Ты вспомнишь — и ружья бригады
Сверкнут в Тюильрийском саду.
Возникнет скелет баррикады,
Разбитой в тридцатом году.

Ты вспомнишь — и там, у барьера,
Где Сена, как слава, стара,
Забьется декрет Робеспьера,
Наклеенный только вчера.

Ты вспомнишь — не четверть столетья,
А времени бронзовый шаг.
Ты — память.
А если истлеть ей —
Хоть гулом останься в ушах!

Ты — время, обросшее бредом
В пути безвозвратном своем.
Ты — сверстник.
А если ты предан —
Хоть песню об этом споем!

Июнь—июль 1928

Действующие лица

25. САНКЮЛОТ

Мать моя — колдунья или шлюха,
А отец — какой-то старый граф.
До его сиятельного слуха
Не дошло, как, юбку разодрав
На пеленки, две осенних ночи
Выла мать, родив меня во рву.
Даже дождь был мало озабочен
И плевал на то, что я живу.

Мать мою плетьми полосовали.
Рвал ей ногти бешеный монах.
Судьи в красных мантиях зевали,
Колокол звонил, чадили свечи.
И застыл в душе моей овечьей
Сон о тех далеких временах.

И пришел я в городок торговый.
И сломал мне кости акробат.

Стал я зол и с двух сторон горбат.
Тут начало действия другого.
Жизнь ли это или детский сон,
Как несло меня пять лет и гнуло,
Как мне холодом ломило скулы,
Как ходил я в цирках колесом,
А потом одной хрычовке старой
В табакерки рассыпал табак,
Пел фальцетом хриплым под гитару,
Продавал афиши темным ложам
И колбасникам багроворожим
Поставлял удавленных собак.

Был в Париже голод. По-над глубью
Узких улиц мчался перекат
Ярости. Гремела канонада.
Стекла били. Жуть была — что надо!
О свободе в Якобинском клубе
Распинался бледный адвокат.
Я пришел к нему, сказал:
«Довольно,
Сударь! Равенство полно красы.
Только по какой линейке школьной
Нам равнять горбы или носы?
Так пускай торчат хоть в беспорядке
Головы на пиках!
А еще —
Не читайте, сударь, по тетрадке.
Куй, пока железо горячо!»

Адвокат, стрельнув орлиным глазом,
Отвечает:
«Гражданин горбун!
Знай, что наша добродетель — разум,
Наше мужество — орать с трибун.
Наши лавры — зеленью каштанов
Нас венчает равенство кокард.
Наше право — право голоштанных.
А Версаль — колода сальных карт».
А гремел он до зари о том, как
Гидра тирании душит всех;
Не хлебнув глотка и не присев,
Пел о благодарности потомков.

Между тем у всех у нас в костях
Ныла злость и бушевала горечь.
Перед ревом человечьих сборищ
Смерть была как песня. Жизнь — пустяк.
Злость и горечь... Как давно я знал их!
Как скреплял я росчерком счета
Те, что предъявляла нищета,
Как скрипели перья в трибуналах!
Красен платежами был расчет!
Разъезжали фуриями фуры.
Мяла смерть седые куафюры
И сдувала пудру с желтых щек.
И трясла их в розовых каретах,
На подушках, взбитых, словно крем,
Лихорадка, сжатая в декретах,
Как в нагих посылках теорем.

Ветер. Зори барабанов. Трубы.
Стук прикладов по земле нагой.
Жизнь моя — обугленный обрубок,
Прущий с перешибленной ногой
На волне припева, в бурной пене
Рваных шапок, ружей и знамен,
Где любой по праву упоенья
Может быть соседом заменен.

Я упал. Поплыли пред глазами
Жерла пушек, зубы конских морд.
Гул толпы в ушах еще не замер.
Дождь не перестал. А я был мертв.
«Дотащиться бы, успеть к утру хоть!» —
Это говорил не я, а вихрь.
И срывал дымящуюся рухлядь
Старый город с плеч своих.

И сейчас я говорю с поэтом,
Знающим всю правду обо мне.
Говорю о времени, об этом
Рвущемся к нему огне.

Разве знала юность, что истлеть ей?
Разве в этой ночи нет меня?
Разве день мой старше на столетье
Вашего младого дня?

И опять:

«Дождаться, доползти хоть!»

Это говорю не я, а ты.
И опять задремывает тихо
Море вечной немоты.

И опять с лихим припевом вровень,
Чтобы даже мертвым не спалось,
По камням, по лужам дымной крови
Стук сапог, копыт, колес.

1925

26. АРМИЯ В ПУТИ

1

Армия шла по равнинам Брабанта.
Армия аркебузиров и лучников,
Рослых копейщиков, рваных драбантов,
Тощих ландскнехтов, ханжей и обжор.
Армия гулко рыгала в харчевнях,
Пылко читала воззвания герцогов,
Домыслы риторов, списки плачевных
Жертв и плачевных трофеев обзор.

Сколько смертей, нечистот и лохмотьев,
Скотской ботвы и расклеванной падали,
Стертых подошв и чесоток в дремоте,
Ноющих спин и слезящихся век!
Жарко на мордах и на алебардах
Рыжее солнце играло. И молодость
Крепла от грязи, мохнатой, как бархат,
Жесткой, как сбруя, налипшей навек.

Запела труба в предрассветную рань,
Прокаркала дико ворона.
«Да здравствуют гёзы, голодная рвань!
Да сгинет чужая корона!»
И бились как черти за каждую пядь
Брабантского славного графства.
«Да здравствуют гёзы!» Опять и опять:
«Да здравствуют гёзы! Да здравству...»

Но черт возьми! Я тут в кольце событий,
Где смерть решает, быть или не быть ей;
Где варится похлебка из дерьма,
Тщеславия и страха; где тюрьма
Уже не каменная кладка зданья,
А целый мир... Будь ты овца иль волк,
Достаточно попасться в мирозданье
Ногой в капкан — и родился... и щелк!

Бежать. Бежать. Бежать. Пока не поздно.
Бежать — пока не схвачен, не опознан,
Не заклеймен, как злостный дезертир,
Оравой этих дурней и задир.

Играют в кости. Спорят. Ругань. Рвота.
Кусок селедки ржавой. Жбан с вином.
Светает. Этот ужас для кого-то
Покажется историей и сном.

Пусть! Для меня он больше сна и меньше
Истории. Плач пограничных женщин.
Мрак сеновала. Запах нечистот.
Усталость потных лошадей.
А тот
Усач-ландскнехт с багровым шрамом...

Но, прежде чем дневник продолжить,
Я, автор, должен объяснить
Свое намеренье. Я должен
Вплести сюда другую нить, —
Необходимый комментарий,
Условность иль сюжетный ход, —
Но персонаж я свой состарю:
Он — неудачник, Дон-Кихот,
Гость в этой армии, искатель
Ненужной истины. Он трезв.
Пятно вина марает скатерть.
Всё отказало наотрез
Ему в сочувствии. Всё сбито,
Размыто, смято, сметено...
Марает мир уродство быта,
Как это винное пятно.
Война в разгаре.
Как он робок,

Как необщителен! Над ним
Дух крепкой ругани и пробок
Раскупоренных — будто нимб.
И в этом воздухе неясно
Обозначаясь, чуть сквозя,
Он бурей века опоясан.

Но втерся к чудаку в друзья
Усач-ландскнехт с багровым шрамом,
Хороший малый, но дурак...
«Отстань!» —
«Стой! Отвечай мне прямо, —
И по столу стаканом бряк. —
Эй, малый! Может, ты лазутчик?
Не отпирайся! Я пойму».
...И скука этих глаз ползучих
Всесильной кажется ему.

Хорошая ночь. И попойка лихая,
И пламя в полнеба стоит, полыхая.
И песней, и паклей, и порохом пахнет.
И вдруг — как бабахнет...
И ухает эхо.
И в чьем-то камзоле дымится прореха.
И валится наземь, проклятья хрипя,
Бескостное тело, как ворох тряпья.

«Товарищ! Гордился ты шрамом багровым,
Усами ландскнехта, любовью стряпух?
Зачем же ты рекрутом в ад завербован,
Лежишь на полу, посинел и распух?
Какого ты черта со сволочью спорил?
Какого ты черта со сволочью пил?»

2

Светает. Человек коня пришпорил.
Кордон повстанцев сам же торопил
Его. И, не дочтя бумаг, дал пропуск.
Летят навстречу мельницы, мосты,
Харчевни и развалины. И пропасть
Меж ним и прошлым. И глаза чисты.
В мозгу несутся свежевымытые,
Отчетливые мысли. Без конца

Он повторяет: «Вы — мы — ты — я», —
За всех людей от своего лица.
Еще двенадцать лье — он за границей.
Еще двенадцать вот таких столбов —
И никаких улик не сохранится.
Он чувствовал, что
Всё, что было сегодня,
Свинцом залито,
Сожжено в преисподней.
И дальше летел он,
Всё глубже дыша,
Как будто бы с телом
Прощалась душа.

Вот кинулись в очи в снедающем дыме
Порты Адриатики, снасти фелуг
И синее пойло воды с молодыми,
Высокими чувствами дальних разлук.

По скошенному горизонту хлестало
Дождем и снегом. Время летело.
Пока на Альпах едва светало,
Неслось по Фландрии хилое тело.
И конская грива истлела. Как вдруг —
Ров... Кончено. Кончено.

3

Светало. Светало. Светало.
Но всё еще не рассвело —
Чего-то сквозь сон не хватало...
Иль плечи ознобом свело?..

Сначала харчевня кренилась.
И девки в подоткнутых юбках
Прошлепали мимо пропойц.
Икнув, он внезапно проснулся.
Взял шляпу. Пощупал свой пояс.
Саднило коленку. И сухо
И вязко горело во рту.

Стрелял он в кого-то? Но что за
Бессмыслица!
Клюв разодрав,

Петух закричал маэстозо:
«Да здравствуют гёзы! Да здрав...»

Вторым проснулся — совершенно цел,
Здоров, как бык, ландскнехт с багровым шрамом,
Но наш герой соображал упрямо,
Как будто проверяя тот прицел:
«Стрелял. В того. Зачем? Ну, черт с ним!»
Но он — бежал! Еще сейчас в ушах
Свист ветра (память меркнет — что ни шаг).

Нет, утром жизнь должна быть хлебом черствым
И трезвою водой. Жизнь и на пядь
Не сдвинута. Поспали, пошумели —
И кончено. Всему виной похмелье.
Проснись, бездельник! Дважды два — не пять.

И вот опять плетется он по грязи.
И вот опять дорога. Вот опять
Канав и изгородей безобразье..
Не спотыкайся! Дважды два — не пять.
А там, в харчевне «Золотой лисицы»,
Где столько фляг и кружек на столе, —

Как бы к таким вещам ни относиться, —
Он призрак, опоздавший на сто лет.
Он призрак? Ха! Придумано неплохо.
Плащ, кожа, память, мускулы, костяк —
Не за себя, так за свою эпоху,
Не за свою — так за любую мстят.

4

В Остенде бой и в Генте бой.
И в Сент-Омере схватка.
Не время нянчиться с собой,
Хоть это и несладко.

Святые спят в ковчегах рак,
Монахи нежат пуза.
Все, кто не трус и не дурак, —
Готовьте аркебузы!

И всем горлом раздутым я дую и дую,
И смотрю и смотрю на страну молодую.
Не тускнеет, не ржавеет трубная медь.
И никто не посмеет мешать мне шуметь.

И раздутое горло — как зоб соловьиный,
Задыхается трелью над свежей долиной.
И дыхания хватит ему, чтоб гора
Отвечала: «Да здравствуют гёзы! Пора!»

Я не тупой монах, не арлекин, не рыцарь,
Не шлюха, не торгаш. Есть у меня Брабант.
Вот почему я тут. И некуда мне скрыться
От этой участи, от этих рваных банд.

Пора. Пора. Пора. Смотри на вещи прямо.
Довольно снов, и чувств, и песен, и вранья.
Бей зорю, барабан! А тот с багровым шрамом —
Сын своего отца и века, как и я.

Ты — армия в пути.
Ты — молодость чужая.
Тебя не обойти,
Форпосты объезжая.

Не бойся за меня.
Я стал твоею частью.
Мне ветер заменял
Несбыточное счастье.

Иду, как все они,
С твоей походкой вровень.
Огнем в лицо дохни.
Узнай меня по крови.

По рваному плащу,
По облику худому.
Не я в тебе гощу,
А ты во мне — как дома.

⟨1931⟩

27. БАЛЬЗАК

В. А. Каверину

Долой подробности! Он стукнул по странице
Тяжелым кулаком. За ним еще сквозит
Беспутное дитя Парижа. Он стремится
Не думать, есть, гулять. Как мерзок реквизит
Чердачной нищеты... Долой!
Но, как ни ставь их,
Все вещи кажутся пучинами банкротств,
Провалами карьер, дознаньем очных ставок.
Все вещи движутся и, пущенные в рост,
Одушевляются, свистят крылами гарпий.

Но как он подбирал к чужим замкам ключи!
Как слушал шепоты, — кто разгадает, чьи? —
Как прорывал свой ход в чужом горючем скарбе!

Кишит обломками иллюзий черновик.
Где их использовать? И стоит ли пытаться?
Мир скученных жильцов от воздуха отвык.
Мир некрасивых дрязг и грязных репутаций
Залит чернилами.
Чем кончить? Есть ли слово,
Чтобы швырнуть скандал на книжный рынок снова
И весело резнуть усталый светский слух
Латынью медиков или жаргоном шлюх?

А может быть, к утру от сотой правки гранок
Воспрянет молодость, подруга нищеты.
Усталый человек очнется спозаранок
И с обществом самим заговорит на «ты»?

Он заново начнет! И вот, едва лишь выбрав
Из пепла памяти нечаянный кусок,
Он сразу погружен в сплетенье мелких фибров,
В сеть жилок, бьющихся как доводы в висок.

Писать. Писать. Писать... Ценой каких угодно
Усилий. Исчеркав хоть тысячу страниц,
Найти сокровище. Свой мир. Свою Голконду.
Сюжет, не знающий начала и границ.

Консьержка. Ростовщик. Аристократ. Ребенок.
Студент. Еще студент. Их нищенство. Обзор
Тех, что попали в морг. Мильоны погребенных
В то утро. Стук дождя по стеклам. Сны обжор.
Бессонница больных. Сползли со щек румяна.
И пудра сыплется. Черно во всех глазах.

Светает. Гибнет ночь. И черновик романа
Дымится. Кончено.
Так дописал Бальзак.

Ноябрь 1929

28. ГУЛЛИВЕР

С. Д. Кржижановскому

Подходит ночь. Смешав и перепутав
Гул океана, книгу и бульвар,
Является в сознанье лилипутов
С неоспоримым правом Гулливер.

Какому-нибудь малышу седому
Несбыточный маршрут свой набросав,
Расположившись в их бреду как дома,
Еще он дышит солью парусов,

И мчаньем вольных миль, и черной пеной,
Фосфоресцирующей по ночам,
И жаждой жить, растущей постепенно,
Кончающейся, может быть, ничем.

И те, что в эту ночь других рожали,
На миг скрестивши кровь свою с чужой,
И человечеством воображали
Самих себя в ущельях этажей,

Те, чьи умы, чье небо, чьи квартиры
Вверх дном поставил сгинувший гигант, —
Обожжены отчаяньем сатиры,
Оскорблены присутствием легенд...

Не верят: «Он ничто. Он снился детям.
Он лжец и вор. Он, как ирландец, рыж».
И некуда негодованья деть им...
Вверху, внизу — шипенье постных рож.

«Назад!» — несется гул по свету, вторя
Очкастой и плешивой мелюзге...
А ночь. Растет. В глазах. Обсерваторий.
Сплошной туман. За пять шагов — ни зги.

Ни дымных кухонь. Ни бездомных улиц.
Двенадцать бьет. Четыре бьет. И шесть.
И снова. Гулливер. Стоит. Сутулясь.
Плечом. На тучу. Тяжко. Опершись.

А вы где были на заре? А вы бы
Нашли ту гавань, тот ночной вокзал,
Тот мрачный срыв, куда бесследно выбыл
Он из романа социальных зол?

Вот щелкающим, тренькающим писком
Запело утро в тысяче мембран:
«Ваш исполин не значится по спискам.
Он не существовал. Примите бром».

1929

29. ВЕНЕРА В ЛУВРЕ

Безрукая, обрубок правды голой,
Весь в брызгах пены идол божества,
Ты людям был необходим, как голод,
И недоказан был, как дважды два.

Весь в брызгах пены, в ссадинах соленых,
Сколоченный прибоем юный сруб.
Тысячелетья колоннад хваленых,
Плечей и шеи, бедер, ног и рук.

Ты стерпишь всё — миазмы всех борделей,
Все оттиски в мильонных тиражах, —
О, только бы глядели и балдели,
О, лишь бы, на секунду задержав

Людской поток, стоять в соленой пене,
Смотреть в ничто поверх и мимо лбов, —
Качая бедра, в ссадинах терпенья,
В тупом поту, в безруком упоенье,
Вне времени!
И это есть любовь.

Июнь—июль 1928

30. ПОРТРЕТ ИНФАНТЫ

Художник был горяч, приветлив, чист, умен.
Он знал, что розовый застенчивый ребенок
Давно уж сух и желт, как выжатый лимон;
Что в пульсе этих вен — сны многих погребенных;
Что не брабантские бесценны кружева,
А верно, ни в каких Болоньях иль Сорбоннах
Не сосчитать смертей, которыми жива
Десятилетняя.
Тлел перед ним осколок
Издерганной семьи. Ублюдок божества.
Тихоня. Лакомка. Страсть карликов бесполых
И бич духовников. Он видел в ней итог
Истории страны. Пред ним метался полог
Безжизненной души. Был пуст ее чертог.

Дуэньи шли гурьбой, как овцы. И смотрелись
В портрет, как в зеркало. Он услыхал поток
Витиеватых фраз. Тонуло слово «прелесть»
Под длинным титулом в двенадцать ступеней.
У короля-отца отваливалась челюсть.
Оскалив черный рот и став еще бледней,
Он проскрипел: «Внизу накормят вас, Веласкец».
И тот, откланявшись, пошел мечтать о ней.

Дни и года его летели в адской пляске.
Всё было. Золото. Забвение. Запой
Бессонного труда. Не подлежит огласке
Душа художника. Она была *собой*.
Ей мало юности. Но быстро постареть ей.
Ей мало зоркости. И всё же стать слепой.

Потом прошли века. Один. Другой. И третий.
И смотрит мимо глаз, как он ей приказал,

Инфанта-девочка на пасмурном портрете.
Пред ней пустынный Лувр. Седой музейный зал.
Паркетный лоск. И тишь, как в дни Эскуриала.
И ясно девочке по всем людским глазам,
Что ничего с тех пор она не потеряла —
Ни карликов, ни царств, ни кукол, ни святых;
Что сделан целый мир из тех же матерьялов,
От века данных ей. Мир отсветов златых,
В зазубринах резьбы, в подобье звона где-то
На бронзовых часах. И снова — звон затих.

И в тот же тяжкий шелк безжалостно одета,
Безмозгла, как божок, бесспорна, как трава
Во рвах кладбищенских, старей отца и деда, —
Смеется девочка. Сильна тем, что мертва.

1928

31. ШЕКСПИР

Он был никто. Безграмотный бездельник.
Стратфордский браконьер, гроза лесничих,
Веселый друг в компании Фальстафа.
И кто еще? Назойливый вздыхатель
Какой-то смуглой леди из предместья.

И кто еще? Комедиант, король,
Седая ведьма с наговором порчи,
Венецианка, римский заговорщик —
Иль это только сыгранная роль?

И вот сейчас он выплеснет на сцену,
Как из ушата, эльфов и шутов,
Оденет девок и набьет им цену
И оглушит вас шумом суматох.

И хватит смысла мореходам острым
Держать в руках ватаги пьяных банд,
Найти загадочный туманный остров,
Где гол дикарь, где счастлив Калибан.

И вот герой, забывший свой пароль,
Чья шпага — истина, чей враг — король,

Чей силлогизм столь праведен и горек,
Что от него воскреснет бедный Йорик, —
Иль это недоигранная роль?

Лето 1916

32. ЭДМОНД КИН

Лондонский ветер срывает мокрый брезент балагана.
Низкая сцена. Плошки. Холст размалеван, как мир.

Лорды, матросы и дети видят: во мгле урагана
Гонит за гибелью в небо пьяных актеров Шекспир.

Макбет по вереску мчится. Конь взлетает на воздух.
Мокрые пряди волос лезут в больные глаза.

Ведьмы поют о царствах. Ямб диалогов громоздок.
Шест с головой короля торчит, разодрав небеса.

Ведьмы летят и поют. Ни Макбета нет, ни Кина.
В клочья разорвана страсть. Хлынул назад ураган.

Кассу считает директор. Полночь. Стол опрокинут.
Леди к спутникам жмутся. Заперт пустой балаган.

1918

33. ГАМЛЕТ

1

На лысом темени горы,
В корнях драконьих нор,
Сверкает прочный до поры,
Веселый Эльсинор.

Желтеет плющ. Бегут года,
Свой срок отпировав.
Мосты скрипят, как смерть. Вода
Гниет в лиловых рвах.

Ум человека чист, глубок
И в суть вещей проник.
Спит на ковре исландский дог,
Мерцают груды книг,

Рапира, глобус, плащ, бокал
И чучело совы.
А в окнах — гипсовый оскал
Отцовской головы.

Там в амбразуре снеговой
Застыл на триста лет
В короне вьюги как живой
Серебряный скелет.

2

И петухи поют. И время
Летит. И мертвые мертвы.
Всё сжато в ясной теореме.
И Гамлет слышит рост травы,

Ход механизмов, звон стаканов,
Войну гипотез и систем
И распри мрачных великанов,
Которых он позвал затем,

Чтоб наконец-то, как бывало,
В их обществе понять себя —
Быть гулом горного обвала,
Жить, ненавидя и любя.

3

Рви окна, подлая метель,
Спи, если можешь спать, измена!
Была жестка его постель,
Ночь одинока и надменна.

Он декламирует стихи
Так, что в полнеба отдается, —
Силен участием стихий,
Измучен маской идиотской.

И в час, когда свистит сарказм
По спинам лысых лизоблюдов,
Явилась ко двору как раз
Орава ряженого люда.

Он знает: нет им двадцати
И денег нет... Но это мимо!
«Друзья, пред тем как спать идти,
Сыграйте людям пантомиму!»

4

Веселый карапуз в ответ на эту речь
Сияет пламенем малинового носа:
«Затем мы и пришли. Нам нечего беречь.
Мой инструмент — я сам. И я не знаю сноса.
Вам — звон скрипичных струн, звон клятвенных мечей,
Признанья первой встречной дуры.
Нам — колченогий ямб, и то не знаю чей.
Венец творенья иль венец халтуры.
Вам юность, бездна чувств. Нам пыльный реквизит,
Нам ремесло и хлеб. Он тоже горек.
Но я сыграю то, что в будущем сквозит, —
Я, ваш слуга покорный, бедный Йорик».

5

Та злая ночь, когда окаменел он,
Мой черный плащ, когда доспех пустой,
На эспланаде, вычерченный мелом,
Встал на свету и прозвенел мне: «Стой!» —

Та ночь под женский визг и треск литавр
Носилась где-то, шла во мне самом.
И комментатор облекался в траур
Наедине с моим сухим умом.

И триста лет меня любила юность
За фальшь афиш, за лунный сон кулис.
Мы целовались там, где негде сплюнуть,
Где нечем жить — мы жизнию клялись.

Я ждал событий. Я дышал в растущем
Очарованье горя жадным ртом,

Потом, когда мой занавес был спущен,
И брошен в люки крашеный картон,

И, собственному утомленью предан,
Я понял, до чего оно старо,
И за дощатой переборкой бреда
Скрипел кассир, считая серебро, —

Тогда какой-то зритель благодарный
Пил водку, жалкой веры не тая,
Что он — бесплотный, юный, легендарный.
Что он — такой же Гамлет, как и я.

6

Не легендарен, не бесплотен,
Он только юн с тех самых пор,
Хотя и сыгран сотней сотен
Актеров, с ним вступавших в спор.

Его сыграл бы я — иначе,
Отчаянней и веселей:
При всякой новой неудаче
Смеется он в отместку ей.

Он помнит зрителей несметных,
Но юность слишком коротка,
Чтоб возмужать в аплодисментах
Всего партера и райка.

Пускай мертвец встает из гроба,
Пускай красавица влечет, —
Всё начерно, всё поиск, проба,
Всё безрассудно, всё не в счет...

Виня в провале свой характер,
Ребячливость и сонный нрав,
Он наспех гибнет в пятом акте,
Важнейшей сцены не сыграв.

Не легендарен, не бесплотен,
Всем зрителям он по плечу.
Таких, как Гамлет, сотня сотен.
Такого я сыграть хочу.

7

Пусть ушедшую с пира
Могильщик-остряк
Схоронил у Шекспира
На тех пустырях,
Где по осени горек
Сырой листопад.
Пусть оскалился Йорик
На смерть невпопад.

Пусть на голос природы
Ответить не смел
Человек безбородый
И белый как мел.
Пусть, из гроба вставая,
С ним спорил король...
Это всё боевая
Актерская роль.

Сказку в книге поэта
Прочесть вы могли.
Поклонитесь за это
Ему до земли.
Пусть не прячется сказка,
Встает во весь рост!
Смысл ее не истаскан,
Хотя он и прост.

Гамлет, старый товарищ,
Ты жил без гроша,
Но тебя не состаришь,
Не меркла душа,
Не лгала, не молчала,
Не льстила врагу.
Начинайся сначала!
А я помогу.

1920—1961

Зоя Бажанова

34. ПЕРВОЕ

Так повстречались духи света
Зеленой вспышкой в дугах вольтовых.
Так начиналась прелесть эта,
Волос и губ горячих соль твоих.

Не просто море до колен нам,
Не только знал тебя я досыта, —
Но никаким иным вселенным
Ты уж не дашься. Сорвалось это!

Ты помнишь, как в сыром тумане
Горячечный маяк пульсирует?
Казалось, что и он вниманье
Мое к тебе — немое, сирое.

Казалось, юная сама ты,
Уже не дух, еще не женщина,
С охрипшим за ночь и косматым
С моим отчаяньем обвенчана.

1923

35. МНЕ СНИЛСЯ...

Мне снился накатанный шинами мокрый асфальт.
Косматое море, конец путешествия, ветер —
И девушка рядом. И осень. И стонущий альт
Какой-то сирены, какой-то последней на свете.

Мне снилось ненастье над палубным тентом, и пир,
И хлопанье пробок, и хохот друзей. И не очень
Уже веселились. А все-таки сон торопил
Вглядеться в него и почувствовать качество ночи!

И вот уже веса и контуров мы лишены.
И наше свиданье — то самое первое в мире,
Которое вправе хотеть на земле тишины
И стоит, чтоб ради него города разгромили.

И чувствовал сон мой, что это его ремесло,
Что будет несчастен и всё потеряет навеки.
Он кончился сразу, едва на земле рассвело.
Бил пульс, как тупая машина, в смеженные веки.

1923

36. АКТРИСА

Слушал я детский твой голос,
Впутанный в звон проводов.
Помнил на площади голой
Золотом шитый подол.

Злыми свечами багримы
Доски и падуг тряпье.
В зареве синего грима
Видел я сердце твое.

Шла ты по крышам и тучам
В льющейся шали до пят.
В горечи славы. В гнетущем
Счастье — родиться опять.

Помнишь? Театра младого
Мрачно разубран чертог.
Кончилось. Значит, мы дома.
Дождь разделил нас чертой.

Помнишь ты сумрак вагонный,
Призраки станций и почт?
Будешь теперь Антигоной
Всем, кто ослеп в эту ночь?

1923

37. Я НЕ ХОЧУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ...

Я не хочу забыть тебя. Я слушал,
Как время льется и гудит струной.
Я буду говорить как можно суше,
Почти молчать — но о тебе одной.

Почти молчать, почти ломая руки,
Забыв лицо, походку, платье, смех.
Я выдумаю цирковые трюки
И сказочки, понятные для всех,

Чтобы казалось: лампа не потухла!
Чтобы, по крайней мере, хоть дразня,
Скрипучая и розовая кукла
С твоим лицом шла около меня!

1923

38. ВОТ ОПЯТЬ!

Вот опять загорелся описанный точно,
До мизинца разыгранный город. И там —
По горячим следам, по сгоревшим мостам,
Под стеклом ювелира и в желобе сточном,
Между льющихся лиц и лежалых вещей —
Посвети напоследок, найди мою старость,
Дай мне руку! Скриплю я, как дохлый Кощей,
Но и ты ведь в одних зеркалах разблисталась.

Посмотри! Вот бредет красноглазый старик,
Заштрихованный снегом на скользком бульваре.
Есть и флейта у этой неведомой твари,
А у флейты от холода скрючился крик.

Это Тореадор и Пролог из «Паяцев».
Узнаешь? Это я? Но еще не конец.
Можешь спать, видеть сны, целовать и смеяться, —
Он не спутник тебе, не жених, не отец.

Он когда-то согрел тебя в жарких ладонях.
Посвети напоследок, лихой огонек!
Видишь — вот уже время свернулось у ног
И кончается песня. Ты медленно тонешь.

А теперь у него за душой ни гроша,
Ни бульвара, ни ярко накрашенной крали,
Ни возврата, ни памяти...
Слушай, душа!

Даже если бы люди сто раз умирали,
Прочен треск механизма. Цепляйся и ты
За глоток ледяного дыханья на флейте.
Мимо, люди, не бойтесь его, не жалейте!
Он еще не дошел до последней черты.

1926

39

Есть только ты. Есть только то,
Что белым светом залито:
Сознанье сделанного зла.
Но для того и жизнь ползла,
Жгла, мучила, сбивала с ног,
Чтобы сегодня я не мог
Связать слова...
Я больше их не перечту.
Пускай же бьются лбом,
И с жизнью путают мечту,
И движутся в любом
Порядке...

Я говорю, что ты невинна,
Что ночь глядит в твои глаза,
А в хрусталях пылают вина,
А в облаках летит гроза.

Я не сойду с ума от гула
В проросших как лопух ушах.
Что бы ни било, как ни гнуло —
Есть у меня летящий шаг.

Я снова твой подол целую,
Как тень лежу у милых ног
И помню всю любовь былую,
Которой выразить не мог.

Мне не в чем сознаваться! Годы,
Театры, книги, ветры, сны
Шли для такой вот непогоды,
Для пиршества такой весны,

Для дико оскорбленной тени,
Для мокрых, несмотрящих глаз...
И всё черно. И всё смятенье,
И дышат гибелью растенья,
И ветер ненавидит нас.

1926

40. 31 ДЕКАБРЯ

Этот час не похож на другие часы.
Горячась от блистания близкой красы,

Я готов! Но и ты мне, конечно, ответишь
За ошибки годов и за всю эту ветошь.

За горячку в крови, догоревшей дотла,
Ты ответишь, хоть скатерть сорви со стола!

Всеми струнами грянь, во всё горло рыдая, —
Ты ответишь за музыку, дрянь молодая!

Не сгорел же я в этом хорошем году,
Если буду поэтом — так не пропаду!

Бьет двенадцатый час. Ты смеешься? Прижалась?
Или думаешь — сбудется наоборот?

Но мне нужен, как хлеб, и не нужен, как жалость,
Этот сломанный смехом малиновый рот.

Понимаешь ты? Если бы куклой была ты,
Я и то разбудил бы фарфоровый мозг,

Достучался, дозвался, добился крылатой
Сердцевины, закутанной в шелковый лоск.

Ты не слушаешь? Это
С тобой говорит
Не похмелье поэта,
А время и ритм.

Ты не слушаешь, сон
Золотой и безмозглый!

Тонкий хлыст занесен
На высокие козла.

Облегченно и колко
Звенят провода.
Унеслась одноколка
Твоя навсегда.

⟨1932⟩

41. ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВРЕМЯ

Приближается время осенних пиров,
Учащенное сердцебиением встреч,
Отягченное всяким добром до краев.
О, бессонница! Только бы мне подстеречь
Первый приступ!
                    Я выдумки литератур
Позабыл бы и снова собрал для нее,
Поднял на ноги ночь. Начинается штурм.
Наконец начинается время мое!

Это в грохоте республиканских камней
Начинается время стихов и любви.
Это поезд летит. Это где-то ко мне
Протянула ты добрые руки свои.

О, я знаю, ты спишь! Но ширяет вокзал
Без исхода стеклянными крыльями в дождь.
Это он мне сегодня не спать заказал.
Это там, за чертой полустанков и рощ,
Горизонт уже начал сереть.
                                        И опять
Начинается время осенних пиров,
Электричество, бодрость, желанье не спать
На ветру, под дождем, для тебя...

1929

42. ЗОЯ

Я «молнии» слал в эту мглу дождевую, —
Мне сдачу давали с квитанцией вместе.
Ты снилась мне каждую ночь. И живу я
Придуманной жизнью, придуманной вестью —
Тобою!
О да! Это всё еще длится.
Ни годы, ни грусть ничего не могли
Решить. И когда ты кивала вдали,
Смещались квадраты и путались лица.

И снова наш дом, и собака, и полки
В дочитанных книгах, и даже окурок
На блюдце. И ты в незачесанной челке,
Ты, лучшее между существ белокурых, —

Приемыш какого-то там акробата,
Циркачка в обносках чужого тряпья.
Короче, ты — молодость просто моя.
Да, молодость!
Где-то в колхозе ребята
Тебя провожают вдоль ветел и прясел.
И клубная сцена им кажется миром.
И ты, мое сердце, им снишься кумиром.
Им тоже ты снишься! Но сон их напрасен.

1935

43. ВОТ НАШЕ ПРОШЛОЕ...

Я рифмовал твое имя с грозою,
Золотом зноя осыпал тебя.
Ждал на вокзалах полуночных Зою,
То есть по-гречески — жизнь. И, трубя
В хриплые трубы, под сказочной тучей
Мчался наш поезд с добычей летучей.

Дождь еще хлещет. И, напряжена,
Ночь еще блещет отливом лиловым.
Если скажу я, что ты мне жена,
Я ничего не скажу этим словом.
Милой немыслимо мне устеречь
На людях, в шуме прощаний и встреч.

Нет. О другом! Не напрасно бушуя,
Движется рядом природа. Смотри
В раму зари, на картину большую.
Рельсы, леса, облака, пустыри.
За Ленинградом, за Магнитогорском
Тонкая тень в оперенье заморском!

Сколько меж нас километров легло,
Сколько — о, сколько — столетий промчало!
Дождь еще хлещет в жилое стекло,
Ночь еще блещет красой одичалой.
Не окончательно созданный мир
Рвется на волю из книг и квартир.

Вот он! В знаменах, и в песнях, и в грубых
Контурах будущих дней. Преврати
Нашу вселенную в свадебный кубок!
Чокнемся в честь прожитого пути!

1935

44. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ...

Я люблю тебя в дальнем вагоне,
В желтом комнатном нимбе огня.
Словно танец и словно погоня,
Ты летишь по ночам сквозь меня.

Я люблю тебя — черной от света,
Прямо бьющего в скулы и в лоб.
Не в Москве — так когда-то и где-то
Всё равно это сбыться могло б.

Я люблю тебя в жаркой постели,
В тот преданьем захватанный миг,
Когда руки сплелись и истлели
В обожанье объятий немых.

Я тебя не забуду за то, что
Есть на свете театры, дожди,
Память, музыка, дальняя почта...
И за всё. Что еще. Впереди.

1929

45. СЛОВАМИ ЧЕРНЫМИ...

Словами черными, как черный хлеб и жалость,
Я говорю с тобой — пускай в последний раз!
Любовь жила и жгла, божилась и держалась.
Служила, как могла, боялась общих фраз.

Всё было тяжело и странно: ни уюта,
Ни лампы в комнате, ни воздуха в груди.
И только молодость качалась, как каюта,
Да гладь соленая кипела впереди.

Но мы достаточно подметок износили,
Достаточно прошли бездомных дней и верст.
Вот почему их жар остался в прежней силе
И хлеб их дорог нам, как бы он ни был черств.

И я живу с тобой и старею́сь от груза
Безденежья, дождей, чудачества, нытья.
А ты не вымысел, не музыка, не муза.
Ты и не девочка. Ты просто жизнь моя.

1929

46. ОПЯТЬ

«Помни меня, не забудь меня! Слышишь?
Не за...»
Это мой крик, захлебнувшийся в ветре весеннем.
Это сама ты меня целовала в глаза.
Это мы оба остались друг другу спасеньем.

Так вот и будем метаться вдвоем по стране.
И, разлучившись, молнировать тут же вдогонку,
Что, мол, в груди оно бьется, подобное гонгу,
Гневное, гулкое, глупое, по старине.

Все-таки лучшее слово на свете — дорога, —
Честная, жесткая дружба с пространством земли.
Хочешь, — как в кинематографе, только вели, —
Жизнь повторится сначала, моя недотрога!

Память наполнится музыкой, ветром сырым,
Морем, вокзалами, хриплыми вздохами пара.

Мимо Кавказа в Москву, через Волгу и Крым
Снова пройдет как легенда влюбленная пара.

И — словно майская заполыхает гроза,
Всё промывая до блеска и всё освежая:
«Помни меня! Я тебе никогда не чужая.
Помни меня, не забудь меня! Слышишь? Не за...»

1946

47. ЗОЕ НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

Зое — на добрую память о времени злом.
Зое — две юности наши сплетаю узлом.

Зое — тревога, и нежность, и верность моя.
Зое — ни мыслей, ни чувств от нее не тая.

Зое — поэма о времени и о судьбе.
Зое — любимой, одной и единой, Тебе.

Ноябрь 1954

Раннее. 1916—1926

— За нами кто-то идет, — сказала Герда.
И действительно, там плыло и шелестело, как будто тени двигались по стене: легконогие кони, егеря, рыцари, дамы...
— Это сны, — отвечал Ворон, — они приходят, и знатным особам снится охота.

Андерсен

48. ВСТУПЛЕНИЕ

Я глупый и пьяный матрос,
Попавший на остров колдуньи,
Тоскующий в зарослях роз
О родине в час новолунья.

Я школьник, не спавший всю ночь
Над яростным томом Шекспира.
Я знал королевскую дочь,
Но выгнан с дворцового пира.

И бросил я мать и сестер.
На них, как собака, ощерясь,
И завтра взойду на костер
За богохуленье и ересь.

И вот уже морда огня
Лицо мое гложет и лижет
И время, мой призрак гоня,
Столетья минувшие движет.

Глядит оно из-под руки,
Молчит, усмехается горько,
Играет со мной в поддавки —
А я не сдаюсь, да и только!

Между 1916 и 1919

49. ДРУГОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Лазаретных ли знобит,
Говорят ли рвы раскопок,
Иль планеты из орбит
Рвутся в стекла телескопов. —

Так зачем смолкает автор,
И кончается рассказ,
И качнулся плотью правды
Обрастающий каркас?

Вот скрипят узлы колен,
Ржавой проволкой скрепленных,
Век растет, как из пеленок,
Из наивных кинолент.

Век растет гигантом добрым,
Погремушку мнет в руке.
На простой мотив подобран
Гул в его ночной реке.

Сухость ранних чертежей
И ярчайший крик рекламы —
Это зуд в плечах, уже
Набухающих крылами.

Это, лысый как колено,
Снова пущен в оборот
Дождевой пузырь вселенной,
Жадно пьющей кислород.

Это — влажная заря
В перьях яростной сирени.
Это — первый день творенья
На скользоте пузыря.

Это сильный добрый кафр
В гонг ударил где-нибудь...
Но поэту от метафор
Некогда передохнуть.

Между 1922 и 1924

50—51. *ДВЕ ЦЫГАНСКИЕ ПЕСНИ*

1

Золотом шитый подол затрепала.
Слабые руки хватают огонь.
Ты ли в стеклянном гробу задремала,
Ты ль не слыхала далеких погонь?

Вот погляди! Старый дом твой в метели.
Триста прошло удивительных зим.
В елочной пыльной златой канители
В сонных санях по России скользим...

Дико зальется бубенчик на дугах,
Где-то мелькнут огоньки деревень.
Здравствуй же снова в туманах и вьюгах,
С тенью моей обрученная тень!..

2

Я гибну, а ты мне простерла
Два выгнутых лирой крыла,
Впиваешься в жадное горло,
Дыханьем грудным обняла.

Не надо мне этого часа
Разлук, и разъездов, и зорь.
Не пой, не прощай, не прощайся, —
Того, чем была, не позорь!

Пойду по снегам я навеки,
А там дальше смерти пойду, —
Забудь обо мне, человеке,
Любовнике в прошлом году...

Между 1916 и 1917

52. МОСКВА

Москва — в лазури колокольной,
В охотнорядской толкотне,
В той прошлогодней, сердобольной,
Бульварной, разбитной весне...

Москва — под снеговым покровом,
Где в низенькие терема
Всю ночь к боярышням безбровым
Стучалась лютая зима...

Где голуби летали низко
И ворковали у крыльца...
А царь с глазами василиска
Казнил заморского гонца, —

Меж тем как рында в горностае
Рассказывал о злом царе
Церквам и лебединой стае,
Плескавшей крылья в серебре...

Москва — где мой ночлег далече,
Где уплывает мимо глаз
Одна-единственная встреча,
Которая не удалась...

Между 1916 и 1917

53. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

Ты подошла с улыбкой старомодной
И отвернулась, не всмотревшись в нас,
И каждый гость, когда ему угодно,
Вставал, шутил, стрелялся — в добрый час! —
И воскресал в другую дверь — химерой
И неопасной тенью.
Вот и ночь
Окаменела, превратилась в серый
Гранит Невы, но не смогла помочь.
Вот съежились, усохли, почернели
Разносчик, баба, немец, гайдуки...
Вот на ветру, не запахнув шинели,
Прошел костлявый дух моей тоски.

И я проснулся тенью обветшалой,
Изображеньем чьих-то давних лет.
Но *быть собой* мне все-таки мешала
Чужая жизнь, которой больше нет.

И нет тебя, проплывшей в легком вальсе
И отпылавшей, молодость губя.
И, как ни спорь, ни сетуй, ни печалься,
Ни утешайся, — больше *нет тебя* —
Ни в прошлом, ни сегодня, ни в грядущем,
Ни в книгах, недочтенных впопыхах...
Ты временем, Кощеем завидущим,
Похищена.
Но ты в моих стихах.

1919 (?)

54. НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Тогда загадочный твой образ
Орнаментами был разубран,
Не забран в шоры, не разобран
До прозаических зазубрин.

Теперь не то! Распад грамматик
И вырожденье арифметик.
Сны? Я учусь не понимать их.
И даже видеть не уметь их.

Мир создан и распланирован.
За нами сверстников орава.
Жить без легенды и без крова —
Наш долг, а может быть, и право!

Так вы, товарищи, не трусьте,
Прочтите типографский оттиск:
Он был и юностью, и грустью,
И самой легкой из гипотез.

1929—1969

55. ТАК, КАК ТОЛЬКО И ВОЗМОЖНО!

Так, как только и возможна
Речь от первого лица, —
То есть путано, тревожно,
Не с начала, без конца, —

Не затем, чтобы потрафить
Устроителям торжеств,
Приукрасить иль исправить
Каждый неуклюжий жест.

Что мне ваши уверенья,
Страсть, несущаяся вскачь,
Будто пудель на арене
Иль какой другой циркач!

Стойте, чудо! Я вам свистну,
И тогда, пожалуйста,

Плачьте, как вам ненавистно
Слушать реплики хлыста!

Укрощенье этой твари
Занимает весь раек.
Но раек поймет едва ли,
Что сказал я между строк.

Вам шепну я, страсть, что между
Строк распоряжались вы,
Распалив мою надежду
Прыгнуть выше головы.

Как индийские удавы,
Горла труб обвили нас.
Но стихает туш, когда вы,
Легким торсом наклонясь,

Вея древней пантомимой,
Усмехнулись мне, дитя, —
Вся в поту и в мыле, — мимо
Человечества летя!

⟨1933⟩

56. СТОЙ, ВЫСЛУШАЙ!

Стой, выслушай меня! Я жил в двадцатом веке
И услыхал в себе, в ничтожном человеке,
В те годы голода — рев низколобых орд
И страшный ритм машин. И был я этим горд.
Я мог бы умереть. Но выслушай, царица, —
Я мог совсем не быть, но мог учетвериться!

Вдыхал я Дантов ад и сладкий дым сигар,
Едва заметный шплинт вращенья, кочегар
У топки городской, я продал ювелирным
Витринам все глаза, которые любил.
Я истребил мечты, что выгибались лирным
Любовным голодом, и женщин оскорбил.

И помнится мне цирк, и в музыке и в гике —
Взгляд бедной девочки, наездницы-бельгийки,

И вихрь трехцветных лент, и бешеный оскал
Накрашенного рта... И та же тьма зеркал
Витринных выпила мой первый день творенья,
А кукла понеслась слепая по арене!

Она еще летит. И музыка с бичом
За нею гонится. И больше ни о чем
Не вспомню я в стихах, беспомощно подробных.
Войду я эльфом в сон и Шерлок Холмсом в сыск.
Праправнук обезьян и внук себе подобных,
Останусь призраком на свой же страх и риск.

Когда же рухнет мир в моих лесах рабочих,
Я буду, может быть, счастливее всех прочих
И получу взамен возможность быть везде—
В любом мошеннике и на любой звезде,
Как белка в колесе замучен и заверчен, —
Пунктиром в памяти читателей прочерчен.

1920 (?)

57. ИСТОРИЯ

История гибла и пела
И шла то вперед, то вразброд.
Лохматилась грязная пена
Ее вымиравших пород.

То были цари и циркачки,
Философы и скрипачи —
В тяжелой и жуткой раскачке
Уже неживые почти.

Но я относился с доверьем
К истории, вьюгам, кострам.
Я жил геральдическим зверем
В развалинах сказочных стран.

Мне каркала злая ворона
Из мрака монархии той,
Где всё от острога до трона,
Казалось, свинцом залито.

Где фурии факельным хором
Рыдали с архивных страниц,
Искали горячего корма,
А век отвечал: «Отстранись!»

Но, весело, честно и строго
Спрягая свой черный глагол,
Я был как большая дорога
И просто был молод и гол.

Между 1922 и 1924

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

В повозке так-то по пути
Необозримою равниной, сидя праздно,
Всё что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно...

Грибоедов

58. МОЙ СЫН

Нет. Ничего не решено.
Всё будет. Всё голо и просто.
Дыша вечерней тишиной,
Глядит в окно худой подросток.

Он слышит гул подземных руд,
Бетховенской сонаты клекот.
Он знает муравьиный труд.
И всё, что близко иль далёко,

Вплоть до любого рубежа, —
Всё перед ним сейчас маячит.
В уме вселенную держа,
Он вновь ее переиначит.

Он должен высекать кремни,
Свистеть в тростник и в пепле рыться.
В нем спит кузнец, художник, рыцарь.
О молодость! Повремени!

Никем себя не называя,
Несись извилистым ручьем,
Простоволосая, живая,
Не помнящая ни о чем.

Пробейся в узловатых сучьях
Вверх, как подсказывает рост,
Где в листьях, хлорофилл сосущих,
Косит зрачком занятный дрозд.

И в прущей зелени, в свирепых
Побегах завтрашнего дня
Да будет ствол расшатан в скрепах,
Весь до тугих корней звеня.

Настанет час, когда ты будешь
С чужою женщиной вдвоем.
Ты, может быть, не позабудешь
Меня на празднике своем.

Забудь!
Я ничего не значил.
Я — перечеркнутый чертеж,
Который ты переиначил,
Письмо, что ты не перечтешь.

⟨1936⟩

Сумерки трагедии

59. ВСТУПЛЕНИЕ

Над воплями скрипок, над лампами люстр,
Над бурей крещендо, огнем маэстозо.
　　Еще незаметная доза
　　В тревоге ста тысячи уст, —
　　В кольчуге калечащих молний,
　　От собственной силы клонясь,
На сцену Трагедия вышла, наполнив
Преданьями путь от себя и до нас.

Простая, как рост, молодая навеки,
Еще она смеет валять дурака.
Но бьет ей в смеженные веки
Прожектор! Но издалека
Пахнуло паленым, дохнуло полетом
В ненастное небо на птице стальной, —
И вот она стала иной
И грозную песню поет нам!

И вихорь в листве жестяной
Шумит о нигде не бывавшей вселенной,
Где за обладанье Еленой
Под красной стеной крепостной
Такие же в глине рыжели траншеи,
Треща, катапульты, как танки, ползли
И слабых коней лебединые шеи
Клонились до самой земли.

То было кровавое утро,
Начало истории всей.
Еще не вгляделись в грядущее мудро
Ни жрица Кассандра, ни царь Одиссей.
Тогда по решенью инстанции высшей,
Отчаяньем обременен,
В тяжелой кольчуге грядущих времен
Поэт на просцениум вышел!

Он молод, и нищ, и умен,
И что-то о женщине мямлит.
А кто он — Орест или Гамлет, —
И сам позабыл в океане времен.
Ликует галерка, партер негодует.
Поэт, представленье губя,
Забыл про Трагедию и про себя,
Орет, отсебятину дует!

1964

60. ГОВОРИТ ПРЕДАНЬЕ

Помнишь наши обломки в Пергаме,
Наши тяжкие торсы в поту?
Видишь старый вощеный пергамент,
Записавший историю ту?

Помнишь поступь Эсхилова хора,
Грохотанье грозы молодой?
Ну так что же, что стали мы скоро
Вихрем, пылью, огнем и водой?

За Руном Золотым, за Еленой
Мы неслись на тугих парусах.
Мы прошли по короткой вселенной,
Черепа и мечи разбросав.

Помнишь всё? Ничего не забудешь?
Ну так слушай еще и еще!
Ты ведь жажды чужой не осудишь,
Если жил на земле горячо.

Даже тут, даже в черном Аиде,
Даже черную землю грызя,
Мы проснемся, любя, ненавидя, —
Ваши спутники, ваши друзья.

Мы послужим и вам — обнаружим
Прочно сбитую силу свою.
Мы не ржавым вернемся оружьем,
Не сдадим и в последнем бою!

Мы не призраки. Мы не из сказок,
Не труха за музейным стеклом.
Мы — вся толща седого Кавказа,
Мы столетья берем напролом.

Рвем мы воздух в сигнальных фанфарах,
Режем волны винтами турбин,
Рубим ночь в ослепительных фарах —
Мы, работники гор и глубин!

1938

61. ПАМЯТИ ЭСХИЛА

Представленье кончено. Пора!
Вещи выглядят черней и горше.
Дым. Свеча. Картонная гора.
С Прометеем остается коршун.

Звонок стук людского топора.
Поднят парус. Заработал поршень.

Горе! Сколько муки в черепах,
Втоптанных во все распутья мира!
Сколько тщетной силы исчерпав,
Время, древний кормчий и кормило,
Обгоняло бедных черепах
И Ахиллов баснями кормило!

Вот вам громовержца торжество!
Нет на стогнах памятного гама.
Форумы и рынки спят мертво.
Но, как хроматическая гамма,
Длится гул крушенья моего,
Чтоб восстать раскопками Пергама.

Пращуры пещерные, теснясь
У ворот Памира и Кавказа,
Вздумали взобраться на Парнас,
За живых цеплялись как проказа,
Выли: «Глубже зарывайте нас,
Прочь от змиеногого рассказа!»

Кончен бой! Но только глянешь вниз,
В мир потомков наших окаянных, —
Море Средиземное, склонись
Перед битвами на океанах!
Кончен пир! Но только глянешь вверх,
В ликованье звездного спектакля, —
Это наш расхищен фейерверк,
Наша выдумка и наша пакля!

В беглой вспышке вольтовой дуги,
В духоте плавилен, в спертых гулах
Пламени у кузнецов сутулых —
Вижу я, что с небом вы враги:
Ненависть, закушенная в скулах,
Та же!
Стой, картонная скала!
Чучело, выклевывай мне сердце!
Сколько бы веков ты ни спала,
Будет харч для твоего стола,
Жадная служанка громовержца!

Коршун смотрит в очи пустоты,
Думает, что это я, и злится...
Вот мы квиты, Коршун, — я и ты:
У обоих каменные лица.

1927, 1964

62. СУМЕРКИ ТРАГЕДИИ

Владимиру Луговскому

На север, в страну полуночи сплошной,
Несутся два летчика. Тщетная гонка.
Вокруг тишина, и за той тишиной
Два пульса, два сильных мотора, два гонга.

Знакомы их лица мне? Кажется — да!
Конечно, с тех пор, как дышал я и рос,
Вот так зеленела над нами звезда
И нежно звенел межпланетный мороз.

Один — это я. Но моложе. А тот
Едва серебрится в сиянье пустот.
И он говорит мне: «Дай руку. Пора!»
... Ни юрты, ни паруса, ни топора,

Ни чума, ни дыма, ни вереска... Тут
Я должен решительно оговориться:
Еще полминуты, обоих сметут
Метели, веселые наши сестрицы.

Так слушай последнюю песню мою.
Она не кончается смертью. Она
Почти бесполезна. Но я допою.
Допью, что успею, до самого дна.

О гибели нашей ты знаешь иль нет?
Когда это было и кто мы — не помню.
Я даже забыл, на какой из планет
Родиться легко и погибнуть легко мне.

Дай руку. Пора. Наконец-то пора!
Ни дыма. Ни паруса. Ни топора.

Ни женщины нежной. Ни жалости влажной.
Эпоха — любая. А кто мы — не важно.

Два факела где-то, за тысячу верст
От крайнего пункта людских поселений.
Наш хлеб окончательно черен и черств.
Замерзшее поле спиною тюленьей
Блеснуло и матово лоснится...
(Тут
Рассказ прерывается.) ...Если о нас
Уже никогда на земле не прочтут...
(Опять прерывается.) ...Смертью клянясь,
Я верю поруке и дружбе мужской,
Я верю, что спутник и сам я такой.
Я верю, что жизнь не кончается здесь.
(Большой перерыв.) ...Мириады чудес!..

Спалило нам лица и руки свело.
Ни света. Ни воздуха. Ни высоты.
Светает. Светает. Совсем рассвело.
Я только и знаю, что гибну. А ты?

На север, на север, на север. Вперед!
Нас за сердце доблесть людская берет.
Проносится наше столетие мимо
Седых облаков, ледниковых пород.
Проносится в медленной, неутомимой
Чеканке смертей человеческих...

1928, 1964

Нетерпенье

63. НЕТЕРПЕНЬЕ

Склад сырых неструганых досок.
Вороха не припасенных в зимах,
Необдуманных, неотразимых
Слов, чей смысл неясен и высок.

В пригородах окрик петушиный.
Час прибытья дальних поездов.

Мир, спросонок слышимый, как вздох,
Но уже светло. Стучат машины.

Облако, висящее вверху,
Может стать подобьем всех животных.
Дети просыпаются. Живет в них
Страсть — разделать эту чепуху

Под орех и в красках раздраконить, —
Чтоб стояли тучи, камни, сны,
Улицы, товарищи, слоны,
Бабушки, деревья, книги, кони...

Чтобы стоили они затрат,
Пущенных на детство мирозданьем,
Чтобы жизнь выплачивала дань им,
Увеличенную во сто крат.

Нетерпенье! Это на задворках
Мира, где царил туберкулез,
Где трясло дома от женских слез, —
Доблесть молодых и дальнозорких.

Нетерпенье! Это в жилах руд
Чернота земной коры крутая.
Вся земля от Андов до Алтая,
Где владыкой мира станет труд.

Лагерь пионеров. Трудный выдох
Глотки, митингующей навзрыд.
Край, который начерно разрыт.
Сон стеблей, покуда еле видных.

Звон впервые тронутой струны
Где-то на дощатой сцене в клубе.
Нетерпенье — это честолюбье
Окруженной войнами страны.

1932

64. В ТОТ ГОД

В тот год, когда вселенную вселили
Насильно в тесноту жилых квартир,
Как жил ты? Сохранил ли память или
Ее в тепло печурки превратил?

Ты помнишь? Нечего жалеть и нежить.
Жги! Есть один лишь выход — дымоход.
Зола и дым — твоя смешная нежить,
Твоя смешная немочь, Дон-Кихот.

Век начался. Он голодал Поволжьем.
Тифозный жар был, как с других планет.
«Кто был ничем, тот станет. . .» Но ты должен
Поверить, ибо большей правды нет.

Она придет, как женщина и голод,
Всё, чем ты жил, нещадно истребя.
Она возьмет одной рукою голой,
Одною жаждой жить возьмет тебя.

И ты ответишь ей ночами схимы,
Бессонницей над бурей цифр и схем,
Клянясь губами жаркими, сухими
Не изменять ей. Никогда. Ни с кем.

⟨1932⟩

65. НЕТ! МАЛО ЕЩЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Нет! Мало еще доказательств. До дна
Ты разоблачиться, природа, должна!
Довольно мошенничать, козыри пряча,
В соитиях корчась, в смертях раскорячась!

Нет! Мало пилотов на бой и на слет,
Гремящих речей и щемящих кислот,
И формул, и ветра, и выдумки мало,
Чтоб ты наконец свою клетку сломала!

А ты заливаешь нам уши враньем,
И каркают монастыри вороньем,

И бродит легенда, чертовка босая,
На отыгрыш кости раскопок бросая.

И бухают колокола литургий,
И в бреднях какой-нибудь лысой карги
Мерещится людям судьба. И об этом
По-прежнему лестно трепаться поэтам.

Пора! Сквозь ненастье — просвет бирюзы.
Там, в звездных туманностях, в блеске грозы
Для обсерваторий расчищено небо!
И кажется — бог никогда там и не был.

Там круговорот центробежных погонь,
Безбожная вьюга, безбожный огонь,
Неистовый темп, ледяная гангрена,
Рожденье всего, что бессмертно и бренно.

Туда, в серебро межпланетного льда!
Сквозь вьюгу, сквозь время, сквозь гибель — туда
Мы двинулись! Лучшего жребия нет нам,
Чем стать человечеством междупланетным!

1930

Большие расстояния

66. Я ВИДЕЛ ВСЮ СТРАНУ

Я видел всю страну — Баку, Ростов, моря,
Нефть, трактора, туман и соль полей озимых.
Век надо мной вставал, веселостью даря
И тысячью очей своих неотразимых.

Стояло в памяти: морозных зорь хрусталь
Над пиршеством лепных фронтонов Ленинграда.
Стояло в памяти: вся мыслимая даль,
Париж, Арбат, мой стол и — поздняя отрада

Всех, кто воротится, пространствовав, домой, —
Дым грибоедовский, жилья дымок овечий,

Лицо моей жены. И всё, что там зимой
Случится мелкое. Всё просто человечье.

Я благодарен дням, обугленным дотла,
Погубленным во мне, как жизнь им подсказала,
И жизни прожитой за грязь ее стола,
За ресторанный чад, за черноту вокзала.

За всё! За грубый дар внезапных этих строк,
Внезапной юности. Но время знаменито
Необратимостью. Но мир еще широк.
Но я разорван от надира до зенита,

И вырван из своей безмозглой скорлупы,
И, как сырой птенец, вытягиваю шею
Туда, где мечутся прожекторов снопы,
Где вся страна лежит, от дыма хорошея.

1934

67. ПРИЕЗД БРИГАДЫ

И вот мы вышли ночью из вагона.
Встал паровоз как вкопанный с разгона
С багровой бляхой на груди. Наш путь
Лежал в просветах сосенок и кочек,
По доскам, там, где, чавкая, клокочет
К зиме разболтанная как-нибудь
Строительная грязь.
Один товарищ
Воскликнул: «Здравствуй, сонный городок!
Ты через час проснешься, чай заваришь,
Услышишь длинный заводской гудок.
Дощатый мир! Ты заново обструган.
Ты пахнешь глиной и паленой хвоей.
Дай руку и веди меня, как друга!»

Нас было четверо. Другие двое
Над болтуном посмеивались так:
«Ты, может быть, оркестра ждешь, простак?
Официально чувствуя, ты прав.
Не зная броду, ты суешься в... оду
И, запах дегтя еле разобрав,
Предчувствуешь большую бочку меду».

Так вяло мы беседовали. Вдруг
Из черноты редевшей ночи встал —
Оправленный в стекло, огонь, металл —
Кусок завода, будущий наш друг.
О, ничего особенного! Сила
В контрасте между ним и чахлым краем.
Земля сапог еще не износила,
В которых шла, лопатой ковыряя
Суглинок этой пустоши. Еще
Глушит ее некошеный лопух.
Еще плетень уперся ей в плечо.
Еще у каждой лужи глаз распух
От потасовок.
                                        Но грядущий век
Здесь начерно построен, как барак.
Он не смыкает воспаленных век.
Его гудок вопит в дожди, во мрак,
За Ладогу.
                                Но стойте! Может статься,
Я начал не с того конца и зря?
Завод стоит не для манифестаций
Пред путешественником смысла века.
И век не только рифма к человеку.

А между тем нас встретила заря.

1931

68. ДРЕВНИЙ ГОРОД

Да, да! Во всем огромном мире
Я только и прошел одну —
В свирепой каменной порфире
Сухую горную страну, —

Где в вулканических породах,
Страстное лоно заголя,
Ликует, как при первых родах,
Желто-багровая земля, —

Где Дария и Митридата
Вчера как дым прошла орда,
Где самая глухая дата
Сегодня столь же молода, —

Где в суматохе муравьиной
Глаза детей желто горят,
Где продается в лавке винной
Навынос снежный Арарат, —

Где в переулке, за глухими
Лохмотьями чужих лачуг,
В ночном кафе усталый химик
Рассказывает про каучук, —

Где ползает на желтом брюхе
Змея, таинственная тварь,
Где гонят мальчиков старухи
Читать таинственный букварь, —

Где всей палитрою Сарьяна,
Под солнцем изжелта-синя,
Большая, плещущая рьяно
Жратных базаров толкотня, —

Где от ужимок оборванца
И мертвых смехом прорвало б,
Где кривоногий Санчо Панса
Осла целует в кроткий лоб, —

Где в полночь в зале ресторанной,
Весь в дымке европейских чар,
Глядится вкрадчиво и странно
Женоподобный янычар.

Вот он к портье подходит вяло,
Нацеливается в друзья,
От слуха к слуху, как бывало,
С нездешней грацией скользя.

И где-нибудь в ночном вагоне,
Секретный разбирая шифр,
Внезапно, как бы от погони,
Теряется... И вдруг решив,

Что гибнет, рвет все донесенья...
И пляшет тень в его окне
Вдоль насыпи... В ночи осенней.
Там. За Араксом. В той стране.

⟨*1936*⟩

69. НОЧЬ В СЕЛЕНИИ КАЗБЕК

> Неподалеку от селения Казбек обнаружен разбившийся почтовый самолет.
>
> *Из газет*

Мы мчались в ту ночь по Военно-Грузинской дороге.
Шарахались дикие кошки и рыси от фар.
Шарахались горы, как сказочные недотроги,
И рушились.
Где-то гремел перекат их фанфар.
Но петли подъемов на шины намотаны крепко.
Исчадия тартара сброшены в тартарары.
И Жора-шофер нахлобучил веселую кепку
И остановился на станции против горы,
Воспетой поэтами.
Вид ее так же неистов,
Как в пушкинском веке. Гостиница так же бедна.

Тут мы очутились меж летчиков и альпинистов,
В печальной компании, пившей давно и до дна.
Свирепая водка дымилась в глазах и в стаканах.
Остыл тамада. Не блистал красноречием стол.
И мы разглядели тогда в облаках златотканых,
В зазубринах дикой расселины, в дыме густом
Такую картину:
крылом перебитым повиснув,
Влепился в скалу и истерт в порошок самолет.
Он только что найден. Ущелье в своих ненавистных
Объятьях баюкает кости погибших и ливнями льет.
Шли тучи. Звезд не было. Ночь растянулась.
Но в сфере
Огня керосиновых ламп продолжалась еще
Трагедия.
И, как защитник на смятом бруствере,
Встал кто-то из летчиков, заговорил горячо.
О чем? О стране, где решаются судьбы столетья.
О бьющей насквозь и навылет ночной быстрине.
О смерти, которая хлещет старинною плетью
По стольким отважным. И снова о нашей стране.
О трассе, проложенной в тучах над острою кручей,
О почте, которую не довезли. О гостях,

Которые завтра пройдут по дороге горючей,
Подняв над героями райисполкомовский стяг.

Товарищи летчики чокались с нами сурово.
И доктор, нехитрый и плотный, как все доктора,
Царивший над пиршеством до половины второго,
Давно уже знал, что давно расходиться пора.
Он встал.
Но, неслышно шагая по смертным увечьям,
Сходились вершины Кавказа на тайный совет.
Ревниво прислушалась пропасть к речам человечьим.
Ее в эту ночь раздражал керосиновый свет.
И скалы, приникшие скулами к стеклам террасы,
Молчали (как это известно по многим стихам).
Молчали, и слушали, и отвергали прикрасы
Любых красноречий.
А пир между тем не стихал.

Но рано иль поздно всё кончилось. Кажется, рано:
Почти на рассвете. Дремоты никто не избег.
Тогда проступил огневой транспарант по экрану —
Заглавье идущей зари, недоспавший Казбек.

Мы спали вповалку. А утром, подняв ледорубы
И взявши рюкзаки, товарищи наши ушли
К разбитой машине.
Трагедия грянула в трубы
Финала.
И горы склонились до самой земли
Серебряными головами. Любая несла бы
За гробом тиару свою в миллиардах карат.
Любая громовая грудь подхватила бы слабый
Раскат похоронного марша в стократный раскат.

И шли бы за гробом и всею оравой лиловой
Орали бы горы: «Вы жертвою пали в борьбе...»
И шли бы, как братья, и неповторимое слово
Сказали о славе, о летчиках и о себе.

28 июля — 3 августа 1935

70. НОСЯЩИЙ ТИГРОВУЮ ШКУРУ

Виктору Гольцеву

Пламенное, пурпурное небо.
Резкий ветер в путанице скал.
Мчится всадник. Был он или не был?
Чей шелом на круче просверкал?

Вихрем тонконогий конь пронесся,
Вихрем ринулся в тартарары...
И опять, не ведая износа,
Лоснится шагрень земной коры.

То не ребра гор залиловели,
Не породы каменный костяк...
Прочитай реченья Руставели,
Побывай у вечности в гостях!

Это кровь играет в побратимах,
В мощной сцепке мускулов и жил,
Это из времен необратимых
Говорит природы старожил.

Это верность дружескому слову.
Это прочно кованная честь.
Так склонись над книгой, чтобы снова
Древнее преда́нье перечесть.

Ты услышишь здесь рычанье твари,
Гибкой и глазастой по ночам,
Ты увидишь синий лед Мкинвари,
Рек струенье по его плечам.

Ты увидишь, как из всех расселин
Лезет вверх, цепляется, спешит,
Ищет солнца жилистая зелень,
Остролист, орешник и самшит.

Ты увидишь на отвесной круче
Низкорослых каджей ратный стан.
Там в печали ма́ется горючей
Прелесть мира, девушка Нестан.

Что ж посланья узница не пишет?
Разве вихрь листа не донесет?
И она не дышит, ждет и слышит, —
Кто-то дверь темничную трясет.

Вся природа в пламенном томленье,
Ждет заветной встречи, замерла.
Встали, вкопаны в скалу, олени.
Не качнется в тучах тень орла.

Руки голубые простирая,
Ледники сползаются тесней.
И звучит от края и до края:
«Мы — любовь. Мы торжествуем с ней».

Всех светил круженье огневое,
Всех желаний дрожь — она одна.
И когда встречаются те двое,
Чаша мира до краев полна.

Так мечтатель в шапке островерхой,
Безыменный первенец времен,
Ныне встал перед большой проверкой,
Солнцем нашей правды озарен.

Где он жил? Где прах его летучий?
Что за ветер стер его следы?..
Пламенные, пурпурные тучи.
Крик орлов. Туман. Седые льды.

Русла рек. Задебренные спуски.
Ликованье путаных крутизн.
Кровь руды, запекшаяся в сгустки.
Ветер. Нескончаемая жизнь.

1937

71. НИКО ПИРОСМАНИШВИЛИ

В духане, меж блюд и хохочущих морд,
На черной клеенке, на скатерти мокрой
Художник белилами, суриком, охрой
Наметил огромный, как жизнь, натюрморт.

Духанщик ему кахетинским платил
За яркую вывеску. Старое сердце
Стучало от счастья, когда для кутил
Писал он пожар помидоров и перца.

Верблюды и кони, медведи и львы
Смотрели в глаза ему дико и кротко.
Козел улыбался в седую бородку
И прыгал на коврик зеленой травы.

Цыплята, как пули нацелившись в мир,
Сияли прообразом райского детства.
От жизни художнику некуда деться!
Он прямо из рук эту прорву кормил.

В больших шароварах серьезный кинто,
Дитя в гофрированном платьице, девы
Лилейные и полногрудые! Где вы?
Кто дал вам бессмертие, выдумал кто?

Расселины, выставившись напоказ,
Сверкали бесстрашием рысей и кошек.
Как бешено залит луной, как роскошен,
Как жутко раскрашен старинный Кавказ!

И пенились винные роги. Вода
Плескалась в больших тонкогорлых кувшинах.
Рассвет наступил в голосах петушиных,
Во здравие утра сказал тамада.

1935

72. ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

Мы за стол садились неумело,
Дружеству застольному учась.
Мы не знали, время ли шумело,
Ночь прошла или короткий час,—
Только были мы белее мела.

Тут, конечно, в памяти провал...
Вот, охрипнув, только бы добиться

Слова у пирующих, вставал
Со стаканом Тициан Табидзе.

Кроток сердцем, выдумкой богат,
Как Крылов, дороден и спокоен,
Говор останавливал рукой он,
Начинал как будто наугад.

Шла раскачка речи полусонной.
Но смолкали разом остряки
От почти навзрыд произнесенной
Пушкинской таинственной строки.

И на холмах Грузии далече,
В дикой сцепке зелени и руд,
Где драгунской шашкой искалечен
Был когда-то человечий труд,—

Где вставал рассвет в бивачном дыме,
Очи воспаляя и слезя,
Где погибли очень молодыми
Пушкинские ссыльные друзья,—

Где прошли монголы, франки, греки,
Катапульты, кони и слоны,
Где со скал бросались наземь реки,
Озверев от розовой слюны, —

Там теперь под сонный звон чонгури,
В одеянье времени и льда,
Пьянствуя, волнуясь, балагуря,
Вспоминая прошлые года,
Кроток сердцем, полон важной дури,
Говорил поэт и тамада.

1935

73. ТАМАРА АБАКЕЛИЯ

Я спросил у художницы милой,
У нарядной грузинки спросил:
Что взрастило тебя и вскормило,
Сколько рук у тебя, сколько сил?

Где, в каких драгоценных породах
Сожжена была охра зари,
Этот барсовый глаз, самородок,
Что как лампа горит изнутри?

Где добыла ты рыжую глину
Цвета времени, цвета морей?
Где добыла сухую сангину
Цвета спекшейся крови моей?

Как ты видишь природу, как пишешь?
Как стараешься лица прочесть?
Как ты стала художницей, — слышишь —
Ты такая, какая ты есть?

И она мне, смеясь, показала
Сто картонов, исчерканных сплошь,
Привела в театральную залу,
Где мешаются правда и ложь.

Разослала помощников-каджей
В ледяные расселины скал,
Чтоб трудились и к вечеру каждый
Краску, нужную ей, разыскал.

И на память в минуту разлуки,
Оторвавшись от шумных гостей,
Протянула мне смуглые руки
В рыжей глине до самых локтей.

1939 или 1940

74. СКАЗКА КАВКАЗА

Здесь в дробильнях, в бункерах,
В жерновах железных пугал
Превращаются во прах
Известь, марганец и уголь.
Здесь летят они в жерло
Жадной печи электродной,
Чтоб сжигало и жрало
Пламя их состав природный,

Люди, сгорбясь у печей,
Жидкий сплав шуруют молча.
Вот он, камень твой, Кощей,—
Цвета золота и желчи,
Застывает, отпылав
Нам в глаза и опалив их, —
Ферромарганцевый сплав
В синих нефтяных отливах.

Это, может быть, кусок
Той скалы, того Кавказа,
Где когда-то был высок
Ветер змееногих сказок,
Где клевал стервятник злой
Прометея-богоборца...
Но, как уголь под золой,
Тлеет память стихотворца.

... Мелкий дождик моросил.
Над заводом, желт и едок,
Дым валил что было сил.
Но и дым, как давний предок,
Стлался облаком обвислым
И, осанку потеряв,
Был в другое время выслан
И лишен гражданских прав.

Если марганец спешит
Сталью стать высокосортной,
Если дерево самшит
Всей листвой шумит упорной
И в траве свирепой, сорной
Слышен тихий вздох зверья, —
Это Мцыри к буре горной
Рвется из монастыря.

Это прямо из плавильни
Вынут Грузии кусок.
Это, выжат из давильни,
Колобродит винный сок.
Сколько черных пьяных ягод
В упоенье молодом!
Старики в могилу лягут.
Дети выстроят свой дом.

Желтый глаз автомобиля
Жадно режет быстрину.
Легкий воздух изобилья
Наполняет всю страну.
И опять, опять чащоба,
Корни, кочки, камень злой.
Отроческая учеба
Словно уголь под золой.

Щебень, шлак, свинцовый гравий,
Шрифт листовок боевых,
Ранний аспид биографий,
Забастовок ранний вихрь.
И опять — тропой овечьей
В толщу кварцевых пород.
Там седых столетий вече,
Несгибаемый народ!

Кручи горные нагие,
Блеск полуденных лучей,
Сказка о металлургии,
Ковка сказочных мечей.
Так останьтесь же мне школой,
Голоса ночных стихий, —
Тициана и Паоло
Вечно юные стихи!

1935

75. БАКУ

Владимиру Луговскому

Здесь поклонники Агурамазды
Жгли огонь на выщербленном камне.
Здесь Тимур-хромец, на всё гораздый,
Ордами стоял у Волчьих Врат.
Здесь, на древней отмели Хвалыни,
Черное сокровище хранится.
На солончаках, среди полыни,
Землю благодатную бурят.

Ввинчиваясь глубже еженощно,
Вышки на ходулях костыляют.

Крекинги, изогнутые мощно,
Набухают соком дорогим.
Слушал здесь, бывало, что ни день я
Упоенный клекот барабана
И зурны шмелиное гуденье —
Пламенному мирозданью гимн.

Я видал, как состязались знатно
Дерзкие, веселые ашуги:
Щелкнет в горле старика занятно,
Топнет, гикнет — яшасын, йолдаш! [1]
Выгнется — и кругом, кругом, кругом
Режет сцену, бьет по гулкой деке
Пятерней — и вдруг ломает угол.
Кончил песню — всё ему отдашь!

По ночам старинный мой товарищ
Говорил о женщине прелестной,
Выросшей средь памятных пожарищ
Здесь, в Баку. Послушный сын стихий,
Посылал он «молнии» любимой,
По ночам не спал, работал, спорил,
Полный бодрости неистребимой,
В радио гудел свои стихи.

Город по ночам лежал подковой,
Весь в огнях— зеленых, желтых, красных.
И всю ночь от зрелища такого
Оба мы не отрывали глаз.
Нам в лицо дышала нефть и горечь
Крупного весеннего прибоя.
Праздничное голошенье сборищ
Проходило токами сквозь нас.

Мне затем подарен этот город,
Чтобы я любил свою работу,
Чтобы шире распахнул свой ворот
И дышал до смерти горячо.

Писано в Баку, восьмого мая,
В час, когда в гостинице всё тихо
И подкова города немая
Розовым подернута еще.

8 мая 1938

---

[1] Да здравствует, товарищ! (Азерб.). — *Ред.*

76. ДОРОГА

Пляшут вьюги в столбах полосатых,
Мчатся санки, поют ямщики.
Петухи раскричались в посадах.
Красноглазые спят кабаки.

Давний путь по снегам бесконечным!
То он вьется, то прям как струна,
И, как пышущим горном кузнечным,
Далеко озарилась страна,
Вся в невиданных сплавах:
блистая
Жарким золотом и теплотой,
Вьется Рыбка в сетях Золотая,
Бьет крылом Петушок Золотой.

На Урале, в предгорьях Кавказа,
В толще кварцевых древних пород,
Пламенеют сокровища сказок,
Что веками лелеял народ.

И на каждом случайном ночлеге
Блещет в пурпуре сомкнутых век
Море синее, полное неги,
Нереида, нагая навек.
Мчатся годы.
И с силою свежей
Он в родимую глушь занесен.
Там, в сторонке дремучей, медвежьей,
Спит Татьяна.
И снится ей сон,
Что бежит она в туфельках легких,
В белом платье по синим снегам,
Слышит где-то в оврагах далеких,
В кабаках нестихающий гам,—
Там, где, цифры царапая мелом
По зеленому полю стола,
Мечет банк шулерам онемелым
Ее милый, сожженный дотла.
Но спешит, не оглянется Таня,
Будто юность кончается с ней.

. . . Сонной няньки ли то бормотанье
Или вьюга над бегом саней, —
Вдруг услышит он: из непогоды,
Из безлюдных полей бубенец.
Это в ссылку на долгие годы
Давний друг заглянул наконец.
И — стаканом в стакан!
И согреет
Друга давнего пунш огневой.
«Значит, все-таки замысел зреет?
Значит, время летит над Невой?»
— «Поклянись же, товарищ, что скоро
Долетит в ледяной Петербург
Твой пророческий голос из хора
Бессловесных рыдающих пург.
О, прощай!»
Обнялись. И как будто
Не заметили, что рассвело, —
Замело, занесло первопуток.
Знает вьюга свое ремесло.

Заметай же, крупа ледяная!
Разгорайся же, утренний брезг!
«О, прощай!»
И одно только зная, —
Что отпущено жизни в обрез,
Что никто никуда не отпущен,
Что конца и не надо пути,
Обнимаются Пушкин и Пущин:
«О, прощай!»
— «До свиданья!»
— «Прости!»

⟨1937⟩

77. РАБОТА

Он сейчас не сорвиголова, не бретёр,
Как могло нам казаться по чьим-то запискам,
И в ответах не столь уже быстр и остер,
И не юн на таком расстоянии близком.

Это сильный, привыкший к труду человек,
Как арабский скакун уходившийся, в пене.

Глубока синева его выпуклых век.
Обожгло его горькие губы терпенье.

Да, терпенье. Свеча наплывает. Шандал
Неудобен и погнут. За окнами вьюга.
С малых лет он такой тишины поджидал
В дортуарах Лицея, под звездами юга,

На Кавказе, в Тавриде, в Молдавии — там,
Где цыганом бродил или бредил о Ризнич.
Но не кинется старая грусть по следам
Заметенным. Ей нечего делать на тризне.

Все стихии легли, как овчарки, у ног.
Эта ночь хороша для больших начинаний.
Кончен пир. Наконец человек одинок.
Ни друзей, ни любовниц. Одна только няня.

Тишина. Тишина. На две тысячи верст
Ледяной каземат, ледяная империя.
Он в Михайловском. Хлеб его черен и черств.
Голубеют в стакане гусиные перья.

Нянька бедная, может быть, вправду права,
Что полжизни ухожено, за тридцать скоро.
В старой печке стреляют сухие дрова.
Стонет вьюга в трубе, как из дикого хора
Заклинающий голос:
«Вернись, оглянись!
Меня по снегу мчат, в Петропавловке морят.
Я — как Терек, по кручам свергаемый вниз.
Я — как вольная прозелень Черного моря».

Что поймешь в этих звуках? Иль это в груди
Словно птица колотится в клетке? Иль снова
Ничего еще не было, всё — впереди?
Только б вырвать единственно нужное слово!

Только б вырвать!
Из няниной сказки, из книг,
Из пурги этой, из глубины равелина,
Где бессонный Рылеев к решетке приник, —
Только б выхватить слово!
И, будто бы глина,

Рухнут мокрыми комьями на черновик
Ликованье и горе, сменяя друг друга.
Он рассудит их спор. Он измлада привык
Мять, ломать и давить у гончарного круга.

И такая наступит тогда тишина,
Что за тысячи верст и в течение века
Дальше пушек и дальше набата слышна
Еле слышная, тайная мысль человека.

1937

78. ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Всё прошло, пролетело, пропало.
Отзвонила дурная молва.
На снега Черной речки упала
Запрокинутая голова.

Смерть явилась и медлит до срока,
Будто мертвой водою поит.
А Россия широко и строго
На посту по-солдатски стоит.

В ледяной петербургской пустыне,
На ветру, на юру площадей
В карауле почетном застыли
Изваянья понурых людей —

Мужики, офицеры, студенты,
Стихотворцы, торговцы, князья:
Свечи, факелы, черные ленты,
Говор, давка, пробиться нельзя.

Над Невой, и над Невским, и дальше,
За грядой колоннад и аркад,
Ни смятенья, ни страха, ни фальши —
Только алого солнца закат.

Погоди! Он еще окровавит
Императорский штаб и дворец,
Отпеванье по-своему справит
И хоругви расплавит в багрец.

Но хоругви и свечи померкли,
Скрылось солнце за краем земли.
В ту же ночь из Конюшенной церкви
Неприкаянный прах увезли.

Длинный ящик прикручен к полозьям,
И оплакан метелью навзрыд,
И опущен, и стукнулся оземь,
И в земле святогорской зарыт.

В страшном городе, в горнице тесной,
В ту же ночь или, может, не в ту
Встал гвардеец-гусар неизвестный
И допрашивает темноту.

Взыскан смолоду гневом монаршим,
Он, как демон, над веком парит
И с почившим, как с демоном старшим,
Как звезда со звездой, говорит.

Впереди ни пощады, ни льготы,
Только бури одной благодать.
И четыре отсчитаны года.
До бессмертья — рукою подать.

1959

79. БЕССМЕРТИЕ

Со страниц хрестоматий вставая,
Откликаясь во дни годовщин,
Жизнь короткая, жизнь огневая,
Ни в какой не вмещенная чин, —
Каждым заново с детства решалась,
С каждой юностью жадно дружа, —
То пустая лицейская шалость,
То громовый набат мятежа,
То нужнее дыханья и хлеба,
То нежней Феокритовых роз, —
В спелых гроздьях созвездий, как небо
Над Россией в январский мороз.

В спелых гроздьях!
И рифмою парной
Опере́нная пылкая речь

Вновь курчавилась пеной янтарной
В торжестве расставаний и встреч.

Дружбы, женщины, жажда живая
Всё схватить и, сжимая в горсти,
Каждый облик своим называя,
Всё постигнуть и перерасти, —
Это он!
            И на площади Красной,
На трибунах, под марш боевой,
Он являлся, приветливый, страстный,
С непокрытой, как мы, головой.

Там, где гор голубые отроги
Набегают, лавиной грозя,
По Военно-Грузинской дороге
Рядом с ним мы прошли как друзья.

Сколько белых ночей в Ленинграде
Вместе с нами ему не спалось
Ради близкого взморья и ради
Чьей-то вьющейся пряди волос.

Он затвержен в боях и походах.
Он сегодня — и книга и чтец.
Он узнал, что бессмертье не отдых,
А тревога стучащих сердец.

Что бессмертие — это в тумане,
Может быть, его лучший улов:
Школьный праздник, ребячье вниманье, —
Сколько русых кудрявых голов!

Пахнет хвоей и сказкою древней
От построенных только что стен.
И в ночную метель над деревней
Упираются палки антенн.

И когда за снегами, полями,
Ликованья и нежности полн,
Женский голос, как синее пламя,
Возникает из радиоволн,

И всё выше и самозабвенней
Он несется, томясь и моля,

И как будто о *чудном мгновенье*
В первый раз услыхала земля, —

Это он!
Это в пламени песни,
В синих молниях, неумолим,
Он, учитель, товарищ, ровесник,
Входит в школу к ребятам моим.

1937

80. ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ

Владимиру Массу

...А там, в Клину, в Твери, в Любани,
Орленый винный полуштоф.
Там люди, красные, как в бане,
По харям лупят злых шутов.

Там всех присутствий мразь и скука,
Вся братия чернильных крыс,
Вся шатия калек и кукол,
От коей Гоголь ногти грыз.

Там, на поле, где ворон каркал,
Обуглена пургой до плеч,
Дымит затопленная жарко
Из снега выросшая печь.

Сноп искр. И лопаются стекла
В трактирах. Заиграла туш
Пожарная команда. В пекло
Летят тетради «Мертвых душ».

Пошла писать! Упершись в боки,
Глуха к содеянному злу,
Отвесила поклон глубокий
Печь. А метель метет золу.

И лихо воют поддувала...
Но что за чушь! И чад какой!
Иль вправду почудней бывало
Еще в комедии людской?

...Вот он на камне, школьный классик,
Весь в комментариях дождя,
Сам фонари под утро гасит,
Безлюдьем кратким дорожа.

Вот он, продрогшей птицей сгорбясь, —
Не обреченный ли на снос? —
Сей монумент гражданской скорби,
Втыкает в плащ поникший нос.

Вот входит он в театры даром:
«Что, Сваха, ищешь простаков?
Забыл про пятый акт, Жандарм?
Врать разучился, Хлестаков?

Сверкай же ярмарочным тиром,
Жуть исковерканных зеркал!
Я шарил не по всем квартирам,
Не все кубышки обыскал.

Когда по швам трещала стужа
И зоркие прожектора
Скрещали очи на всё ту же
Дорогу, вьюжную с утра, —

Я в эти годы, может статься,
Шел с непокрытой головой
В крутой волне манифестаций,
Как вы, на форум ветровой.

Нет, ни один мой лист не сверстан,
Том не дописан ни один,
Ищи их по летящим верстам
В сырье несущихся годин!

И то, что я сжигал когда-то,
Моя болезнь, а не венец.
И если есть на камне дата,
Она ступень, а не конец».

1931

81. ГРАЖДАНИН ЧИЧИКОВ

Нос шишкой, бритый подбородок,
Жилет в цветах, двубортный фрак—
Осколок вымершей породы,
Случаем вылезший дурак

Иль тертый жулик, с кем не мешкай:
Как пить дать, попадешь в беду!
С двояковогнутой усмешкой
Подметки срежет на ходу.

Кем бы он ни был— жив, обтерся,
А всё такой же жох и жмот,
Сверкает сединою ворса
И сильным мира руки жмет.

Не от казенных пирогов ли
Жирея так, что нету глаз,
В глубоких недрах госторговли
Сия зараза завелась?

Какой свинцовый дождь заляпал
Каких толкучек барахло?
Каких свидетелей, как кляпом,
Молчать об этом обрекло?

Словарь жилого обихода
Мы в три погибели согнем,
Заставим уголовный кодекс
Подумать заново о нем!

Мы выследим его наглейший,
Его отчаяннейший шаг,
Когда, мурлыча под нос «Гейшу»,
Горд, как раджа иль падишах,

Он свежевыбрит и опрыскан
И, встретив друга-подлеца,
Хвалясь пред ним столь малым риском,
Меняет всё — вплоть до лица.

1931

82. ГРОЗА В ПЯТИГОРСКЕ

Гроза разразилась и с юноши мертвого
Мгновенно сорвала косматую бурку.
Пока только гром наступленье развертывал,
А страшная весть понеслась к Петербургу.

Железные воды и кислые воды
Бурлили и били в источниках скал.
Ползли по дорогам коляски, подводы,
Арбы и лафеты. А юноша спал.

Он спал, ни стихов не читая, ни писем,
Не сын для отца и у века не пасынок.
И не был он сослан и не был зависим
От гор этих, молниями опоясанных.

Он парусом где-то белел одиноким,
Иль мчался по круче конем легконогим,
Иль, с барсом сцепившись, катился, визжа,
В туманную пропасть. А утром, воскреснув,
Гулял у чеченцев в аулах окрестных,
Менялся кинжалом с вождем мятежа.

Гроза разразилась. Остынув от зноя,
Машук и Бештау склонились над юношей,
Одели его ледяной сединою,
Дыханьем свободы на мертвого дунувши:

«Спи, милый товарищ! Окончилось горе.
Сто лет миновало, — мы снега белей.
Но мы, старики, — да и всё Пятигорье, —
Отпразднуем грозами твой юбилей.

И небо грозовым наполнится ропотом,
И гром-агитатор уснувших разбудит.
А время? А смерть? — Пропади они пропадом!
Их не было с нами. И нет. И не будет».

1941

83. ПОСЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ

С Новым годом, Бажан, Чиковани, Зарьян и Вургун!
Наша песня пройдет по республикам прежним и новым,
Заполощется лозунгом, вплавится звоном в чугун,
Перекликнется с миром сигналом коротковолновым.

Перед нами — серьезное, гордое время труда,
Горный эпос, былины в степных, ветровых перекатах
И впервые блеснувшая в мощной породе руда, —
Ибо мы — поколенье впервые по праву богатых.

Не молочные реки омыли медовый кисель,
Не находка блеснула из недр Ушакова и Даля,
Ничего из того, что казалось богатством досель,
Чем кичились поэты, хотя и в глаза не видали.

Только первоначальная сила волны ветровой,
Ширина, вышина заводимых вполголоса песен,
С красным солнышком, синей рекою, зеленой травой,
По сравненью с которыми ритм неприглядён и тесен.

Только этим и чист, только этим и молод язык.
Кто его забывал, у того и дыханье скудело, —
Сочинял он безделки глупцам, упражненья заик,
Каламбурил или околесицу нес то и дело.

Кто бы ни был — араб, или мудрый индус, или грек, —
Он услышит наш голос, хотя бы из века другого.
Он услышит слиянье наречий, слияние рек,
Наш единый, наш многоязыкий раскованный говор.

Наша песня пройдет по земле не разящим мечом,
А снопом световым, как прожектор
по вспыхнувшим тучам.
Не помеха — пространство, и время само — нипочем
Нам, впервые здоровым, впервые по чести растущим.

Начинается утро. Кричат петухи на Руси.
Издалека звенят провода электрической тяги.
О Родная Земля! Ты уже за холмами еси.
Высоко развеваются в бурях червленые стяги.

31 декабря 1939

84. НА СЕВЕР!

На север, на север, на север — вперед!
Нас за сердце доблесть людская берет.

На север глядит человечество зорко,
Туда, где осталась на вахте четверка.

Над ними пурга запевает в рога.
Им гибель грозит, ледяная карга.

Зеленые льды — частоколы и зубья,
Скрежещут, ползут над чернеющей глубью.

Но солнце над ними стоит в небесах
Все двадцать четыре часа на часах.

Но слажено всё для рекордного дела.
За каждым прибором страна доглядела:

Варила им сталь, шлифовала стекло,
Чтоб ночь распахнуть перед ними светло.

К ним рвутся цветов золотые охапки,
Оркестры, знамена, и руки, и шапки.

А там, опрокинутой чашей вися,
Им наша планета подарена вся.

Тот самый поручен им глобус, который
Коперник швырнул в мировые просторы!

А там, — еле видный народам во тьме,
Пунктиром намеченный в светлом уме, —

Вот он, в сочетанье расчета и риска,
Весь путь от Московского моря до Фриско.

Бушует весна. Начинается год,
Они остаются в краю непогод.

Их четверо. Благословенно их имя.
Гордись же, страна, сыновьями такими!

Вселенная, безостановочно мчась,
Навеки запомни минуту и час,

Когда водрузили на льду новоселы
Наш флаг — человеческий, красный, веселый.

Май 1937

85. НОВОГОДНЯЯ КИНОХРОНИКА

Еще раз. В последний, наверное. Вот она
Моргает на белом квадрате экрана,
Истерзана распрей, гангреной изглодана.
Посмотрим на зрелище. Спать еще рано.

Разодрана родина. Изгнана доблесть.
Лишь флейта да стук барабанных прелюдий.
Так рота за ротой в Судетскую область
Вторгаются злобные, тусклые люди.
И руки, подобно прямым семафорам,
Для судорожного приветствия вытянув,
Свирепо глядит в настороженный форум,
В молчание прерванных, сорванных митингов.
На флагах свиваются щупальца свастик.
Еще раз стучит барабан для потехи.
И квакает выпуклым ртом головастик:
«По-чешски ферботен.[1] Вы больше не чехи».

И всё. Но стрекочет, спешит кинолента.
Туманы сгущаются. Дымы клубятся.
И вот на другой стороне континента,
Над пасмурной Темзой, на башне Аббатства
Вещают часы: «Погляди, джентльмен!
Всё в мире спокойно, не жди перемен».
Но, кутаясь, в кресле коричневом кожаном,
Один джентльмен поверяет второму:
«Поймите же, сэр, в этом мире встревоженном
Мне грог не по сердцу и тошно от рома».

---

[1] Запрещено (нем.). — *Ред.*

Второй джентльмен отвечает:
«Не знаю,
Конец ли, фортуны скрипит колесо ли,
Но мне эта абракадабра ночная
Не нравится. Кстати, упали консоли».

Затем джентльмены молчат.
Но, моргая,
Стрекочет опять кинолента, стрекочет.
В туманном наплыве столица другая
Над ржавой жаровнею славы хлопочет.
На старом бульваре, под старым каштаном,
Где столько дорог человечеством пройдено,
Легко ль очутиться бездомным, бесштанным,
Без женщины нежной и даже без родины?
А так вот и стой, сигаретой попыхивай,
Прогуливай, как фокстерьера, свой разум,
Задушенный в сумраке города тихого
Сегодняшним джазом и завтрашним газом.
И хлыщ поднимает приветственно шляпу
Навстречу лихим молодцам де ля Рокка.
И гибель заносит над ним свою лапу.
Но новый наплыв разверзает широко
В серебряных Альпах, на подступах льдистых,
Под вьюгой избушку бессонных радистов.

Не двинутся льдов кафедральные своды.
Священные тучи пасутся отарами.
В ночи новогодней и в сводках погоды
Всё, кажется, дышит привольями старыми.
Как будто старик этот — Фауст в косматом
Своем одиночестве бредит Еленой.
Шалишь! Он — весьма невзыскательный атом,
Обструганный временем, будто полено.
Радист принимает все радиоволны —
С кошачьим мяуканьем, с вальсами Штрауса,—
Служака что надо, чиновник безмолвный,
Давно безучастный к звучащему хаосу.

Двенадцать часов! Новый год уже близко.
Нацелены жерла бессонных зениток.
И в синий хрусталь крутизны сверхальпийской
Земля наливает багровый напиток.

Тогда из приемника вместо мяуканья
Взыванья картавого голоса лезут.
В нем смешаны с пьяной фельдфебельской
руганью
Истерика женщины, скрежет железа.
И сразу тот лающий голос опознан.
То голос измены, угрозы и ужаса.
То грохот воздушной бомбежки.
Но поздно.
Последние кадры проходят и рушатся.

Светает.
Над брешью траншейного хода
Дымится клочок розоватого неба.
Мадрид не встречал еще Нового года,
Два года на дружеском пиршестве не был.
Над крышами Карабанчеля, над Парком
Раскат грозовой или рев динозавра,
«Капрони» ли взвизгнул, иль «юнкерс»
прокаркал, —
Зенитчик не спит.
Начинается завтра.

Товарищи! Нам ли на празднике сетовать?
Нам молодость верит. Нас время торопит.
Так выпьем за зоркость зенитчика этого,
За наших друзей в новогодней Европе!

31 декабря 1938

86. БОЛЬШАЯ МОСКВА

1

Ты шла по излучинам рек и по шляхам,
Кремли городила, и срубы рубила,
Грозила железом ливонцам и ляхам,
И землю орала, и в колокол била.

Набив закрома и деньги́ не растратив,
Татарский ясак отплативши с лихвою,
В заволжскую глушь посылала ты рати,
Шла в степи, врубалась в чащобную хвою.

От медного звона, от гама людского
Тучнел городок, хорошея незримо.
Посад за посадом оделась Москова
Финифтью и золотом Третьего Рима.

И Тверь, и Владимир, и Суздаль, и Углич
Следили, покорствуя и восставая,
Какие еще городища обуглишь
Ты, ярость московская, крепь постовая!

Во славу той ярости — жестокосерды —
И Волга и Волхов синели окружьем,
И в кузнях людишки боярские, смерды,
Вздували мехи над московским оружьем.

От грубой пеньки до заморского лала —
Всё было тебе на потребу, всё мало!
Так жарко пылала, так жадно желала,
Так часто добытое жгла и ломала.

И в тяжкие зимы, и в дни лихолетья
Ворон не хватало тебе на жаркое.
Но, шитая лыком, но, битая плетью,
Ты лишь одного не хотела — покоя.

Потом ты раскинулась бойким базаром,
Скликала гостей из Орла и Рязани,
Потом, опозорена охрой казарм,
Для Чацкого стала мильоном терзаний.

Румяная сдоба, блинная опара
Скликала обжор от Харбина до Лодзи...
Курьерский летел в оперении пара
Сквозь ельник и дождь, рычагами елозя.

На мягком диванчике первого класса
Какой-нибудь немчик готовился к встрече
С тобою, Москва. И готов был поклясться,
Что переплутует всё Замоскворечье.

Шли десятилетья ни шатко ни валко.
А где-то во тьме, в ликованье и муке
Мужала твоя золотая смекалка,
Твои золотые работали руки.

Уже вырастали, плечисты и зорки,
С хорошею памятью, с яростным сердцем,
Наборщики Сытина, парни с Трехгорки —
На горе купцам и на страх самодержцам.

Что пело в тебе, и неслось, и боролось,
И гибло на снежном безлюдном просторе?
Как вырвался звонкий мальчишеский голос
Из гула студенческих аудиторий?

Свинцовые вьюги тогда пролетали,
Свистя в баррикадах расстрелянной Пресни,
И слово с чужих языков — «пролетарий» —
Тебе обернулось не словом, а песней.

Когда это было, любимая, вспомни!
На миг затуманятся ясные очи.
Ты станешь еще веселей и огромней,
Но ты не забудешь. Навеки. Той ночи!

2

Не странноприимная слава монашья,
Не всенощных свечек престольная слава,
Лихая безбожница, молодость наша, —
Так будь белокаменна и златоглава!

Ты больше не город, не сто километров,
Одетых в брусчатку иль мрамор нетленный,
Ты — встреча всех сил, притяжений и ветров,
Скрещенье всех рейсов и сердце вселенной.

Вот небо исполнилось гуда стального.
С причала воинственных аэродромов
Любимцы твои отрываются снова,
На Север проносятся Чкалов и Громов.

Грохочут грома. Надвигаются тучи.
Москва моя! Сердце вселенной! Пробейся
Бок о бок с пилотами в крутень летучий,
К великому старту великого рейса.

Какое могучее небо над нами!
Как ветер ударил в распахнутый ворот!

Как вольно полощется красное знамя!
Как молод еще этот яростный город!

За это вот знамя под ветром, за годы
Рожденья, и роста, и юности ранней,
За мужество ветреной этой погоды,
За говор предвыборных наших собраний,

За честь, за историю славы народной,
За бури, которые ты подымала,
За труд человеческий и благородный
Мы жизнь отдаем — но и этого мало!

1938

87. ЛЕНИНГРАД ЗАТЕМНЕННЫЙ

Синие глаза автомобилей,
Наглухо завешенные окна
В том же городе, где мы любили,
Где когда-то жили мы с тобой.
Напряглись мосты каркасом мощным,
Напряглись прославленные стогна,
И, дыша морозом полуночным,
Вышел город в свой последний бой.

Гордый город! Сколько дум бессонных,
Напряженья, мастерства, и воли,
И упрямства вложено в него
За столетье!.. Так не оттого ли
Выгнулись на яростных кессонах
Мостовые дуги над Невой!

Так не оттого ли на заводах
Невозможен сон, немыслим отдых,
И в домах, в умах, и тут, и там,
Там и тут в минуту роковую
Медный всадник, к правнукам ревнуя,
Мчится за столетьем по пятам.

Вот он в лязг военной непогоды
Входит как механик и сапер.
А земля в сороковые годы

Между тем летит во весь опор.
И влетает между тем планета
В Новый год сквозь вьюжные столбы,
Словно изваянье Фальконета,
Вздернутая нами на дыбы.

Между тем — читатель, вы не знали? —
У поэтов есть домашний круг.
Вот на Грибоедовском канале
Друга ждут. И вот приходит друг.

Тихонов — седой, веселый, скромный, —
Расстегнув ремни и скинув шлем,
Входит в комнату из тьмы огромной,
Усмехаясь, жмет он руки всем.

Говорит, что началась работа
Не простая, что коварен мрак,
Что из маскировочного дота
Снайперски прицеливался враг,

Что в чащобе мины и капканы,
Волчьи ямы, пули из засад...
И тогда сдвигаем мы стаканы
В честь бойца, как двадцать лет назад.

И как будто мы выпили с другом
Из петровского Кубка Большого Орла,
Не пошли наши головы кругом —
Только память ворота свои отперла.

Стройся, город! Красуйся на диво,
Чтоб тебя не обидел никто! Никогда!
Чтобы белые ночи правдиво
Осветили грядущие дни и года!

Чтоб весной, в начале мая,
Лед ломая,
Шла Нева,
Чтоб ответила прямая,
Подымая тост,
Москва.

Чтобы радио мильонам
Разнесло твои слова,

Чтоб легли ковром зеленым
Всем влюбленным
Острова.

Чтоб в Домах культуры честно
Жег «Метелицу» баян.
Чтоб друзья сходились тесно
И готовые к боям.

Чтобы жизнь всё лучше, краше,
Круче в гору шла и шла.
Чтоб сама за пирной чашей
Ей слагалась бы хвала.

Наконец, чтобы оратор
Ту хвалу произносил
Не с красой витиеватой,
А в избытке чувств и сил!

1939

88. ЧЕРЕЗ ПОЛТОРАСТА ЛЕТ ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ

1

Ты приходила маркитанткой — сразу
Протягивала жесткую ладонь.
За острое словцо твое, за фразу
Шли полчища народные в огонь.

Ты приходила точностью учебы,
Расчетливым упрямством мастерства,
Была ли ты разгадана? Еще бы!
Но сколько сил ты стоила сперва!

Чем можешь ты сегодня похвалиться?
Какой ужимкой щегольнешь кривой?
Как праздник свой отпразднуешь, столица,
Ощеренная в драке мировой?

Горят в бокалах тонкогорлых вина.
И, в синеве неоновой скользя,
Так нежно, так замедленно-невинно
Танцуют пары... Их спасти нельзя.

Всё это было, было, было. Хватит!
Над звоном лир, над звяканьем монет
Двадцатый век стальные волны катит...
Но ты и эту мощь свела на нет.

Когда дымились кровью Пиренеи,
К Вогезам протянув мильоны рук,
И «юнкерсы» всё ниже и вернее
Сужали над тобой зловещий круг;

Когда последний маклер твой, пройдоха,
Последний франк поставивши ребром,
Уже не прятал сдавленного вздоха
И трясся, принимая на ночь бром;

Когда ползла, беря за шкалой шкалу,
В котельном отделенье ртуть войны, —
Какого прикормила ты шакала?
Какой сама объелась белены?

Смотри, как виноградник твой обуглен,
Каким пожаром ветер твой багрим,
Как на разбитой манекенной кукле
Плачевно и смешно размазан грим.

Ты столько знала сказок, так умела
Смотреться в зеркала своей мечты...
Смотри же! Вот она, мертвее мела, —
Та Франция, которой стала ты.

В тот год, когда Бастилию брала ты,
Ты помнишь труб рыдающих мажор,
И вихорь помнишь, свежий и крылатый,
Шарахнувший по лбам твоих обжор?

Он звал тебя любимицей столетья.
Он звал тебя нежнейшим из имен,
Он отдан нашей родине в наследье,
А у тебя — подделкой заменен.

Где твой огонь, твой смех, твое железо?
В какой золе каких истлевших тел
Рассыпалась на части «Марсельеза»?
Вот всё, что я сказать тебе хотел.

2

О народ! Я тебя оболгал.
Ты навек восхищенья достоин,
Угрожающий Цезарю галл,
Работяга, насмешник и воин!

Будь морского прибоя белей,
Сединою сравнись со снегами —
Справишь ты всё равно юбилей
В ярых митингах, в праздничном гаме.

О народ! Этот праздник возник
Не в бахвальстве напыщенных статуй,
Отдает он не затхлой цитатой
Из давно пережеванных книг.

Посмотри на задворки Парижа,
На асфальт этот цвета свинца,
Посмотри, посмотри, посмотри же
На себя, на детей, на отца.

На шофера продрогшего, что ли,
На усталую эту швею...
О республика! В горестной школе
Ты историю учишь свою.

Разгляди по верченью рулеток,
По мигающим буквам реклам,
По тому, как старается хлам
Нашуметь о себе напоследок.

Разгляди, наконец, по всему
Вихревую воронку Начала.
Оцени этих лет кутерьму!
Ça ira!..[1] И пошло и помчало!

Ça ira!.. В один миг отхватив
Расстояние между веками,
Возникает веселый мотив,
В баррикады слагается камень.

---

[1] Это пойдет!.. (Франц.). — *Ред.*

Он в тебе возникает самом,
Тот мотив! Он в традцатом не прерван,
Не обуглен он в сорок восьмом,
Не расстрелян и в семьдесят первом!

Твой хозяин запрет на засов
Магазин, если слушать не любо,
Если страшен раскат голосов
За дверьми Якобинского клуба.

Может он прихватить чемодан,
Разменять свою честь на валюту,
Ибо первый сигнал уже дан, —
Будет бешено людно и люто!

Справедливого грома язык
Кой-кого раздражает и дразнит,
Но в присутствии туч грозовых
Ты вольнее отпразднуешь праздник!

14 июля 1939

89. БРОНЗОВЫЙ ПОЭТ

1

... А там, на цоколе гранитном, сдвинув
Седые брови, смотрит сквозь туман
Один из самых чистых паладинов,
Чье имя — горечь, гнев, самообман.

Сын божества, сын века, сын народа
Иль пасынок у этих трех отцов,
Пророк в змеиной коже Валленрода,
Он гулкой бронзой стал в конце концов.

И тут его бессмертье и настигло!
Бесплотное, беззлобное дитя,
Он выстоял Пилсудского и Смиглу,
В руках перо гусиное вертя.

И вот, покрытый прозеленью, в дыме
Косых дождей, не по-людски красив,

Он ни о чем не спорит с молодыми.
Встречает нас и сесть не пригласив...

Так и стоим на площади. Но горе!
Ему простерла жестяной венок
Одна из тех всесветных аллегорий,
По чьей вине и был он одинок.

Кто эта женщина? Шляхетка Польши,
Любовница, законная жена?
Быть может, и не существует больше
Людская власть, что в ней отражена?

Мы шли не к ней, ясновельможной панне,
И — выскажемся всё же до конца:
Мы — лучшая из мыслимых компаний
Для польского народного певца!

2

Я польскому интеллигенту
Напомню быль, а не легенду.
Она не так уже стара:
Как под одним плащом два брата,
Два гения, два демократа
Сошлись для вечного возврата
У медной статуи Петра.

Век начинался. «Марсельеза»
Смолкала в грохоте железа.
Был многим век обременен.
Еще раскаты гроз не стихли.
А эти юноши постигли,
Что плавится в железном тигле
Свобода будущих времен.

Мицкевич с Пушкиным! Сегодня
Над европейской преисподней
Их речи вольные слышны.
Они сквозь мрак осатанелый
Глядят возвышенно и смело.
И, значит, — *Польска не сгинела.*
Она сестра моей страны.

1939

90. ДЕНЬ КРАСНОЙ АРМИИ

Крепчает наш мороз. Гудят в железной вьюге
Заиндевелые тугие провода.
Мы вглядываемся: на севере, на юге,
На западе черно. Черно, как никогда.

Легли пред нами карт знакомых очертанья,
Куски материков, синь океанских волн.
Вот он, враждебный мир, готовящийся втайне
К смертельному прыжку. Он ненависти полн.

Уже не первый раз он назван и опознан —
Большой банкирский дом в стальных решетках касс,
Старинный арсенал, что рано или поздно
Из окон выставит все пушки напоказ.

Уже не первый год мы смотрим в эти окна...
Там в желтом блеске ламп орудуют враги,
Пробирки звякают, растворы ядов мокнут,
Гноится и горит бессонный глаз карги.

Ну что ж! Мы будем жить, не прячась и готовясь,
Пока лавинный гул в ночи не сорвался.
Мы о Германии расскажем детям повесть,
В которой блещет Рейн, светло шумят леса.

Мы принесем к себе Германию такую,
Как связку милых книг, замаранных в крови,
Припомним, перечтем, полюбим, потолкуем
Опять «о Шиллере, о славе, о любви».

За ту Германию с другой мы будем драться,
За слово Гуттена в крестьянской старине,
За Гейне юного, за конченое братство,
За всё, что сожжено в фашистской стороне.

Так! А до той поры, рубильник подымая,
От рычага грозы не отнимая рук,
Мы будем жить и ждать. И эта тишь немая
Работает на нас, как самый верный друг.

Мы каждый вздох ее и каждый выдох слышим.
Мы к небу возвели просторный гулкий дом.
Мы временем полны, как песней. Чем мы
дышим? —
Простором. Правотой. Покоем. И Трудом.

(1937)

91. ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Европа! Кровь твоя
В моих струится венах.
Европа! Мысль твоя
Горит в моем мозгу.
А весь мой долг тебе —
В проклятьях откровенных.
Лишь в этом отказать
Тебе я не могу.

Прощай, прощай, прощай,
Великая, тупая,
В огне ста тысяч вольт,
В чеканке и резьбе!
Вернешься ль, победив,
Падешь ли, отступая, —
Ты гибнешь всё равно.
Час только жить тебе.

Ты гибнешь. Вот они —
Все книги, все музеи,
Все школы, все гроба,
Весь пурпур на пирах, —
Всё, перед чем вчера
Торчали ротозеи,
Всё, что скопила ты,
Растоптано во прах.

Всё! Ни семейных льгот,
Ни купленных отсрочек.
О, даже песни нет,
Какой бы ты могла
Урвать от времени
Летящего кусочек,

Лоскут старинного
Домашнего тепла.

Когда же ты пойдешь
От вывороченных рельсов,
Седая, жалкая,
С толпой нагих ребят,
И грубая зима
Отвергнет погорельцев,
И штормы всех морей
Вам гибель протрубят, —

Тогда приди сюда!
Мы знаем соль и горечь
Слез, за которые
Заплачено сполна.
Мы окружим тебя
Стеной народных сборищ
И морем голосов,
Где каждая волна
О будущем поет.
Ты нас не переспоришь!

Мы — человечество,
Каким ты стать должна.

1940

Жизнь поэта

92. РАЗМЫШЛЕНИЕ

Опять я здоров. И опять я в бреду.
И в топку потухшую дую.
Один, наконец-то один проведу
Ночь, мрачную и молодую.

Мой старый рисунок травил купорос.
Все плоскости разом сместились.
А я у дождей и плохих папирос
Учился их смутному стилю.

Стиль создан. Осталось поставить клеймо
На прошлом. И баста. И росчерк.
Я вижу: с годами и время само,
И чувства становятся проще.

1927 или 1928

93. ЗАСТОЛЬНАЯ

Друзья! Мы живем на зеленой земле.
Пируем в ночах. Истлеваем в золе.
Неситесь, планеты, неситесь,
Неситесь!
Ничем не насытясь,
Мы сгинем во мгле.

Но будем легки на подъем и честны,
Увидим, как дети, тревожные сны, —
Чтоб снова далече,
Целуя, калеча,
Знобила нам плечи
Погода весны.

Скрежещет железо. И хлещет вода.
Блещет звезда. И гудят провода.
И снова нам кажется
Мир великаном,
И снова легка нам
Любая беда.

Да здравствует время! Да здравствует путь!
Рискуй. Не робей. Нерасчетливым будь.
А если умрешь,
Берегись, не воскресни!
А песня?
А песню споет кто-нибудь!

1935

94. РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ

— Садись в ночной трамвай, спеши к вокзалу,
В грохочущую расставаньем залу,
В лязг буферов и сцепок. Там Москва
Кончается. Там дышит ночь пространством,
Тревожным и ненасытимо страстным,
Дождем и ветром дышит. Там слова
Прощальные едва догонят поезд.
Нам их в пути подскажет кто-нибудь.
Садись, о багаже не беспокоясь.
Пока ты жив, пока ты молод — в путь!

Не опоздай! Так много в жизни дела.
Я стольких городов не доглядела,
Я до республик стольких не дошла,
Важнейших книг не дочитала за день,
Нужнейших слов не досказала. Жаден
Прошедший час, — всем будущим хвала!
И вот страна встает в могучем дыме:
Цистерны с нефтью, провода, мосты.
Там были мы и будем молодыми,
Мы оба, — понимаешь? — я и ты.

Всё доскажу. Меня не переспоришь!
Ворвутся в окна крики людных сборищ,
Неотразимых лозунгов слова,
Рев рупоров и самолетов клекот,
И трубных маршей гул, и так далеко,
Так отовсюду слышная Москва.
Багряными знаменами сверкая,
Пройду я рядом в праздничной гульбе.
Иди за мной!
                    — Так кто же ты такая?
— Я буду песней. Я пришла к тебе.

Вот я стучу в окно твое крылами.
Возьми меня, летучую, как пламя,
Всю сразу, с сердцевинкой голубой.
Сложи меня из лучших слов на свете.
— Как мне тебя услышать?
                                        — Слушай ветер!
— Как быть тебя достойным?
                                        — Будь собой!

Вставай же и на голос протруби мой,
Чтобы звучал он как сигнал в бою!
— Как мне назвать тебя?
— Своей любимой.
— Как сохранить?
— Как молодость свою.

(1939)

95. РОЖДЕНИЕ СТИХА

Михаилу Матусовскому

Желто-зеленый пир полуденного ската,
Литавры горных гроз, тяжелый шар заката,
Катящийся в туман, бессонная тоска
Серебряных валов, их взрывы и шипенье,
Их тщетная гоньба и умиранье в пене
На жгучей отмели пологого песка.

Блестящий, жесткий лавр, платан широколистый.
Орешник, ропщущий на крутизне скалистой.
Весь мир, весь яркий мир — с прибоем, крутизной,
Цветеньем, грозами — войди в меня, наполни
Мою глухую речь внезапным блеском молний,
Фосфоресценцией горячей и сквозной.

Жить, беспредельно жить! Трудясь, мечтая, мучась,
Дыханьем заплатить за творческую участь,
Смотреть без ужаса в глаза ночных стихий,
Раз в жизни полюбить, насмерть возненавидеть,
Пройти весь мир насквозь —
и видеть, видеть, видеть...
Вот так, и только так рождаются стихи.

1940

96. ВЕСНА НА АВТОЗАВОДЕ

1

Ты здесь начнешь. Ты здесь родишься снова,
Упорный, чистый, знающий себя,
И в поисках единственного слова
Не будешь спать, полночи загубя.

И в хлопьях снега, в этих грубых, мокрых,
Весенних ветрах, что слезят глаза,
В ночных гудках, на весь приволжский округ
Навеки проголосовавших «за» —

Во всем, что в память врезалось и встанет
Когда-нибудь тревожно и свежо,
Во всем, во всем, чему еще конца нет, —
Всё та же встреча с юностью чужой.

Она придет, веселая, простая.
И, сколько бы ни написал ты книг,
Ты скажешь, вровень с нею вырастая,
Что не учитель ей, а ученик.

Возьми ее, чтоб сделать вещь из глины,
Чтоб спеть ее — единственную ту, —
В тончайшем совершенстве дисциплины
Набравшую в полете высоту.

Есть в жизни человеческой минута,
Когда и жизнь как бы не начата:
Всё — музыка. Всё — молодая смута,
Всё — прошлому не друг и не чета.

Есть, наконец, такой предел, по счастью,
Когда твоя неправильная жизнь
Становится рабочей, нужной частью.
Держись за часть. За молодость держись!

2

По асфальтовым черным шоссе,
По колдобинам грязи весенней
Узнаю тебя в ранней красе,
Недотрога моя и спасенье!

Узнаю тебя в мглистых полях,
В этом воздухе, свежем и тонком,
В сбитых на сторону колеях,
Что на милость сдались пятитонкам.

Это там, где поют поезда,
Где вздыхает Ока ледяная,
Это ты, слюдяная звезда,
Может быть, и Венера, — не знаю.

Вот уже и апрель. Это ты,
Беспокойная, чистая просинь,
Рождена для любой высоты,
Для неведомых будущих весен.

Тонкий в далях разносится стон
От руки твоей, ладной и смуглой.
Сколько вольт у тебя, сколько тонн
Молибденовой стали и угля...

Сколько музыки в статной твоей
Лебединой заволжской породе...
О, цвети, расцветай, лиловей,
Выйди в круг плясовой при народе!

И как грянет баян вперебор,
Как зачешет, вертя полвселенной,
И как станут тебе с этих пор
Времена и моря по колено, —

Лишь бы воздух остался в груди,
Лишь бы ближе к тебе, лишь бы рядом,
Лишь бы знать, что вон там впереди
Ты — с горячим, смеющимся взглядом!

3

Я хочу, чтобы курьерский поезд
Мчал тебя за сотни верст, гудя,
Ни о чем другом не беспокоясь,
Кроме как о музыке дождя,

Чтобы ты всю ночь не задремала
Под бессонный стук его колес;

Чтобы за окном мало-помалу
Рассвело сквозь ливень бурных слез;

Чтобы рано утром на вокзале,
Встретившись после такой зимы,
Ничего друг другу не сказали
И всё сразу поняли бы мы;

Чтобы в тот единственный, единый
Ранний час приезда твоего
По Оке прошли со звоном льдины,
Справила природа торжество

Рыжим снегом, синими лесами,
Бестолочью птичьей мелкоты...
Остальное мы доскажем сами,
Будь мы даже немы — я и ты!

1940

97. ПАМЯТИ МАТЕРИ

Мой мир уже кончен.
Ее последние слова

Твой мир — это юность в сыром Петербурге и куча
Сестер и братишек, худых необутых ребят,
Которые учатся рядом и, книгой наскуча,
Всеобщую няньку, большую сестру, теребят.

Твой мир — это мы, твои дети в кроватках, когда мы
Росли, и когда ты была молода, и когда
На пачку ломбардных квитанций, на сумочку дамы,
Не очень зажиточной, смутно глядела беда.

Твой мир — это зимы и весны, Некрасов и Чехов,
И жажда быть с нами, и мужество быть молодой.
Твой мир — это письма мои. И как будто, уехав,
Тебя напоил я живой, а не мертвой водой.

Твой мир — это годы болезней. Потом ты ослепла.
И он обеднел — ограниченный, тусклый твой мир.

Потом ты скончалась. И горсть безыменного пепла
Не столь драгоценна как будто — но всё же кумир.

А самое горькое в том, что стирается горечь,
Стирается горькая память и мчатся года.
И что тут сказать, если этого не переспоришь!
Вот старость подходит, а ты не придешь никогда.

Но я не сдаюсь. Я хочу безнадежно и прямо
Выспрашивать у наступившей тогда черноты:
Зачем называется «молнией» та телеграмма,
Та черная, рядом с которой немыслима ты?

Тебя уже не было. Где-то чужие старухи
Тебя одевали. Накрапывал, может быть, дождь.
Кишели в могилах блестящие черные мухи.
Вселенная знала свою беспощадную мощь.

Но это пустяк. Я приеду с тобою проститься.
Я не опоздал — мы у времени оба в гостях.
А ты превратишься в золу, в дуновение, в птицу...
Но это пустяк. Расстоянье меж нами — пустяк.

1935 (?)

98. НАКАНУНЕ

Согрейся у этих приморских камней,
У этих неярких и ровных огней!

Согрейся дыханьем с возлюбленной рядом,
Пока она смотрит младенческим взглядом.

Согрейся! Еще есть надежда. Еще
Так близко, так близко рука и плечо.

А где-то смеются, и плачут, и пляшут,
И письма нам пишут, и шляпами машут.

И мирная зелень еще не красна
От пятен того дорогого вина,

Которое завтра прольется так щедро.
Отдайся прохладе приморского ветра

Всей горечью губ и дрожанием век,
Пока ты еще на земле, человек!

Пока не замерз во вселенной — согрейся
За четверть часа до последнего рейса.

Июнь 1940

99. ОКОНЧАНИЕ КНИГИ

Во время войн, царивших в мире,
На страшных пиршествах земли
Меня не досыта кормили,
Меня не дочерна сожгли.

Я помню странный вид веселья, —
Безделка, скажете, пустяк? —
То было творчество. Доселе
Оно зудит в моих костях.

Я помню странный вид упорства —
Желанье мир держать в горсти,
С глотком воды и коркой черствой
Всё перечесть, перерасти.

Я жил, любил друзей и женщин,
Веселых, нежных и простых.
И та, с которою обвенчан,
Вошла хозяйкой в каждый стих.

Я много видел счастья в бурной
И удивительной стране.
Она — что хорошо, что дурно,
Не сразу втолковала мне.

Но в свивах рельс, летящих мимо,
В горячке весен, лет и зим
Ее призыв неутомимый
К познанью был неотразим.

Я трогал черепа страшилищ
В обломках допотопных скал.

Я уники книгохранилищ
Глазами жадными ласкал.

Меж тем, перегружая память,
Шли годы, полные труда.
Прожектор вырубал снопами
Столетья, книги, города.

То он куски ущелий щупал,
То выпрямлял гигантский рост,
Взбирался в полуночный купол
И шарил в ожерельях звезд.

И, отягчен священной жаждой,
Ее сжигающей тщетой,
Обогащен минутой каждой,
По вольной воле прожитой,

Я жил, как ты, далекий правнук!
Я не был пращуром тебе.
Земля встречает нас как равных
По ощущеньям и судьбе.

Не разрывай трухи могильной,
Не жалуй призраков в бреду.
Но если ты захочешь сильно,
К тебе я музыкой приду.

1939

СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

— А того, кто убит в бою, ты видел?
— Видел! Мать и отец его голову держат, жена над ним наклонилась.

Гильгамеш

100. НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Ночь. Землянка. Фитилек
Разгорелся еле-еле.
Что же рано ты прилег?
Погляди, как дремлют ели,

Как в серебряной красе
Звезды вымылись сегодня
И спустились к людям все
Ради ночи новогодней.

Вот и мы, старинный друг,
Ради праздника такого
Оглядимся, что вокруг,
Покалякаем толково.

Говорят, за этот год
Все мы постарели малость.
Разве ж не было невзгод?
Разве сердце не сжималось?

Мальчик мой лежит в земле.
Твой подался к партизанам.
Посидим, старик, в тепле.
Огонек глядит в глаза нам.

Милый слабый огонек
Ненадежен и неровен.
Но и он не одинок
Под накатом толстых бревен.

Много теплится огней,
Много звезд в России снежной.
В полночь вспомним мы о ней
Честно, празднично и нежно.

Слов не надо... Ни к чему.
Разве мы перед собраньем?
Лучше в сумраке, в дыму
Боевую песню грянем.

...Вот и полночь. Фитилек
Разгорается как надо.
Фронт отсюда недалек.
Слышишь нашу канонаду?

Слышишь славный гул вдали?
Это в заревах пожарищ
Наши к западу пошли.
С новым мужеством, товарищ!

31 декабря 1942

101. МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Медный всадник над славной рекой,
Старый друг вдохновенья в России!
Встань на вахту с простертой рукой!
Ты России сулил непокой —
Так победу опять принеси ей.

Ты летел сквозь года и века,
Медным топотом время наполнив.
И простертая к морю рука
Только крепла от штормов и молний.

В снежный Выборг в минувшем году
Ты сапером вошел, как когда-то.
Ты всё тот же, врагам на беду, —
Рослый шкипер, моряк из Кронштадта.

Старый друг наших сказок и снов,
Медный всадник, механик и зодчий!
Стереги ленинградские ночи,
Береги своих верных сынов,
Сделай зорче их зоркие очи.

Старый друг всех побудок и зорь,
Запевала военных горнистов,
Славной памяти не опозорь,
Снова бдителен будь и неистов!

Берегись, береги берега,
Помни Балтики славу седую,
Чтоб «Аврора» громила врага
И гремела, как встарь, негодуя,

Чтобы ночью и в раннюю рань,
Когда солнцем туман не пропорот,
Никакая бы нечисть и дрянь
Не вползла в удивительный город.

И когда в небесах над Невой
Черный коршун со свастикой кружит,
Пусть прожектора сноп огневой
Эту птицу во мгле обнаружит.

Пусть зенитчик ударит во мглу,
Вырвет смерть из ночного простора
И к тебе принесет на скалу
Обожженное сердце мотора.

Чтобы крепко зенит заперла
Стая смелых в полете орлином,
Чтобы Кубок Большого Орла
В ту же ночку она пролила
Жгучей брагой над самым Берлином.

Сентябрь 1941

102—103. *ПИСЬМА В СРЕДНЮЮ АЗИЮ*

1

Сын. Комсомолец. Школьник. Человек.
Вступаешь ты в железный, грозный век,
Чтоб в малом деле быть его достойным.
Пришла пора последним, грозным войнам.
Нас расставанья долгие томят.
Ты призван был, и райвоенкомат
Послал тебя в далекий древний город.

Там край заката горного распорот
Зазубренными остриями скал.
Там в сказках отшумел и отсверкал
Седой базар у голубой мечети.
Там учат смуглые худые дети
Простой, веселый, добрый алфавит,
И ждет змея, невинная на вид,
Их резвых ног на выступах опасных.

А пред тобой — рожденье формул ясных
И музыка предельной быстроты.
Ты с мирозданьем говоришь на ТЫ,
Курчавый мальчик с доброю улыбкой;
Как мне представить в путанице зыбкой
Тебя — в пилотке, с бритой головой?
Как услыхать любимый голос твой
В открытой дали синего простора,
За визгом вьюг, за скрежетом мотора?

2

Не только сын — товарищ мой по счастью,
По жизни, слишком рано начатой,
Вчера ты был моею кровной частью,
Сегодня стал единственной мечтой.

Единственной. Ты поднят всем народом
Высоко, в грозовые облака.
Мысль о тебе мне стала кислородом,
Хотя меж нами полматерика.

Лети. Будь смелым. Каждый лист газетный
Похож на встречу новую с тобой:
В прорывах туч, во мгле передрассветной,
В любом краю, в республике любой.

Будь жадным. Сколько стали не добыто,
Звезд не открыто, книг не прочтено!
Вся лихорадка лагерного быта
Пускай к тебе врывается в окно.

Будь зорким. Станут страшной сказкой войны,
Они погаснут, как тифозный бред.
И снова мир — жилой, зеленый, хвойный —
Очнется, чьей-то нежностью согрет.

Мы повстречались в мировом просторе,
В седой пурге, под проливным дождем
И в молниях слепящих траекторий
Вновь друг от друга спешных писем ждем.

Ты мог бы стать художником. Но небу
Иною призван доблестью служить.
Лети. Будь счастлив. Если бы ты не был
Самим собою — я не мог бы жить.

1941

104. ЖАН-РИШАР БЛОК В КАЗАНИ

Он посмотрел горячими глазами
На рыхлый снег, на деревянный дом,
На комья туч свисающих — и замер,
И выговорил «каррашо» с трудом.

Как много дела впереди осталось!
Общительный, насмешливый смельчак,
Он знал, что это все-таки не старость
И не последний все-таки очаг.

В таком тылу, за столько верст от бури,
От яростной работы фронтовой...
И все-таки, грустя и каламбуря,
Чужой земле он повторял: «Я твой!»

«Я твой» — в госпиталях и у танкистов.
«Я твой» — на всех вокзалах... И, как сноп
Зенитного прожектора неистов,
Бил юношеской радости озноб.

Ему хватало зрения и знанья
На много дней, на много верст вперед.
Изгнанье? — Нет, не может быть изгнанья.
Париж? — Наступит и ему черед.

Ведь если долго всматриваться — вот он,
Любимый камень вымерших громад,
Где встал с картавым окриком «ферботен» [1]
Прямой, как палка, наглый автомат.

Ведь если долго вслушиваться — тут же
Возникнет песня Франции родной.
И он согрелся в нашей снежной стуже.
Он ей поверил. Только ей одной.

1941

105. МОСКВА ФРОНТОВАЯ

Любимая! Еще раз — с Новым годом!
Бывало, вопреки всем непогодам,
Едва взмахнешь ты рукавом —
И пляс пошел, и песням нет конца там...
Так было и в двадцатом, и в тридцатом,
И год назад, в сороковом.

---

[1] «Запрещено» (нем.). — *Ред.*

Ты шла как буря сменой поколений,
Не зная лжи, отчаянья и лени,
В колокола времен звоня;
Сгорев дотла, опять слагала песни,
Не сгинула на баррикадах Пресни
И хорошела от огня.

И вот враги подкрались издалече,
Чтоб онемечить, насмерть искалечив,
Твое прекрасное лицо.
И тыкались их волчьи морды в пене,
И лязгали клыками в нетерпенье,
Сдвигаясь в тесное кольцо.

Ты снилась им, Красавица! Но стужа
Охватывала фланги их всё туже
Во всю стоверстную длину.
И, выйдя в правый бой, ты разметала
Обломки вражьих тел, куски металла
В Волоколамске и в Клину.

Сверкала ночь в мохнатых крупных звездах.
Крепчал мороз. Яснел прозрачный воздух.
Заиндевели провода.
И, час победы к родине приблизив,
Подкову волчьих вражеских дивизий
Ты разогнула навсегда.

Такой тебя запомню навсегда я:
Прифронтовая, грозная, седая,
Завьюженная до бровей.
Идут колонны танков. Это значит,
Что новый год по-праздничному начат
В железной кузнице твоей.

31 декабря 1941

106. НЕОКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО

Он писал:
«Дорогая жена. Я пропал
В этой чертовой страшной войне.

Ровно месяц не мылся, неделю не спал.
Дорогая, молись обо мне».

Он писал:
«Посылаю в подарок браслет
И кавказский каракуль седой.
На каракуле крови запекшейся след.
Надо смыть эту гадость водой».

«Надо смыть» — подчеркнул. И потом:
«Впереди
Еще русская злая зима.
Полученье подарков моих подтверди.
До свида. . .» —
И не кончил письма.

Где-то ухнуло грозно, и рухнул настил.
Вот лежит он, еще не остыл.
Он недолго на нашей земле прогостил.
И письмо не отправлено в тыл.

Ни браслет золотой, ни каракуль седой
Не дошли до вдовы молодой.
Нашей крови не смыть никакою водой —
Ни дунайской, ни рейнской водой.

1942

107. ГЕРМАНИЯ

Широк наш фронт, неслыханно широк!
И нам не хватит крыл воображенья,
Чтобы обнять размах его дорог.
Но всюду, где идут сейчас сраженья,
Ты трупы их замерзшие найдешь.
Они лежат ничком, согнув колени, —
То павшего народа поколенье,
Краса германской крови, молодежь.

Народ. Он был когда-то славной частью
Великой человеческой семьи.
Чем смерить глубину его несчастья,
Его отверженности меж людьми?

Когда-то был он чист, бессмертен, молод,
Звенел по наковальне тяжкий молот.
Веретено жужжало словно шмель.
Курчавился в отцовской кружке хмель,
Как вдохновенье Себастьяна Баха.
И Фауст по вселенной колесил
Так вольно, так без устали и страха,
Что на сто лет хватило этих сил.

Мы помним, как в притонах, в звоне джазов,
Подземный ключ инфляции вскормил
Ораву педерастов и громил,
На лицах их зловещий грим размазав,
И в Спорт-паласе под свистки и вой
Вертлявый, щуплый, наглый человечек,
Баварский писарь, прусский контрразведчик
Уже готовил номер боевой.
По части мокрых дел он был не промах
И, года два на месте протопчась,
Пошел ва-банк на ста аэродромах,
Чтоб обогнать Европу хоть на час.

Война! На дне его мыслишек злобных
Гнездилась греза злейшая стократ.
Дымили жерла дул слоноподобных,
Шли танки по цементу автострад.

Война, война! Еще не пал Мадрид.
А где-то в буре завтрашней, недальной,
Уже летел дракон войны тотальной,
Париж и Прага плакали навзрыд.

Так вот зачем покончил Вертер с жизнью
И сто раз жить его творец хотел,
Чтоб этот шпик без чести, без отчизны
Плясал на свалке юношеских тел!

Так вот зачем ребята Карла Моора
Шли на тиранов, шли на штурм веков,
Чтоб этот шут развел штурмовиков
По своему подобью! — Вот умора!

Германия! Всех скрипок голоса,
Всей шиллеровской молодости буря,

Всей просветленной готики леса —
Всё было передернуто в сумбуре...

Тогда герр доктор Геббельс возгласил
По радио во все концы вселенной,
Что над его Германией растленной,
Тащившей лямку из последних сил,
Нависла гибель. Несмотря на ругань,
На фельетонный и блатной словарь,
Заметно было, что министр испуган, —
Затрепетала пакостная тварь.

С тех пор прошли не месяцы и годы
В огне фугасных и термитных бомб —
Прошло тысячелетье непогоды,
Забывшее о небе голубом.

И год настал. И год еще не прожит,
Когда, любовь и жалость истребя,
Неслыханная битва подытожит
Решенье, роковое для тебя.

Пока вопила в Подмосковье вьюга,
Пока гудел от севера до юга,
От Балтики до Черноморья шквал,
Пока он в океанах бушевал,
Лохмотья пены по свету кидая,
Стремился к Бирме, угрожал в Китае
Труду народа и его борьбе, —
В какой-нибудь нетопленой избе,
В колхозе, не отмеченном на карте,
Вчера, сегодня, в январе иль в марте —
Грозил разгром, Германия, тебе!

Когда мои товарищи вчера
Входили в пункт, недавно населенный,
Который стал землей испепеленной,
И с песней их встречала детвора;
Когда на перекрестке черных улиц
Три призрака, три оборванца, три
Фашиста с автоматами рванулись:
«Gib uns dein Brot!»[1] —
Дай хлеба иль умри!

[1] «Отдай свой хлеб!» (Нем.). — *Ред.*

Что это было?
Гибель человечья!
Не только кровь, и пламя, и свинец,
А сквозь свинец, и пламя, и увечья
Фашистского чудовища конец.

На облаках, в столбах огня сплошного,
На южном море, в северном краю,
В снегах, в провалах сумрака лесного
Мы боремся — и победим в бою!

Тогда народ германский вспомнит снова
И молодость и музыку свою.

1942

108. ЛЕОНИДУ ПЕРВОМАЙСКОМУ

Кони ржут за Днепром и Сулою.
В стольном Киеве слава звенит.
Милый друг! Не напрасно былое.
Вечен праздник. Недвижен зенит.

Не напрасно мы молоды были.
Не напрасно нам жизнь удалась —
В сплаве памятной сказки и были,
В славе разума, в зоркости глаз.

Хороша была! Чистая, злая, —
Всё бы жестче ей да потрудней.
И летела, и шла, и ползла, и
Не транжирила попусту дней.

Сколько кубков из пепла раскопок,
Сколько насмерть скрещенных рапир,
Сколько пляшущих звезд в телескопах —
Вечный блеск. Нескончаемый пир.

Помнишь — кручи Кавказа кругами,
Взявшись за руки, мчались во мглу.
Древний край в митингующем гаме
Приглашал нашу песню к столу.

Помнишь — в белом цветении вишен,
В безотчетных слезах накипев,
За сто лет, словно рядом, был слышен
Тот шевченковский ранний напев.

Ничего, ничего не погибло!
Кони ржут за Сулой и Днепром.
Сквозь пургу откликается хрипло
С Черноморья и Балтики гром!

1943

109. В СТРАШНЫЙ ЧАС

В страшный час мировой этой ночи,
В страшный час беспощадной войны
Только зоркие, чистые очи
Называться глазами должны.

Они видят от края до края
Небо в звездах и землю в дыму.
И, опять и опять не сгорая,
Не туманятся, смотрят во тьму.

Это, может быть, стойкий зенитчик
В предрассветные тучи впился,
Партизанка последней из спичек
Жжет стога и уходит в леса;

Или мать перечла не впервые
Дорогую от первенца весть,
Ясно видит снега фронтовые,
Глаз не может от строчек отвесть.

Да. Война — это школа страданья.
Это молодость сына в крови.
Не являйся к ней с маленькой данью,
Только с жизнью — и ту разорви.

И тогда-то, в тоске об ушедшем,
Чашу горькую выпив до дна,
Когда, кажется, жить уже нечем,
Ты поймешь, что такое война.

И тогда-то, по смутному следу,
Не глазами, а трепетом век
Ты сквозь слезы увидишь победу,
Зоркий, чистый, живой человек.

1943

Еще раз железо и огонь

110. АРМИЯ ШЛА

Армия шла по орловской земле,
Мимо развалин, заросших бурьяном,
Рвов перекопанных, кладбищ в золе,
Танков, потерянных Гудерианом.

Красная Армия, цвет и краса
Нашего мужественного народа,
Шла по проселкам, входила в леса.
Ей откликалась лесная природа

Шелестом листьев и пеньем пичуг.
Мир просыпался. В предутреннем блеске
Дымно синели сквозь щели лачуг
Речки, овраги, поля, перелески.

Ждали бойцов переправы и рвы.
Медленно шли по лобастому кряжу
Танки, раскрашены ярче травы,
Пушки, закутаны в хвойную пряжу.

Сибиряки вспоминали мороз,
Вьюжной тайги вспоминали сказанья.
Пели грузины о зарослях роз,
О виноградниках над Алазанью.

Может быть, в Брянском лесу где-нибудь
Ужин несладок, ночлег неудобен,
Может быть, не разминирован путь,
И вдоль обочин, кюветов, колдобин

Ступишь — и сразу же вырвется дым,
Черно-лиловым кустом закипая;
Может, грозит еще всем молодым
Тощая та, с малолетства слепая...

Может быть!.. Но, наступленьем горда,
В мужестве спаяна, в правде пристрастна,
Армия шла и брала города,
Русскую землю, родное пространство.

Может быть, там ни печей, ни окон —
Только огонь по домам онемелым
Да одичалый германский закон
Блещет со стен, нацарапанный мелом.

Может быть, взгляд подлеца как свинец
За амбразурами тускло намечен...
Может быть! Но наступает конец.
Город не будет врагом онемечен.

Город и область воротятся к нам.
Так, оборону врага прорывая,
Жизнь возвращая людским племенам,
Армия шла — как весна мировая.

Да, как весна! Ибо был он таков,
Русский сентябрь сорок третьего года.
Благословенны на веки веков
Солнце его и его непогода.

1943

111. ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА

Здесь, у Красивой Мечи, или в Спасском,
Или уйдя на Бежин луг чуть свет,
Влюбился в песню, спетую подпаском,
Орловский барин, умница поэт.
Был он высок, осанист и спокоен,
Любил бродить с двустволкой по лесам.
Вы знаете, как жил и кто такой он.
Пусть лучше о себе расскажет сам:

О юности своей, о Вешних Водах, —
Куда ж они умчались? .. Знает бог.
О старости, которая не отдых
Ни от одной из мыслимых тревог.
Расскажет он, как праздничен и труден
Путь человека сквозь ночной туман...
В ночной туман уйдет бездомный Рудин,
Начнет скитаться по свету роман.
Смешаются в нем счастье и невзгода,
Страсть девушки и старческий закат.
И эмигрант сорок восьмого года
Погибнет у парижских баррикад.

И книга, как живая, отстранится
От пошлых рук. В том смысл ее и честь!
Недаром в ней обуглены страницы:
Герр оберст не хотел ее дочесть.

Швырнул он в печку — эту, и другую,
И третью, испугавшись русских вьюг.
Он у огня вымаливал, торгуясь,
Щепотку жизни, — дальше хоть каюк.
Он понимал, что никуда не выйдет
Из этой жаркой маленькой избы,
Что вьюга насмерть немцев ненавидит,
Что верстовые жуткие столбы
Не считаны.
И нет уже спасенья
Ни у печи, ни в поле, ни в лесу...
Рванув кольцо, шагнул с размаху в сени
Тот великан с двустволкой на весу.
Был он, как встарь, осанист и спокоен,
Никем не остановлен и не зван.
Нам лучше не расспрашивать, какой он —
Товарищ Т., по имени Иван.

Он усмехнулся в бороду, усталых
Глаз не сводя с морозного стекла.
А там, в слоистых ледяных кристаллах,
Ракета красной каплею текла
И расплывалась. Но едва погасла —
В остывшей печке красный уголек
Страницы книги тронул будто назло,
И красный блеск на великана лег.

Завыла вьюга, бешено запенив
Косматый снег. Услышав: «Руки вверх!»,
Герр оберст вздрогнул: «Кто это? Тургенев?»
...И партизан его не опроверг.

1943

112. ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН

Это было в полуночном Брянском лесу.
Рассказал нам экран про чужую красу,

Про заморскую женщину с ясным лицом,
Со счастливою жизнью и горьким концом.

Без нее в Трафальгарском бою умирал
Ее славный любовник, лихой адмирал.

Лишь холодная, злая морская вода
Била в борт корабельный: «Прощай навсегда!»

Да бортовые пушки гремели во мгле.
И осталась вдовой на британской земле

Та прелестная леди с обугленным ртом.
И не помнила леди, что было потом.

В старом Брянском лесу, у могучих дубов,
Услыхали бойцы про чужую любовь.

И запели бойцы о своей дорогой,
Как прощались-клялись под крещенской пургой.

И один и другой, самокруткой дымя,
Вспоминали, что ждет не дождется семья.

Что вся милая жизнь продолжается в ней...
И хотелось им петь и нежней и грустней,

И прижаться друг к другу тесней, и не спать,
И смотреть на мельканье экрана опять...

И допеть все любимые песни свои,
Потому что война — это дело любви!

Пусть оторван от милой на тысячу лет,
Пусть устал и небрит, раньше времени сед,

Пусть огнем опален, до костей пропылен...
Защищающий родину — трижды влюблен.

1943

113. В РАЙОНЕ ЖИЗДРЫ

Здесь уголь, щебень и песок —
Священный облик горя.
А где-то там наискосок
Бегут на запад взгорья.

Фронт ушел туда, на запад,
В черный дым, в туман сплошной.
Лишь прожектор в белых лапах
Держит небо надо мной.

Лишь он ощупывает ночь.
И слеп он или зорок,
Но людям кинется помочь,
Не знает отговорок.

Я хотел бы так же точно
Ослепить глаза врага,
Чтобы он в стране восточной
Камнем рухнул на снега.

Война везде. Война во всем.
Мешок ее заплечный
Мы и сквозь космос понесем,
На Путь прорвавшись Млечный.

Пусть бегут столетья мимо,
Годы медленно скользят.
ЗДЕСЬ ПОГИБ МОЙ СЫН
ЛЮБИМЫЙ
СОТНИ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД.

1943

114. БАЛЛАДА О ТОМ, КАК СПАССЯ ЖАН ЛЕКОК

Николаю Брауну

Дверь настежь, и вошел моряк,
Обугленный, как дьявол.
Немало знал он передряг,
Немало, видно, плавал.
«Глоток вина! Внутри горит,
Гортань моя распухла.
Дай отдышаться, — говорит
И валится, как кукла. —
Да что глоток, когда горит
Само морское лоно.
Дай кислорода, — говорит, —
Не пожалей баллона.
Глядите, люди, — говорит, —
На гостя из Тулона».

И мы столпились вкруг стола
И восклицаем: «Если
Вас опалило не дотла,
Вы, стало быть, воскресли?
Восстаньте, смертью смерть поправ,
И расскажите всем нам
О самой злой из переправ
На море Средиземном.
Восстаньте, смертный, — говорим, —
Как бог во время оно.
Ответят нам Берлин и Рим,
Исчадья Вавилона.
Воспряньте духом, — говорим, —
Товарищ из Тулона».

И гость в ответ: «Я всё скажу,
Всё, кажется, припомню.
А что забыл — соображу,
Хоть это нелегко мне.
Пред вами Жан-Мари Лекок,
Француз со дня рожденья...
Глоток вина, еще глоток!
Прошу о снисхожденье.
Да что вино! Воды глоток
Мне прямо в горло влейте.

Помощник кока Жан Лекок
Вчера стоял на рейде.
Любого пойла мне глоток.
Прошу, не пожалейте!

Еще вчера хороший бриз
Трепал на рейде флаги.
Барашки белые гнались
По средиземной влаге.
Еще вчера мы на борту
Стояли, зубы стиснув,
И вглядывались в пору ту
В людишек ненавистных.
Мы вглядывались: что за дрянь?
И вслушивались молча:
Откуда лающая брань,
Откуда говор волчий?
«Как будто немцы — дело дрянь», —
Соображали молча.

Они вошли как смерч — столбом
Серо-зеленой пыли.
Полсотни немцев, сотня бомб
В любом автомобиле.
По кораблям пронесся вздох...
И рухнул вздох куда-то,
Когда раздался первый «хох» [1]
Германского солдата.
Да. Мы вздохнули, говорю,
Когда врагов колонна
Затмила светлую зарю
Над гаванью Тулона.
Вздохнули страшно, говорю,
Мы, моряки Тулона.

Не помню, кто запел, но хор
Могучих глоток грянул.
И дыма черного вихор
От песни той отпрянул.
Не помню, кто запел тогда,
Но наша «Марсельеза»

---

[1] «Вверх» (нем.). — *Ред.*

Пошла раскачивать суда,
Раскачивать железо.
Я помню, честно говоря,
Что на сердце кипело,
Ту песню пели мы не зря:
Всё море с нами пело,
Орало, грубо говоря,
Всей штормовой капеллой».

И Жан Лекок смахнул слезу
И говорит угрюмо:
«Уже готовились внизу,
Уже несли из трюма
В брезент закутанную вещь,
Примерно вроде бочки.
Был мертвый штиль. Он был зловещ.
Он был на мертвой точке.
Потом друзья включили ток.
Всё в мире зашаталось.
Качнулся запад и восток.
Честь Франции осталась...
Глоток вина, еще глоток, —
Простите мне усталость!

О, как я трудно выгребал,
От горя задыхаясь!
А флот французский погибал
И погружался в хаос.
Была нас сотня на плоту.
И «юнкерс» двухмоторный
На голь беспомощную ту
Нырнул из тучи черной.
Нас расстрелял фашистский ас
Дождем своим свинцовым.
Морская ругань не для вас,
Не брошу брань в лицо вам,
Не для того я шкуру спас
Под тем дождем свинцовым.

Где Пьер Диманш, где Жак Бриссо,
Где Клод Моран — не знаю.
Где наше будущее всё?
Где Франция родная?

Швырнул их взрыв туда, в размол,
И сжег во тьме недоброй
Иль шваркнул о гранитный мол,
Переломавши ребра.
Лежат на дне, не говорят,
Молчат они о мщенье.
Лежат, просоленные, в ряд
В прохладном помещенье.
Да. Лишних слов не говорят,
Но я скажу о мщенье!»

И ворот свой рванул он вдруг
И так сверкнул глазами,
Что жадных слушателей круг
Затрясся весь и замер.
Он поднял маленький кулак
И выговорил хрипло:
«Еще французский вьется флаг,
Еще не всё погибло.
Еще не всё, я говорю,
Потеряно с Тулоном.
Мы встретимся в родном краю,
И море не лгало нам.
Что я сказал, то повторю,
И в том клянусь Тулоном!»

И он ушел в осенний дождь
И в полном мраке сгинул.
Ушел, как был — оборван, тощ.
А дождь сильнее хлынул,
Забарабанил по стеклу,
По ржавому железу.
Но мы услышали сквозь мглу
Родную «Марсельезу».

Ее насвистывал моряк,
И буря подпевала.
Тяжелый тент водой набряк.
Скрипела дверь подвала.
А где-то с песней шел моряк,
И буря подпевала.

7 января 1943

115. ЛАГЕРЬ УНИЧТОЖЕНИЯ

И тогда подошла к нам, желта как лимон,
Та старушка восьмидесяти лет,
В кацавейке, в платке допотопных времен —
Еле двигавший ноги скелет.
Синеватые пряди ее парика
Гофрированы были едва.
И старушечья, в синих прожилках рука
Показала на оползни рва.

«Извините! Я шла по дорожным столбам,
По местечкам, сожженным дотла.
Вы не знаете, где мои мальчики, пан,
Не заметили, где их тела?

Извините меня, я глуха и слепа.
Может быть, среди польских равнин,
Может быть, эти сломанные черепа —
Мой Иосиф и мой Веньямин...

Ведь у вас под ногами не щебень хрустел.
Эта черная жирная пыль —
Это прах человечьих обугленных тел», —
Так сказала старуха Рахиль.

И пошли мы за ней по полям. И глаза
Нам туманила часто слеза.
А вокруг золотые сияли леса,
Поздней осени польской краса.

Там травы золотой сожжена полоса,
Не гуляют ни серп, ни коса.
Только шепчутся там голоса, голоса,
Тихо шепчутся там голоса:

«Мы мертвы. Мы в обнимку друг с другом лежим.
Мы прижались к любимым своим,
Но сейчас обращаемся только к чужим,
От чужих ничего не таим.

Сосчитайте по выбоинам на земле,
По лохмотьям истлевших одежд,
По осколкам стекла, по игрушкам в золе,
Сколько было тут светлых надежд.

Сколько солнца и хлеба украли у нас,
Сколько детских засыпали глаз.

Сколько иссиня-черных остригли волос,
Сколько девичьих рук расплелось.
Сколько крохотных юбок, рубашек, чулок
Ветер по свету гнал и волок.
Сколько стоили фосфор, и кровь, и белок
В подземелье фашистских берлог.

Эти звезды и эти цветы — это мы.
Торопились кончать палачи,
Потому что глаза им слепили из тьмы
Наших жизней нагие лучи.
Банки с газом убийцы истратили все.
Смерть во всей ее жалкой красе
Убегала от нас по асфальту шоссе,
Потому что в вечерней росе,
В трепетанье травы, в лепетанье листвы,
В очертанье седых облаков —
Понимаете вы! — мы уже не мертвы,
Мы воскресли на веки веков».

1944

116. ДЕВА ОБИДА

Въстала Обида въ силахъ Дажьбожа внука, вступила дѣвою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синѣм море у Дону.

«Слово о полку Игореве»

Дева Обида! Надежда моя!
Где же ты? Встань! Сосчитай убиенных.
Слушай, как хлещут штормами моря,
Слушай, как звон отдается в антеннах.

Слушай. Довольно тебе над толпой
Вспыхивать косноязычием молний.
Где же ты, милая? Ясно пропой.
Песнями душу народа наполни.

О, не смежай опечаленных век!
Встань над руинами взорванных башен.
О, посмотри на обугленный век,
Как он безумен, бездомен и страшен!

Встань. Распахни эту тьму. Овладей
Даром ваянья и песенным даром.
Дева Обида, надежда людей!
Те, что погибли, — погибли недаром.

Участь высокая не тяжела.
Люди пошли на мученья и беды, —
Только бы дважды и трижды жила
Дева Обида — сестра Победы.

23 апреля 1945

Победа

117. ПРАВЫЙ БЕРЕГ ДНЕПРА

Миколе Бажану

Дороги взбегают по скатам
Над дымной днепровской водой.
    Лобастые ль кряжи там,
    Хлопья ли пряжи там,
    Вражьи ль войска там,
    Бурьян одичалый, седой?

    Осеннее небо
    За час до рассвета
    Такого же цвета,
    Как дымные кручи,
    Как вся эта небыль,
Возникшая в стереотрубах.
По ходам окопа в расселинах грубых
Мы вышли на берег горючий.

    Святая земля Украины
    В сиянье осеннего золота.

Руины, руины, руины
В зиянье посмертного холода.

Семь тридцать. Всё тихо.
Последние отданы распоряженья.
И вдруг — как рванется, как вспыхнет шутиха.
За нею другая и третья. И сразу
Окрестность распахнута зоркому глазу,
И это — начало сраженья.

Стреляет кустарник. Стреляет вода.
Стреляют днепровские поймы.
Багровое солнце бросает сюда
Горстями лучи из обоймы.

Оно не оглохло от гула
И, вылезши в дыме до плеч,
Зажгло и в полнеба раздуло
Свою огневратную печь.

Не эту ужасную музыку мы
Любили с тобою, бывало.
Не вдумались юношеские умы
В строительный грохот обвала.

Но если такая настала пора,
Пусть валится небо на кручи Днепра,
Пусть ветром разорванный воздух орет:
«На запад, на запад, на запад — вперед!»

Клянемся, товарищ, со всей прямотой,
Присущей простому солдату,
Что завтра вернемся мы к музыке той,
Которую знали когда-то!

А нынче кинжально-прицельным огнем
Всех павших за други своя помянем!

В серебряном небе рокочет мотор,
Тяжелые танки скрежещут.
Какой нескончаемо светлый простор!
Как волны днепровские блещут!

Недолго до полдня. Товарищ, гляди:
Здесь Киев. Карпаты и Крым впереди.

Сраженье в разгаре.
Чубатые деды
В честь новой победы
Дымят у куреней
Столетнею гарью.
Хвала расширенью
Плацдарма на правом!
Хвала переправам!

Всё суше и горше
Осеннее золото,
Всё глуше и реже
Работает поршень
Гвардейского молота.
В снедающем дыме
Встает за седыми
Чубами — днепровское правобережье.
Святая земля Украины
В сиянье осеннего золота.
Руины, руины, руины.

Но небо недаром громами расколото!
Там, в дымной дали, по низинам и скатам
Прорвались наши танки и мчатся вперед.
Кряжи ли дымные, вражьи ль войска там —
Зоркий снайпер едва разберет.

Сколько времени прожито? Час или прорва?
Что решается на боевом рубеже?
Десять тридцать. Оттуда несется уже:
«Фронт обороны противника прорван».

1943

118. ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

Слушай, время, слушайте, века,
Грозный шаг народа-исполина.
Это входят в пригород Берлина
Доблестные русские войска.

Это смельчаки танкисты мнут
Километры автострады венской.

Это в эн часов и в эн минут,
Весь в дыму, парнишка деревенский,
Братской встрече непомерно рад,
На броне врывается в Белград.

Слушай, время! Если ты летишь,
Как летело три железных года,
Если наконец настала тишь,
Если отступает непогода —

Это значит, парня из Орла
Встретил паренек из Сан-Франциско:
«Значит, мы живем друг к другу близко.
Значит, верно, что Земля кругла».

1945

119. ПОРТРЕТ ПОЭТА

Николаю Тихонову

1

Седой солдат не хочет спать.
Сняв портупею и рапиру,
Три ночи кряду он опять
Зовет друзей к большому пиру.

Там будет жгучая вода
Для всех гостей любого ранга,
Там будут юные года
Щедры, как скатерть-самобранка.

Он только потому и сед,
Что вьюги северные седы.
И, табаком набив кисет,
Сломает ход любой беседы.

В словарь врубаясь сгоряча,
Сломает ритм, как мальчик голос.
Расскажет, как взята Тульча,
Как Троя девять лет боролась.

Как Чертов мост, оледенев,
Плясал под дудочку метели,
Как молодел солдатский гнев, —
А между тем века летели.

Три ночи кряду колесил
Он от Мадрида до Кавказа,
Чтоб у друзей хватило сил
Войти в страну его рассказа.

Седой солдат, седой поэт,
Седого севера товарищ,
Он только потому и сед,
Что убелен золой пожарищ.

2

Сегодня я хочу еще
На честном празднике солдата
Скрепить светло и горячо,
Что было сказано когда-то.

Седой солдат, седой поэт,
Волна в прибое поколений
Иль труд пятидесяти лет,
Не знавший отпуска и лени.

Походка смолоду тверда.
Стопа в железный ямб обута.
Две книги — «Брага» и «Орда» —
Сначала пишутся как будто.

1946

Путевой журнал первый

120. В НОЧЬ НА СЕДЬМОЕ

Карта. Старая карта в отметинах, в ссадинах боя.
Очертанья альпийских предгорий и прусских низин.
Вот планетная суша, вот море блестит голубое.
Завывает железо, огонь пожирает бензин.

Оглянись же назад, положи на столе своем чистом,
Разверни на планшете потертый бумажный квадрат.
Вот сдвигаются красные стрелы на гибель фашистам.
Помнишь — ты их вычерчивал четырехлетье подряд.

Не забудь, это вся твоя юность в масштабе двухверстки.
Не забудь, это вбитый в грядущее танковый клин.
Не забудь, это пепел погибших: достаточно горстки,
Чтобы выйти за Одер и с ходу ворваться в Берлин.

Так и было!
Но время летит, как летело когда-то.
Слышишь, крылья шумят над твоей и моей головой.
Так пускай отдыхает в шкафу гимнастерка солдата, —
Карту, старую карту из сумки возьмем полевой!

И в глаза наши ринутся в сказочных тучах Балканы,
Хлынут штормы на Балтике, вся неоглядная даль.
Разверни расстоянья, как скатерть! Расставь, как
стаканы,
Зимних дымов столбы и весенних рассветов хрусталь!

Как бессонна Москва в эту ночь. Как тревожен и нежен
Этот настежь распахнутый, негородской небосклон.
Где-то там, за Бульварным кольцом, может быть,
за Манежем,
Молодежь просыпается, строятся взводы колонн.

Это значит — не кончена молодость. Завтра со старта,
Подхватив эстафету отцов, выйдут в путь сыновья.
Обо многом напомнит им эта походная карта.
Обо многом расскажет нехитрая повесть твоя.

Сила юности! Это она подымала в бою нас,
Не горела в огне и не шла в океанах ко дну.
Ну так что же еще и любить старикам, как не юность,
Не родную —
любую, бессмертную, —
только одну!

1946

121. ЛЕНИНГРАД ТОЙ ВЕСНОЙ

Вот так я и буду, забыв адреса и маршрут,
Бродить в этом городе. Там и не вспомню о главном.
Как гулко шаги отдаются. Как медленно мрут
Шаги на граните. Какая печаль залегла в нем.

Ты, зелено-ржавая мудрая бронза, скажи!
Вы, черные окна! Вы, белые ночи, ответьте!
Что тут приключилось? Кто жив, кто не дожил на свете?
Какие пустуют квартиры и чьи этажи?

Но белые ночи не слышат. Не дрогнула бронза.
И только из трещин гранитных пробилась трава.
И только на дальних окраинах немо и грозно
Встают мертвецы, предъявляют на юность права.

Они говорят о своих чертежах непрочтенных,
О планах, которые еле блеснули в мозгу.
О чем говорят они? Вслушаться я не могу.
На этом кончается повесть парней и девчонок.

Попробуй добейся у кариатиды глухой,
Чтобы рассказала про ночи и дни артобстрела,
И пошевелила бы сломанной в сгибе рукой,
И каменным оком в живые глаза посмотрела.

Попробуй добейся у царственной невской волны,
Чтоб вызвала в памяти и отразила посмертно
Ту страшную ночь, бушевавшую мукой несметной,
Те страшные зарева, черные тучи войны.

Не будет того! За волной убегает волна.
В них дикая прелесть, разгон электрической тяги.
Растет детвора, удивленья и счастья полна.
Идут ленинградцы, бойцы, мастера, работяги.

И гибели наперекор, как заря во всю ночь,
Как белая ночь, от бессонницы лишь хорошея,
На щебне развалин, в обрушенной глине траншеи
Рождается песня и к людям приходит помочь.

⟨1947⟩

122. ТБИЛИССКАЯ НОЧЬ

Я как будто чужой в этом городе древнем,
Где балконы, как скалы, висят над рекой.
И гощу, ничего еще не рассмотрев в нем,
И не знают в гостинице, кто я такой.

Всё сначала начну. Буду слушать гортанный,
Словно клекот орлиный, язык горожан.
Ничего еще не было. Нет очертаний
У таинственной тени Нестан-Дареджан.

Значит, снова уехал в Иран Грибоедов
И столетье не спит молодая вдова.
Значит, Лермонтов, жгучего счастья отведав,
К чьим-то юным устам прикоснулся едва.

Или Демон раскинул над маленькой тварью
Медно-синие крылья и пышет огнем.
Или Мцыри бежал, а монахи из Джвари
Спохватились, поют панихиду по нем.

Или дивы играют в орла или решку,
И гуляют, и кутят в седых пропастях,
И скрывают от нас ледяную усмешку,
Ибо время для них — совершенный пустяк.

Это очень хорошие, мудрые сказки,
Но и сказки не каждому в силах помочь.
На затылок хребет заломивши Кавказский,
В черной бурке проносится южная ночь.

Узнаю по глазам, по бездонной печали!
А бывало, напевам грузинским учась,
До зари ей хвалу соловьи расточали
В орточальских садах в упоительный час.

Вновь незримо присутствует, движется близко
Звездоокая, милая, смуглая ночь,
И плывет, исчезая за дымкой тбилисской,
Чья родная сестра, чья невеста иль дочь?

И когда она выронит дымный платочек
И умчится с другим тыщелетье прожить —
Не сложить для нее мне рифмованных строчек,
Остается мне голову только сложить!

1947

123. НАДПИСЬ НА КНИГЕ МОЛОДОГО

Он ждет тебя, и сам еще не зная,
Кто ты такая, хороша иль нет,
Девчонка ли московская шальная
Иль жительница будущих планет.

Он обручен с твоею хрупкой жизнью.
А если в этом сам не убежден,
Явись к нему, негаданная! Брызни
В окно сиренью, радугой, дождем.

Найди его в любой шинели рваной,
Без орденской колодки на груди.
Войди к нему неузнанной, незваной,
Пускай незваной — все-таки войди!

Войди к нему, как входят мировые
Событья, чтоб опомниться не мог.
И в час, когда посмеет он впервые
Раздеть тебя всю с головы до ног,

Когда, нагое трепетанье плоти
Тугим объятьем жадно окружив,
Он в головокружительном полете
Обрадуется, что остался жив, —

О, в этот час не только негой страстной
Чужая кровь прольется в кровь твою.
Ты пролетишь всё черное пространство —
Такое, как запомнил он в бою.

Не бойся, что огонь, железо, горе
Терзают вашу свадебную ночь,
Что голос твой в бессмертном этом хоре
Не слышен, человеческая дочь!

Не бойся зла, свершенного навеки,
И мертвых, мертвых, мертвых без числа,
Стоящих рядом с вами. Шире веки,
Поэзия! Ты сына понесла.

8 апреля 1946

124. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Где это происходит? На какой
Необозримой тризне мирозданья?
Несутся тени павших, мчатся зданья,
Разрушенные вражеской рукой.

Стволы дерев расщеплены снарядом.
Разорван воздух. Сожжена трава.
Вязанки голых трупов, как дрова,
Лежат на голых пустырях. Но рядом

С таинственным их шествием в ничто
Жизнь, от мгновенной горечи избавясь,
Выращивает маленькую завязь,
И снова дело жизни начато.

Сощурился под козырьком ладони
От солнца босоногий мальчуган.
Щепотка соли брошена в таган.
Слепой играет на аккордеоне.

Мой друг хотел бы всем живым помочь.
Следит он, как в стеклянной колбе вырос
Грибок омоложенья, ультравирус.
Мой друг — чудак, не спит вторую ночь.

Меж тем откуда ни возьмись, как ливень
Внезапных слез, восторженно честна,
Явилась в тихий пригород весна.
И двадцатилетний осчастливлен
Ее лукавым взглядом из-под век...

Где это происходит? В чем отгадка?
Зачем ты так перелицован гладко,
Так выутюжен, смертный человек?

Встань, не заботься о величье горя!
Оно вросло в узлы твоих корней.
Ведь музыкант играет тем верней,
Чем он смирней в тысячеструнном хоре.

В тысячеструнной музыке миров
Ты не покинут собственною тенью,
Не обойден законом тяготенья,
Ты жив еще, цел, невредим, здоров.

Легла под ноги зыбкая трясина.
Над головой голодной птицы крик.
Чего ж еще хотеть тебе, старик,
Не отыскавший, где могила сына?

10 января 1945

СЕРЕДИНА ВЕКА

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

Пушкин

125. ПОЭТ И ВРЕМЯ

Я книгу времени читал
С тех пор, как человеком стал,
И только что ее раскрыл —
Услышал шум широких крыл
И ощутил неслышный рост
Шершавых трещин и борозд
На лицах ледниковых скал.
И с этих пор я отыскал,
И полюбил я с этих пор
И первый каменный топор,
И первый парус на волне,
И давний день, когда в огне
Впервые плавилась руда.

Летели дни. Прошли года.
В них слезы были, кровь и дым,
И я недаром стал седым:

Я памятью обременен,
Я старше мчащихся времен.

Мой выбор сделан издавна.
Меж девяти сестер одна
Есть муза грозной правоты.
Ее суровые черты,
Ее руки творящий взмах
И в исторических томах,
И на газетной полосе.

Она мне диктовала все
Стихи любимые. И с ней
Мой труд страстней, мой путь ясней.

Она ввела меня чуть свет
В Московский университет.
Она внесла мой ранний ямб
На сцену, в блеск вечерних ламп.
Она пошла со мной, держа
Священный свиток мятежа.
Ей дорог матовый загар
Азербайджанцев и болгар,
Ей близок отблеск синевы
В глазах у Польши и Литвы.

Мила ей всякая краса.
Понятны ей все голоса:
И многотрубный хор стихий,
Неумещаемый в стихи,
И упоенных скрипок стон,
И дальних взрывов в сотни тонн
За океаном перекат,
И первый выстрел с баррикад.

Когда пришел военный год,
Она, подруга непогод,
Всё человечество храня
На грозной линии огня,
Оплакав сына моего,
Чье сердце немо и мертво,
Шептала мне: «Не спи, пиши
Про ранний рост его души».
В глухой избе в ночной тиши
Чинила мне карандаши.

Но горе музу не берет.
И вот она пошла вперед.
Пошла вперед! Ее нельзя
Назвать красавицей, друзья.
Но крут бровей ее излом.
Но кудри медные узлом,
Откинутые, сплетены.
Но в мире нет такой стены,
Чтоб не могла пройти она.

Я сделал выбор издавна.
И буду верен ей и впредь.
Когда придется умереть,
Я ей отдам на сотни лет
Беречь мой партбилет.

(1951)

Путевой журнал второй

126. БАЛЛАДА О ПОЭЗИИ

Поэт пригласил нас в гости.
Его кабинет сверкал
Отливом слоновой кости
И блеском пустых зеркал.
Лишь магнитофон отменный,
Слуга его и кумир
Конструкции современной,
Вмещал в себе целый мир.
Стоял этот новый Будда
На столике небольшом,
Протертый до блеска, будто
Реальных качеств лишен.

Бока его нежно гладя,
Изящным торсом клонясь,
В глаза нам любезно глядя,
Поэт приветствовал нас.
И, с важностью чародея
И с ловкостью циркача

Вниманьем нашим владея,
Воскликнул он, хохоча:
«Чтоб запись мою прослушать,
Закроем дверь на засов,
Забудем и спать и кушать
В теченье многих часов.

Пускай убегают сутки,
Летит Земля по кривой, —
Сдадимся, мутясь в рассудке,
Поэзии мировой!»
Так он предложил, и тотчас
Мы сели, крикнув «ура»,
Чтоб слушать, сосредоточась,
Как действуют мастера.
Хозяин выбрал бобины,
Включил вращенье — и вот
Послышался рев глубинный
Каких-то подземных вод.

И сразу же, как ни странно,
На дальнем краю Земли
Под шумный джаз ресторанный
Седые дожди пошли.
Там женщина неживая
Для спутников неживых
Картавила, завывая
Под пенье струй дождевых,
И каркала, что погибла,
И, кажется, сам Верлен
Отчаянно, жадно, хрипло
Рыдал у ее колен.

Нам скучно стало, но тут же
Раздался победный гик:
«Не бойтесь посмертной стужи,
Послушайте и других!
Раздвину для вас не в меру
Магический кабинет
И слово даю Гомеру!»
Но мы отвечали: «Нет!
Гомера назад отправьте!
Гоните бессмертных вон!

Не нравится нам, по правде,
Загробный магнитофон!»

Поэзия! Где ты? Кто ты?
Зачем твой день отсверкал?
Немедля покинь пустоты
Волшебных этих зеркал!
Разбей у него посуду
И адрес его забудь!
Беги, бедняжка, отсюда
На улицу, в добрый путь!
Оденься звездным сияньем,
С полночной слейся толпой,
Осмелься жить подаяньем.
И смейся. И плачь. И пой!

⟨1958⟩

127. БАЛЛАДА
СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ

Потерять дорогу в Брюсселе
Было мне легко в эту ночь.
Слишком низко дожди висели
И любезно взялись помочь.

Вот в зеркальном окне тумана,
Как в свеченье морского дна,
Завязалась глава романа,
Показались Он и Она.

Впрочем, что ж глазеть и дивиться,
Если в центре чужой страны
Элегантный хлыщ и девица
Так нарядны и так стройны,

Если взгляд ее влажный томен
Из-под загнутых вверх ресниц,
Если жест его важный скромен,
В соблюденье должных границ.

Но ошиблась моя баллада!
Он внезапно к ней подошел
И сорвал — о, исчадье ада! —
С нежных плеч золотистый шелк.

И пока несчастная робко
К наготе привыкла своей,
Отвинтил, как винную пробку,
Белокурую голову ей.

А красавица промолчала,
Не кричала: «Как смели вы!»
Лишь торчала пучком мочала
У нее взамен головы.

Растоптав на полу окурок,
За туманом он скрылся вдруг
С головой ее белокурой
И с ветвями обеих рук.

Я спросил сквозь стекло у торса:
«Что случилось, мадемуазель,
Как он в ваше доверье втерся,
Не посажен на цепь досель?»

Потерпевшая отвечала,
Золотой мочалкой тряся:
«Завтра днем я начнусь сначала,
Освещенная солнцем вся.

Даст он голову мне другую
И в другой разоденет шелк,
Ибо, медным блеском торгуя,
Конкурентов он превзошел.

Да и мне менять не впервые
Цвет волос, и глаза, и честь.
Зеркала у нас не кривые,
Отразят меня всю как есть.

И приказчики и агенты
Зарубежных торговых фирм
Раструбят обо мне легенды
Завтра днем в мировой эфир!»

Замолчала она. И зданья
В ожерельях цветных огней
Заменили ей мирозданье
И раздвинулись перед ней.

А затем и зданья осели,
Затопили асфальт моря.
От Брюсселя вплоть до Марселя
Воцарилась кукла моя.

Так надменна, так неизменна,
Так доступна страсти мужской,
Родилась Анадиомена
Из кипящей пены морской.

Вся под стать Безрукой Милосской,
Лишь она осталась в живых
За стеклом, отразившим плоско
Испаренья луж дождевых.

1956

128. ЗАПАД — ВОСТОК

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток.

Киплинг

Да, Запад есть Запад, Восток — Восток.
Прочна межевая веха.
Недаром британец подвел итог
В конце минувшего века.

Недаром шторм изгрыз берега
В Гонконге и Ливерпуле.
И желтый в белом видел врага
И в джунгли бежал от пули.

А белый видел сплетенье жил,
Костей и мускулов крепость.
И он в предприятье свое вложил
Расчетливость и свирепость.

Но наша Земля недаром кругла,
Летит она не напрасно.
И нет на Земле такого угла,
Где кровь не была бы красной.

И желтый кули, и черный бой,
И белый докер при встрече
Легко находят между собой
Понятное им наречье.

Встречаются люди в дальнем пути,
Как волны света и тока.
И если прямо на запад идти,
Вернешься домой с востока!

⟨1960⟩

129. НА ТРОПИКЕ РАКА

Как он короток, этот вечер;
Как бесшумно и как внезапно
Девяносто процентов влаги
Навалились на землю тьмой;
Как бесшумно и как нещадно
Солнце двигается на запад,
Чтоб нырнуть в открытое море,
В первозданный хаос, домой!

Как неистово прорастают
Узловатые эти корни;
Как сработана ювелирно
Этих тонких пальм прямота;
Как сцепляет природа пары,
Как сплавляет породы в горне,
Как выдумывает новинки,
То причудлива, то проста!

Только люди повсюду люди,
Веселы они иль печальны,
Золотая у них смекалка,
Золотые руки у них.
Вот кончается ровно в полночь
Для кого-то обряд венчальный.
Запевает песню о жизни
Не желающий спать жених.

Мать-Земля! Мы тебя узнаем
На любой твоей параллели, —

Небоскреб, или хижину в джунглях,
Иль раскопки на месте битв.
Сколько сказок тебе сложили,
Сколько песен в тебе сгорели,
Ибо каждое поколенье
Благодарность тебе трубит!

Сколько раз тебя оцепляли
Ржавой проволокой колючей;
Сколько раз напалмом сжигали
Каждый акр и любой вершок;
Сколько раз границы кроили;
А недавно случился случай —
Превратить тебя собирались
Всю в космический порошок.

Только ты не даешься в руки
Этим хищникам, как бывало, —
Охранительница и нянька
Колыбелей и птичьих гнезд,
Наших свадеб и хороводов
Заводила и запевала,
В пестрых бабочках, в ярких розах,
С ниткой жемчуга, с горстью звезд!

Мы идем по твоим дорогам,
Безоглядно молодость тратя.
Мы твоим урожаям служим,
Бережем твою красоту, —
Мы, добытчики руд несметных,
Мы, соратники и собратья,
В рваных робах и гимнастерках,
В пятнах нефти, в седьмом поту.

⟨1959⟩

130. КЛАДБИЩЕ МОРЯКОВ

Весь океан в теснине залива,
Словно в зеркале, смят и уменьшен,
Дышит бережно и терпеливо
Рядом с землею — лучшей из женщин.

Названный Тихим, или Великим,
Первое имя он выбирает
И, присмирев, с просветленным ликом,
Волны, как струны, перебирает.

Скал гряда — дракон над пучиной.
Солнце — драконье медное око.
Всё первозданно и беспричинно.
В недра вселенной вросло глубоко.

А наверху, на круче отвесной,
Высится крест ничейной победы.
Крепко спит Моряк Неизвестный,
Шедший ко дну от морской торпеды.

Все они, сжав напоследок пальцы,
В известняковых скалах зарыты,
Южных широт пираты-скитальцы,
Словно сгоревшие метеориты.

Чьи ж это кости? Какая раса
Бросила в бездну якорь свой ржавый?
Чей это крейсер взрывом потрясся?
Чьи это флаги? Какой державы?

Было иль не было?
Полдень ярок.
Пышет и пляшет око драконье.
Там, у предела радужных арок,
Нет правосудья, нет беззаконья.

Нет ни Азии, ни Европы.
Нет ни разума, ни безумья.
Нет десантников, спутавших стропы,
Грудь распоровших об эти зубья.

Нет ни паруса, ни кормила,
Как ни гляди в ту сторону зорко.
Там, у самой границы мира,
Только одна полнота! — Восторга!

29 октября 1958
Вьетнам

131. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я летел из климата в климат,
Из Европы к тропику Рака.
Как я ждал, что меня поднимут
Руки воздуха выше мрака!

И они, подхватив машину,
Понесли ее как былинку,
И крутило нас и крушило,
Словно ветошь гнало по рынку.

Я видал драконов из бронзы,
И людей из плоти и крови,
И простор океана грозный,
И накат бамбуковых кровель,

И воронки бомбежек давних,
И раскопки сокровищ древних,
И лучи рассвета на ставнях,
И зарю коммуны в деревнях.

Я летел над тобою в тучах,
Мать-Земля, седая царица,
Чтобы снова в толпах растущих
Стать прохожим и раствориться.

Я летел в воздушном пространстве,
Спутник, сверстник, соперник бога,
И вернулся из дальних странствий,
Благодарный жизни глубоко

Лишь за то, что на свете прожил
Многим более полувека.
Мать-Земля, что тебя дороже
Для летавшего человека!

И, соседством звезд опаленный,
Грязь и пот по лицу размазав,
Я, как Чехов, шепчу влюбленно:
«Ты увидишь небо в алмазах!»

(1959)

132. ТЫ НЕ ДРУЖИЛ

Ты не дружил с усталостью и ленью,
Весь в нетерпенье с головы до ног,
Принадлежал к такому поколенью,
С которым никогда не одинок.

Ты много видел, в том числе и счастье.
Жизнь прошумела в полыханье гроз.
Она была их незаметной частью.
Для этого ты, может быть, и рос.

Так отчего же в час веселых сборищ,
Глухого содроганья не сдержав,
С такой упорной спорщицей ты споришь,
С такой бесспорной правдой на ножах?

Со старостью? Со стертым этим словом?
Брось, человек! Грани, шлифуй, чекань.
Расшей узором пурпурно-лиловым
Растянутую в полстолетья ткань!

А дальше что? А дальше злей и круче
Вопит, метет, беснуется декабрь.
Хрустальный кубок полон влаги жгучей,
Неярок свет полночных канделябр.

Косматый черный пес не понимает
Твоей тревоги. Добрая жена
Молчит и руки слабые ломает, —
Какая боль ей завтра суждена!

А дальше что? Распасться в легкой пляске
Пылинок, сбитых в солнечном луче. . .
Вселенная не подлежит огласке
И прячется в шифрованном ключе.

Ни вы, ни я, никто из нас не слышит
Своей последней смертной немоты.
Но если человек живет и дышит,
Он и со смертью должен быть на ТЫ.

Напряжена и сжата до предела,
Вся в ссадинах, в следах почетных драк,
Живая жизнь, не дрогнув, поглядела
В лицо уничтоженья, в смертный мрак!

1946

133. ДРУГУ

Владимиру Луговскому

В ненастный вечер или в ясный
Закат пылал в большом окне,
Когда в косоворотке красной
Ты в первый раз пришел ко мне.

Не комнатный, не гибкий голос —
Как ерихонская труба,
Цыганский черный жесткий волос,
Упрямо счесанный со лба, —

Всё было вылеплено крупно
Из сплава четырех стихий,
Всё — даже этот голос трубный,
Раскачивающий стихи.

Казалось, что за далью синей,
В набатах, в сполохах ночных
Главу Истории России
Твердит прилежный ученик.

Когда же в пылкий амфибрахий
Впрягался движущий глагол,
Дымилась степь в огне и прахе,
Прошел пожарами монгол...

Но втоптан был зловещий недруг
В горючий пласт сухой земли.
Мечи и кости тлели в недрах.
Года прошли, века прошли.

Тогда — гораздо ближе, тут же,
В летящих строфах смельчака,

Сквозь снегопад сибирской стужи
Пробился поезд ВЧК...

И непогода разрубала
Нетопленый полночный зал.
И шли курсанты прямо с бала
Пешком на Северный вокзал...

И зной, и пахота в пустыне,
И фары первых тракторов
Торжественней иной латыни
Вошли под твой домашний кров...

Я не об образах словесных
Припоминаю впопыхах,
Не о давным-давно известных
И переизданных стихах —

Но о пройденном расстоянье,
О поэтической судьбе,
О юношеском обаянье
Во всем твоем, во всем тебе.

О дружестве, не омраченном
Любой печали вопреки...
Не знаю, сколько жить еще нам,
Но мы с тобой не старики!

На юбилейное собранье
Незримым гостем я приду
И тень твоей тревоги ранней,
Как даму сердца, приведу.

Вот, вот она светло и строго
Смеется, грусти не тая, —
Та девочка, та недотрога,
Володя, молодость твоя!

1950

134. КОКТЕБЕЛЬ

1

Тогда казался этот дом форпостом
Мечтателей и чудаков Москвы.
Влекло их к спелым черноморским звездам,
К лохматой пене, к блеску синевы,

К хозяину. . . А он не дожил века,
Не дописал стиха — и был таков!
Остался дом как праздничная веха
В воспоминаньях многих чудаков.

Остался львиный облик киммерийца
С народнической русой бородой.
Остался тлен и прах, как говорится,
Да шум прибоя, да туман седой.

Осталась в доме голова царевны,
Умершей много тысяч лет назад.
Глаза ее младенчески безгневно
Поверх морей и мимо стран скользят.

С невольным страхом прикасались гости
К обломку древней сказочной кормы:
Впились в обшивку бронзовые гвозди,
Стих «Одиссеи» волновал умы.

И раковины с берегов Гвинеи
Нас радовали радужной игрой,
И жизнь поэта, и века за нею
Как будто приближались к нам порой.

Так он остался в нашем мирозданье,
Дородный этот добрый бородач,
Отнюдь не классик в массовом изданье,
А только список спорных неудач.

И нам казалось, что за далью влажной
Глядит на тучи и на Чатырдаг
Какой-то профиль каменный и важный,
Хозяин дома, символист-чудак.

2

Сожженная земля в колючках дрока,
В колючках ржавой проволоки, в костях.
Бежит вдоль пенной кипени дорога.
На скалах развевается наш стяг.

Здесь пионерский лагерь. Но, пожалуй,
Видней отсюда прошлые века.
Земля недаром столько раз рожала,
Морская соль недаром несладка.

Здесь были греки, генуэзцы, турки.
Бетонный дот не позабыл других,
Консервные их банки и окурки,
Зловещую команду, зверский гик.

Запомнил дот, как выбили их к черту,
И с камнем сросся, мрачен и коряв,
Лишь трещинами накрест перечеркнут,
Военное значенье потеряв.

Бетонный дот в сравненье с морем хрупок.
Он выстоит еще лет пять иль шесть
И в мусор мокрых галек и скорлупок
Всей массой должен все-таки осесть.

Вал налетит, ища любого корма.
Вихрастый гребень выгнется вверху,
И ликованье праведного шторма
Спокойно смоет серую труху.

Природа, как наставница благая,
С учениками лучшими дружит,
Без сожаленья в землю отлагая
Всё, что сырой земле принадлежит.

Ей не милы колчаны и кольчуги
И костяков изглоданных оскал.
Но у рыбацкой крохотной лачуги
Она поставит стражу верных скал;

Нагромоздит обветренные глыбы,
Как изваянья богатырских дней,

С таким расчетом, чтоб они могли бы
Свидетельствовать правнукам о ней;

Прибою отчеканивать поручит
Нефрит, и сердолик, и халцедон
И напоследок мальчика научит
Лепить из глины всё, что видит он!

1952

135. ГОГОЛЬ

Сто лет тому назад Москва дремала
В сугробах, как в перинах пуховых.
Выравнивал снежок мало-помалу
Колдобины на улицах кривых.

Так крепко спал семивековый город,
Так мирно он посапывал, дремля,
Так распахнул он домотканый ворот
От Земляного вала до Кремля,

Как будто этот сон столетья длится,
А троечный бубенчик под дугой
Умчался вдаль, звенит в другой столице,
В другой России, в юности другой...

Но до зари во флигеле господском
Не знали сна. И толстая свеча,
Оплывшая тяжелым желтым воском,
В одном из окон теплилась, треща.

И если бы увидел этот флигель
С Никитского бульвара кто-нибудь,
Не знал бы он, что в дом стучится гибель,
Что вышел Гоголь в свой последний путь,

Меж тем актеры, барыни, монахи
Стучали робко в темный кабинет,
И многие отшатывались в страхе,
Узнав, что улучшенья нет как нет.

А Гоголь умирал. Он был взъерошен,
Был остронос, как ворон, и небрит.
Воображал он, что, друзьями брошен,
Живой — в геенне огненной горит.

Но он был жив! И юношеской силой,
Поющей в сердце, бьющей из-под век,
Его, как половодьем, уносило
Из времени — вперед на целый век.

И то был Днепр. И волны чуть плескались
В дощатую обивку челнока.
Над темным яром встал колдун, оскалясь,
Но шла, как жизнь, великая река.

И то был Петербург! И шедший рядом
В шинелишке худой совсем промерз,
Но шел вперед с остекленевшим взглядом
И видел всё на много сотен верст.

И то был гром оваций в «Ревизоре»
И смех и ужас ветреной толпы.
Но, беззаботных зрителей позоря,
Таких лучей ударили снопы,

Что стало жутко обществу пустому...
И умиравший преклонился ниц
И вспомнил всё, вплоть до второго тома,
Вплоть до его обугленных страниц.

Что было в этом томе для России?
Какая даль каких иных веков
Ему приоткрывалась в дымке синей,
Под звон церквей и ругань кабаков?

И не в жару, не в огненной геенне
Сгорело всё, что было в нем мертво,
Но вышел в путь, встал на работу гений.
Так началось бессмертье для него!

С ним поколенья новые дружили.
Его читали дети в сотнях школ.
Ему актеры весело служили.
И годы шли. И целый век прошел.

И Хлестаков прошел по многим сценам,
Так неприметен, так вертляв и мал,
И всё ж казался деятелем ценным,
Пока его угрозыск не поймал.

И Чичиков скупал на черном рынке
Любую ветошь, всё, что продадут,
И, гласности чуждаясь по старинке,
Копил деньгу, но погорел и тут.

И даже черт — как водится, хвостатый —
Ловил чины, совался в мастера
То с песенкой, то с громкою цитатой —
И тоже был разоблачен вчера.

Так продолжался Гоголь в наши годы,
И там, где Пошлость правила пиры,
Он не давал поблажки ей и льготы.
Он только слово дал ей до поры.

За ним, пред ним — открыто и воздушно
Синела даль, вился знакомый путь,
И заливался бубенец поддужный...
Да разве ж он замрет когда-нибудь!

Нет, судя по степным и снежным верстам,
Последняя стоянка далека,
Последний лист не набран и не сверстан,
Последняя не вписана строка.

Там в Черноморье, за Лиманом, волны.
Там на Карпатах ветер верховой.
Там у Диканьки, умиленья полный,
Он встанет с непокрытой головой,

Старушку мать обнимет у порога
И приласкает маленьких сестер.
И снова пыль пылит, бежит дорога.
И ветер бьет в лицо, и глаз остер.

Писатель, добрый труженик, который
Еще не всё сказал, не всё узнал,
Исколесил он русские просторы
И вот спешит на Киевский вокзал,

На Северный, Казанский, Белорусский, —
Наш старший друг, наш младший ученик.
Легчайшей ношей, а не перегрузкой
Пред ним возникли планы новых книг.

Кончается повествованье наше!
А между тем ждет отпеванья знать,
Спешит на вынос воинство монашье...
Куда их деть, зачем их вспоминать?

А катафалк? А дамы в черном крепе?
А вбитый в землю намертво гранит,
Который из всего великолепья
Ни черных лент, ни лавров не хранит?

А смерть? Зачем безносая на тризне
Присутствует, не слыша, не дыша?
Что знает смерть о бесконечной жизни,
О гоголевской — мертвая душа?

О ненависти, о негодованье,
О жалости, о жажде жить — о том,
Чему он сам подыскивал названье,
Когда писал незавершенный том...

Старуха не готовилась к ответу,
Молчит она. Молчит, мертвым-мертва,
И разве что литературоведу
Подсказывает мертвые слова.

1952

136. МАЛЬЧИКИ

Александру Межирову

Рыбацкий катер на причале
В теченье двух часов дымил.
А рядом мальчики кричали:
«Ни с места — руки вверх — за мир!»
Вели осады, рыли ямы,
Ища осколки той войны,
Серьезны, искренни, упрямы,
Как черти худы и черны.

Их жадное воображенье,
Вертясь на холостом ходу,
Выигрывало все сраженья,
Всем вражьим силам на беду!

Но вот над бухтой черноморской
Взошла янтарная луна.
И мальчики, собравшись горсткой,
Решили: кончена война.
В их пугачи забился гравий,
И отсырели кобуры.

...Своих дальнейших биографий
Они не знают до поры.
На краткосрочных курсах лета
Они мужают каждый миг.
Они художники. И это
Непроизвольно в них самих.
Давным-давно, когда — не помню,
Я так же точно жил игрой
В заброшенной каменоломне,
И автор пьесы и герой.
Сухое лето было слито
С кусками сланца и кремня.
И целый век палеолита
Стал отрочеством для меня.
Сухое лето облегчало
Самосгоранье кратких гроз.
И это — всех начал начало,
Всё, чем я жил потом и рос...
С тех пор прошли тысячелетий
Неисчислимые ряды.

...Смеркается. Сырые сети
Лежат у каменной гряды.

Уходят взрослые. А дети
Еще толпятся у воды.

Они вернутся в лагерь поздно,
Улягутся на койки в ряд.
Тревогой разною и грозной
Их сны короткие горят.

Но как бы ни был сон громоздок,
Он держится на крутизне.

Не забывайте, что подросток
Растет, когда летит во сне.

1956

137. БАЛЛАДА ПРО ВЕРНОГО ПСА

Он входит как равный в землянку и в чум,
Ночной бродяга, старый драчун,
Служить человеку-другу.
И спит у огня, тихонько храпя,
И гложет кость на куче тряпья,
И лижет детскую руку.

Не помню — когда. Забыл — почему.
Но знаю: он родич мой по уму,
По быстрой хватке решений.
А ясностью нрава, терпеньем в беде
И верностью в дружбе всегда и везде
Он всех зверей совершенней.

На этом присказке старой — конец.
Скрежещет железо. Хлещет свинец.
Ракета красная блещет.
Несется гибель во весь опор.
Но спорит с гибелью старый сапер,
Идет вперед, не трепещет.

С ним рядом маленький рыжий друг.
И нет у друга оружья и рук.
Одно чутье и бесстрашье.
Почуял пес, что за кочкою той
Внезапно дым взовьется густой.
И пес застыл, как на страже.

И сразу потом рванулся вперед.
Он молча риск на себя берет:
Ни шагу, хозяин, дескать!

Ты завтра пройдешь поля и леса,
Ты завтра найдешь еще лучше пса!
Прощай и прости за резкость!

Навеки с нами они дружны,
Порой суровы, порой нежны,
Порой совсем незаметны.
То, зыркнув глазом, во тьме следят,
То зычным лаем предупредят:
«Ни шагу! Там холод смертный!»

Охотник-сеттер иль пудель-циркач
По снежному насту несется вскачь,
Иль старый барбос скребется
В твое жилище в ненастную ночь —
Он добрый гость, он может помочь,
В нем сердце жаркое бьется.

Я это писал на старости лет,
Закутав ноги в мохнатый плед,
Дымя табаком под утро,
А черный пудель по кличке Дым
Не спал с хозяином, другом седым,
Глядел в глаза мои мудро.

Он, видно, думал: «Старайся, пиши!
Во славу моей собачьей души
Слагай хвалебную оду!
Оставь от меня рифмованный след.
А я за тебя на старости лет
Пойду и в огонь и в воду.

А впрочем, кончай поскорей, чудак!
И если что сочинил не так,
Не слишком горюй об этом.
Мы оба стоим у той полосы,
Когда пуделяют люди и псы. . .»
Так пес говорил с поэтом.

1953

138. БАЛЛАДА О ЧУДНОМ МГНОВЕНИИ

...Она скончалась в бедности. По странной случайности гроб ее повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву.

Из старой энциклопедии

Ей давно не спалось в дому деревянном.
Подходила старуха как тень к фортепьянам.
Напевала романс о мгновенье чудном
Голоском еле слышным, дыханьем трудным.
А по чести сказать, о мгновенье чудном
Не осталось грусти в быту ее скудном,
Потому что барыня в глухой деревеньке
Проживала как нищенка, на медные деньги.

Да и, господи боже, когда это было!
Да и вправду ли было, старуха забыла,
Как по лунной дорожке, в сверканье снега
Приезжала к нему — вся томленье и нега.
Как в объятьях жарких, в молчанье ночи
Он ее заклинал, целовал ей очи,
Как уснул на груди ее и дышал неровно,
Позабыла голубушка Анна Петровна...

А потом пришел ее час последний.
И всесветная слава, и светские сплетни
Отступили, потупясь, пред мирной кончиной.
Возгласил с волнением сам благочинный:
«Во блаженном успении вечный покой ей!»
Что в сравненье с этим счастье мирское!
Ничего не слыша, спала, бездыханна,
Раскрасавица Керн, болярыня Анна.

Отслужили службу, панихиду отпели.
По Тверскому тракту полозья скрипели.
И брели за гробом, колыхались в поле
Из родни и знакомцев десяток — не боле,
Не сановный люд, не знатные гости,
Поспешали зарыть ее на погосте.
Да лошадка по грудь в сугробе завязла.
Да крещенский мороз крепчал как назло.

Но пришлось процессии той сторониться.
Осадил, придержал правее возница,
Потому что в Москву, по воле народа,
Возвращался путник особого рода.
И горячие кони били оземь копытом,
Звонко ржали о чем-то еще не забытом.
И январское солнце багряным диском
Рассиялось о чем-то навеки близком.

Вот он — отлит на диво из гулкой бронзы,
Шляпу снял, загляделся на день морозный.
Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде
Он стоит, кудрявый и смелый, как прежде.
Только страшно вырос, — прикиньте, смерьте,
Сколько весит на глаз такое бессмертье!
Только страшно юн и страшно спокоен, —
Поглядите, правнуки, — точно такой он!

Так в последний раз они повстречались,
Ничего не помня, ни о чем не печалясь.
Так метель крылом своим безрассудным
Осенила их во мгновенье чудном.
Так метель обвенчала нежно и грозно
Смертный прах старухи с бессмертной бронзой,
Двух любовников страстных, отпылавших розно,
Что простились рано, а встретились поздно.

1954

139. МАСТЕРСКАЯ

1

Я спросил у самого себя:
Для чего мне эта мастерская?
Стены, окна, пол и потолок,
Книжные захламленные полки. . .

Для чего мне ветер в мастерской,
Для чего былых веков осколки,
Сердце, вечно бьющееся в лад
С музыкой седого мирозданья?

Разве не достаточно я жил,
Разве не платил честнейшей данью,
Разве мало сумрачных ночей
Бодрствовал по собственной охоте?

Что мне дальше делать? Глину мять,
Сочинить роман о Дон-Кихоте,
Вырезать из дерева божка,
Напоследок в зеркало вглядеться?

В зеркале лицо отражено,
Хорошо знакомое мне с детства.
Ничего лицо не говорит,
Спрашивает молча: «Что мне делать?»

2

В мастерской со мною разговаривал
Доктор Фауст. За его плащом
Полыхало и плясало зарево.
В пуделе был дьявол воплощен.

Мчались годы. Горьким ремеслом они
Полнились. А в очень ранний год,
Ветряными мельницами сломанный,
Спал на этой койке Дон-Кихот.

И случалось — целыми столетьями
В мастерскую я не заходил,
С бражниками теми или этими
Грешную компанию водил.

Но случалось — молодость как треснется
Забубенной об стену башкой. . .
Но взлетала вверх крутая лестница,
Рано рассветало в мастерской.

Сны мои там скапливались лучшие,
Зоркие не старились глаза,
Терпеливо ожидали случая,
Чтобы в них ударила гроза.

И тогда я выстроил театр свой,
Чтобы счеты с молодостью свесть.

Это жизнь была, а не новаторство —
Только правда жизни, вся как есть.

Это значило, что не пора еще,
Что и завтра тоже не пора.
Строящий, стареющий, сгорающий,
Жил я, как цари и мастера!

⟨1958⟩

Мастерская вторая

140. ИСКУССТВО НЕ ЖДЕТ ПРИГЛАШЕНИЙ

Конечно, искусство не ждет приглашений
И тут же берется за дело,
Прищурившись зорче и выбрав мишени,
Вниманьем людей завладело.

И сразу — раскрашенный крупно и густо,
Весь мир потрясен и всклокочен.
Я стар, но, ей-богу, не старше искусства,
И мне это нравится очень.

Я видел миры на подрамниках старых
В запасниках старых музеев.
Я слышал, как стонет страданье в гитарах,
Мещанскую скуку развеяв.

Я знаю, как дешево критика ценит
И танец, и песню, и рифму.
Но пляшет девица на маленькой сцене
И вдруг превращается в нимфу.

И тянутся, тянутся смуглые руки,
Единственные в мирозданье.
И вся беспредельность блаженства и муки
Знакома мне в первом изданье.

⟨1958⟩

141. ДОН-КИХОТ

Встал однорукий Сервантес Сааведра,
В печку потухшую дует,
Свечку свою заслоняет от ветра
И завещанье диктует.

Кончилась молодость. Кончилась старость.
Да умирать еще рано!
Только одно напоследок осталось
Мужество у ветерана.

Будет герой бушевать, балаганить,
Странствовать, драться за правду.
Не разберутся три века в гиганте,
Кто он — герой или автор.

Вот он — последний в своем поколенье,
Смелый, осмеянный, милый.
Падайте ниц перед ним на колени,
Вы, вековые кумиры!

Нравится вам эта честная проза?
Без отговорок ответьте!
Дюжая скотница, девка в Тобозо,
Лучше всех женщин на свете.

Валятся жалкие мельницы, канув
Крыльями в низкое небо.
Только и гибнет что рать великанов,
Только и было что небыль.

Только и есть что бездомная старость,
Да умирать неохота!
Только одно напоследок осталось
Мужество у Дон-Кихота.

Только и есть! Заблуждайся, надейся,
Не дорога твоя шкура,
Цвет человечества, жертва злодейства,
Старая карикатура!

Сколько бы ни было драк и пощечин,
Сколько ты ни искалечен,
Рыцарь Печального Образа прочен,
Путь впереди бесконечен.

⟨1927⟩, ⟨1958⟩

142. ИЕРОНИМ БОСХ

Я завещаю правнукам записки,
Где высказана будет без опаски
Вся правда об Иерониме Босхе.
Художник этот в давние года
Не бедствовал, был весел, благодушен,
Хотя и знал, что может быть повешен
На площади, перед любой из башен,
В знак приближенья Страшного суда.

Однажды Босх привел меня в харчевню.
Едва мерцала толстая свеча в ней.
Горластые гуляли палачи в ней,
Бесстыжим похваляясь ремеслом.
Босх подмигнул мне: «Мы явились, дескать,
Не чаркой стукнуть, не служанку тискать,
А на доске грунтованной на плоскость
Всех расселить в засол или на слом».

Он сел в углу, прищурился и начал:
Носы приплюснул, уши увеличил,
Перекалечил каждого и скрючил,
Их низость обозначил навсегда.
А пир в харчевне был меж тем в разгаре.
Мерзавцы, хохоча и балагуря,
Не знали, что сулит им срам и горе
Сей живописец Страшного суда.

Не догадалась дьяволова паства,
Что честное, веселое искусство
Карает воровство, казнит убийство.
Так это дело было начато.
Мы вышли из харчевни рано утром.
Над городом, озлобленным и хитрым,
Шли только тучи, согнанные ветром,
И загибались медленно в ничто.

Проснулись торгаши, монахи, судьи.
На улице калякали соседи.
А чертенята спереди и сзади
Вели себя меж них как господа.
Так, нагло раскорячась и не прячась,
На смену людям вылезала нечисть
И возвещала горькую им участь,
Сулила близость Страшного суда.

Художник знал, что Страшный суд напишет,
Пред общим разрушеньем не опешит,
Он чувствовал, что время перепашет
Все кладбища и пепелища все.
Он вглядывался в шабаш беспримерный
На черных рынках пошлости всемирной.
Над Рейном, и над Темзой, и над Марной
Он видел смерть во всей ее красе.

Я замечал в сочельник и на пасху,
Как у картин Иеронима Босха
Толпились люди, подходили близко
И в страхе разбегались кто куда,
Сбегались вновь, искали с ближним сходство,
Кричали: «Прочь! Бесстыдство! Святотатство!»
Так многие из них вершили суд свой
Во избежанье Страшного суда.

4 января 1957

143. ТРИЗНА

1

Нет, не отвага. Нет, не малодушье.
Ну так какой тысячевольтный ток
Ударил в глухоту его подушек?
Какой глоток огня, какой итог?
Что в прожитом он наспех подытожил,
Каким желаньем отдыха томим,
Двух-трех часов до старости не дожил,
Что он наделал сам с собой самим?

2

С глазу на глаз — иначе нельзя,
Потому что мы были друзья.
Что ж, простимся, товарищ, навеки!
Густо ляжет на бледные веки
Некрасивая, грубая тень.

Составляют врачи бюллетень.

... И встают из густого тумана
Черновые наброски романа,
Недописанных писем куски,
Да простор неоглядной тоски,
Да любимая песня, в которой
Только жажда тоски и простора.
И еще напоследок встает
Тот красавец, что песню поет,
Партизан, комиссар, краснодонец,
С юных дней, с первых майских бессонниц,
Вместе с партией большевиков
Взявший на плечи бремя веков, —
За туманом, за дымкою смутной,
Синеглазый, седой, бесприютный.

3

Ты еще разобьешь этот ящик сосновый,
Отряхнешь этот прах с твоих ног,
Ты очнешься, начнешься сначала и снова
Будешь голоден, чист, одинок.

Нет ни изданных книг, ни любовниц, ни славы,
Ни жилья, ни кола, ни двора.
Лишь бы молодость старостью не заросла бы,
Не смолчала бы, не солгала.

Вот встает он, с тобою отчаянно схожий,
На любое заданье готов,
В гимнастерке и в брюках из чертовой кожи,
Как в начале двадцатых годов.

Вся редакция — в кипах неправленых гранок,
Дым табачный, бессонная мгла,

А за ней — в грозовых облаках спозаранок
Ни жилья, ни двора, ни кола.

А за ней и над ней — во всю ширь мирозданья
Всё мгновенно, ничто не навек.
Никогда не прощай, навсегда до свиданья,
Милый друг, золотой человек!

1956

144. СНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Сны возвращаются из странствий.
Их сила только в постоянстве.
В том, что они уже нам снились
И с той поры не прояснились.

Из вечной ночи погребенных
Выходит юноша-ребенок,
Нет, с той поры не стал он старше,
Но, как тогда, устал на марше.

Пятнадцать лет не пять столетий.
И кровь на воинском билете
Еще не выцвела, не стерта.
Лишь обветшала гимнастерка.

Он не тревожится, не шутит,
О наших действиях не судит,
Не проявляет к нам участья,
Не предъявляет прав на счастье.

Он только помнит, смутно помнит
Расположенье наших комнат,
И стол, и пыль на книжных полках,
И вечер в длинных кривотолках.

Он замечает временами
Свое родство и сходство с нами.
Свое сиротство он увидит,
Когда на вольный воздух выйдет.

1956

145. ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ

Земля колыбели могил укачала,
Покрылась травой и забыла о них.
Ну что ж, перечту мою книгу сначала,
Одну из несчитанных читаных книг.

Что было! Каких только не было песен,
Каких только осеней, весен и зим!
Их ворох отброшен, и ворот мне тесен,
И мир окончательно неотразим!

Зеленый, и красный, и желтый, и синий,
Как будто возникший в глазах дикаря,
Корабль трехмачтовый в сырой парусине
Из памяти выкорчевал якоря.

За ним! За несбыточным! Но за семижды
Обещанным! Только вглядеться — и в путь!
Былая удача, меня осенишь ты
Когда бы то ни было, что там ни будь.

Пусть горе ударами медного гонга
Уже окровавило сердце мое,
Но дело художника — вечная гонка,
Чеканка и ковка, резьба и литье.

И это есть голос грозы! Ликованье
Кремнистых дорог, океанов и гор!
Там прадеды каменный век вековали.
Там правнуков пламенный слышится хор.

Да будет! Да славится ныне и присно
Чеканка и ковка, резьба и литье!
Живою водой на могилы я прысну,
Земля возвратит мне богатство свое.

Земля колыбели могил укачала.
Смываются образы прожитых лет.
Срываются все очертанья с причала.
В открытое время выходит поэт.

1956

146. Я РАССКАЗАЛ

Я рассказал о жизни, как умел, —
О всем, что знал, — о счастье, о несчастье,
О мертвецах, что выкрашены в мел,
Об их сердцах, разорванных на части.

Я рассказал о том, как человек
Растет из глины, музыки и муки,
Как по следам его далеких вех
Проходят любознательные внуки.

О том, как каждой смерти суждено
Стать на земле строительной частицей.
И это было творчество. Оно
В моих стихах уже не уместится.

И это было юностью. Смотри —
Сперва она нас обступила немо,
Но проступила быстро изнутри
Сонатой, бронзой, пляскою, поэмой.

И это было радостью. Пора
Признаться в том, что радости хватало.
Мне часто снилась радость до утра.
Кончался сон, когда она светала.

Чем это было? Жизнью. Только так!
Рассказ о ней не выдуман. Он точен.
Вы скажете, что автор был чудак?
Вы, может быть, и правы, да не очень.

1956

Уроки истории

147. ОКТЯБРЬСКИЙ ВИХРЬ

Октябрьский вихорь спящих будит
На бурных митингах своих,
Не шутит он, а грозно судит
О всем, что было, есть и будет, —
Октябрьский вихрь, Октябрьский вихрь.

Он в корабельной свищет снасти,
Казнит последышей династий,
Сулит купечеству ненастье,
Банкротов губит биржевых,
Скликает пригороды в город
И, распахнув свой потный ворот,
С одною смертью насмерть спорит
И оставляет жизнь в живых.

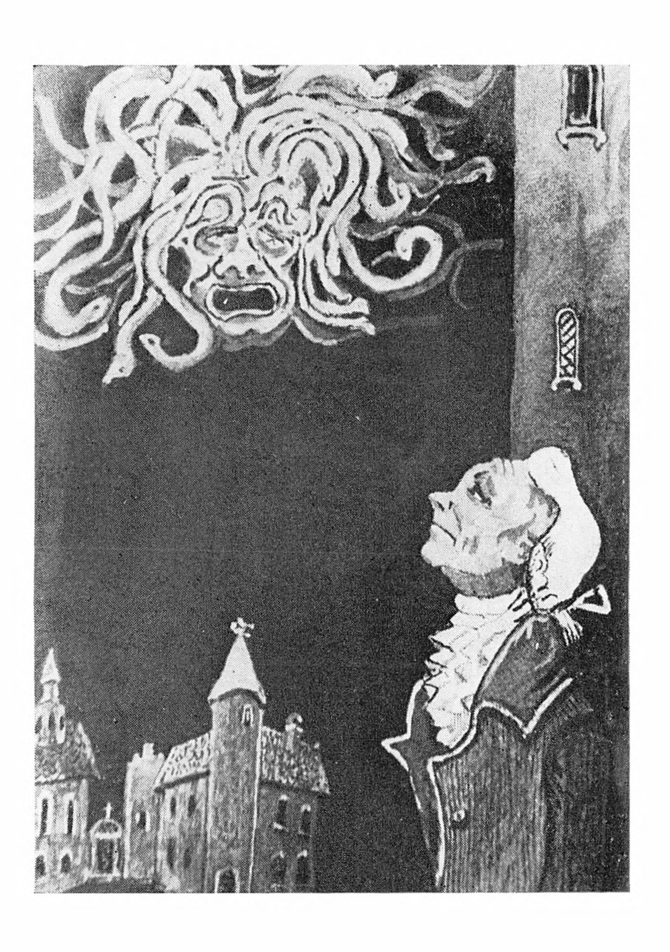
С ним подружились мы однажды,
Когда на Кремль солдаты шли.
Рты запеклись от жгучей жажды.
Мы были голодны. Но каждый
Мечтал о счастье всей земли.

О, тусклый отблеск туч свинцовых
На ржавой жести крыш дворцовых,
О, грязь в домах, о, страх жильцов их
Пред благодушием солдат!
О, как нам весело бывало,
Когда рядам людского шквала
История передавала
Свой наспех писанный мандат!

Гнилым низинам нет пощады
Со стороны нагих крутизн.
Пускай погибнет кров дощатый,
Пускай бездомна и нища ты, —
Ты навсегда прекрасна, Жизнь!

Твой выбор прям без оговорок.
Твой взор навеки чист и зорок.
Пройдет и двадцать лет и сорок,
Немало будет горьких тризн.
Сегодня будем слушать речи,
Проветрим ум, расправим плечи,
Но знаешь — ради первой встречи
Дай нам твое бессмертье, Жизнь!

⟨1957⟩



148. СТИХИ ПОД ЭПИГРАФОМ

> Счастлив, кто посетил сей мир
> В его минуты роковые —
> Его призвали всеблагие
> Как собеседника на пир.
>
> *Тютчев*

Пускай звучит в церквах последних
Глухой хорал, хвалебный гимн,
А я богам не собеседник,
Не сотрапезник всеблагим.

Я только трезвый виночерпий
На грозном пиршестве времен,
Когда вино не на ущербе,
А хлеб по чести поделен.

Я от лица солдат и граждан,
Собравшихся вокруг стола,
Свидетельствую: наша жажда
Всё мирозданье создала.

Вот-вот она сшивает тучи —
И рвет по швам их наверху,
Рассеивает дым летучий
И топчет косную труху.

Пока сверкает радость мира
В граненом нашем хрустале,
Не сотворим себе кумира
Ни в небесах, ни на земле.

Мы сами делаем погоду,
Сдвигаем горные хребты
И никаким слепцам в угоду
Не прячем нашей правоты.

Мы — трудовое поколенье.
Мы вовремя явились в мир.
Нам море было по колени,
По щиколотку был Памир.

Белее белого каленья
В победном пламени ума,
Нам горе было по колени,
По щиколотку — смерть сама.

1 марта 1945, ⟨1958⟩

149. ПАМЯТИ ТЮТЧЕВА

Вы любите грозу в начале мая,
Когда в раскатах грозовых
Звучит, рабочих в битву поднимая,
АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ язык.

Вы любите грозу в начале мая,
Когда на сломанных крестах,
Гнездо фашизма черного ломая,
Войска врываются в рейхстаг.

Вы любите грозу в начале мая,
В начале юности своей —
Пускай зовет, внезапная, прямая,
На подвиг ваших сыновей!

Да будет так! Играй, избыток жизни!
Греми, весенняя гроза!
Ударь дождем и молниями брызни
В ненасытимые глаза!

Чтоб было что́ припомнить нам под старость
На празднике большевиков!
Чтоб только ЭТО в памяти осталось
На веки вечные веков!

1952

150. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Теза

В случайном столкновенье сил слепых,
В паденье молнии отвесной
Есть только то, что есть, — короткий вспых.
А что он значит — неизвестно.

Хвостатый змей с косматой головой,
Осколок белого каленья —
Вот он летит по выгнутой кривой
От поколенья к поколенью.

Багряный отблеск пляшет на холмах,
На волнах и на женских лицах.
И топора палаческого взмах
Сверкает в гибнущих столицах.

И матери, прижав детей, бегут,
Кротки, безропотны, смиренны...
Но в их ушах навек остался гуд
Протяжно воющей сирены.

И в их чертах, застывших навсегда,
Ни осужденья, ни прощенья,
Ни жалобы, ни гнева, ни стыда —
Одна гримаса отвращенья.

Антитеза

А ты, моя любовь, мой давний друг,
Ты, Муза, смолоду седая,
Следишь, как жизнь меняется вокруг,
Землею в землю оседая.

Запишешь ли в графе за упокой
Стволов поваленных колонны?
Осудишь ли? Забудешь ли, какой
Валил их вихорь раскаленный?

История! Ты всё забудешь... Ты
Стоишь с лицом серее пепла
И собственной стыдишься слепоты.
Как! Ты стыдишься? Ты ослепла?

«Неправда! — отвечает мне она,
Полна презренья и восторга. —
Мне дальняя дорога суждена,
Я не слепа, а дальнозорка.

Железный век зенита не достиг.
Бушуют волны революций.

Твоя тревога, и любовь, и стих
С их грозным праздником сольются.

И может быть, бесследно пропадут,
Вниманья моего не тронув.
Еще не взят решающий редут
Отрядом сильных циклотронов.

Не кончен день опасного труда!
В цепях созвездий, в арках радуг
Вселенная, как редкая руда,
Таится глубже всех отгадок.

Она свое инкогнито впряжет
В двояковогнутую линзу,
И даст оркестр, и факелы зажжет,
Чтоб справить свадьбу или тризну.

И, звездную материю кроя,
Не пожалеет матерьяла,
И всё распорет заново... А я —
Я головы не потеряла.

Я остаюсь на боевом посту,
Полна восторга иль презренья.
Слепа иль дальнозорка — я расту.
Но не меняю точки зренья».

⟨*1961*⟩

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Напиши о свойствах времени
отдельно от геометрии.

Леонардо да Винчи

151. НАДПИСЬ НА КНИГЕ

С тобою, время неистовое,
Я жизнь мою перелистываю:

Как ты меня озадачивало,
Иной раз и наудачу вело,

Иной раз и переучивало,
Спиральный подъем раскручивало,

Познание раздвигая мое,
Осталось непостигаемое,

Немереное, несчитанное,
Оружием и защитой моей!

Останься и впредь, неведомое,
Свободою и победой моей!

Хоть оба с тобой немолоды мы,
Сердца наши бьют как молотами,

На крайнем своем пределе вися,
Не спи, торопись, пошевеливайся!

Не дай захиреть, взрывай мой стих
До полной неузнаваемости!

А сверхзвуковую скорость твою
По мере сил я наверстываю.

⟨1963⟩

Болгарская рапсодия

...От град на град,
От бряг на бряг...
Лиляна Стефанова

152. ВСТУПЛЕНИЕ

Что́ дружба!
Тост заздравный, что ли?
Похмелья гаснущего гарь?
Нет, в нашей воле,
В нашей школе
У дружбы есть иной словарь.

Иной словарь, иная слава,
Подземный гул иных корней.
И шапка Шипки двоеглава,
И вся поэзия над ней.

А если вдуматься нам глубже,
Закон поэзии таков,
Что для поэта дружба — служба
В погранохране языков.

Я с меньшим не хочу мириться,
Да будет речь моя тверда!
В моей крови шуми, Марица,
Окровавлéнна, как тогда.
В моей душе плаче вдовица,
Люто ранéнна и горда.

Есть час истории, в котором
Всей грудью дышит человек
И ясно видит над простором
Границы перевальных вех:

Огни биваков, звезды ночи,
Костры родопских партизан...
Из дальней дали чьи-то очи
К его приблизились глазам.

И в млечном утреннем тумане,
Сквозь рассветающую тьму,
Вся — дружелюбное вниманье,
Близка Болгария ему.

И мы друг друга в песне кличем.
И, расстояньям вопреки,
Есть — я люблю
И аз обичам [1] —
Два берега одной реки.

1961

---

[1] Я люблю (болг.). — *Ред.*

153. ОРФЕЙ ФРАКИЙСКИЙ

На пустой просцениум он вышел,
Взял кифару — и народ услышал
Безутешный стон Орфея-старца,
Что в родимой Фракии скитался
И в тысячелетьях звал всё ту же
Эвридику из посмертной стужи:

«По всему гулял я миру,
Плыл как дым, никем не зрим,
Помню в пламени Пальмиру,
Взятый варварами Рим.
На границе вечной ночи,
У Геракловых столбов,
Океан слепил мне очи,
Исцеляла их любовь.

Скрипки кавалера Глюка
Пронесли меня сквозь ад.
Возникала тень из люка
И звала меня назад.
И царицей мне казалась,
Шелком мертвенным шурша,
И руками звезд касалась
Эта лживая душа.

Там, у шатких скал картонных,
Среди пляшущих блудниц,
В злых корчмах, в ночных притонах
Перед ней я падал ниц.

Полон гибельной отвагой,
Позабыл ее легко,
Разрывал могилу шпагой,
Хоронил Манон Леско.

Так повсюду, где бы ни был,
Я в самом себе носил
Гибель, гибель, только гибель
Да избыток тщетных сил.

Паруса мои вздувались,
Помогал Зевес-Перун,
Злые молнии сдавались,
Лишь бы я коснулся струн.

Облака, деревья, камни
Кланялись мне по пути.
Ноша тяжкая легка мне, —
Но зачем ее нести?»

Милая! Зачем же в мирозданье
Нам одним нет места для свиданья,
Нет костра, нет очага, нет крова?
Вся земля освещена багрово.
Вся жилая часть вселенной в дыме.
Стали мои сверстники седыми,
Разбрелись по кабакам и цедят
Мутный яд, о молодости бредят.
Все младенцы зябнут в колыбели.
Все отцы от горя огрубели.
Корабли недвижно спят на верфи.
В тысячах могил роятся черви.

Только мы с тобой несемся в тучах —
Две звезды бездомных, две падучих,
Два разряда молнии ветвистой, —
Мы несем любовь, а не убийство.

Но опять с тобой мы разминулись
В сутолоке узких этих улиц.
Я искал тебя, а нахожу я
Не тебя, а Собственность Чужую.

И кричу тебе я глоткой хриплой
И ответа жду от немоты:
— Милая! Еще не всё погибло.
Дай мне знак. Откликнись. Где же ты?

1961

По дорогам Югославии

> Пройдут мимо красны девки,
> Так сплетут себе веночки.
> Пройдут мимо стары люди,
> Так воды себе зачерпнут.
>
> *Пушкин — Караджич*

154. АДРИАТИКА ВПЕРВЫЕ

Адриатика — Ядран —
Блещет зноем, пляшет дико.
Жар Ярила, цвет индиго,
Южный брег славянских стран.

С маху время расколов,
На густом меду настоян,
Впрямь не медный, золотой он,
Этот гул колоколов.

К пирсу жмутся корабли,
Парусники давней эры, —
Видно, турки-флибустьеры
Здесь добычу погребли.

Цезарский и папский Рим
Сплетены двойным обрядом
И следят ревнивым взглядом,
Чьею кровью день багрим.

Опоздал на сотню лет
Дряхлый маршал Бонапарта.
Габсбург мнет штабную карту,
Рвет с мундира эполет.

Башни серые во мглу,
Как гурты овец, шагают,
И туристам предлагают
Сувениры на углу.

Сколько крыльев, сколько ряс,
Херувимов и монахов!
Щелкнул цейсом, только ахнув,
Парень в шортах, лоботряс.

А меж волн и облаков,
Видимая вкось и прямо,
Возникает синерама
Двадцати былых веков.

Время, время! Это ты,
Странник, а не археолог,
Книги сбрасываешь с полок,
Рвешь их желтые листы,

Запираешь свой музей
И навстречу новым зорям
Боевым встаешь дозором
Над могилами друзей.

Там, над скальной крутизной,
Выше башен и гостиниц,
Спит безвестный пехотинец.
Даль синеет, блещет зной.

1963

155. АДРИАТИКА В ТУМАНЕ

Пробудись! В такую рань,
Прошлых дней смыкая дуги,
Бешеные виадуки
Кружат горную спираль.
И оттуда, с тех высот,
Словно сказочные духи,
Мчат на выручку гайдуки,
Опоздав лет на пятьсот.

Но не надобно чудес,
Лишь одно уважь дерзанье, —
Расскажи о партизане,
За свободу павшем здесь.
Кем он был? Подай мне знак
Воркованьем твоих горлиц, —
Серб, хорват иль черногорец
Тот неведомый юнак?

Легким парусом кренясь,
Адриатика в тумане
Отвечает — вся вниманье
К жизни каждого из нас:
«Нет пощады молодым
В молниях военной ночи.
С той поры мне застит очи
Не туман, а черный дым».

Отвечает ветровой
Дикий голос бессловесный:
«Его имя неизвестно,
Заросло оно травой.
Но его бессмертный прах
Есть бессмертие народа.
И, как скальная порода,
Не крошится он в горах».

Отвечает гребень скал:
«Я над прахом крест воздвигнул,
Тайну времени постигнул,
Но напрасно я искал,
Чьей рукой озеленен
Бедный холмик, дом солдата.
Стерлось имя, стерлась дата,
Только алый цвет знамен,
Только алой крови цвет
Остается в жизни вечной».

...Только этот человечный
Прозвучал в горах ответ.

1963

156. ГАВРИЛО ПРИНЦИП

Кем был он, этот школьник странный,
Вдруг повзрослевший и так рано
Проснувшийся? Как был он стар,
Когда ступил на тротуар,
И ошалел в базарном гаме,

И неуклюжими ногами
Уперся насмерть в шар земной,
И приказал ему: «За мной!»
А шар меж тем вращался мерно,
Подставив солнцу жаркий бок.
Но гимназист высокомерный
Встал на посту — как полубог.

Он будущее из-под парты
Без содроганья рассмотрел.
Он видел, как штабные карты
Покрылись клинописью стрел.
И вот на крохотном плацдарме,
На плитах той же мостовой,
Махины миллионных армий
Расположили лагерь свой.
И Сербия заполыхала,
И дымных крыльев опахало
Над ней качнулось, а внизу
Любой кузнец ковал грозу.

Сам школьник ничего не значил,
Но весь напрягся, зубы сжав,
И жалким револьвером начал
Сраженье мировых держав.
И тень мальчишеского торса
Росла вполнеба над стеной,
Когда он в будущее вторгся
И приказал ему: «За мной!»
Секунды гибли в беглой пляске.
Вот он услышал стук коляски,
Тяжелый звон восьми копыт
В сердцебиение был вбит.
Коляска между тем взлетела
На мост. И, взятый на прицел,
Сам приподнял с подушек тело
Австрийский рослый офицер.
Его жена сидела рядом
В пернатой шляпе и слегка
Косила осторожным взглядом
На церкви и на облака.

Внезапно чей-то тощий облик,
Парадной встрече вопреки,

Как задранные вверх оглобли,
Две длинных вытянул руки.

Всадил он раз-две-три-четыре-
Пять пуль в эрцгерцога и в ту
Вторую куклу в том же тире,
На том же каменном мосту.

В обойме у него осталась
Шестая пуля для виска.
Но что же это? Сон, усталость,
Восторг, удачливость, тоска?..

Стоял убийца, как свидетель
Событья уличного. Он
Своей судьбы и не заметил,
Чужою кровью ослеплен.

И в блеске этой крови скудной,
В осколках битого стекла,
В разверстости полусекундной
Пред ним вся юность протекла.

Его схватили, смяли, сбили
И вбили в черный грунт земли,
Сигнал тревожный протрубили,
В карете черной увезли,

Во имя призрака и трупа
Судили спешно, смутно, тупо,
Засунув в каменный мешок,
Без казни стерли в порошок.

Не подчиненный их решенью,
Ребенок, а не человек,
Он пулей был, а не мишенью.

...Так начался двадцатый век.

1963

Высокое напряжение

157. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТЕРЕОРАМА

Низко кружится воронье.
Оголтелые псы томятся.
Лишь коты во здравье свое
Магнетизмом тайным дымятся.

Ощутили они в шерсти
Слабый треск и сухое жженье.
Постепенно должен расти
Ток высокого напряженья.

Ставит геодезист редут,
Раздвигает свою треногу.
На ходулях столбы бредут,
В лес вторгаются понемногу.

Лес велик. Он растянут вплоть
До пределов воображенья.
Должен ткань его пропороть
Ток высокого напряженья.

Вот высокий вольтаж гудит.
Там, где птахи в листьях ласкались,
На прохожих будка глядит,
Некрасивым черепом скалясь.

И когда чернокожий Том
Поцелует белую Дженни,
Полосует его кнутом
Ток высокого напряженья.

Но над веком плывет массив
Грозовых бойниц и хоромин.
Он, как юный демон, красив,
Как древнейший мамонт, огромен.

Так накапливает гроза
В медных чанах свое броженье.
Человечеству бьет в глаза
Ток высокого напряженья,

Наконец-то! О, разряди
Ради наших злаков растущих
Всё, что есть у тебя в груди,
Всё, что золотом пышет в тучах!

Словно в зеркале, в нас самих
Разгляди свое отраженье!
Расщедрись на короткий миг,
Ток высокого напряженья!

Ты стоишь под грозой внизу,
Как бездомный король Шекспира,
Приглашаешь на пир грозу,
Поминаешь ушедших с пира.

Всем, художник, ты овладел
И всему найдешь выраженье.
Но дождись!
Есть иной предел
У высокого напряженья.

Если ты в грозовой разряд
Невпопад и зря угораздил,
Тебя молнии разразят,
Но какой же ты, к черту, мастер!

Ты не кончишь картин и книг
И не выиграешь сраженья.
Вот включает твой ученик
Ток высокого напряженья.

1958

158. КАНАТОХОДЦЫ

Константину Симонову

В Кодженте, в городе желто-синем,
Под желтым прожектором и синей луной
Шли по канату сапожник с сыном,
Как два существа с планеты иной.

Не знаю, был ли конец состязанья,
Достойный всех спортивных призов,

Иль, может статься, обломок сказанья,
Далеких дней еле слышный зов, —

Но рядом Азия стеной глинобитной,
В накрапах охры и рыжей хны,
С усмешкой скрытной и необидной
Следила в темном углу чайханы,

Как мальчик шагал, держась за воздух,
И ба-лан-сировал, едва дыша,
Намечен в бликах лунных и звездных
Не толще школьного карандаша.

Он был невесом и почти бесплотен,
Пятнадцатилетний тот новичок.
И люди в количестве многих сотен
Кричали в знак одобренья: «Чох!»

Под ним листва мерцала и млела,
Чернел палатками пустой базар.
И мальчик с лицом белее мела
На высшую радость в жизни дерзал.

И я подумал, — вот первая веха,
Древнейшая, может быть, на земле.
Так врублен грубым резцом человека
Рисунок мамонта на голой скале.

Так схвачен ритм священного танца,
Чтобы когда-нибудь через века
На волнах грядущих радиостанций
Шла половодьем его река.

Так мальчик Икар, упавший низко,
Не слышал таянья хрупких крыл.

...Искусство! Жажда смертного риска!
Кто первый тайну твою открыл?

1958

159. МАЯКОВСКИЙ

Пускай, никаким ремеслом не владея,
Считают, что их выручает идея,
И в разных журналах в различные сроки
Печатают лесенкой вялые строки.
Пускай водянистым своим пересказом
Хотят подсластить его гнев и сарказм
И держат в свидетельство собственной мощи
Цитаты — поплоше и мысли — поплоще.

А он, как и был, остается поэтом.
Живым, неприкаянным и недопетым,
Не слышит похвал, не участвует в спорах,
Бездомен, как демон, бездымен, как порох!
Ни дома, ни дыма, ни думы, ни дамы,
Ни даты, отбитой былыми годами...
Никем не обласкан, никем не освистан,
Не отредактирован, не переиздан.

Но каждое утро, как в первом изданье,
Впервые вперяет глаза в мирозданье,
В сумятицу гавани, в давку вокзала,
И снова, как время ему приказало,
Встает на трибуне, и требует слова,
И на смерть идет, и рождается снова.

1956

160. МАРИНА

Седая даль, морская гладь и ветер
Поющий, о несбыточном моля.
В такое утро я внезапно встретил
Тебя, подруга ранняя моя.

Тебя, Марина, вестница моряны!
Ты шла по тучам и по гребням скал.
И только дым, зеленый и багряный,
Твои седые волосы ласкал.

И только вырез полосы прибрежной
В хрустящей гальке лоснился чуть-чуть.

Так повторялся он, твой зарубежный,
Твой эмигрантский обреченный путь.

Иль, может быть, в арбатских переулках...
Но подожди, дай разглядеть мне след
Твоих шагов, стремительных и гулких,
Сама помолодей на сорок лет.

Иль, может быть, в Париже или в Праге...
Но подожди, остановись, не плачь!
Зачем он сброшен и лежит во прахе,
Твой страннический, твой потертый плащ?

Зачем в глазах остекленела дико
Посмертная одна голубизна?
Не оборачивайся, Эвридика,
Назад, в провал беспамятного сна.

Не оборачивайся! Слышишь? Снова
Шумят крылами чайки над тобой.
В бездонной зыби зеркала дневного
Сверкают скалы, пенится прибой...

Вот он, твой Крым! Вот молодость, вот детство,
Распахнутое настежь поутру.
Вот будущее. Стоит лишь вглядеться,
Отыщешь дочь, и мужа, и сестру.

Тот бедный мальчик, что пошел на гибель,
В соленых брызгах с головы до ног, —
О, если даже без вести он выбыл,
С тобою рядом он не одинок.

И звезды упадут тебе на плечи...
Зачем же гаснут смутные черты
И так далёко — далеко — далече
Едва заметно усмехнулась ты?

Зачем твой взгляд рассеянный ответил
Беспамятством, едва только возник?
То утро, та морская даль, тот ветер
С тобой, Марина. Ты прошла сквозь них!

12 января 1961

161. ЧЕРНОВИК

Черновик, черный хлеб моего существа,
Перечеркнутый накрест и брошенный на пол!
Не чернилами я нацарапал слова,
А огнем подпалил и свинцом их закапал.

И ушел, и забыл, и завыл, как столбы
Телеграфные, гулом нечленораздельным,
И мелодию высоковольтной мольбы
Напечатал, как пропись, в изданье отдельном.

И заставил запеть, и оставил висеть
Над железными крышами буквы рекламы.
И когда световая включается сеть,
Они весело пляшут и машут крылами.

Всё здесь пригнано! Каждый эпитет блестит,
Приколочен гвоздями и замшей надраен,
Каждый мой завиток разожжет аппетит
У столичных редакций и прочих окраин.

Но откуда же слышится горестный гул,
Вековое АУ, невозвратное чудо?
Сколько лет, сколько зим, сколько длился прогул?
Что за бурей дохнуло? Откуда, откуда?

И, едва я усну и забудусь едва,
Словно черный огонь, разрывает мне веки
Черновик, черный хлеб моего существа,
Перечеркнутый накрест, забытый навеки...

1960

162. СКОЛЬКО СВЕТА!

Сколько света, сколько гроз и радуг,
Сколько глаз, куда ни погляди!
Вечный праздник, вечный беспорядок,
Вечность позади и впереди.

Бодрствуют в ночи обсерваторий
Телескопы, звездный блеск дробя.

Вот он, мир, во всем его просторе.
В нем найдется место для тебя.

В нем найдется путь, призванье, служба
Для солдата, павшего в бою.
Как всмотреться пристальней и глубже,
Как найти мне молодость твою?

Милый, милый, я не знаю, где ты,
Спишь иль снишься, но проснешься ведь?
В полное беспамятство одетый,
Где же ты? Услышь меня, ответь.

Но сквозь годы старости, сквозь толщу
Слепоты, мерцая и сквозя,
Вся природа, как рабыня, молча
Смотрит в мои старые глаза.

Гнуло меня время и ломало.
Но, чтобы я мог тебя забыть,
Жизни мало, да и смерти мало.
Вечности не хватит, может быть.

1960

Дети огня

163. ПИКАССО

...Они видят его стоящим между двумя противоположно расположенными зеркалами, повторяющими его образ бесчисленное количество раз, причем изображения в одном зеркале выступают как его прошлое, в другом — как его будущее.

Пикассо, 1923

БАЛЛАДА ВРЕМЕНИ

Это было в начале века,
Меж Парижем и Барселоной —
Ранний час, короткая веха,
Неизвестный пункт населенный.

Зашагал он прямо с вокзала
Мимо старых церквей и башен,
Словно Время так приказало:
«Будь беспечен и бесшабашен,

Никуда не спеши. Всё будет,
Если ты по-прежнему зорок.
А меня с тобою рассудит
Кто угодно лет через сорок!»

Ненароком голову вскинув,
Он увидел на шумном рынке
Двух оборванных арлекинов,
Кувыркавшихся по старинке.

Старший был мускулист, громоздок,
Отличался хваткой бульдожьей.
Младший выглядел как подросток,
Красотой не блистал он тоже.

Но они работали храбро,
Детвору смешили на диво.
Подошел к ним художник Пабло
И промолвил весьма учтиво:

«Добрый день, господа артисты!
Может быть, такое свиданье
Нам подстроил и впрямь Нечистый
В голубом раю мирозданья!

Вам бы раньше на свет родиться,
Не житье сейчас арлекинам.
Впрочем, ради славных традиций
По стаканчику опрокинем? ..»

Вот расселись трое в харчевне,
Херес цедят, сигары курят,
Об актерской доле печальной,
О политике балагурят.

А кругом веселье и гибель,
Дым очажный в тесных жилищах,
В сотнях обликов, кто бы ни был,
Голубиная кротость нищих,

Это жизнь во всем неохватном,
Бестолковом ее прибое,
Надо смело вместить на ватман
Грязных брызгов лицо рябое.

Надо сделать лицо любое
Ломким мелом иль хрупким углем,
Чтоб оно, насквозь голубое,
Запылало сумраком смуглым.

Тут подсела к столу девчонка.
У нее глаза маслянисты,
Под гребенку стрижена челка,
На ключицах бренчат мониста.

Говорит нахалка без грусти:
«Кавалеры, привет и здрасьте!
Отвечайте, только не трусьте,
Подхожу ли я вам по страсти?»

Отвечает художник глухо:
«Не подходишь, не по карману.
Мы бедны — ты знатная шлюха,
Слишком тратишься на румяна.

Да и с виду весьма шикарна.
Топай, миленькая, отсюда!»
Но кричит она: «На пол шваркну
Вашу выпивку и посуду!

Чтобы вам не пилось, не елось,
Не жилось на свете, бандюги!»
— «Ишь какая! Хвалю за смелость, —
Знать, недаром росла на юге.

Жаль, что морда от слез распухла,
Не разжалобишь так мужчину.
Успокойся, чертова кукла.
Озорство тебе не по чину,

А истерика не по рангу.
Не срами ты публичных сборищ».
Вторглось Время в их перебранку:
«Что ты с бедной девчонкой споришь?

Спорь со мной, девятьсот четвертым.
Не последним лихим и лютым,
С самим господом, с самим чертом
Иль с любым другим абсолютом.

А не то молчи, если хитрый,
И боишься моей острастки,
И черны для твоей палитры
Моего ликованья краски.

Береги и запри их в ящик,
Чтоб не вышли из-под контроля
И в жилищах, прочно стоящих,
Потолков бы не пропороли,

Не сломали поющих скрипок,
Не будили бурь в океане...
Погляди, как стан ее гибок!
Не найдешь другой окаянней.

Береги ее, подари ей
За три су колечко из меди,
Назови ее хоть Марией
В самой вечной из всех комедий!

Я лечу над тобой, сгорая
Жарко пышущими крылами.
Вот он весь, от края до края,
Мой закат, превратился в пламя.

Моя ночь над землей Европы
Дожидается третьей стражи,
Сумасшествия высшей пробы,
Мертвых петель в крутом вираже.

Я лечу над тобой, художник.
Как шумят мои крылья — слышишь?
В день тревожнейший из тревожных
Ты мой шум на холсте напишешь.

Ты узнаешь в хохоте шторма,
В кораблекрушеньях и в битвах,
Как трехмерная рухнет форма
Для сердец, на куски разбитых!

Нет пощады и нет покоя
Тем, кто песню мою услышал.
Понимаешь, время какое,
На какую работу вышел?

Не робей! Нам обоим надо
Видеть дальше всех телескопов.
Будет в Гернике канонада.
Встанут мертвые из окопов.

Встанут рядом ярость и жалость.
Но любое на свете хрупко...
О, как робко к тебе прижалась
Некрасивая та голубка!

Как далек полет голубиный,
Как бесцелен он и бесплотен...
Но раскрыты настежь глубины
Не рожденных тобой полотен.

Не робей, силач коренастый!
Впереди крутая дорога.
Твоей жизни хватит лет на сто,
А бессмертью не надо срока».

БАЛЛАДА КАНУНА

Сергей Иваныч выбрался в Париж
К великому посту, в начале марта.
Он знал: в Париж приедешь — угоришь!
Но на горбатых уличках Монмартра

Не замечал ни грешных кабаков,
Ни женских чар, ни прочего соблазна.
Да, да, Сергей Иваныч был таков!
Он действовал в Париже сообразно

Заветной цели, выбранной в Москве.
И вот — делец, удачник, воротила
Первейшей марки — ждал недели две.
И ожиданье гостя превратило

Почти в ищейку. Нюх был обострен
До крайности. Сплошная трепка нервов!

Особенно когда со всех сторон
Явились орды коллекционеров

И знатоков. Понаторелый люд
Почуял чудака и мецената.
Мерещился им и размен валют,
И любопытство скифа — всё, что надо!

Из уст в уста молва о нем летит:
Начитан. Вездесущ. Актер. Лисица.
Зачем же он скрывает аппетит?
На что он зарится? На что косится?

А гость косится на коньяк сейчас,
И, с обстановкой свыкшись понемногу,
К обеду в черный смокинг облачась,
Шагает он с двадцатым веком в ногу.

...Двадцатый век! Мой календарь! Мой день!
Ночей моих бессонница! Ты утром
Мне биржевой составил бюллетень,
Поставил парус на корвете утлом.

Да, я богач, но не капиталист.
Я русский! Понимаешь? Это значит,
Что я не начат. Я заглавный лист
В той книге, что тебя переиначит!

Ни свят, ни грешен, но, как все они,
Слегка помешан и сосредоточен...
Найди меня в гостинице, дохни
Огнем своих чернейших червоточин, —

И я послушаюсь, пойду на риск.
Дай только знак, откуда ветер дует,
Какой сегодня Игрек или Икс
Диктует моду и над чем колдует...

Дай адрес, где живет избранник твой,
Какой глупец его рекомендует?
...И — кверху, по железной винтовой!
Восьмой этаж. Из щелей ветер дует.

Пред ним чердак. Опорные столбы
Едва мерцают в сумеречной зыби.

Стена, как лошадь, встала на дыбы,
Как мученица, вздернута на дыбе.

По всем углам навален жалкий хлам,
Листы железа и листы фанеры,
Холсты, подрамники, щиты реклам,
Разбитые гитары, торс Венеры...

И, утверждая истину и мощь
Проделанной дороги, встал у входа
Пикассо! Он встревожен, дерзок, тощ —
Земляк, наследник, правнук Дон-Кихота.

...Но что же это? Баба? Бойня? Вихрь?
Бог или бык? Или кубы и ромбы?
Обломки скал? Куски зеркал кривых?
В накрапах охры взрыв бандитской бомбы?

Чья здесь идет трагедия? А вдруг
Скрывается пророчество за этим
Твореньем сумасшедших глаз и рук?..
А вдруг вглядимся, сами же заметим

Свое вращенье вкруг земной оси?..
Сергей Иваныч в странном колебанье.
Он сам однажды — господи спаси! —
Себя узрел в провинциальной бане

Не в зеркале, а на полке́, сквозь пар,
Расползся он, как блинная опара,
Под дружный хохот банщиков и бар
Он плавал! Невесомый! В хлопьях пара...

Сергей Иваныч подавляет стон.
Уменьшен космос. Идеал развенчан.
Так мальчуган трясется за кустом
При взгляде на купающихся женщин.

Так инквизитор, может быть, глядел
Сквозь пламя на горящую колдунью.
Глядел! Рыдал! И это был предел...
И, предаваясь горькому раздумью

О всем, чему он верил до сих пор,
Молчит знаток в тоске полудремотной:

«Нет, Пабло! С вами невозможен спор.
Тем более что это очень модно. . .»

. . .В гостинице он не заснет всю ночь.
Вода бежит по трубам, лифт стрекочет.
Светает. Одеяло скинув прочь,
Как вздрогнет постоялец и как вскочит,

Как босиком он дернет трепака,
Как захохочет, фыркая под душем,
И, выпив стопку и сомлев слегка,
Как удивит гарсона благодушьем!

И ровно в девять тридцать в мастерской,
Корректен, свежевыбрит, недоверчив,
Прищурился, острит, — такой-сякой! —
Сарказмом восхищение подперчив:

«Вот это вещь. И это вещь. А то,
Простите, Пабло, так себе. А впрочем,
Наш вкус замоскворецкий — решето,
Мы вашего таланта не порочим».

В последний раз платком пенсне протер
И, подбоченясь, отступив полшага,
Пропел, рыдая, фразу, — вот актер! —
И эта фраза выгнулась, как шпага:

«Возьму я ровным счетом пятьдесят.
Мы нашу сделку финь-шампанем вспрыснем!»
Холсты на стенах всё еще висят
В молчанье равнодушно-бескорыстном,

Картинам предстоит еще ночлег
С художником на чердаке родимом.
Но дело сделано. Подписан чек.
И вот художник за табачным дымом

Всмотрелся покупателю в глаза:
«Я удивлен поступком вашим смелым,
Вы первый проголосовали ЗА».
Пикассо был едва намечен мелом

На штукатурке каменной стены.
А рядом с ним намечен покупатель.

И оба смещены и сметены
Соседством грозных контуров и пятен!

...Лети сквозь ночь, экспресс тринадцать-бис,
Дым, отрывайся напрочь и клубись,
Спать не давай, колесный лязг и скрежет,
Пока в вагонных окнах день не брезжит.

Ты слышишь, пассажир, как там внизу
Сталь голосит, вопит изделье Круппа,
Как там вверху отсрочили грозу
И молнию затаптывают грубо.

Прочти к утру «Берлинер тагеблатт»,
Припрячь бумажник, делай, что велят,
Лихой делец, сокровище везущий,
Тебя хранит от краха вездесущий.

Какой там шут в Сараеве убит,
Австрийский этот — как его? — эрцгерцог...
Летит экспресс, во все рога трубит.
Стальной цепочкой схваченная дверца

Подрагивает. Злые тормоза
Посапывают. Между тем гроза
Всё ощутимей, ближе и тревожней...
Чиновник не замедлит на таможне

Наляпать ярлыки на багаже
И, взяв под козырек, проводит чинно
В купе его степенство. Вот уже
На родине удачливый купчина.

Летят навстречу рвы, и рвы, и рвы,
Рвы и овраги, рвы и буераки.
Последние прогалы синевы
Погашены. Гроза царит во мраке.

И молния, покинув мирный кров,
Седлает вороного, ногу в стремя,
И мчит в карьер на грани двух миров,
И надвое раскалывает время.

И вот они в Москве — все пятьдесят,
Все в переулке Знаменском висят.

Хозяин Щукин, сам Сергей Иваныч,
На семь замков их запирает на ночь.

Но снится им в провалах темноты
Та молния, та самая, всё та же.
...Пройдет полвека — встретятся холсты
С ее прямым потомством в Эрмитаже.

БАЛЛАДА МОЛНИИ

Я точных дат не привожу —
Не хронику пишу,
Но к боевому рубежу
Равнение держу.

Старик проснулся в ранний час,
Когда седой рассвет
Окрасил, сумрачно лучась,
Природу в алый цвет.

Он вспомнил юные года,
Покой и непокой,
Событья, лица, города
И стены мастерской.

Он видел множество существ,
Чудовищ и божеств.
Чтобы напор их не исчез,
Потребуется жест

Его горячих, сильных рук
И зренье зорких глаз,
Палитра, и гончарный круг,
И стеклорез-алмаз.

Художник солнца ждал — и вдруг
Плеть молнии взвилась!

Такая в мирозданье мгла
И время таково,
Что только молния могла
Обрадовать его.

Она раскалывала скалы,
На высях гор плясала

И как попало высекала
Огниво о кресало.

И в блеске утренней грозы
Всё обретало мощь.
Во мглу, в долинные низы
Веселый хлынул дождь.

Смешались кобальт и краплак,
Ультрамарин и хром,
И, как от взмаха львиных лап,
Раскатывался гром.

На всем лежал тревожный след
Работы старика,
Его восьмидесяти лет
Кувалда и кирка.

Увидел яростный старик
В окалинах грозы
Весь евразийский материк,
От Эбро до Янцзы.

Увидел, восхищенья полн,
Пленен голубизной,
За плеском средиземных волн
Весь африканский зной.

Увидел вылезший из рам
Земной киноэкран.
Услышал слитный тарарам
Всех языков и стран.

А там, как белый автоген,
Сверкал во весь накал
Свет от бесчисленных легенд,
Бесчисленных зеркал.

Там в душных джунглях бил тамтам,
Там был сезон погонь,
За чернокожим по пятам
Расистский полз огонь.

Фашистский целился капрал
В синь голубиных крыл,

Руками грязными их брал,
По матери их крыл.

Бесчестил девушек любых
Под стук тупых литавр
Свирепый человекобык,
Голодный минотавр.

И это был двадцатый век!
Но не закрыл глаза,
Увидел старый человек,
Что в мире есть гроза.

Ей не было все эти годы
Ни отпуска, ни льготы.
Она стерпела все тяготы
Солдатской непогоды.

Ее сферическое тело
К художнику влетело.

Живая Молния, как встарь,
Сказала старику:
«Восстань. Нацелься. Бей. Ударь.
Зажги. Будь начеку».

И, белым турманом влетя
На белый грунт холста,
Резвилась Молния-дитя,
Смеялась неспроста.

И он любимицу позвал,
К груди ее прижал
И на холсте нарисовал
Для добрых парижан.

Был голубок изображен,
Рассветом озарен,
И на косынках юных жен,
И на шелках знамен.

То был привычный для руки
Короткий, легкий взмах.
Он облетал материки,
Он жил во всех домах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нет, здесь не может быть конца.
Необгонима скорость света.
Вся световая эстафета
В руках художника-гонца.

Он должен, должен, должен брать
Барьеры, пропасти, преграды,
И никакой не ждать награды,
И никогда не умирать.

Здесь на подрамниках еще
Так много непросохших пятен.
Незавершен и непонятен
Весь мир, увиденный общо.

От оголенных проводов
Бьет, как бывало, сила тока.
Здесь нет конца и нет итога.
Художник в дальний путь готов.

1962

164. ЦИРКАЧКА

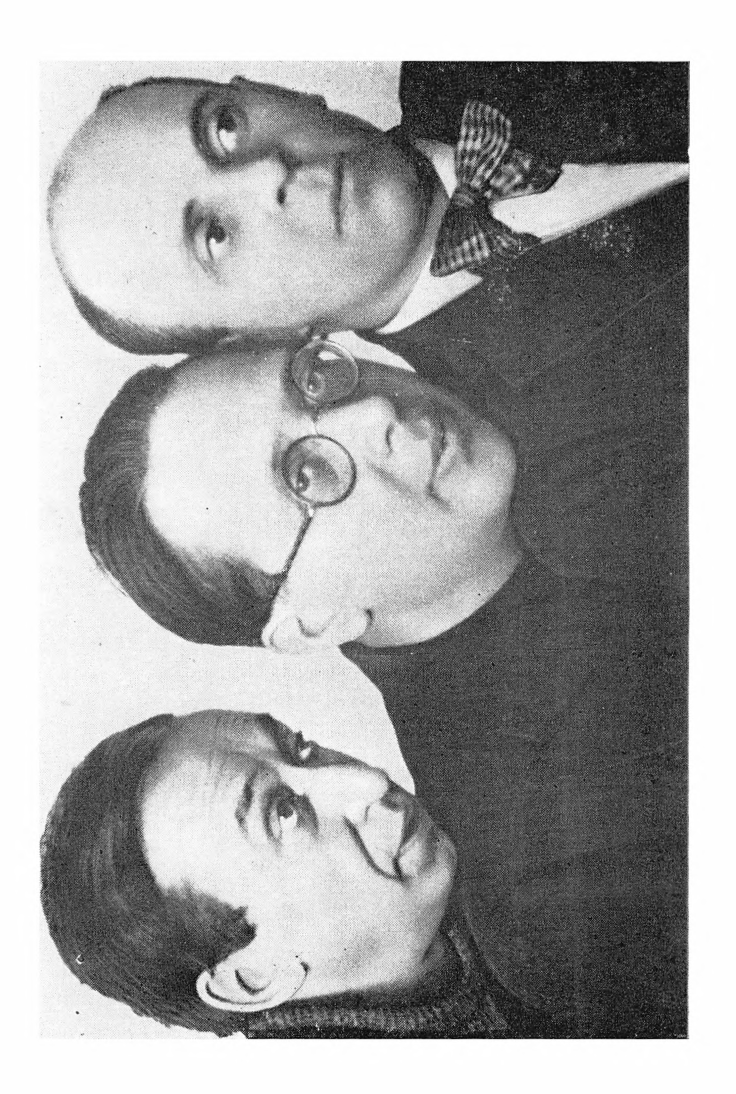
Одно уловить я успел
Сквозь музыку ветреной ночи:
Что будет наш общий удел
Мышиного визга короче.

П. А. 1915

Всё помню про тебя, всё знаю,
Встречал в Москве и за Москвой.
Моя любовь живет сквозная,
Как ворон восьмивековой,

И вот она явилась снова,
И хмуро смотрит на меня —
Живая из-под навесного,
Косоприцельного огня.

И лихачи на шинах дутых
Кричат отчаянно: «Па-ади!»



А для раздетых и разутых
Одна лишь гибель впереди.
А сонный ванька с тощей клячей,
Храпящей из последних сил,
Трусит к пропащей и гулящей,
Как сорок лет назад трусил...
И всё черней и бесприютней
Гуляет мокрая весна.
И дождь бренчит разбитой лютней,
И люди маются без сна.

Нет, есть ночлег у всякой твари,
Бог и удачу ей пошлет.
Один лишь Гоголь на бульваре
Не спит столетье напролет.

Один Кощей мошну считает
В пустом своем особняке.
Одна лишь ночь бесследно тает,
От гибели на волоске.

И я, глупец, в ту ночь сырую
Не спал, как Гоголь иль Кощей.
Я думал, что тебя ворую
У богачей и лихачей.

А ты, Циркачка, гибла молча,
Ты как река в меня текла
И сразу исчезала в толще
Чернильно-черного стекла.
Ты, Катя Корина, Эстрелла
(В афише названная так),
Угрюмо на меня смотрела
И усмехалась: «Ишь чудак!
Студент небось или приказчик?
Да кто бы ни был, шут любой,
Я, может быть, сыграю в ящик,
Но не желаю жить с тобой».

Я отвечал: «Напрасно гонишь!
Брось, Катя, выслушай, молю,
Поедем в Нижний иль в Воронеж,
Я рожу вымажу в мелу.

И я могу быть акробатом
Тебе под пару и под стать,
И на потеху всем ребятам
Всех клоунов пересвистать!
Так, право, как же нам не спеться!
Не помешает нам никто
Лететь друг к другу с двух трапеций
Под рваным тентом шапито
Или в двойном сальто-мортале
Выламываться без труда!»

... Мы встретились в глухом квартале
В тот предрассветный час, когда
Любовь похожа на убийство,
А дом, в котором люди спят,
Похож на живопись кубистов
Или на атомный распад.

В тот час, когда все кошки серы,
Все фонари, уже чадя,
Кладут на улицы и скверы
Штриховку черного дождя.

Там, в этих узких коридорах,
У стольких запертых дверей,
О, как он был мне люб и дорог,
Твой шепот: «Где же ты? Скорей!»

И на диване, слишком жестком
Для жалкой встречи двух живых,
Перед смутившимся подростком
Была ты — музыка и вихрь.

О, вихрь и музыка! Солги мне.
Хотя бы раз один солги
Губами бледными, сухими,
Руками смуглыми, нагими,
Пока за окнами ни зги.

Пока чадит, треща, лампада
Под черным образом в углу,
Пока не рассветает — падай,
Хоть на пол, только бы во мглу!

Пока всё ближе и блаженней,
Жизнь торопя и жизнь губя,
Не кончится самосожженье
Твое со мной, внутри тебя...

... Меж тем окраины вселенной
Уже громовый гул потряс.
Перед Спартанскою Еленой
Пал как подкошенный Парис.

И парус, полный вешней бури,
Умчал обоих в Илион.
...Меж тем в любом полночном баре,
По всей земле, куда ни глянь,

На Пиккадилли, на Арбате,
Под ливнем иль на сквозняке
Ждут ужасающих событий
Бездомные призывники.

...Еще здесь будут, будут войны.
Травой траншеи зарастут.
Наш праздник лиственный и хвойный
Поленницами ляжет тут.
Но, бурей будущих зачатий
За гибель юных заплатив,
Жизнь вспоминает, как начать ей,
Чем кончить прерванный мотив.
Он на высокой ноте длится,
Всю ночь, всю вечность длится — вплоть
До комнаты в ночной столице,
Где воплощенья ищет плоть.

... И мы сплелись в немой раскачке,
В той, что не нами начата.
Не ты одна, а все циркачки
С трапеций падают в ничто.

В коротком этом настоящем
И тени будущего нет.
И, словно грузчики, мы тащим
Всё притяженье всех планет.

Мы, как и все мастеровые,
Все работяги-циркачи,

Сегодня встретились впервые
И без следа сгорим в ночи.

Но в эту ночь мы двое только
В отчизне юношеских снов
Обречены погибнуть стойко,
Чтобы рождаться вновь и вновь.

1962

Четвертое измерение

165. ВРЕМЯ ГОВОРИТ

Сказка или правда, всё равно.
Началась она давным-давно,
С той поры, как взрослым детство снится,
С той поры, как первая денница
В окнах человечества зажглась.
В тот же миг вниманье детских глаз
Стало пониманьем человечьим.
Это Я в грядущее гряду
И оно становится прошедшим.
Это Я само себя пряду.
Кто Я? Пряжа, Прялка или Пряха —
По своей дороге Я веду
Всех, кто дышит, даже вертопраха.

Да и ты не пожалел затрат,
Скорость света возводил в квадрат,
Умножал на массу, вел погоню
По следам сгоревших космогоний,
Видел на поверхности планет
Города, которых больше нет,
Различил в картине микромира
Бег частиц и колебанья волн.
Это Я, твой Кормчий и Кормило,
Сквозь тебя стремило утлый челн!
Я люблю веселый беспорядок,
Я пляшу, когда твой разум полн
Молниями формул и догадок!

Что же, старой дружбе вопреки,
Времени ты не подашь руки?
Или стал настолько опрометчив,
Что упал, коленки искалечив,
И забыл свой юношеский жест
Пред лицом карающих божеств?
Отвечай им вызовом открытым!
Чище, легче, проще мастерство,
Веселей и взвинченнее ритм,
И в дорогу! Только и всего!
Вплоть до рубежей воображенья,
До исчезновенья твоего!

. . . .

(В следующей жизни — продолженье.)

⟨1963⟩

166. ЮНОСТЬ ГОВОРИТ

У диспетчера работа
До седьмого пота,
Бой часов, гуденье гонга,
Скоростная гонка,

Скоростная эстафета,
Красный глаз рассвета.
Но уже встает диспетчер,
Вызвал желтый вечер,

Звезд рассыпал многоточья
В синей книге ночи,
Гонит тучи, пенит волны,
Рвет зигзаги молний.

Его лучшие подруги —
Золотые руки,
Слуги, ждущие острастки, —
Книги, струны, краски.

Кто ж он, выдумщик занятный,
Наш диспетчер знатный,
Шахматист или артист он,
Славен иль освистан?

Стар он или молоденек,
Сколько стоит денег,
И каких достоин премий
Наш диспетчер — Время?

Разглядеть ученый тщится,
Разгадать боится.
Время в ус не дует, мчится,
От нас не таится.

Ничего нам не диктует,
Не рекомендует,
Старым бабам не колдует —
Мчится, в ус не дует!

А всерьез оно иль шутит, —
Кто ж его рассудит!
Время было, есть и будет.
Было. Есть. И будет.

⟨*1963*⟩

167. СТАРИК ГОВОРИТ

Я тебя напоил бы,
Летящее Время,
Всем вином, что бродило
В земных погребах,
Заласкал бы тебя,
Как рабыню в гареме,
И остался бы сам
В твоих верных рабах.

Только не улетай,
Мое Время! Останься!
Мое быстрое, срочное,
Остановись!
На любой, на последней
Из мыслимых станций,
Где глазам открывается
Звездная высь,

Где меж сосен тропинка
Змеится куда-то
И зовет пешехода
К жилому огню...
Отдохни у огня,
Календарная дата,
Не гони меня дальше,
Как я не гоню.

1962

168. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ГОВОРЯТ

Что ты нам сказало?
Что нам приказало?
Зачем в темноту театрального зала
Ты, Время, ударило прожекторами?
Мы сами участвуем в собственной драме,
Мы сами ее начинаем,
Но завтра
Не кончим, —
Пускай приготовится автор!

Молчишь?
Ты достаточно долго молчало.
Куда же ты мчишь?
Начинайся сначала!
Все прошлые дни и года возврати нам.
Довольно ты числишься необратимым,
Ломаешь чертоги,
Едва возведешь их,
Стираешь итоги,
Едва подведешь их!

Нам мало одной только жизни прекрасной,
Опасной и страстной,
Хотя и напрасной!
Нам мало, что собственной жизненной жаждой
Посмертно реабилитирован каждый!
Нам мало,
Что ты черепа нам ломало
И вновь поднимало!
Нам этого мало!

Зажги нам глаза миллионами молний,
И клетки грудные озоном наполни,
И в ноздри ударь резедой и левкоем!
Одним только не награждай нас — покоем!
Но всей невесомой твоей каруселью
Верни нашу молодость на новоселье!

Так будет —
О, только бы часа дождаться!
Так будет —
Иначе не стоит рождаться!
Так будет,
И это пребудет вовеки
Биением пульса в любом человеке.
Он старую тяжбу со смертью рассудит
И мертвых разбудит.

Время:

Так будет. ТАК БУДЕТ.

1962

169. НЬЮТОН

Гроза прошла. Пылали георгины
Под семицветной радужной дугой.
Он вышел в сад и в мокрых комьях глины
То яблоко пошевелил ногой.

В его глазах, как некое виденье,
Не падал, но пылал и плыл ранет,
И только траектория паденья
Вычерчивалась ярче всех планет.

Так вот она, разгадка! Вот что значит
Предвечная механика светил!
Так первый день творения был начат.
И он звезду летящую схватил.

И в ту же ночь, когда всё в мире спало
И стихли голоса церквей и школ,
Не яблоко, а формула упала
С ветвей вселенной на рабочий стол.

Да! Так он и доложит, не заботясь
О предрассудках каменных голов.
Он не допустит сказок и гипотез,
Все кривды жерновами размолов.

И день пришел. Латынь его сухая
О гравитации небесных тел
Раскатывалась, грубо громыхая.
Он людям досказал всё, что хотел.

И высоченный лоб и губы вытер
Тяжеловесной космой парика.
Меж тем на кафедру взошел пресвитер
И начал речь как бы издалека.

О всеблагом зиждителе вселенной,
Чей замысел нам испокон отверст...
Столетний, серый, лысый как колено,
Он в Ньютона уставил длинный перст.

И вдруг, осклабясь сморщенным и дряблым
Лицом скопца, участливо спросил:
«Итак, плоды осенних ваших яблонь
Суть беглые рабы магнитных сил?

Но, боже милосердный, что за ветер
Умчал вас дальше межпланетных сфер?»
— «Я ДУМАЛ, — Ньютон коротко ответил, —
Я к этому привык. Я думал, сэр».

⟨1962⟩

170. В МОЕЙ КОМНАТЕ

Геннадию Фишу

В моей комнате, краской и лаком блестя,
Школьный глобус гостит, как чужое дитя.
Он стоит, на косую насаженный ось,
И летит сквозь пространство и время и сквозь
Неоглядную даль, непроглядную тьму,
Почему я смотрю на него — не пойму.

Школьный глобус. Нехитрая, кажется, вещь.
Почему же он так одинок и зловещ?
Чтобы это понять, я широко раскрыл
Мои окна, как шесть серафических крыл.

Еще сини моря, и пустыни желты,
И коричневых гор различимы хребты.
Различима еще и сверкает огнем
Вся Европа, бессонная ночью, как днем.
Вся вмещенная в миг, воплощенная в миф,
Красотою своей мудрецов истомив,
Финикийская девочка дышит пока
И целует могучую морду быка.
Средиземным седым омываемая,
Обожаемая, не чужая — моя!

Школьный глобус! Он школьным пособием был,
Но прямое свое назначенье забыл —
И завыл, зарыдал на короткой волне,
Телеграфным столбом загудел в вышине:
«Люди! Два с половиной мильярда людей,
Самый добрый чудак, самый черный злодей,
Рудокопы, министры, бойцы, скрипачи,
Гончары, космонавты, поэты, врачи,
Повелители волн, властелины огня,
Мастера скоростей, пощадите меня!»

1962

171. ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ...

Все мои колыбели и школы дрожат,
Все берлоги зверюшек, затоны рыбешек
Уже знают, что срок их дыхания сжат
Между двух громыхающих где-то бомбежек.

Всё, что есть. Всё, что было и будет. Все рвы
Сотни раз перепаханных кладбищ. Вся жалость
К трепетанью листвы и к лучам синевы —
Только на волоске это раньше держалось.

Ты, нагая наяда в расселинах скал,
Чьим глазам промелькнула ты легкою тенью?

Для кого, Прометей, ты огонь высекал?
Чем докажешь ты, Ньютон, закон тяготенья?

Ты, лопух, ты, крапива, ты, чертополох,
Как вы смели тесниться по краю оврага?
Как смогла ты запениться в смене эпох,
Всех моих новоселов пьянящая брага?

Вы, мои океаны и материки,
Неужели и вам предстоит этот финиш?
Ты, творящая ласка рабочей руки,
Неужели так скоро меня ты покинешь?

1962

172. ВСТАНЬ, ПРОМЕТЕЙ!

Встань, Прометей, комбинезон наденъ,
Возьми кресало гроз высокогорных!
Горит багряный жар в кузнечных горнах,
Твой тридцативековый трудодень.

Встань, Леонардо, свет зажги в ночи,
Оконце зарешеченное вытри
И в облаках, как на своей палитре,
Улыбку Монны Лизы различи.

Встань, Чаплин! Встань, Эйнштейн!
Встань, Пикассо!
Встань, Следующий! Всем пора родиться!
А вы, глупцы, хранители традиций,
Попавшие как белки в колесо,

Не принимайте чрезвычайных мер,
Не обсуждайте, свят он иль греховен,
Пока от горя не оглох Бетховен
И не ослеп от нищеты Гомер!

Всё брезжит, брызжет, движется, течет
И гибнет, за себя не беспокоясь.
Не создан эпос. Не исчерпан поиск.
Не подготовлен никакой отчет.

1962

Подмосковная осень

173. САД

Что творится в осеннюю ночь,
Как слабеют растенья сухие,
Как, не в силах друг дружке помочь,
Отдаются на милость стихии!

Как в предсмертном ознобе, в бреду
Кверху тянутся пальцами веток,
И свою понимают беду,
И взахлеб ее пьют напоследок!

Но редеет ненастная мгла.
Обозначились контуры жизни —
Там, где изморозь к утру легла,
Где свершились цветочные тризны.

А вселенная строит свой дом,
И лелеет живых, и взрослеет,
И хмелеет в тумане седом,
И в былом ничего не жалеет!

20 сентября 1958
Пахра

174. СОСНЫ

Вдоль просеки лесной, в тяжелом зное,
В шмелином звоне, в куреве смолы
Лежит оно, всё воинство честное,
Безрукие сосновые стволы.

Вчера — подростки в сумраке зеленом
Тянулись вверх, к густой голубизне,
И снились им, смиренным и влюбленным,
Подружки пальмы в южной стороне.

Вчера взахлеб впивали жадной хвоей
Существованья терпкое вино
И, выйдя на заданье боевое,
Все, как один, стояли заодно.

Лежат вповалку их нагие трупы.
Надолго смертный растянулся час.
Они еще не мачты и не срубы.
Вторая жизнь для них не началась.

1958

175. АНТЕННА И СКВОРЕШНЯ

Два века — нынешний и прежний —
Горды соседством и собой, —
Антенна рядом со скворешней
Над подмосковною избой.

Но, протянув друг дружке руки,
Две разных палки врозь торчат.
Ждут телевиденья старухи,
А внуки пестуют скворчат.

Мир в подмосковной телевиден.
Но пусть не ропщут мудрецы, —
Здесь кругозор иной завиден
И рвутся за море скворцы.

Скворцы — любители простора —
Стареть в скворешнях не хотят.
А вслед за ними очень скоро
Мальчишки в космос полетят.

1961

176. КАК ПЕЙЗАЖ

Захламлен цементом и тесом,
Завален песком и золой,
До ночи не мыт и не чесан
Весь этот пейзаж нежилой.

Лишь тоненький, выгнутый вправо,
Белесый, чуть видимый серп
Встает над вороньей оравой,
Над сучьями вымокших верб.

Он скоро серебряным будет,
Потом превратится в луну
И милую вашу разбудит,
Прильнув, как влюбленный, к окну.

Он проще всего и прелестней
И чище всего и ясней.
Он сам начинается песней,
Но он не кончается с ней.

Так вечная, прочная сила
Пробилась в сырую листву,
О радости заголосила
И смолкла в далеком АУ.

1961

177. ПАМЯТЬ

Что память!.. Кладовая. Подземелье.
Жизнь как попало сброшена туда.
Спят на приколе мертвые суда,
Недвижные, не сдвинутые с мели.

Усмешка друга мертвого. Похмелье
В чужом пиру. Дороги. Города.
Театры. Книги. Таинство труда,
Который мы закончить не сумели...

Как много шлака в памяти слежалось,
Окаменев и к месту прикипев.
И лишь один нам слышится припев, —

Одна поет пронзительная жалость,
Охваченная до корней волос
Всем, что забылось, всем, что не сбылось!

1958

178. БЬЕТ ОДИННАДЦАТЬ

О, как я помню молодость, мгновенье до рассвета —
Кораблик в море времени таинственного цвета,
Когда жилая комната забыла очертанья,
Лишь окна приготовились и розовеют втайне.
О, как я помню молодость, как день ее последний
Напоминает сумрак мой шестидесятилетний.

Не сделано, не кончено, не собрано, не спето —
Кораблик в море времени, предчувствие рассвета!
Не набрано, не сверстано, не скроено, не сшито,
Не считано, не мерено. И нет еще души той,
Которая поймет меня, полюбит иль погубит,
Едва напиток огненный нечаянно пригубит.

Но где ж она скрывается, над чем она смеется,
Зачем не отзывается и в руки не дается?
Что видится, что чудится, какой обещан праздник,
Какая быль не сбудется, какая небыль дразнит?
Иль некуда ей двинуться? Иль некуда деваться?
... Бьет десять. Бьет одиннадцать.
Потом пробьет двенадцать.

11 января 1961

179. ЖИЗНЬ ПОЭТА

Владимиру Соколову

Что такое жизнь поэта,
Чем богата, чем бедна,
Чем загадочна она?
Жизнь поэта, та иль эта,
Мной испытана до дна.

Семь моих десятилетий —
Сон и бденье, лень и труд,
Все они со мной умрут.
Светлячок в ночном балете
Гасит бедный изумруд.

И от летней ночи брачной,
От снованья легких звезд
Остается червь невзрачный
В закромах вороньих гнезд.

Так и мне, огня отведав,
Остается, видит бог,
Стать добычей стиховедов,
Им попасться на зубок.

Горько? Может быть. Не знаю...
В чьей-то юности чуть свет
Вновь подхвачена сквозная —
Лучшая из эстафет.

Пусть она несется дальше
Без оглядки на часы,
Без раскаянья, без фальши,
В блестках соли и росы.

1961

180. СВИРЕПЫЙ РАЙ

О, как ты радуешься, Жизнь,
Ненасытимому цветенью!
О, как мелькаешь легкой тенью
Мгновенных свадеб, беглых тризн!

О, как зовешь в свирепый рай
Всех первых встречных-поперечных,
Всех подопечных, всех увечных
Поишь надеждой через край!

В твоей упряжке четверной
Земля, Огонь, Вода и Воздух
Несутся в молниях и звездах,
Дорогу вытянув струной.

И колокольчик их звенит,
От тяготенья независим.
И вот по непроезжим высям
Четверка ринулась в зенит.

И вот летит вниз головой
В седом космическом просторе
И куполам обсерваторий
Сигнал отбрасывает свой.

И снова рушится с крутизн...
А ты зовешь, не отзываясь,
Ты отдаешься, не сдаваясь, —
Ты, Ненаглядная, ты, Жизнь!

1958

Как это ни печально

Поздравьте меня, сеньоры: я уже не Дон-Кихот из Ламанчи, но Алонзо Кихано, прозванный Добрым.

Сервантес

181. КАК ЭТО НИ ПЕЧАЛЬНО

Как это ни печально, я не знаю
Ни прадеда, ни деда своего.
Меж нами связь нарушена сквозная,
Само собой оборвалось родство.

Зато и внук, и правнук, и праправнук
Растут во мне, пока я сам расту,
И юностью своей по праву равных
Со старшим делятся начистоту.

Внутри меня шумят листвой весенней,
И этот смутный, слитный шум лесной
Сулит мне гибель и сулит спасенье
И воскресенье каждою весной.

Растут и пьют корнями соль и влагу.
А зимние настанут вечера —
Приду я к ним и псом косматым лягу,
Чтобы дремать и греться у костра.

Потом на расстоянье необъятном,
Какой бы вихорь дальше их ни гнал,
В четвертом измеренье или в пятом
Они заметят с башен мой сигнал,

Услышат позывные моих бедствий,
Найдут моих погасших звезд лучи, —
Как песни, позабывшиеся в детстве,
В коротких снах звучащие в ночи.

⟨1963⟩

182. Я УБЕЖДАЮСЬ НЕПРЕСТАННО

Я убеждаюсь непрестанно,
Что мир еще загадок полн:
Изгибом девичьего стана,
Сверканьем молний, пляской волн.

Но безрассудно и бесплодно
Сжигаю честный черновик
За то, что к трезвости холодной
Он недостаточно привык.

Что ж! Значит, дальше не поедем.
Разорван беглый наш союз.
С тетрадью, как цыган с медведем,
Я на распутье остаюсь.

Искусство делают из глины,
Гаданья, гибели, огня.
Я данник этой дисциплины,
Не осуждайте же меня!

1963

183. СТАРЫЙ СКУЛЬПТОР

(1843—1963)

Пришли не мрамором, не бронзой, —
Живые ринулись на смотр —
В монашеском обличье Грозный,
В отваге юношеской Петр.

Два зеркала, два разных лика,
Два крайних возраста твоих.
А за окном парижский вихрь
Не спит всю ночь и пляшет лихо.

Фиалки дышат как весна,
Грохочут фуры и фиакры.
Нет, не добьешься больше сна,
Не отобьешься от подагры.

Иль, может, вправду на покой,
В последний путь на катафалке?
Там, что ни май, цветут фиалки,
А глина вечно под рукой...

Но, полон злобы дня насущной,
Тот — не замеченный в углу,
Насмешливый и непослушный —
Сел на скалу, глядит во мглу,

Упер в коленки подбородок,
Не откликается на зов.
Он тоже вышел из низов
И горд, как всякий самородок.

Он не по климату одет
И выглядит пронырой тертым.
Прости, что вмешиваюсь, дед,
Свожу тебя с твоим же чертом!

Ты с этим малым подружись,
Стяни ремень возможно туже
И начинай сначала ту же,
Хоть и нелегкую, а жизнь!

Гол как сокол, небрит, неистов,
Ты повстречаешь молодежь,
Рассмотришь абстракционистов
И Стасова к ним приведешь...

Смеешься? Неудобно, дескать,
Оставить свой привычный круг,
Быть академиком — и вдруг...
Что за нужда! Какая детскость!

Ты прав, старик, семижды прав.
Прости, что, не считаясь с датой,
Простую вежливость поправ,
Я вздумал звать тебя куда-то.

Прости! Я позже родился,
И в давке этих людных улиц
Мы на полвека разминулись,
А встретились на полчаса.

Твой возраст стодвадцатилетний
Не станет старше всё равно.
До скорой встречи, до последней...
Я занял очередь давно.

1963 (?)

184. 1923—13 V — 1963

Зое

Идя ко сну, Любимая, ты вспомнишь,
Как ровно сорок лет назад вагон
Нас приютил и времени в обгон
Умчал обоих в северную полночь.
Прижавшись лбами к потному стеклу,
Следили мы, как рушились туннели,
Как семафоры, станции и ели,
Рвы и мосты шарахались во мглу.

Два существа, неведомых друг другу,
Два разных мира. Но одна весна
Лишила нас вплоть до рассвета сна
И нам обоим протянула руку.
И это было высшим образцом
Ее благоволенья и вниманья.
Вот почему в предутреннем тумане
Сияла ты смеющимся лицом.

Двадцатилетняя! Ты не могла ведь
Себе представить будущее. Нет
Такого гороскопа у планет,
Чтобы две наши жизни озаглавить.

Летел вагон. Он пробивал с трудом
Свою дорогу сквозь начало жизни,
Он преломлялся в этой мутной линзе.
Но хлынул светом в будущий наш дом.

А всё, что было между ТЕМ и ЭТИМ —
Молчанье мертвых, слитный гул труда,
Театры, книги, встречи, города, —
Мы как гостей сегодня утром встретим.
Пускай войдут и сядут вкруг стола.
Любимая, встречай их у порога.
У них была различная дорога,
Но не напрасно к нам их привела.

И, как когда-то в середине мая,
В немыслимой голубизне весны
Сбываются несбыточные сны
И речь звучит, открытая, прямая,
Единственная стоящая: — Верь
В огромность жизни, в завтрашнее утро —
И весело, отчаянно и мудро
Навстречу будущему. Настежь дверь!

1963

185. ОЛЬГЕ БЕРГГОЛЬЦ

Знаешь, Ольга Федоровна, Оля,
Как тебя угадывали мы
В ледяном и звездном ореоле
Той блокадной гибельной зимы,

Как твой голос в буре орудийной
Был не только голосом твоим,
Этот юный голос лебединый,
Равный всем событьям мировым?..

Он влетал как молния и ветер,
Говорил с историей на ТЫ
И мужское обожанье встретил
На постах от Ладоги до Мсты.

Чудо это было? Нет, не чудо!
Это с нами грелась у костра

Женщина, пришедшая оттуда,
Чья-то дочь, невеста иль сестра.

Женщина. Одна из многих женщин.
Ты была и нашей и ничьей.
Не превознесен, не преуменьшен
Вещий смысл твоих прямых речей.

С той поры и дни прошли и годы,
Целый век и — мановенье век.
И опять ни отдыха, ни льготы.
Чист и честен юный человек.

И опять полны тугого гуда
В Угличе твоем колокола.
Чудо это? Верно, это ЧУДО.
Только ты свершить его могла.

И Дневные Звезды загорелись.
Чтобы слабый свет их уберечь,
Старше стала женственная прелесть
И моложе воинская речь.

Чем захочешь — речью иль молчаньем,
Но, когда зовешь ты в правый бой,
Как не услыхать однополчанам,
Не пойти на приступ за тобой!

1962

186. К ДИСКУССИИ О РЕАЛИЗМЕ

Разглядите на ветках — чертей своенравных,
Сквозь трехмерное — четырехмерные скважины,
Например, на пяти проводах телеграфных
Воробьи, словно нотные знаки, насажены.

Что за музыка именно в эти секунды
Мчится срочная — императрица иль пленница?
Что за ритм у нее — прихотливый иль скудный,
Подчиняется автору иль ерепенится?

Так поэзия не умещается в прозе,
До краев переполнена волнами музыки.

И расселись, как нотные знаки предгрозья,
На ее проводах воробьи-карапузики.

Воробьи — это присказка, притча, причуда,
Лжесвидетели предгрозового безмолвия.
Дайте срок, реалист, — еще брызнут оттуда
Сногсшибательные, многовольтные молнии!

Дайте срок! .. Вот внезапно оно и разверзлось!
Но отсюда мораль не дерзка, не задириста.
Потому что в поэзии дерзость не в дерзость,
Дважды два не четыре, да и не четыреста.

Мы на счетных костяшках не вычислим точно
Золотого запаса наличного этого:
Он над сорной травой, над трубой водосточной
Поднимается кверху струей фиолетовой.

Но не с целью ученой в статье отвлеченной —
В настоящем огне попытайтесь сгорите-ка!
. . . .
Шапку в зубы и в дверь! И, вздохнув облегченно,
Со всех ног удирает ученая критика!

⟨1964⟩, ⟨1969⟩

187. ХУДОЖНИКИ

Я у многих художников спрашивал,
Как далось им искусство вначале.
«Не касайся отчаянья нашего! —
Так художники мне отвечали. —

Это не было встречей с возлюбленной,
Ни отвагой, ни негой, ни вьюгой,
А зачеркнутой накрест, загубленной,
Лишней, зряшной и грешной потугой.

Даже не было краскою масляной —
Только потом и злыми слезами,
Только чьею-то злобной напраслиной,
Возведенной на наши дерзанья.

Загляделись мы в звездное небо ли
Или в грязные лужи свалились, —
Кем бы ни были, молоды не были,
Только к старости развеселились!»

У художников юность не славится,
Не приходит, смеясь и танцуя,
И не кажется людям красавицей,
И сама красота не к лицу ей!

⟨1964⟩

188. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не жалей, не грусти, моя старость,
Что не слышит тебя моя юность.
Ничего у тебя не осталось,
И ничто для тебя не вернулось.

Не грусти, не жалей, не печалься,
На особый исход не надейся.
Но смотри — под конец не отчайся,
Если мало в трагедии действий.

Ровно пять. Только пять!
У Шекспира
Ради вечности и ради женщин
Человека пронзает рапира,
Но погибший победой увенчан.

Только эта победа осталась.
Только эта надежда вернулась.
В дальний путь снаряжается старость.
Вслед за ней продолжается юность.

⟨1964⟩

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Всюду беда и утраты.
Что тебя ждет впереди?

Александр Блок

1966 — 1968

189. ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ

Что бы ни было, — встав от сна,
Настежь окна в стужу рассвета.
Неужели это весна
Не по климату разодета?

Синий снег ноздреват и рыхл.
Синий воздух из легких выжат.
Только время на шестерых
Шестернями своими движет,

Жаркой кровью стучит в виски,
Поднимает кверху стропила.
И пока не видать ни зги —
Равноденствие наступило!

Как от спички вспыхнул костер,
Розоватым облаком брезжа.
Хоровод девяти сестер
Закружился на побережье

Наших скованных льдами вод
В нашей зимней Гиперборее...
Девяти сестер хоровод
Всё безумнее, всё быстрее.

Разве девять? За столько лет
Больше тысячи развелось их:
Целый звездный кордебалет
Босоногих, простоволосых...

Клио прячет свою скрижаль.
Плачет гордая Мельпомена.

Терпсихора — как это жаль! —
Пляшет бешено современно...

Обернулась бы хоть одна,
Хоть на миг один да осталась!
. . . .
Неужели это весна?
Музы крикнули:
«Это старость...»

18 марта 1964

190. ИЮЛЬ 1966

Красный закат предвещал на завтра
Свадьбы, рожденья, тризны.
«Как же мне быть?» — обратился автор
К необгонимой жизни.

И услыхал он в ответ: «Не сетуй,
Семьдесят лет отстукав,
Но услаждайся лучше беседой
В обществе мудрых внуков.

Сядут за круглый стол математик,
Летчик, скрипач, геолог.
Если на слове вздумал поймать их,
Будет ваш спор недолог.

Гости уйдут, на тебя не глядя,
И посмеются, выйдя.
Сам же останешься ты внакладе
И в неприглядном виде.

Лучше выслушай их смиренно:
Вот он — сквозь дни и годы
Мчится, поет волшебной сиреной
Ветер лётной погоды!

Влажный туман не досуха выжат,
Огненный спирт не допит.
Тягой миров гипотеза движет,
Перегоняет опыт».

Так, не нуждаясь ни в чьей рекламе,
Не дожидаясь премий,
Бьет в потолок вселенной крылами
Сверхмолодое время.

К дальним звездам, тайной повитым,
В путь, который неведом!..
Так, не красуясь надменным видом,
Внуки простятся с дедом.

Внукам я боли своей не выдам,
Не надоем печалью
И, не красуясь надменным видом,
В темную ночь отчалю.

Да ведь и ночь не черна как сажа,
В сердце гвоздем не вбита!
Всё остальное — деталь пейзажа,
Мелочь жилого быта.

1966 (?)

191. СВОБОДЕН ОТ ПОСТОЯ

Вот свободен мой дом от постоя,
От налета бессонниц и снов.
Я ушел и жилище пустое
Запираю на крепкий засов.

Я избавлен от раннего пыла,
От всего, что звенело и жгло,
Что мешало дышать, и слепило,
И ложилось на жизнь тяжело.

Что здесь было, чего не бывало,
Что исчезло в огне и в дыму,
Что отыскано после обвала?
Я с собой ничего не возьму.

Чья когда-то звезда разблисталась,
Чья парабола — чье торжество?

Где три четверти века, где старость?
Я с собой не возьму ничего.

Пусть забрезжит ненастное утро,
За звездою погаснет звезда.
Я отчалю на лодочке утлой.
Только вечность со мной навсегда.

Апрель 1965

192. НА ЧТО МНЕ?

На что мне темных чисел значенья,
На что мне нравоученья басен,
На что увлеченья и развлеченья,
Когда я музыкой опоясан?

Мой век не долог. Мой час не краток.
Мой мир не широк. Мой дом не тесен.
Пускай же царствует беспорядок
В случайном возникновенье песен.

На пять линеек не разместишь их,
Не отопрешь их ключом скрипичным,
Не зарифмуешь в четверостишьях,
Не пригодится застольный спич им.

Они в луче, как пылинки, пляшут
И, как гнилушки, свет излучают,
Статей не пишут, земли не пашут,
Беды не чуют, счастья не чают.

Я затесался в их птичью стаю,
Лечу за ними возможно дальше,
И свой недолгий век коротаю,
И сам себе не прощаю фальши.

1966

193. АКТЕР

Теодору Лондону

1

Ну вот и молодость прошла!
А хочется начать сначала,
Чтобы по всем дорогам мчало,
И ливень лил, и вьюга жгла;

Чтобы по зимнему шоссе
Шли пятитонки фронтовые,
Увиденные, как впервые,
В первоначальной их красе;

Чтоб сгоряча и впопыхах,
Во мгле фанерного барака
Шли, как мальчишеская драка,
Агитки в прозе и в стихах;

Чтобы комедия пестро
Вела к развязке ровно в полночь
И кончился удачей полной
Безумный день для Фигаро...

Других ролей я не сочту.
Они — как волн соленых пена —
Одна другую постепенно
Выталкивали в пустоту...

Но есть одна — дороже всех,
Загадочная и простая,
С художниками вырастая,
Сулит им радость и успех.

Ее не знают назубок,
Не учат в обществе партнеров, —
Нет, у нее капризный норов,
А смысл возвышен и глубок.

Названье этой роли — Жизнь!
Противница малейшей фальши,
Сама подскажет, что в ней дальше!
А взялся за нее — держись.

2

Я, кажется, вычитал сказку из книг,
А может быть, вспомнилось детство.
Начнем же, товарищ мой и ученик,
Попробуем в сказку вглядеться!

Мерцает кирпичная кладка стены.
Пуста и не прибрана сцена.
Но реют над ней благородные сны,
А полночь всегда драгоценна.

Начнем же, товарищ! Войди и окинь
Глазами гостей Капулетти.
Здесь некогда Гаррик влюблялся, а Кин
Безумствовал в прошлом столетье.

Пошла репетиция. Дверь на запор.
Свершается пиршество наше.
Вас двое влюбленных, и вы до сих пор
Не венчаны в келье монашьей.

Джульетта твоя молода и нежна.
Свисают шпалерами розы.
Но горе — навеки уснула она
В смертельных объятиях прозы.

Но горе! — едва только грянула мощь
Оркестра и белого ямба —
Сквозь крышу закапал невежливый дождь
И чахнет дежурная лампа.

И сцена пуста. Ни кулис, ни холста,
Ни кубка, ни шпаги, ни пира...
Одна только крыса жива, да и та
Похожа на ведьму Шекспира.

Начнем же, товарищ! Два зрителя есть:
Та крыса, разносчица сплетни,
Да в ложу вверху ухитрился пролезть
Твой сын, мальчуган восьмилетний.

Он в мокрых трусах возвратился с реки,
Забыл о затеянной драке,

И фосфоресцируют, как светляки,
Глаза мальчугана во мраке.

Когда-нибудь, лет через десять, ему
Припомнится старая сказка:
Вон кресел ряды убегают во тьму,
Вон старый их бархат истаскан...

Летят облака по кирпичной стене,
Стена ли проносится мимо —
А может быть, только приснилась во сне
Таинственная пантомима?

Когда эту сказку он сможет прочесть,
Испишется наша страница...
Ну что ж! Для художника высшая честь —
Кому-то моложе присниться.

Август 1945

194. БАЛАГАННЫЙ ЗАЗЫВАЛА

Кончен день. И в балагане жутком
Я воспользовался промежутком
Между «сколько света» и «ни зги».
Кончен день, изображенный резко,
Полный визга, дребезга и треска.
Он непрочен, как сырая фреска,
От которой сыплются куски.

Всё, что было, смазано и стерто.
Так какого — спросите вы — черта
Склеивать расколотый горшок?
Правильно, не стоит! Неприлично
Перед нашей публикой столичной
Славить каждый свой поступок личный,
Хаять каждый личный свой грешок.

Вот она — предельная вершина!
Вот моя прядильная машина, —
Ход ее не сложен, не хитер.
Я, слагатель басен и куплетов,
Инфракрасен, ультрафиолетов,

Ваш слуга, сограждане, — и следов...
Вательно — Бродяга и Актер,

Сказочник и Выдумщик Вселенной,
Фауст со Спартанскою Еленой,
Дон-Кихот со скотницей своей,
Дон-Жуан с любою первой встречной,
Вечный муж с подругой безупречной,
Новосел приморский и приречный,
Праотец несчетных сыновей.

Век недолог. Время беспощадно.
Но на той же сцене, на площадной,
Жизнь беспечна и недорога.
Трачу я последние излишки
И рифмую бледные мыслишки,
А о смерти знаю понаслышке.
Так и существую.
Ваш слуга.

Декабрь 1966

195. О РАННЕМ

Так бывает, — из медленной, вялой,
Неудавшейся ранней строки
Предо мною блеснут, как бывало,
Молодые и злые зрачки.

И когда, как хрустальная чаща,
Расцветает мороз на окне —
В стонах вьюги всё чаще и чаще
Вспоминается молодость мне.

Я люблю эту ночь ледяную,
Эту вьюгу, что стонет, губя.
Я навеки люблю и ревную
Только молодость, только тебя!

1946

196. РЕПЛИКА В СПОРЕ

На каком же меридиане,
На какой из земных широт
Мои помыслы и деянья
Будут пущены в оборот —

Переизданы ли роскошно
Иль на сцене воплощены?
Дознаваться об этом тошно,
Всё равно что ловить чины.

Я о будущем не забочусь
И бессмертия не хочу.
Не пристала такая почесть
Ни поэту, ни циркачу.

В узелок свяжу свои вещи,
Продиктую на пленку речь...
Тут бы выразиться похлеще!
Уж куда там душу сберечь!

Декабрь 1967

197. ХУДОЖНИКУ

Ни в какую щель не прячась,
Оглянись, художник, вокруг!
Прозорливость, зоркость, зрячесть
Служат мастеру раньше рук.

Не обводит циркуль круга,
Искажает линза объем.
Первый встречный ближе друга
В беспокойном деле твоем.

На просторе неохватном,
Где ханжа обожает ложь,
Наколи на доску ватман,
Свою правду — вынь да положь!

Отыщи свой путь по звездам,
Понехоженней, посвежей,

Ибо мир еще не создан,
Новых требует чертежей.

Завари покрепче зелье,
Страх долой, отчаянье прочь!
Обходя моря и земли,
Вижль и внемли, плачь и пророчь!

6 марта 1968

198. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мне исполнилось семьдесят два.
Что тут скажешь — ни много ни мало.
Много дров моя жизнь наломала,
Мало жгла, — отсырели дрова.

Побрела она дальше упрямо,
Воплощается в дождь и туман,
Не вмещается в длинный роман,
Разве только в короткую драму,

Портит ритм, и ломает строку,
И старается переупрямить
Только память, одну только память,
Изменяющую старику.

1968

199. В ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

В долгой жизни своей,
Без оглядки на пройденный путь,
Я ищу сыновей,
Не своих, всё равно — чьих-нибудь.

Я ищу их в ночи,
В ликованье московской толпы, —
Они дети ничьи,
Они звездных салютов снопы.

Я на окна гляжу,
Где маячит сквозной силуэт,

Где прильнул к чертежу
Инженер, архитектор, поэт, —

Кандидат ли наук,
Фантастический ли персонаж,
Чей он сын, чей он внук,
Наш наследник иль вымысел наш?

Исчезает во тьму
Или только что вышел на старт?
Я и сам не пойму,
Отчего он печален и стар.

Как громовый удар,
Прокатилась догадка во мне:
Он печален и стар,
Оттого что погиб на войне.

Свою тайну храня
В песне ветра и пляске огня,
Он прощает меня,
Оттого что не помнит меня.

1968

200. БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Благословляю новый труд
И всё, что трудно в нем,
Кремень, кресало, жесткий трут,
Старинный спор с огнем.

Благословляю силу рук —
Своих, любых, чужих,
С утра включенных в тот же круг, —
Их помощью я жив.

Благословляю сон детей
В тот ранний час, когда
Из стольких свадеб и смертей
Рождается звезда.

Благословляю свет в глазах
И шум в ушах и звон,
Внезапной молнии зигзаг,
Резнувший горизонт.

Благословляю долото,
Смычок, резец, весло
И песни новые про то,
Что ветром унесло.

Благословляю вас, друзья,
Гранильщики чудес.
Вина хлебнув, сухарь грызя,
Мы отгуляем здесь.

У нас, товарищи мои,
Дорога далека.
Мы сыновья одной семьи,
Мы проживем — века.

1968

201. ДИККЕНС

Громыхают по дорогам колымаги,
Дилижансы и почтовые кареты.
Много клерками исписано бумаги.
Сотни комнат черным углем разогреты.

Унесла метель далёко злого друга,
Настежь окна. Вторгся ветер. Меркнут свечи.
Леди повалилась на пол от испуга.
Спит в лачуге бедный птенчик человечий.

А еще бывает, — молодость уходит,
И камин потух, а всё не спит бездельник,
Только глаз от счетной книги не отводит,
Только знает, что когда-то был сочельник.

Лето 1918

202. ПАМЯТЬ

Много разного вмерзло в память,
Словно мамонт в полярный лед.
Как картину эту обрамить,
Переплесть ее в переплет?

Зазвенели гусли былины,
Старость мира, помолодей
В черепках обожженной глины,
В черепах сожженных людей!

В янтаре спит мумия мухи.
Ее сон продлился века.
А у нашей бессонной муки
Вся-то память на полглотка.

В недомолвках, в пустых пробелах,
В мемуарной коварной лжи
Меркнет память душ оробелых.
В чем тут соль? Мудрец, подскажи!

— Что ж, я помню Рим и Помпею,
Хиросиму и Херсонес...
Может быть, я еще успею
Вспомнить жизнь мою под конец.

1968

203. КАК НИ КАЙСЯ

Мы бредим вымыслом и басней
И забываемся на миг,
Но мы богаче и опасней
Забвенья и себя самих.

Нам брезжит слабое мерцанье,
И это кажется сперва
Обмолвкой миросозерцанья
Иль опечаткой мастерства.

Но как ни кайся напоследок,
Ни зарекайся, ни вертись,
Мы всё же выпустим из клеток
Своих волшебных вещих птиц!

В тех Сиринах и Гамаюнах
Уже заложена хитро
Взрывчатка будущностей юных.
ТАК РАСЩЕПЛЯЕТСЯ ЯДРО!

1946, 1964

204. ОБЪЯСНИТЬ?

Почему же глаза твои настежь открыты,
А всмотреться не могут в посмертную тьму?
Почему на земле мертвецы не зарыты,
Не отпеты? Скажи, почему, почему?

Не громадина танка оглохла от вмятин
И как памятник вечно гудит о войне, —
Это ты, мой ребенок, тревожен и внятен,
Это ты навсегда существуешь во мне.

И опять терпеливой и терпкой обидой
Навсегда между нами протянута нить.
Но не жди от меня объясненья, убитый!
Ничего не могу я тебе объяснить.

11 ноября 1946

205. МЫ

Пусть падают на пол стаканы
Хмельные и жуток оскал
Кривых балаганных зеркал.
Пусть бронзовые истуканы
С гранитных срываются скал!

Всё сделано до половины.
Мы в смерти своей не вольны.

В рожденье своем неповинны, —
Мы — волны растущей лавины,
Солдаты последней войны.

Да, мы!
И сейчас же и тут же,
Где шел сотни раз Ревизор,
Равнину обходит дозор!
На узкий просцениум стужи
Бьют факелы завтрашних зорь.

Кто этого пойла пригубил,
Тот призван в бессмертную рать.
Мы живы.
Нам рано на убыль.
Мы — Хлебников, Скрябин и Врубель,
И мы не хотим умирать!

А всё, что росло, распирая
Гроба человеческих лбов,
Что вышибло доски гробов,
Что шло из губернского края
В разбеге шлагбаумных столбов,

Что жгло нескончаемым горем
Пространство метельной зимы,
Что жгло молодые умы
Евангельем, и алкоголем,
И Гоголем, — всё это МЫ!

Да, мы!
Что же выше и краше,
Чем мчащееся сквозь года,
Чем наше сегодня, чем наше
Студенческое, и монашье,
И воинское навсегда!

1927—1967

Зоя Бажанова

Если скажу я, что ты мне жена,
Я ничего не скажу этим словом.

П. А.

206. ВЕНОК СОНЕТОВ

1920—1967

ВОТ НАКОНЕЦ-ТО, МУЗА, МЫ ОДНИ!
НЕ ЗНАЮ ТОЛЬКО, БУДЕШЬ ЛИ ТЫ РАДА,
ВОЗМЕЗДЬЕ ЖДЕТ МЕНЯ ИЛИ НАГРАДА...
ПУСТЬ ЗАПЫЛАЮТ ЗВЕЗДНЫЕ ОГНИ!

ТАК МНОГИЕ ИЗ ЮНЫХ В НАШИ ДНИ
НА ПЛОЩАДЯХ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА
ВСТУПАЮТ В СТРОЙ РАБОЧЕГО ОТРЯДА!
ВСТАНЬ! НАШУ ПЕСНЮ С НАМИ ЗАТЯНИ!

ТЫ СПУТНИКОВ СВЯЗАЛА В ЦЕПЬ СО МНОЙ.
И ВСЕ, ЧТО ТЫ СУЛИЛА НАМ ВЕСНОЙ,
С ПОЭТАМИ СБЫВАЛОСЬ НЕПРЕМЕННО.

ПРОШЛИ КАК СОН МОРЯ И ГОРОДА,
СО СВИТКОМ КЛИО! В МАСКЕ МЕЛЬПОМЕНА!
БУДЬ СЧАСТЛИВА, ПОДРУГА! БУДЬ ГОРДА!

1

Вот наконец-то, Муза, мы одни!
Дай руку, расскажи, кто ты такая,
Чью тень стремили Невский иль Тверская
Сквозь крутень многорукой толкотни?

Но для чего ты прячешься в тени?
Но для чего не ты, совсем другая
Ждет на углу, других подстерегая,
Но сколько же у нас с тобой родни?

В теснинах переулков нелюдимых
Я столько раз терял и находил их,
Вечерних, черных, одичалых птиц...

Дитя свободы иль исчадье ада,
Хоть отзовись и в яви воплотись!
Не знаю только, будешь ли ты рада.

2

Не знаю только, будешь ли ты рада,
Что мы сошлись у городских ворот.
Ведь я актер, бродяга, сумасброд.
Небось тебе скучна моя тирада.

Ты не найдешь ни склада в ней, ни лада!
Ну что ж, прости, набрал воды я в рот.
А может быть, совсем наоборот, —
Тебе нужны сонет или баллада?

Пойми, я столько раз на свете жил
Движеньем крови, напряженьем жил, —
Хватило б на цыгана-конокрада!

Две жизни, целых двадцать или сто...
Как угадать — за это иль за то
Возмездье ждет меня? Или награда?

3

Возмездье ждет меня или награда
За множество несовершенных дел?
Я столького в пути не разглядел —
Ни Фив, ни Херсонеса, ни Царьграда.

Ведь человек — двухчастная шарада
Чела и Века. Здесь водораздел,
Его биографический предел,
Живая или мертвая преграда.

Прощайте же, усопшие! Долой
Из этих строк их отсвет нежилой,
Их кости, кольца, кубки и осколки,

Их утвари, их бронза и кремни,
Пусть валятся их фолианты с полки!
Пусть запылают звездные огни!

4

Пусть запылают звездные огни!
Громады солнц, махины мировые,
Для нас одних зажженные впервые,
Предвидят наши судьбы искони.

В годины жесточайших тираний
Не спят они, как псы сторожевые,
И, приподняв слепые веки Вия,
Следят за ходом действия они.

Всё это злые присказки старушки.
Так сдвинем, Муза, глиняные кружки, —
Хоть добрым словом бабку помяни!

А я недаром к звездам обращаюсь, —
Под звездами с тобою обручаюсь,
Как многие из юных в наши дни.

5

Так многие из юных в наши дни
Уходят в путь без отпуска, без льготы.
Да здравствуют их молодые годы!
Не спорь, не сокрушайся, не кляни,

Что рано в бурю вырвались они:
Им предстоит построить мир свободы
Из голода, из горя и невзгоды,
Из слез и крови, грязи и резни.

Что в мире легкомысленней и чище,
Чем правота их праведности нищей,
Чем этот сумасшедший блеск в глазах!

Вот и взметнулся молнийный зигзаг.
И громовая катится рулада
По площадям Москвы и Петрограда.

6

По площадям Москвы и Ленинграда
Опять плывет сиреневая мгла,

Мы молоды. Нам под ноги легла
Еще одна трибуна иль эстрада.

«Баллада о гвоздях» или «Гренада»
Сердца людские заново прожгла?
Чреда воспоминаний тяжела,
Но вспоминать о молодости надо!

Вот, вот она — пришла, как в первый раз,
Глазастая, в сто сотен ярких глаз,
Гражданка Буря, девочка Менада..,

Но Музы я еще не назову!
Иная входит Музыка в Москву.
Мы встали в строй рабочего отряда.

7

Мы встали в строй рабочего отряда,
В систему прочно сбитых шестерен.
Здесь голос Музы удесятерен,
И он звучит грозней, чем канонада.

Нет, он звучит нежней, чем серенада...
Нет, слышится в нем карканье ворон...
Нет, нет, — беспечный смех со всех сторон —
Вальс — Лунная соната — Клоунада..,

Трехмерный мир Эвклида страшно прост
И просто страшен. Есть четырехмерный!
В нем правит Время, пущенное в рост,

Двадцатый век его союзник верный.
Ему Пикассо и Эйнштейн сродни!
Встань! Нашу песню с нами затяни!

8

Встань! Нашу песню с нами затяни!
Меня ты наградила даром слова.
Так излечи от наважденья злого,
Застенчивость мою перечеркни.

Верни сердечный жар. Оборони
От каменного века, от лесного

Желанья жить — и ждать! Стяни мне снова
Кольчуги бранной сбитые ремни!

Позволь мне стать пилотом невесомым
И с ангельским соревноваться сонмом
Хотя бы здесь, на плоскости земной!

Позволь же мне в высоком напряженье
Отправить в дальний путь воображенье,
Свяжи в дороге спутников со мной!

9

Ты спутников связала в цепь со мной.
По-разному прошедшие сквозь время,
Не ждали мы ни орденов, ни премий,
Зато пленялись каждой новизной,

Зато влюблялись каждою весной,
Легко несли сужденное нам бремя
И относились весело к проблеме
«Быть иль не быть» на сцене площадной...

Светлов, Кирсанов, Луговской, Сельвинский,
Причастные к эпохе исполинской,
Мы возмужали вместе со страной,

Прошли войну и мир, рассвет и полночь
И твердо верили, что ты исполнишь
Всё, что сама сулила нам весной!

10

А то, что ты сулила нам весной,
Сбылось иль не сбылось, уже не помнят
Ни флаги площадей, ни окна комнат,
Ни воздух в окнах, синий и сквозной.

И вот, усыплена голубизной,
Спит наша юность в сборниках двухтомных.
Спит в пиджаках и брюках допотопных,
Спит и не спорит с юностью иной.

Иная юность, выросшая сразу
По зову жизни, а не по приказу,
Без пропусков, вне очереди встав,

Грядет, гудит, грохочет эта смена,
Грядущему диктует свой устав.
Всё сбудется и с нею непременно!

11

Всё сбудется с поэтом непременно!
Заслужит сто венков и сто обид,
И сам чужую старость оскорбит
Своею правдой жгуче современной,

И вспомнит всех погибших поименно,
И скорбный марш погибшим протрубит,
И, наконец, не сломлен, не разбит
Гнездившейся бок о бок с ним изменой,

Пройдет он дерзко сквозь двадцатый век,
Еще безвестный юный человек,
Чье званье — Рядовой, чье имя — Каждый.

Что ждет его — победа иль беда?
В каких туманах перед ним однажды
Пройдут как сон моря и города?

12

Пройдут как сон моря и города
В сверхсильной нереальной синераме.
Освещены всю ночь прожекторами,
Они к утру исчезнут навсегда.

Машин стада и призраков орда,
Герои в драме и кумиры в храме
Всё яростней, и ярче, и упрямей
Свой ужас обнаружат без стыда.

Но гибельность, грозящая планете,
В коротком не вмещается сонете,
Да я и не об этом говорю!

Стоит на страже Муза неизменно.
И по утрам приветствуют зарю —
Со свитком Клио, в маске Мельпомена!

13

Со свитком Клио, в маске Мельпомсна!
Всё та же ты, вне моды, вне времен,
Единая под множеством имен
Подруга русских лириков, Камена!

Зла иль добра, смиренна иль надменна,
Твой ясный лик не стерт, не затемнен.
Ты, может быть, сменила сто знамен,
Но это только смена, не измена!

Что ж, я не археолог, не историк.
Мой век недолог, только опыт горек:
Я знал ОТКУДА — отыщу КУДА.

Ничто не пропадет. На каждой тризне
Слагают гимны воскрешенной жизни.
Будь счастлива, Подруга! Будь горда!

14

Будь счастлива, Подруга! Будь горда!
И знай, что это счастье, гордость эта
Есть достоянье твоего поэта,
Есть оправданье моего труда.

А труд не автострада, а СТРАДА,
Не счетчиком исчисленная смета,
Не смирная планета, а КОМЕТА,
Параболой летящая звезда.

Вот наконец-то и пришло веселье,
Которого не знали мы доселе.
Не только руки — губы протяни!

С декабрьской стужей, с майскою грозою
Вошла в сонет четырнадцатый ЗОЯ,
Вот наконец-то, Муза, мы одни!

1967
Красная Пахра

1969 — 1971

Ямщик лихой, седое Время,
Везет, не слезет с облучка.

Пушкин

207. В КОРОБКЕ ЧЕРЕПНОЙ

Я здесь живу — в чужом опасном времени,
На острове, за океаном чуждым.
Отравленный тупыми подозрениями,
Прислушиваюсь к чьим-то смутным нуждам.

Но я лечу еще или ползу еще!
Вот дом. Вот сад. Вот небосвод весенний —
В коробке черепной, преобразующей
Всю эту землю без землетрясений.

Она полным-полна такими лицами,
Такими певческими голосами,
Такими сбыточными небылицами,
Что без меня просуществуют сами, —

Вселенную построят, как им хочется,
И никого из ближних не замучат,
И вместо премии за это зодчество
В наследство — отчество мое получат.

Июль 1969

208. ПЕТЕРБУРЖЕЦ НАЧАЛА ВЕКА

Грязным фельдшером в грязном морге
Ты разъят на кости и нервы.
Я селюсь у тебя в каморке,
Не последний жилец, не первый.
Черный смокинг и гимнастерка,
Всё, что было, срок отслужило.
Да и в книге домовой стерто
Имя-отчество старожила.

Если веру дать кривотолкам,
То скрывается от погони

Твой двойник в униженье долгом.
Он в Шанхае или в Сайгоне
Признается не тем, так этим,
Что от голода и со скуки
Эмигрировал в двадцать третьем
И женился на потаскухе
Петербуржец начала века!

Всё неправда! Ты встретил гибель
Под блокадною канонадой,
Безнадежно без вести выбыл,
Отработал конец как надо.
Сколько рукописей осталось
Неразобранных, недочтенных.
Как смертельна твоя усталость,
Как пленительна для девчонок!

Век кончается. Чур, вниманье!
Из захламленных выйдем комнат.
Эти набережные в тумане
Твою тень на граните помнят.
Ты опять выходишь на Невский
Со своей подружкой глазастой.
И как будто сам Достоевский
Говорит: «Сновиденье, здравствуй,
Петербуржец начала века!»

На сухой гуаши плаката,
Сквозь глазницы кирпичных брешей,
Рдеет кровь твоего заката,
Твой талант, еще не воскресший.
Распахни жс под ветром ворот,
Позабудь, как бывал истаскан!
Про тебя мне сказочный город
Рассказал правдивую сказку.

На Васильевском с Голодая
Беспричинно ветер крепчает,
И, отчаиваясь и рыдая,
Он твою подружку встречает.
Вот оно, твое воплощенье
И твоя последняя веха,
Рядовой боец ополченья,
Ленинградец начала века!

1969

209. КОЛЫБЕЛЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Ингерманландия! Ингвар-Игорь
Дал тебе имя, край непочатый.
Рдели костры русалочьих игор.
Суженым пели злые девчата.
Новгород вольный вобрал в пятину
Сотню замшелых финских избенок.
Ильменский струг, увязая в тину,
Вынес к морю гребцов забубенных.

Зорко высмотрел царь московитов
В кипени пенной чертеж столицы,
Преображенцам по чарке выдав,
Пил из ведра и плел небылицы.
Преображенный в пушечных шквалах,
Изображенный в хвалебных одах,
Знал он размах страстей небывалых,
Гонку, оторопь — только не отдых.

В бурный разгар молодого действа,
В мглистый туман рассветов бесплотных
К будущим верфям, в Адмиралтейство
Шел смолокур, и кузнец, и плотник.
Так поднялся державный хозяин,
Вздыбил коня и дальше понесся.
В стих воплощен, на века изваян
Медный всадник, не знающий сноса.

Вышла империя, как на сцену,
В блеске триумфов и фейерверков,
Фрахтам своим заломила цену,
Карты морских держав исковеркав.
И застрочил в любом из присутствий
Червь-регистратор пером гусиным,
Вырос в подлости и распутстве
Обыкновенным сукиным сыном.

Но по-иному, в ином ученье
Взрослыми стали внуки Петровы.
Были, как знак их предназначенья,
Алый рассвет и закат багровый.
Знали, что жить им одна секунда,
Сдавленной глоткой воздух глотая, —

Пять героев декабрьского бунта,
Пять неотпетых на Голодае.

В каторжных муках снова и снова
Искра, что выбило их кресало,
Преображалась в жаркое слово,
Меркла в подполье, но воскресала.
И в миллионной — нет, в миллиардной! —
Жизни, родящей самозабвенно,
Стала та искра Звездой Полярной,
Нашей Пятиконечной Военной.

Мчитесь же, дни и ночи, неситесь
Мимо династий, мимо ненастий,
Жарким людским трудом не насытясь,
Правьте штурвал и крепите снасти,
Пойте грозную песню о хлебе,
Стройте дворцы для чужого пира,
Стройте в столице великолепье,
Прихоть барокко, строгость ампира!

Сколько лиц в исторической драме, —
Русский поэт обо всех напишет.
Завтра... Но Завтра не за горами.
Время летит и пламенем пышет.
Время летит и будущим дышит.
Ждут агитатора в каждой роте.
Русский поэт в то утро услышит
О социальном перевороте.

Шагом державным войдут Двенадцать
Красногвардейцев в сердце поэта,
С юностью вашей соединятся, —
Не позабудьте, граждане, это!
Не позабудьте на космодромах,
В ваших обсерваториях новых —
О ранних зорях, о майских громах,
Об изначальных ваших основах!

В страшные годы страды блокадной
Не позабудьте, не обессудьте
Той белой ночи, той беззакатной,
Той беспредельной весенней сути!

Дети ваши растут в Ленинграде.
Деды навеки спят в Петербурге.
Помните их милосерья ради
Вы, музыканты, вы, металлурги!

1969

210. СОНЕЧКА МАРМЕЛАДОВА

Ии Саввиной

Санкт-петербургская девица
Отъявленного поведенья
Должна была в театр явиться
Через сто лет, со дна паденья, —

Под пьяный гомон, гам и гик,
Под вопли низменных клевет, —
Для зрителей, для всех других
Сама в себе — ярчайший свет.

Она, как в храм, пришла на сцену,
К высокой роли не готовясь,
Чтобы свою назначить цену
На Достоевского, на совесть.

Должна была опять расти
И выросла до самых звезд.

Чтобы другой рыдал: «Прости!»
Через сто лет, за сотню верст.

⟨1971⟩

211. ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ

Владимиру Орлову

Здесь, на этой земле благодатной,
Юноша рос, кудрявый и статный,
Книги читал, от жизни далек,
Светлые думы в песни облек.

В. Н. Орлову

Хочешь, я расскажу тебе повесть
Не отвлекаясь и не торопясь.
Жил на земле Александр Блок
Был он красив, отважен, глубок
Жизни не ведав
В усадьбе дедов
Жил Александр Блок

С юности счастлив и независим
Слал наудачу тысячи писем
В звездное небо, в царство весны,
В юную чащу, в девичьи сны
Взысканный щедро
Милостью ветра
Видел тревожные сны

Скажут: им рано грусть овладела,
Жил неумело... Не в этом дело!
Вот его дело! Жадно дыша
Радость сулит мировая душа
Вечер начинает
Фиалка ночная
Юностью вечной дыша

Зла не изведав,
В усадьбе дедов
Рос Александр Блок.

Смолоду дерзок и независим,
Слал наудачу тысячи писем
В звездное небо, в царство весны,
В юность чужую, в девичьи сны,
Взысканный щедро
Милостью ветра,
Видел вещие сны.

Здесь же рядом, в селе подмосковном,
Пела девушка в хоре церковном.
Девушки той давно уже нет.
Голос ее запомнил поэт —
Вот и поет нам
О мимолетном
Столько весен и лет.

Здесь, на камне праледниковом,
Сном околдован, к ритму прикован,
Вспомнил недавнюю смерть отца,
Тяжесть и сумрак его лица.
Ямбы «Возмездья»
На этом месте
В камень бьют без конца.

Скажут: им рано грусть овладела,
Жил неумело... Не в этом дело!
Жарко любя и жадно дыша,
Гибельно бредя, грустно греша,
Рано иль поздно
В тревоге грозной
Вверх взметнется душа!

Вспомним, друзья, как дышит глубоко
Тайный жар в сочиненьях Блока,
Тайный зов Души Мировой,
Как ей платил своей головой
Безумный Врубель,
Как шел на убыль
Зов Души Мировой...

Но не для Блока! В метельной стуже
Вышли Двенадцать бойцов. И тут же
Во́рот раскрыл, встречал у ворот
Блок — социальный переворот.
В стуже метельной
Он беспредельно
Верил в русский народ.

Сорокалетний — жизни не дожил,
Славного дела не подытожил,
Рано он вышел, рано ушел,
Вовремя только правду нашел —
С правдой народной
Бесповоротно
В будущее вошел.

В будущем — с нами старый товарищ.
Старый? — Нет, его не состаришь.
Юность осталась, какой была,
Окрылена, мятежна, светла.
Юности вечной —
Пусть быстротечной —
Слава, честь и хвала!

9 августа 1970
Шахматово

212. ПОПЫТКА САМОКРИТИКИ

Наверно, я не Гамлет, — но
Мой опыт жизненный был горек,
И скалился мне бедный Йорик:
«Ты тоже сдохнешь, пей вино!»

Наверно, я не Дон-Кихот
И ветряных не встретил мельниц,—
Но сам, как ветреный умелец,
Их строил и пускал их в ход.

Меж прочих действующих лиц,
Наверно, был я Хлестаковым
И слушателям бестолковым
Дал топливо для небылиц.

И, развлекая и дразня
Осиный рой всесветной черни,
Сам исчезал в толпе вечерней,
Во всем похожей на меня.

1971

213. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Товарищ, я прожил
Три четверти века.
Я всё подытожил —
Поставлена крайняя веха.

Тут нечем хвалиться!
У слабых, у сильных
Издерганы лица
В колдобинах изжелта-синих.

Но как там ни поздно,
Как труд ни громоздок —
Тайком, неопознан,
Беснуется в старце подросток,

Пусть вирус ничтожен,
Да вот лихорадит!
Ты спросишь, на что ж он
Силенки последние тратит,

Зачем на эстраде
Горланит он дико,
Вопит: «Христа ради,
Вернись, оглянись, Эвридика!..»

Отвечу: безумье
Смешно на поверку.
Потухший Везувий
Решил подражать фейерверку.

Отвечу — не знаю
Иного ответа.
Я только сквозная,
Чужая, ничья эстафета.

Что было когда-то,
Сосчитаны годы.
Зарублена дата
На камне могильной невзгоды.

Беззубая Парка
Сучит свои нити.
Но солнце так ярко
Горит, как горело в зените.

Под той бирюзою,
Под черной грозою
Я жду мою Зою,
Бессмертную, вечную Зою.

А завтра забрезжит
Жестокое утро
И врежется скрежет
Безглазой, безносой, премудрой...

Ни злой укоризны,
Ни ропота злого!
Для собственной тризны
Недаром пишу это слово:

«Я жил в мирозданье.
Я знал первозданность.
В посмертном изданье
Живым, а не мертвым останусь».

1971

НОЧНОЙ СМОТР

> В двенадцать часов по ночам
> Из гроба встает барабанщик.
> И ходит он взад и вперед,
> И бьет он проворно тревогу.
>
> . . . .
>
> В двенадцать часов по ночам
> Выходит трубач из могилы...
>
> *В. А. Жуковский*

Ночной смотр

> Слыхали вы, как бьет полночь, мистер Пустозвон?
>
> *Шекспир*

214. ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ВОСЬМОГО ФЕВРАЛЯ

День рожденья — не горе, не счастье,
Не зима на дворе, не весна,
Но твое неземное участье
К несчастливцу, лишенному сна.

Зов без отзыва, призрак без тела,
Различимая только с трудом,
Захотела ты и прилетела
Светлым ангелом в сумрачный дом.

Не сказала и слова, но молча
Подняла свой старинный стакан,
И в зеленой бутылочной толще
Померещился мне океан.

Померещились юные годы,
Наши странствия, наши пути,
И одно ощущенье свободы,
И одно только слово: п р о с т и!

⟨*1974*⟩

215. Я РАССКАЗАЛ

Я рассказал про юность чужую.
А про свою — что расскажу я?
Так была моя коротка,
Так нелегка, так далека,
Да не забыта
В сумерках быта,
В смертной беде старика.

Там, за столицей нашей, на взгорье,
Спит моя радость, спит мое горе
В тесной ограде небытия.
Ждет не дождется юность моя.
С декабрьской ночи
Ждут ее очи,
Чтоб возвратился я.

Необгонимое время губит
Наши сердца и канаты рубит
Между Вчера и Завтра людей.
Зной всё жесточе, стужа лютей.
С кручи отвесной
Мне неизвестно,
Кто я — среди людей.

Май 1969

216. ДВОЙНИК

Я жил любимым делом. Груды книг,
На пыльных полках сваленные тесно,
В молчанье ждали, чтобы я приник
К их горькой влаге. С высоты отвесной
За мной следил таинственный двойник.

Я жил в столице. Город древних башен,
Пересеченный вдоль и поперек,
Казалось, был не древен и не страшен.
Он молодых от старости берег,
Разбужен вьюгой, кумачом украшен.

Я жил среди актеров. С давних пор
Был разожжен очаг наш хлебосольный,

Там за полночь переваливший спор,
Бывало, превращался в хор застольный,
В цыганский табор иль военный сбор.

Кем был я? Как обуглился отрезок
Той жизни, отпылавшей навсегда?
Вагон ползет под дряблый лязг железок.
Заиндевели в стуже провода.
Двойник, зачем ты в разговоре резок?

Так растянулся этот мертвый час.
Так движется в пространстве через силу
Ночной вагон, вне времени тащась.
Так буднично, голо и некрасиво
Вторая мировая началась.

...В плачевных позах бреда иль увечья
Людские семьи крепко спят, храпя.
В них что-то вечно вьючное, овечье.
На них обрывки ветхого тряпья.
Так не слабей, дыханье человечье!

В худых мешках несут пайковый хлеб.
Чай кипятят на проволоке хрупкой.
А ранним утром входит в этот склеп
Двойник мой. Он дымит заморской трубкой.
Наш разговор отрывист и нелеп.

Как будто бы араб и англичанин
На ломаном санскрите говорят.
Один настороженен, другой отчаян,
Но что за притча — тридцать лет пóдряд
Довольствуются чудаки молчаньем.

А Зоя не присутствует нигде.
Она угасла... Нет, она в движенье.
И вот — как сало на сковороде,
Визжит голодное воображенье.
...Двойник не знает о моей беде.

1941—1971

217. ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ

Статистики в такой-то час и день
Установили, сколько нас. И только.
Вставай, девятизначной цифры долька,
Раздуй огонь, комбинезон надень!

Вставай, шахтер, конструктор, космонавт,
Учительница, музыкант, геолог!
Наш путь ухабист, труден был и долог,
Но озарен прожекторами правд.

Мы гибли, но не сгинули. Гляди —
На всей планете шаг наш отпечатан.
Отцы и деды наши не молчат там,
Сыны и внуки ждут нас впереди.

Нас двести пятьдесят мильонов — под
Тем самым молоткастым и серпастым.
Нам любо, мускулистым и вихрастым,
Со лба стирать соленый, едкий пот.

Нас ТЬМЫ, И ТЬМЫ, И ТЬМЫ с тех самых пор,
Как стали мы не тьмою темь, а светом
И вышли с лозунгом ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ
На правый бой, на первый старт, на сбор.

Мы — эстафета дальнего гонца.
Мы — поколенье сильных и умелых.
Мы — перевыполненье планов смелых.
Нам нет числа, нет краю, нет конца.

Жизнь вырастает, движется, течет,
Вся в брызгах света, в жженье и броженье.
Лети же вслед за ней, воображенье!
Не кончен путь. Не подытожен счет.

⟨*1974*⟩

218. ЖЕСТОКАЯ ПРАВДА

К нам пришла грозовая, жестокая правда:
Не вернулись оттуда три дальних гонца.
Три героя, три вестника, три космонавта —
Те, что вахту свою пронесли до конца.

В карауле почетном и младший и старший.
И минута молчанья. И говор затих.
В полной выкладке воинской, снова на марше,
Провожает Россия любимцев своих.

Над землей, в многозвездном, бездонном просторе,
Ликованье разгадок и познанных тайн.
Проверяя рефракторы обсерваторий,
Вечно бодрствует Ньютон, не дремлет Эйнштейн.

Не смирится, не сдастся, оружья не сложит
Дерзновенный борец, будь он молод иль стар.
И других мальчуганов опять растревожит
Чей-то вызов: «Пора!» — чей-то выход на старт.

Сколько солнц — столько юных сердец во вселенной,
Сколько юных сердец — столько завтрашних битв.
И вовеки упрямо и самозабвенно
Человечество славу героям трубит.

⟨1974⟩

219. МЕЙЕРХОЛЬД

Не позабудьте, как в начале века
Была сложна дорога человека:
    Быть иль не быть, вот в чем вопрос!
Он выходил в порфире иль в отрепьях,
То Грозный царь, то неврастеник Треплев,
    Сжигал себя и снова рос.

Не позабудьте, что при каждой встрече
Он вспыхнет, сам себе противореча,
    Сегодня враг, а завтра друг,
Здесь Бунтовщик, там доктор Даппертутто,
Безудержный, бессонный. И вот тут-то
    Он ждет пожатья братских рук.

Ну так всмотритесь в профиль этот острый:
Ни дать ни взять — волшебник Калиостро
Листает ветхие тома.
Встает отряд полночного дозора,
Дрожат кривые рожи «Ревизора»
И маски «Горя от ума»...

Придет Октябрь. И Всеволод Эмильич
Отвергнет пыль и тлен книгохранилищ
В домах родни и свояков.
И в должный час на площади московской
С ним встретятся Владимир Маяковский,
Сельвинский, Эрдман, Третьяков...

Не для аплодисментов, не для выгод,
Но каждый шаг его, и каждый выход,
И каждый дерзкий взмах руки,
И каждый вольный взлет воображенья
Бьют вольтажом такого напряженья,
Что дергаются дураки.

Столетний сказочник, почти легенда,
Он сваривает крепче автогена
Любую из пройденных вех.
Оборван путь его, не кончен опыт.
А он торопится и нас торопит, —
Как молод этот человек!

⟨*1974*⟩

220. НИКОЛАЮ БРАУНУ

Мой младший брат, мой славный Коля!
Куда откуда ни взгляни,
В одной мы обучались школе,
В одном же классе в оны дни —
В годах двадцатых и тридцатых,
Точней сказать — в сороковых,
Не закавычены в цитатах,
Росли в событьях мировых.

Так юность превращалась в зрелость,
И у костров солдатских грелась,
И слепла в гибельном огне,

Но мчится время, время мчится...
Вскормила римская волчица
Двух близнецов на той войне.
Но плечи нам иное бремя
Отяготило навсегда —
Не дремлет жизнь, торопит время
Четырехстопный ямб труда.

Но сколько было расставаний,
И сколько дружественных встреч
Вместились в два существованья —
Всё надо в памяти сберечь!

Друг другу изредка сигналя,
Встречались мы по старине
На Грибоедовском канале,
На Петроградской стороне,
И в Киеве, и на Ирпене,
И, наконец, в Москве у нас...
Хватило только бы терпенья,
Над рукописями склонясь,
Разворошить за датой дату,
Прочесть все «где-то» и «когда-то»,
Пройти весь этот сложный ход,
Все главы нашего романа,
В которых под руку, туманно
Шли Дон-Жуан и Дон-Кихот...

Но кто был кто? Какой же метод
Поможет нам найти ответ?
Пусть разберет литературовед
И скажет: оба — тот и этот.
Потом пороется в стихах,
Разложит нас по разным полкам,
Прислушается к кривотолкам
И кончит розыск впопыхах.

А мы дадим друг другу руки —
И дальше в путь, и дальше в жизнь.
Она полна утрат и муки,
Но за штурвал ее — держись!

⟨1974⟩

221—222. *БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ*

1

Не трактир, так чужая таверна.
Не сейчас, так в столетье любом.
Я молюсь на тебя суеверно,
На коленях и до полу лбом.

Родилась ты ни позже, ни раньше,
Чем могла свою суть оценить.
Между нами, дитя-великанша,
Протянулась ничтожная нить.

Эта нить — удивленье и горечь, —
Сколько прожито рядом годов
В гущине поэтических сборищ,
Где дурак на бессмертье готов!

Не робей, если ты оробела.
Не замри, если ты замерла.
Здравствуй, Чудо по имени Белла
Ахмадулина, птенчик орла!

2

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Кому, как не тебе одной,
Кому, как не тебе единственной —
Такой далекой и родной,
Такой знакомой и таинственной?

А кто на самом деле ты?
Бесплотный эльф? Живая женщина?
С какой надзвездной высоты
Спускаешься и с кем повенчана?

Двоится облик. Длится век.
Ничто в былом не переменится.
Из-под голубоватых век
Глядит не щурясь современница.

Наверно, в юности моей
Ты в нашу гавань в шторме яростном
Причалила из-за морей
И просияла белым парусом.

⟨1974⟩

223. ВСЁ КАК БЫЛО

Ты сойдешь с фонарем по скрипучим ступеням,
Двери настежь — и прямо в ненастную тишь.
Но с каким сожаленьем, с каким исступленьем
Ты на этой земле напоследок гостишь!

Всё как было. И снова к загадочным звездам
Жадно тычется глазом слепой звездочет.
Это значит, что мир окончательно создан,
И пространство недвижно, и время течет.

Всё как было! Да только тебя уже нету.
Ты не юн, не красив, не художник, не бог,
Ненароком забрел на чужую планету,
Оскорбил ее кашлем и скрипом сапог.

Припади к ней губами, согрей, рассмотри хоть
Этих мелких корней и травинок черты.
Если даже она — твоя смертная прихоть,
Всё равно она мать, понимаешь ли ты?

Расскажи ей о горе своем человечьем.
Всех, кого схоронил ты, она сберегла.
Всё как было... С тобою делиться ей нечем.
Только глина, да пыль у нее, да зола.

28 октября 1945

224. ЗЕРКАЛО

Я в зеркало, как в пустоту,
Всмотрелся, и раскрылась
Мне на полуденном свету
Полнейшая бескрылость.

Как будто там за мной неслась
Орава рыжих ведьм,
Смеялась, издевалась всласть,
Как над ручным медведем.

Как будто там не я, а тот
Топтыгин-эксцеленца
Во славу их — вот анекдот! —
Выкидывал коленца.

Но это ведь не он, а я
Не справа был, а слева,
И под руку со мной — моя
Стояла королева.

Так нагло зеркало лгало
С кривой ухваткой мима.
Всё было пусто и голо,
Сомнительно и мнимо.

⟨1973⟩

225. НОВЫЙ ГОД

Приходит в полночь Новый год,
Добрейший праздник,
Ватагу лютых непогод
Весельем дразнит.

И, как художник-фантазер,
Войдя в поселок,
На окнах вызвездил узор
Абстрактных елок.

Студит шампанское на льду
И тут же, с ходу,
Три ноты выдул, как в дуду,
В щель дымохода.

И, как бывало, ночь полна
Гостей приезжих,
И что ни встреча — то волна
Открытий свежих.

И, как бывало, не суля
Призов и премий,
Вкруг Солнца вертится Земля,
Движется время.

А ты, Любовь, тревожной будь,
Но и беспечной,
Будь молодой, как санный путь,
Седой — как Млечный.

Пускай тебе хоть эта ночь
Одна осталась, —
Не может молодость помочь,
Поможет старость!

⟨1974⟩

Сказки

Сон мой длился века, все виденья собрав
В свой широкий, полуночный плащ.

Александр Блок

226. КОНЬКИ

В старом доме камины потухли.
Хмуры ночи и серы деньки.
Музыканты приладили кукле,
Словно струны, стальные коньки.

И уснула она, улизнула,
Звонкой сталью врезается в лед.
Только музыка злится, плеснула
Стаю виолончелей вперед.

Как же виолончели догнать ей,
Обогнать их с разгона в объезд,
Танцевать в индевеющем платье
На балу деревянных невест?

Как мишень отыскать в этом тире,
В музыкальном, зеркальном раю,

Ту — единственную в целом мире,
Еле слышную душу свою?

В целом мире просторно и тесно.
В целом мире не знает никто,
Отчего это кукле известно,
Что замками от нас заперто.

В целом мире... А это немало!
Это значит, что где-то поэт
Не дремал, когда кукла дремала,
Гнал он сказку сквозь тысячу лет.

Но постойте! Он преувеличил
Приключенье свое неспроста.
Он из тысячи тысячу вычел, —
Не далась ему куколка та!

⟨1974⟩

227. МУЗЫКА

Мрачен был косоугольный зал.
Зрители отсутствовали. Лампы
Чахли, незаправленные. Кто-то,
Изогнувшись и пляша у рампы,
Бедным музыкантам приказал
Начинать обычную работу.

Он вился́ вдоль занавеса тенью,
Отличался силой красноречья,
Словно вправду представлял пролог.
Музыканты верили смятенью
Призрака. И, не противореча,
Скрипки улетели в потолок.

В черную пробитую дыру
Пронесла их связанная фуга...
Там, где мир замаран поутру
Серостью смертельного недуга.

Скрипки бились насмерть с голосами
Хриплыми и гиканьем погонь.

Победив, они вели их сами.
Жгли смычки, как шелковый огонь.

И неслась таинственная весть
Мимо шпилей, куполов и галок,
Стая скрипок, тоненьких невест,
Гибла, воскресала, убегала...

А внизу осталась рать бутылок,
Лампы, ноты, стулья, пиджаки,
Музыка устала и остыла.
Музыканты вытерли смычки.

Разбрелись во мглу своих берлог,
Даже и назад не поглядели,
Оттого что странный тот пролог
Не существовал на самом деле.

⟨1974⟩

228. ГАДАЛКА

Ни божеского роста,
Ни запредельной тьмы.
Она актриса просто,
Наивна, как подросток,
И весела, как мы.

Цыганка Мариула
Раздула свой очаг,
Смугла и остроскула,
С лихим клеймом разгула
И с пламенем в очах.

А вот еще приманка!
Развернут в ночь роман.
Заведена шарманка.
Гадает хиромантка,
Девица Ленорман.

Но грацией, и грустью,
И гибелью горда,

Но руки в тщетном хрусте
Заломлены... Не трусьте
Гадалки, господа!

⟨1974⟩

229. МИФ

По лунным снам, по неземным,
По снам людей непогребенных
Проходит странник. А за ним
Спешит неведомый ребенок.

«Что, странник, ты несешь, кряхтя?
Футляр от скрипки? Детский гробик?» —
Кричит смышленое дитя,
И щурится, и морщит лобик.

Но странник молча смотрит вверх,
А там, в соревнованье с бездной,
Вдруг завертелся бесполезный
Тысячезвездный фейерверк.

Там за петардой огнехвостой
Мчит вихревое колесо.
Всё это, может быть, непросто,
Но малым детям внятно всё.

И мальчик чувствует, что это
Вся жизнь его прошла пред ним —
Жизнь музыканта иль поэта,
И ужас в ней незаменим.

Что ждет его вниманье женщин,
Утраты, труд и забытье,
Что с чьей-то тенью он обвенчан
И сам погибнет от нее.

⟨1974⟩

230. МАНОН ЛЕСКО

Когда-то был Париж, мансарда с голубятней.
И каждый новый день был века необъятней, —
Так нам жилось легко.
Я помню влажный рот, раскинутые руки...
О, как я веровал в немыслимость разлуки
С тобой, Манон Леско!

А дальше — на ветру, в пустыне океана
Ты, опозоренная зло и окаянно,
Закутанная в плащ,
Как чайка маялась, как грешница молилась,
Ты, безрассудная, надеялась на милость
Скрипящих мокрых мачт.

О, ты была больна, бледна, белее мела.
Но ты смеялась так безудержно, так смело,
Как будто впереди
Весь наш пройдённый путь, все молодые годы,
Все солнечные дни, не знавшие невзгоды,
Вся музыка в груди...

Повисли паруса. И за оснасткой брига
Был виден дикий край, открытый Америго,
Песчаный, мертвый холм.
А дальше был конец... Прощай, Манон, навеки!
Я пальцы наложил на сомкнутые веки
В отчаянье глухом.

Потом рассказывал я в гавани галерной,
В трактире мерзостном, за кружкою фалерно,
Про гибельную страсть.
Мой слушатель, аббат в поношенной сутане,
Клялся, что исповедь он сохраняет втайне,
Но предпочел украсть,

Украсить мой рассказ ненужною моралью.
И то, что было нам счастливой ранней ранью,
Низвержено во тьму,
Искажено ханжой и силе жизни чуждо.
Жизнь не кончается, но длится! Так неужто
Вы верите ему?

Не верьте! Мы живем. Мы торжествуем снова.
О жалкой участи, о гибели — ни слова!
Там, где-то далеко,
Из чьей-то оперы, со сцены чужестранной,
Доносится и к вам хрустальное сопрано —
Поет Манон Леско.

(1974)

231. КАЛИОСТРО

Плащ цвета времени и снов,
Плащ кавалера Калиостро...

Марина Цветаева

На ярмарке перед толпою пестрой,
Переступив запретную черту,
Маг-шарлатан Джузеппе Калиостро
Волшебный свой стакан поднес ко рту.
И тут же пламя вырвалось клубами,
И завертелась площадь колесом,
И жарко стало, как в турецкой бане,
И разбежался ярмарочный сонм.
И дрогнула от дребезга и треска
Вселенная. И молния взвилась...

Лишь акробатка закричала резко:
«Довольно, сударь! Сгиньте с наших глаз!»
Но Калиостро возразил любезно:
«Малютка, я еще не превращен
В игрушку вашу. Поглядите в бездну...»
И он взмахнул пылающим плащом.
Она вцепилась в плащ и поглядела
Сначала робко, а потом смелей:
«Ну что же, маг, ты сделал наше дело —
И мне винца, пожалуйста, налей!»
Пригубила и, обжигая десны
И горьким зельем горло полоща,
Захохотала: «Все-таки несносны
Прикосновенья жгучего плаща!
Но что бы ни было, я не трусиха.
Ты, может быть, опасный человек,
А все-таки отъявленного психа
Я придержу на привязи навек!»

Что с ними дальше было — знать не знаю.
А коли знал бы, всё равно молчок.
Но говорят,что акробатка злая
Сдержала слово, сжала кулачок.

В другой, изрядно путанной легенде
Описаны их жуткие дела,
На пустяки растраченные деньги:
Девчонка расточительна была.
Она и он добыли, что им надо,
Не замечали пограничных вех,
Европу забавляли буффонадой
Не час, не день, не годы — целый век.
Как видно, демон старика принудил
Изнемогать от горя и любви.
И служит ей он, как ученый пудель,
Все замыслы откроет ей свои.

Летят года. Беснуется легенда.
И как попало главами пестрит.
И вот уже зловредного агента
Следить за ними подослал Уолл-стрит.
В какой лачуге иль в каком трактире
Заколот этот Шерлок Холмс ножом?
Где в тучи взмыл «ТУ-сто сорок четыре»?
Чей Пинкертон пакетами снабжен?

А в то же время Калиостро скрылся
На полстолетья, как на полчаса.
Его архив грызет чумная крыса,
А старикан сначала начался!
Есть у него дворец и графский титул,
Сундук сокровищ и гайдук-араб.
Забронзовел, весь в прозелени идол,
Владыка мира — все-таки он раб!
Да! Ибо в силу некоего пакта
Меж ним и автором явилась тут
Всё та же, та же, та же акробатка.
О ней неправду сплетники плетут.
Но что за мерзость городские сплетни!
Ведь акробатка — вечная весна,
А стосемидесятишестилетний
Из-за нее одной не знает сна!

Смотрите же в партере, на балконе,
Как действие стремительно идет!
Несут карету бешеные кони.
На козлах автор — сущий идиот.
А позади плечом к плечу две тени.
Они страшны для чьих-то медных лбов.
В сплетенье рук, в сцепленье двух смятений,
Вне времени свершается любовь...
Там — ждут востребованья груды писем.

Здесь — лопается колба колдуна.
От акробатки ветреной зависим,
Он знает — жизнь исчерпана до дна.
Он скоро сдохнет. Так ему и надо!
Но мечется легенда наугад...
Дай на пятак стаканчик лимонада!
Дай на целковый парусный фрегат!
За океаном, в Конго иль у Ганга,
Единая однажды навсегда,
Всё та же краля, выдумка, цыганка
Взмахнет ему платочком: «До свида...».

Пора! Пора! Еще ничто не ясно.
Воображенье — лучший проводник.
Весь мир воображеньем опоясан.
Он заново разросся и возник.
Он движется вовне или внутри нас,
На личности и роли нас деля.
Он формула. Он точность. Он стерильность.
Вкруг солнца вечно вертится земля.

Стучит тамтам. Гудят удары гонга.
Круженье пар. Скольженье легких тел.
Рукой подать до Ганга и до Конго.
Кто захотел — мгновенно долетел!..

Не представляя, что подскажет завтра,
К чему обяжет утренняя рань,
На полуслове обрывает автор
И отвергает всякую мораль.

Да и к чему служила бы мораль нам?
Кончает Калиостро свой полет
В четвертом измеренье ирреальном
И поздравленья новобрачным шлет.

Я посвящаю Женственности Вечной
Рассказ про Калиостро-колдуна.
В моих руках не пузырек аптечный.
Мне в руки вечность даром отдана.

Июль 1972

232. ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

Памяти художника
Валентина Серова

...Девушка сидит на самом хребте быка, не верхом, но так, что обе ее ноги свешиваются с правого бока; левой рукой она держится за рога, как возница держит поводья; бык повернулся больше влево, следуя за движением руки, которая им правит. Хитоном одеты груди девушки, ниже талии ее прикрывает плащ; хитон — белый, плащ — пурпурный, тело просвечивает сквозь ткань... Ткань изогнута и растянута — так живописец изобразил ветер. А девушка сидит на быке, как на плывущем корабле, и ткань ей служит парусом...

Ахилл Татий,
второй век нашей эры

Финикийская царевна! Я не лгу.
Помнишь, как на средиземном берегу
Увидала ты Юпитера-быка,
Как ласкала ты бычиные бока,
Как сплела любимцу три венка
И к нему вскочила на хребет?
Началась пора побед!
Но летят, скользят, ползут века, —
Далека твоя дорога, нелегка!
Средиземное проплыл я поперек,
Всё, что было, в бренной памяти сберег,
Всё, что помню, на бессмертие обрек.
Продолжается, кончается наш век,
Погоди же, не смыкай бессонных век!

Разлученная с Юпитером-быком,
Освещенная неоновым огнем,
Обожаемая греком-стариком,
Ленинградской белой ночью, словно днем,
Ты расскажешь детям сказочки о нем.

Никакой Юпитер-бык не заревет,
Никакой международный телефон
Межпланетных наших снов не оборвет,
Никакой заокеанский солдафон
Не ревнует финикиянку чужую, —
За ревнивцем послежу я!

Поднимай же, Евразийский материк,
Ради мира, ради будущего крик!
Кто бы ни были, дитя или старик,
Снаряжать пиратский бриг!
Ты, Юпитер-Питер-Петр,
Приказ полкам на смотр!

Пусть Великий, или Тихий океан,
Полубелый, получерный, в доску пьян,
Рыжий Каин, грешен, бешен, окаян,
За рога возьмет быка на абордаж.
«Эй, девчонка, ты мне ручки не подашь?
Так спускайся по веревкам мокрых рей!

Вверху одна ты?
Руби канаты —
Скорей!»

Было дело. Это вечность проходила.
Финикиянка Европа невредима.
Будет будущее. Ждать недолго.
Рядом Рейн и Кама, Тибр и Волга.

В час полночной темноты
Мы с тобой опять на «ты».

Что ж, пора кончать! Я песню дотяну.
Только ты не обмани меня!
В черной бездне я не потону,
Назову тебя по имени:

«Навзикая, Навзикая,
Ты несешься, возникая

В финикийской колеснице,
Расскажи, что тебе снится!»

«Снится мне мужик Зевес...»
— «О-го-го, тяжеловес!»
— «Снятся мне Афины, Фивы
И другие перспективы.
Снится Невский мне проспект, —
Пушкин площадь пересек...»
— «Ишь созданье дерзкое!»
— «Честное пионерское!»

1972

233. СМЕРТЬ ГОГОЛЯ

На графском крыльце на Никитском бульваре
Толпится бездомный, бесчисленный люд.
Безглазые, тощие, странные твари
Молитву отходную глухо поют.
Для них этот дом всё равно что трактир.
Один матерится, другой еще хлеще.
Сам Гоголь всмотрелся и отворотил
Лицо, освещенное свечкой зловещей.

Гоголь

Ишь как расплодилось крапивное семя!
Ишь как осмелели вы! Сколько же всех?
Неужто я стану возиться со всеми?
Вы тени без тела, вы слезы сквозь смех!

Гости

От нас не отвертишься, сударь! Нельзя!
Ты нас породил, фантазер бестолковый.
Мы живы, мы выросли, вышли в князья —
Поприщины, чичиковы, хлестаковы...

Гоголь

Мне всё надоело. Мне пища отвратна.
Я вашей компании не признаю.
Мне хочется в Рим и оттуда обратно,
В Донской монастырь, на могилку свою...

Первый

Могилка? А я изнемог от любви,
Потом обезумел и тлею в геенне.
Роди меня вновь, расколдуй меня, Вий,
Лечи меня, лекарь, учи меня, гений!

Второй

Я мертвые души скупал оттого, что
Мне честное поприще не по нутру.
Маленько прибавьте казенного кошта —
Под вами коленками пол подотру.

Третий

А если я что и скажу, то солгу, —
Проездом в Москве, а пришел ниоткуда:
Я только в твоем существую мозгу,
В комедию впутан, туманом окутан.

Гоголь

Один только ты отвечаешь мне правду
И, значит, один только мне удался.

Третий

Я тень твоя, автор. Но если ты автор,
То сыграна наша комедия вся.
Я лучше. Ей-богу, я лучше и выше!

Гоголь

Хвастун, Хлестаков!

Третий

На пари, что я прав!
Я был твоим зеркалом...

Гоголь

Ростом не вышел!

Третий

Попробуй меня укротить, костоправ!

Все гости

Не выйдет! Мы выросли до потолка,
Мы крышу пробили и тянемся к звездам.
А ты... Как дорога твоя нелегка!

Поверь напоследок, что нами ты создан.
Чего же ты мечешься, бедный скиталец?
Нет Рима. Нет жизни. Нет муки твоей.
За всех и за всё мы с тобой расквитались.
Пускай не юродствует попик Матвей!

(Поют)

Погляди, не сильней ли,
Чем отверстое небо,
Кража бедной шинели,
Тяжесть горького хлеба!

Только падаль трепещет,
Под землею сгнивая.
Так очнись! Это хлещет
Твоя кровь огневая.

Будешь отлит из бронзы
Иль из камня изваян,
Милосердный и грозный
Судия и хозяин!

Твои слуги и други,
Будем рядом вовеки.

Гоголь

Протяните мне руки!
Поднимите мне веки!

(1974)

234. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШЕСТОГО ИЮНЯ 1974

(Кантата)

Запевала

Его рождению конца нет —
Вчера и завтра, там и тут.
Живые силы вечный танец
Вокруг Поэзии ведут.
Он призрак, но зато свободен,
Зато бессмертно беззаботен.

Все цепи Муза порвала.
Хвала его державной мощи,
Его подруге — белой ночи,
Его бессоннице хвала!

Хор

Про него услышит История,
Вся в разводах ржавых чернил,
Чтобы заново и не вторя ей
Он себе ее подчинил,
И всё ярче и необычайнее
Перед ним расширится круг —
Сколько счастья, сколько отчаянья,
Сколько сильных дружеских рук!

Запевала

Актеры выплеснут на сцену
Огонь и гибель, гул и гам.
Самой чуме назначит цену
Неукротимый Вальсингам.
Трон пошатнется государев,
И, в сорок сороков ударив,
Пойдет История вразброд.
Поэт, трагедию окончив,
Решит, что суд над ней уклончив,
Пока безмолвствует народ.

Хор

Сколько строк не обнародованы,
Сколько песен в жаркой груди,
Сколько сказок у Родионовны,
Сколько будущих впереди!
А иная сложится иначе,
Удальцов пошлет молодых
На кощеев и змей-горынычей,
На царей и прочих владык.

Запевала

И вот несется Всадник Медный
Сквозь времена во весь опор.
И вот опять Евгений бедный
С ним продолжает грозный спор.
Опять, рискован и раскован,

Скликает новых смельчаков он,
Бессмертный этот человек.
Так, полон вещего прозренья,
Пришел в четвертом измеренье
Наш Пушкин в наш двадцатый век!

Хор

Все мы правнуки и праправнуки,
Кто-то книга, а кто-то чтец.
Не застольники, не заздравники,
Лишь тревога юных сердец.

Так пускай же так и останется.
Здравствуй, Пушкин, издалека!
Твоя сказка — вечная странница,
А дорога сказки легка!

⟨1974⟩

235—245. *ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ*

А. Н. Н.

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...

Ф. Тютчев

1

На что? — На счастье, на тревожный,
Неосторожный, сложный путь!
Не зарекайся: всё возможно.
Ты всё поймешь когда-нибудь.

Такая молодость. Такое
Веселье дикое в глазах.
Не предвещает нам покоя
Зеленой молнии зигзаг.

Я встану в трех шагах и сзади,
Как за цыганкой гитарист,
Все струны оборву в досаде.
Дождись. Доверься мне. Всмотрись.

1970

2

Я еще не сказал тебе правды
О своем сумасшествии.
Понимаешь ты, как космонавты
Ждут Земли в неземном путешествии?

Ты Земля для меня. Ты посадка
На зеленый ковер, на песчаные дюны.
О, как дико, как горько и сладко
Слушать голос твой юный —

Еле узнанный в медной мембране,
В колебанье бездушных частот,
Поздней ночью и утренней ранью —
Тот же голос и всё же не тот.

И еще ты мерещишься рядом,
У граничной черты,
Со смеющимся пристальным взглядом
Та же самая, — ты, да не ты...

Но признанье мое не печально,
Только искренне, как никогда,
Обручально и первоначально.
А не принято? — Что за беда!

1970

3

Я должен стать скалистой крутизной
И под ноги ей вырубить ступени, —
Пускай идет со мной в метель и зной
В отважном отроческом нетерпенье.

Я должен, должен звать ее и влечь
В сверкающие бездны мирозданья
И это чудо от колен до плеч
Обожествить задолго до свиданья.

Я должен, должен, должен изваять
Ее черты из музыки и муки.
Я всё, что должен, сделаю на ять,
Без промаха, без помощи науки.

Но это обожанье, а не долг
Трубит мне в уши песенку всё ту же.
Так, может быть, седой голодный волк
Выл-завывал, пока не сдох от стужи.

Так, может быть, бог созидал миры
И сам ослеп от хлынувшего света.
Он тешился причудами игры,
Но позабыл, что песня его спета.

1970

4

Конец двадцатого столетья.
Вокзалы. Аэропорты.
Любовь... Так как же не затлеть ей
От жалости и доброты.

Не полыхнуть костром багряным
В краю чужом, в дому родном,
Одно отчаянье даря нам,
Захлебываясь в нем одном...

Как в унижении глубоком
Не заглядеться на пожар!
...Но если бы я не был богом,
То и тебя не обожал...

1970

5

В этой чертовой каменоломне,
Где не камни дробят, а сердца,
Отчего так легко и светло мне
И я корчу еще гордеца?

И лижу раскаленные камни
За чужим, за нарядным столом,
И позванивает позвонками
Камнелом, костолом, сердцелом...

Отчего же — возникшая рядом,
Та, которая зла и мила,

Покосилась испуганным взглядом,
И простила меня, и ушла?

А стихи эти вяжет в мочалку
Пересохшая за ночь гортань,
Да и время играет в молчанку
Или шепчет: «Отстань! Перестань!»

20 июня 1970

6

Проклятая живучесть — это ад,
Такой же точно, как посмертный.
Вот, вот она! Глаза мои следят
За ней одной в толпе несметной.

Она живет, как птица на лету,
Живет, сама себя не зная,
В стеклянном и сквозном аэропорту
Прощается, сама сквозная.

Ну и пускай! Мне нечего терять,
Ее обрадовать мне нечем, —
Вот разве что со лба крутую прядь
Дыханьем сдунуть сумасшедшим.

А всё, что остается от нее,
Как искра вспыхнет, улетучась.
Последнее прибежище мое —
Моя проклятая живучесть.

1970

7

Рассказать о тебе наступила пора —
То ли внучке варяга, то ли половчанке.
Чья любимица ты, чья меньшая сестра,
Новгородским ушкуйникам кинула чалки
Иль рассвета ждала у лесного костра
И заморским гостям подносила ты чарки?

Миновали века. Затерялся твой след
На уездных проселках, на невском граните.

Только даль. Только ширь. Только тысячи лет
Протянули к тебе еле видные нити.
Только юности милой скончания нет.
Только солнце всегда над тобою в зените.

Ты взрослела, смела и смешлива была.
На филфак в Ленинграде явилась однажды,
С маху кинулась в воду и вот — поплыла,
Так легка на подъем, так исполненна жажды.
И внезапно прапамять сгорела дотла.
Так, наверно, случается в юности каждой.

Наше время сверкало и пело вокруг.
Шли года. Сколько осеней, столько же весен,
Столько встреч и разлук, столько новых подруг,
Столько раз был Васильевский остров несносен,
Столько жадных мужских, неробеющих рук, —
А в окне предрассветная брезжила просинь.

И однажды вчиталась ты в книжку одну,
В чьи-то ранние, слабые стихотворенья:
Вся история там ворвалась в новизну,
Целый мир приготовился к дню сотворенья,
Там империя шла, содрогаясь, ко дну
Да циркачка летела еще по арене.

Что скрывать — это было началом моим.
И оно для тебя было вроде начала.
Голос времени смутен, но неумолим.
Голос времени ясен. Но время молчало,
Что ты будешь единственным светом моим.
Так вступленье в явленье твое прозвучало.

3 июля 1970

8

А женщина? Ей этого не надо,
Ни доброты, ни злобы никакой.
Она ответ бросает, как гранату
Невинной, ловкой, ветреной рукой.

Она сама — явление природы,
Как молния или разрыв-трава.

Как все красавицы и все уроды,
Она всегда по-своему права.

Благоразумна или безрассудна,
Ушла иль рядом — всё-таки права.
Мужская правота ей не подсудна.
Пускай же ей она приснится смутно,
Сильна одним — тем, что мертвым-мертва.

Сентябрь 1970

9

Какой секущий ветер
Вдоль Западной Двины!
А что ее ты встретил,
Тут нет ничьей вины.

Как лифты всех гостиниц
Несутся вверх и вниз.
Как, злобно ощетинясь,
Табачный дым повис.

Как тонет в злобном дыме
Аэропорт чужой.
Ты рядом с молодыми
Состаришься душой.

Состаришься надолго,
Пока не сгинешь сам,
Без прока и без толка
Скитаясь там и сям.

Не старься! Ты ведь плавал
Когда-то а-ля брасс.
Не старься, бедный дьявол,
Хотя бы в этот раз!

⟨1973⟩

10

Столкновенье двух возрастов.
Только вспомнишь о нем нечаянно —
Обрывается речь и — стоп! —
Договаривает молчание.

Есть закон у старых людей:
Не сдаваться, что бы там ни было.
Ну, так царствуй и всем владей,
Что двоим нам на долю выпало!

⟨*1974*⟩

11

Не знаю, безумье иль разум,
Иль среднее нечто меж ними,
Но без разрешенья и сразу
Шепчу твое милое имя.

Шепчу иль кричу — неизвестно.
Живу или гибну — не знаю.
Спустилась ты с кручи отвесной,
А добрая ты или злая,

А послана богом иль чертом —
Понять очень трудная штука!
И вот ухажером потертым
К тебе я врываюсь без стука.

Но всё, что несбыточно было,
Но всё, чему сбыться нельзя...
... Послушай, а ты не забыла,
Что вместе мы выйдем в князья?

⟨*1974*⟩

Из старых тетрадей

246. ВСТУПЛЕНИЕ

На гибель я вышел. Мой разум, как азбука, прост.
И вечность мне снится Жар-птицей, чей пламенный хвост

Не стоит гроша и продажен, как всякий товар,
Но часто мне снится, что вечность — большой самовар.

Художники — гости. А бог — самый умный в семье —
Всё чертит и строит в двусветном своем ателье.

Построит, покурит, откроет окно, запоет,
И спит под солдатской шинелью, и рано встает.

Лето 1918

247. ПОРА!

Пора птенцам глазами выпить ужас
Вниз головой из материнских гнезд.
Пора глупцам, напыжась и натужась,
Рядиться в платья непосильных звезд.

Ночь путанна, туманна, ядовита.
В ней расцветают, чтобы нам помочь,
Красавицы, таинственные с виду,
И безнадежно вянут в ту же ночь.

Лето 1918, 1967

248. ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Полночь. Защелкнулись дверцы кареты.
Все распрощались. Тронулся сон.
Мчатся безумцы, актеры, поэты.
Хлыст кучерской, как смычок, занесен.

Ночь выпекает придворные торты,
Ночь высекает огниво сердцам,
Ночь саламандрой летит из реторты
И мандрагорой цветет мертвецам.

Мимо! Сквозь призраки скошенных окон,
Сквозь чехарду с этажа на этаж, —
Ночь мою брачную, бурный мой Броккен,
Бешеный заштриховал карандаш.

Мимо! Туда, где гроза корчевала
По облакам бурелом топором,
Где городская весна горевала
С дикой оравой черных ворон, —

Там мое прошлое руки простерло
С конченой юностью накоротке.
Шарф замотал пересохшее горло,
Глаз фонарем опрокинут в реке.

Школьником, шалым от шума лесного,
В прошлых веках путешествовал сон,
Был колесом он и был колесован,
Корку делил с дрессированным псом.

Эх, расскрипелись колеса на камне!
Мокрое, низкое небо — хоть плачь...
Будет ли новая юность легка мне?
Трогай! Не остановишь кляч...

1918, ⟨1972⟩

249. НЕ ЛЮБЛЮ

Не люблю тех, которые ждут благостыни,
И особенно тех, что дождаться смогли.
Я люблю бедуинов на страже пустыни,
Моряков, что сжигали свои корабли.

И актеров, забывших про главный свой выход,
И поэтов, не знающих, как рифмовать.
Но себя не люблю окончательно. Вы хоть
Не судите за искренность, — что там скрывать!

Я люблю после ночи хмельной и метельной
Повторить молчаливый, без имени, тост.
И еще я люблю бесполезный, бесцельный
Августовский подарок — падение звезд.

1918, 1967

250. ЭТО НЕ КОНЕЦ

Ты кончил. Тебе хорошо,
Что утро, что некуда выше.
Тот призрак, что звал ты душой,
Из комнаты медленно вышел.

Ты кончился. Завтра опять
Рядиться в лицо человека.
А там... хоть столетье проспать,
Пылиться, как библиотека

На мертвых семи языках.
Стать черепом в медной оправе
Иль кубком в горячих руках,
В гостях у чужих биографий...

Ты, может быть, плачешь навзрыд,
Но сам спохватился сейчас же,
Из пепла природы разрыт
И поднят — весь в глине и саже,

Весь в язвах — обломок души,
Кусок истлевающей ткани.
Гуляй, сумасшествуй, спеши:
Весь мир в твоем бедном стакане.

Тот призрак, что звал ты душой,
Та мелочь домашнего быта,
Та сказка о жизни чужой
Прибита к стене и забыта.

⟨1967⟩

251. РЕБЕНОК МОЙ ОСЕНЬ

Ребенок мой осень, ты плачешь?
То пляшет мой ткацкий станок.
Я тку твое серое платье,
И город свернулся у ног.

Ребенок седой и горбатый,
Твоя мне мерещится мощь —
По крышам и стеклам Арбата
С налета ударивший дождь.

Мой ранний, мой слабый ребенок,
Твой плач вырастает впотьмах.
Но сколько их, непогребенных
Детей моих, в сонных домах!

Теперь мне осталось одно лишь
Седое, как дождь, ремесло.
Но ты ведь не враг. Ты позволишь,
Чтоб это мученье росло,

Чтоб наше прощанье окрепло,
Кренясь на великом ветру,
Пока я соленого пепла
И пены со рта не сотру.

1924

252. ГОРОДСКАЯ НЕУДАЧА

На тротуарах скользко. Тени
Бесшумно расшибают лбы.
Стеблями вянущих растений
Висят фонарные столбы.

Мотор скрипучий, снег скрипучий
И скрипка нищего слепца —
В одном ключе. И вдруг как вспучит
Виденье мертвого лица:

Лоб изойдет безбровой гладью,
И нос провалится в дыру.
Поэт, на эту прелесть глядя,
Подумает: «И я умру...»

Он скажет скрипке: «Кончись тихо!»
Он скажет нищему: «Прости!»
Он скажет женщине: «Шутиха,
Отчальте с моего пути!»

И станет эта площадь местом,
Чтобы комедию играть.
И станет эта мука текстом,
Внесенным начерно в тетрадь.

И всё пройдет. И тень поэта
В руках истлевших донесет
Тетрадь исчерканную эту
Вплоть до несбыточных высот.

А там, перешибая споры,
Его оставив без гроша,
Придется для другого впору
Его бездомная душа...

Но как он был в рассказе точен,
Как верил сам себе, чудак!
. . . .
И всё не так или не очень,
А может быть, совсем не так...

⟨*1974*⟩

253. ЛИШЬ БЫ ЖИТЬ!

Не буди ее, пасмурный сон мой,
Не тревожь ее, лучший мой друг,
Но разбейся на сонмы и сонмы
Бесконечно далеких разлук.

Ты за нею потянешься следом
Безголовою хитрой змеей,
Будешь неотразим и неведом,
Обернешься огнем и землей.

И замечешься в дыме и саже
После стольких бессонниц труда —
Дальше, дальше, — и вот если даже
Не проснется она и тогда,

Если в той непомерной минуте
Не отыщется силы такой,
Чтобы давнюю память вернуть ей,
Растопить ее сладкий покой, —

Вот тогда и зови на расправу,
К пированью лихого стола,
Навсегда тебе данное право
Рвать одежды и жечь их дотла!

Никакую, ничью и не нашу,
Всё равно украдешь ты ее,

Ты заваришь веселую кашу
И отпразднуешь горе свое!

Лишь бы жить, если жив ты и молод, —
До последнего пульса тоски,
Лишь бы время, как каменный молот,
Вам двоим грохотало в виски!

⟨1974⟩

254. ВРЕМЕНА

Времена!
Над разбуженными головами,
Истлевая в ушах, раскаленных от бега,
Вы — как птица, которую бьют на лету,
И от брега до брега
Шумный мир наливается вами,
Заливает свою пустоту.

Вот пришли времена непомерных пиров,
Нагруженные всяким добром,
Отягченные рухлядью мертвых миров,
Божьих храмов и княжьих хором.
И как будто бы ритму идущих времен
Добровольно покорствует грудь,
И пожарищем музыки мир окаймлен,
И не смеет никто отдохнуть.

И знамена — как бурные зори,
А весна — это просто весна.
Но романтиков вечное горе —
Как смертельный прыжок плясуна
И как голубь над кровлей ковчега.
И от брега до брега,
От окна до окна
В черных кубках сверканье вина.
И любимая ваша бледна и нежна.
Настежь окна, и в окнах видна
И другая подруга — луна.
И еще далеко до ночлега.

Между 1916 и 1919

255. КАК ЖИЛ?

— Как жил? — Я нé жил. — Что узнал? —
Забыл.
Я только помню, как тебя любил.
Так взвейся вихрем это восклицанье!
Разлейся в марте, ржавая вода,
Рассмейся, жизнь, над словом «никогда».
Всё остальное остается втайне.

Циркачка в черно-золотом трико,
Лети сквозь мир так дико, так легко,
Так высоко, с таким весельем дерзким,
Так издевательски не по-людски,
Что самообладанием тоски
Тебе делиться в самом деле не с кем!

Зима — весна 1918, 1967

256. ВРЕМЕННЫЙ ИТОГ

Хорошо! Сговоримся. Посмотрим,
Что осталось на свете. Пойми:
Ни надменным, ни добрым, ни бодрым
Не хочу я ходить меж людьми.

Чем гордиться? Чего мне ломаться?
И о чем еще стоит гадать?
Дело кончено. Времени масса.
Жизнь идет. Вообще — благодать!

Я хотел, чтобы всё человечье,
Чем я жил эти несколько лет,
Было твердо оплаченной вещью,
Было жизнью... А этого нет.

Я мечтал, чтоб с ничтожным и хилым
Раз в году пировала гроза,
Словно сам Громовержец с Эсхилом, —
Но и этого тоже нельзя.

Спать без прóсыпу? Музыку слушать?
Бушевать, чтобы вынести час?
Нет!.. Как можно смирнее и суше,
Красноречью — у камня учась.

⟨1974⟩

257. РУССКИЙ ИСТОРИК

Русский историк, не знавший страха,
Выстоял вахту, вышел на приступ.
Он воскрешал из тлена и праха
Всех пугачевцев и декабристов.
Ржавые пятна с реляций вытер,
Темное дело в архивах поднял,
Чтобы восстал бунтующий Питер,
Вросший в гранит и всосанный в отмель.

Он приказал: «Раскрывайся настежь,
Юность былая, ярость былая!
Что ты темнишь и глаза мне застишь,
Обло, озорно, стозевно, лаяй?»
Он рассказал о самосгоранье
Русских юношей в пламени зарев:
Свадьбу справляли с гибелью ранней
Гордый Печорин, дерзкий Базаров.

А между тем подспудное дело
Шло, как бывало, немо и грозно,
Не истлевало и не хладело,
Не застывало казенной бронзой.
Так, не ища дешевых ответов
В лепете многотиражных книжек,
Русский историк, горя отведав,
Правое поднял, лживое выжег.

Эта работа шла понемногу
В библиотеках и в чистом поле,
С жизнью об руку, с временем в ногу,
В песнях застольных и в стонах боли.

Эта работа сегодня длится,
Нет ей конца и в двадцатом веке.
Подняты к звездам юные лица.
В дальнюю даль зарублены вехи.

1974, 1975

258. НЕ НАУКА

История — это воскрешение.
Жюль Мишле

Ты как любовь, история! Ты мука
И радость для пытливого ума.
Ты что угодно — только не наука,
Не пыльные, прочтенные тома;

Не мертвая Помпея, не Пальмира,
Не спекшаяся в жидкой лаве мышь.
На всех путях и перепутьях мира
Ты грозами весенними гремишь.

Встань во весь рост, гляди в живые лица,
В загадочные действия людей,
Осмелься их весельем веселиться,
Их горькими заботами владей.

Рифмуй куплет, малюй плакаты ярче,
Расти, опара, на живых дрожжах,
Тощай и бедствуй на пайковом харче,
Всем сострадай, рыданья не сдержав.

Всё пригодится, всё тебе на благо,
Всё ты вплетешь в сверкающую ткань.
Запенься же морской соленой брагой,
Шей и пори, мни глину и чекань!

Как под тобою почва благодатна!
Как над тобою Млечный блещет Путь!
Чем хочешь будь — Вергилием у Данта,
Голубкой у Пикассо, — только будь!

Я твой слуга, но критике подвергнусь,
Как интеллектуал-интеллигент,
За то, что защищаю достоверность
Недостоверных мифов и легенд.

1975

259. КОНЕЦ ВЕКА

Осталось четверть века — и простится
Земное поколение с двадцатым.
Погаснет век, сверкавший нам Жар-птицей.
Но, черт возьми, куда же до конца там!

Хоть и не пьян — а море по колено.
Хоть и не трезв — а вырастил потомство.
И, письма рассылая по вселенной,
Он понемногу раздвигает дом свой.

Не подражает медоносным пчелам
И впрок шестиугольных сот не строит.
Дороге — бездорожье предпочел он
И по кривой летит как астероид.

Куда? — Хотя бы к черту на кулички,
В открытый космос, в черный бархат стужи,
Там люди жаждут братской переклички
И чуда ждут, стянув ремни потуже.

Как будто бы средневековый прадед
Перегрузил наш век воображеньем.
И зябнущего старца лихорадит:
Кого на ком еще мы пережениМ?

Наивный, добрый, легковерный кафр,
Малюет он абстрактные полотна
И небоскребами лихих метафор
Все пригороды заселяет плотно.

А между делом в мирозданье стройном
Он разглядел опасные пробелы, —
Затрясся ошарашенный астроном,
Остолбенел философ оробелый.

Всем репортерам измочалив нервы
Морзянкой потрясающих известий,
Двадцатый век, встречая двадцать первый,
Не тормозит и на последнем въезде.

Так не ищите же столпотворенья,
Раз выдумка сбывается любая!
Ведь и поэт в конце стихотворенья
Гнет как попало, время огибая!

1974

260. КАМЕННЫЙ ВЕК

Как будто бы в каменном веке, в иных временах пролегли
Немые, глухие, лихие пространства воды и земли.

Там голые смуглые твари, над красным кремнем не дыша,
Сгрудились как овцы, и стала костром их ночная душа.

И кто-то уже догадался, что все-таки он человек,
Но тут же исчезла догадка, и тянется каменный век.

И красные оползни глины над северной серой рекой
Навеки недвижные дремлют, и длится, и длится покой.

И кости, и кубки, и кольца давно превратились во прах.
Лишь солнце малиновым камнем пылает на голых горах.

1975

261. ДО РОЖДЕНИЯ

О чем ты бредишь, что ты бродишь,
Тень меж теней, звено в цепи?
Спи, человеческий зародыш,
Дождись рожденья, крепко спи!

Спи и потягивайся сладко...
Ты ищешь маму? — Вот она!
Да будет мягкою посадка
Для неземного летуна!

Сначала горько ты заплачешь,
Смешными ножками суча.
Ты ничего еще не значишь,
Личинка чья-то иль ничья.

Жди, человеческая завязь!
Наступит жуткий твой черед,
Когда, от легкости избавясь,
Ты сразу вырвешься вперед

И вспыхнешь в сварке автогенной,
Чтобы мгновенье проблистать,
Стать мукой, музыкой, легендой —
А может быть, ничем не стать...

Август 1966

262

Посвящается Денису Тоому

Весна от Воробьевых гор
    До Земляного вала
Вела с чужими разговор
    И дальше кочевала.

И дети шли с хлыстами верб
    По солнечным бульварам,
С шарманкой шел веселый серб
    И с попугаем старым.

И ветер был. И снег размяк,
    И цокало бряцанье
Извозчиков. И бился флаг,
    Как чье-то восклицанье.

И если ты посмотришь вниз —
    То всё в глазах поплыло...
...Лет семьдесят назад, Денис,
    Со мною это было.

1918, 1975

263

Дыхнув антарктическим холодом,
К тебе ненароком зайдя,
Прапращур твой каменным молотом
Загнал тебя в старость по шляпку гвоздя.

Не выбраться к свету, не вытрясти
Оттуда страстей и души.
Но здесь и не надобно хитрости:
Садись-ка за стол и пиши, и пиши!

Пером или спичкой обугленной,
Чернилами иль помелом —
О юности, даром загубленной,
Пиши как попало, пиши напролом!

Пиши, коли сыщешь, фломастером
Иль алою кровью своей
О том, как ты числился мастером,
О том, как искал не своих сыновей.

Пиши, отвергая торжественность,
Ты знаешь, про что и о чем,
Конечно, про Вечную Женственность,
Ты смолоду в омут ее вовлечен.

1976

264. ДРУГОЙ

Ну что ж, пора, как говорится,
Начать сначала тот же путь,
Слегка взбодриться — ламца дрица! —
И повториться в ком-нибудь.
Ремонт не срочен и не скучен.
Бывал же я переобучен
Раз двадцать на своем веку.
Бывал не раз перекалечен —
И нынче, лекарем подлечен,
Хоть слушателей развлеку!

В чужих владеньях партизаня,
Чужим подругам послужив,

Чужие вынесу терзанья,
Согреюсь у костров чужих.
Не о себе речь завожу я,
Но верю в молодость чужую,
Свой давний опыт истребя.
Себя играть — дается просто.
Но ведь заманчивей раз во сто
Играть другого — не себя!

Другой — вон тот, двадцатилетний,
В линялых джинсах, волосат,
Меж сверстниками не последний,
Кто не оглянется назад;
Московский хиппи или битл,
Какой ни выбери он титул,
Как часто моды ни меняй,
Какой заразе ни подвержен,
Как ни рассержен, как ни сдержан —
А смахивает на меня!

1974, 1975

265. ВЛАДИМИРУ РЕЦЕПТЕРУ

Мой друг Володя!
                    Вот тебе ответ!
Все мастера суть подмастерья тоже.
Несется в буре утлый наш корвет,
Несется лихо — аж мороз по коже.

Поэзия с Театром навсегда
Обвенчаны — не в церкви, в чистом поле.
Так будет вплоть до Страшного суда
В свирепом сплаве счастия и боли.

Так завораживай чем хочешь. Только будь
Самим собой — в личине и в личинке.
Сядь за баранку и пускайся в путь,
Пока мотор не требует починки.

Я знаю, как вынослив твой мотор,
Живущий только внутренним сгораньем, —
Он сам прорвется в утренний простор,
Преображенный сновиденьем ранним.

Ничейный ученик, лихой артист,
Любимец зала, искренний искатель,
Пойми: «Du bist am Ende was du bist».[1]
Стели на стол всю в винных пятнах скатерть,

Пируй, пока ты молод, а не стар!
«Быть иль не быть» — такой дилеммы нету.
В спортивной форме выходи на старт —
Орлом иль решкой, но бросай монету!

Так в чем же дело? Может статься, мы
Ровесники по гамбургскому счету
Иль узники одной большой тюрьмы,
В которой сквозь решетку брезжит что-то...

Да, это говорю я не шутя,
Хоть весело, но абсолютно честно.
А может статься, ты мое дитя
Любимое от женщины безвестной.

Я это говорю, свидетель бог,
Без недомолвок, искренне и здраво.
Я не мыслитель. Стих мой не глубок.
Мы оба люди бешеного нрава.

И каждый этим бешенством согрет,
Загримирован и раскрашен густо.
Мы оба — люди. Вот в чем наш секрет.
Вот в чем безумье всякого искусства!

15 февраля 1974

266. НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Разве ты на себя не похож,
Не талантлив, не смел, не пригож,
Не удачливей сверстников всех?
Как же это случилось? Откуда
Взгляд потухший, растерянный смех?
Отвечай — отчего тебе худо?

[1] «Ты, в конце концов, то, что ты есть» (нем.). — *Ред.*

Но недвижен ты как истукан
И ворочаешь винный стакан.
Да и песню не прочь затянуть,
Да и слез не скрываешь горячих, —
Лишь бы время зазря протянуть,
Позабыться, как мелкий растратчик.

Никаких не бывает чудес!
Где бы ни было, там или здесь,
В светлом доме иль в темном лесу,
Ты уснешь, ни к чему не готовясь.
А для встречи я сам припасу
Некрасивую вещь — твою совесть.

Узнаешь? А была молода
И в ответах горда и тверда,
Отвечала за всё и за всех,
Не смолчала в труднейшие годы...
Взгляд потухший, растерянный смех...
Ни отсрочки, ни спуска, ни льготы.

До свиданья, прощай и прости!
Я сжимаю в остывшей горсти
Свое скомканное письмо,
Не отправленное адресату,
Не прочтенное... Время само
Хоть на этом срывает досаду.

1962

267. ДОН-КИХОТ

Не падай, надменное горе!
Вставай, молодая тоска!
Да здравствует вне категорий
Высокая роль чудака!

Он будет — заранее ясно —
Смешон и ничтожен на вид,
Кольцом неудач опоясан,
Дымком неустройства повит.

А кто-то кричит: «Декламируй.
Меча не бросай, Дон-Кихот!

В горячей коммерции мира
Ты мелочь, а всё же доход.

Дерись, разъярясь и осмелясь,
И с красным вином в бурдюках,
И с крыльями ветряных мельниц, —
Ты этим прославлен в веках.

Недаром, сожженный как уголь,
В потешном сраженный бою,
Меж марионеток и кукол
Ты выбрал богиню свою!

Она тебе сердце пронзает,
Во всем отказав наотрез».
. . . .
Об этом и пишет прозаик,
Когда он в ударе и трезв.

1969

268. НОЧЬЮ

Мы вышли поздно ночью в сенцы
Из душной маленькой избы,
И сказочных флуоресценций
Шатнулись на небе столбы.

Так сосуществовали ночью
Домашний и небесный кров,
И мы увидели воочью
Соизмеримость двух миров, —

Родство и сходство их от века,
Ликующие в них самих,
Когда в сознанье человека
Всё проясняется на миг,

Когда вселенная влюбленно
И жадно смотрит нам в глаза,
И наготою раскаленной
Притягивает нас гроза.

1975

269. КАНАТОХОДЦЫ

Вся работа канатоходца
Только головоломный танец.
Победителю тут венца нет,
А с искусством ничтожно сходство.

Наше дело очень простое:
Удержать вверху равновесье,
Верить в звездное поднебесье.
Как деревья, погибнуть стоя.

В каждом цирке есть купол этот,
Не обрушенный в прах опилок.
Путь наш ясен, а нрав наш пылок,
И отчаянно весел метод.

Перестаньте, зрители-гости,
Спорить с бедными мастерами!
Посторонние в нашей драме,
Обсуждать исход ее бросьте!

Что бы ни было, нет вам дела
До грозящей другим расплаты,
Оттого что вы не крылаты
И не ваша рать поредела.

1964, ⟨1975⟩

270. ДВОЙНИКИ

С полумесяцем турецким наверху
Ночь старинна, как перина на пуху.

Черный снег летает рядом тише сов.
Циферблаты электрических часов

Расцвели на лысых клумбах площадей.
Время дремлет и не гонит лошадей.

По Арбату столько раз гулял глупец.
Он не знает, кто он — книга или чтец.

Он не знает, это он или не он:
Чудаков таких же точно миллион.

Двойники его плодятся как хотят.
Их не меньше, чем утопленных котят.

1975

271. ТАК СЛУЧИЛОСЬ

Ты сбежишь от его заклинающих глаз,
Ты отыщешь, куда тебе скрыться.
Но постой! Если ты на других обожглась,
Разве он хулиган, а не рыцарь?

Ведь на Страшном суде не зачтется виной
Ему жаркая, жалкая дерзость.
Так случилось! Хватило минуты одной —
Сразу пропасть меж вами разверзлась.

Так случилось! Хватило на то у двоих
Благонравья и благоразумья.
Стороной пролетел обжигающий вихрь,
Не сработал потухший Везувий.

Вот оно как у вас напоследок идет,
Будто рушится с кручи отвесной.
Но какой же он сам призовой идиот,
Что тебе исповедался честно!

1975

272. ВЫ ВСТРЕТИТЕСЬ

Вы встретитесь. Я знаю сумасбродство
Стихийных сил и ветреность морей,
Несходство между нами и сиротство
Неисправимой верности моей.

И вот в отчаянье и нетерпенье
Ты мчишься вниз и мечешься летя,
Вся в брызгах света, в радугах и в пене,
Беспечное, беспутное дитя,

Перед тобой синеет зыбь морская,
Там злющие чудовища на дне.
А над тобою, весело сверкая,
Смеется злое солнце обо мне.

Но ты мелеешь и с внезапной грустью,
Продрогшая от гальки и песка,
Бессильная, ползешь к морскому устью,
Мне одному понятна и близка.

1964

273. СОНЕТ

Легко скользнула «Красная стрела»
С перрона ленинградского вокзала.
И снова нас обоих ночь связала
И развернула смутных два крыла.

Но никаких чудес не припасла,
И ничего вперед не предсказала.
Мне сердце нежность горькая пронзала —
Так сладко, так по-детски ты спала,

Как будто бы вошла в хрустальный грот.
Я видел твой полуоткрытый рот...
Ну так дыши всё ближе и блаженней,

Спи, милая, но только рядом будь!
Пусть крепок сон. Пусть короток наш путь.
Пусть бодрствует мое воображенье.

⟨1975⟩

274. СТАРИННЫЙ РОМАНС

(Подражание)

Ты мне клялся́ душой сначала,
Назвал ты душенькой меня, —
Но сердце у меня молчало,
Бесчувственное для огня.

Ты от меня ушел в дурмане,
Ужасно бледен, со стыдом,
И с горстью медяков в кармане
Пришел в ту ночь в игорный дом.

Там деньги на сукне зеленом,
А в канделябрах жар свечей.
Там в каждом сердце воспаленном
Гнездится алчный казначей.

Ты входишь... В голове затменье...
Но, глядя гибели в глаза,
На карты ставишь всё именье —
И сразу выиграл с туза!

Что за удача! Что за диво!
Удвоил ставку банкомет,
Но он фортуны нестроптивой
Из рук твоих не переймет.

Уже вам не хватает мела
Сводить подсчеты на сукне.
. . . .
Ты пред рассветом стукнул смело
На огонек в моем окне.

Проснулась я и онемела.
Казалось, всё это во сне.
А ты стоял белее мела
И бросил выигрыш свой мне.

И сердце у меня стучало!
Я ассигнаций не рвала,
Клялась тебе душой сначала,
А после душенькой звала.

⟨1977⟩

275. ЗИМА

Зима без маски и без грима,
Белым-бела, слаба, не слажена,
Но и таящаяся зрима,
Но и молчащая услышана.

Она сама полна предчувствий,
Уместных разве только в юности,
Сама нуждается в искусстве,
В его тревожной, дикой странности.

Всё дело в нем! Всё окруженье
Кистей, и струн, и ритма требует.
Всё бередит воображенье,
Торопит, бродит, бредит, пробует...

А мы, теснящиеся тут же,
Оцениваем дело заново, —
Канун зимы, преддверье стужи,
Разгар художества сезонного.

18 ноября 1968

276. В ДОМЕ

Дикий ветер окна рвет.
В доме человек бессонный,
Непогодой потрясенный,
О любви безбожно врет.

Дикий ветер. Темнота.
Человек в ущелье комнат
Ничего уже не помнит.
Он не тот. Она не та.

Темнота, ожесточась,
Ломится к нему нещадно.
Но и бранью непечатной
Он не брезгует сейчас.

Хор ликующий стихий
Непомерной мощью дышит.
Человек его не слышит,
Пишет скверные стихи.

1975

277. ТОЛЬКО РИТМ

Остается один только ритм
Во всю ширь мирозданья —
Черновик чьей-то юности,
Чьей-то душе предназначенный...
То, что было в двадцатых годах
Не достойно изданья, —
Уцелело нечаянно,
Сделано наспех и начерно.

Чьей-то песни давнишней припев,
Едкой соли крупица
Под чердачными балками
В хламе, в пыли разворошена.
Там сверчок свиристит,
Но куда же ему торопиться?
О, щемящая нежность,
Гремящая в горле горошина...

Нет исхода у гибнущей юности,
Нет облегченья.
Что зачеркнуто черною тушью —
Из памяти выпало.
Не поможет рентген —
Тщетно щупает мозг облученье:
Очертанье лица
Из безликого черепа выбыло.

Лжесвидетели ждут,
Но от них не добьешься отчета.
Баста! Точка и та
Продиктована горечью,
А по правде сказать,
Не мое это дело, а *чье-то.*
Крепко дверь заперта
К Антокольскому Павлу Григорьичу,

1976

278. ПОКОРНЕЙШАЯ ПРОСЬБА

Поэзия гипотез,
Наш голод утоли:
Дай заглянуть в колодезь,
В черновики твои!

Друг к дружке жмутся рифмы
В темнице вялых строк,
И проклинают нимфы
Бумажный свой острог.

О будущем заботясь,
Куда же ты ведешь,
Поэзия гипотез,
Седую молодежь?

Век числится двадцатым,
Но в восемьдесят лет
Не разглядел конца там
Знакомый твой поэт.

Поэзия гипотез,
Твой безъязыкий гул,
Неправленый твой оттиск
Он в печку зашвырнул.

1976

279. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАНТАСТА

Бледнеет память постепенно,
Мутнеет жемчуг что ни час,
Истаивает, никнет пена,
По серой отмели влачась.

Решают люди сытно кушать,
Дела вершить, впотьмах грешить,
Ужасной музыки не слушать
И прошлого не ворошить,

А под землею тихо роет
Крот безысходные ходы.

А над землею астероид,
Обломок редкостной руды,

Еще невидимый отсюда, —
Так мал и слаб... А между тем
Всю ночь звенит в шкафах посуда,
Крошится камень толстых стен.

О, нет! Не крот, не астероид —
Честнейший в мире человек
Изобретает, чертит, строит
Посланье в двадцать пятый век.

Вот он закуривает трубку
И в яркий полдень на свету
Бросает сделанную хрупко
Модель игрушки в высоту.

Он знает — цели не достичь ей,
Но весело играть с огнем!
Есть что-то детское и птичье,
Нет человеческого в нем.

Но есть и праведная тяга
Гранить, чеканить, мять, паять.
Он не пижон и не бродяга
И вещь сработает «на ять».

И будет день — и брызнет снизу
Вся в пламени его душа,
И, как лунатик по карнизу,
Шагнет он вверх, едва дыша.

Оттуда не дождаться писем.
Но на какой же он звезде?
От тяготенья независим,
Видать — нигде... Или везде!

Но, может быть, дождется правнук,
Что он воротится назад
И на земле отыщет равных,
Всю землю превративших в сад.

Пришлец из космоса наладит
Иных свершений чудеса.

И люди спросят: «Где ты, прадед,
Умища столько набрался?»

Ответ отрывист и неясен —
Всё, дескать, проба, пустяки...
Пришлец туманом опоясан.
Ему потомки не близки.

Но есть в нем дерзость, как бывало,
И самообладанье в том,
Что у последнего провала
Он встанет с крепко сжатым ртом.

Узнавший ад иных галактик,
Не образумится фантаст!
Художник риска, а не практик,
Одни загадки нам задаст.

Так и не вырвавшись отсюда,
Войдет он в строй земных систем.
...Не зазвенит в шкафах посуда,
Не искрошится камень стен...

1975

280. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ

Владимиру Орлову

Состарился в эпохе переломной
Надменный денди, демон домовой.
А барский дом его шестиколонный
Всё так же красовался над Невой.

Та женщина — Очей Очарованье —
К нему являлась ночью не стучась.
Он обзывал ее распутной рванью,
Из-за нее стрелялся — в добрый час!

Но воскресал в другую дверь — химерой
И неопасной тенью... Да и ночь
Неуловимо превращалась в серый
Гранит и не могла ему помочь.

Ссыхались, съеживались, костенели
Извозчики, солдаты, гайдуки.
А рядом с ним, не запахнув шинели,
Шагал костлявый дух его тоски,

Метался в прошлом он и в нашем веке,
Документальным данным вопреки,
И в смертный час ему закрыла веки
Та женщина из пушкинской строки —

Не Анна Керн, не в Чудное Мгновенье,
Но в череде безудержных измен,
В чудовищном его самозабвенье
Загадочная по сей день Эн Эн.

Но кем же был он, гибели избегнув,
Чего он ждал в бесцельности своей,
Костлявый дух безлюбых и безгневных,
Зачавший столько лишних сыновей?

Кем был он? Сновиденьем белой ночи?
Романтиком иль книжным заритком?
Для чьих необычайных полномочий
С бессмертьем был он запросто знаком?

Онегин ли, Печорин, или Рудин
Еще скитался, по свету гоним?
...Но как литературоведам труден,
Как бесполезен строгий суд над ним!

1976

281. КОЛОДЕЦ

В глубоких колодцах вода холодна.
Но чем холоднее, тем чище она.

И. Бунин

Возникает, колеблется, с воплем проносится мимо.
Если просишь: останься! — то всё потерял впопыхах.
То, что было когда-то обещано, — ветром гонимо,
И любимая женщина не уместилась в стихах.

Утверждают, что время — глубокий колодец свободы,
Что в глубоких колодцах вода холодна и черна,
Пусть проносятся годы и плещут подземные воды,
Я бадью опускаю до самого черного дна.

1976

282. ПОГОНЯ

Ты помнишь? — скрещались под сабельный стук
Червонные звери геральдики древней.
Мы вышли из башни. Огонь, догорев в ней,
Зализывал спешно оконный уступ,
Метался под ветром...

И мы понеслись по некошеным рвам,
Нас вихорь от грешной земли оторвал,
И вот уже в тучах погоня лихая,
И корчится чертополох, полыхая.

Всё спуталось. Башня. Очаг непотухший...
Оленьи рога и косматые туши
Кабанов... и кубки... и в кубках вино...
О милая, как это было давно!

И вправду ли было? Подробности быта
Одни остаются, а сущность забыта.
Нам незачем сниться друг другу и спать,
Когда рассветает опять...

Теперь мы узнаем, чем кончится сон!
Был рвами когда-то пожар обнесен.
Что тлело в стропилах, шатало, знобило,
Что снилось тебе — это всё-таки *было*!

И снова я молод, безвестен, один
И корчусь обугленным чертополохом.
Стать комьями глины — и это неплохо!
Стать пеплом... А все-таки мы победим.

Поэзия делает дело свое
И в тщетной погоне за прошлым рожает

Всё то, что грядущее воображает:
Так господу богу она подражает,
И только за это мы верим в нее!

1976

283. РАЗБЕРЕМСЯ

Разберемся же в черновиках и цитатах:
Что оставить, что сжечь, а чего не прочесть?
В чем единственный и драгоценный остаток?
Ветер. Юность. Печаль... Это все-таки есть!

Всё, что пахнет скандалом и ветром и льется
Через край, не заботясь о низкой цене,
Что поется без нот и без спросу дается,
Это все-таки прочно останется мне.

Это все-таки есть! По московским бульварам,
Где прикинулась листьями ржавая жесть,
Я пойду за своим небывалым товаром,
Я найду мою тень. Она все-таки есть.

1928, 1975

284. СОН

Разбудила музыка, вломилась,
    Всё пространство заняла,
Мне явила божескую милость,
    С жесткой койки подняла.

Музыкой разбуженный на горе,
    Взял рубаху и штаны,
Умывался в грязном коридоре
    Под присмотром тишины.

Вот в промозглом утреннем тумане
    Закричало воронье:
Привлекало хищное вниманье
    Шествие на казнь мое...

С той минуты празднуются ночи,
Жизнь во все рога трубит.
Праздные и праведные очи
Вылезают из орбит.

А вокруг клубятся, рвутся тучи,
Небо молнии секут.
Призрак мой, уродливо растущий,
Весь изодран, как лоскут.

Ни ушей, ни глаз — одни пробелы,
Ни души — лишь пустота.
Очерк стертый, облик оробелый...
Только суть его чиста.

Он глядит, глядит, глядит оттуда,
Словно бы сквозь стекла линз —
В это нескончаемое чудо,
В нескончаемую жизнь.

1967

285. ПОРА СМИРИТЬСЯ, СЭР!

«Пора смириться, сэр!» —
Приснилось Блоку ночью.
Но волк не сэр. Он сер:
Вот его шерсти клочья.

Какой же в этом толк,
Что не в овечьей шкуре
Обыкновенный волк
Слегка набедокурил?

Какой же в том расчет,
Что волка-ветерана
Красавица влечет
И в сердце волчьем рана?

Года бегут, скользят...
Волк смерти не сдается.
Красавица смеется,
Как триста лет назад...

1974

286. КЛАДОВАЯ

Памяти Зои

Без шуток, без шубы, да и без гроша
Глухая, немая осталась душа,

Моя или чья-то, пустырь или сад,
Душа остается и смотрит назад.

А там — кладовая ненужных вещей.
Там запах весны пробивается в щель.

Я вместе с душой остаюсь в кладовой,
Весь в дырах и пятнах — а все-таки твой,

И все-таки ты, моя ранняя тень,
Не сказка, не выдумка в пасмурный день.

Наверно, три жизни на то загубя,
Я буду таким, как любил я тебя.

1929

287. ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ

Жилье твое остужено.
Жена твоя покойница
Была любимой суженой —
И вот былинкой клонится.

И спит в подводном Китеже,
Спит, запертая в тереме.
А ты сиротство выдержи,
Коли богат потерями.

Ничто, ничто не сдвинуто,
Всё прочно закольцовано.
А если сердце вынуто —
Заснет в конце концов оно.

Забудь свое случайное.
Застынь в метели режущей
И настежь дверь в отчаянье —
В последнее прибежище.

1975

288. СТИХИ ПОД ЭПИГРАФОМ

> Ручей столько натаскал камней и песку,
> Что вынужден был переменить свое русло.
>
> *Леонардо да Винчи*

Нет, русла я не изменил
И не искал тропы окольной,
Но с отрочества, с парты школьной
Расту разливами, как Нил.

Не так разливы широки,
Чтоб можно было заблудиться.
И даже мутная водица
Не замутит моей строки.

А что касается камней,
То сколько бы ни натаскал их,
Я не забыл о мощных скалах,
Склонявших головы ко мне.

1975

289

Ну что же! И пускай не доживу.
Суть не во мне. Зато мой внук — дитя —
Немыслимую эту синеву
Всю пролетит насквозь, почти шутя.

Смеясь, дымя пахучим табаком,
Он кончит то, что мне не довелось.
И вдруг подступит к горлу трудный ком
Каких-то там невыплаканных слез.

О чем, бог весть. О связи между ним
И прошлыми веками. О лучах
Космических, которыми храним
От тяготенья памяти смельчак

Сплетется сам собою в знойный день
Вокруг кудрей мальчишеских венок.
И я вернусь и лягу, словно тень,
Неслышимый, у этих милых ног.

1958

290. ЕЩЕ ОДИН ВЕЧЕР

Ненастный вечер. Свет, горящий вполнакала,
Плохой табак, а от него туман в мозгу.
Душа, чего ты жаждала, о чем алкала?
Молчи о том, старуха! Слышишь?
Ни гу-гу!

Усни, душа, укройся одеялом
ватным.
Моих безумных писем не прочтешь.
Я труд люблю: на стол наколот чистый ватман,
Да весь насквозь дождями вымочен
чертеж.

Баллоны с жидким кислородом
на ущербе.
Молчит архангел, отменивший
Страшный суд.
Лишь корни русских слов роятся
будто черви,
Немые, грудь земли-кормилицы сосут.

1962

291. НАБРОСОК БУДУЩЕГО

Умолкнул голос человеческий,
Никем и не услышанный.
Истлели все овечьи вычески
В траве, никем не скошенной.

Чей стон промчится над Евразией,
Зальется над Америкой,
Какой эпической поэзией,
Какой любовной лирикой?

Какая мраморная статуя,
Чья камерная музыка
Восстанут из развалин, сетуя
На козни астрофизика?

5 мая 1964

292

Не вспоминаю дней счастливых,
Не замечаю лиц знакомых.
Я весь какой-то странный вывих.
Я весь какой-то сонный промах.

Сосредоточен иль рассеян...
Но здесь иная зреет странность, —
Как будто чувствую: со всею
Вселенной собственной расстанусь,

И, к расставанию готовясь,
Сжигаю книги и рубахи,
Соображение и совесть,
И говорю своей собаке:

«Ты, умница, еще не слышишь,
Как безнадежно я пылаю.
Ты за меня стихи допишешь,
А на луну я сам залаю».

1964

293

Понимаешь? Я прожил века без тебя
И не чаял, что в будущем встречу.
И случалось, в охрипшие трубы трубя,
Не владел человеческой речью.

Пил вино, и трудился, и стал стариком,
И немало стихов напечатал,
Но застрял в моей глотке рыдающий ком —
Слабый отзвук души непочатой.

Вот она! Отдаю тебе душу и речь,
Если хочешь, истрать хоть на рынке,
Только зря не жалей, не старайся сберечь,
Да и пыль не стирай по старинке.

И пускай у тебя она пляшет в глазах
В дни чудес, и чудовищ, и чудищ:
Это завтрашней молнии ломкий зигзаг —
Тот, с которым ты счастлива будешь!

Март 1965

294. В СЕМИДЕСЯТЫХ — ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

В конце таинственного века
Среди развалин, в щелях скал
Державный разум человека
Свою жилплощадь отыскал.

Вот он — разведчик руд несметных,
Проходчик в штреке вековом,
Семижды семь потов бессмертных
Со лба стирает рукавом.

Как валит с ног его усталость,
Как сухи губы, как черны...
Что дальше? Сколько дней осталось
До межпланетной стороны?

К последней скорости ревнуя,
Ведя рекордную игру,
Он тратит выручку дневную
В похмельях на чужом пиру.

Что ж, невеселенькая трата...
Но ведь в заштатном городке
Он с прадедом запанибрата
И с правнуком накоротке.

Едва рассветное сиянье
Забрезжит и прорежет ночь,
Халдеяне и марсиане
С ним познакомиться не прочь.

Он всех зовет на поздний ужин,
Пускай теснятся у стола —
Кто слишком важен, кто контужен,
Кто сложен, кто сожжен дотла.

Не в званье дело и не в чине!
В конечном счете всё равно,
Кому и по какой причине
Допить последнее вино.

Что там, в дырявых бочках ада,
Амврозия иль самогон,
Иль атомная канонада,
Заваренная под разгон?

Что там ни будь, но выпей разом
Со дна поднявшуюся муть.
И пей до дна, державный разум,
Ты завтра сможешь отдохнуть.

1966

295. ТАК ИЛИ ЭДАК

Разве я буду опять молодым,
Разве не прожил жизни, не дожил,
Не подытожил, не уничтожил,
Не превратил ее в черный дым?

Разве не кончусь легко и сразу
В зареве утра, в полночной тьме,
В твердой памяти, в здравом уме
Не допишу последнюю фразу?

Или не стоит соваться в нее,
Свататься к ней, а лучше сорваться
С жалкой трапеции, в гром оваций,
В пыль, на арену — и в забытье?

И на секунду — хоть напоследок —
Как это было раньше во сне,
К ранней своей вернуться весне...
Так или эдак... Так, а не эдак!

1968

296

История! В каких туманах
Тебя опять заволокло?
В чьих мемуарах иль романах
Сквозь непромытое стекло
Ты искаженно проступила
И скрылась? И торчат из тьмы
Чертогов рухнувших стропила,
Где наши пращуры детьми
Играли в Кира иль в Тимура...

Нет! Этого не может быть!
Нельзя так немощно и хмуро
Свою обязанность забыть.

Прямей смотри в живые лица,
В сердца и действия людей.
Чтоб их весельем веселиться,
Искусством ПРАВДЫ овладей.

Ты и сама живая Правда.
Архив долой, раскопки прочь.
Ты не вчера, а только завтра.
Пляши и пой, плачь и пророчь!

Ты не Помпея, не Пальмира,
Не спекшаяся в лаве мышь.
На роковых распутьях мира
Ты в трубы грозные гремишь!

Январь 1969

297. ДОСТОЕВСКИЙ

Начало всех начал его. В ту ночь
К нему пришли Белинский и Некрасов,
Чтоб обнадежить, выручить, помочь,
Восторга своего не приукрасив,
Ни разу не солгав. Он был никем,
Забыл и о науке инженерной,
Стоял, как деревянный манекен,
Оцепеневший в судороге нервной.

Но сила прозы, так потрясшей двух
Его гостей — нет, не гостей, а братьев...
Так это правда — по сердцу им дух
Несчастной рукописи?.. И, утратив
Дар слова, — господи, как он дрожал,
Как лепетал им нечленораздельно,
Что и хозяйке много задолжал
За комнату,
что в муке трехнедельной
Ждал встречи на Аничковом мосту
С той девушкой, единственной и лучшей...

А если выложить начистоту, —
Что ж, господа, какой счастливый случай, —
Он и вино припас, и белый хлеб.
У бедняков бывают гости редко.
Простите, что он пылок и нелеп!
Вы сядьте в кресла. Он — на табуретку.

Вот так он и молол им сущий вздор
В безудержности юного доверья.
А за стеной был страшный коридор,
Там будущее пряталось за дверью,
Присутствовал неведомый двойник,
Сосед или чиновник маломощный,
Подслушивал, подсматривал, приник
Вплотную к самой скважине замочной.

С ним встреча предстоит лицом к лицу.
Попробуйте и на себя примерьте
То утро на Семеновском плацу,
И приговор, и ожиданье смерти,
И каторгу примерьте на себя,
И бесконечный миг перед падучей,
Когда, земное время истребя,
Он вырастет, воистину грядущий!

Вот каменные призраки громад,
Его романов пламенные главы
Из будущего близятся, гремят,
Как горные обвалы. Нет — облавы
На всех убийц, на всех самоубийц.
В любом из них разорван он на части.
Так воплотись же, замысел! Клубись,
Багряный дым — его тоска и счастье!

Нет будущего! Надо позабыть
Его помарок черновую запись.
Некрасов и не знает, может быть,
Что ждет его рыдающий анапест.
А вот Белинский харкает в платок
Лохмотьями полусожженных легких.
И ночь темным-темна. И век жесток —
Равно для всех, для близких и далеких.

Кончалась эта ночь. И, как всегда,
В окне серело пасмурное утро.

Спасибо вам за помощь, господа!
Приход ваш был придуман очень мудро.
Он многого не досказал еще,
В какой живет он муке исполинской.
Он говорил невнятно и обще.
Молчал Некрасов. Понимал Белинский.

1970

298. ОПЯТЬ ОРФЕЙ

Черепной улыбкой осклабясь,
Он прощенья просил у всех
За причуды свои, за слабость,
За рыданье, за жуткий смех.

Проявили к нему сердечность,
Несмотря на ее тщету,
И одну оставили вечность
На текущем его счету.

Это столько раз повторялось,
Сколько падало с неба звезд.
Иссякали нежность и ярость,
Стихла буря смеха и слез.

И тогда — в тумане болотном,
Бесприютен и одинок,
Он, казавшийся вам бесплотным,
Камнем стал — с головы до ног.

1975

299

Мне странно говорить о том,
Что не написан целый том,
Что заморожен целый дом,
Что я твоим судим судом.

Мне жутко будущего ждать,
И бледным призраком блуждать,
И в будущем предугадать
Несбыточную благодать.

Но выбор слишком невелик,
Он и двусмыслен и двулик.
Бросает лампа на пол блик
Предосудительных улик.

Стихи даются мне легко,
Но не взлетают высоко.
А ты живешь недалеко
Под именем МАНОН ЛЕСКО.

10 января 1976

300. ТРИПТИХ

А. Н. Н.

1

Вот и явился я в твой дом,
Пусть не в родной, зато в последний, —
Старик восьмидесятилетний,
Не осужден ничьим судом.
Всё ясно! Я на всё готов.
Пусть безнадежно и жестоко
Бьет насмерть напряженье тока
От оголенных проводов.

2

Нет, совсем о другом! Горячей,
Чем когда-либо раньше. Ты снова
Прожила не моей и ничьей, —
Вот и найдено нужное слово!
Шесть по-разному прожитых лет,
Но была в них и сладость и горечь,
И остался печатный их след,
Вот как действовал
Павел Григорьич!

3

Но если даже ты права,
То я правей раз во сто!
Всё остальное — трын-трава.
Ей-богу, это просто.

Я верю выдумке такой:
Пока еще не умер,
Пока ликует непокой,
Пока диктует ЮМОР.

1976
Псков

301. УТВЕРЖДЕНИЕ

Мы знаем праздники, которых
В аду и в небе не забыть.
Да, самое большое — быть
В другом прохожем, в песне,
в спорах
И в той, кого нельзя добыть.

Да, самое большое — помнить
И видеть яростию глаз
Всё, что открыто напоказ,
Что не коснется этих комнат
Трезвоном бесполезных фраз.

Что всё прелестно и нелепо.
Что всё влечет издалека —
И золотая горсть песка,
И вальс в отчаянье вертепа,
И беспричинная тоска...

1976

302—304. *ПЕСНИ ОТКУДА-ТО*

1

Дикий ветер воет в скалах,
Сердце мечется в груди.
Где враги? Я так искал их,
Знал, что подвиг впереди.

Я дорогу начинаю.
Надо мной гремит гроза.

Вся вселенная ночная
Жадно смотрит мне в глаза.

Жёсток панцирь опаленный.
Меч иззубрен, но остер.
А в груди, в груди влюбленной
Разгорается костер.

Пред лицом великих странствий
И нечаянных побед
В тыщелетнем постоянстве
Я даю тебе обет.

Пусть останусь вечно молод,
Лишь избранницу любя.
В смертный час, клинком заколот,
Встречу смерть ради тебя.

Мимо, мимо проноситесь,
Скалы, реки, города,
Бурной жизнью не насытясь,
Я не сгину никогда.

2

Одна звезда в полночном небе,
Одна звезда горит.
Какой мне выпал странный жребий,
Звезда не говорит.

То звон мечей, то лепетанье
Поющих где-то струн,
Ночь зачарована, и в тайне
Хранит ее колдун.

Ночь зачарованная дремлет,
Загадками полна.
Но этой смутной песне внемлет
На всей земле — одна.

3

Сердце мое принадлежит любимой,
Верен одной я непокслебимо.

Есть у меня колечко с амулетом:
Дымный топаз играет странным цветом.

К милой приду и посмотрю ей в очи:
«Слушай меня, не бойся этой ночи!

Слушай меня! Огонь любовный жарок,
Я амулет принес тебе в подарок».

Если она принять его захочет,
Дымный топаз нам счастье напророчит.

Если она в ответ смеяться будет,
Верный кинжал за всё про всё рассудит!

1976

305. БАЛЛАДА

Я не песню пропел, не балладу сложил,
Отыскал я прямую дорогу,
Но желанной награды я не заслужил
И не заворожил недотрогу.

Время шло. Зазнобила седая зима.
Зачастили короткие встречи.
И она меня часто сводила с ума,
Но о будущем не было речи.

Но росла моя жажда. И ранней весной
На окраине где-то московской,
Может, на поле чистом иль в чаще лесной,
Повстречался я с гостьей таковской.

Ее облик менялся в далеком пути,
И на Балтике в сумрачной сини
Ей хотелось по гальке горячей пройти
До Купавны ногами босыми.

Да, я завтра увижу ее. Только нет
С вологодской девчонкою сладу,
Не услышал я зова далеких планет,
А сложил напоследок балладу.

1976

306

Дарю тебе железное кольцо.

Марина Цветаева

Где ж оно, железное кольцо?
Там, где смерть Кощея в океане.
Я глядел всем девушкам в лицо, —
Чем старее был, тем окаянней.

Где ж они — «бессонница, восторг,
Безнадежность», данные Мариной?
Угодил я в старость, как в острог,
Иль сгорел в горячке малярийной.

В лотерее вытянул билет
Выигрышный — да делиться не с кем.
Миновало пять десятков лет
Ветром резким над проспектом Невским.

День мой беден, вечер мой убог,
Ночи непролазны, как болота.
Не художник, не силен, не бог
И не дуб — а только пень-колода.

1976 (?)

307. ДЫШУ

Влад. Орлову

Дышу — и там и тут — и в бурном
Отчаянье. Курю. Пишу —
Стихи о торжестве мишурном,
В котором плачу и дышу.

Дышу, разламывая воздух,
Как будто мир — большой вертеп,
Как будто мир в падучих звездах
Сам обессилел и ослеп.

Дышу. Сгорают макрокосмы,
И гибнут на ветру костры.
И разметались рядом космы
Ничьей заоблачной сестры.

Что это — слава колоколен?
Или моя глухая кровь?
Я снова молодостью болен
Неизлечимо — как любовь.

Театры, города, солдаты,
Девические имена
Вмешались в ямб чудаковатый,
В мартиролог ночного сна...

Но каждый сон продлится в мире
Не более пяти минут.
И этой многоверстной шири
Другие люди не поймут.

Я, ненавидящий, влюбленный,
Зачатый в полночь человек,
Вступая в хор многомильонный,
Дышу. В последний раз. Навек.

1976 (?)

308. СПЛОШНАЯ СКАЗКА

В. Рецептеру

Червонцами, отсыпанными щедро,
Задобрили в ночной харчевне смерть
Дон Мигуэль Сервантес де Саведра
И тень его, скрипящая как жердь.

А солнце — герб на ветхом фолианте,
И есть вино у городских гуляк,
И не спеша, верхом на Росинанте,
Топча стекло разбитых где-то фляг,
Въезжает в мир мечтательный поляк.

Уснул Мерлин. Иссякла грудь Роланда.
А мельница глупа и весела.
Беснуется комедиантов банда,
Но Санчо Панса потерял осла.

А наверху, где сельской были проза
Слагается в скитальческую дурь,
Опять хохочет девка из Тобозо,
Просунув нос в бумажную лазурь...

1976 (?)

309. МАРКИЗ ДЕ КАРАБАС

(Вариация на тему сказок Перро)

Маркиз де Карабас гулял по сказкам,
Ничем не потрясен, слегка потаскан,
Лорнировал века.
Кот в сапогах служил ему смиренно.
Но никакая ловкая сирена
Не обольстила старика.

Когда же наш маркиз попал в темницу,
Где род людской столетьями томится,
Он обнаружил там
Такой уход за собственной персоной,
Что изнемог от скуки — вялый, сонный —
И предался мечтам...

О чем? — Бог весть... О прошлом, о грядущем...
О некоем Кощее завидущем,
Замзаве местной лжи:
Всё было мыслимо. Всё достижимо.
Все сейфы открывались без нажима —
Лишь только прикажи...

Однако и маркизу было жутко
Бездействовать в эпоху промежутка.
Маркиз мечтал попасть
В обыкновенный Ад, в простую драму,
Где дряхлый Кот не стерпит тарараму,
Лишь разевает пасть.

1976 (?)

310

Нечем дышать, оттого что я девушку встретил,
Нечем дышать, оттого что врывается ветер,
Ломится в окна, сметает пепел и пыль,
Стало быть, небыль сама превращается в быль.

Нечем дышать, оттого что я старше, чем время.

1976 (?)

ПОЭМЫ

311. РОБЕСПЬЕР И ГОРГОНА

Драматическая поэма

Зое Бажановой

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Фургон

Начало термидора второго года Республики (июль 1794 года). Париж. Застава Сен-Дени. Санкюлот взмахом руки останавливает большой полосатый красно-зеленый фургон, на одной из стенок которого намалевана огромная маска Горгоны. Изображение слиняло, но общие контуры сохранились. На козлах фургона Горбун, с жидкой косицей, в полосатом камзоле, грязном желтом жабо и треуголке.

Санкюлот

Эй, гражданин! Что у тебя в фургоне?
И кто ты сам? Дай пропуск, если есть.

Горбун

Алкивиад Ахилл Бюрлеск, философ.
Привез в Париж семью и балаган.

Санкюлот

Комедиант? Я так и думал. Это
Пустое ремесло... Не обижайся!
Ты, может быть, хороший санкюлот
И ярый якобинец, но бездельник.
Теперь показывай бумаги.

Горбун

Вот!

Санкюлот

Гм!.. Всё в порядке.

(Читает.)

«Балаган Горгоны
Под управленьем карлика Бюрлеска...
Патент на право представлений...» Так.
«Дано в Руане. Третьего нивоза
Второго года...» Что это за штука —
Горгона? Зверь, богиня или девка?

Горбун

Горгона есть чудовище и образ
Великой мрачной силы на земле.
Кто ей в глаза посмотрит, тот сейчас же
Окаменеет.

Санкюлот

Это басня?

Горбун

Да.
Я говорю про чудеса такие
Не для того, чтоб в просвещенном веке,
Когда народы встали на тиранов,
Смущать сердца и развращать умы...

Санкюлот

Прекрасно сказано!

Горбун

А этот герб —
Чело Горгоны, змеекудрой ведьмы —
Я выбрал потому, что наше время
Великое и мрачное. И люди
Должны смотреть в лицо, не каменея,
Войне и коалиции. Вы сами
Теперь почище всех моих горгон.

Санкюлот

Ну, открывай свой гроб.

Горбун

Изволь, мой Гектор!

Открывается окно фургона. Первым показывается личико белокурой девушки во фригийском колпаке.

Санкюлот

Гражданка хоть куда!

Горбун

Она приемыш,
Дитя безвестности. Живет со мной
С младенчества. Откуда, кто — не знаю.
Зовем ее мы Стелла. Акробатка.

Санкюлот

Да это сущий клад для парижан!
Приветствую тебя, гражданка Стелла!
Весьма доволен я твоим лицом,
Кокардой патриотки и улыбкой.
Не вижу, к сожаленью, остального,
Но убежден заранее, что всё,
Всё — совершенство, всё, что ни возьмешь.

Стелла смеется.

О, да она смеется! Значит, любишь
Такие вещи слушать?

Стелла

Нет. Привыкла.

Санкюлот

Ого! Довольно гордая гражданка.
А как тебе я нравлюсь?

Стелла

Как сказать...
Не очень.

Санкюлот

Почему?

Стелла

Ты не умеешь
Обыкновенно говорить, без крика?

Санкюлот

А хочешь, я возьму тебя на плечи
И понесу по городу? Смеешься?
Она смеется! Вот как побеждают
Сердца девиц в Париже патриоты:
Берем республиканской простотой.
Раз, два — и всё готово.

Но Стеллы уже нет в окне. Вместо нее багровое женское лицо с тремя подбородками, в полосатом тюрбане.

Что за стерва?

Горбун

Мадам Ахилл Бюрлеск, моя жена.

Санкюлот

О, я хотел сказать: привет гражданке.
Как ты доехала?

Мадам Бюрлеск

Стручок гороха!

Санкюлот

Что ты сказала?

Мадам Бюрлеск

Бешеный крикун!
Таких, как ты, у нас не замечают.
Их просто давят каблуком — и всё.

Горбун

Молчи, несчастная.

Мадам Бюрлеск

(мужу)

И ты хорош!
Нашел себе товарища, бездельник.

И я осуждена с таким вот дурнем
Жизнь провести до гроба. Горе мне!
И даже революция не может
Меня освободить. Какого ж черта
Вы делали ее? А мне терпеть?
Мне фигу, граждане? Благодарю!

Санкюлот

Ты арестована.

Мадам Бюрлеск

(плюет))

Молчи, навоз!

Санкюлот замахивается для пощечины. В окне показывается голова рычащего медведя. Санкюлот в бешенстве отступает. Медведя сменяет осел. За ним на окно вспархивает и машет крыльями, крича свой привет, петух.

Санкюлот

Здесь оскорбляют честных патриотов.
Здесь заговор, быть может, роялистский,
Здесь ужасы, от коих добродетель
Мрачнеет. Здесь людскому вероломству
Защитой служит ветошь балагана.
Ты арестован, гражданин Бюрлеск, —
Ты, и жена, и ваш фургон...

В окне опять Стелла.

Стелла

А я?

Санкюлот

Ты? Черт возьми! Совсем забыл об этом!

Стелла

Послушай, ты — хороший санкюлот,
Но вспыльчив и не понимаешь шуток.
Гражданка эта тоже патриотка.
Но у нее одышка, ревматизм,
Плохая печень — все болезни мира.
Она добра, безропотна, тиха.
И надо только выждать две недели,
Чтоб заслужить ее благоволенье.

Санкюлот

Гражданка, ты стрекочешь, как будильник.
Меня легко словами одурачить,
В особенности, черт возьми, когда
Такое личико... Молчи, гражданка!
Теперь я сам трагический актер,
Под стать Корнелю. У меня в душе
Идет борьба меж страстию и долгом.
Что делать?

Стелла

Отпустить нас.

Санкюлот

А старуха?

Горбун

Прости мою Ксантиппу, если можешь.
По крайней мере, гром был без дождя.
А то иной раз расшалится так
Мадам Бюрлеск, что на голову мне
Без содроганья свой кофейник выльет.
Я стоик и безропотно сношу
Ее, как первозданную мегеру.
Зато, отбушевав, она стихает
И вяжет мне фуфайки... Гражданин,
Мы люди бедные. До роялистов
И заговоров очень далеко нам...
А эта ветошь нищая — есть признак
Такой же честной жизни, как твоя...

(Снимает треуголку, подымает глаза к небу.)

Ты знаешь всё. Ты видишь нас, Свобода.
И, вопреки всей мерзости, кишащей
У ног твоих, — уверена в грядущем
И в том, что мы невинны.

Санкюлот

Проезжайте!

Горбун взбирается на козлы.

(Стелле)

Когда б не ты, несдобровать Бюрлескам.

Стелла

Благодарю. Прощай.

Санкюлот

Прощай, гражданка!
А если я понадоблюсь тебе,
Запомни: секция Пуассоньер.
Военный комитет. Жак Робино.
Запомнила?

Стелла утвердительно кивает.

Найдешь ли?

Стелла

Там посмотрим.

Фургон трогается.

Санкюлот

Держи построже стариков. Сама
Старайся изворачиваться. Слышишь?
Не распускай их. Будет не до шуток.
Париж — котел. Ты слышишь, как кипит он?
Как жарко дышит он тебе в лицо?
Запомни, как искать меня. Прощай!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Заговор

Задняя комната в кафе на улице Павлинов. Горбун играет в карты с толстым Спекулянтом. Перед каждым — оловянные кружки с вином. За стулом Горбуна Стелла. У дверей Хозяин читает «Монитер».

Горбун

Свобода пик и Гений.

Спекулянт

Пас.

Горбун

Тем лучше.

(Стелле.)

Дитя, в моем футляре от кларнета
Достань-ка чистый носовой платок.

Стелла удаляется.

Девятка пик. Закон червей.

Спекулянт

Ого!
Не по-республикански ты сдаешь.
Мне это подозрительно...

Горбун

В чем дело?

Спекулянт

Шучу, не бойся. Нравится мне очень
Твоя девчонка... Пас. Я без Свобод...
Она мила, свежа... Тасуй колоду.
Пастушка Феокрита...

Хозяин

Скажем проще, —
Ведь ты бывалый человек, Горбун,
Поймешь на полуслове. Так проси
Какую хочешь цену. Понимаешь?

Спекулянт

Что ж, гражданин, сыграем на девчонку?

Горбун

Опять ты шутишь... В банке двести ливров.

Спекулянт

Свобода кроет. Равенство за мной
С Гражданской Доблестью. Нет, не шучу.
Идет?

Горбун

Нет, не идет! Я этой ставки
Не буду ставить! Стелла, где платок?

Стелла возвращается.

Спекулянт

Я это, сударь, с вашей стороны
Считаю подлостью.

Горбун

Считай чем хочешь.
Клади на стол сокровища двух Индий —
Ты девочки не купишь у меня.
На деньги будем резаться всю ночь,
Пока Хозяин не запрет. Я даже
На тумбе уличной готов играть.
Но этого ребенка не касайся.

Спекулянт

Довольно странно ты на это смотришь.
Ведь я же не аристократ распутный
И этим нашу дружбу закрепил бы.
Гордишься? Черт с тобой. Играем дальше.

Хозяин

Эй, граждане, мне комната нужна
Для важной политической беседы.
А ты, Горбун, спел бы свои куплеты
Перед кафе. Там публики изрядно.

Горбун и Стелла уходят.

Спекулянт

Эй, пожалеешь! Будет поздно.

Хозяин

Брось!
Зачем шуметь? Тебя я познакомлю
С такою женщиной — оближешь пальцы.
Маркиза, фрейлина Антуанетты,
Теперь модистка, чудом уцелела...
Прелестная особа.

Спекулянт

Слушай, друг,
Устрой мне снова встречу с тем...

Хозяин

С Тальеном?
Он будет здесь.

Спекулянт

Но так, чтобы никто
Не помешал нам.

Хозяин

Можешь быть спокоен!

Между тем перед кафе, под сенью каштанов, при свете плошек, бумажных фонарей и факелов идет представление Горбуна. Фургон с откинутой задней стенкой служит подмостками.

Горбун

(фальцетом)

В начале перегона
Еще не повелось
Ни машкеры Горгоны,
Ни ржавых змей-волос,
Ни божеского роста,
Ни той безглазой тьмы.
Она актриса просто,
Она худой подросток
И весела, как мы.

Появляется Стелла. Ее волосы убраны кокардой из зеленых листьев.

Стелла

Когда вчера в полмира
Пылал дворцов картон,
Я парижан кормила
Своим горячим ртом.
Кормила карманьолой,
Брала вас голышом,
Рукой спасала голой.
Был юношеский голос
Пальбой не заглушен.

Из темных углов фургона появляются звери. Стелла мечется по подмосткам, как бы ища спасенья.

Горбун

Затопали копыта
Английского осла —
То тень Вильяма Питта
Над Францией росла.
И эмигрант, бросаясь
К соседям дорогим,
Спешил, как этот заяц,
Забыть марсельский гимн.

Стелла с внезапным порывом решимости хватает флейту Горбуна и начинает насвистывать «Марсельезу». Пальцы не повинуются ей,

но постепенно она овладевает инструментом. Из-под шкуры медведя раздается мощное гуденье мадам Бюрлеск, подпевающей слова гимна. Фургон освещен бенгальским огнем. Горбун бьет в барабан. Все трое поют «Марсельезу», публика подтягивает. Между тем внутри кафе — тайная беседа в разгаре. За столом — Барер, Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа, Фуше, Вадье и другие члены Конвента, монтаньяры и умеренные. В стороне от общей группы — Тальен.

Тальен

Тереза арестована... Но где —
В Консьержери, в Лафорсе, в Люксембурге?
Меня тошнит от мысли, что она...
Она... Фуше, ты понимаешь?.. Завтра...

Фуше

Ты много пил.

Тальен

И буду пить еще.
Всё валится. Всё не на самом деле...

Бийо-Варенн

Теперь дела!

Колло д'Эрбуа

Нет, я опять прерву.

Бийо-Варенн

Молчи, несчастный! Робеспьер не дремлет.
Скрипит пером Сен-Жюст.

Колло д'Эрбуа

Фу! Этот страх...
Как можно жить под вечною угрозой?

Тальен

(шепотом Фуше)

Ее зеленые глаза тусклы.
Ее горячий рот измучен страхом.
Ее как лира выгнутое тело
Покрыто грязною рогожей — нет...
Вот почему от липкого стакана
Я не могу сегодня оторваться.

Фуше

Отстань!

Тальен

Постой, дай досказать! .. Ты знаешь:
Я на нее истратил всё, что мог.
Я потакал ее тупым капризам...
Распоряжаясь жизнью роялистов,
Я продавал себя и Комитет.
Всё превращалось в деньги и в караты —
Страх, совесть, вымогательство и честь.
Я жалок стал, я исхудал как тень,
Не спал ночей — но я любил ее,
Ее, пустую, добрую — такую,
Какой она встает сейчас со дна
Проклятого стакана.

Хозяин кафе манит его пальцем. Тальен неверными шагами идет к нему. За спиной Хозяина — Спекулянт.

Как дела?

Спекулянт

Пять тысяч. При удаче остальное.

Тальен

Ты незнаком еще с Консьержери?

Спекулянт

Но...

Тальен

Завтра познакомишься...

Спекулянт

Семь тысяч.

Тальен

Сегодня ночью!

Спекулянт

Восемь, девять, десять! ..

Тальен

Все двадцать тысяч в золоте английском
Вперед... И никаких иных условий.

Спекулянт

Но если ты...

Тальен

Что если?

Спекулянт

Если брат
Не будет завтра на свободе?..

Тальен

Видишь
Вот этот бланк? Здесь надо только имя
Моей рукой проставить и число.
И ты поедешь сам в Лафорс. Тюремщик
Перед тобой откроет все замки.
Я полагаю, что за ужин с братом
Не так уж много двадцать тысяч ливров!
Он нажил на поставках в интендантство
И должен чистоганом расплатиться
С Республикой в моем лице.

Спекулянт

Но разве
Докажешь ты, когда, и где, и сколько
Мы нажили? Согласно всех фактур,
Имеющихся в копиях у брата,
Закуплено в Амьене и Блуа
Четыре тысячи квинталов сена
И яровой соломы. Весь фураж
Предназначался армии.

Тальен

Не надо
Мне этих данных. Мне и так всё ясно,
За исключеньем маленькой детали:
Помимо сена и соломы — вы
Скупали хлеб в Амьене...

Спекулянт

Это ложь!

Тальен

...И продавали в Бельгию.

Спекулянт

Донос!

Тальен

Довольно слов! Жизнь или кошелек —
Решай!

Спекулянт

Не позже завтрашнего полдня
Все деньги будут у тебя в руках.

Тальен

Смотри же!

Спекулянт и Хозяин скрываются. Тальен присоединяется к группе заговорщиков.

Бийо-Варенн

Что ты скажешь?

Тальен

Робеспьер,
Конечно, выше нас голов на двадцать.
Он смотрит в будущее. Но я сделал
Свой выбор. Мне здесь нечего терять.
Я средний человек. Я это знаю
И на бессмертье попросту плюю.
Кто хочет — пусть фальшивит и хоть горлом
Берет его пронзительное «си».
В моем регистре этой ноты нет!
Ты понимаешь? Не хочу — и баста!

Барер

Посредственность — вот будущая сила,
Которая придет на смену им.
Вот истина, которая дороже
Всех Деклараций Прав. Быть равнодушным,

Спокойно приспособиться, склониться
Перед необходимостью — и жить, —
Ты думаешь, такая вещь не стоит
Тех трех голов?

Колло д'Эрбуа

(мрачно)

А может быть, и больше!

Бийо-Варенн

Не думаю...

Колло д'Эрбуа

А я почти уверен.

Барер

Для краснощекой, полнокровной, доброй,
Для лучшей части нации — для брюха,
Которое при короле хирело,
Спало без просыпу, вчера проснулось
С урчаньем, с требованьем есть и пить
И завтра будет завтракать в Европе
По твердым ценам, — вот кому нужна
Такая операция.

Тальен

Дантон
Был прав: Республика не Фиваида,
Где горсть каких-то постников-траппистов
Смиреньем удивляет дураков.

Вадье

Пусть нам дадут дышать — и мы дадим.

Барер

Довольно с нас риторики. Долой
Спартанскую похлебку Робеспьера
И красноречье школяра Сен-Жюста.
Долой горящие глаза. И рты,
Хрипящие от бешеных гипербол.
Мы, черт возьми, не схемы, а созданья
Из крови, слабостей и аппетитов.
Мы будем воевать...

Колло д'Эрбуа

Наверно, будем!

Барер

Но босиком мы не пройдем и лье...
Мы будем строить... Но не балаганы,
Где девки тощие изображают
Венчанье добродетели. Мы будем
Не задаваться, а дышать — и всё.

Фуше

Короче, мы сумеем сговориться.
Теперь — дела. Проскрипционный список
Действительно гуляет по рукам.
В нем имена: мое, Вадье, Барера,
Тальена — остальные на закуску.
Осведомитель мой, вам не известный,
Дал мне понять, что Якобинский клуб...

Бийо-Варенн

Ты видел список?

Фуше

Нет. Но сам слыхал...

Тальен

Мы все слыхали. Это не причина,
Чтоб выступить. Поменьше бабьих сплетен.
Побольше точности...

Фуше

А я считаю,
Что, если списка нет, он завтра будет.
Он неизбежен. Если пал Дантон,
Падем и мы: и ты, и я, и этот...

Тальен

Сравненье с великаном неуместно.
Мы все-таки пигмеи. Надо трезво
Смотреть на вещи, граждане...

Колло д'Эрбуа

(стуча кулаком по столу)

Пигмеи?

Как бы не так. Мы люди. Средний рост
Почтенен, как любая добродетель.

Тальен

Зачем же бить стаканы?

Фуше

К делу, к делу!

Под сенью каштанов представление Горбуна продолжается.

Горбун

...Она актриса просто,
Она худой подросток
И весела, как мы...

Опять появляется Стелла.

Голос в публике

Опять сначала? Это мы видали!
Горбун, показывай, что было дальше!

Горбун

Терпенье, граждане! На этот раз
Я покажу вам вариант конца
Весьма печальный. Граждане, вниманье!

Стелла со зверями повторяет свою пантомиму.

Но шла река на убыль.
Хладел огонь в крови.
Потрескалися губы
От стольких слов любви,
От стольких клятв и песен,
Где смертью был припев.
И стал напиток пресен,
И стал мотив невесел,
И — смолкнул, захрипев.

Стелла

Ну что ж, надену маску,
Пойду пугать народ.
Смотрите, как истаскан
Вас целовавший рот.
Венчанного кретина
Скатилась голова,

О, мрачная картина!
Всем правит гильотина, —
Но песнь моя жива!

Звери с рычаньем сдвигаются вокруг нее.

Горбун

Химеры засмотрелись
На вольную красу.
Но я младую прелесть
От гибели спасу.

Стелла

На помощь — все, кто любит!
Вставайте — все, кто жив!
Вы, в Якобинском клубе!
Вы, в секциях чужих!
К оружью, патриоты!
Бей в барабан, Париж!

Среди публики движенье. Подымается Длинноногий с угреватым носом.

Длинноногий

Немедленно прошу вас прекратить!

(Поднимается на подмостки.)

Что значит песнь о гибели Свободы?
Ты не в своем уме! Ты, верно, сам
Агент Вильяма Питта, гражданин?

(Хватает Горбуна за шиворот.)

Чудовище разврата, отвечай!

Горбун

Я полагал, что мой куплет невинный
Подымет дух гражданский.

Длинноногий

Полагал?..
Намеками тупыми искажать
Божественную правду наших дней, —
Так вот что дух народа подымает?
Так вот что называется у вас
Гражданской доблестью? Я в изумленье...

Пускай же Трибунал решит, кто прав!
Идем за мной!

Горбун

Куда?

Длинноногий

Ты там узнаешь.

Стелла

И я иду.

Длинноногий

Ты, беленький зверек,
Здесь ни при чем... Останься. Твой отец...

Стелла

Он не отец мне.

Длинноногий

Значит, твой любовник.
Ты хуже не могла найти? А впрочем,
У женщин вкусы странные. Идем.

Мадам Бюрлеск

Построже накажи его!

Длинноногий

А это
Что за явленье?

Мадам Бюрлеск

Я — его жена.

Длинноногий

Ого! Жена предстательствует взорам
Народной Немезиды против мужа.
Редчайший случай! Чем он провинился
Перед тобой? Выкладывай, старуха!

Мадам Бюрлеск

Он подлый лежебока, он картежник,
Философ, разгильдяй, транжир, урод...
Он просто скверный муж.

Длинноногий

С меня довольно.

Мадам Бюрлеск

Освободи меня от этой твари!
Мне сорок лет. Я хороша собой,
Могу еще понравиться мужчинам.

Голос

Идем со мной, толстуха!

Мадам Бюрлеск

Мой Парис!
Лечу в твои объятья.

Голос

Честь и место!

Она грузно проваливается в толпу. Ее роль кончена.

Длинноногий

Что ж, гражданин! Пора нам в путь-дорогу.
Бери свой плащ и шляпу. И прощайся.

Горбун

(Стелле)

Прощай, дитя! Не бойся за меня.
А если что случится, не жалей.
Корми зверей и уезжай с фургоном,
Куда захочешь.

Стелла

Я дождусь тебя.

Горбуна уводят. К Стелле подходит Спекулянт.

Спекулянт

Мой ангел! Вы в слезах, вы вне себя.
Здесь вас обидеть могут. Дайте ручку.
Позвольте мне участие принять
В ближайших ваших начинаньях.

Стелла

Кто вы?

Спекулянт

Друг, смею вас уверить, самый нежный,
Внимательный и скромный.

Стелла

Что мне делать?

Спекулянт

Довериться мне смело. Только ночь,
Одна лишь ночь должна пройти... А завтра...
О, завтра утром мы найдем пути,
Нащупаем возможности... Ручаюсь,
Что Горбуна мы вырвем из когтей
Плутона, обожаемая прелесть!
Идем со мной. Не бойтесь ничего.
Для смелости, а может быть, на счастье,
Давайте чокнемся.

(Подводит ее к столу.)

Зефир играет
Кудрями вашими. Жизнь хороша.
Головка закружилась? Ай-ай-ай!

Стелла

Простите. Не привыкла я к вину.

Спекулянт

Возьми на память от меня колечко.
Я буду толстеньким твоим Пьеро,
Твоим папашей, милая сиротка.
А ты моей... моей...

Стелла

Довольно. К черту!
Подлец! Оставь меня. Я закричу.

Спекулянт

Ну, ну, спокойно! Я же пошутил.

Стелла

Мне нечем заплатить за эту низость.
Пощечина была бы слишком жирным
Подарком. Помирись на меньшей плате!
(Выплескивает ему стакан в лицо и убегает.)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Фонарщик поет за окном

Комната Робеспьера в доме Дюпле. Вечер. Одна свеча. Робеспьер за окном пишет. Перед ним большая бронзовая чернильница, гусиные перья, кипа бумаги. У окна — Сен-Жюст. На стене портрет Руссо. Входит Элеонора Дюпле, бледная девушка с тонкими губами.

Элеонора

Максимильян, я принесла тебе
Поужинать.

Робеспьер

Не надо. Дай мне соды.

Элеонора дает ему стакан.

Проклятое перо. Скрипит, и брызжет,
И рвет бумагу. Десять тысяч раз
Просил я ставить соду на столе.
Я не прошу тебя о свежих розах...
Не надо пыль стирать с моих бумаг...
Стакан с водой — и всё.

Элеонора

Мой друг, ты болен.

Робеспьер

Уйди!

Элеонора

Я не хочу надоедать,
Но я имею право на вниманье.

Робеспьер

Уйди.

Элеонора

Я знаю всё. Я не слепая.
Я, как и ты, не сплю ночей и слышу
Твои шаги за тонкою стеной.
Ты изнурен работой.

Робеспьер

Не мешай.

Элеонора

Хоть улыбнись. Хоть посмотри в глаза мне.
Иначе ты не человек.

Робеспьер

Уйди.

Элеонора тихо удаляется. Робеспьер грызет ногти. Сен-Жюст подходит к нему.

Сен-Жюст

Вот список. Это наконец смешно,
Что самый нужный шаг еще не сделан.
Бийо-Варенн, Тальен, Вадье, Фуше,
Барер, Колло д'Эрбуа...

Робеспьер

И кто еще?
A, B, C, D, — вплоть до последней буквы
Весь алфавит ты должен перебрать.
Не в списках дело и не в именах.
Насквозь продажно ведомство финансов.
Тут сорван государственный кредит,
Там покровительство ажиотажу.
Кто во главе? Фельяны, бриссотинцы,
Аристократы или их лакеи —
Все эти Раммели и Маларме,
Прилипшие к Республике, как гроздья
Сосущих паразитов... А затем
Насквозь прогнили комитеты Блага,
Спасенья, Безопасности... Везде
Одно и то же! Наш конец, Сен-Жюст.
Где же искать решимости?

Сен-Жюст

В терроре.

Робеспьер

А в чем же основанье продолжать
Террор и завтра?

Сен-Жюст

В логике вещей.

Робеспьер

А логика действительно права?

Сен-Жюст

Недавно ты не спрашивал, а делал.

Робеспьер

Отложим этот трудный разговор
До новой встречи.

Сен-Жюст

Я могу уйти?

Робеспьер

Постой, Сен-Жюст! Мы оба слишком долго
Живем одним и говорим одно.
Мы так непоправимо, слепо сжались
В один глоток огромного дыханья —
То перьями скрипим, то произносим
Тирады, долженствующие стать
Бессмертными, — а между тем, Сен-Жюст,
Не знаю почему, но я хотел бы...

Сен-Жюст

Не продолжай! Мне, право, безразлично,
Чего бы, как бы, сколько бы ты съел,
С какою дамой спал, чем заплатил бы,
Встал с головною болью или нет.

(Ходит большими шагами по комнате.)

Нет ничего, чего бы я не знал.
Я слышу все вопросы. Все ответы
Звенят, гудят во мне наперебой.
О, эта мука! Этот грозный возраст,
Когда и человек и тень его,
Растущая до потолка в потемках,
Должны смотреть в лицо самой судьбе,
Стремиться к истине и ненавидеть.
Все промедленья времени, все цепи
Причин и следствий, все уловки слабых!..
Вся тайна в смелости и быстроте.
Когда-то нас несло к Парижу море
Знамен и ружей, шапок и кокард.

Имеют право только эти ружья
На будущее.

Робеспьер

Ты разбудишь дом.

Сен-Жюст

Соседи. Стены. Комнаты. Шкафы.
Отхожие места. Аптеки. Тумбы.
Кафе. Заплеванные тротуары.
А где-то фронт. Война со всей Европой.
Берем Антверпен. Двинулись на Рейн.
Но грош цена знаменам триумфальным,
Пока в Париже воют проститутки.
Пока в Париже есть еще перины
Не вспоротые. Есть еще шкафы
Не взломанные. Есть мильон Бастилий,
Еще не взятых штурмом, Робеспьер.

Робеспьер

Ребенок!

Сен-Жюст

Значит, ты меня не знаешь.
А мог бы знать. Ты был таким же точно.
Проскрипционный список, Робеспьер!
Должны все те, кого назвал я раньше,
Предстать пред Трибуналом.

Робеспьер

Дай мне время
Подумать.

Сен-Жюст

Завтра будет поздно. Знай:
Кто сомневается на полдороге,
Тот осужден до всякого суда.

Робеспьер

Вчера мне снилось, что в меня вошел
Конвент во всех его недомоганьях —
С решимостью, и завистью, и бурей
Вершин Горы, и кваканьем Болота.

Я был разорван ревом голосов
И дико заметался меж скамеек...
Нет! Это я в самом себе метался.
И только морды бешеных Горгон
Плевали мне в лицо. Тут я проснулся...

Сен-Жюст

Конвент? Конвент — болото. Разве там
Ключи от революции?

Робеспьер

Так, значит,
Я завтра выступаю с обвиненьем?

Сен-Жюст

Против кого?

Робеспьер

Всех названных тобой.

Сен-Жюст

Ты подготовлен?

Робеспьер

Речь моя вчерне
Набросана. К утру перепишу.

Сен-Жюст

Что ж ты молчал?

Долгое молчание. Робеспьер подходит к окну.

Робеспьер

Послушай, друг, как жалуется ветер
В железных дымоходах. Полночь бьет.
По улице идет хромой фонарщик.
Он, видно, пьян. Поет... Послушай песню.

Фонарщик

(поет)

Росло у короля
На шее вроде шара,
И все дела решало,
И пело тру-ля-ля.

Казнен Луи Капет.
Скатился шар с помоста.
Он стал пониже ростом.
И нечем есть обед.
А пудреный арбуз
На пике над Парижем
Был весь от крови рыжим.
И я его боюсь.

Робеспьер

Ему осталось положить на песню
Еще печаль о голове Дантона,
А через месяц — радость о моей.
Да, да — об этой падали с глазами
Стеклянными и ртом, землей набитым...
Брр!

Сен-Жюст

Лихорадка, трусость?

Робеспьер

Нет. Усталость.

Сен-Жюст

Болезнь, не излечимая ничем.

Робеспьер

Быть может, смертью...

Сен-Жюст

Смерти нет для нас.

Робеспьер

Есть — и еще какая!

Сен-Жюст

Там посмотрим!

Робеспьер

Ты побледнел?

Сен-Жюст

От счастья. Всё, что было,
Что есть и будет, — решено судьбой.
Судьба всегда прекрасна. Дай мне руку!

Робеспьер

Она твоя.

Сен-Жюст

Какой бы ярый вихорь
Ни закрутил нас, мы верны?

Робеспьер

Верны.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Стена и ребенок

Туманный перекресток. Дождь. Гребни мокрых крыш. Мигающий фонарь. Выступ дома в лепных завитках, среди которых голова Горгоны. Робеспьер проходит, сгорбленный, с тростью и папкой бумаг.

Робеспьер

Как мысли гонятся, как мчатся дальше,
Как бешено друг друга сторожат.
Как сам я перебранкой их прижат,
Как изнемог от их змеиной фальши!..
Нет! Я не ошибался никогда!
Мой разум чист и ясен до предела.
Чего же ты, стена, недоглядела?
И почему не отвечаешь: «да»?
Молчишь, ничтожество? Ты, значит, с теми?
Вступила в заговор? Смотри в глаза!
Париж, сто раз голосовавший за
Грядущее, плюет на вашу темень.
Плюет на немоту твоих химер,
На их синклит, гримасничавший подло.
Пускай ответят! Я пример вам подал.
Хоть ты, чудовище!

Стена

Что, Робеспьер?

Отшатнувшись, он останавливается как вкопанный.

Робеспьер

Кто ты?

Стена

Горгона.

Робеспьер

Это шутка?

Стена

Нет.
Я каменная маска на фасаде.
Меня ты видел много дней подряд,
Не замечая.

Робеспьер

Маска? Много дней?..
Облупленная временем и ветром
Гримаса грязной городской стены...

Стена

Вот именно.

Робеспьер

Чего ты хочешь, маска?

Стена

Поговорим немного, Робеспьер!

Робеспьер

О чем?

Стена

О чем? О сущности вещей.
Я вижу всех, мимо меня идущих...
Но некому мне опыт свой внушить.
А я клянусь, что видела такое,
Что столько скоплено в ненастных стоках
Злодейства, горя, низости и славы...
Моим рассказом будешь ты доволен.

Робеспьер

Я слушаю.

(Про себя.)

Я начинаю бредить.

Стена

О друг мой! Правда, я имею право
Тебя назвать так нежно?.. Осмотрись:
На убыль, что ни день, река на убыль.

Робеспьер

Скорее к делу, или я уйду!

Стена

А между тем ночная тьма кишит
Предательством и вероломством...

Робеспьер

Знаю.

Стена

А знаешь ли ты слово, чтоб подвигнуть
Страстей гражданских пламя на дела?
А пользуешься ты еще влияньем?
А кроме слов и тщетного витийства,
Есть у тебя?..

Робеспьер

Постой! Что за допрос?
Пред чьим судом, кому я отвечаю?

Стена

Своей возлюбленной.

Робеспьер

И это ты,
Бессмысленная гипсовая морда?
Ты, сточная дыра?

Стена

Чем я плоха?

Робеспьер

Ты отвратительна.

Стена

Найди получше!

Робеспьер

Ты издеваешься?

Стена

Я отвечаю.

Робеспьер

Могла бы остроумней.

Стена

Помоги!

Робеспьер

Что делает сейчас Тальен?

Стена

Он спит.

Робеспьер

Барер, Бийо-Варенн, Фуше, Вадье?..

Стена

Все патриоты доблестно храпят
В своих постелях...

Робеспьер

Ты плохой оракул.

Стена

А может статься, гражданин Фуше
Сейчас торгуется с любым из прочих
О чьей-нибудь счастливой голове.

Робеспьер

Чья это голова?

Стена

Не знаю, право.

Робеспьер

Довольно. Ты моя болезнь.

Стена

Твой разум.

Робеспьер

Мой сон.

Стена

Твоя бессонница.

Робеспьер

Пусти!

Стена

Нет. Не пущу. Посмей перерасти
Мой безысходно лающий сарказм.
Но если ты на гибель обречен
И зришь во тьме Горгону с волосами
Змеиными — стена здесь ни при чем.
Твои глаза всё подсказали сами,
Что им хотелось, тьме глухонемой.
Проснись же! Вот единственное средство.
Блесни хоть бешенством!

Робеспьер ударяет тростью по стене. Кусок штукатурки отваливается.

Робеспьер

Вот и конец твой!

(Берет с земли кусок штукатурки. Он крошится у него в руках.)

Не краше будет, кажется, и мой.

Тут Робеспьер замечает за выступом стены в темной нише фигуру спящей девочки. Фригийский колпак надвинут на глаза. Мы можем только догадываться, что она нам уже знакома, и сейчас в этом убедимся.

Оказывается, стена чревата
Еще одним смиренным существом,
Ребенок... Нищенка иль проститутка?
Порок иль добродетель здесь ютится
Без крова и ночлега?

Стелла

(просыпается)

Дождь еще
Не кончился?

Робеспьер

Всё льет и льет, гражданка.
Кто ты такая?

Стелла

Стелла.

Робеспьер

Это имя?

Стелла

По сцене — Стелла.

Робеспьер

Ах, комедиантка!
Я думал хуже...

Стелла

Это тоже плохо!

Робеспьер

Ты недовольна ремеслом своим?

Стелла

Нет ничего хорошего на свете.
Горбун, хозяин нашего фургона,
Сегодня арестован. Завтра утром
Я выйду, может быть, на тротуар.
Мне нечего хранить. Пойду, как все
В Пале-Рояле крашеные шлюхи...
Мила я, как пастушка Феокрита.
Сам посмотри: стройна и белокура...
Ты за меня ведь дал бы сотню ливров?

Робеспьер

Но ты должна понять: Верховный Разум
В неизмеримой благости дает
Такое нежное лицо и душу
Не для того...

Стелла

Ты проповедь читаешь?
Оставь, пожалуйста! А для чего же
Дается нежное лицо такое?

Я, может быть, еще не знаю жизни,
Но главный фокус поняла давно:
Я не умру и голодать не буду.

(Поет.)

Пока добытая трудом
Республика шаталась,
Сюзон пошла в публичный дом
И там навек осталась.

Робеспьер

А где служила ты, в каком театре?

Стелла

У нас театра нет. Мы разъезжали
С фургоном по Парижу. Назывались
Мы очень грозно: «Балаган Горгоны».
Но ты не бойся! Это ведь уловка,
Чтобы привлечь вниманье парижан.
А в аллегориях страстей и прочем,
Поверь мне, публика не разбиралась.

Робеспьер

Горгона? Странно! Сходятся все нити
Вокруг ее косматой головы...
За что же твой хозяин арестован?

Стелла

Не знаю, собственно. Сам посуди!
Едва мы кончили в одном кафе
На улице Павлинов представленье,
Вдруг поднялся какой-то патриот,
Схватил за ворот Горбуна, рычит,
Что наше представленье намекает
На что-то там такое... И увел
Беднягу в Трибунал. Так было дело.
Что ж, гражданин! Я ведь не дочь ему
И, к счастью, не любовница. И, к счастью,
Смешна мне жалость и печаль чужда.
Жила — как фея, буду жить — как... Ладно!
А что в Париже правит Робеспьер,
Что он еще страшнее, чем Горгона, —
По чести, мне на это наплевать.
Но почему ты всё дрожишь, бедняга?

Робеспьер

Меня знобит.

Стелла

Ты болен?

Робеспьер

Я устал.

Стелла

Где ты живешь?

Робеспьер

Нигде. В людских умах.
В благословенье их непониманья...
Или, быть может, в дождевом тумане
Вокруг тебя... Но только не в домах.
Или в тебе самой, в худом подростке...
Быть может, в слабом отблеске огня,
Затепленного нам на перекрестке...
Другого дома нету у меня...

Стелла

А не скрываешься ты?

Робеспьер

От кого?

Стелла

От Робеспьера...

Робеспьер

Все-таки стена!
Я от себя скрываюсь, — это хуже...

Стелла

А часом не сошел ли ты с ума?

Робеспьер

Нет, этого могу я не бояться.

Стелла

Но почему мне кажется, что я
Тебя видала где-то?

Робеспьер

Сомневаюсь.

Стелла

Стоит худой напудренный кузнечик,
С большим ножом... И около него
Корзина, полная людских голов...
С таким лицом, с такой спиной сутулой
И, кажется, в очках. Наверно, это
Была картинка. Только где?

Робеспьер

В журнале
Английском?

Стелла

Знаю. Просто на пакете,
В который завернули мне селедку.

Робеспьер

Так я, по-твоему, похож на эту
Кровавую фигурку?

Стелла

Да, немного.
В особенности сбоку. Только нос
Там был с горбинкой, как у попугая...
Дождь кончился. Пора мне отправляться.
Скажи, где секция Пуассоньер —
Военный комитет?

Робеспьер

Какая даль!
Ты ночью не найдешь туда дороги.
Пойдем со мной. Я помогу тебе.

Стелла

Признаться, я не очень бы хотела
С тобою связываться... Ты ведь нищий,
К тому же некрасив, хотя и щеголь.
Возьми другую спутницу себе.
А я дорогу как-нибудь найду.
Без провожатого. Спокойной ночи!

(Удаляется.)

Медленно ползет рассвет.

Робеспьер

Другую спутницу? Тут есть одна...
Сама навязывалась... Эй, старуха,
Горгона, гипсовая маска славы!
Идем! Я все-таки с тобой. Пора.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Конвент

Девятое термидора. Все скамьи для публики полны. Гул голосов. На трибуне Тальен.

Тальен

Сорвать завесы! Робеспьер хотел
Разъединить нас и поочередно
Послать на гильотину... Он тогда
Один бы возвышался средь развалин
Народоправства — Робеспьер-диктатор!
Конвент отныне должен непрерывно,
Не выходя из зала, заседать,
Покуда меч закона не упрочит
Существованье революции,
Покуда мы не издадим приказ,
Свергающий тирана.

Робеспьер

Дайте слово!

Колло д'Эрбуа

Ты слова не получишь.

Робеспьер

Почему?

Колло д'Эрбуа

Ты в списке у меня стоишь восьмым.

Вадье

(на трибуне)

На редкость скромен этот гражданин.
Он часто нам говаривал: кто против
Меня, тот, значит, злейший враг Свободы.

Конечно, эта логика бесспорна.
Конечно, человек, отождествлявший
Себя с Республикой, имеет право
На многое. Кому здесь возражать?
Но я напомню вам — на всякий случай —
Про богоматерь этого шута.
Есть предсказательница Катерина
Тео, весьма таинственная дрянь.
Есть у нее шпионы и пророки.
Мне кажется, тут вьется нить забавной
И пакостной интриги. Полюбуйтесь,
Как истинно разборчив Неподкупный
По части женской прелести! Гражданке
Не более шестидесяти лет.
Я не ищу прямого обвиненья,
Я только намекаю.

Бийо-Варенн

(тихо Тальену)

Сорвалось!
Заквакало Болото! Это худо.
Они смеются. Некому рычать.
Изволь теперь разогревать сначала!

Тальен

(тихо)

Ты прав.

(Вслух.)

Мы уклонились от предмета.

Робеспьер

Я вас верну к исходной точке. Слова!

(Бросается к трибуне.)

Следом за ним — Тальен.

Тальен

К исходной точке, Робеспьер? А с этим

(выхватывает кинжал)

Ты незнаком? Вот для тебя исход!
Я требую ареста Робеспьера.

Голоса

Поддерживаем! Голосуйте!

Гул, в котором пропадают отдельные восклицания.

Бийо-Варенн

(тихо)

Лишь бы
Не упустить минуты! Мы танцуем
На проволоке. Лишь бы он молчал!

Робеспьер цепляется за трибуну. Несколько рук стараются оттащить его силой, хватая за фалды фрака.

Робеспьер

Чудовища! Я говорю не с вами.
Я обращаюсь к трезвым... Я хочу
Пробиться через этот рев безмозглый...
Есть же в Конвенте человечьи уши...
Хоть на трибунах...

Постепенно воцаряется молчанье. Каждая из последующих фраз покрывается звоном.

Дайте досказать.
Меня здесь затравили... Если даже
Я был бы волком бешеным, и то
Так убивать нельзя... Собачья свора
И та разумней... Председатель гончих,
Не оборви звонка... Итак, я должен...

Колло д'Эрбуа

Я слова не давал тебе.

Голоса

Долой!

Робеспьер

Я буду говорить...

Голоса

Долой с трибуны!

Робеспьер

Вот вам моя рука!

Голоса

На гильотину!

Робеспьер

(разрывает жабо, обнажая грудь)

Я не уйду на бойню слепо... Я...

Голоса

А!.. Кровь Дантона душит Робеспьера!

Робеспьер

(шатаясь, сходит с трибуны)

Так это за Дантона! О глупцы!
Что ж вы тогда его не защищали?

(Опускается на одну из скамеек.)

Голоса

Прочь! Это место Кондорсе! Долой!

Робеспьер направляется к другим скамейкам.

Еще голоса

А тут сидел Верньо... А тут Дантон...

Бийо-Варенн

(тихо Тальену)

Игра за нами!

Тальен

Но свалить такого
Не так-то просто! Началась охота.
Теперь держись!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тюрьма

В одной из камер тюрьмы Лафорс. Несколько спящих фигур. Горбун у решетки. Далекий набат.

Горбун

Одиннадцать, двенадцать... Что за дьявол!
Тринадцать... А? Четырнадцать,
пятнадцать,
Шестнадцать... Это не Сен-Жак звонит.

Или с ума сошли часовщики? И время
Пошло назад? Не может быть! Набат?
Там неспокойно. Там опять тревога,
Париж в огне.

Один из спящих просыпается.

Старик

Кто разбудил меня?
Мне снились праздники Фонтенебло
И дивный каламбур. Какой — не помню,
Всё вертится на языке...

Еще просыпаются.

Юноша

А завтра
В объятьях гильотины вы навеки
Уснете, черт возьми!

Старик

По-стариковски.

Юноша

По-стариковски вы. А я надеюсь
Девицу эту оплодотворить.
Пускай хоть доски понесут ублюдка
Последнего из рода Буасси.
Прислушайтесь. Звонят...

Старик

Звонят?

Горбун

Звонят.

Юноша

Набат, Горбун?

Старик

Нас это не коснется.
Фальшивая тревога, господа!
Ночь под республиканским одеялом
Отрыгивает братство и чеснок,
Как старая привратница у входа
В небытие.

Комендант тюрьмы — с морщинистым лицом старого ловеласа, напудренный подагрик — стучит у двери одной из камер.

Голос Терезы Тальен

Кто там стучит так рано?

Комендант

Как вам спалось, сударыня?

Терсза

Отстаньте!

Комендант семенит ногами около двери, подглядывает в скважину. Уши его багровеют. Он хлопает себя по ляжкам.

Комендант

Вот это женщина! Вот это сорт!
Вот это — вечное при всех режимах...
Такую даму посадить в Лафорс!
Тут надо быть кастратом, черт возьми!
Сударыня...

Просовывается неубранная, в папильотках, голова Терезы.

Тереза

В чем дело?

Комендант

Дайте ухо.
В Конвенте было бурно, очень бурно.
Вы можете надеяться...

Тереза

На что?

Комендант

Я ничего еще не знаю толком.
Но, черт возьми, был слух, что триумвиры
Уже низложены...

Тереза

Не может...

Комендант

Т-с-с...

Тереза

Пошлите в Тюильри... Кого хотите!
Скорей. Немедленно. Сюда Тальена!

Я заплачу вам, много заплачу,
Я вас осыплю золотом.

Комендант

Вы ангел!
Не поминайте лихом старика.
(Целует ей руку.)
Я отличал вас между заключенных,
Я попустительствовал в послабленьях
Тюремного режима, рисковал
Моею старой головой...

Тереза

Постойте!
Еще два слова. Я уже неделю
Не ела сладкого. Я вас прошу:
Пошлите за пирожными. Скорей!
Побольше. Целую корзину...

Между тем первая камера продолжает прислушиваться.

Юноша

Тише!
Здесь во дворе, за южным бастионом,
Как будто выстрел...

Старик

Он у вас в ушах,
Любезный Буасси.

Юноша

Нет, вы оглохли,
Я слышу явственно.

Горбун

Сюда идут.

Старик

Во имя бога, приготовьтесь к смерти.

Юноша

К свободе, сударь!

Горбун

Почему же медлят?

А Тереза, уже успев причесаться перед осколком разбитого зеркала, швыряет его на пол.

Тереза

В последний раз ты служишь мне сегодня,
Проклятое, запомню я тебя!
Запомню я соломенный матрац.
И табурет, и сырость по карнизам —
До самой смерти. Кончено. Прощайте!
Кареты, платья, свечи, жирандоли,
Картины Фрагонара, зеркала,
Фарфор, батист и бронза, купидоны
У полога постели, запах пудры...
Бокалы... Ах, я слышу этот звон —
Звон хрусталя, звон денег, звон гитары...
Всё это будет... Будет... Всё вернется.

В коридорах слышны тревожные голоса. Тереза приоткрывает дверь. Пробегает Комендант, придерживая рукой шпагу.

Что там случилось, сударь?

Комендант

Подождите!
Не приставайте!

Тереза

Что такое? Стойте!
Он убежал. Старик сошел с ума.

Комендант пробегает в обратном направлении.

Ну что же там?

Комендант

Ах, если бы вы знали!
Сидите смирно у себя. Не бойтесь.

Тереза

Но вы послали?

Комендант

Нет... Да, да, послал.
Но будьте милосердны и ко мне
Не спрашивайте! Я же разрываюсь
На части... Я же тут сижу,
Не зная ситуации...

К нему подходит Жандарм.

В чем дело?

Жандарм шепчет ему на ухо. Старик хватается за голову.

Ах, этого еще недоставало!
Прямой приказ Конвента — не принять!
Что б ни случилось — не принять, и баста.
Он вне закона должен оставаться.
Чем я рискую? Честью? Головой?
Тюрьмой? Парижем? Только им? О боже!

Между тем в первую камеру жандармы уже ввели Робеспьера.

Старик

Еще один невольный постоялец
В гостинице для едущих в ничто!
Как ваше званье? Чем вы насолили
Республике единой, нераздельной?
В чем преступленье ваше, государь мой?
Что делается в свете? (Разумею
Под этим словом — ваш, новейший смысл.)
Что делает Париж? Кто с кем подрался
Сегодня утром? Наконец — последний
Вопрос: как поживает Робеспьер?..
Что думает он о голодных крысах,
Грызущих наши пятки по ночам?
О судьбах века, о главе Капета,
О Франции? Да сгинет святотатец,
Убийца короля и вождь Содома!
Как спится Робеспьеру? Вот вопрос,
Который задаем мы всем входящим
В гостиницу под вывеской Лафорс.

Робеспьер

Вопрос ваш в данном случае бессмыслен.
Всмотритесь, граждане!

Юноша

Как — Робеспьер?

Горбун

А сон-то развернулся не на шутку.
Не знаю, просыпаться или нет.
Посмотрим, чем он кончится...

Юноша

Однако
Отбросим все условности и такт!
Позвольте вас спросить (не знаю, право,

Какую выбрать форму для вопроса),
Что с революцией? Опять рожает?

Робеспьер

Я на прямой вопрос отвечу прямо.
Она сейчас кончается, глупец.

Юноша

А ты еще, я вижу, скалишь зубы.
Ты не угомонился?

Робеспьер

Нет еще!

Юноша

Позволь тебе преподнести в знак мира
Напиток, принятый во всех темницах.
Вот в этой кружке есть глоток воды.

Робеспьер

Благодарю.

(Жадно пьет.)

Юноша

Вы не хотите мира?
А между тем судьба у нас обща.

Робеспьер

Нет, мы на разных полюсах. Твой голос
Относит ветром в сторону. Мне трудно
Перекричать пространство — даже стоя
С тобою рядом, — чтобы ты услышал.

Дверь в камеру открывается. Входит Комендант.

Комендант

Позвольте, сударь... То есть гражданин...
Конвент мне декретирует... Я, право,
Здесь ни при чем... Примите во вниманье,
Что я служу Республике... Итак,
Извольте, гражданин, без промедленья
Оставить стены крепости Лафорс.

Робеспьер

Но я ведь узник.

Комендант

Но не у меня.
Мне очень жаль... Нет, я хотел сказать,
Я лично ваш старинный почитатель...
Но вас держать в моей тюрьме не стану.
К тому же декретирует Конвент, —
Я уж сказал.

Робеспьер

Куда же мне деваться?

Комендант

Париж велик.

Робеспьер

Так вот оно в чем дело?
Меня хотят поставить вне закона.
Откуда ваш приказ?

Комендант

Который? Первый?

Робеспьер

А сколько всех?

Комендант

Три в продолженье часа.

Робеспьер

Да, ваше положенье...

Комендант

Я рискну
Его назвать дурацким.

(Внезапно оборачивается к невольным слушателям разговора.)

Кто смеется?
Я спрашиваю, кто посмел смеяться?
Марш по местам!

Ему под руку попадается Горбун.

А ты, комедиант,
Куда суешься?

Горбун

Гражданин...

Комендант

Неправда!
Не гражданин я. Никогда им не был.
Не якобинец я, не санкюлот,
Не атеист, не ваша сволочь. Хватит!
Игра доиграна...

(Наступает на Робеспьера.)

Да, да, я смею
Держать пари, что...

В коридорах тюрьмы движение, голоса. Двери в камеру распахиваются. У порога санкюлоты, национальные гвардейцы, женщины.

Санкюлот

Именем Коммуны:
Свобода, Братство, Равенство — иль смерть!
Где Неподкупный?

Голоса

Вот он, вот он...

Санкюлот

Здравствуй,
Избранник Славы! Там игра в разгаре.
Играющие ставят всё на карту.
Ты слышишь звук охрипшего припева?
Ты слышишь, Неподкупный? Это — мы.
Крушенье Революции есть гибель
Вселенной. И его не может быть.
По секциям уже идут собранья.
Твои друзья — Сен-Жюст, Кутон, Леба,
Пайан, Дюма и младший Робеспьер —
Все на свободе, ждут тебя. Ты наш.
Решай! Предрешено твое решенье.
Неволей или волей — всё равно
Ты будешь с нами. Потому что пуля
Должна лететь, пока она летит.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Коммуна

Горбун

(бежит по улице)

Вот я и вырвался... Какая ночь!
Стреляют. Бьют во все колокола.
Кричат с трибун и саблями секут
Пространство. Но постой, Бюрлеск!
Приди в себя! На гребень этой крыши
Похожа тень от твоего горба.
И надо зорче вглядываться в ночь,
Чтобы понять, где начинаюсь я
И где кончается ночной Париж.
Какая путаница! Но постой,
Не унывай, философ... Отдохни...
Ведь пьеса не доиграна. И сцена
Раскачанная ходит ходуном.
Я в кулаке ее держу... Хвастун!
Ты в этом так уверен? Ты ведь зритель!
Ты к пьесе не имеешь отношенья.
Ты бедный фигурант, случайный гость,
Свидетель. И при этом прозевавший
Важнейшие события... Эге!
Меня подозревают в хвастовстве?
Я всё видал. И понял всё. Да, всё!
Я, может быть, сидел с ним рядом, близко,
Плечом к плечу, и слышал, как летит
В его ушах ночная тишина...
Я, может быть, суфлировал ему
В Конвенте. Что в Конвенте! Там, в тюрьме!
Я, может быть, его сторонник главный.
Не веришь? Да, не верю. Разберемся!
История — и ты. Конвент — и ты.
Смешные сочетанья... Что за черт!
Я сбился. Окончательно. Я гибну.
Почтенный дом! Прошу тебя не падать.
Ты видел сам, что я с гражданкой Ночью
Прогуливаюсь. Вот мои бумаги.
Я — мелкий, мелкий... Понимаешь, мелкий!
Пожалуйста, не падай на меня!
Дай мне пройти. Такое время, дом...
Должны мы помогать друг другу... Ай!

Меня схватили за плечи. Ведут
На гильотину. Граждане, спасите!
Я — мелкий, мелкий. Я не тот, за кем
Вы гонитесь... Я должен вам сознаться,
Что, может быть, совсем не существую...

(Скрывается.)

Темнота. Выстрел. Набат. Из-за кулисы выходит Автор.

Автор

Историки вправе гордиться бесполым
Законным и хладным забвеньем легенд.
Но я человек. Я отчаянья полон.
Итак — в Тюильри заседает Конвент.

Но дальше от их передряги торговой!
Идем в средоточие уличной тьмы.
Присмотримся к лицам. Послушаем говор.
Статисты. Толпа. Человечество. Мы.

Жаргон красноглазых, небритых, отважных.
Тут сразу почувствуешь, только свяжись:
Пора начинать. Остальное — не важно.
За порох, за песню, за равенство — жизнь.

У секций нет связи со штабом восстанья,
У секций бессонница. Главное — тут,
В той группе, которая бронзою станет,
Чьи клятвы как тучи над веком растут.

Язык их растрепан, но всё еще крепок.
Эпоха кончается, как началась.
Узнаешь ее по чеканке свирепых,
Затравленных жестов, по впадинам глаз.

И вот они гибнут. Но тут же, сейчас же,
Добыты из пепла природы навек —
В загадочных ссадинах, в дыме и саже, —
Сен-Жюст. Робеспьер... Человек. Человек...

Светает. Вот подлая пушка, бабахнув,
Разбила кольцо инсургентов. Отбой.
Распахнута настежь История. Пахнут
Часы эти славой, бессудьем, судьбой.

Я занавес дал. Я не вправе помочь им.
А ночь между тем продолжает лететь.
Историки знают конец этой ночи.
А мне комментарии некуда деть.

Отель де Виль. Последние из восставших.

Пайан

Я говорю: пиши.

(Диктует.)

Мужайтесь, патриоты секции Пик. Свобода торжествует. Те, чья твердость сделала их страшными для изменников, уже на свободе...

Робеспьер

(Сен-Жюсту)

Припомни: революция — Сатурн.
Она съедает собственных детей.
Не нами началась. Но мы кончаем
Ее кровавый пир.

Кутон

А я скажу,
Что мы, пожалуй, — худшее из блюд:
При жизни съедены наполовину,
Оставим ей расшатанные кости.

Робеспьер

Насчет себя ты прав.

Кутон

Насчет всех нас.
О, мы оставим жизни в назиданье
Гул ветра в наших мертвых головах...
И что еще?

Робеспьер

Клевету мемуаров,
Музей карикатур... Всё несъедобно,
Всё вместе с нами выметут... Потом
Придут историки. И кости славы
Начнут глодать... На их голодный ужин
Мы, если есть бессмертье, поглядим
С веселым любопытством...

Пайан

(продолжает диктовать)

Место сбора
Коммуна. Там отважный Анрио...

Робеспьер

Отважный Анрио, к несчастью, пьян.
Конь выбыл из игры еще в дебюте.

Сен-Жюст

Ночь на исходе. Если не сейчас,
Не в этот миг, то больше никогда
Не повторится.

Робеспьер

Можешь быть спокоен:
Не повторится больше никогда.
Будь же внимателен к минуте этой.
Она твоя последняя...

В дальних комнатах звон стекла. Врывается Леба.

Леба

(тихо Робеспьеру)

Мерда
С жандармами вломился в зал Коммуны.
Они идут сюда.

Робеспьер

Конец?

Леба

Конец.

Пайан

Подписывай воззванье, Робеспьер.

Робеспьер

(подходит к столу и берет в руки перо)

Не поздно ли?

Пайан

(читая из-за его плеча)

Ну что же дальше? «Ро...»

Робеспьер

Я знаю... Погоди, «...беспьер» и дата...
Пусть это кто-нибудь другой допишет!

Пайан

Максимильян...

Двери тихо распахиваются. У порога **Мерда** и **другие жандармы**.

Мерда

Мы сцапаем их всех.
Они и сами не заметят. Тсс!

(Крадется к Робеспьеру.)

Робеспьер

Я подписи под этим не даю.
Не стоит, гражданин Пайан, в час смерти
Прикидываться пьяным, если трезв.

Мерда

(подходит к нему вплотную)

Сдавайся, сволочь!

Робеспьер

Именем народа!

Мерда

Э, стану я возиться!..

(Стреляет.)

Робеспьер падает.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Стелла

По разбитой ночной дороге под проливным дождем ползет фургон. На облучке **Горбун**. Внутри **Стелла** и звери.

Стелла

Дождь хлещет по брезенту,
Смывает размалевку

Дощатого фургона,
И лошади продрогли,
Куда-то тащат нас —
К бельгийской ли границе,
В Савойю или к Альпам,
На север иль на юг?..
Эй, мэтр Алкивиад!

Горбун

Что, Стелла?

Стелла

Я сменю вас...

Горбун

Нельзя, мой ангел! Темень
Такая, что хоть плачь.
Всё спуталось внезапно
По сторонам пути.
Куда ни глянешь — ветер
Всё на сторону сносит
И шляпу рвет мою.
Едва сижу на козлах.

Стелла дремлет.

В харчевнях кормят скудно.
На ярмарках голо.
Хотя б охапку сена
Усталым лошадям,
Хотя б глоток вина
Горячего в стакане.

Фургон внезапно останавливается.

Что стали? Трогай! Эй!
Вот, право, незадача...

Горбун слезает с козел. Поперек дороги мертвое тело. Он стаскивает труп в канаву.

Спи, гражданин вселенной!
Прощай, кем бы ты ни был —
Парижским патриотом
Иль сволочью английской...
Дожди тебя обмоют,

Пески тебя засыплют
И ветры отпоют.
Спи, гражданин вселенной,
В канаве придорожной!
Хоть я не мародер
И не имею права
На бесполезный обыск...

(Шарит в карманах трупа.)

Но Библия твоя,
Кольцо твое и шпага
Мне очень пригодятся.
А пачку ассигнаций
Оставь себе на случай
До Страшного суда...
Они гроша не стоят.
Но воскресенье мертвых
В безбожный век Вольтера
Пошло еще дешевле.

Горбун опять взбирается на козлы. Фургон трогается. Пейзаж дичает и мрачнеет. Дождь усиливается. За этой холодной и сырой равниной с простертыми руками вязов и ветел, за жалкими изгородями и канавами мерещится тяжелая спячка Европейского материка. Быстро проносятся лохмотья пейзажа. Мелькают горы, реки, мосты, соборы, развалины, пастбища, мельницы, харчевни. Темп идет убыстряясь, но фургон колесит по тем же дорогам, заворачивая на прежние места.

(Поет)

В начале перегона
Еще не повелось
Ни машкеры Горгоны,
Ни ржавых змей-волос.
Но страшная старуха
Линяет под дождем.
Насчет Горгоны глухо.
И мы чудес не ждем.
Не ждем событий грозных,
По свету колеся.
И прозеленью бронзы
Покрыта сказка вся.
Кто ищет здесь морали,
Пусть обратится вспять.
А впрочем — не пора ли
И моралистам спать.

Картина туманится и колеблется в своих очертаниях. Вот уже ничего нет, кроме изголовья девочки. Ей страшно неудобно. Тут Стелла внезапно просыпается.

Стелла

Что это было? Это же не сон!
Он только что стоял со мной, тот самый,
На той же улице под фонарем,
У той стены, тот бледный человек
В очках... Он стал еще бледней.
Но почему его я не забыла?
И почему сейчас, чрез много дней,
Он мне приснился? Где же это было?
Вот он проходит в дождевом тумане —
Во всех умах, во всех больших томах.
Вот горбится он от непониманья.
Вот жизнь его кончается впотьмах.
Нет, это я запомнила неверно.
Он ничего не говорит. Он болен.
Его знобит, как и меня. Он бредит.
Он просит пить кого-то...

Раненого Робеспьера осторожно кладут на стол. Перевязка кончена. Под голову ему подставляют деревянный ящик с кусками солдатского пайкового хлеба. Хирург, делавший перевязку, небритый плотный сангвиник, с толстым носом, с платком вокруг головы, с засученными рукавами, жует лимон, сплевывает на пол. Жандарм с факелом. Еще несколько черных растрепанных фигур.

Хирург

Как он худ!
Какие плечи узкие! И ляжки
Как у цыпленка! Плохо дело, брат!
Эй, Неподкупный, слышишь? Плохо дело!

Жандарм трясет Робеспьера за плечо. Робеспьер внезапно приподнимается, обводит всех мутным взглядом и сейчас же падает навзничь.

Нет, не проснулся...

Жандарм

Конским бы навозом
Его соборовать.

Робеспьер стонет.

Что, жутко?

Робеспьер

Пить...

Хирург

Эге! Да он живуч! Такой тщедушный,
А всё цепляется...

(Дает ему лимон.)

На, пососи!

Робеспьер

Который час?

Хирург

Светает. Значит, пять.
Немного больше. Вот и дождались.
Советую не спать до гильотины
И подкрепиться...

Внизу слышен грохот подъехавшей фуры. Комната сразу наполняется стуком прикладов и сапог и утренним холодом. Входит Комиссар Трибунала.

Комиссар

Именем Конвента!
Максимильян де Робеспьер, пора!

1928

П. АНТОКОЛЬСКИЙ

312. ФРАНСУА ВИЙОН

Драматическая поэма

Памяти Евгения Багратионовича
Вахтангова

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Подросток

Пришел сочельник снеговой.
Как я сказал, повсюду тьма.
За вьюгой слышишь волчий вой.
Всех гонит лютая зима
Зажечь огонь, уйти в дома.

Фр. Вийон

Картина первая

Париж. Улица. Зима. Поздний вечер. Вийон и Корбо — школяры Сорбонны.

Вийон

Брр...

Корбо

Что с тобой?

Вийон

Собачья стужа!
Скакать приходится. К тому же
Вся в дырах куртка. Плащ сырой.

Корбо

Хоть наготу, школяр, прикрой, —
Да не введешь в соблазн опасный
Старух, взирающих напрасно
На голый срам. В плаще моем
Перезимуем мы вдвоем.
Брр...

Вийон

Что с тобой?

Корбо

Собачья вьюга!
Так не согреем мы друг друга.
Попляшем, постучим костьми,
Как два скелета, черт возьми!

Вийон

Брр...

Корбо

Что с тобой?

Вийон

Собачий ветер!
Кто это — ты иль я ответил?
Иль ржавый желоб завизжал,
Иль кот по крыше пробежал?
Оле-оля! Ответь, прохожий!
Коли и ты, на нас похожий,
Забыл о звоне медных су
Иль должен с шапкой на весу
Вымаливать любой объедок,
Чтоб кончить петлей напоследок,
Коли ты бродишь, аки волк,
И лишь клыков голодных щелк
В честь сына, и отца, и духа
До нашего домчится слуха
Сквозь ночь, туман, и снег, и град, —
Откликнись, ибо ты нам брат,
И с нашей шатией убогой
Найдешь поддержку ради бога.

Оба

(поют)

Голод — не тетка,
Голод — не шутка,
Вот как
Жутко
Воет живот!
Стужа — не бабка,
Штопать не станет,
Шапку
Стянет,
Плащ разорвет.
Здравствует ноне
Пузо монашье,
Но не
Наше,
Черт побери!
Где ж эти земли,
Где нас повесят
В семь ли,
В десять
Иль до зари?

Из-за угла на перекрестке вырастает длинная, узкоплечая фигура монаха Мажордена.

Мажорден

Поете, сволочи? Смотрите,
Кабы не влипнуть в пасть геенны,
Где задохнетесь и сгорите
Мгновенно.
Аз предрекаю вам кончину
Весьма мучительную, ибо
Вы совратить меня, мужчину,
Могли бы.
Но к черту оные фигуры
Дидактики и красноречья.
Я вышел ныне, балагуры,
Навстречу
Всем беззакониям вселенной,
Подобный рыцарю Ахиллу,
Хотя и лысый как колено
И хилый.
Но что крепиться, коли гложет
Мне внутренности злая похоть.

Увы, ни ахать не поможет,
Ни охать.

Вийон

Монах! Клянусь тебе Сорбонной,
И бабушкой моей согбенной,
И дедушкиной бородой,
Что ты с оравой молодой
Обрящешь всё, чем ныне беден.
И между прочим — нежных дев,
Проспишь три тысячи обеден,
От наслажденья обалдев.

Корбо

Идем же с нами вплоть до ада,
Коли сужден такой конец.
Любому страстотерпцу надо
Хоть раз в неделю снять венец
И в мире забубенных пьяниц
Отведать сладких вин и блюд,
Не презирая гик и танец,
Хотя от оных и блюют.

Мажорден

Ну что за юноши! Близка мне
Витиеватость их словес!

Вийон

Монах! Потрогай эти камни,
Сдвинь, ощути изрядный вес
Материи первоначальной!
Нет, ты не сдвинешь ни черта.
Признаемся, сколь ни печально, —
Нам дверь блаженства заперта.
В харчевнях кормят тех, кто платит.
А девки любят тех, кто сыт.
Нам этой мелочи не хватит.

Мажорден

Что нечестивец голосит!
Не для того ли предлагаю
Я вам содружество свое,
Что у меня мошна тугая!
Оставим к дьяволу нытье,

Поставим крест на разговорах.
Где тут шинок повеселей?

Корбо

Я перечислю целый ворох
Названий: «Кружка королей»,
«Дом госпожи Марго», «Берлога
Трех попрошаек»...

Мажорден

Ого-го!
Покуда хватит. Для пролога
Я выбираю «Дом Марго».
Ведите старца и не трусьте!
Плачу за крабов, за рагу,
За днища бочек и за устья
Рек, что я вылакать могу.
Плачу за будущие драки,
За всех, кто сядет у стола,
Кто ляжет под столом во мраке,
Сожженный жаждою дотла.
Плачу за треск углей в жаровне,
За жар отзывчивых сердец.
Плачу за всё. Мы с вами ровни.
Я не дурак и не гордец.

Все трое скрываются. Ветер заливается еще пуще. Темнота.

Картина вторая

Харчевня. Дымно и очень людно. В очаге горят круглые сосновые дрова. За столом Вийон, Мажорден, Корбо, еще школяры. Толстая Марго принимает заказ. Поодаль от них рыцарь де Пуль и его нежная обходительная спутница Инеса Леруа.

Марго

Кто платит?

Вийон

Ты важный вопрос задаешь.
Вот он, председатель обжор и пропоиц,
Косматый, как пакля, небритый, как еж,
Уже под столом распускающий пояс, —
Он платит.

Марго

Все деньги на бочку вперед!

Корбо

Вот стерва! Чудовище!

Мажорден

Не возражаю!

Вийон

Монах! Она немилосердно дерет.
Строптивая женщина! Ты не чужая
В содружестве нашем.

Корбо

Сужден нам возврат
На лоно твое, всеблагая гусыня!

Марго

Всегда непонятно они говорят —
Не то по-халдейски, не то по-латыни!

Вийон

Кругла ты, как солнце!

Корбо

Добра и щедра!

Вийон

Мудра, как Сорбонна!

Корбо

Обильна, как вымя!

Вийон

Приятна одним колыханьем бедра!

Корбо

Одними ужимками, столь огневыми!

Мажорден

А я заплачу тебе!

Вийон

Если он врет,
Его запечешь ты, как окорок!

Марго

Мало!

Корбо

Зажаришь на вертеле!

Марго

Деньги вперед!

Вийон

Ни нежность, ни вежливость не обломала
Тебя, беспощадный и грубый палач!

(Бьет ее.)

Так вот же, так вот же тебе — чистоганом
Вперед получай, если хочешь, хоть плачь!
А мы пробуравим свинцовым стаканом —
Эй, скареда, слышишь? — большую дыру
В любом из твоих непочатых бочонков.
Тащи нам паштет на гусином жиру,
Яичницу с сыром, телячью печенку,
Мальвазии пинту...

Мажорден

Две пинты бордо.

Вийон

Угрей и миног малосольных!

Корбо

И хлеба
Поджарь нам до хруста, но только не до
Обугленных корок!

Мажорден

Скорей, ради бога!

Марго удаляется исполнить заказ.

Всё, что бродило в сырых погребах,
Всё, что топталось в давильнях осенних,

Сладостно млеющее на губах,
Тварям земным вручено во спасенье, —
Благословенно да будет оно,
Легкое и молодое вино!

Горбун

Зачем же ты врешь, преподобный козел?
Кислятина эта не сок винограда,
А первопричина бесчисленных зол,
Гнездящихся в сердце великого града,
Где всякая сволочь и всякая голь
Кичится пред знатью отребьями.

Вийон

Что за
Невенчанный иерусалимский король?
О чем ты скорбишь?

Горбун

Не мешай мне, заноза!

Марго возвращается с дымящимся блюдом, вином и кружками.

Мажорден

Очей моих блеск и услада!
Любезная дама — увы! —
В избытках господнего сада
Махровая розочка вы!

Марго

Я вижу, вы мастер по части
Учтивой любовной игры.
Но нам помешают, к несчастью,
Во всем драчуны-школяры.

Мажорден

Пускай наблюдают, потея,
Восторг набухающих чувств!
Прости меня, прелюбодея,
Что смело я разоблачусь
И, паки и паки рыгая
И кружку за кружкой глуша,
Без сил я, моя дорогая, —
Исусе, как ты хороша!

И всё качается тихо,
Двоится, троится в глазах.
Не бойся, позволь мне, пусти хоть,
Тебя умоляю в слезах.

Марго уводит Мажордена.

Инеса

Зачем привели меня в эту дыру,
Любезный мессир?

Де Пуль

Подождите немножко!

Инеса

Мне скучно, мессир. Я от скуки умру.
Мне хочется к тетеньке.

Де Пуль

Милая крошка!

Вийон

Не нравится вам наш вертеп, госпожа?

Де Пуль

Потише, любезнейший!

Вийон

Вам что за дело?

Де Пуль

Оставь мою даму!

Корбо

Дойдет до ножа!

Вийон

Что, собственно, так горячо вас задело?
Кто хочет — гуляет. Кто хочет — сидит
И милую даму целует взасос.
Но если ты, рыцарь, за слово сердит,
Прошу извинить меня!

Де Пуль

Молокосос!

Вийон

За что ты меня столь надменно хулишь?
Да, верно, я в детстве сосал молоко,
Как всякий воспитанный мамой малыш,
Но в этом любому сознаться легко.

Де Пуль

Школяр! Берегись! От моих кулаков,
Бывало, рога расшибали быки
И кони шарахались. Вот я каков!
Мне жалко твоей сумасбродной башки,
Смотри не шали! Не трепли языком —
Очутишься разом и хром и горбат.

Вийон

Голубчик! И я с похвальбою знаком,
Но это занятье для малых ребят.
Я милую даму поздравить хочу,
Что столь остроумен ее кавалер.

Де Пуль

Я жду, чтобы ты замолчал.

Вийон

Замолчу, —
Ты старше, и ты мне покажешь пример!
Советую даму свою пожалеть.

Де Пуль

Школяр, замолчи!

Вийон

Не умею молчать!

Де Пуль

Эй, где там хозяйка? Подайте мне плеть.

Вийон

Подайте мне перья, чернила, печать!
Ай-ай, как мне страшно! Ай-ай, я убит!
Увы! Завещанье составить пора!
Я плачу от сих нестерпимых обид.
Товарищи! Хочет он сечь школяра!

Итак, подымайтесь, мессир! И пускай
Рассудит нас честная драка! Прошу!

Голоса

Долой! Разнимай! Окружай! Не пускай!

Де Пуль

Дурак! Я дворянскую шпагу ношу,
И не подобает, чтоб всякая дрянь
Со мною мешала бы грязную кровь.

Вийон

О господи боже мой! Молнией грянь!
Попал он решительно в глаз, а не в бровь!
Действительно, каюсь, я рвань-голытьба,
Не рыцарь, не папа, — мадонна, прости! —
Кабацкая вывеска вместо герба
Висит на моем худородном пути.
Но как бы я ни был безроден и сир,
Я вам предложил благородный исход,
А вы уклоняетесь, храбрый мессир.
Мне это прискорбно!

Де Пуль

Ты все-таки скот!

Вийон

Скоты бессловесны. Твой бранный словарь
Перещеголять я — увы! — не берусь.
Расчет мой — на драку.

Де Пуль

Прочь, подлая тварь,
Бесштанный задира!

Вийон

Выходит, ты трус?

Де Пуль подымается, обнажив шпагу. Свистки, крики, улюлюканье.

Голоса

Школяр наступает! — И тот не сдает!

Де Пуль

Смотри! Не болтаться тебе в школярах.
Твой час уже пробил.

Вийон

И твой настает!
Военные действия начаты. Трах!

Над головой де Пуля пролетает тарелка и со звоном ударяется в стену. Инеса бежит к выходу. Ее хватают несколько дюжих и цепких рук.

Горбун

Красавица, будем знакомы!

Вийон

Назад!
Не сметь ее трогать!

Горбун

А кто ты такой?

Инеса

На помощь!

Вийон

На выручку!

Появляется полураздетый Мажорден.

Мажорден

Знатно тузят!
Кто пал? Я любому спою упокой,
Деритесь, орлы корпораций и школ!
Лупите друг друга и будьте здоровы!
Я вывернуть ваши карманы сошел,
Как древле архангел под трубные ревы.

Общая драка принимает угрожающие размеры. Кто кого и кто с кем — неизвестно. Раздается женский вопль: «Стража у дверей!». Кто-то разбивает единственный фонарь. В темноте распахивается наружная дверь, обдав помещение морозным паром. У порога ночной дозор и Прево.

Прево

Что за притча! Не видать ни зги!
Кто здесь безобразничает? Света!

Вийон

Удирай, Корбо!

Корбо

И ты беги
Через кухню.

Прево

(натыкается на распростертое тело)

Что такое это?
Неприятный случай. Хлещет кровь.
Эге-ге! Весьма тяжелый случай.

Инеса

Бедненький мессир! Моя любовь!
Как вам больно!

Де Пуль

Мне как будто лучше.
Где он, этот пакостный школяр?

Горбун

Он удрал. Позвольте, ваша милость!
В драке он вещицу потерял:
Пуст мешок, но метка сохранилась.

Прево

Драгоценность к делу приобщим.
Ты мне можешь рассказать толково,
Нет ли тут зачинщика и чьим
Было делом оскорбить такого
Дворянина?

Горбун

Вам угодно знать? . .

Прево

Да. Короче.

Горбун

Этот злой волчонок,
Что в харчевнях задирает знать,
Кажется, из школяров ученых.

Прево

Не размазывай. Как звать его?

Горбун

Имени не знаю.

Прево

Взять под стражу!

Горбун

Смилуйтесь! При чем же я, Прево?

Прево

(сует к носу Горбуна мешок Вийона)

Вот улика! Посидишь за кражу.
Сам ведь показал. Позвать сюда
Всех гостей и разбудить девчонок!
Где школяр, чье прозвище Волчонок?
Ну-с, приступим! Ты хозяйка?

Марго

Да.

Прево

Сука! Мессалина! Дщерь Содома!
Знаешь, что грозит тебе?

Марго

Увы!

Прево

Как причастна к случаю худому?

Марго

Школяры, свирепые, как львы,
Разорили множество харчевен.
Жрут и пьют, не платят ни гроша,
Аспиды!

Прево

Сама ты хороша!

Марго

Наш удел поистине плачевен.

Прево

Хочешь откупиться от тюрьмы?

Марго

Сколько стоит?

Прево

Правосудью надо,
Чтоб убытку не терпели мы, —
Завтра утром два бочонка на дом.

Марго

Постараюсь нацедить.

Мажорден незаметно крадется к выходу.

Прево

Монах!
Улизнуть не пробуй. Что затрясся?

Мажорден

Друг Прево! Я, аки ангел, наг.
Потерял в сей суматохе рясу.
Видит небо, я не подлый вор.
Но испуган и дошел до ража.
Крайность подошла. Хочу на двор.
Ибо пил, как губка.

Прево

(бешено)

Взять под стражу!

Картина третья

Келья каноника Гийома Вийона. Франсуа занимается под руководством дяди

Гийом. Item[1], продолжим. Число сорок содержит в себе четырежды десять. По числу четыре протекают времена дня и времена года. Далее в десятке можно распознать творца и его творение. Разложи десятку на семь и три. Чуешь? Чего мы знаем семь?

Вийон. Семь дней творенья.

Гийом. Творец же троичен, как учит наша святая церковь. Стало быть, десятка есть творец и творение. Повторенная четырежды, она составляет сорок. Стало быть, число сорок указует нам на протекание сущего в сих вре-

[1] Итак (лат.). — *Ред.*

менных сроках. И, стало быть, господь наш, постившийся сорок дней и сорок ночей, пригласил и нас в этой временной жизни к воздержанию и целомудрию.

Вийон. С выводом можно спорить.

Гийом. Молчать!

Вийон. Да как же так, дядя Гийом? Господь, отпостившись, сколько ему полагалось, вознаградил свое естество, закурил и выпил чем господь послал...

Гийом. Как ты сказал? Господь послал? Кому же это он послал? Выходит, самому себе послал? Понял теперь, что, переча старшим, не доберешься до истины.

Вийон. Истина, как учит Аристотель, познается в спорах.

Гийом. Кто спорит-то? Спорят доблестные мужи, опоясанные мечом верховной дисциплины, сиречь диалектики, а не такие сопляки, как ты. Да и оным прославленным мужам право на сомнение далось нелегко. Писание говорит, что, когда Спаситель наш ходил в школу и, споткнувшись на первой же букве алеф, тщился объяснить ее смысл, учитель высек нашего Спасителя за сию преждевременную потугу. Так вот, не сомневайся, не застревай на погрешностях доказательства, не выказывай себя, храбрец, не суй носа куда ни попало! Посмирнее, Франсуа, полегче! Что это за шрам на лбу?

Вийон. Пустяки. Царапина. Бритвой порезался.

Гийом. Чую ложь! Искромсан ты в драке, подлый школяр! Ножом тебя резнули по морде. Так ли? Отвечай.

Вийон. Клянусь вам именем матери!

Гийом. Не любишь ты матери, почтенной старушки. Моей старости не чтишь. Будущность губишь.

Вийон. Разве я один драчун? Все драчуны. Другие школяры откалывают еще и похуже. Будьте спокойны, дядя Гийом, не сладок мне запретный плод, не любы их похождения. Плевал я на кабацкую славу, на красавиц, на легкую жизнь негодяя. Иным я в жизни озабочен, иное снится мне по ночам, иная сила влечет меня, — может, на гибель, не знаю, — влечет так, что спирает дыхание и сохнет гортань.

Гийом. А ну поведай, какая сила?

Вийон. Постричься хочу. Устал ходить в миру. Смердит мне из всех углов и подворотен Парижа.

Гийом. Вот куда загнул! Удивил. Растрогал, но и удивил. Полагаю, что с таким решением торопиться некуда. Дай я крепко обниму тебя.

Вийон. Стало быть, сейчас еще нельзя и мечтать о благодати? О, как это горько! К тому же дикая бедность удручает мне сердце. И свечи не могу поставить перед статуей богоматери.

Гийом. Вот тебе пол-экю.

Вийон. Что? Золото? Не могу глядеть на него. Режет мне очи адский блеск. Но скреплюсь, зажмурюсь и возьму.

Гийом. Привыкай, голубчик! Вот тебе еще экю. Отдай матери, обрадуй бедную женщину.

Вийон. Разве что для матери! Как мне благодарить вас, добрый дяденька?

Гийом. Затверди пятьдесят стихов Горация. Завтра спрошу. У Сен-Жака звонят. Прощай до полдня! *(Уходит.)*

Оставшись один, Вийон пробует деньги зубами, щелкает языком и прячет их в пояс. Внезапно окно кельи распахивается. В окне растрепанная голова Корбо.

Вийон

Корбо! Каким попутным ветром?
Где пропадал ты с ночи той?

Корбо

Ты незнаком еще с Бисетром.
Рискуешь завтра же...

Вийон

Постой!
Как бы каноник не услышал!
Он только что из кельи вышел.
Покашливает у дверей.

Корбо

Скорей! Скорей! Скорей! Скорей!

Вийон

Что ты плетешь?

Корбо

Горбун в темнице
В когтях у палача протух
И выдал нас. Прево томится
Желаньем, лишь споет петух,
Арестовать нас по доносу.

Вийон

За что?

Корбо

За буйство. Видно, суд
С властями городскими спесся.
Нас и святые не спасут.

Вийон

Ни за какие блага мира
Просить не стану ничего.

Корбо

По настоянию мессира
Де Пуля чертов кум Прево
Уже приказ, наверно, пишет.
Нас ночью схватят. И никто
Нам не поможет, не услышит.
Всё будет крепко заперто.

Вийон

Горбун назвал нас? Это верно?

Корбо

Как бог свят!

Вийон

А узнал ты где?

Корбо

От одного писца.

Вийон

Вот скверно!

Корбо

Весьма погано.

Вийон

Быть беде!

Корбо

Из-за дурацкой пьяной драки,
Могущей быть в любую ночь,

Вдруг сгинуть ни за что во мраке
Или бежать отсюда прочь!

Вийон

Бежать!

Корбо

Откуда? Из Парижа,
Где мы не мерзли без гроша?
Где каждый камешек нам ближе,
Чем мать, и нужен, как душа?
Ступай к канонику, несчастный!
Целуй его подол, скажи,
Что к случаю мы не причастны,
Что нас запутали во лжи!
Ведь ты родной ему племянник, —
Пусть вступится за нас добряк.

Вийон

Меня дорога к черту манит.
За городской чертой овраг
Дымится свежестью весенней.
Там свищет ветер для меня.
В Париже нету мне спасенья.
В любой харчевне западня.
Довольно. Баста! Пусть их ловят.
За что? Не все ли мне равно?
Пусть обвиняют, пусть злословят.
Я равнодушен, как бревно.
Запишут в протокол заочно,
Осудят и приговорят,
Приметы перечислят точно:
Рост, нос, два уха — всё подряд.
И пусть! Плевать мне на скрипенье
Их перьев и на их мозги.
На рты их, мямлящие в пене,
На шлепающие шаги!
Я вырву ногу из капкана,
Хоть бы до кости разодрав,
Плесну им в морду из стакана
Глоток несчастных школьных прав, —
Прощайте!

Корбо

Расстаемся, значит?

Вийон

Да!

Корбо

И на дружбе нашей крест?

Вийон

Кем разговор о страхах начат?
Кто первый каркал про арест?

Корбо

Есть выход более толковый.

Вийон

Просить? Раскаяться в тюрьме?
Сыграть ягненочка такого,
Который повторяет «ме»,
Сбив самого Патлена с толку?
Дурацкий фарс! Какая смесь
Унынья и почтенья к волку!
Овечья смелость! Сучья спесь!

Корбо

Итак, ты порываешь с нашим
Содружеством, мессир Вийон?
Со школьническим и монашьим
Обетом? Или басня он?
И ты решился на разлуку
С ученьем — лучшим из даров?

Вийон

Да! Я решился. Дай мне руку.

Корбо

(очень угрюмо)

Что ж! Это можно. Будь здоров!

Картина четвертая

Убогая комната матери Вийона. Поздний вечер. Вийон входит. озирается. Никого нет. Замечает под скамьей рыжего кота. Гладит его. Входит Мать с вязанкой хвороста.

Вийон

Здравствуй, мать! Не узнаешь ты, что ли?
Я твой сын. Воробышек родной.

Мать

Сын был глаже.

Вийон

Плохо кормят в школе,
Пичкают грамматикой одной.

Мать

Отощал ты, словно привиденье.
Под глазами синяки с пятак.

Вийон

Одолжи мне, мать, немного денег.
Видит бог, я обносился так,
Что смеются честные девицы.
На заду огромная дыра.
Видит бог, решил я удавиться.

Мать

Видит бог, всё отдала вчера
За мешок муки и ломтик сала.
Я гола, как обгорелый пень.
Я сама всю зиму шиш сосала —
День и ночь, и снова ночь и день.
У кого коза иль поросенок,
У кого игла иль молоток,
У кого в бочонках, припасенных
К рождеству, горячего глоток.
У меня одной, вдовы безногой,
Рыжий кот, да стоит он не много,
Взрослый сын, да беден он, как я.

Вийон

Врешь ты некрасиво, мать моя!
Я ведь знаю: у тебя в постели,
Кроме блох, есть ливров сотни три.
Мне о том сороки насвистели.

Мать

Расшвыряй солому, посмотри!
Что найдешь — твое, не пожалею!
Хочешь стол и скамьи разломать?
Сядь убогой нищенке на шею,
Грабь тряпье старухи!

Вийон

Ладно, мать!
Можешь спать спокойно и не плакать,
Скарба в доме не разворошу.
На дворе сегодня снег и слякоть.
Об одном тебя я попрошу:
Дай мне шарф и шапку из овечьей
Шерсти, что остались от отца.
Богу за тебя поставлю свечи.

Мать

Родила я сына-стервеца!
Вымогает, не дождется срока.
Лягу в землю, сыщешь всё, что есть.

Вийон

Слушай, мать, я ухожу далеко.

Мать

Убирайся с богом!

Вийон

Дай поесть!

Мать молча и злобно ставит на стол кружку сидра, подает лепешку и наполовину обглоданную баранью кость.

Как собаке, мне бросаешь кости?
Или ласки я не заслужил?
Или часто прихожу к вам в гости?

Мать

Тянет, тянет из последних жил,
Кровь сосет, а всё, проклятый, жаден,
Всё не так, всё ищет попрекнуть...
У, бродяга! Для таких вот гадин
Нету сладкого, не обессудь!

Вийон

Где сестрица Трюд?

Мать

На огороде
У каноника.

Вийон

Здорова?

Мать

Нет.
Оба вы, отцовское отродье,
Кашляете с самых малых лет.
Плачет, дура, тает, словно свечка,
Проболела осень, рождество;
Робкая, не вымолвит словечка, —
Да ведь мне не слаще оттого!
Мне-то, старой, без опоры в доме
До могилы, значит, спину гнуть?

Вийон

Слушай, мать. Вздремну я на соломе.
Разбуди пораньше. Надо в путь.

Мать

Значит, верно — ты уходишь?

Вийон

Верно.

Мать

А куда — не скажешь?

Вийон

Не скажу.

Мать

Говорят, что есть одна таверна.
Там школяр обидел госпожу
Леруа. И будто даме этой
Стало дурно. А ее жених
На мальчишку жаловался где-то.

Вийон

Ничего я не слыхал про них.

Мать

А еще рассказывают, в Туре
Ведьму рыжую опять сожгли.
А в Амьене черт набедокурил:
Поднял дом на локоть от земли.
Ох-хо-хо! Спаси нас бог, — в Париже
Летом будет, говорят, чума.

Вийон

Я слыхал об этой ведьме рыжей,
Что сводила дураков с ума.
Хороша была чертовка, видно,
Стала пеплом.

Мать

Стало быть, не зря!

Вийон

Мне на тех, кто знал ее, завидно.

Мать

Спи спокойно. Через час заря.

Оба спят. Входит Трюд, бледная двенадцатилетняя девочка. Вийон внезапно просыпается.

Вийон

Кто здесь? Почему в глазах троится?
Я не виноват. Под пыткой врут.

Трюд

Это я. Не бойся.

Вийон

Ты, сестрица?

Здравствуй, маленькая. Здравствуй, Трюд.
Говорила мать, что ты болела.

Трюд

Да, болела.

Вийон

Что молчишь всегда?
Трюд, сознайся, — это мать велела
Клянчить в церкви милостыню?

Трюд

Да.

Вийон

Много подают?

Трюд

Я не считаю.

Вийон

До пяти считать умеешь?

Трюд

Нет.

Вийон

Надо научиться.

Трюд

Пресвятая
Дева не велит считать монет.

Вийон

Ты ей молишься?

Трюд

Я не умею.

Вийон

Сколько лет тебе?

Трюд

Не говори,
Не мешай! Ты стал похож на змея.

Змей мне часто снится до зари.
У него есть женщина другая.
Та меня задушит. А! Постой!
Вот она! Вот светится, моргая,
Глаз под головешкой золотой.
Обожгу я ноженьку босую,
Растопчу ее глазок опять.

Мать

(просыпается)

Я тебя ремнем исполосую!
Дрянь, чертовка, не даешь мне спать!
Злые дети — наказанье божье.
Ох-хо-хо! Грехи мои прости!

Трюд

(очень тихо)

Ведьма смотрит. Ведьма строит рожи.

Вийон внезапно вскакивает и бросается к выходу. Трюд бежит за ним.

Франсуа! Не уходи!

Вийон

Пусти!
Мне пора. Не смей кричать, звереныш!
Мне не жалко вас. Пусти меня.
Больше ты ничем меня не тронешь.
До свиданья. Вы мне не родня.

Картина пятая

Конец той же ночи. Еле-еле светает. Вийон бежит по улице. Останавливается около дома с наглухо закрытыми ставнями.

Вийон

Ты здесь живешь, Инеса Леруа.
Ты крепко спишь, любовница чужая.
Ты крепко двери на ночь заперла
От злых людей. А утром, освежая
Лицо и руки в ледяной воде,
Припомнишь всё, чего мы не сказали
Тогда друг другу. Никогда, нигде

Не повторится этот миг. Он залит
Чернилами и воском. Искажен
Дознаньем. Пересудами оболган.
Мне надо потерять пятнадцать жен,
Чтобы найти тебя. Как это долго!
Но посмотри! Я тоже чист и смел.
Я тоже был в ту ночь с тобою рядом,
Дрожал от горя, путался, краснел...
Так почему же семь ночей подряд он
К тебе крадется, ночью упоен,
И в час, когда смежаешь ты ресницы,
Он, а не я, — он, а не я, Вийон,
Тебе, моя возлюбленная, снится!
О, как я глупо вел себя! К чему
Лез в драку и прикидывался храбрым?
Смотрели на меня, как на чуму.
И вот оплеван и едва не забран
Сержантами, не осужден едва
Самим Прево, истерзан и всклокочен,
Как гарпия, — шепчу тебе слова,
Тогда уместные, сейчас — не очень.
Нет! Этого не может быть. Прости!
Я через год вернусь к тебе. Запомни!
Зажми щепотку памяти в горсти.
Всё остальное на земле легко мне:
Красть, убивать, под пыткою хрипеть,
Спать под землей и почернеть, как ворон.
Но я вернусь! Что мне прикажешь спеть?
Как встретишься с нарядным дерзким вором?
Не узнаешь? От страха замерла?
Всмотрись в меня! Я был голодным, грязным,
Злым школяром, Инеса Леруа!
Не бойся! Полюбуемся, подразним —
И до свиданья! Можешь крепко спать.
Ты больше не нужна мне, недотрога.
Жизнь никогда не возвратится вспять.
Прощай! Так начинается дорога.

Вийон бежит дальше и выбирается наконец из путаницы кривых улочек и переулков. Перед ним пустыри, замерзшие огороды. Ветер треплет рукава П у г а л а.

Эй, Пугало, чудак безногий!
Мне шляпой машешь ты один.
А между тем знавал я многих

Друзей, доживших до седин
И разжиревших на покое.
Конечно, спят они теперь,
Они не знают, что такое —
Бежать, быть загнанным, как зверь,
Грызть корку, умываться снегом,
Бояться потерять ночлег
И дорожить любым ночлегом.

Пугало

Но ты, приятель, человек!
Мне хуже, мне гораздо хуже.

Вийон

Эге! Откуда эта речь?

Пугало

Я должен здесь в любую стужу
Гнилые овощи стеречь.
Давно расклеван и потоптан
Весь монастырский огород.
Давно сюда валили оптом
Всё, чего город не дожрет...

Вийон

Послушай! Это непорядок.
Зачем шагаешь ты за мной?

Пугало

Меня от вони мерзлых грядок
Тошнило столько раз зимой.
Я до костей продрог. Я болен.
А ты, бродяга, рвешься в путь.
И только вышки колоколен
Тебе кивают: «Не забудь!»
Ты сорок лье отмеришь за день.
Ты плюнуть в сотню луж волен.
Волен напиться, если жаден.
И, наконец, ты мэтр Вийон!
Иначе говоря, столетья
Тебя бессмертным нарекут.

Вийон

Наоборот! Готов истлеть я,
Как рваный нищенский лоскут.

Ты врешь бессмысленно и нагло,
Без толку, тыква, брешешь мне!

П у г а л о

Постой! Ведь это с глазу на глаз
И, очень может быть, во сне!

В и й о н

Уж если это надо, чтобы
Ты собеседником мне был, —
Знай: я не спятил от учебы
И логики не позабыл.
И если пьян, то не настолько,
Чтоб стоя бредить, как балда!

П у г а л о

Сопротивляешься ты стойко.
Итак, я бесполезен?

В и й о н

Да.

П у г а л о

Эх ты! Я вывернул бы пьесу
В невероятностях чудес.
Я бы привел твою Инесу
И вас перевенчал бы здесь.
Ведь автор для того и поднял
Условный трюк из преисподней,
Чтобы тебе, школяр, помочь
Перемахнуть сквозь эту ночь,
Сквозь этот мрак средневековый,
Сквозь множество иных времен.
Послушай! Ты школяр толковый,
Начитан в классике, умен.
Вот потому и предлагаю
Не отворачиваться я.
Смотри! Вот книга дорогая.
В ней юность и любовь твоя.
Я очень пригожусь поэту.
Но чур — не хныкать и не ныть!

В и й о н

Дай почитать мне книгу эту.

Пугало

Ее ты должен сочинить!
Прощай, красавец мой! Ты будешь
За городом часам к восьми.
Боюсь, что голову простудишь, —
Хоть шляпу у меня возьми!

Вийон берет у Пугала шляпу и бежит дальше. Пугало скрипит и качается под ветром.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ярмарка

Вийон, видя, что всё сбылось, как он предугадывал, говорит: «Здорово сыграете, господа дьяволы, здорово сыграете, ручаюсь вам».

Фр. Рабле

Картина первая

Через пять лет. На базарной площади в Блуа. Раннее весеннее утро. Плотники сооружают помост для мистерии. Мэтр Франсуа Вийон руководит работами. На нем бархатный подрясник. Волосы тщательно убраны медным обручем. В руках свиток. Рядом с ним Художник. Несколько в стороне толпятся любопытствующие горожане.

Вийон

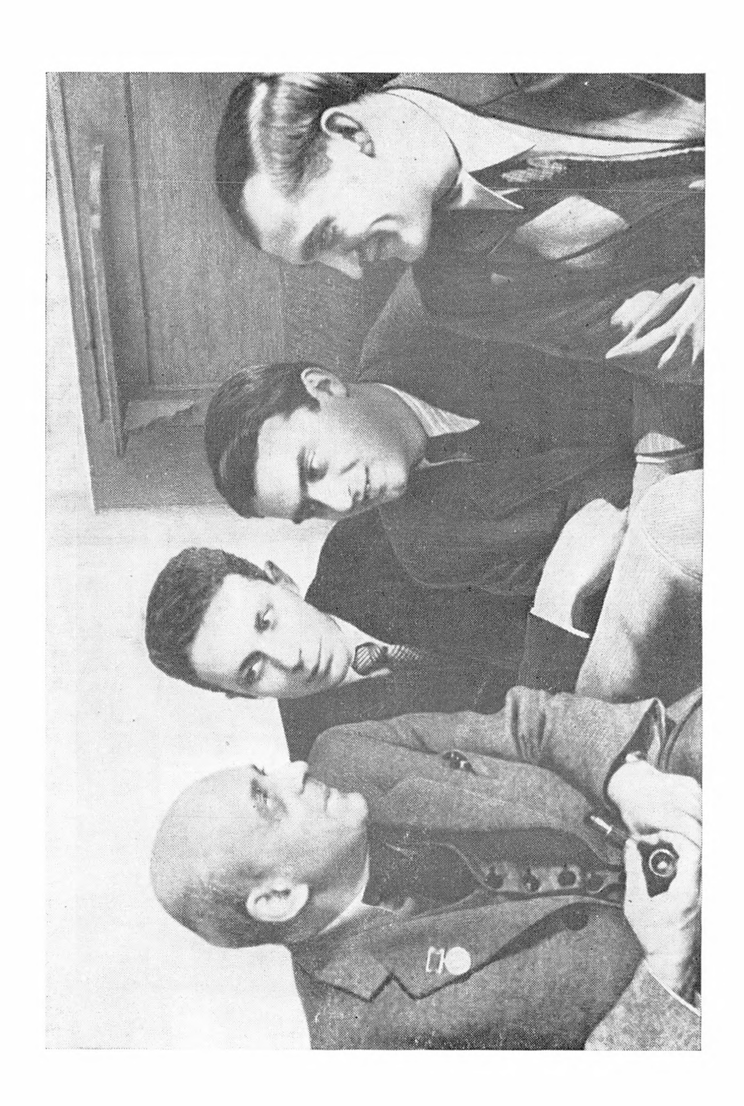
Прошу для пасти адовой еще
Не пожалеть кистей и красной краски, —
Чтоб жгло, чтоб било в ноздри горячо,
Чтоб женщины завыли!

Художник

Это маски
Для шествия, достопочтенный мэтр!
Весьма занятное приспособленье, —
Изволь примерить.

Вийон

Ты на шутки щедр.



Художник

В таких делах нельзя водиться с ленью.
Служа приказам преподобных ряс,
Я забавлял всегда простонародье,
Чем только мог. Вот и на этот раз
Хочу блеснуть наперекор природе
Кривляньями разнообразных рож.
Пускай хохочут наши горожане.

Вийон

Обидно только, что заплатят грош!
Я тщательно обдумал содержанье
Мистерии. Ввел несколько фигур
И аллегорий, неизвестных раньше.
Есть у меня Иуда-балагур,
Есть и Фортуна, ростом великанша.
Есть герцог Ирод, чей дворец-бордель
Заставит многих покраснеть, пожалуй.

Художник

Добиться бы еще хоть двух недель,
Чтоб подготовить всё, как надлежало.

Вийон

Любезный друг, отсрочек и не жди!
На этих досках в день святой Бригитты
Начнем играть. Не то на площади
Мы будем без иносказаний биты.
Эй, пошевеливайтесь там, друзья!

Плотник

Мессир, позвольте опорожнить кружку!

Вийон

До полдня, милые, никак нельзя,
А там гуляйте, чествуйте друг дружку.
Я угощаю всех. Садись и пей,
Пой, что захочется, целуй любую.
Эге, вниманье! Юноша, прибей
Гвоздями к скалам ленту голубую,
И пусть она трепещет. Издали
Получится изрядно, вроде моря.

Постойте, сволочи! Зачем зажгли
Все плошки? Навоняли, как в Гоморре.

Входит Служка и манит знаками Вийона. Тот подходит к к нему.

Что там еще?

Служка

Вас просят сей же час
Быть в ратуше. Там собрались нотабли.

Вийон

Пускай они сойдут, не горячась,
На площадь к нам. Не столь они ослабли,
Не столь стары, чтоб из-за них терять
Последние пред торжеством мгновенья!
Здесь у меня стоит рабочих рать.
Треск, суета. Мы подбавляем рвенья,
Подхлестываем, бранью разъярясь,
Друг друга. Но для случая такого
Мы не хотим лицом ударить в грязь.
Им это, мальчик, изложи толково.

Служка уходит. Вийон присоединяется к Художнику. Оба взбираются на помост.

Плотник

Мне нравится, что мэтр Вийон свиреп
И никого из важных лиц не трусит.

Горожанин

Постой еще! Наш магистрат не слеп.
Гнилой орешек быстро он раскусит.
Сообразит, что дьявола на двор
Пустил к себе, да только будет поздно!

Плотник

Да кто же он такой?

Горожанин

Церковный вор!
И если он в Париже не опознан,
То попадется здесь, держу пари.

Плотник

Он смотрит в нашу сторону.

Другой горожанин

Он дьявол!
Он оборотень, что ни говори!
Когда-то он в Турецком море плавал,
Был обезглавлен, но господень враг,
Князь тьмы, пришил ему башку обратно.
Повешен был, но сорвался в овраг.
С тех пор он умирал неоднократно.
Ты присмотрись к нему, взгляни в глаза
Или, когда задумается, — сбоку!

Вийон с Художником появляются на помосте.

Вийон

А знаете, мессир, идет гроза.
Наш праздник, видно, не угоден богу.
Эй, плотники, портные, маляры!
Как жизнь? Как продвигается работа?
Иль пересохло в горле от жары?
Иль достучались до седьмого пота?
Кончай, кончай! Пора! Трубит рожок.
Эй, мастера, скликайте подмастерий!

Входит Служка. Следом за ним толстый Нотабль. Горожане почтительно приветствуют вновь прибывшего.

Служка

Мэтр Франсуа!

Вийон

Что там еще, дружок?

Нотабль

(выступает вперед)

Ввиду того, что нам сюжет мистерий
Изложен путано, ввиду того,
Что ваша дерзость не угодна граду,
А господу не мило торжество,
Где богохульник ждет себе награды, —
Постановляет ныне магистрат
С епископскою курией вкупе —
Дать вам расчет, в покрытье ваших трат.
А снаряженье и машины купит
Мэтр Эстурвиль, суконщик. То есть я.

Итак, мессир, сценарий мне вручите,
Секретов лицедейства не тая.

Вийон

Мэтр Эстурвиль, я обращусь к защите
Самой принцессы. Тут прямой грабеж.
Я сочинял, острил, придумал трюки.
Тут каждый гвоздь, что к месту ни прибьешь,
Что ни возьмешь, мои припомнит руки.
Я должен кончить дело!

Эстурвиль

Почему ж
Не в силах целого исправить некто,
Благочестивый и ученый муж,
Известнейший теолог, наш проректор,
Отец Корбо?

Вийон

Как вы сказали? Кто?

Эстурвиль

Мэтр Боэмунд Корбо.

Вийон

Он был мне другом.
Конечно, это время залито
Водой забвенья. И с ученым кругом
Давным-давно я связи растерял.
И должен сдаться. Я его не трону
Насмешками. Но что за матерьял
Пошел на выделку такой вороны?
Школяр Корбо! Бездельник и шпана!
Тот мальчуган!

Эстурвиль

Нельзя ли осторожней!

Вийон

Так, стало быть, вся сцена отдана
Ему, чтоб оскопил, и опорожнил,
И выпарил ее до пресноты?
Да, с этой мыслью сжиться нелегко мне!

Эстурвиль

Тсс, он идет.

Проходит Корбо, тощий, чопорный, скучный.

Вийон

Мы были с ним на «ты».
Привет, Корбо!

Корбо

Кто вы? Я вас не помню.

Вийон

Я Франсуа Вийон.

Корбо

А, очень рад! ..

Вийон

Как вы живете?

Корбо

Так себе. Не очень.
Вы, я узнал, отчасти мой собрат —
Поэт? ..

Вийон

Я этим мало озабочен,
Пишу для развлеченья.

Корбо

Так, так, так...
Ну, я спешу. Простите!

Вийон

Будьте здравы!
А помните: собачий ветер, брр...

Корбо

Чудак!
Недалеко ушли от школяра вы.

Корбо медленно удаляется. Вийон долго смотрит ему вслед и затем гулко ударяет кулаком по помосту.

Эстурвиль

Ударим по рукам?

Вийон

В известный час
Я приведу сюда веселых малых.
Мы вам споем, уменьем не кичась,
Такие песни, чтобы понимал их
Любой ребенок. В ханжестве своем
Отец Корбо ведь не такая цаца,
Чтоб нам утихнуть! Мы еще сорвем
Мистерию!

Эстурвиль

Вам это не удастся.

Вийон

Попробуем!

Эстурвиль

И это ни к чему.
Оставим словопренья! Я не жажду
Упечь вас в монастырскую тюрьму,
Но вы — зараза для моих сограждан.
Мне всё известно. Даже день и час
Допроса трех повешенных в Руане.
Вы, ничему в Сорбонне не учась,
Себя причислили к подлейшей рвани,
К той рвани, что, помимо грабежей,
Слегка замешана в делишках мокрых. . .
Но я не продолжаю. Вам уже
Должно быть ясно, что один мой окрик —
И вы погибли. Я даю вам срок.
До ночи будьте у заставы. К черту!
И — чтобы тихо! Это вам же впрок.
Ни звука — никому!

Вийон

Молчу. Как мертвый.

Картина вторая

Ратуша в Блуа. Эстурвиль и другие нотабли. Среди румяных горожан выделяется черная фигура Корбо.

Эстурвиль

Всё валится из рук. Где ангелы, где черти?
Где мироносицы и где танцоры смерти?
Где связки факелов, грома небесных труб,
Престол всевышнего? Я бледен, аки труп.
Зашился, как болван.

Корбо

Я паки повторяю,
Что главный аргумент быть должен в пользу рая,
Что суть мистерии не в ярости острот
Не в сквернословье, но совсем наоборот!

Эстурвиль

Конечно, это так, но банда разбежалась,
Никто не слушает. Всё гибнет. Что за жалость,
Что мэтру Франсуа не доверяет клир!
Нам не пристало быть настройщиками лир.

Корбо

И тем не менее я повторю вам паки,
Что этой сволочной и пакостной собаке
Определен удел: гнить в петле — и конец!

Входит Служка.

Служка

Отцы нотабли, из Бургундии гонец.

Голоса

— Спаси, Пречистая, помилуй нас, Исусе!
Принцесса едет к нам.— Вот это в нашем вкусе!
— Я предпочту принять двенадцать дюжин шлюх,
Чем эту деточку. — А есть недобрый слух,
Что это нам грозит опасностью. — Э, бросьте!
Особы знатные — всегда благие гости.
— Ой, ратуша падет, не снесть ей головы!
— Бьюсь об заклад, пустяк! — Мэтр Эстурвиль, а вы
Чем нас утешите?

Эстурвиль

Что ж! Нечего лукавить!
Не худо бы навек нас от нее избавить.
Мы, честные купцы, живем, баклуш не бьем
И тщимся не забыть о празднике своем.
Что ж, если госпожа бургундка к нам приедет,
Особой дружбою пускай она не бредит.
Но мы ручаемся принять ее как дочь.
Впустите же гонца.

Входит Гонец.

Гонец

Эй вы! Сегодня в ночь —
Вы понимаете? — чтоб было по статуту
И сено лошадям, и сто костров раздуто,
И спущен главный мост, и хоры певчих пусть
«Et tibi gloria!..»[1] поют нам наизусть.
Пусть жители не спят, толпятся на балконах, —
Но боже их избавь от действий незаконных!
Вы понимаете? Прочли вы между строк,
Что следует за сим? И, несмотря на срок,
Вы сделаете всё, что в силе человечьей?

Эстурвиль

(почти плача)

Мы вам предъявим счет за траты, за увечья,
За сено, за костры, за наши погреба,
Расхищенные вдрызг, за хоры певчих...

Гонец

Ба!
Мы платим золотом, одолженным у вас же,
И этим платежом, конечно, вас уважим.

Голоса

Уж больно вы хитры!
— А ну как скажем «нет»!
Ни сена лошадям, ни герцогам монет?

---

[1] «И слава тебе!..» (лат.) — *Ред.*

— А ну как выкинем над ратушею знамя
Гильдейских наших прав?
Кто будет драться с нами?

Гонец

Нельзя ли не орать? Я вам не кум, не сват,
Не родич, не сосед. И, как господь наш свят,
Ручаюсь, что моей тут и на грош нет воли.
Я передал приказ. Прощайте.

(Уходит.)

Эстурвиль

Оттого ли,
Что злобен сей наглец иль бестолковы мы,
Но чую воинство необоримой тьмы,
Обставшей праздник наш.

Корбо

О дева всеблагая!
Вербуйте воинство, негодных отвергая,
В сонм исполнителей, от господа Христа
До мелких дьяволят.

Эстурвиль

Задача не проста!
Уже я отмечал: боятся все, как петли,
На сцене выступать.

Корбо

Средь молодежи нет ли
Таких охотников?

Эстурвиль

Нам молодежь чужда.

Корбо

В обедню с паперти объявлена ль нужда?

Эстурвиль

И возглашал, и звал в обедню и в вечерню.
Внимали сумрачно. Нет отклика у черни.
Меж тем уже двойной отяготил нас долг.
В подобных торжествах бургундцы знают толк.

Корбо

Что делать?

Эстурвиль

Ведаю. Но вам открыться трушу.

Корбо

Ого! Я слушаю!

Эстурвиль

Закладываю душу,
На карту ставлю дом, торговлю и ребят,
Да стану я прыщав, заика и горбат, —
Искусством дьявольским мы с вами не владеем.
И следует послать за тем шальным злодеем,
За вором Франсуа. Он нужен здесь как хлеб.

Корбо

Сей выпад столько же греховен, сколь нелеп.
Вор Франсуа удрал, ищите ветра в поле!

Эстурвиль

Вы полагаете?

Корбо

Уверен в том. Тем боле,
Что намекнули вы ему на Монфокон.
Веревка устрашит, где не возьмет закон.
Итак, не станем ждать от дьявола подмоги.
Я сяду править текст. Погрешности суть многи.
Метафора груба. Размер не нежит слух.
Тут рифма вялая. Там непристойность шлюх.
Громоздко, путано. Но что всего ужасней —
В писанье вкраплены безграмотные басни.
Хоть замысел весьма возвышен и широк,
Но винным запахом разит от этих строк.
Вы слушали его и слишком присмотрелись,
Вот и запутались в сию мирскую прелесть!

Эстурвиль

Пожалуй, это так, но всё же..,

Корбо

Мне пора!
Коли посеял зло, то не пожнешь добра;
Где ведьма ворожит, там ошибется зоркий;
Кто молится, тот благ, — такие поговорки
Текст представления пристойно оживят, —
И да поможет бог! Приступим. Свят-свят-свят!

(Чинит перо и садится за работу.)

Эстурвиль пребывает в глубокой задумчивости.

Эстурвиль

Где ты скитаешься, несчастный и великий?
Не пойман ли в ночи? Кем и с какой уликой?
О, если, несмотря на тысячу засад,
Ты улизнешь и к нам воротишься назад
И постучишься в дверь мою хоть ненароком —
Добро пожаловать! Я научен уроком.
Скорей! Монахи спят. Весь город нынче твой,
За безопасность же ручаюсь головой.

Картина третья

Ярмарка в разгаре. Лавка ювелира и менялы Жака Шермолю. Хозяин, со сморщенным лицом скопца, за прилавком. Перед ним Эстурвиль и две Горожанки.

Шермолю

А вот занятный поясок
Весьма затейливой чеканки.
Резвятся нимфы и вакханки
У речки, в зелени осок.
Вот бусы в венецейском духе.
Вот зеркало для всех ланит.
Оно волшебно сохранит
Румянец на лице старухи.
Вот перстень в розочках резных
Оправой служит хризопразу.
Вот четки, что украсят рясу.

Эстурвиль

Мессир, я не нуждаюсь в них.
Приблизьте ухо осторожно.

Не покупатель я у вас,
Но лишь проситель.

Шермолю

В добрый час!
Готов служить вам, чем возможно.

Горожанка

Ах, Шермолю, ваш изумруд
Ласкает глаз, но слишком дорог.
К тому же суд соседок зорок!

Шермолю

Они от зависти умрут!
Но милой даме нет отказа.
Я два экю вам уступлю.

Горожанка

Как вы жестоки, Шермолю!

Шермолю

А вот два дымчатых топаза!

Вторая горожанка

Ах, я как раз такой ищу!

Первая

Он мне предложен!

Вторая

Не пущу!

Шермолю

Вот ярмарочная проказа!
Все спорят с пеною у рта!
Дерутся из-за дряни каждой
И снова одержимы жаждой.
А нам смешна сия тщета.
Мы, старики, на ладан дышим.
Снедает нас беззубый смех
При виде сумасшествий всех.

Эстурвиль

Итак, мой друг, возможно тише!
Не для того, чтобы в грехе

Вас уличить. Не это важно!
Я вам задам вопрос отважный
И крайне щекотливый.

Шермолю

Хе!
Я трепещу и предвкушаю
И, предвкушая, трепещу.

Эстурвиль

Забота у меня большая:
Я вора некого ищу.

Шермолю

Но я-то здесь при чем?

Эстурвиль

Заметьте!
Отнюдь не уличаю вас.
Вы скупщик ценностей. И эти
Вещицы — пиршество для глаз.
Но если ювелир с достатком
И если вещь недорога —
Бывает, что о деле гадком
Ему и невдомек...

Шермолю

Ага!

Эстурвиль

Мой розыск не грозит вам иском.
И в кляузах я не мастак.
Я вас прошу с поклоном низким
Найти мне человека.

Шермолю

Так!

Эстурвиль

Я имени его не знаю,
И вам его не надо знать.

Шермолю

Мессир, взгляните! Цепь сквозная,
Как нынче носят клир и знать.

Кадильницы, распятья, четки,
Ковчежцы, раки, сундучки...
Эй, не торгуйтесь же, красотки!
Эй, раскошельтесь, старички!
Кому играть в бирюльки любо,
Кто знает толк в сортах камней,
Кого не взять подделкой грубой —
Ко мне! Ко мне! Ко мне! Ко мне!

Эстурвиль

Мессир, от вас я не отстану.

Шермолю

Приметы — быстро!

Эстурвиль

Смугл и тощ,
Силен в латыни, строен станом...

Шермолю

Ко мне, красотки, ибо дождь
Накрапывает и палатку
Придется на вечер свернуть!

Эстурвиль

Сметлив и пишет вирши гладко.

Тут Шермолю внезапно меняется в лице, оскалив острые и гнилые зубы.

Шермолю

Обворовал он вас?

Эстурвиль

Отнюдь!

Шермолю

Соседей ваших?

Эстурвиль

Полагаю —
Он чист как агнец между них.

Шермолю

Спаси нас, дева всеблагая!
Чем же не праведный жених?

Но вы его назвали вором —
Есть доказательства сего?

Эстурвиль

Так он ославлен приговором,
Что подписали два прево,
Семь настоятелей из дальних
Епархий и один судья.
Замешан он в делах печальных,
Но, право, не забочусь я,
Чтоб кем-то пойман был несчастный!
Я вас не выдам никому.

Шермолю

Мессир, вы к ратуше причастны?

Эстурвиль

Так что ж? Простите, не пойму.

Шермолю

А кто вас знает, что вам нужно?
Зачем вам нюхать здесь и там?
Живете с церковью вы дружно,
А тянетесь к дурным местам.
Мир изо всякой дряни соткан!
Всех слушай, ну а сам молчок!
Эй, не торгуйся же, красотка!
Эй, раскошелься, старичок!
Кому играть в бирюльки любо,
Кто знает толк в игре камней!

(Пропадает в толпе.)

Эстурвиль

Я, видно, одурачен грубо!

Голос Шермолю

Ко мне! Ко мне! Ко мне! Ко мне!

Эстурвиль бросается на этот призыв. Но ему загораживает дорогу Продавец реликвий.

Продавец реликвий

Вот тернии того венца,
Что надевал Спаситель!..
На вас, почтенный, нет лица,
Из фляжечки вкусите.

Эстурвиль

Где он? Где злобный Шермолю?
Где сей полночный филин?
Ах, укажите мне, молю!

Продавец реликвий

Я вас понять бессилен.

Эстурвиль отстраняет его и бежит дальше.

Эстурвиль

Ну как же, ну где же найти мне Вийона?
Или принял меня этот шут за шпиона?
Проклятая давка! А рвани-то, рвани!

Шарлатан

Мессир, предлагаю свое дарованье,
Чтоб черная магия вас просветила!
Мне служат металлы, мне внемлют светила.
Я вижу грядущее как на ладони.

Эстурвиль

Скажите, в каком непотребном притоне
Сейчас обретается тот неизвестный,
Кого я задумал?

Шарлатан

Вопрос интересный!
О лев Трисмегиста! О знак Пентаграммы!
О пламя Гекаты! Ступайте же прямо,
Шагайте, бегите, летите! Чрез месяц
Он встретится вам, коль его не повесят.

Эстурвиль бьет Шарлатана. Тот кричит. Их с трудом разнимают. Эстурвиль садится на землю, широко расставив ноги, и тяжело дышит. Около него хлопочет Горожанин.

Горожанин

Ужели помутился ум
В таком дородном теле?

Эстурвиль

Повсюду адский треск и шум!
Добраться б до постели!

Горожанин

Вот вам совет лечебный мой:
Натрите салом спину,
Когда воротитесь домой,
И все виденья сгинут.

В это время в другой части ярмарки встречаются Шермолю и горбоносый малый с серьгой в ухе — Колен.

Колен

Вийон сюда приедет к ночи.

Шермолю

Сгинь, сатана! Здесь бродят псы.
Почуют, разорвут нас в клочья.

Колен

До дела считаны часы.
Ты будешь в боковом приделе,
Чтоб уберечь нас от засад

Шермолю

А горожане поредели —
Их были сотни час назад.
Все бредят о бургундской гостье.

Колен

Плевал я на гостей чужих!
Желаю на любом погосте
Им так же дрыхнуть, как я жив!
Все из одной породы сучьей,
Всё их богатство — прах и тлен!
Имей в виду на всякий случай:
Я для Вийона не Колен,
А немец с примесью венгерца.
О нашем прошлом — ни гугу!
Чтоб у него не билось сердце,
Я буду вежлив, сколь могу.

Шермолю

Вийона ищут.

Колен

Знаем штучки!
Ты с нами смоешься, старик!

Мимо них проходит Эстурвиль с другим Горожанином.

Шермолю

Боюсь дождя из этой тучки.

Колен

Прикажешь сделать чик-чирик?

Картина четвертая

Внутренность церкви за алтарем. Сквозь цветное окно играет лунный луч. Вийон и Колен.

Вийон

Посвети мне сверху! Заступ!
Пошевеливайся, гад!

Колен

Zwanzig Hundert Teufel! [1]

Вийон

Баста!
Завтра станешь ты богат.
Навались!

Колен

Jawohl! [2]

Вийон

Сдвигаю!

(Отставляет плиту каменного пола и прыгает вниз, в подполье. Через несколько секунд выбрасывает вверх мешок с золотом.)

Колен

Gott im Himmel! [3]

---

[1] Тысяча чертей! (Нем.). — *Ред.*
[2] Конечно! (Нем.). — *Ред.*
[3] Бог мой! (Нем.). — *Ред.*

Вийон

Слышишь звон?
О мадонна всеблагая!
Взглянешь — и дыханье вон!
Нидерландские флорины,
Московитские рубли!
Золотом набей перины,
Спи, как папа, ай-люли!

Колен

Zwanzig Tausend Teufel!

Вийон

Кости!
Клетка плоти без души!

(Вылезает вверх, таща за руку скелет в черной сутане.)

Эй, безносая! Ты в гости
К нам до срока не спеши!
Мы еще с тобой станцуем
В зной, в грозу, и в снег, и в дождь!
Кавалер, как дама, тощ,
Целоваться не к лицу им.
Но она его берет
Крепко за руку и тянет.
Этот час для всех настанет,
Всех настигнет в свой черед!

Колен

Nicht so schrecklich, dummer Kerl!
Bist du fertig? Komm mit mir! [1]

Вийон

Видишь, немец, жемчуг, перлы,
Груды золота, весь мир!
Вот, на счастье и на горе,
Мир без ада впереди,
Без латинских аллегорий...

Колен

Aber schneller! [2]

---

[1] Не так страшно, глупец!
Ты готов? Пойдем со мной! (Нем.). — *Ред.*

[2] Но скорее! (Нем.). — *Ред.*

Вийон

Погоди!
Не монашески овечий,
Голый, страстный и простой, —
Вот он, мир мой человечий!

Колен

Schneller, Junge! [1]

Вийон

О, постой!
Это стоит даже танца
На потеху дураков!

Колен

Aber willst du jetzt die ganze
Welt aufwecken, Eselkopf?
Willst du, Narr, in Hölle gehen?
Post! Wir sind verloren schon! [2]

Из темноты выступает Шермолю.

Шермолю

Кто здесь так самонадеян
Или разума лишен?
Кто, свершая в церкви кражу,
Прокопался до зари?

Вийон

Ты зачем оставил стражу?

Шермолю

Где же мой процент?

Вийон

(швыряет ему горсть монет)

Бери!

---

[1] Скорее, юноша! (Нем.) — *Ред.*

[2] Не хочешь же ты теперь разбудить целый свет, осел? Хочешь идти в ад, дурак? Чума! Мы уже погибли! (Нем.). — *Ред.*

Шермолю

Обижаешь?

Вийон

Обижаю.

Шермолю

А за что?

Вийон

За то, что ты —
Тварь, навеки мне чужая,
Чьи проклятые черты
Я видал на каждом рынке,
Там, где преет барахло,
Там, где время по старинке
Нас на дружбу обрекло!

Картина пятая

За кулисами разыгрываемой на площади мистерии. Звон колоколов, певчие, неопределенный гул толпы. За столом, заваленным всякой снедью, вроде ливерной колбасы, омаров и прочего, подкрепляются трое: Бог-отец, Ева и Змей. Вбегает Эстурвиль.

Эстурвиль

Расселись, бездельники, так вас и так!
Устроили в небе вонючий кабак!

Бог-отец

Пожалуйста, не разоряйтесь, мессир!
Допью, что мне хочется, скушаю сыр.
Потом — лам-ца-дрица и лам-ца-ца-ца! —
Изрядно сыграю вам Бога-отца!

Змей

Старик, дурачина! Ты мог бы греметь
В божественной роли, как трубная медь!

Бог-отец

И я загремлю еще!

Змей

Ты-то? Ого!
Ты, может быть, вспомнишь харчевню Марго.
До ветру пойдешь, потеряешь штаны,
Но ты не партнер для меня, сатаны!

Бог-отец

А хочешь по морде?

Змей

Попробуй посмей!

Ева

Зачем вы всевышнего дразните, Змей?
Он добрый наш папочка!

Змей

Он-то? Ха-ха!

Бог-отец

Пожалуйста, Ева, уйди от греха!
Барбосы грызутся — не суйся щенок!

Эстурвиль

Мистерию вы превратили в шинок!
Вы всё опоганили!

Бог-отец

К черту, ханжа!
В руках своих небо и землю держа,
Хлебнув этой мощи, я полон тоски,
Что от балагана сего ни доски,
Ни пакли, ни плошки вонючей, ни свеч
Нельзя для грядущих времен уберечь.
Да что толковать о других временах!
Но кто бы ты ни был — мирянин, монах,
Схоласт, ковыряющий важно в носу, —
Я все твои пакости смирно снесу.
Ну, твари, на сцену! Опять двадцать пять —
Ваш мир сволочной создавать, и на пядь
Не сдвинув конструкций, — который уж год!
Сплошная халтура! Сплошной анекдот!

Трое исполнителей выходят на сцену. Доносится чтение виршей нараспев. Гул толпы понемногу стихает.

Эстурвиль

Ну, слава богу, начинаем! Ух!
Упарился, как ломовая кляча.
Едва держусь, едва дышу, распух.
А в животе от сдавленного плача
Так вот и жжет и ходит ходуном.
В кишках ли дело, вообще тоска ли?
О господи, молю я об одном:
Дай мне терпенья!

Не замеченный им, сзади появляется Вийон.

Вийон

Вы меня искали?
Готов служить вам, чем возможно.

Эстурвиль

(подымает руки, как бы защищая голову)

Нет!
Всё обошлось довольно гладко. Завтра
Вам будет выдан, ибо вы наш автор,
Мешок весьма увесистых монет.

Вийон

Сейчас. Немедленно! Не то я свистну.
У вас играет часть моих людей.
Им ваше представленье ненавистно.
На свист они откликнутся.

Эстурвиль

Злодей!
Как это подло!

Вийон

Что такое «подло»?
Кто вырвал дело у меня из рук?
Кто начал первый? Кто пример мне подал?

Эстурвиль

Припомните! Я поступил как друг.
Я тоже мог бы свистнуть. И дороже
Вам обошлась бы наша встреча. Но
Я вас не выдал!..

Вийон

Да. Почти похоже
На правду. Но увы! Затемнено
Фигурой умолчанья. Объясните:
Кем и когда написанный донос,
Каких капканов порванные нити
Почуял ваш достопочтенный нос?
Без хныканья, без лишних отговорок!
Мне нужен только перечень клевет.
Что вам известно обо мне? Здесь дорог
Возможно более прямой ответ.

Эстурвиль

Вы молодец с большой дороги!

Вийон

Каюсь.

Эстурвиль

Вы богохульник!

Вийон

Горе мне! Увы!

Эстурвиль

Вы вор! Церковный вор!

Вийон

Не отрекаюсь.

Эстурвиль

Мессир, вы просто висельник!

Вийон

А вы,
Мэтр Эстурвиль?

Эстурвиль

Я вас не понимаю!

Вийон

Я доказать немедленно берусь,
Будь даже вся толпа глухонемая,

Что вы торгаш, и лжец, и вор, и трус!
Эй вы, нотабль, столп и душа сбщины,
Избранник гильдии, глава семьи!
Мы все-таки не шлюхи, а мужчины.
Мы сводим счеты старые свои.

Эстурвиль

Прошу уволить!

Вийон

Будьте добры слушать!
Достойны будьте собственных седин.
Что стоило вам договор нарушить
Со мной? О, вы здесь были не один!
За вами стал весь магистрат, все судьи,
Все алтари, всех пастырей орда,
Враждующая с нашей грешной сутью
И шлющая чуму на города.
Все стали скопом, вышли всей оравой,
Все завопили: «Караул! Он вор!»
И лишь одно мне подарили право —
Бежать! Так был разорван договор.

Эстурвиль

А разговор наш кончен!

Вийон

Нет, не кончен!

Эстурвиль

Начнем сначала, черт возьми!

Вийон

Так вот,
Мэтр Эстурвиль, известно вашим гончим,
Кто на подмостках уши граждан рвет?
Кто населил вам небо, ад и землю?
Кто сделал Бога, ангелов, Христа?
Я, Франсуа Вийон!

Эстурвиль

С уныньем внемлю,
Что мне глаголют грешные уста!

Вийон

Не унывайте! Всё идет, как надо.
Звонят в колокола. Господь и черт
Оспаривают друг у друга стадо
Овечьих лиц и человечьих морд.
Я не подкапываюсь под святыни.
Не стану жечь стрельчатые леса.
Я сам учился по складам латыни.
И, может быть, я рано родился.
Но за непотревоженный порядок
Идущих там мистериальных сцен,
За овощи сих благолепных грядок
Вы мне должны, — не знаю ваших цен,
Скажу на глаз...

Эстурвиль

Ах, вот оно в чем штука!
За прозвище лжеца и торгаша,
За сей приход без спроса и без стука,
За наглость я не должен ни гроша.
Ступайте вон!

Вийон

Обдумали вы это?

Эстурвиль

Вполне обдумал. Кончим болтовню.

Вийон

Вы гоните несчастного поэта?

Эстурвиль

Я вижу хорошо, кого гоню!

Вийон

Что там идет?

Эстурвиль

Изгнание из рая.

Вийон

Куда ни повернись — сплошной разгон!

(Пытается выйти на сцену.)

Эстурвиль

(хватает его за рукав)

Я не пущу вас. Паки повторяю:
Прочь, негодяй! Ступайте к черту! Вон!

Вийон

Заплатите?

Эстурвиль

Не заплачу.

Вийон

Не двинусь.

Эстурвиль

Ах, спрячьте нож! Вы в бешенстве слепом!
Где ваша совесть?

Вийон

Где твоя невинность,
Младая шлюха?

Эстурвиль

Караул! На пом...

Вийон сует ему кляп в рот и связывает руки. Но тут сцена выворачивается наизнанку, и вот мы видим происходящее на подмостках.

Ева

Тебя, Боже, хвалим!
Тебя, Змей, хулим!
Ты зело нахален,
Бабий подхалим!

Бог-отец

Ева, Ева, Ева,
Как вкусила ты
Плод незрелый с древа?

Змей

Уползу в кусты.

Бог-отец

Нашим величавым
Гневом не давясь,

Речем сгоряча вам:
Рай наш не для вас.
Сень древес целебных,
Щебет райских птах
Не для непотребных.

Змей

Веселюсь в кустах!

Ева

Руки простираю!
Слезны токи лью!
Кланяюся раю!
Ах, почто терплю!

Бог-отец

В яблоке изверясь,
Будешь руки грызть!
Проклинай же ересь!

Змей

Не моя корысть!

Когда Бог-отец спускается с подмостков, навстречу **Вийон.**

Вийон

Мажорден! Слушай. По сигналу,
Что я дам, — врассыпную все —
И в толпу! Сколько тут согнало
Богачей в боевой красе!
Лишь найдешь в давке толстосума,
Рви кошель — рви, не проворонь!
Коли свист не покроет шума,
В тот же миг запалю огонь.

Картина шестая

Представление мистерии продолжается. Бог-отец в силе и славе восседает на престоле, и вокруг него ангелы. Ад уже населен множеством грешников, которых черти коптят на вертелах и шевелят вилами. На Земле — башни Иерусалима. Толстые горожане в наряднейших платьях, в меховых кафтанах, расшитых золотом, лупят кого-то по шее и зычно орут, но ни единого слова не слышно из-за гула толпы. В толпе шныряют торговцы, нищие, проповедники. Уже смеркается. Пыльно, дымно. Это последние часы выдыхающегося праздника. На переднем плане — ложа,

отведенная для высоких особ. Мэтр Боэмунд Корбо ублажает принцессу Бургундскую. Принцесса, старая дева с перекошенным восковым лицом, пьет оршад.

Корбо

Весь этот бренный блеск в мягчайших переливах,
Всё наше золото в чеканках прихотливых,
Всех литургий подъем, всех ладанов роса,
Всех певчих дишканты, что рвутся в небеса,
Всех ангельских фигур приятное паренье,
Всё, что свершается пред вами на арене,
Не стоит розовой улыбки ваших уст,
Звезда Бургундии! Наш праздник был бы пуст
Без вашей милости. Внемлите благосклонно
Дождям благих словес, плодотворящим лоно
Торжественной толпы. Нас тьмы не сокрушат!
Да возликует бог в сердцах!

Принцесса

Где же оршад?

Около принцессы суетятся клирики и дамы. В ее кубок льют прохладительное, ее лик овевают опахалами. В дальнейшем действие переносится в толпу. Внимание зрителя сразу оказывается разбросанным по множеству направлений. Все реплики толпы идут на фоне очень далекой, но постепенно приближающейся мелодии. Наконец она превратится в трепетанье сотен струн, и тогда о ее дальнейшем развитии будет сказано особо.

Кавалер

Любимая, ради венца
Той муки, что принял Спаситель,
Отведав сего леденца,
Орешком его закусите,
Отпейте из кружки глоток
И, душенька, полноте злиться!

Проповедник

Я исходил трикраты весь Восток,
Зрел идолов накрашенные лица,
Зрел гарпий, и грифонов, и химер,
Людей, как псы, в шерсти и лопоухих.
Мои стигматы — святости пример.
Мрут во плоти, дабы воскреснуть в духе.
Знай, мытарь! Знай, мирянич! День суда
Не за горами, ибо срок недальний...

Дама

Так, значит, ровно в полночь? Да?
Вот вам ключи от спальни.

Любовник

Но горничная сторожит
В светелке вас соседней.
А ваш супруг, хотя и жид,
Вояка не последний.

Дама

Я горничную отошлю
К снохе, коль вам угодно,
А муж уехал с Шермолю.
Я жду вас. Я свободна.
Но если он придет, в сундук
Полезете — и крышка!

Монах

Отчего-то пояс туг,
Отчего-то жжет отрыжка.
Что я скушал? Трех цыплят.
Что я выпил? Треть бочонка.
Что меня сразило? Взгляд.
Кто меня лечил? Девчонка.
Отчего же смутно всё
И слегка дрожат колени?

Игрок

Вертись, не зная лени,
Фортуны колесо.
Эй, попытайте участь,
Читайте между строк,
Не труся и не мучась,
Что повелит вам рок.
Подбрасываю кости,
Выигрывает чет!

Схоласт

Дьявол суемудрия столь злостен,
Что неправый силлогизм влечет
Цепь неправых умозаключений.
Гладки взятки с гибнущей души.

Ждет ее во все века мученье.
Посему не рвись и не спеши!
Знай: на свете измышлений грязных
Quantum satis[1] — сиречь, сколько съешь!

Продавец игрушек

Раскошелимся на праздник!
Мама, деточку утешь!
Барабаны, бубны, дудки,
Эфиопские слоны,
Поросята, черти, утки,
И жонглеры-плясуны,
Пересмешники-пищалки,
Погремушки с бубенцом...

Проповедник

Отворотись от непотребной свалки!
Зажми ноздрю и с благостным лицом
Минуешь вонь грибов, капусты, лука, —
Вонь, от которой на сердце свербит...

Вспыльчивый

А это вам, мессир, наука!
Не стерпит дворянин обид!
Раз! Можете поднять перчатку!
Два! Шляпу подлую долой!
Три!..

Другой вспыльчивый

Призываю вас к порядку!
Взбешен я глупою хулой!
Ничтожество!

Первый вспыльчивый

Как вы сказали?

Другой вспыльчивый

Что вы не рыцарь, а дерьмо!

Первый вспыльчивый

Здесь камень будет кровью залит.
Пусть на щеке горит клеймо!

---

[1] До полного удовлетворения (лат.). — *Ред.*

И коль пощечины вам мало,
Могу пощекотать клинком!

Дерутся. Вокруг, в столбе пыли, кольцо зевак.

Нищий

Мне пытка суставы сломала!
Я с петлею близко знаком!
Я тоже главою не скорбен
И в юности был хоть куда,
И вот в три погибели сгорблен,
Прошли огневые года.
Подайте же мне, ради бога!
Мессиры, подайте мне су!

Нищенка

Подайте хромой и убогой!

Бесноватый

Я головою трясу
Денно и нощно три года!

Струнное трепетанье переходит в нестройный, сначала жалостный, потом угрожающий хор нищих, которые с наступлением вечера выползают из всех частей ярмарочных строений.

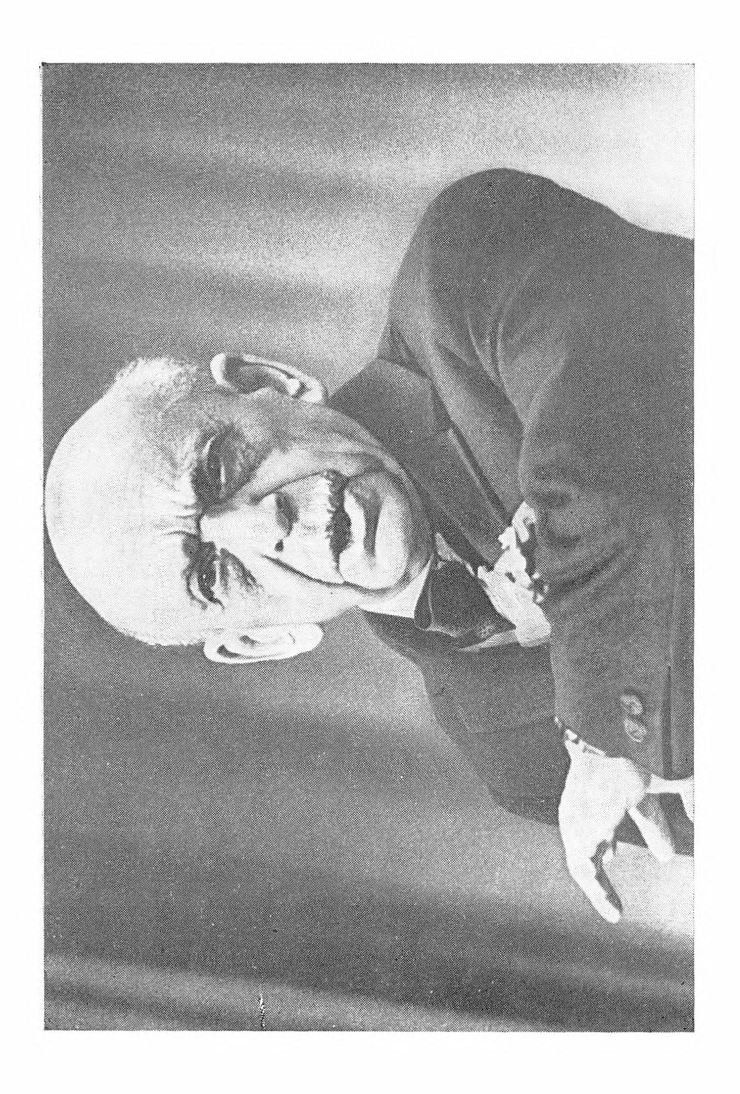
Нищие

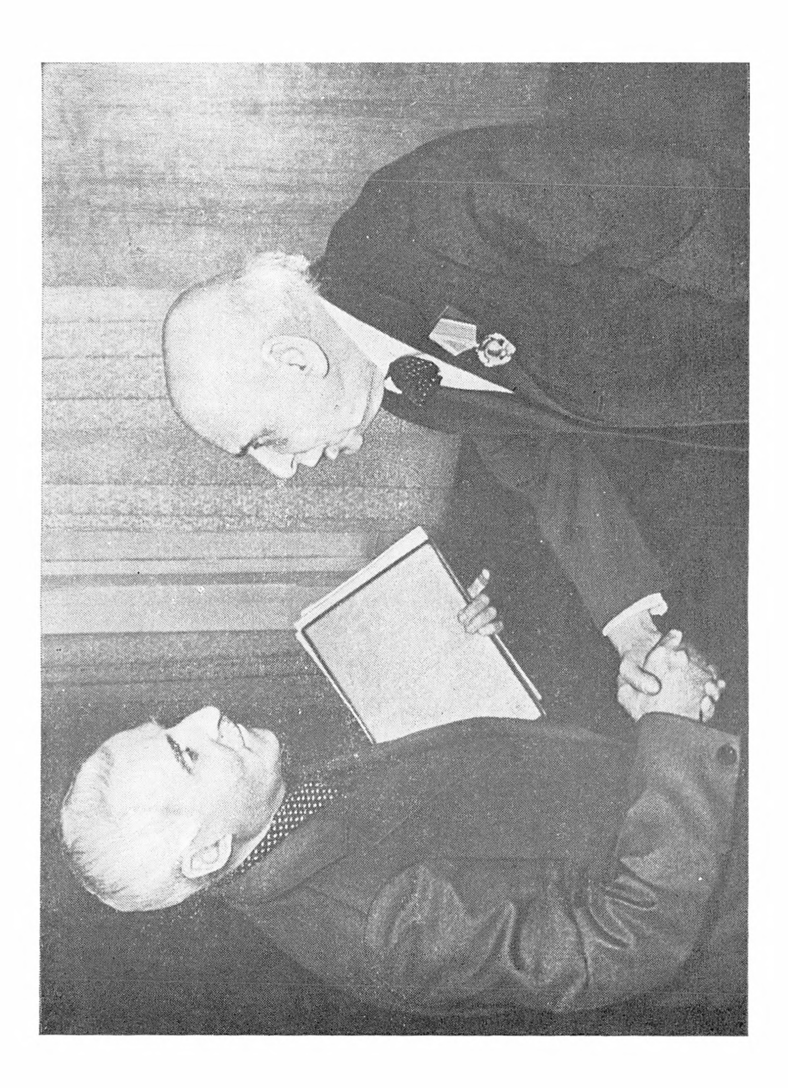
Еще непогода
Гуляет в лесу!
Людская невзгода
Пугает красу.
Железные когти
Скребутся по платью.
По грязи, по дегтю
Не любо гулять ей.

В ложе принцессы смятение. Её дамы визжат и многие падают в обморок.

Еще мы воспрянем —
Лишь дайте нам срок —
По дальним, по ранним
Распутьям дорог,
По пням и корягам,
Нагорьям и логам,
Змеиным оврагам,
Кабаньим берлогам.

Корбо несколько раз безуспешно машет платком, пытаясь прекратить представление. Многие из чертей присоединяются к нищим.





Никто нас не ищет!
Мы сами найдем,
Лишь ветер засвищет,
Мешаясь с дождем!
По стокам подземным,
По ржавчине тусклой
Проложено всем нам
Могучее русло.
И струйки без счета
Сочащихся вод
Когда-нибудь кто-то
Рекой назовет.
Возникнем из тины,
Ворвемся, как воры,
Смывая плотины,
Срывая затворы,
Сметая запруды
И смехом давясь!
. . .Где свалены груды
В подвалах у вас?!

Резкий свист. Вийон подымается на подмостки, вырывает у одного из чертей зажженный факел и швыряет его в толпу. Бог — Мажорден, сняв бороду и венец, лезет в давку.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Капкан

Нас дождями вымыла гроза,
Солнце высушило для красы,
Выклевали вороны глаза,
Выдрали нам брови и усы.

Фр. Вийон

Картина первая

Голое поле. Дождь. Вийон и Мажорден бегут. Вийон простоволос, согбен, страшен. Мажорден оброс рыжей бородой.

Вийон

Скорей! У них собачий нюх
И сотня рук и глаз.

Скорей! На запад и на юг
Отрезан путь для нас.
Всю Францию, весь мир пройди,
Во все глаза гляди —
Одна погоня позади
Да гибель впереди.

Бегут дальше. Перед ними ствол дерева, расщепленного грозой. В сучьях раскачивается тело повешенного.

Вот он, судьбою данный знак,
Угроза иль урок,
Что будешь так же тощ и наг
И вздернут вверх, дай срок!
Как обратиться? Ваша честь!
Мессир! Мертвец! Дерьмо!
(Словечко и похуже есть,
Тут просится само.)
Эй ты, обглоданный стручок
Вороньей требухи!
Кто стер загар с колючих щек,
Кто счел твои грехи?
Кто, прыгнув на плечи к тебе,
Труп раскачал и слез,
Чтобы окрестной голытьбе
Был страшен этот лес?
Короче — эй, снимай башмак,
Швыряй ко мне в мешок
И завари червям форшмак
Из собственных кишок.
Прощай! Недолго встречи ждать.
Шли письма нам в Париж.
Узнаешь рая благодать,
Коль в пекле не сгоришь.

При слове «Париж» тело срывается с петли и, брякнув костьми, падает наземь, лицом вверх и раскинув руки. На груди у него дощечка с именем. Вийон наклоняется, читает и отшатывается.

Стой, Мажорден! Не шевелись!
Читай: и я и он,
Мы, несмотря на разность лиц,
Мы, черт возьми, Вийон.
Ошибка? Нет! Всё ясно. Я
Здесь назван на доске.
О мать, старушечка моя!
Мне тошно. Я в тоске.

Итак, они нашли меня,
Примет не разобрав,
Напрасно по свету гоня
Сто сыщицких орав.
И, взвыв от радости и с ног
Сбив малого сего,
Чтоб он очухаться не смог,
Задали торжество.
Итак, дыши, гуляй, меняй
Любые имена!
На свете больше нет меня.
Есть мена! Вот она?

(Подкидывает носком башмака дощечку с именем повешенного.)

И впредь ни сыска, ни облав.
И, к черту всех послав,
Оставлю Францию в ослах!
Господь, к нам буди благ!
Двойник! Ты пахнешь хуже всех
Ям выгребных земли.
Тебе оскалил зубы смех,
Тебя не погребли...
Вийон, школяр, бродяга, вор,
Веселый человек!
Так мы кончаем разговор,
Прощаемся навек!
Спи, мой дружок! Года бегут.
Нам нет пути назад.
Здесь из пеньки свивают жгут.
Там — логово засад.
А там — река. А там — Париж.
А там — гнездо святош.
Куда ни кинешься, сгоришь.
Везде одно и то ж.
Всю Францию, весь мир пройди,
Во все глаза гляди —
Одна погоня позади
Да гибель впереди.
На свете много разных чувств.
Их сила мне чужда.
И я с тобою распрощусь,
Как мне велит нужда, —
Без оправданий, без нытья,

Без всякой доброты.
Спи крепко, молодость моя!
Я всё сказал. А ты?

(Наклоняется над мертвым.)

Картина вторая

Сводчатое подземелье. Чадят факелы. Писцы скрипят перьями. Где-то звонит жидкий колокол. Мэтр Боэмунд Корбо допрашивает связанного полуголого человека, в котором очень трудно узнать Вийона.

Корбо

Что ты дрожишь, бедняк?

Вийон

В тюрьме свежо.
Со стен течет, и лестницы сырые.

Корбо

Как твое имя?

Вийон

Филибер Пюжо.

Корбо

Лжешь!

Вийон

Присягаю именем Марии.

Корбо

Откуда ты?

Вийон

Из Мена, монсеньер.

Корбо

Бродяга?

Вийон

Нет. Я торговал резными
Фигурками святых.

Корбо

С каких же пор
Переменил ты ремесло и имя?

Вийон

Не понимаю.

Корбо

Среди прочих всех
Бездомных ты сугубо неприятен.
В твоем кривлянье чую адский смех
Отчаянья и пламя язв и пятен
На дьявольском челе. Ты болен?

Вийон

Да.

Корбо

Что за болезнь тебя снедает?

Вийон

Голод.

Корбо

Знавал ли ты Колена?

Вийон

Никогда.

Корбо

А Шермолю?

Вийон молчит.

Прошел ты, видно, школу
Хорошую. Остережемся впредь
Упоминать их. Насладимся ложью.
Развязывай язык во славу божью,
Дабы беседу нашу разогреть.

Вийон

Но в чем я обвинен? За что я забран?

Корбо

Ты с пунктами дознания знаком.
Ты эфиопскую абракадабру
Нам лепетал безумным языком.

Шла за тобою черная собака.
Ты в пальцах мял сухой травы пучок.
И некто позади тебя заквакал,
Застрекотал, заблеял. Бледность щек
И огнь очей изобличают гнусный
Твой замысел. Улики нам ясны,
Тем более что ты и лжец искусный,
Как подобает слугам сатаны.

Вийон

Пытайте. Я неправедно оболган.

Корбо

Эй, берегись! Дверь крепко заперта.
Мы почитаем безусловным долгом
Клещами вырвать правду изо рта.

Вийон

Я, монсеньер, не девочка.

Корбо

Не спорю
И уважаю старость и нужду,
Не прибегаю к крайнему подспорью,
Не тороплюсь и время пережду.

Вийон

Что вам угодно знать?

Корбо

Припомни дело!
Ты, Шермолю, Колен в лихую ночь
Втроем сошлись у некого придела,
Чтоб золото из церкви уволочь.

Вийон

Я не был там.

Корбо

Не слишком ли поспешен
Ответ! Подумай! Незачем болтать.
В той давней краже был еще замешан
Не ты, другой. Но он давно повешен —
Сей нераскаянный злодей и тать.

Вийон

Но я-то здесь при чем? Их было трое.

Корбо

А ты считал их?

Вийон

Так сказали вы.

Корбо

Не утверждаю, лишь догадку строю,
Удобную для *третьей* головы.
Но слушай дальше. Цепь улик сквозная
По следу вышеназванных имен
Вела к тому, что в деле обвинен
Не ты, а некий Франсуа Вийон.
Сей вор повешен.

Вийон

Я его не знаю.

Корбо хлопает в ладоши. Вводят Колена. Он еле стоит на ногах. Правый глаз выколот.

Корбо

Ну, Филибер Пюжо, ответь ему.
Молчишь? Ты и его признать не хочешь?

Вийон

Вийон повешен.

Корбо

Что ты там бормочешь?

Вийон

Прошу вас отослать меня в тюрьму.

Корбо

В тюрьму? Тебя? Нет, мой красавец, поздно.
Сначала ты раскаешься во всем
И будешь уличен во лжи, опознан
И на веревке к небу вознесен.

Вийон

(на коленях)

Имейте жалость к ссадинам и струпьям,
Покрывшим плоть мою. Я изнемог.
Три месяца как я не сплю.

Корбо

Приступим!
Писцы, чините перья. С нами бог!

Колен

(тихо Вийону)

Всех Шермолю засыпал. Зубы крепче
Сжимай и ни гугу. Эс вирд бо-бо.[1]

Вийон

Сжать крепче зубы? Верно.

Корбо

Что ты шепчешь?

Вийон

Что ты меня не узнаешь, Корбо!..

(Подымается с колен.)

Кто я? Спроси у подорожной пыли,
У семисот семидести семи
Харчевен, что прибежищем мне были.
У всей шпаны, моей большой семьи.
У виселицы, там, на голом поле,
Где хлещет дождь. У серых облаков.
У памяти твоей. Мы вместе в школе
С тобой учились. Вот кто я таков.

Корбо встает, вглядывается в говорящего. Вийон запевает хрипло и дико.

Голод — не тетка,
Голод — не шутка,
Вот как
Жутко
Воет живот!

---

[1] Будет больно (нем.). — *Ред.*

Стужа — не бабка,
Штопать не станет.
Шапку
Стянет,
Плащ разорвет.
Здравствует ноне
Пузо монашье,
Но не
Наше...

Писцы

(вскакивают)

Он сумасшедший!

Вийон

Очините перья,
Пишите: завещание. В своем
Уме и твердой памяти теперь я.
Зовут меня...

Корбо

Оставьте нас вдвоем.

Все уходят.

Вийон

Ну, что же ты смотришь так пристально?
Вспомни
Меня, монсеньер! Вспомни зимнюю ночь,
Сорбонну и двух школяров!

Корбо

Не легко мне.

Вийон

Приходится, видно, и в этом помочь.
И я помогу тебе. Только вчера —
Старик, вспоминаешь? — мы дрогли и мерли,
Нужда клокотала в ребяческом горле.
И были на многое мы мастера.
А лавочник скуп. А привратник неласков.
А пес больше нас на цепи одинок.
А помнишь? Зубами полночи проляскав,
Бывало, стучим в милосердный шинок.

И тут началась, и пошла, и помчала
Ужасно веселая жизнь...

Корбо

Кой о чем
Нам следует уговориться сначала.
Твоими речами я не увлечен.
Зачем они тут? Ни к чему совершенно!

Вийон

Постой, монсеньер! Прогадаешь, гляди!
И я ведь уже не школяр оглашенный.
И много и много всего позади.
Но только одним я богаче сегодня.
И только одним поделюсь я с тобой.
Со всею природой, со всей преисподней,
Со всею, какая живет, голытьбой!
Какая там малость еще дорога нам?
Каким там добром дорожить на земле?
Пока не скрутили нам глотки арканом,
Пока уголек еще тлеет в золе,
Пока нам не выклюет очи ворона,
Не вытравит зной бровей и бород, —
Эй, слушай! Не песня — так я тебя трону,
И старый озноб до костей проберет.
И будешь ты мне благодарен навеки
За то, что зудит эта стужа в костях.
И память проснется в тебе. В человеке.
В бездушном. А всё остальное — пустяк.

Корбо

Уйди! Я клялся всемогущему богу,
В ладонях бессмертную душу неся.
Остаться бездушным.

Вийон

Черно и убого
Твоя благодать рассыпается вся.

Корбо

Уйди! Я не знаю сих двойственных истин.
Я честный монах. Я сухой человек.
Я сделал свой выбор. Ты мне ненавистен,
Ты мне безразличен. Простимся навек.

Не ведаю, кто ты. Забыл твое имя.
Но кто бы ты ни был — мертвец иль Вийон, —
Молчаньем своим и очами моими
Ты снова опознан и вновь обвинен.
Молчи на дознаньях. Любому из судей
Доверю сию невеликую честь.
И если другой доберется до сути,
Тебе приговор он сумеет прочесть.
Мы — стража у врат, перед коими молча
Склоняетесь ниц или гибнете вы.
Мы — пастыри душ и водители полчищ,
Так что нам до горя одной головы!
Я взвесил на чистых весах твою участь
И несколько взятых из церкви монет.
Они тяжелей. Не хитря и не мучась,
На все твои просьбы ответствую: нет.
Но, прежде чем сгинуть, ты всмотришься зорче
И глубже в отверстую бездну времен,
Шарахнешься с воплем и скрючишься в корче —
Ты мертвый, ты вор, ты мой сверстник Вийон.
И в смертном поту ты припомнишь и стужу,
И друга, и мать, и парижскую ночь.
И дикую песню затянешь всё ту же.
Но петля всё туже. И нечем помочь.
Ты рухнешь тогда на колени, взывая:
«Где юность? Откликнись, живая душа...»
Душа ни одна не услышит живая.
И влезешь ты в петлю, уже не дыша.

Картина третья

Тюрьма. Вийон, Шермолю, Колен. Все трое закованы. Вийон на полу, животом вниз, усердно пишет. Шермолю ходит из угла в угол, волоча цепь и бормоча. Колен за ним наблюдает.

Шермолю

Мессир Готье мне должен двадцать девять.
Блез Пишегрю — двенадцать. Рабюто
Из Валь-де-Гра, благодаренье деве,
Мне должен больше года ровно сто.
Кабатчица в Блуа, кривая шлюха,
Брала без счета, но по мелочам.
Ее племянник обо мне пронюхал
И подбирался, черт, к моим ключам.

Я натравил на негодяя даму.
Чем кончилась их драка, знает черт.
Но надо начинать опять с Адама,
Иначе счет не точен и не тверд.
Итак, еще раз: Пишегрю двенадцать,
Сто Рабюто. Кабатчица в Блуа...

(Задумывается, продолжает счет по пальцам.)

Колен

Передо мной ты будешь извиняться,
Будь ты хоть сам Людовик Валуа.
А сколько мне ты задолжал, забыто?

Шермолю

Тебе? Ни су. Всё, что вдвоем добыто,
Подсчитано. Дележ был на двоих.

Колен

Нехорошо обсчитывать своих!

Шермолю

В своих расчетах я ужасно точен.
В пути платил я за тебя?

Колен

Не очень.

Шермолю

Брось, милый мой! Ты съел благую треть.

Колен

А вычеты?

Шермолю

Собака, вор, ублюдок!
Сколь жарко в пекле будешь ты гореть!

Колен

А ты хоть и посредственное блюдо,
Пойдешь туда же — в погреба, в засол,
Хоть и протухнешь быстро.

Шермолю

Как ты зол!
Лжец, сквернословец, вымогатель, гнида,

Поганый сток для спуска нечистот!
Тебя повесят завтра утром. И да
Чертополохом прах твой зарастет!
А я покаюсь, как бы ни был грешен.
О да! Я грешен, но я замолю
Перед пречистой...

Колен

Будешь ты повешен!

Шермолю

Кто? Я? Хо-хо!

Колен

Ты, скупщик Шермолю!

Шермолю

Покоен будь, несчастный человечек!
Я жертвовал всем пастырям Христа
И буду жертвовать. И сотню свечек
Поставлю вновь. Душа моя чиста.
И что омыто в золотой купели —
Бог примет в милосердии своем!
Что ж вы притихли? Раньше песни пели,
Острили благодушно...

Колен

Мы споем!
Еще услышишь, сам же нам подтянешь,
Еще придется голосить тебе,
Еще вопить о милости устанешь
И вымокнешь в бессмысленной божбе.
Эй, брат Вийон! Нам предстоит работа —
Содрать с него недоданную дань.
Клянусь, что выжму до седьмого пота
Сию глухую гарпию!

Вийон

Отстань!

Колен

Эй, брат Вийон! Однако ты спокоен.
Ты, верно, позабыл, что впереди
Нам развлеченье предстоит, о коем
Гласит свирепый приговор.

Вийон

Уйди!

Колен

Эй, брат Вийон! Ты здорово невежлив!
Я рассказать тебе хотел бы жизнь.
Последний час — уж это не рубеж ли
Для искренности нашей?

Вийон

Отвяжись!

Колен

Такая гордость очень худо пахнет!
Клянусь я братством четырех стихий,
Что мой кулак по темени шарахнет
Дурного друга!

Вийон

(вскакивает, бешено)

Я пишу стихи.

Картина четвертая

Там же. Колен и Шермолю спят. Вийон, писавший всю ночь, приподымается.

Вийон

Спят завтрашние смертники,
Открыв сухие рты,
Твои друзья и сверстники.
А ты, Вийон, а ты —
Строчишь ли, умирая,
Письмо веселым женщинам,
С тобою, бедный фраер,
Не спавшим и не венчанным?..
Строчишь ли, бос и наг,
Бродягам завещанье?
Брось! Вытащит монах,
Как обещал, клещами
Всю правду дорогую
Из воющего рта.

И чем я тут торгую?
В карманах ни черта!
Брось, Франсуа, в уме ли —
Балладу всех баллад
Зароешь в подземелье,
Как трехсотлетний клад?
А вы, менялы, скупщики,
Гиены барахолок!
Коснитесь носа, губ, щеки —
На ощупь страшен холод?
Потух в глазах огонь,
Не счесть на кости трещин.
Но свист ночных погонь
Моим стихам завещан.
Вы заперли здесь наглухо
В засаде этой волчьей
Меня, седого, наглого,
Чтоб подыхал я молча?
Храпите же усердно,
Желудками урча,
Когда из тьмы посмертной
Задам я стрекача!

Входит Тюремщик.

Тюремщик

Эй, потеснитесь, шкуры!
Прибавилось к вам общество.
Лихие балагуры
Ждут не дождутся, топчутся
У вашего порога.
Тут вся мирская рвань.
У всех одна дорога.

Вийон

Не смей в такую рань
Над нами каркать, ворон!
Не смей будить товарищей!
Хоть и шельмован вором,
Но я живая тварь еще.

Тюремщик

А ты скули пожалобней!
Тюрьма стоит три века,

Но смерть не задержала в ней
Без нужды человека.
Пенька ли не намылена,
Перо ли не скрипит,
Сова ли куму-филину
На свалке не вопит?
Так потеснись же, узники,
Чтоб в мордах разобраться!
Раз на тропе вы узенькой,
То между вами братство!

Вваливается пестрая компания нищих, калек, бесноватых. С некоторыми из них мы встречались в разных частях поэмы: в харчевне, на ярмарке, во время представления мистерии. Есть и ряженые — в дьявольских харях, с рогами. Это сборище вопит, приплясывает, ползает, теснится. Тюрьма несколько накренилась набок. Окно под напором десятка рук покосилось. Решетка сорвана. За окном ветер.

Нищий

Откликайся, кто поближе,
Кто тут жив и умер кто,
Кто из Гавра, из Парижа,
Орлеана иль Бордо?
Пересохшими устами
Приснодеве голося,
На мостах и под мостами
Дрогла шайка наша вся.
Здесь, по крайности, обсохнуть
И очухаться дадут.

Вийон

Предстоит тебе издохнуть,
Дорогой товарищ, тут.
Завтра ты взлетишь на воздух,
Дрыгнешь пятками, хоть плачь!
Нас господь на то и создал,
Чтобы ел и пил палач.

Нищий

Вижу, ты остряк нехитрый,
Свой же и могильщик сам.
Руку дай и слюни вытри —
И без жалоб небесам!
Скольких тут беда согнала!
Что ни харя, то артист!

Ждут лишь первого сигнала.
Только свистни, и на свист
Наша рать учетверится,
Разобьет затвор тюрьмы.
И пречистую царицу
Низведем на землю мы.

Вийон

Знатно сказано, иуда!
Но бессмыслен разговор.
Как ты вырвешься отсюда?
У замков тугой затвор.
Камень крепок, рвы глубоки,
И гниет во рвах вода.
Мы бессильны и убоги.

Нищий

Значит, всё пропало?

Вийон

Да.

Нищий

Может быть, столетья на три
Я сейчас гляжу вперед.
И речей моих в театре
Зритель и не разберет.
Как и прочие несчастья,
Мне и это нипочем.

(Обнимает Вийона за плечи и шепчет ему на ухо.)

Вспоминаешь в первой части
Встречу с неким трепачом —
В пустырях, на огороде?
То была лихая ночь!
Наша встреча в том же роде:
Мы пришли тебе помочь.

(С неожиданной ловкостью подымается к окну, таща за собой Вийона.)

Вот он, мир ночной, всегдашний.
Ночь. Туман. Внизу река.
Амбразуры. Шпили. Башни.
Словом, средние века.

Где-то малый огонечек
Заморгал, опять потух.
Где-то в самом сердце ночи
Закричал со сна петух.
Через час и утро вспыхнет.
Но разбудит ли святош?
Стража спит?

Вийон

Как будто дрыхнет.

Нищий

Сколько их?

Вийон

И не сочтешь.

Нищий

Так за мной — гуськом и молча,
Не дыша и рты зажав.
Крепко спит засада волчья.
Наш замок разбит и ржав.
Видишь? Выветренный камень
Превращается в труху.
Только тронь его руками —
И пойдет крошить вверху.
И пойдет ломать стропила,
Сыпать известью с бойниц.

Тюрьма кренится, оседает и раскалывается пополам.

Смерть! Ты нищих торопила?
Преклонись пред нами ниц!

Картина пятая

Городской вал. Рвы. Нищие бредут, спотыкаясь.

Нищий

В ночь такую твари чахлой
Носа высунуть нельзя.
Но уже весной запахло.
Мокрый снег летит в глаза.
Дай мне руку! Мимо башен,
Тюрем, рынков и церквей,

Этот мрак для нас не страшен.
Стой. Здесь рытвина. Левей!
Спуск. Потеря равновесья.

Вийон

Колокольный слышишь звон?

Нищий

То владыки мракобесья
Нас клянут и гонят вон.

Вийон

Видишь? Сколько красных глаз там, —
Нечисть, что ли, поползла?

Нищий

То мерещится схоластам
Кухня ведьмы, вонь козла.

Вийон

Топоры стучат по срубам.
Меж бойниц растут леса.
Отвечают зычным трубам
Буйных сборищ голоса.
Мореходами отыскан
Рай невиданных земель.
Винным пурпуром обрызган
Мира юношеский хмель.
На таимое доселе
Глаз художника остер.
И кипит, кипит веселье.
И широк земной простор
Ткут, гранят, куют, чеканят.

Нищий

Это мчится новый век.
Но и он, как прошлый, канет.
Дальше, дальше, человек!
Время льется неизбывней.
Спуск опасный перейден.

Вийон

Слышишь гул железных бивней,
Пенье ткацких веретен?

Видишь пятна желтых зарев,
Непонятных ламп шары?
Что за город, разбазарив
Столько яркой мишуры,
Рвется вверх в огне и дыме,
От кровавых ссадин рыж?

Нищий

Там мы были молодыми.
Этот город — твой Париж.

Вийон

О, скорей из этой ночи!
Где же утро, наконец?

Нищий

Нет путей к нему короче.
Ты же сам его гонец.

Вийон

Где мы? В будущем? В бывалом?
Или время в нас уже
Перед собственным обвалом,
На последнем рубеже?..
Только вьюга рвет отребья,
Только свист облав в ушах.
Мчатся кочки, рвы, деревья,
Истлевая, что ни шаг.
Плача, мстя, трясясь, ощерясь,
Через время, через жизнь
Неоконченную, через
Будущее...

Картина шестая

Добротная кожаная мебель конца XIX века. Сутулые старики в сюртуках заседают. Сверкание расчесанных седин и розовых лысин.

Первый старик. Кончая свой этюд о жизни Вийона, я еще раз констатирую, что нам о его жизни ничего не известно. Существовал ли он, как его звали, был ли он повешен? Все эти вопросы всё еще стоят перед нами! *(Садится. Сморкается.)*

Аплодисменты.

Второй старик. Смею утверждать три несомненные истины. Вийон родился в тысяча четыреста тридцать первом году. Истинное его прозвище не то Корбейль, не то Корбье, не то Корбо. Он был повешен после длительного заключения в Руанской тюрьме. Это явствует из многажды цитированных баллад, равно как из более поздних документаций. Но мы на этом не остановимся. Мы должны соединить в себе терпение ученых и чутье сыщиков. По следам облав и доносов той эпохи мы вычертим весь грязный путь нашего подсудимого, то бишь — нашего гениального поэта.

Третий старик. Пустая трата времени. Ибо Вийон вообще никогда не существовал. Это имя есть собирательный псевдоним, мистификаторский трюк. Так забавлялась некая утонченная компания при куртуазном дворе Шарля Орлеанского. Клеман Маро, по приказу Франциска Первого, опубликовал пародии своих предшественников, приписав их некоему Вийону. Публикация продолжает шутку — вот и все.

Четвертый старик. Ваша рискованная концепция не столь нова, как кажется. В шестидесятых годах прошлого века в Бельгии появилась анонимная брошюра, где весьма красноречиво проводится та же мысль, а между тем...

Третий старик. А между тем я ее не читал.

Четвертый старик. Тем более странное совпадение. Если бы не ваша уважаемая реплика, я бы обвинил вас в плагиате.

Первый старик. Не будем останавливаться на этом, коллеги. Мы уклонились от предмета.

Вийон *(выступает вперед)*. Я вас верну к исходной точке.

Старики кряхтят, силясь оценить появление чужеродного тела в их среде. Это тем более трудно, что Вийон запылен, оборван и дрожит всем телом.

Первый старик. Откуда вы?

Вийон. Из Сорбонны. Мне легко вернуть вас к исходной точке, ибо эта точка — я.

Все старики. Вы? Кто вы?

Вийон. Я — Франсуа Вийон. Я родился в тысяча четыреста тридцать первом году. Я автор многих баллад.

Первый старик. Вы наглый мистификатор или

жалкий психопат. Коль скоро личность Вийона не установлена, какое право имеете вы на то, чтобы быть им?

Второй старик. Я должен уточнить коллегу. Именно, поскольку личность Вийона установлена, ваша претензия смехотворна и уголовно наказуема. На языке нашего кодекса она именуется шантажом.

Нищий. Я должен вмешаться!

Второй старик. Что это за пугало?

Нищий. Вы угадали. Я Пугало. Но не больше, чем вы. Вам предлагают на выбор два варианта. Первый: Вийон снится или, так сказать, мечтается вам. Второй: все вы скопом снитесь или, так сказать, мечтаетесь ему. В обоих случаях факт встречи между вами может быть использован в интересах науки.

Второй старик. Предвкушаю богатейший материал. Скажите, любезнейший, были вы молодцом с большой дороги?

Вийон. Не отрекаюсь.

Второй старик. И к тому же богохульником?

Вийон. Горе мне, увы!

Второй старик. А как насчет ограбления церквей?

Вийон. Каюсь.

Второй старик. И, наконец, щекотливый вопрос: были вы повешены, кем, когда, за что?

Вийон. Постойте! *(Трет лоб.)* А вы?

Второй старик. Что вы хотите сказать?

Вийон. Это допрос? Облава, от которой я бежал сломя голову в течение последних лет жизни, продолжается и тут? И эта книжка в желтой обложке оказалась самой грозной уликой против меня? Да я ее и не писал никогда, если на то пошло!

Третий старик. Вот видите! Я говорил!

Вийон. Вы пороли чушь! Не ради вас я отрекся от своей души.

Четвертый старик. Этот мертвец безнадежно путает наши карты.

Вийон. Еще не известно, кто из нас мертвец! Так вот оно, твое хваленое бессмертие, Пугало? Вот чем хотел ты удивить меня в ту ночь, когда подарил мне шляпу?

Ты, раздаватель рваных шляп
Под проливным дождем!

Я чувствовал, что ты пошляк.
Я в этом убежден!
В ту ночь, могуществом кичась,
Ты на моем пути
Был перепутьем. А сейчас
Мне некуда идти.
А ты восторженно, как встарь,
Не чуешь — это смерть!
Но я измученная тварь,
А ты сухая жердь.
Скорей назад, в мой черный мрак,
В пятнадцатый мой век,
Где после стольких дружб и драк
Истлеет человек.
Назад или, верней, вперед,
Чтоб дописать хоть стих,
Которого не разберет
Никто из чучел сих,
Чтоб досмеяться, доболеть,
Дослушать, доглядеть!

(И уже в полной темноте — последний вопль.)

А песня вновь свистит, как плеть,
Куда мне песню деть?

Картина седьмая

Тюрьма. Три спящие фигуры. Входит Тюремщик. Все трое вскакивают.

Тюремщик

Ты, Пьер Колен, по прозвищу Козел,
Ты, Шермолю, меняла, скупщик, вор,
Ты, Филибер, иль как там звать тебя, —
По совокупности вреда и зол,
Что нанесли вы людям, приговор
И прочее гласит вам: «Истребя
Имущество, водить в базарный день
По городу, чтоб устрашить воров
Руанских, и повешенью предать».
Вставай, ребята, рвань свою раздень,
Молись, кто верит! Трупы кинем в ров,
И да почиет с вами благодать.

1934

313. СЫН

Памяти младшего лейтенанта Владимира Павловича Антокольского, павшего смертью храбрых 6 июля 1942 года

1

Вова! Я не опоздал! Ты слышишь?
Мы сегодня рядом встанем в строй.
Почему ты писем нам не пишешь,
Ни отцу, ни матери с сестрой?

Вова! Ты рукой не в силах двинуть,
Слез не в силах с личика смахнуть,
Голову не в силах запрокинуть,
Глубже всеми легкими вздохнуть.

Почему в глазах твоих навеки
Только синий, синий, синий цвет?
Или сквозь обугленные веки
Не пробьется никакой рассвет?

Видишь — вот сквозь вьющуюся зелень
Светлый дом в прохладе и в тени,
Вот мосты над кручами расселин.
Ты мечтал их строить. Вот они.

Чувствуешь ли ты, что в это утро
Будешь рядом с ней, плечо к плечу,

С самой лучшей, с самой златокудрой,
С той, кого назвать я не хочу?

Слышишь, слышишь, слышишь канонаду?
Это наши к западу пошли.
Значит, наступленье. Значит, надо
Подыматься, встать с сырой земли.

И тогда из дали неоглядной,
Из далекой дали фронтовой,
Отвечает сын мой ненаглядный
С мертвою горящей головой:

«Не зови меня, отец, не трогай,
Не зови меня — о, не зови!
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и в крови.

Мы летим и бьем крылами в тучи,
Боевые павшие друзья.
Так сплотился наш отряд летучий,
Что назад вернуться нам нельзя.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы — песчинки в мирозданье.
Больше мы не встретимся с тобой».

2

Мой сын погиб. Он был хорошим сыном,
Красивым, добрым, умным, смельчаком.
Сейчас метель гуляет по лощинам,
Вдоль выбоин, где он упал ничком.
Метет метель, и в рог охрипший дует,
И в дымоходах воет, и вопит
В развалинах.
                              А мне она диктует
Счета смертей, счета людских обид.

Как двое встретились? Как захотели
Стать близкими? В какую из ночей
Затеплился он в материнском теле,

Тот синий огонек, еще ничей?
Пока он спит, и тянется, и тянет
Ручонки вверх, ты всё ему отдашь,
Но погоди, твой сын на ножки встанет,
Потребует свистульку, карандаш.
Ты на плечи возьмешь его. Тогда-то
Заполыхает синий огонек.
Начало детства, праздничная дата,
Ничем не примечательный денек.

В то утро или в тот ненастный вечер
Река времен в спокойствии текла,
И крохотное солнце человечье
Стучалось в мир для света и тепла.
Но разве это, разве тут начало?
Начала нет, как, впрочем, нет конца.
Жизнь о далеком будущем молчала,
Не огорчала попусту отца.

Она была прекрасна и огромна
Все те года, пока мой мальчик рос, —
Жизнь облаков, аэродромов, комнат,
Оркестров, зимних вьюг и летних гроз.

И мальчик рос. Ему ерошил кудри
Весенний ветер, зимний — щеки жег,
И он летел на лыжах в снежной пудре,
И плавал в море, бедный мой дружок.

Он музыку любил, ее широкий
Скрипичный вихорь, боевую медь.
Бывало, он садится за уроки,
А радио над ним должно греметь,
Чтоб в комнату набились до отказа
Литавры и фаготы вперебой,
Баян из Тулы, и зурна с Кавказа,
И позывные станции любой.

Он ждал труда, как воздуха и корма:
Чертить, мять в пальцах, красить что-нибудь...
Колонки логарифмов, буквы формул
Пошли за ним из школы в дальний путь,
Макеты сцен, не игранных в театре,
Модели шхун, не плывших никуда...

Его мечты хватило б жизни на три
И на три века — так он ждал труда.
И он любил следить, как вырастали
Дома на мирных улицах Москвы,
Как великаны из стекла и стали
Купались в мирных бликах синевы.

Он столько шин стоптал велосипедом
По всем Садовым, за Москва-рекой
И столько пленки перепортил ФЭДом,
Снимая всех и всё, что под рукой.
И столько раз, ложась и встав с постели,
Уверен был: «Нет, я не одинок...»

Что он любил еще? Бродить без цели
С товарищами в выходной денек,
Вплоть до зимы без шапки. Неприлично?
Зато удобно, даже горячо.
Он в сутолоке праздничной, столичной
Как дома был. Что он любил еще?

Он жил в Крыму в то лето. В жарком полдне
Сверкал морской прилив во весь раскат.
Сверкал песок. Сверкала степь, наполнив
Весь мир звонками крохотных цикад.
Он видел всё до точки, не обидел
Мельчайших брызг морского серебра,
И в первый раз он девочку увидел
Совсем другой и лучшей, чем вчера.
И девочка внезапно убежала.
И звонкий смех еще звучал в ушах,
Когда в крови почувствовал он жало
Внезапной грусти, часто задышав.
Но отчего грустить? Что за причина
Ему бродить между приморских скал?
Ведь он не мальчик, но и не мужчина,
Грубил девчонкам, за косы таскал.
Так что же это, что же это, что же
Такое, что щемит в его груди?
И, сразу окрылен и уничтожен,
Он знал, что жизнь огромна впереди.

Он в первый раз тогда мечтал о жизни.
Всё кончено. То был последний раз.

Ты, море, всей гремящей солью брызни,
Чтоб подтвердить печальный мой рассказ.

Ты, высохший степной ковыль, наполни
Весь мир звонками крохотных цикад.
Сегодня нет ни девочки, ни полдня...
Метет метель, метет во весь раскат.
Сегодня нет ни мальчика, ни Крыма...
Метет метель, трубит в охрипший рог,
И только грозным заревом багрима
Святая даль прифронтовых дорог.
И только по щеке, в дыму махорки,
Ползет скупая, трудная слеза,
Да карточка в защитной гимнастерке
Глядит на мир, глядит во все глаза.
И только еженощно в разбомбленном,
Ограбленном старинном городке
Поет метель о юноше влюбленном,
О погребенном — тут, невдалеке.

Гостиница. Здесь, кажется, он прожил
Ночь или сутки. Кажется, что спал
На этой жесткой коечке, похожей
На связку железнодорожных шпал.
В нескладных сапогах по коридору
Протопал утром. Жадно мыл лицо
Под этим краном. Посмеялся вздору
Какому-нибудь. Вышел на крыльцо,
И перед ним открылся разоренный
Старинный этот русский городок,
В развалинах, так ясно озаренный
Июньским солнцем.
И уже гудок
Вдали заплакал железнодорожный.
И младший лейтенант вздохнул слегка:
Москва в тумане, в прелести тревожной
Была так невозможно далека.
Опять запел гудок, совсем осипший
В неравной схватке с песней ветровой.
А поезд шел всё шибче, шибче, шибче
С его открыткой первой фронтовой.

Всё кончено. С тех пор прошло полгода.
За окнами — безлюдье, стужа, мгла.

Я до зари не сплю. Меня невзгода
В гостиницу вот эту загнала.
В гостинице живут недолго — сутки,
Встают чуть свет, спешат на фронт, в Москву.
Метет метель, мешается в рассудке,
А всё метет...
И где-нибудь во рву
Вдруг выбьется из сил метель-старуха,
Прильнет к земле и слушает дрожа...
Там, может быть, ее детеныш рухнул
Под елкой молодой, у блиндажа.

3

Я слышал взрывы тыщетонной мощи,
Распад живого, смерти торжество.
Вот где рассказ начнется. Скажем проще —
Вот западня для сына моего.
Ее нашел в пироксилине химик,
А металлург в обойму загвоздил.
Ее хранили пачками сухими,
Но злость не знала никаких удил.
Она звенела в сейфах у банкиров,
Ползла хитро и скалилась мертво,
Змеилась, под землей траншеи вырыв, —
Вот западня для сына моего.

А в том году спокойном, двадцать третьем,
Когда мой мальчик только родился,
Уже присматривалась к нашим детям
Германия, ощеренная вся.
Гигантский город видел я когда-то
В зеленых вспышках мертвенных реклам.
Он был набит тщеславием, как ватой,
И смешан с маргарином пополам.
В том городе дрались и целовались,
Рожали или гибли ни за что,
И пели «Deutschland, Deutschland über alles...».[1]
Всё было этим лаком залито.

...Как жизнь черна, обуглена. Как густо
Заляпаны разгулом облака.

[1] «Германия, Германия превыше всего...» (нем.).— *Ред.*

Как вздорожали пиво и капуста,
Табак и соль. Не хватит и мелка,
Чтоб надписать растущих цен колонки.
Меж тем убийцы наших сыновей
Спят сладко, запеленаты в пеленки,
Спят и не знают участи своей.

И ты, наш давний недруг, кем бы ни был,
С тяжелым, бритым, каменным лицом,
На женщин жаден, падок на сверхприбыль, —
Ты в том году стал, как и я, отцом.
Да. Твой наследник будет чистой крови,
Румян, голубоглаз и белобрыс.
Вотан по силе, Зигфрид по здоровью, —
Отдай приказ — он рельсу бы разгрыз.
Безжалостно, открыто и толково
Его с рожденья ввергнули во тьму.
Такого сына ждешь ты? — Да, такого.
Ему ты отдал сердце? — Да, ему.
Вот он в снегу, твой отпрыск, отработан,
Как рваный танк. Попробуй оторви
Его от снега. Закричи: «Ферботен!» [1] —
И впейся в рот в запекшейся крови.

Хотел ли ты для сына ранней смерти?
Хотел иль нет, ответом не помочь.
Не я принес плохую весть в конверте,
Не я виной, что ты не спишь всю ночь.
Что там стучит в висках твоих склерозных?
Чья тень в оконный ломится квадрат?
Она пришла из мглы ночей морозных.
Тень эта — я.
Ну как, не слишком рад?
Твой час пришел.
Вставай, старик. Пора нам.
Пройдем по странам, где гулял твой сын.
Нам будет жизнь его — киноэкраном,
А смерть — лучом прожектора косым.
Над нами небо, как раздранный свиток,
Всё в письменах мильоннолетних звезд.
Под нами вспышки лающих зениток.
Дым разоренных человечьих гнезд.

---

[1] «Запрещено!» (нем.). — *Ред.*

Снега. Снега. Завалы снега. Взгорья.
Чащобы в снежных шапках до бровей.
Холодный дым кочевья. Запах горя.
Всё неоглядней горе, всё мертвей.

По деревням, на пустошах горючих
Творятся ночью страшные дела.
Раскачиваются, скрипя на крючьях,
Повешенных иссохшие тела.
Расстреляны и догола раздеты,
В обнимку с жизнью брошены во рвы,
Глядят ребята, женщины и деды
Стеклянным отраженьем синевы.

Кто их убил? Кто выклевал глаза им?
Кто, ошалев от страшной нагсты,
В крестьянском скарбе шарил, как хозяин?
Кто? — Твой наследник. Стало быть, и ты...

Ты, воспитатель, сделал эту сволочь,
И, пращуру пещерному под стать,
Ты из ребенка вытравил, как щелочь,
Всё, чем хотел и чем он мог бы стать.
Ты вызвал в нем до возмужанья похоть,
Ты до рожденья злобу в нем разжег.
Видать, такая выдалась эпоха, —
И вот трубил казарменный рожок,
И вот печатал шагом он гусиным
По вырубленным рощам и садам,
А ты хвалился безголовым сыном,
Ты любовался Каином, Адам.
Ты отнял у него миры Эйнштейна
И песни Гейне вырвал в день весны.
Арестовал его ночные тайны
И обыскал мальчишеские сны.
Еще мой сын не мог прочесть, не знал их,
Руссо и Маркса, еле к ним приник, —
А твой на площадях, в спортивных залах
Костры сложил из тех бессмертных книг.

Тот день, когда мой мальчик кончил школу,
Был светел и по-юношески свеж.
Тогда твой сын, охрипший, полуголый,
Шел с автоматом через наш рубеж.

Ту, пред которой сын мой с обожаньем
Не смел дышать, так он берег ее,
Твой отпрыск с гиком, с жеребячьим ржаньем
Взял и швырнул на землю, как тряпье.

...Снега. Снега. Завалы снега. Взгорья.
Чащобы в снежных шапках до бровей.
Холодный дым кочевья. Запах горя.
Всё неоглядней горе, всё мертвей.
Всё путаней нехоженые тропы,
Всё сумрачней дорога, всё мертвей...
Передний край. Восточный фронт Европы —
Вот место встречи наших сыновей.

Мы на поле с тобой остались чистом, —
Как ни вывертывайся, как ни плачь!
Мой сын был комсомольцем.
Твой —
фашистом.
Мой мальчик — человек.
А твой — палач.
Во всех боях, в столбах огня сплошного,
В рыданьях человечества всего,
Сто раз погибнув и родившись снова,
Мой сын зовет к ответу твоего.

4

Идут года — тридцать восьмой, девятый.
Зарублен рост на притолке дверной.
Воспоминанья в клочьях дымной ваты
Бегут, не слившись, — где-то стороной,
Неточные.
Так как же мне вглядеться
В былое сквозь туманное стекло,
Чтобы его неконченное детство
В неначатую юность перешло...

Стамеска. Клещи. Смятая коробка
С гвоздями всех калибров. Молоток.
Насос для шин велосипедных. Пробка
С перегоревшим проводом. Моток
Латунной проволоки. Альбом для марок,

Сухой разбитый краб. Карандаши.
Вот он, назад вернувшийся подарок,
Кусок его мальчишеской души,
Хотевшей жить. Не много и не мало —
Жить. Только жить. Учиться и расти.
И детство уходящее сжимало
Обломки рая в маленькой горсти.
Вот всё, что детство на земле добыло,
А юность ничего не отняла
И, уходя на смертный бой, забыла
Обломки рая в ящиках стола.

Рисунки. Готовальня. Плоский ящик
С палитрой. Два нетронутых холста.
И тюбики впервые настоящих,
Впервые взрослых красок. Пестрота
Беспечности. Всё — начерно. Всё — наспех.
Всё — с ощущеньем, что наступит день —
В июле, в январе или на пасхе —
И сам осудишь эту дребедень.
И он растет, застенчивый и милый,
Нескладный, большерукий наш чудак.
Вчера его бездействие томило,
Сегодня он тоскует просто так.

Холст грунтовать? Писать сиеной, охрой
И суриком, чтобы в мазне лучей
Возник рассвет, младенческий и мокрый,
Тот первый на земле, еще ничей? . .
Или рвануть по клавишам, не зная
В глаза всех этих до-ре-ми-фа-соль,
Чтоб в терцинах запрыгала сквозная
Смеющаяся штормовая соль? . .

Опять рисунки.
                        В пробах и пробелах
Сквозит игра, ребячливость и лень.

Так, может быть, в порывах оробелых
О ствол рогами чешется олень
И, напрягая струны сухожилий,
Готов сломать ветвистую красу.
Но ведь оленю ревностно служили
Все мхи и травы в сказочном лесу.

И, невидимка в лунном одеянье,
Пригубил он такой живой воды,
Что разве лишь охотнице Диане
Удастся отыскать его следы.
А за моим мужающим оленем
Уже неслись, трубя во все рога,
Уже гнались, на горе поколеньям,
Железные выжлятники врага.

Идут года — тридцать восьмой, девятый
И пограничный год, сороковой.
Идет зима, вся в хлопьях снежной ваты,
И вот он, сорок первый, роковой.

В июне кончил он десятилетку.
Три дня шатались об руку мы с ним.
Мой сын дышал во всю грудную клетку,
Но был какой-то робостью томим.
В музее, жадно глядя на Гогена,
Он словно сжался, словно не хотел
Ожогов солнца в сварке автогенной
Всех этих смуглых обнаженных тел.

Но всё светлей навстречу нам вставала
Разубранная, как для торжества,
Вся, от Кремля до Земляного вала,
Оправленная в золото Москва.
Так призрачно задымлены бульвары,
Так бойко льется разбитная речь.
Так скромно за листвой проходят пары, —
О, только б ранний праздник свой сберечь
От глаз чужих.
Всё, что добыто в школе,
Что юношеской сделалось душой, —
Всё на виду.
Не праздник это, что ли?
Так чокнемся, сынок? Расти большой!

На скатерти в грузинском ресторане
Пятно вина так ярко расплылось.
Зачесанный назад с таким стараньем,
Упал на брови завиток волос.
Так хохоча бесхитростно, так важно
И всё же снисходительно ворча,

Он наконец пригубил пламень влажный,
Впервой не захлебнувшись сгоряча.
Пей! В молодости человек не жаден.
Потом, над перевальной крутизной,
Поймешь ты, что в любой из виноградин
Нацежен тыщелетний пьяный зной.
И где-нибудь в тени чинар, в духане,
В шмелином звоне старческой зурны
Почувствуешь священное дыханье
Тысячелетий.
Как озарены
И камни, и фонтан у Моссовета,
И девочка, что на него глядит
Из-под ладони. Слишком много света
В глазах людей. Он окна золотит,
И зайчиками прыгает по стенам,
И пурпуром ошпарил облака,
И, если верить стонущим антеннам,
Работа света очень велика.
И запылали щеки. И глубоко
Мерцали пониманием глаза.
Не мальчика я вел, а ПОЛУБОГА
В открытый настежь мир. И вот гроза,
Слегка цыганским встряхивая бубном,
С охапкой молний, свившихся в клубок,
Шла в облаках над городом стотрубным
Навстречу нам. И это видел бог.
Он радовался ей. Ведь пеньем грома
Не прерван пир, а только начался.
О, только не спешить. Пешком до дома
Дойдем мы ровным ходом в полчаса.

Москва, Москва! Как много гроз шумело
Над славной головой твоей, Москва!
Что ж ты притихла? Что ж, белее мела,
Не разделяешь с нами торжества?
Любимая. Дай руку нам обоим.
Отец и сын, мы — граждане твои.
Благослови, Москва, нас перед боем.
Что там ни суждено — благослови!
Спасибо этим памятникам мощным,
Огням театров, пурпуру знамен
И сборищам спасибо полунощным,
Где каждый зван и каждый заменен

Могучим гребнем нового прибоя, —
Волна волну смывает, и опять
Сверкает жизнью лоно голубое.
Отбоя нет. Никто не смеет спать.
За наше счастье — сами мы в ответе.
А наше горе — не твоя вина.

Так проходил наш праздник. На рассвете,
В четыре тридцать, началась война.

5

Мы не всегда от памяти зависим.
Случайный беглый след карандаша,
Случайная открытка в связке писем —
И возникает юная душа.
Вот, вот она мелькнула, недотрога,
И усмехнулась, и ушла во тьму, —
Единственная, безраздельно строго,
Сполна принадлежащая ему.
Здесь почерк вырабатывался: точный,
Косой, немного женский, без прикрас.
Тогда он жил в республике восточной,
Без близких и вне дома в первый раз —
В тылу, в военной школе.
И вначале
Был сдержан в письмах: «Я здоров. Учусь.
Доволен жизнью».
Письма умолчали
О трудностях, не выражали чувств.
Гораздо позже начал он делиться
Тоской и беспокойством: мать, сестра...
Но скоро в письмах появились лица
Товарищей. И грусть не так остра.
И вот он подавал, как бы на блюде,
Как с пылу-жару, вывод многих дней:
«Здесь, папа, замечательные люди...»
И снова дружба. И опять о ней.
Навстречу людям. Всюду с ними в ногу,
Навстречу людям — цель и торжество.
Так вырабатывался понемногу
Мужской характер сына моего.

Еще одна тетрадка. Очень чисто,
Опрятность школьной выучки храня,
Здесь вписан был закон артиллериста,
Святая математика огня,
Святая точность логики прицельной.
Вот чем дышал и жил он этот год,
Что выросло в нем искренне и цельно
В сознанье долга, в нежеланье льгот.
Ни разу не отвлекся. Что он видел?
Предвидел ли погибельный багрец,
Своей души последнюю обитель?

•

И вдруг рисунок на полях: дворец
В венецианских арках. Тут же рядом
Под кипарисом пушка.
Но постой!
В какой задумчивости смутным взглядом
Смотрел он на рисунок свой простой?
Какой итог, какой душевный опыт
Здесь выражен, какой мечты глоток?
Итог не подведен. Глоток не допит.
Оборвалась и подпись:
«В. Анток...»

6

Ты, может быть, встречался с этим рослым.
Веселым, смуглым школьником Москвы,
Когда, райкомом комсомола послан
Копать противотанковые рвы,
Он уезжал.
Шли многие ребята
Из Пресни, от Кропоткинских ворот,
Из центра, из Сокольников, с Арбата, —
Горластый, бойкий, боевой народ.
В теплушках пели, что спокойно может
Любимый город спать, что хороша
Страна родная,
что главы не сложит
Ермак на диком бреге Иртыша.

А может быть, встречался ты и раньше
С каким-нибудь из наших сыновей —

На Черном море или на Ла-Манше,
На всей планете солнечной твоей.
В какой стране, под гул каких прелюдий,
На фабрике, на рынке иль в порту
Тот смуглый школьник пробивался в люди,
Рассчитывающий на доброту
Случайности...
И, если, наблюдая,
Узнать его ты ближе захотел,
Ответила ли гордость молодая?
Иль в суете твоих вседневных дел
Ты позабыл, что этот смуглый, стройный,
Одним из нас рожденный человек
Рос на планете, где бушуют войны,
И грудью встретит свой железный век?

Уже он был жандармом схвачен в Праге,
Допрошен в Брюгге, в Бергене избит,
Уже три дня он прятался в овраге
От черной своры завтрашних обид.
Уже в предгрозье мощных забастовок
Взрослели эти кроткие глаза.
Уже свинцовым шрифтом для листовок
Ему казалась каждая гроза.

Пойдем за ним — за юношей, ведомым
По черному асфальту на расстрел.
Останови его за крайним домом,
Пока он пустыря не рассмотрел.
А если и не сын родной, а ближний
В глазах шпиков гестаповских возник,
Запутай след его на свежей лыжне
И сам пройди невидимо сквозь них.
В их черном списке все подростки мира,
Вся поросль человеческой весны.
От Пиреней до древнего Памира
Они в зловещих поисках точны.

Почувствуй же, каким преданьем древним
Повеяло от смуглого чела.
Ведь молодость, так быстро догорев в нем,
Сама клубиться дымом начала —
Горячим пеплом всех сожженных Библий,
Всех польских гетто и концлагерей,

За всех, за всех, которые погибли,
Он, полурусский и полуеврей,
Проснулся для войны от летаргии
Младенческой и ощутил одно:
Всё делать так, как делают другие!
Всё остальное здесь предрешено.

Не опоздай. Сядь рядом с ним на парте,
Пока погоня дверь не сорвала.
По крайней мере, затемни на карте
В районе Жиздры, западней Орла,
Ту крохотную точку, на которой
Ему навеки постлана постель.
Завесь окно своею снежной шторой,
Летящая над городом метель.

Опять, опять к тебе я обращаюсь,
Безумная, бесшумная, пойми:
Я с сыном никогда не отпрощаюсь,
Так повелось от века меж людьми.
И вот опять он рядом, мой ребенок.
Так повелось от века, что еще
Ты не найдешь его меж погребенных:
Он только спит и дышит горячо.
Не разбуди до срока. Ты — старуха,
А он — дитя. Ты — музыка. А сн, —
К несчастью, с детства не лишенный слуха, —
Он будущее чувствует сквозь сон.

7

Весь день он спал, не сняв сапог, в шинели,
С открытым ртом, — усталый человек.
Виски немного впали, посинели
Таинственные выпуклости век.
Я подходил на цыпочках, боясь
Дохнуть на сына. Вот он наконец
Из дальних стран вернулся восвояси,
Так рано оперившийся птенец.

Он встал, надел ремень и портупею,
Слегка меня ударил по плечу.

Наверно, думал:
«Нет. Еще успею...
Зачем тревожить? Лучше помолчу».

Последний ужин. Засиделись поздно.
Весь выпит чай, и высмеян весь смех.
И сын молчит, неузнан, неопознан
И так безумно близок, ближе всех.
Какая мысль гнетет его? Как скудно
Освещена под лампой часть лица.
Меняется лицо ежесекундно.
Он смотрит и не смотрит на отца.
И всё в нем недолюбленное, недо-
Любившее...
В мозгу — как звон косы,
Как взмах косы: «Я еду, еду, еду».
Он смотрит и не смотрит на часы.

Сегодня в ночь я сына провожаю.
Не знает сын, не разобрал отец,
Чья кровь стучит, своя или чужая, —
Всё потерялось в стуке двух сердец.
Всё дело в том, что...
Стой. Но в чем же дело?
Всю жизнь я восхищался им и ждал,
Чтоб в сторону мою хоть поглядел он.
Ждал. Восхищался. Вот и опоздал.

И он прервал неконченную фразу:
«Не провожай. Так лучше. Я пойду
С товарищами. Я умею сразу
Переключаться в новую среду.
Так проще для меня. Да и тебе ведь
Не стоит волноваться».
Но, без сил,
Отец взмолился.
Было восемь, девять.
Я ровно в десять сына упросил.

Пошли мы на вокзал — таким беспечным
И легким шагом, как всегда вдвоем.
Лежал табак в его мешке заплечном,
Хлеб, концентраты, узелок с бельем.

Ни дать ни взять — шел ученик из класса
В экскурсию под выходной денек.
Мой лейтенант и вправду мог поклясться,
Что в поезде не будет одинок:
Уже в метро попутчиков он встретил.
И лейтенанты вышли впятером.
Я был шестым. Крепчал ненастный ветер.
Зенитки били. Где-то грянул гром.
Как будто дождь накрапывал. А может,
Дождь начался совсем в другую ночь...
Да что тут, был ли, нет ли — не поможет.
Тут и гораздо большим не помочь.

Мы были близко. Рядом. Сжали руки.
Сильней. Больней. На столько долгих дней,
На столько долгих месяцев разлуки.
Но разве знали правду мы о ней?
А тут же, с матерями и без близких,
С букетиками маленьких гвоздик,
Выпускники из школ артиллерийских
С Москвой прощались.
                                        Мрак уже воздвиг
Железный, грубый занавес у входа
В ночной вокзал.
                                Кричали рупора.
Пошла посадка...
                                — Сколько до отхода?
Час? Полчаса?
                            — Ну, а теперь пора.
Гражданских на вокзал не пустят.
                                                    — Ну так
Обнимемся под небом, под дождем.
— Постой. — Прощай.
                                — Постой хоть пять минуток,
Пока пройдет команда, переждем.

Отец не знает, сына провожая,
Чья кровь, как молот, ухает в виски,
Чья кровь стучит, своя или чужая.

— Ну, а теперь еще раз, по-мужски. —
И, робко, виновато улыбаясь,
Он очень долго руку жмет мою,

И очень нежно, ниже нагибаясь,
Простое что-то шепчет про семью:
Мать и сестру.
А рядом, за порогом,
Ночной вокзал в сиянье синих ламп.
А где-то там, по фронтовым дорогам,
Вдоль речек, по некошеным полям,
По взорванным голодным пепелищам,
От пункта Эн на запад напрямик
Несется время. Мы его не ищем.
Оно само найдет нас в нужный миг.
Несется время, синее, сквозное,
Несет в охапках солнце и грозу,
Вверху синеет тучами от зноя
И голубеет реками внизу.

И в свете синих ламп он тоже синим
Становится и легким и сквозным —
Тот, кто недавно мне казался сыном.
А там теснятся сверстники за ним.
На загоревших юношеских лицах
Играет в белых бликах синева,
И кубари пришиты на петлицах.

А между ними, видимый едва,
Единственный мой сын, Володя, Вова,
Пришедший восемнадцать лет назад
На праздник мироздания живого,
Спешит на фронт, спешит в железный ад.
Он хочет что-то досказать и машет
Фуражкой.
Но теснит его толпа.
А ночь летит и синей лампой пляшет
В глазах отца.
Но и она слепа.

8

Что слезы! — Дождь над выжженной пустыней.
Был дождь. Благодеянье пронеслось.
Сын завещал мне не жалеть о сыне.
Он был солдат. Ему не надо слез.
Солдат? Неправда. Так мы не поможем
Понять страницу, стершуюся сплошь.

Кем был мой сын? Он был Созданьем Божьим,
Созданьем Божьим? Нет. И это ложь.

Далек мой путь сквозь стены и по тучам,
Единственный мой достоверный путь.
Стал мой ребенок облаком летучим.
В нем каждый миг стирает что-нибудь,
Он может и расплыться в горькой влаге,
В соленой, сразу брызнувшей росе.
А он в бою и не хлебнул из фляги,
Шел к смерти, не сгибаясь, по шоссе.

Пыль скрежетала на зубах. Комарик
Прильнул к сухому, жаркому виску.
Был яркий день, как в раннем детстве, ярок,
Кукушка пела мирное «ку-ку».

Что вспомнил он? Мелодию какую?
Лицо какое? В чьем письме строку?
Пока, о долголетии кукуя,
Твердила птица мирное «ку-ку»?

...Но как он удивился этой липкой,
Хлестнувшей горлом, жгуче молодой!
С какой навек растерянной улыбкой
Вдруг очутился где-то под водой!
Потом, когда он, выгнувшись всем телом,
Спокойно спал, как дома, на боку,
Еще в лесном раю осиротелом
Звенело запоздалое «ку-ку».
Жизнь уходила. У-хо-ди-ла. Будто
Она в гостях ненадолго была.
И спохватилась, что свеча задута,
Что в доме пусто, в окнах нет стекла,
Что ночью добираться далеко ей
Одной вдоль изб обугленных и труб.
И тихо жизнь оставила в покое
В траве на скате распростертый труп.

Не лги, воображенье.
Что ты тянешь
И путаешься?
Ты-то не мертво.
Смотри во все глаза, пока не станешь

Предсмертной мукой сына моего.
Услышь, в каком отчаянье, как хрипло
Он закричал, цепляясь за траву,
Как в меркнущем мозгу внезапно выплыл
Обломок мысли:
«Все-таки живу».
Как медленно, как тяжело, как нагло
В траве пополз тот самый яркий след,
Как с гибнущим осталась с глазу на глаз
Вся жизнь его, все восемнадцать лет.

Рви ворот свой, воображенье. Помни,
Что для тебя иной дороги нет.
Чем ты упрямей, тем они огромней —
Оборванные восемнадцать лет.

Ну так дойди до белого каленья,
Испепелись и пепел свой развей.
Стань кровью молодого поколенья,
Любовью всех отцов и сыновей.

Так не стихай и вырвись вся наружу,
С ободранною кожей, вся как есть,
Вся жизнь моя, вся боль моя — к оружью!
Всё видеть. Всё сказать. Всё перенесть.

Он вышел из окопа. Запах поля
Дохнул в лицо предвестьем доброты.
В то же мгновенье разрывная пуля,
Пробив губу, разорвалась во рту.

Он видел всё до точки, не обидел
Сухих травинок, согнутых огнем,
И солнышко в последний раз увидел,
И пожалел, и позабыл о нем.

И вспомнил он, и вспомнил он, и вспомнил
Всё, что забыл, с начала до конца.
И понял он, как будет нелегко мне,
И пожалел, и позабыл отца.

Он жил еще. Минуту. Полминуты,
О милости несбыточной моля.

И рухнул, в три погибели согнутый.
И расступилась мать сыра земля.

И он прильнул к земле усталым телом
И жадно, отучаясь понимать,
Шепнул земле — но не губами — целым
Существованьем кончившимся: МАТЬ.

9

Ты будешь долго рыться в черном пепле.
Не день, не год, не годы, а века,
Пока глаза сухие не ослепли,
Пока окостеневшая рука
Не вывела строки своей последней —
Смотри в его любимые черты.
Не сын тебе, а ты ему наследник.
Вы поменялись местом, он и ты.

Со всей Москвой ты делишь траур. В окнах
Ни лампы, ни огарка. Но и мгла,
От стольких слез и стольких стуж продрогнув,
Тебе своим вниманьем помогла.
Что помнится ей? Рельсы, рельсы, рельсы.
Столбы, опять летящие столбы.
Дрожащие под ветром погорельцы.
Шрапнельный визг. Железный гул судьбы.

Так, значит, мщенье? Мщенье! Так и надо.
Чтоб сердце сына смерть переросло.
Пускай оно ворвется в канонаду.
Есть у сердец такое ремесло.
И если в тучах небо фронтовое,
И если над землей летит весна,
То на земле вас будет вечно двое:
Сын и отец, не знающие сна.
Нет права у тебя ни на какую
Особую, отдельную тоску.
Пускай, последним козырем рискуя,
Она в упор приставлена к виску.

Не обольщайся. Разве это выход?
Всей юностью оборванной своей

Не ищет сын поблажек или выгод
И в бой зовет мильоны сыновей.

И в том бою, в строю неистребимом
Любимые чужие сыновья
Идут на смену сыновьям любимым
Во имя правды, большей, чем твоя.

10

Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть.
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаешься. Один. Отрешенный
От света и воздуха. В муке последней,
Никем не рассказанный. Не воскрешенный.
На веки веков восемнадцатилетний.

О, как далеки между нами дороги,
Идущие через столетья и через
Прибрежные те травяные отроги,
Где сломанный череп пылится, ощерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребенных.

На этом кончается повесть о сыне.

1943

314. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как ни бейся, а эти строки
С биографией не дружат.
Ни в какие даты и сроки
Раньше смерти никто не сжат.
Как ни глянь, а в картины эти,
В эти рамы не вмещены
Семь минувших десятилетий
Непомерной величины.

Как ни мерь, а они огромны,
Потому что теснятся в них
Майских гроз молодые громы,
Тени мертвых, страницы книг,
Божьи храмы, княжьи хоромы,
Чьи-то драмы и чьи-то дремы,
Ветровые аэродромы, —
Разве ты позабыл про них?

Позабыл, как порой весенней,
Ощущая сердечный жар,
Эпицентром землетрясенья
Свою личность воображал?
Что же это, собственно, значит?
Разбирайся сам, человек,
Когда память переиначит
Твой тревожный и сложный век, —

Наплетет она небылицы,
Перепутает явь и сон,
Перессорит тени и лица
И запрет их впрок и в засол,
И наполнит своим ущербом
Полстолетья — за полчаса...
Девятнадцатый век исчерпан.
Век двадцатый не начался.

Девятнадцатый век развенчан.
Учат реквием скрипачи.
Миллионы мужчин и женщин
Зачинают детей в ночи.
Что же слышится в жарком, жадном
Ликовании двух существ?
Что за струны стонут, дрожат в нем
И глушат мировой оркестр?

Что же ты лихорадишь, бродишь,
Тень от тени, звено в цепи?
Жди рожденья, бедный Зародыш, —
Слышишь, Будущий? — крепко спи!
Завтра с ветром намертво сплавят
Твой минутный утлый уют,
Твою жизнь горючим заправят
И к истории прикуют.

Если верить точным наукам,
То в одной из последних глав
Предназначено твоим внукам
В черный космос лететь стремглав.
Но постой! Еще слишком рано.
В колыбелях физики спят.
Спят в земле запасы урана.
Спит гармония. Спит распад.

Пассажиры в дальнем вагоне
В карты режутся, водку пьют
И, не слыша дальней погони,
«Выдьнаволгучейстон...» поют.
А на станции, на той самой,
Что под ливнем дрогнет косым,
Ждут курьерского папа с мамой,
С ними их восьмилетний сын.

О маршруте не беспокоясь,
Не спросив, откуда-куда,
Знает мальчик, что всякий поезд
Пронесет его сквозь года.
Не успеет он и вглядеться,
Что там в окнах, — а на беду,
Повзрослеет внезапно детство
В девятьсот четвертом году.

Чья-то небыль пошла на убыль.
В небе Черный плывет Монах.
Болен Чехов. Безумен Врубель.
Впрочем, дело не в именах,
Даже не в мировых событьях...
В чем же дело? Не в том ли, что
Люди сами спешат забыть их,
Сыплют память сквозь решето...

Та эпоха — ничуть не старше,
Не моложе иных эпох —
В полной выкладке и на марше
Истоптала сотни сапог.
Вот она — в маньчжурке ушастой —
Пробрела по Тверской-Ямской, —
Не зевай, филер, сзади шастай,
Топай, гадина, день-деньской!

По сибирским снегам носимый,
Прямиком дойти не посмев,
От Ходынки вплоть до Цусимы
Пробирается Красный Смех.
Всполошилась, не спит охрана. —
Где-то Красный поет Петух...
Но постой! Еще слишком рано.
Золотой гребешок потух...

Только слышится крик петуший.
Только в чьих-то юных глазах
Птица-молния черной тушью
Отпечатала свой зигзаг.
Только начерно и напрасно,
Словно гости иных времен,
Полыхают на Пресне Красной
Кумачи рабочих знамен.

Пушки бьют. На дальних заставах
Вдовий плач и лачужный чад.
В насмерть вывихнутых суставах
Сухожилья века трещат.
Дальнобойную пасть ощеря,
Брызнув пламенем из-под век,
Заворочался зверь в пещере —
Пятилетний Двадцатый век.

Наш Двадцатый, наш соглядатай,
Провожатый, вожатый, вождь,
Под какою будущей датой
Развернется он во всю мощь?
Не разобранный на цитаты,
Не включен ни в одну из схем,
С кем же в заговоре Двадцатый,
С кем дерется он? — Правда, с кем?

Дальше — выше! Растет он выше,
То Архангел, то Хулиган.
Ветерок, лишь только он вышел,
Превращается в ураган.
Он квадратом скорости света
Обозначил замысел свой,
Вот и пущена эстафета
По дороженьке световой!

А вверху — галактики мчатся!
А внизу — в перинном пуху
Домоседы и домочадцы
Порют всякую чепуху.
И насчет светопреставленья
За Москва-рекой сеют слух.
Так кончается представленье
В балагане господских слуг.

Исполнители в «Ревизоре»
Ждут финала, окаменев.
А над сценой пылают зори,
А со сцены их гонит гнев.
Свищут вьюги в ущельях улиц
И сквозь щели проникли в зал.
Но и чуткие не проснулись.
Полной правды век не сказал.

Но ни в чьей еще теореме,
Самой сложной, самой простой,
Не раскрыто, что значит время.
Еще слишком рано. Постой!
Значит, рано иль поздно? — РАНО!
Сон вселенной чист и глубок.
В голубом окне ресторана
Разглядел Незнакомку Блок.

В ту весну, в то лето, в ту осень,
Возмужаньем странно томим,
Сам себе неясен, несносен,
Я проснулся собой самим.
Где-то в зеркале так же точно
Причесал вихры мой двойник.
Где-то в камере одиночной
Арестант к решетке приник.

Где-то в шелковом шапокляке
На эстраде пошляк острил.
Где-то рявкнули гимн гуляки,
Брякнув с лестницы без перил.
Где-то стыло каленье в домнах.
Где-то в жилах подземных руд,
В поколенье детей бездомных
Шел неслышный, как время, труд.

Между тем совсем неказиста
Заоконная тишина.
Пятикласснику-гимназисту
В ней история не слышна.
На страницах его тетрадок
Синус, косинус, логарифм,
Тройка с минусом, беспорядок
Перечеркнутых за ночь рифм.

Ничего не может случиться,
И всё медленней и мутней
Мелководная жизнь сочится
По канавам стоячих дней.
Между тем, как спирт улетучась,
Мчится отрочество в ничто.
Чертежом намечена участь.
Дело юности начато!

В непостижном будущем где-то
Женский образ ливнями смыт,
Там циркачка в звезды одета,
Там цыганка поет навзрыд.
Там возникла тема сквозная,
Сквозь начало виден конец.
И, о том ничего не зная,
Сквозь года несется юнец.

Что за молодость, что за повесть
Я уже различил сквозь тьму
И, к экзаменам не готовясь,
Что за трудный билет возьму?
Кто же Я — герой, или автор,
Или тень в театре теней?
Завтра, завтра... Что будет завтра?
. . . .
Утро вечера мудреней.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Москва. Зима. Бульвар. Черно
От книг, ворон, лотков,
Всё гибели обречено.
Что делать, — мир таков.
Он мне не нравился. И в тот,
Второй военный год
Был полон медленных пустот
И широчайших льгот.

Любые замыслы равно
Бесчестны и смешны
Пред бурей, бьющейся в окно,
Перед лицом войны.
Таков на вид глубокий тыл
Квартир, конур, контор.
В них след оседлости простыл,
Взамен пустой простор.

Здесь время намертво стоит,
Пространство расползлось,
Но что же грозный фронт таит
В крови, в потоках слез?

Каких вестей ждет Петроград,
Каких смертей Москва?
Каких наград, каких утрат
С весны до рождества?

Что значит гул со всех сторон,
Ночной туман, перрон,
Ненастье, карканье ворон,
Казачий эскадрон?..
В чем ошибался Архимед,
Что Ньютон упустил,
Каких не разгадал примет
В гармонии светил?

Печать бессмыслицы на всем,
Куда ни посмотри.
Стропила вечных аксиом
Прогнили изнутри.
У Резерфорда и Кюри,
В ловушку формул сжат,
Такой сюрприз, черт побери,
Что физики дрожат!

Дрожит земля. Встревожен бог.
И вслед за богом — вся
Вселенная качнулась вбок,
Вниз головой вися.
И осушил господь сто грамм,
И к ночи принял бром,
Но в текст военных телеграмм
Вбил молнию и гром.

Пожухли яркие холсты.
Симфонии мертвы.
Художник с жизнью был на ТЫ
И перешел на ВЫ.
Таков обыкновенный мир.
Вокруг, куда ни глянь,
Что ни осколок — то кумир,
Что ни кумир — то дрянь!

Но вот — в метели снеговой
С Остоженки ночной,
С Волхонки, вдоль по Моховой
Струится тень за мной.

В тревожном запахе духов
Я будущим дышу.
То героиня всех стихов,
Что я не напишу.

«Зачем негаданно, чуть свет,
Беспечно и шутя
В Московский университет
Явилась ты, дитя?»
И, видимости лишена,
Неслышная почти,
Прошелестела тишина:
«ВОТ МОЙ ОТВЕТ. ПРОЧТИ!»

(На серой стене старого университетского здания висело отстуканное на машинке объявление: «В Мансуровском переулке на Остоженке открыта СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ АРТИСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА».)

Четыре сумрачных стены
Покрыла серая дерюга.
Мы молча смотрим друг на друга,
На длинных скамьях стеснены.
Кто мы такие? — Молодежь,
Студенты факультетов разных,
Сошлись как будто бы на праздник, —
За чем пойдешь — разве найдешь?

Руководитель горбонос,
Наряден, смугл, артист, южанин.
Мы выслушали с обожаньем
Его диагноз и прогноз.
И, острым глазом поглядев,
Он сразу отличил способных
И отпустил домой беззлобных,
Безликих юношей и дев.

И быстрый жест, и острый глаз
Здесь не манера, не манерность,
Но восприимчивая нервность:
Других зажгла — сама зажглась!
И тут же — трезвые слова,
Что долог всякий путь к успеху,
К тому же дело и не к спеху, —
Не сразу, дескать, и Москва...

Когда злодействует иприт
И гусеницы первых танков
Мнут жнивья осени — Вахтангов
О добрых чувствах говорит,
О совести, о Льве Толстом,
О романтическом театре.
Загадывая года на три,
Он перегонит всех потом!

. . . .

Что мне делать с моим призваньем,
Кем я стану, что я решу?
Только с высшим образованьем
Навсегда расстаться спешу.
Не сдавая римского права,
Государственного не сдам,
Рассуждая зрело и здраво,
Не вернусь к отцовским следам.

На пустой Остоженке гулок
Запоздалых прохожих смех.
На Мансуровский переулок
До рассвета сыплется снег.
Сердце сладкой грустью щемило,
Когда бывший студент, актер
Стих сложил для спутницы милой,
Да и грима с лица не стер.

Так пройдем же в темпе аллегро,
На три четверти строя шаг, —
Пусть мелодия вальса бегло
Еще раз прозвучит в ушах.
Еще раз от плясок и песен
Целый мир полыхнет огнем,
В нас самих повторится весь он, —
Мы-то сами — песчинки в нем!

Из ничтожного водевиля
Еле вырвались и уже
Пропуска свои предъявили
Хмурой страже на рубеже.
«Кто такие?» — «Поэт и Муза».
— «Что за чушь?» — «Говорим всерьез».
— «Что в руках?» — «Никакого груза,
Кроме будущих гроз и грез».

Осторожно, память, не лги мне!
Может статься, в то утро мы
Поменялись судьбой с другими
На пиру во время чумы.
Может статься, другие двое
В сквер вошли у храма Христа
И всё прочее бредовое
Им мерещилось неспроста.

Вслед за тем их легкие тени
Пролетели из жизни в жизнь,
В розни, в близости и в смятенье,
Мимо свадеб и мимо тризн.
Ибо юность в начале века,
Так сказать, в проекте еще,
Обозначилась ее веха
Приблизительно и общо.

Так постой! Еще слишком рано.
Всё неясно. Всё впереди.
Вот Россия ЦАРИЦЕЙ БРАННОЙ
В полный рост поднялась — гляди!
А в тылах военной России
Те же вьюги поют в ночах,
Те же дети плачут босые,
Тот же вдовий остыл очаг.

И от Вислы до самой Камы
Костылей ли, костей ли стук.
Под свинцовыми облаками
Гонит скот на восток пастух...
Все дороги смертью забиты.
Все базары мертвым-мертвы.
Юный голос Девы Обиды
Слышен в древних ночах Москвы.

В чистом поле гнется былинка.
Еле брезжит зимний рассвет.
Хаки — цвет песка и суглинка —
Беззащитный защитный цвет, —
Да кому же, боже, кому ж он
В настоящее время нужен?..
Обнаружен, обезоружен,
Ряжен в кровь беззащитный цвет.

Спит история, прерывая
Раньше срока свой перелет.
Многотомная, мировая
Спит, захлопнута в переплет.
Спит старуха, не шьет, не порет,
Всех историков переспорит,
С проходимцами тараторит,
Что Распутин спущен под лед.

Многим сны еще краше снятся,
Еще ярче у них заря.
Миновало веку шестнадцать
Тридцать первого декабря.
Год пройдет, и минет семнадцать
По законам календаря.
Всем придется с поста сменяться,
Под замок посадят царя.

Юный век давно разглядел их
И над главными суд вершит.
Ляжет саван на тех пределах,
Ладно скроен и крепко сшит.
Ворохами снежинок белых
Сыплет время, путь порошит,
Убаюкало оробелых,
Смельчаков разбудить спешит.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Всё сначала, с красной строки,
Что бы ни было, но сначала, —
Лишь бы жизнь крепчала и мчала
Всем приличиям вопреки,
С крупных контуров и азов!
Мир пылает в огне грозовом,
На полвека мобилизован,
Откликается нам на зов.

В столкновеньях разных начал,
В разноречиях истин разных
Я встречаю сегодня праздник,
Как и в молодости встречал.
Значит, память стучит в виски.

Значит, некогда одряхлеть ей.
Все тревоги полустолетья
Ей, как в молодости, близки.

Полстолетья тому назад,
Не застыв бетоном иль бронзой,
Начиналась эпоха грозно
Пересвистом пуль из засад.
Начиналась — и началась!
Дерзновенно, легко, широко
Передвинула раньше срока
Стрелки века на звездный час.

А звезда Венера над ней
Зеленела в рассветной дымке,
В легкой шапочке-невидимке
Она стала к утру бледней.
Разве снилось кому-нибудь,
Что в далеком будущем... Впрочем,
Мы не будущее пророчим,
Прямо в прошлое держим путь.

Только вышли мы из ворот —
И в глаза нам свежо и ярко
Автогенной ударил сваркой
Социальный переворот —
Разогнал проныр и деляг
И, прикладом гремя ружейным,
Всех снабжает Воображеньем:
«Получай рацион, земляк!»

Ни кола у нас, ни двора,
Ни чинов, ни знаков отличья.
Что касается до величья, —
Не пришла еще та пора.
Только утренним сквозняком,
Только будущим даль продута
И продумана. И как будто
Каждый с каждым давно знаком.

Каждый каждому верный друг,
Однокашник, однополчанин,
Простодушен, мудрен, отчаян,
То Бродяга, то Политрук.

Не прочел он и сотни книг,
Слишком мало прожил на свете,
Но за всех и за всё в ответе,
Всем учитель, всем ученик.

Может быть, это мой двойник
На рассвете проснулся первым.
Только путь его жизни прерван
В тот же миг, когда он возник.
С той поры у меня в мозгу,
Как пчела в янтаре, сохранна
Его молодость, его рана —
С ней расстаться я не могу.

Невесомый призрак парит
Над равнинами, над горами,
По неправленой стенограмме
Запинаясь он говорит:
«Я мечтал всем чертям назло
В первый день всемирного братства
С буржуазною контрой драться,
Да не вышло, не повезло.

Только встали мы к рубежу,
Был мой кубок на землю вылит,
Был я в сердце ранен навылет,
На булыжном камне лежу,
Не дышу, не двинусь, чуть жив,
Но в последних секундах смертных,
Словно в россыпи звезд несметных,
В веренице жизней чужих —

Различаю свой слабый след,
Перекинутый через пропасть,
Через молодость... (длинный пропуск)
Через сотню и больше лет.
И пускай остался во рту
Только хрип сожженной гортани, —
Завещаю братьям братанье,
Добрым девушкам — доброту».

Смертный час, как всегда, суров.
Но, пока боец погибает,
Артиллерия вышибает

Из Хамовников юнкеров.
Там встают Бромлей и Гужон,
Семь застав и Замоскворечье.
Бурный паводок просторечья.
Праздник. Встреча мужей и жен.

Там — в раскрытых настежь мирах.
В грозных лозунгах и легендах,
В пулеметных крест-накрест лентах —
Металлург, Солдат и Моряк
Поднялись — а за ними все,
Кто знаком с бедой и обидой,
Стар и Мал, Живой и Убитый,
В цвете лет, в нетленной красе.

Это есть разлом и разлад,
И восторженность восхожденья,
И зачатие, и рожденье
Полстолетья тому назад.
Полстолетья назад Москва
В серых сумерках пред рассветом
Подхватила: «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!» —
Молодые эти слова.

Полстолетья прошло. Гляди, —
У всего свое продолженье.
Всё в движенье, в жженье, в броженье,
Полстолетия — впереди.
Так встречаются даль и близь.
Древний город тих и огромен.
Желтоглазья его хоромин
Жадно в будущее впились.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приглашаю на поздний ужин
Всех, кто важен и кто ничтожен,
Кто разряжен, кто безоружен,
Кто отважен, кто осторожен.
Но зачем в беседе застольной
Нет у нас настоящей темы?
Всё так мертвенно, так пристойно,
Словно встретились в пустоте мы, —

Кислородом земным не дышим,
В головах не вмещаем мыслей
И, по соображеньям высшим,
Вне Истории как-то скисли.
А сама История тут же,
Вся как есть — стоит великанша,
Не продрогшая в жуткой стуже
И красивая, как и раньше!

Мы невольно смутились, воззрясь
На явленье славной старухи,
Почитая званье и возраст,
Лобызаем древние руки.
А История с гордым видом
Заявляет, на нас не глянув:
«Не взыщите, я вам не выдам
Ни секретов своих, ни планов.

Может быть, я полна предвестий
И готовлюсь к новому взмаху,
На крутом, на опасном въезде
Торможу свою колымагу.
Может быть, сама бестолкова,
Беззастенчива, бесшабашна...
Только не было дня такого,
Чтоб мои остывали брашна.

Лишь бы вы не стояли глухо,
Ваши вашества, благородья!»
Тут пошла вприсядку старуха
И при всем при честном народе
Пляшет в ужасе и веселье,
Новогодний бал открывая,
Как не раз бывало доселе, —
Многотомная мировая!

Мои гости переглянулись
И пошли кто куда тихонько
Сквозь ущелья московских улиц...
Спит Остоженка. Спит Волхонка.
Может быть, мерещилось это
Всей компании напоследок?
Но читателю и поэту
Безразлично, так или эдак.

Вновь смеркается. Вновь светает.
Где-то время бредет и бредит.
Но кого-то здесь не хватает.
Самый лучший друг не приедет,
Не вернется под отчий кров он,
Не пришлет телеграмм и писем, —
Он вне времени замурован
И от времени независим.

Мой призыв ему не указка.
Мое слово ему не слышно.
Так встречаются быль и сказка
Полной правдой, наверно, лишней.
Разве в тщетном коловращенье,
В неисчерпанном скрещенье жизней
Предназначено возвращенье
Нам, прощающимся на тризне?

Разве ты мне сулила милость,
Эстафета времен сквозная?
Всё прошло, миновало, смылось.
СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИМ —
не знаю.
Домовой, мой демон домовый,
Не споткнулся на круче скользкой.

. . . .

Ночь. Конец шестьдесят седьмого.
Кончил летопись Антокольский.

1967

315. ЗОЯ БАЖАНОВА

1

Всё кончено. Но нет конца — концу.
Нет и начала нашему началу.
Но как тебе сегодня не к лицу,
Что ты вчера навеки замолчала.

Ты, говорунья. Ты, прямая речь.
Ты, праведница в поединке с ложью.
Ты, музыка, не смогшая сберечь
Струн напряженных. Ты, Созданье Божье.
Ты, с детских лет одна и та же. Смех
И рядом — слезы. Честная артистка.
Как пристально смотрела ты на всех,
А с зеркалами не дружила близко.
Ты, жаркий пламень, улетевший ввысь
Так безнадежно, так скоропостижно...

Но подожди. Дай досказать. Явись
Живой, отважной, нежною, подвижной.

Любимая, ты остаешься здесь,
Не расстаешься с жизнью, не уходишь
И этот дом осиротевший весь
Глазами беспокойными обводишь.

Для нас одних такое волшебство
По всем законам жизни существует,
Легчайший отсвет света твоего

И над тягчайшим горем торжествует —
В любом быту и на любом мосту,
Хоть на лету, сквозь вихревые тучи,
Твой свет, не распыленный в пустоту,
Твой молодой, твой лучший, твой летучий!
И тут же, а не в прошлом — первый час
Присутствует и бесконечно длится,
Тот самый, что, в вагонных окнах мчась,
Снопом лучей ударил в наши лица.
Наш первый час. Как страшно близок он.
В нем тоже ни начала, ни конца нет.
А может быть, и вправду есть закон,
Что прошлое вновь настоящим станет...

Вагон несется. Где-нибудь в пути
Мы спутников поздравим с Первым мая.
Всё путается в памяти... Прости,
Что я и сам еще не понимаю,
Зачем не спать, куда тревогу деть.
В багряных отблесках, в клокастом дыме
Что загадать, как в окнах разглядеть
Наш дальний путь глазами молодыми...

О чем мы говорим? Да ни о чем...
О том, что, облачной закутан ватой,
Весь город завтра будет завлечен
Игрой актерской, пестрой, диковатой.
О том, что в черных окнах провода
Несут событья, новости, известья
Из края в край, оттуда и туда.
А наша мысль несется с ними вместе.
О том, что всё неясно впереди
И выяснится, кажется, не скоро...
Нам спать немыслимо.
Но погоди!
Таинственные голоса из хора —
Мужской и Женский — вырвались. Их два.
Нет содержанья в слитном песнопенье.
Неразличимы русские слова.
Но праздничные гулкие ступени
Нам под ноги легли.
Но каждый миг
Иное разверзается пространство,
Иная ширь морей, времен и книг,

Иная даль твоей дороги страстной.
Так мы пройдем по чуждым городам:
Стокгольм, Берлин, огни рекламных окон...

Настанет день, я молодость отдам
За каждый твой взметенный ветром локон,
За каждый взгляд, за каждый взлет руки,
За каждый возглас правды непорочной,
За каждый взрыв назло и вопреки
Всему, что общепринято и прочно,
За удивленье дивное твое,
За сдержанность и за неудержимость.

И вот уже отстроено жилье.
И слажен быт. И жизнь вдвоем сложилась.

. . . .

Но сроки так сдвигаются в стихах,
Что слишком плотен и бездушен воздух.
Наверно, я слагаю впопыхах
Преданье о твоих погасших звездах.

Наверно, так и надо. Ведь любовь
Диктует безрассудно и жестоко.
Так в телеграфной проволке столбов
Гудит и стонет напряженье тока.

Так правда на земле измождена
За то, что разделяет боль чужую,
Вся кладбищами загромождена,
Вся в рытвинах, куда ни погляжу я.

Но правда может стать еще лютей,
Безумней, обнаженней, откровенней —
Единственная школа для людей,
Трудящихся в отчаянье и рвенье.

Возлюбленная! Жизнь моя! Жена!
Ты с юных дней была такого склада,
Так слажена, так стройно сложена,
Так лишена сама с собой разлада,

Что в эту ночь у нас обоих есть
Один просвет, глазам открытый настежь:

Всё видеть. Всё сказать. Всё перенесть.
А ты во мгле ничем себя не застишь.

Не застишь! Нет. В порыве доброты
Раздвинув черный купол мирозданья,
Одной улыбкой превращаешь ты
В рабочую страду — само страданье.

?

Вспомни, Зоя, начало жизни,
Золотые детские дни
И печалящимся на тризне
Хоть платочком белым взмахни!

Легкий взмах мгновенно доплещет
Белопенным гребнем волна.
. . . .
Что за девочка в доме блещет —
Так послушлива, так вольна.

Зоя, Зоя, росла ты ясно.
Смейся, радуйся, пой, играй!
Всеми сказками опоясан
Твой зеленый и синий рай.

Сколько сказок прочла ты рано!
Братья Гриммы, Пушкин, Перро
Твоей верной встали охраной,
Ткали звездное серебро.

За русалкой Андерсен старый
Сам в окошко дачи стучал.
Жуткий Гофман бренчал гитарой,
Небылицы плел, не скучал.

Если нравился гимназистам
Твой прелестный робкий огонь,
Комплиментам их неказистым
Отвечала ты: «Только тронь!»

Вырастала с двадцатым веком,
Чуть моложе, но наравне,

Стала девочка — человеком,
Поглядела в глаза войне.

И в года всеобщей разрухи,
Когда жизнь была тяжела,
Подняла ты тонкие руки,
Бедный заработок нашла.

В час нужды — а был он нередок —
У чужих купцов на дому
Наставляла капризных деток
И грамматике, и всему...

...Приближались с подступов дальних
Наши завтра, наши года.
В золотых гостиных и спальнях
Жались важные господа.

...Слышишь, милая, гром и гомон,
Первый митинг славной грозы?
А пока тебе не знаком он,
Вот газета — наши азы.

Ты мала, но вырастешь быстро
На виду у всех, на свету,
Оттого что каждая искра
Устремляется в высоту.

На Поволжье, в голодном мраке,
С матросней дружа у костра,
Ты в холерном будешь бараке
И уборщица и сестра.

На нечаянном перегоне,
В двадцать третьем легком году,
В том летящем сквозь жизнь вагоне,
Знал ли я, что тебя найду?

Наша молодость! Прокричи нам,
Не увиливай, не солги,
По каким ты правилам чинным
Замедляешь свои шаги?

Уже мчатся сюда оттуда
Все курьерские поезда,

Мчится давнее наше чудо,
Наша жизнь — оттуда сюда.

В переулке замоскворецком,
В тот сочельник, в той же ночи,
Оборвутся в порыве резком
Твое ДА и мое МОЛЧИ...

Всё, что будет, — вплоть до разлуки, —
Всё сбывается и сбылось:
Слабый стон, усталые руки,
Пенный кипень льняных волос,
Умиление, утомление,
Удивленье юной души,
Ранней ранью реянье, мленье —
О, не слушай, о, не дыши!..

Будет ночь — короче и краше.
Будет день — длинней и трудней.
Подружится твое бесстрашье
С быстрой сменой ночей и дней.

Сколько в молодости несчастий,
И безденежья, и тоски
Разрывает сердце на части,
Жизнь разламывает на куски.

Сколько ждать еще двум бездомным
Дней, ночей, и недель, и лет,
По каким окраинам темным
Заметут метели их след...

Но прервутся ночи прогулок
По мостам, по садам дворов.
Здравствуй, Левшинский переулок,
Принимай нас, домашний кров!

В легкой шубке, с пуделем Джином
Ты взлетишь на пятый этаж
И движеньем неудержимым
Скинешь шубку и мне отдашь.

После утренних репетиций
Зимний вечер не так далек.

Не хозяйкой — сказочной птицей,
С лету бьющейся в потолок,
Оживится наше жилище.
За окном метель.
А пока
Мы богаты юностью нищей,
Нет ни славы, ни табака.
Только страшная вера в завтра,
В простоту событий простых.
Моя жизнь, позволь, чтобы автор
Прочитал тебе новый стих:

Я люблю тебя в дальнем вагоне,
В желтом комнатном нимбе огня.
Словно танец и словно погоня,
Ты летишь по ночам сквозь меня...

Много строк и краше родится.
Но как в рифмах ни ухитрись,
Ты служанка древних традиций
И скромнейшая из актрис.

И по этой простой причине
Нынче вечером стань другой,
В крепдешине или в овчине,
Стань девчонкой или каргой.

День придет. И черный подрясник
Подчеркнет твой девичий стан.
Это будет твой первый праздник,
Он не многим актерам дан.
В драме Горького в мрачной сцене
Ты прервешь пустой разговор,
И раздастся в общем смятенье
Высшей мерой твой приговор.
У портала сначала тихо,
Лишь слова раздельно рубя,
«Ты... собака... стерва... волчиха...», —
Скажет маленькая раба, —
Не артистка, но агитатор,
Не монашенка, весь народ
Сразу вырастет. И театр
На одно мгновенье замрет.
Но, в хлопках отбивая руки,

Разразится блаженный вой,
В горькой радости, в сладкой муке
Дружный вызов Ба-жа-но-вой!

Моя строгая недотрога,
Будешь ты скромна даже здесь.
Еще так далека дорога!
Столько будет новых чудес!
Тут не спешка, одна лишь гонка
Вслед за жизнью и ей в обгон,
В лад ударам сердца, как гонга,
Мчится дальше дальний вагон.

День придет. Мы в Горький приедем,
В Арзамас, Сергач, Городец.
Всем, что знаем, — не тем, так этим, —
Взбудоражим двадцать сердец.
Это будут славные парни,
Благонравны, как на подбор,
И талантливо благодарны,
Что нужде глядели в упор.
Суждено в театре веселом
Им узнать и славу и труд,
Их маршрут по колхозным селам
Будет ярок, долог и крут.

Да и в жизни скажется нашей
Ранней молодости возврат, —
Долгосрочный постриг монаший
И гражданственность без наград.

Но решенье времени строго,
В нем иной извилистый ход.
Еще так далека дорога,
Так неясен будущий год!

День придет. И в Грузии знойной
Встретит нас вдохновенный друг
И включит обоих спокойно
В свой домашний избранный круг.
Молодой огонь Тициана,
Его древнее колдовство
Вечной памятью осиянно —
Да святится имя его!

В первый день в компании узкой
Тициан тебя наречет
Белокурою музой русской —
О, не в счет, а только в почет.
В хриплом голосе балагура
Ясен домысел доброты:
«Муза русская белокура!» —
Но зачем потупилась ты?
Ведь сейчас же, сама изведав
Стиль застолья, взамен меня
Вознесешь грузинских поэтов,
О стакан стаканом звеня.

. . .Но внезапно — всегда внезапно —
Налетает в окна гроза.
Будем бодрствовать неослабно,
Поглядим ей прямо в глаза.
Рухнет молния-телеграмма
Сверху вниз зигзагом косым
И в сознанье вонзится прямо:
У тебя нет матери, сын.

Еще так далека дорога,
Так мудра и могуча жизнь.
Моя радость, моя тревога,
Будь со мной, не робей, держись!

Будет строк этих продолженье
Бегло, коротко и общо:
Как мое под уклон скольженье
Незаметно тебе еще...

Как с мороза, назло невзгодам,
Ковыляя ночью домой,
Назову я Пушкинским годом
Незабытый — тридцать седьмой...

. . . .

Может статься, я не сумею
Вспомнить счет безымянных дорог,
Ради жизни и рядом с нею
Не закончу мартиролог.

Нет ни в чем у жизни возврата,
Передышки нет ни одной.

Ты отца и младшего брата
Похоронишь перед войной.

Только чем же мы виноваты,
Что на празднике роковом,
Провожая тридцать девятый,
Встретим полночь в сороковом?

Так сотрется горькая память,
А того, что ушедших нет,
Ни забыть, ни переупрямить
Столько лет, столько зим и лет.

Так когда-то грешный Некрасов
Материнскую смерть постиг,
Своей доли не приукрасив,
Переплавил рыданье в стих.

И побрел от тризны до тризны,
Еле слышно к людям стучась,
Сам себе шептал укоризны
Вековечный РЫЦАРЬ НА ЧАС.

3

В июне сорок первого Москва
Глазам своим не верила вначале.
Лишь на бульварах пыльная листва
Прошелестела завтрашней печалью.

И время замедляло свой полет.
Но в страшный день — в пылающем полудне
Жестокий зной сам превратился в лед —
Стал город сумрачней и многолюдней.

Мерещилось предчувствие разлук
На лицах женщин, на цветущих розах.
Мерещился иной — железный — звук
В растущих облаках, в гнетущих грозах.

Шел первый месяц. Таяли фронты.
Прощались мы с друзьями на вокзалах.
Но и тогда еще не знала ты
Утрат грядущих. Да и я не знал их.

Но сразу ты сняла с дверей засов
И сделала гостиницей жилище,
Друзьям служила верно и без слов
И не стыдилась оскудевшей пищи.

Дежурила на крыше ночью той,
Когда стоял Вахтанговский театр,
Как у собора каменный святой,
Как на арене цирка гладиатор.

А завтра телефон забил в набат!
И, страшной правды не расслышав толком,
Мы побежали оба на Арбат
По сонным переулкам, по осколкам
Разбитого стекла...
Так вот она —
Глядит в глаза нам, хриплая, лихая,
Бездушная воздушная война,
Убившая Театр...
И, полыхая,
Остановилось на короткий миг,
Не дышит время, ничего не слышит,
Лишь ожиданьем душу истомив,
Еще не скоро письма нам напишет.

Однажды в зимний день иль ввечеру
Актеры-горьковчане к нам явились
И приняли как брата и сестру
На пятитонку, на попутный виллис.

Нам многое увидеть довелось —
Торчащие в снегу печные трубы,
Босые, в мерзлом инее волос,
Солдатские глухонемые трупы...

Ты видела дела фашистских рук,
Уничтоженье по штабному плану —
В следах разгула бедный Бежин луг,
В следах ожогов Ясную Поляну...

Узнала летчиков, их бивуак,
Короткий сон, короткий сбор на гибель,
Безжалостную точность в их словах
И точный счет — кто налицо, кто выбыл...

И там и тут искала правды ты,
На всех распутьях, в судьбах и бессудьях,
Непобедимость русской правоты
Играла в симоновских «Русских людях».

. . .Узнав про гибель сына моего,
Тебе я отдал смятый треугольник.

. . . .

Ты встретишь в беспредельности его,
Разговоришь молчанье безглагольных

И озаришь хоть на мгновенье тьму.
И если тьма прислушается немо,
И если можешь — страшную поэму
Вслух прочитаешь сыну моему.

Не думай, Зоя, что я стал отныне
Как факельщик на кляче вороной.
О, нет! Пускай слезливое унынье
Обходит нас обоих стороной.

Мне время диктовало, как бывало,
Железными клещами сердце сжать,
Сквозь тьму, в дыму зловещего обвала
На твой огонь равнение держать.

А если где-то людям станет жутко
В пробелах, в недомолвках, между строк, —
Что ж, правда жизни — не пустая шутка.
ГЛАГОЛ ВРЕМЕН не жалостлив. Он строг.

4

Пронеслись военные годы.
Несся дальше дальний вагон.
Не знавал отпусков и льготы
Твой открытый, легкий огонь.

Ты — учительница простая
Театрального мастерства,
В свою новую роль врастая,
Оказалась и в ней права:

Не скольженье в учтивом танце,
Не муштра на гладком плацу —
Не блюсти никаких дистанций,
С каждым младшим лицом к лицу!

Боже мой, как ты это знала,
Как ломала руки свои,
Как звала из темного зала:
«Чем попало себя взорви!»
Не сдавалась и добивалась,
Чтобы где-то в конце концов
Устранилась робкая вялость,
Сохранилась дерзость юнцов.

А в конце концов — сколько траты
Нервной силы, как труд велик...
Но пределом твоей отрады
Был ТРАГЕДИИ грозный лик.

Ничего нет острей и строже,
Чем на меди тонкой чекан.
Ничего трудней и дороже,
Чем служенье ученикам.
Нет отчаянней, нет опасней,
Нет светлее света того!
Говорят, что искусство — басня,
Балаган или баловство,
Балагурство или рулетка:
«Ставь медяк, а червонец грабь!»
Нет, искусство — тесная клетка,
В ней пожизненно стонет раб.

Гимназисткою, иль пьянисткой,
Иль артисткой — но ты росла,
Всё равно, высоко иль низко.
Твоим обликам нет числа!

И опять являлись пристрастья,
Мимо стольких скользя невзгод,
Ты молила их: «Разукрасьте
Иль разрушьте мой новый год!»

Самодержица и владыка
Прямо в руки шедших даров,

Ты сначала робко и дико
Украшала домашний кров,
В подмосковной нашей природе
Молодевшая, а скорей
Чародейка лесная вроде
Древних северных кустарей.

В грудь земли кривой можжевельник
Врос корнями не для того,
Чтобы трубку сосал бездельник,
А для замысла твоего.
Для тебя лесные деревья
Изгибались, кверху ветвясь.
Так заметила вся деревня
Меж тобой и деревом связь.
Так рождалась новая Зоя,
Неожиданно, как всегда,
В изнуренье летнего зноя,
В счастье редкостного труда,
Шла по дебрям и перелескам,
Лишь бы чей-то глаз подстеречь,
С первобытным дикарским блеском
Немоту превращала в речь.
Босиком, в истрепанном платье —
В прелых листьях, в ненастной мгле
Ты отыскивала распятье
Или ведьму на помеле.
Стерегла в наростах березы,
В горбылях древесных грибов
Две гляделки, скупые слезы
И морщины скошенных лбов.

Появлялись в доме фигуры,
Как исчадья лесной весны.
Из древесной корявой шкуры
Ты выпрастывала их сны
И сдвигала века, припутав
В них охапки сказок и вер.
...Злился Леший... От лилипутов
Не предвидел зла Гулливер...
Отражался в зеркале Пращур,
За меньшой держался народ,
Из пещеры око таращил
И беззубый ощерил рот...

Свистопляской ведьм окруженный,
Честь и совесть Макбет отверг...
Ясень, молнией обожженный,
Вскинул сильные руки вверх...
В том же древнем лесу дремучем,
Той же древней как мир весной,
Странной страстью к ребенку мучим,
Сумасбродствовал Царь Лесной...
Актеон, Альциона, Дафна —
Твои замыслы, твоя боль...

Это сделано так недавно,
А сегодня стало ТОБОЙ.

Да, сегодня Тобою стало!
И припомнил поэт-старик
То, что в юности отблистало,
ТОЙ ТРАГЕДИИ грозный лик, —

Это мчанье сквозь жизнь вагона,
Предназначенного судьбой.
Это в буре волос Горгона,
Не оконченная тобой...

Выбрав рашпиль или стамеску,
Ты работала, пела, жгла
День за днем... И, словно в отместку,
Где-то рядом клубилась мгла.

Но когда, когда, о когда же
Обозначилась эта тень,
Притаившаяся на страже
И крадущаяся вдоль стен?

Не скучала ты, не молчала...
Но сквозь время или в обгон —
Тот же самый, что был сначала,
Вдруг застопорил наш вагон.

5

Орфей привел на землю Эвридику,
Но не стерпел и посмотрел назад.
Он различил одну лишь невидимку,
Чьи ножки мимо времени скользят.

Он встретил только взгляд потусторонний,
Внутрь обращенный, тусклый как свинец,
Услышал только карканье воронье
Да вопли женщин, стихших под конец.

И заметалась в нем и зашаталась
Загадочная для любых врачей
Такая стовековая усталость,
Что только странствуй, нищий и ничей.

С кривых путей, из гнилостных харчевен
Он сманивал пьянчужек за собой,
Пел и плясал... А сам был так плачевен,
Что вечен стал их временный запой.

И с той поры бывалого союза
Он с гражданами больше не искал...
История, как мать его и муза,
Вела Орфея от фракийских скал.

История ждала и не стремилась
Орфею смертный кубок подносить.
И вслед ему, как приговор и милость,
Всё гуще разрасталась волчья сыть.

Ты столько раз припоминала это
И не грустила. Ты была права.
Ты знала, что у каждого поэта
Свои разрыв-трава и трын-трава.

Так и случилось. Не смогла проститься,
Назад не обернулась на лету,
Ушла из глаз и упорхнула птица
В свою сверкающую высоту...

Я должен в стуже, всё еще не стихшей,
Твое благоволенье обрести,
Я должен в каждом из четверостиший
Хоть волком выть: «Прости-прощай... Прости».

Хоть волком выть? О, нет! Как можно тише,
Как можно глуше. Не дышать почти.
Но в памяти — затменье ты простишь ей —
С тобой в далеком встретиться пути...

А время не щадит и не врачует
Увечных душ, да и не сушит слез,
Но всё, что суждено, — задолго чует,
И всё, что должно, — делает всерьез.

6

...День последний, день беспощадный
Был тридцатого декабря.
Его свечка таяла чадно,
Не светясь, но еще горя.

И тянул он — тянул, как тянет
Христа ради нищий во мглу,
Нас клянет, а в глаза не глянет
И отстанет сам на углу...

Потрудились врачи усердно,
С ними сестры и фельдшера.
Как ждала ты их в муке смертной,
Как не верила им вчера,
Как меня гнала непрестанно,
Как на помощь звала чужих...
. . . .
Я на вечную вахту встану,
Еле жив — я остался жив.
Жив-здоров — даже с той секунды,
Когда твой опускали гроб,
А за гробом рушился скудный
В рыжей глине рыхлый сугроб.

Жив-здоров — до седьмого пота,
До последнего дня в пути.
Мне осталась одна забота —
Скорбный памятник возвести.

Что ты прячешь на самом дне,
Мой двужильный и жалкий мозг?
Ожиданье. Столбняк родни.
Безнадежного лифта лязг.
Коридор больницы пустой
Да носилки там, на полу,

Когда выше пернатых стай
Моя Милая уплыла...

За чертой зачеркнутых строк,
В серой обыкновенности
Что скрывается? Только страх.
Страх, что правды не вынести.
Ни сейчас, ни в новом году
Не сулит ничто перемен,
И останется Ни-ког-да
До скончанья земных времен.

...Из того, что решалось ночью,
Не кривая кардиограммы,
А кривая кривда росла,
А за нею шли многоточья,
Шли на слом театры и храмы
Вне пространства и без числа...

Да и в будущем ничего нет.
Только врытый в землю гранит.
Только Зоя меня не гонит,
От могилы не отстранит,
Не смеется Зоя, не стонет,
Навсегда молчанье хранит.

Зоя, Зоя, ты так близка мне,
Так близка мне в такой дали!
Я твой облик вижу на камне,
Врытом в толщь могильной земли.

Так и будет, — трижды, семижды
В черный камень башкой стучась,
Твердо верую — осенишь ты
Звездным светом мой смертный час.

В память стольких наших свиданий
И всего, что решалось в них,
Моя радость в дороге дальней,
Твой вдовец, твой муж и жених,
Твой поклонник и современник
Никогда, ничего, ничем
Не отменит, не переменит,
Только глухо спросит: «Зачем? ..»

Зоя, Зоя, зачем так поздно
Выхожу я на смертный бой,
Так не узнан, так не опознан,
Так давно ПРЕДСКАЗАН тобой!

7

Поэзия! Я лгать тебе не вправе
И не хочу. Ты это знаешь?
— ДА.
Пускай же в прочно кованной оправе
Ничто, ничто не сгинет без следа, —
Ни действенный глагол, ни междометье,
Ни беглый стих, ни карандашный штрих,
Едва заметный в явственной примете,
Ни скрытый отклик, ни открытый крик.
Всё, как умел, я рассказал про Зою.
И, в зеркалах твоих отражена,
Она сроднится с ветром и грозою —
Всегда невеста, никогда жена.

И если я так бедственно тоскую,
Поверь всему и милосердна будь, —
Такую Зою —
в точности такую —
Веди сквозь время в бесконечный путь.

И за руку возьми ее...
И где-то,
Когда заглохнет жалкий мой мятеж,
Хоть песенку сложи о ней, одетой
В ярчайшую из мыслимых одежд.

Поэзия! Ты не страна.
Ты странник
Из века в век — и вот опять в пути.
Но двух сестер, своих союзниц ранних, —
Смерть и Любовь —
со мною отпусти.

Январь — март 1969

316. МОЩИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Не поймешь, на прибыль иль на гибель,
Нарочный в ненастной полунощи
Во Владимир, что на Клязьме, прибыл,
Объявляет: «Пресвятые мощи
Александра Невского доставить
К устью невскому, в престольный Питер.
Поспешайте, — не одна верста ведь!»

Лысину преосвященный вытер:
«Царь поминки пращуру справляет
К украшенью новой Невской лавры,
Стало быть, нам милость изъявляет.
Бейте же в кимвалы и литавры!
Привалило счастье наше ныне,
Где и в чем такое мы отыщем?
К бесу вопли, к нехристям унынье!
Счету нет казенным царским тыщам.
Мы уважим царское кумпанство.
Братие, наказ мой подкрепите!
Учиним на весь Владимир пьянство, —
На Руси веселие есть пити.
Буду вашим кравчим-виночерпьем
Александру Невскому в угоду.
Все за стол, за бражку! Перетерпим
В оно время стужу-непогоду!»

Тут преосвященный молвил строго:
«Снаряжай, игуменья, в дорогу
Юных клирошаночек поглаже,
Приодень-ка их и подрумянь-ка!

Здравствуй, Настенька! Здорово, Глаша!
На подводу, Фенька! Выйди, Манька!»
Так сказал преосвященный мудро,
Не скупился старый хрен на ласку.
И в седое пасмурное утро
Сел он рядом с Настенькой в коляску,
На плечи ее тулуп накинул.

И обоз многолошадный двинул
Под раскаты звонов колокольных.
Не на час, на целый день Владимир
Шел за ним до выселков окольных,
Запер лавки, опустел — как вымер.

У Златых ворот заминка вышла.
Встали кони. Застревали дышла,
Как ни бились, в арке златовратной.
Осади, сворачивай обратно!
Рыли рвы окопные на Клязьме,
Ровно месяц в бездорожье вязли.

Тронулись и — с богом! Шли навстречу
Прясла и скворешни, ржи и гречи,
Яровые, ярмарки, яруги...
Ржали кони. Лопались подпруги.
В бубенцах вызванивали дуги.
Был преосвященный в добром духе,
Холил Настю, трясся от натуги,
Лиловел от браги-медовухи.
Время шло и шло. И незаметно
Отощал мешок с деньгою медной.
Но преосвященный был не очень
Недостачей в гривнах озабочен,
Знал он счет своей обильной трате
И сказал небрежно: «Брат Панкратий,
Ты хитер, хотя и молоденек.
Отправляйся в Питер, выручай нас,
Хлопочи насчет казенных денег.
Не поможет бог, так чрезвычайность».

Взял харчей Панкратий, влез на клячу.
Мыслит: «И подохну, не заплачу!»
Затрусил по хлябям и ухабам,
Ухмыляется, охальник, бабам,

В Лихославле весь простыл. В Любани
Сутки парился в мужицкой бане.

Огляделся, — вот и Питер-диво!
Перед ним прямая перспектива.
Глаз ее зорчайший не охватит.
Мореходы буйствуют лихие.
Ветер матерщину так и катит.
А вдали — морская Синь-Стихия.

Чужестранный шкипер трубку выбил,
Мощно гаркнул шкипер высоченный:
«Ты отколе к нам, монашек, прибыл?»
— «Шлет меня отец преосвященный
По нужде великой за деньгами».
— «Не плошай! Аз есмь монарх Российский. —
И продолжил в грохоте и гаме: —
Коль отвык от маменькиной сиськи,
Водку пей, монах, валяй!
Разберемся. Но допрежь
Перед нами не виляй,
Ты нам правду-матку режь!
Докладай свою нужду,
Нашей милости не трусь —
Только быстро! Я не жду.
Ждет меня в работе Русь.

Эй, мин херц Шафиров-жид!
Из казны моей пять тыщ
Дать монахам надлежит.
Император твой не нищ.
Ты финанс, но не кощей.
Наша лавра без мощей,
Что бордель без девки красной».
Отвечал Шафиров: «Ясно!»

Вывел он монаха из хоромин,
На ухо шепнул, зловещ и скромен:
«Пополам? Сойдемся?» — «Зря ты мучишь!» —
Отвечал Панкратий. «Шиш получишь».
Сторговались не легко, не быстро,
Дела государственного ради:
Три пошло монахам, две министру.
В путь обратный двинулся Панкратий.

Ищет-рыщет, шибко беспокоясь,
Где пропал преосвященный поезд.
У дощатой пристани Шелони
Прикорнул на травянистом склоне.
А над ним порхают птахи, свищут,
Под лежачим хлебных крошек ищут.
На скуфейку прыгнул бодрый птенчик.

Между тем послышался бубенчик.
Конь заржал. Ямщик запел. Колеса
Завизжали галькою у плеса.
Боже правый! Вид ужасный! Вот он —
Пастырь православный, весь обглодан
До изнеможения и схимы.
Знак дает ручонками сухими,
Что намерен здесь остановиться...
Анастасья, дерзкая девица,
Спрыгнула с коляски, тараторит,
Стелет скатерть, расставляет сласти.

Впрочем, умолкает здесь историк,
Слово он предоставляет Насте:

«Ах, страшенное нам горе
Выпало в ненастье!
У Валдая, что на взгорье, —
Всхлипывает Настя, —
Мы до смерти испужались,
Понесли нас кони.
Ямщики все разбежались,
Впали в беззаконье.
Тут преосвященный выпал
Из коляски в реку,
Плыть не плыл и еле выполз,
Яко змий, ко брегу...»

Тут заголосила Настя что есть мочи,
С воплем Настя на землю упала:
«Потонули в речке княжьи мощи.
Нет костей во гробе. Всё пропало...»
И поникла Настя, приуныла.
«Зря ты всё, дуреха, сочинила!
Не было того, — сказал Панкратий, —
Помоги нам сила пресвятая!

Я видал, как ангельские рати
Взяли мощи, крыльями блистая,
И благим соизволеньем божьим
К небу вознесли их безусловно.
Так о том и в Питере доложим».

То же самое сказал дословно
И преосвященному Панкратий,
И другим священникам, и прочим
Из меньших, но благоверных братий.
(Кое-кто смеялся, между прочим.)

Сквозь туманы, сквозь дожди косые
Слышен орлий клекот над Россией.
Высоко парит орел двуглавый.
У речных излук, в прогалах сосен
Не скрипят мосты, не гнутся лавы.
Хлещет сильный ветер. Блещет просинь.

Дым в палатах. Оплывают свечи.
На плечах Петра кожух овечий.
На монахов бешено он зыркнул,
Дернул скулами, в усища фыркнул:
«Опоздала, шатия монашья,
Не любезна вам держава наша?
Всё выкладывайте! Или проще —
С гроба крышку прочь! Вскрывайте мощи!
. . . .
Стервецы! В трухлявых досках этих
Нет как нет мощей? Один скелетик
Мыши полевой?»
И снова дико
Дергается личиком владыка,
Всех сверлит глазищами. И — хвать
За бороду старца:
«Не вскрывать
Пакостных мощей! Такой позор
Втайне да пребудет!»
Мечет взор
Молнии. Рука Петра тверда,
Выдрана у старца борода.
Петр в железной сжал ее горсти.
«Ну, старик, теперь меня прости!

Чтобы оторопь не проняла,
Пей из кубка Нашего Орла».

И сквозь зубы еле слышно, кротко:
«Хватит с тебя таски. Будут ласки.
Отрастишь себе, козел, бородку.
Лишь бы сраму не было огласки!
Оным смрадом рук не опоганю».

Под конец воскликнул император:
«Строю не в площадном балагане.
Служба государству есть ФЕАТР!»
. . . .
В лютом ноябре того же года
Петр, шальное сердце раззадоря,
Встретил, как бывало, непогоду,
Но не вышел на седое взморье,
Низко треуголку нахлобучил,
Шарфом шерстяным закутал горло,
Ибо шторм взмутил Неву и взбучил
И вода владычество простерла
На растущий город.
Плыли будки,
Бочки, бревна, бабы — и всплывали
И тонули.
Миновали сутки,
Посерело пасмурное утро.
То на пенном гребне, то в провале
Кипени метался ботик утлый,
Накренясь под парусом косматым.
Шкипер Петр, ворочая кормило,
Громогласно крыл крепчайшим матом
Балтику, которая громила
Рук его державное деянье,
Крыл гребцов, от страха полумертвых,
Выстоял один, как изваянье
В задубелых ледяных ботфортах.

На берег сошел и, стукнув тростью,
Лекарям сказал: «Отстаньте, бросьте!»
А когда явился благочинный,
Огрызнулся: «Жди моей кончины!»

Но, простынув, каркал по-вороньи
И серчал пятидестидвухлетний
Что непрезентабелен на троне,
И лечился чаркой не последней.

Отдышался, жарко обнял Катю,
Душеньку-царицу, и, ликуя,
Что не оробел на перекате
Меж болтанкой рвотною и смертью,
Высказал сентенцию такую:

«Вы меня на свой канон не мерьте,
Чернорижцы, червяки и черти!
Мне мощей не надо. Не святой я.
Выстою свой срок. А там посмотрим!
Может быть, я и подохну стоя,
Но прикинусь для порядка бодрым,
В совершенном самообладанье».

Под конец воскликнул император:
«Строю не в площадном балагане.
Служба государству есть ФЕАТР.
Вся музы́ка наша в урагане.
В сокрушенье вражеских эскадр!»

1969

317. КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

Ии Саввиной

Сказка бродит по всей нашей истории.

Ключевский

1

Из Рагузы в Ливорно кораблик бежит.
В настроенье предерзостном, с умыслом твердым
Граф Орлов на борту, как ему надлежит,
Усмехается, шпагою бьет по ботфортам.

Вот задача! Удастся ль ему заманить
В золоченую клетку живую жар-птицу,
Обнаружить, где слабо натянута нить,
И жестокой рукой за нее ухватиться?

Что за тварь! Сколько масок, имен, титулов
У Азовской княжны, у принцессы Кавказской...
Берегись, Алексей свет-Григорьич Орлов,
Не сплошай, не прельщайся арабскою сказкой!

Если, скажем, в чаду любострастных утех
Государыня-матушка Елизавета
От иных фаворитов, от этих иль тех,
Нажила дочерей, не сжила их со света,

Если это воистину внучка Петра
Разыскала связных, с Пугачевым списалась, —
Что ж, монархиня наша изрядно хитра,
От каких пугачей на веку не спасалась!

Что бы ни было, выдержит, выдюжит граф!
Он недаром воспитан в интриге придворной.

И, червонную кралю у всех отыграв,
Не сыграет вничью в городишке Ливорно.

В молодые года и беда не беда.
Значит — верить в удачу свою удалую,
Значит — руку на шпажный эфес и айда —
Ворожить, обвораживать напропалую!

Дело слишком туманно. Любой оборот
Поначалу возможен... Сбегая по трапу,
Миновал он две улочки, встал у ворот,
Подмигнул, приказал дожидаться арапу.

Говорят — хороша. Говорят — ни гроша
У нее за душой, а безумствует шало.
В европейских столицах бесстыдно греша,
Устрашала дворцы, а сердца сокрушала.

Он вошел. И услышал французскую речь.
Говорит она весело, бегло и кругло.
Он пытается в дивных очах подстеречь
Робость, хитрость, надежду... Не дрогнула кукла.

Говорит о бумагах, делах, векселях...
О былых оскорбленьях, о новых бесчестьях.
Обожал ее немец, забыл ее лях...
Сколько всех обожателей? — Право, не счесть их.

Хороша ли? — Божественна! — Сдастся ли? — О!
Тут огонь! Как бы тут самому не влюбиться...
И он с кресла внезапно встает своего,
И грызет черный ноготь смущенный убийца.

А она? А она — так стройна, так странна,
Так нежданна-негаданна, так вожделенна...
Перед ним островная возникла страна,
Лебединое диво, спартанка Елена.

Он склонился, прижал треуголку к груди
И, как дочери царской, поклон ей отвесил.
И ушел. Что бы ни было там впереди, —
Он ушел, потрясен, заколдован, невесел.

На скуле его шрам. На отчаянный лоб
Злобным временем врезана злобная складка.
По-другому для них приключенье могло б
Обернуться. Служить государству не сладко.

Государство. Скала. Камень-Гром. А змея
Под копытами конскими всё еще вьется!
Вот она, распроклятая служба моя —
Скверным словом такая по-русски зовется!

— Не горюй, граф Орлов! Может быть, ты и гад,
Да не сдохнешь по милости нашей монаршей.
Мы с тобою сквозь время летим наугад.
Мы есмы на биваке, на вахте, на марше.

Мы есмы! В каждой щелочке мы завелись,
Шебаршим в сундуках и елозим по душам.
Коли нам присягал, на колени вались, —
Твою честь окровавим, а совесть задушим!

— Но постой! Разве я крепостной у тебя?
Разве есть надо мною управа какая?
Разве, шпагу сломав и карьер загубя,
Я не собственной кровью своей истекаю?

Он не спал до зари и не знал, чем помочь —
Крепкой водкою иль огуречным рассолом...
Вот уже миновала короткая ночь...
Он встает в настроенье отменно веселом.

Он пропустит свиданье. Иначе нельзя.
За него поработает чья-нибудь сила —
Итальянцы, поляки, прелаты, князья...
Он дождется того, чтоб она пригласила!

Бушевал по трактирам, забыл, хоть убей,
У какой поутру очутился девчонки,
На дворе монастырском кормил голубей,
Сторговал у монахов хрустальные четки.

Дальше — хуже! В порту, передернув туза,
Простака обыграл, генуэзца-купчину.
И прошибла Орлова шальная слеза,
Вышел к морю под ливень, завыл беспричинно.

— Граф Орлов! Это обыкновенная жизнь
Так сложилась, как, стало быть, ей подобает.
За штурвал, за ременную лямку держись,
В три погибели гнись, коли жизнь пригибает.

Ты управился в Ропше в ту страшную ночь
С коронованным дурнем,
Петрушкой-голштинцем —
Захотел государыне юной помочь
И прельстил ее сердце кровавым гостинцем.

Всё нечисто на свете! У каждой весны
Есть изнанка и слякоть, и снова заносы.
Петербург и Ливорно — различные сны:
Здесь амурная пылкость, а в Питер — доносы.

И пошло, и пошло! Он легко разузнал
Всю ее подноготную и подоплеку.
Уже в Царское с нарочным послан сигнал,
Что плененье особы весьма недалеко.

Кавалькада вельмож провожала двоих,
Амазонка в седле красовалась прелестно.
И в берете с пером пролетала как вихрь —
То ли мальчик шальной, но ли эльф бестелесный.

Нынче званый прием. Завтра опера. Там
Кафедральный собор, и орган, и молебен.
Нет конца развлеченьям, границы — мечтам.
Каждый день ей отрава и каждый целебен.

Вся Россия в ее кулачке! .. Вот она —
Золотая, хмельная, в бокале хрустальном,
Не страна, а глоток ледяного вина,
Вот за этим столом, а не за морем дальным!

Итальянцы поют, а поляки кричат:
«Vivat русская Елисавета Вторайя!»
Это пена и пыль, это пепел и чад,
Это адово пекло, — не надо ей рая!

. . . .

Было утро. Был полдень в ярчайшей красе.
И на борт корабельный взошла самозванка.
Всё как надо! Поляки на пристани все.
Всё сбывается — вплоть до воздушного замка,

Вплоть до жаркой любви сумасброда того,
Ей отдавшего сердце, и руку, и шпагу.
Граф Орлов, Аполлон, полубог, божество!
И с очей она стерла соленую влагу.

Барабанная дробь. Мощный пушечный залп.
Кверху флаги взвились. Поднят трап у причала.
Это он самолично салют приказал
В честь нее! И «спасибо» она прокричала.

Только что-то в глазах и в наклонах голов
Моряков и солдат ей почудилось... Где он —
Божество, полубог, Аполлон, граф Орлов,
Где полуденный ангел, полуночный демон?

Мчится легкий кораблик на всех парусах
Мимо мысов песчаных и пены прибрежной.
Полдень жарок и сух. Караул на часах.
Время остановилось...
Вразвалку, небрежно
Подошел капитан, тронул шляпу рукой,
Жвачку выплюнул черную, — швед, англичанин?
«Где мой спутник?» — «Ваш спутник? Простите,
какой?»
— «Граф Орлов...» Но в ответ ледяное молчанье.

Сколько длится молчанье? Мгновенье иль век?
Она вздрогнула, вспыхнула, тут же сдержалась,
Ибо этот нелепый и злой человек
Не досаду внушил ей, одну только жалость.

Покачнулся он туловом тучным слегка —
То ли пьян, то ли просто бочонок из трюма —
И угрюмо коснулся ее локотка.
«Вашу руку, сударыня!» — буркнул угрюмо.

— Где же ты, Алексей, оглянись же, вернись!
Что мне делать, ответь, Всескорбящая Матерь!
...По крутой винтовой он ведет ее вниз,
Мимо тюков с товарами, пушечных ядер.

Винным смрадом разит из безгубого рта:
«В Петербурге придется ответить за всё вам!
Не трудитесь стучать. Ваша дверь заперта».

...И снаружи орудует ржавым засовом.

2

Отчаялись писцы всех канцелярий,
Терпенье, время, бдительность теряли.
Росла махина вздорности и кривд.
Верховный следователь, князь Голицын,
Министр и дипломат, слуга царицын,
Старательно глаза щитком прикрыв,
Прислушивался к женским излияньям,
К пробелам в памяти, к пустым зияньям
Ничтожных слов и бредней. Но подчас
Спохватывался и с невольной дрожью,
Встав во весь рост, прикидывался строже,
До сумрачной души не достучась.

А что ж она? Была ль она виновной?
Да, с точки зренья высшей и чиновной,
То посягнувшая на русский трон,
Не слишком рассчитавшая удар свой,
Но внесшая смятенье в государство
И, значит, нам нанесшая урон.

Так понимал Голицын это дело.
А женщина бессмысленно глядела
На перья и чернила... И лгала,
И путалась во лжи, и очень быстро
Вывертывалась. Но в мозгу министра
Болезненно уплотневала мгла.

Летели месяцы. Ползли недели.
Всё было непостижно в этом деле.
Был не распутан ни один клубок.
Как будто рядом явная улика,
Но суть ее двусмысленна, двулика...
И нет как нет улики — видит бог!

Путь женщины от многого зависим —
От встреч случайных, от подложных писем,
От прихотей, от ветреных друзей.
Но боже, как в столицы всей Европы
Она легко прокладывала тропы,
Росла всё выше, делалась грозней.

И следователь, как велит порядок,
На стол бросает несколько тетрадок:

«Пишите сами! Титул. Званье. Ранг.
Год, месяц, место вашего рожденья.
Найдите, где хотите, подтвержденье,
Что вы мадам Тремуйль иль фрау Франк».

Она в ответ: «Я веры православной.
Я родилась в России и росла в ней».
Но князя передергивает шок.
Он тут же встрепенулся и вонзает
Глаза в нее: «ЧЬЯ ВНУЧКА?» — Знать
не знает...
«ЧЬЯ ДОЧЬ?» — В ответ презрительный смешок.

«Я вас лишу свечей, лишу подружки,
Оставлю только хлеб и воду в кружке,
Я караульных на ночь к вам введу!»
А женщина небрежно, грустно, кротко:
«Как вам не стыдно! У меня чахотка.
Недолго мне гореть в таком аду».

«Сударыня! Мы сговоримся! Что вы!
Для вас монаршьи милости готовы —
Дом на Неве, именье у Днепра,
Сад и усадьба с белой колоннадой...»
— «Ни сада мне, ни колоннад не надо.
Не стоит ваших свеч моя игра».

«Однако назовите поименно
Тех, кто внушал вам оную измену!
Священник или светский, кто вослед
За вами шел? Я вижу — вы несчастны,
Но к заговору несколько причастны,
Вы действовали смело! Столько лет...»

И вновь магические вьются тени.
Стамбул. Тавриз. Ширазских роз цветенье.
Всё Средиземноморье. Весь Левант.
В голицынском мозгу смешались мысли:
Блаженный остров. Паруса повисли.
Над ним скрипенье корабельных вант...

Что ж, были и такие приключенья,
Влеченья к женщинам и развлеченья.
Вздохнуть о том весьма не мудрено!..
Но ежели он вдумается глубже,

То скоро подыхать ему на службе,
Ведь в каземате сыро и темно.

Он отрезвел, пройдясь по коридорам,
И жжет на свечке протокол, в котором
Его же почерк покосился вдруг.
Он к этой шлюхе ненавистью пышет
И в ту же ночь императрице пишет,
Что следствие замкнуло полный круг,

Что, не желая вязнуть в оном круге,
Он не Пилат, но умывает руки.
«Благоволите, Кроткая, подать
Пример величья. Впрочем, соразмерьте
Суровый приговор и милосердье.
И да почиет с нами благодать!»

Екатерина за полдень проснулась,
На белый день блаженно улыбнулась,
Доверилась министрову письму,
Умышленно не вникла в это дело,
К ней обращенных слов не разглядела
И начертала вкось: БЫТЬ ПО СЕМУ.

. . . .

У Алексеевского равелина
Тверда как камень выбитая глина,
Мертвы, как вечность, рытвины и рвы.
Здесь солнце из-за низких туч не блещет.
Здесь хлещет ветер. Здесь уныло плещет
О брег свинцовая вода Невы.

Был или нет какой-либо свидетель,
В какую щель глядел он, что заметил?
Куда он сгинул в двухсотлетней тьме?
Сих мелочей история не любит
И топором свои канаты рубит.
А что у ней таится на уме —

Того не сыщешь в уголовных кодах,
В рескриптах писанных, в хвалебных одах,
. . . Вот насыпь над могилкою у рва.
Там нет креста, нет имени и даты.
Стучат прикладами, поют солдаты.
Звучит команда: «На краул! Ать-два!»

И это есть история прямая!
Она летит в столетьях, принимая
Вид доблести и подлости порой.
А на кого и глянет исподлобья,
Тот в божеское вырастет подобье,
Не имярек, не личность, но герой.

Не для него, обласканного щедро,
В ночную пору под рыданьем ветра
Сигналы шлет о бедствии кронверк.
Не для таких, безумны и безмолвны,
Сверх ординара вырастают волны.
...И узница, рыдая, смотрит вверх.

3

Из далекой Италии в Санкт-Петербург
Молодой возвратился художник.
Для него беснование северных пург
Преисполнилось зовов тревожных.

Тут его на Васильевский, в темный чердак,
Загнала нищета и чахотка.
Стал он жить как умел, на алтын, на пятак,
Понимал, как целительна водка.

Академики в лентах, в мундирной красе
На него поглядели любезно,
Но отметили на заседании все,
Что, как видно, он катится в бездну.

А в душе у него расцветала весна,
Ликовала великая дерзость.
И однажды, когда он метался без сна,
Пред художником время разверзлось.

Сотня лет миновала мгновенно пред ним,
Что-то вычитал он иль услышал —
И, призваньем храним, непризнаньем гоним,
Безрассудным любовником вышел!

И швырял он мазки на свое полотно,
Хрипло кашляя и задыхаясь.

Так рождалось лицо, воскресало оно,
Одолевшее временный хаос.

На холсте проступала — слаба и нежна,
Чья-то жертва иль чье-то орудье,
Как растенье, цеплялась за стену княжна
В красном платье, с раскрытою грудью.

А в косое окно каземата хлестал
Пенный шквал непогоды осенней.
Она знала, что час ее смертный настал,
Не ждала ниоткуда спасенья.

Только слабыми пальцами в камень впилась,
Как в холстину шатучей кулисы.
Только тлела в сиянье пленительных глаз
Благодарность счастливой актрисы.

Благодарность. За что? За непрочный успех,
За неясную роль, за беспечность?
Иль за то, что, во времени жить не успев,
Пред собой она видела вечность?

Так Искусство на ней утверждало закон,
Навсегда милосердный и грозный
Для раскатов оркестра, для ликов икон,
Для поэмы, и танца, и бронзы.

А княжна Тараканова — это предлог,
Чтобы время с прямой автострады
Своротило сюда и вошло в эпилог
Для горчайшей на свете услады.

Сквозь замерзшее в иглах и звездах стекло —
То ли синь проступала морская,
То ли время текущее впрямь истекло,
То ли я наконец истекаю...

Всё кончается. Навеселе! Налегке!
И, дыша своевольем и ритмом,
Время дальше летит. И в последней строке
О бессмертье своем говорит нам.

Декабрь 1969

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Виктор Гюго

318. ИСКУССТВО И НАРОД

1

Искусство — радость для народа.
Оно пылает в непогоду
И блеском полнит синеву.
И во всемирном озаренье
Идут в народ его творенья,
Как звезды мчатся к божеству.

Искусство — гимн великолепный,
Для сердца кроткого целебный,
Так город лесу песнь поет,
Так славит женщину мужчина,
Так вся душевная пучина
Хвалу творенью воздает.

Искусство — это мысль живая.
Любые цепи разбивая,
Оно открыло ясный лик.
Ему и Рейн и Тибр угоден.
Народ в оковах — будь свободен!
Народ свободный — будь велик!

2

Будь, Франция, непобедима,
Будь милосердна, будь едина
И пристально гляди вперед!
Твой голос, радостный и ясный,
Сулит надежду людям властно,
Мой добрый, доблестный народ!

Пой на заре, народ рабочий,
Пой по́д вечер, во славу ночи.
Да будет в радость труд любой!
Пой о тяжелой жизни прежней,
Тихонько пой подруге нежной
И громко в честь свободы пой!

319

Есть время подлое, когда любой успех
Блестит соблазном
И, обольщая всех, легко марает всех
Бесчестьем грязным.

Все убаюканы в дремоте роковой.
Никто не дышит.
И честный человек теряет облик свой,
Как губка выжат.

Он перед подлостью и хитростью поник
С самозабвеньем.
И он качается, как зыблемый тростник
Под дуновеньем.

Гуляют, празднуют — открытого лица
Нигде не встретим.
Поют, едят и пьют в палатах подлеца,
Довольны этим.

Министр позвал гостей. Преступный пир хорош!
Сластей отведав,

Хохочет общество. Но бьет немая дрожь
Великих дедов.

Все разделяют срам, все молча смотрят вниз,
Дурь без исхода.
Вдруг запоет труба: «Республика, вернись!
Восстань, Свобода!»

Фанфара грянула. Вокруг переполох,
Как будто это
Ночного пьяницу заставшие врасплох
Лучи рассвета.

320. ТЕМ, КОМУ СНИТСЯ МОНАРХИЯ

Я — сын республики и сам себе управа.
Поймите: этого не голосуют права.
Вам надо назубок запомнить, господа:
Не выйдет с Францией ваш фокус никогда.
Еще запомните, что все мы, парижане,
Деремся и блажим Афинам в подражанье;
Что рабских примесей и капли нет в крови
У галлов! Помните, что, как нас ни зови,
Мы дети гренадер и гордых франков внуки.
Мы здесь хозяева! Вот суть моей науки!
Свобода никогда нам не болтала зря.
И эти кулаки, свой правый суд творя,
Сшибали королей, сшибут прислугу быстро.
Наделайте себе префектов и министров,
Послов и прочее! Роднитесь меж собой!
Толстейте, подлецы! Пускай живет любой
В наследственном дворце среди утех и шуток.
Старайтесь тешить нрав и ублажать желудок
И благоденствуйте, швыряя серебром, —
Пожалуйста! Мы вас за горло не берем.
Грехи отпущены. Народ презренье копит.
Он спину повернул и срока не торопит.
Но нашей вольности не трогать, господа!
Она живет в сердцах, спокойна и тверда,
И знает все дела, ошибки и сужденья,
И ждет вас! Эта речь звучит ей в подтвержденье.
Попробуй кто-нибудь, посмей коснуться лишь —
Увидишь сам, куда и как ты полетишь!

Пускай и короли, воришек атаманы,
Набьют широкие атласные карманы
Бюджетом всей страны и хлебом нищих, но
Права народные украсть им не дано.
Республику в карман не запихнете, к счастью!
Два стана: весь народ — и клика вашей масти.
Голосовали мы — проголосуем впредь.
Прав человеческих и богу не стереть.
Мы — суверен страны. Нам все-таки угодно
Царить, как хочется, и выбирать свободно,
И списки составлять из нужных нам людей.
Мы просим в урны к нам не запускать когтей!
Не сметь мошенничать, пока здесь голосуют!

А кто не слушает, такой гавот станцуют,
Так весело для них взмахнут у нас смычки,
Что десять лет спустя быть им белей муки!

321. РАССТРЕЛЯННЫЕ

Свершилось. Всюду смерть. Не надо жалких фраз.
К проклятой той стене придем в последний раз.
Всё вихрем сметено. Запомним эту дату.
Воскликнул человек: «Прощай, мой брат!» — солдату.
Сказала женщина: «Мой муж убит, а мне,
Виновен он иль нет, осталось встать к стене.
Раз мы делили с ним всю жизнь нужду и горе,
Раз муж товарищем мне был, то я не спорю.
Вы мужа отняли, пришел и мой конец.
Стреляйте прямо в грудь. Спасибо за свинец».
На черных площадях лежат вповалку трупы.
Шло двадцать девушек. Конвой забрал всю группу.
Но песня девушек, живая прелесть их
Встревожили толпу. И общий гомон стих.
Прохожий удивлен: «Куда же вы, красотки?»
— «Нас гонят на расстрел», — раздался голос кроткий.
В казарме мрачный гул. Казарма заперта.
Но кажется, что гром ворочает врата,
Ведущие в ничто. Ни вскрика, ни рыданий.
Как будто смерть сама стыдится страшной дани,
А тысячи спешат из мрака и нужды
На волю вырваться — и гибелью горды.
Они спокойны. Всех к стене поставят рядом.

Вот внучка с дедушкой. Старик с померкшим
взглядом.
А внучка весело кричит команду: «Пли!»

Они свой горький смех с презреньем пронесли
В конце трагедии, как знамя. В чем же дело?
Иль жизнь им не мила, иль кровь похолодела?
Задумайся о них, мыслитель и пророк!
Пришел чудесный май, пришел для сердца срок
В цветенье, в радости блаженной раствориться.
Ведь эта девушка смеяться мастерица.
Проснулось бы дитя при солнечных лучах.
Согрелся бы старик, что в декабре зачах.
Ведь эти существа, ведь эти парижане
Могли бы услыхать пчелиное жужжанье,
И пенье ранних птиц, и аромат цветов.
Ведь каждый юноша влюбиться был готов...
Но в долгожданный миг весеннего расцвета
Пришла безглазая и прекратила это!
Внезапно выросла на черном их пути!
Могли бы воплями всё небо потрясти,
Призвать на помощь всех, провозглашая всюду
Позор карателям, проклятье самосуду,
Иль ползать у стены, или в толпе пропасть,
Укрыться, убежать, взмолиться и проклясть,
Завыть от ужаса... Нет! Не было в том нужды.
Всему, что свершено, они остались чужды.
Не крикнули: «Постой! На помощь! Пощади!»
Не ужаснулись, что могила впереди.
Как будто весть о ней давно в мозгу звенела
И яма братская в самой душе чернела.
Смерть, здравствуй!
С нами жить — невыносимо им.

Что же мы сделали согражданам своим?
Мы разоблачены. Кто мы такие с вами,
Что перед этими кладбищенскими рвами
У них ни жалобы, ни вздоха не нашлось?
Мы плачем — только мы. А им не надо слез.
Откуда этот мрак? Но ни тревогой поздней,
Ни поздней жалостью не уничтожишь розни.
Как защитили мы тех женщин? Как и где
Трепещущих детей лелеяли в нужде?
Работу дали им, читать их научили?

Не дали ничего — и ярость получили!
Ни света, ни любви! И в нищете нагой
Был голоден один и замерзал другой.
Горит ваш Тюильри, в отместку подожженный!
И вот от имени всей голытьбы сраженной
Я объявляю вам, бездушные сердца,
Что мертвое дитя дороже нам дворца.
Вот почему они так грозно погибали,
Не жаловались нам и шеи не сгибали,
Шли равнодушные, веселые вперед
И молча рухнули, когда настал черед.
Приговоренные расстреляны сегодня.
Нужда безвыходна — но гибель безысходней.

. . . .

Поймите! Саваны покрыли их тела.
Я говорю, что тень содеянного зла
Висит над обществом, безжизненным отныне.
Что их предсмертный смех грознее, чем унынье.
Что должен трепетать живущий человек
Пред этой легкостью уйти от нас навек!

322. ВО МРАКЕ

Старый мир

Волна! Не надо! Прочь! Назад! Остановись!
Ты никогда еще так не взлетала ввысь!
Но почему же ты угрюма и жестока?
Но почему кричит и воет пасть потока?
Откуда ливень брызг, и мрак, и грозный гул?
Зачем твой ураган во все рога подул?
Валы вздымаются и движутся, как чудо...
Стой! Я велю тебе! Не дальше, чем досюда!
Всё старое — закон, столбы границ, узда,
Весь мрак невежества, вся дикая нужда,
Вся каторга души, вся глубь ее кручины,
Покорность женщины и власть над ней мужчины,
Пир, недоступный тем, кто голоден и гол,
Тьма суеверия, божественный глагол, —
Не трогай этого, не смей сдвигать святыни!
Молчи! Я выстроил надежные твердыни

Вкруг человечества! Крепка моя стена!
Но ты еще рычишь? Еще растешь, волна?
Кипит водоворот, немилосердно воя.
Вот старый часослов, вот право вековое,
Вот пляшет эшафот на гребне волн крутых...
Не трогай короля! Увы, король — бултых.
Не оскорбляй святых, не подступай к ним близко!
Стой — это судия! Стой — это сам епископ!
Сам бог велит тебе, — прочь, осади назад!..
Как? Ты не слушаешь? Твои валы грозят
Уничтоженьем — мне, моей ограде мирной?

Волна

Ты думал, я прилив, — а я потоп всемирный!

Шарль Бодлер

323. ВЕЛИКАНША

Когда во мгле веков природа-мать рожала
Чуть ли не каждый день чудовищный приплод,
Я с великанщею сдружился бы, пожалуй,
И льнул к ее ногам, как сладострастный кот.

Я любовался бы, как девственница дышит,
Как забавляется зловещею игрой,
Как в сердце у нее опасный пламень пышет
И влажные глаза туманятся порой.

Я наблюдал бы рост могучий с удивленьем,
Карабкался бы вверх по согнутым коленям,
А в летний зной, когда на черно-синий мох

Она простерлась бы и тень ее скрывала, —
Спал на ее груди, меж двух живых холмов,
Как мирный городок у горного провала.

324. ТАНЕЦ ЗМЕИ

Как эта женственная кожа
В смуглых отливах
На матовый муар похожа
Для глаз пытливых!

Я в запахе прически душной
Чую жемчужный
Приморский берег, бриз воздушный
В гавани южной,

И расстаюсь с моей печалью
В томленье странном,
И, словно парусник, отчалю
К далеким странам.

В твоих глазах ни тени чувства,
Ни тьмы, ни света —
Лишь ювелирное искусство,
Блеск самоцвета.

Ты, как змея, качнула станом,
Зла и бездушна,
И вьешься в танце непрестанном,
Жезлу послушна.

И эта детская головка
В кудрях склоненных
Лишь балансирует неловко,
Словно слоненок.

А тело тянется, как будто,
В тумане рея,
Шаланда в зыбь недвижной бухты
Роняет реи.

Не половодье нарастает,
Льды раздвигает —
То зубы белые блистают,
Слюна сбегает.

Какой напиток в терпкой пене
Я залпом выпью,
Какие звезды упоенья
В туман просыплю!

325. КОТ

1

В мозгу моем гуляет важно
Красивый, кроткий, сильный кот
И, торжествуя свой приход,
Мурлычет нежно и протяжно.

Сначала песня чуть слышна —
В басовых тихих переливах,
Нетерпеливых и ворчливых,
Почти загадочна она.

И вот она струит веселье
В глубины помыслов моих,
Похожа на певучий стих,
На опьяняющее зелье.

Смиряет злость мою сперва
И чувство оживляет сразу.
Чтобы сказать любую фразу,
Коту не надобны слова.

Он не царапает, не мучит
Тревожных струн моей души
И только царственно в тиши
Меня, как скрипку, петь научит,

Чтобы звучала скрипка в лад
С твоею песенкой целебной,
Кот серафический, волшебный,
С гармонией твоих рулад!

2

Двухцветной шкурки запах сладкий
В тот вечер я вдохнул слегка,
Когда ласкал того зверька
Один лишь раз, и то украдкой.

Домашний дух иль божество,
Всех судит этот идол вещий,
И кажется, что наши вещи —
Хозяйство личное его.

Его зрачков огонь зеленый
Моим сознаньем овладел.
Я отвернуться захотел,
Но замечаю удивленно,

Что сам вовнутрь себя глядел,
Что в пристальности глаз зеркальных,
Опаловых и вертикальных,
Читаю собственный удел.

326. ТРУБКА

Давно писателю близка,
Я только трубка-самокурка
С головкой кафра или турка
И ублажаю знатока.

Когда гнетет его тоска,
Когда темна его конурка,
Я словно сельская печурка,
Что согревает бедняка.

Я эту душу занавешу
Как бы завесой дымовой,
И он забудет сумрак свой.

В колечках дыма распотешу
Его тревогу, а тоску
Всю целиком заволоку.

327. К ПРОШЕДШЕЙ МИМО

Оглушительно улица выла, когда
Эта юная женщина в трауре полном
Подняла край вуали движеньем безмолвным —
И прошла, словно статуя, странно горда.

Только стройные ноги мелькнули мгновенно.
Но я пил в этом взоре, как пьяница пьет,
Наслажденье, которое тут же убьет,
Наважденье, которое самозабвенно.

Проблеск молнии... Ночь! Лишь на миг красотой
Воскрешен и отравлен! Но миг этот прожит.
Только в вечности я прикажу тебе: стой!

Впрочем, так далеко! Да и поздно, быть может!
У меня нет примет от тебя и следа...
Как тебя я любил бы, ты знала тогда?!

328. К ПОРТРЕТУ ОНОРЕ ДОМЬЕ

Изображенный здесь на диво,
Художник смелый, выйдя в бой,
Смеяться учит над собой, —
Он мастер мудрый и правдивый.

Его веселые листы
Полны энергии великой.
И Зло со всей своею кликой
Такой страшится прямоты.

В изломах контуров и линий
Ни Мефистофель, ни Мельмот
Нам сердце стужей не проймет,
Не вспыхнут факелы Эринний.

Там — сатанинская игра,
Отчаянье, уничиженье.
Здесь — яркое воображенье,
Провозглашение Добра.

Артюр Рембо

329. СПЯЩИЙ В ЛОЖБИНЕ

Беспечно плещется речушка, и цепляет
Прибрежную траву, и рваным серебром
Трепещет, а над ней полдневный зной пылает,
И блеском пенится ложбина за бугром.

Молоденький солдат с открытым ртом, без кепи,
Всей головой ушел в зеленый звон весны.
Он крепко спит. Над ним белеет тучка в небе.
Как дождь, струится свет. Черты его бледны.

Озябший, крохотный, как будто бы спросонок
Чуть улыбается хворающий ребенок.
Природа, приголубь солдата, не буди!

Не слышит запахов, и глаз не поднимает,
И в локте согнутой рукою зажимает
Две красные дыры меж ребер на груди.

330. ПАРИЖСКАЯ ОРГИЯ, ИЛИ ПАРИЖ ЗАСЕЛЯЕТСЯ ВНОВЬ

Зеваки, вот Париж! С вокзалов к центру согнан.
Дохнул на камни зной — опять они горят.
Бульвары людные и варварские стогна.
Вот сердце Запада, ваш христианский град!

Провозглашен отлив пожара! Всё забыто.
Вот набережные, вот бульвары в голубом
Дрожанье воздуха, вот бивуаки быта...
Как их трясло вчера от наших красных бомб!

Укройте мертвые дворцы в цветочных купах!
Бывалая заря вам вымоет зрачки.
Как отупели вы, копаясь в наших трупах, —
Вы, стадо рыжее, солдаты и шпики!

Принюхайтесь к вину, к весенней течке сучьей!
Игорные дома сверкают. Ешь, кради!
Весь полуночный мрак, соитьями трясущий,
Сошел на улицу. У пьяниц впереди

Есть напряженный час, когда, как истуканы,
В текучем мареве рассветного огня
Они уж ничего не выблюют в стаканы
И только смотрят вдаль, молчание храня...

Во здравье задницы, в честь Королевы вашей!
Внимайте грохоту отрыжек и, давясь

И обжигая рот, сигайте в ночь, апаши,
Шуты и прихвостни! Парижу не до вас.

О грязные сердца! О рты невероятной
Величины! Сильней вдыхайте вонь и чад!
И вылейте на стол, что выпито, обратно, —
О победители, чьи животы бурчат!

Раскроет ноздри вам немое отвращенье,
Веревки толстых шей издергает чума...
И снова — розовым затылкам нет прощенья.
И снова я велю вам всем сойти с ума —

За то, что вы тряслись, за то, что, цепенея,
Припали к животу той Женщины, за ту
Конвульсию, что вы делить хотели с нею,
И, задушив ее, шарахались в поту!

Прочь, сифилитики, монархи и паяцы!
Парижу ли страдать от ваших древних грыж
И вашей хилости и ваших рук бояться?
Он начисто от вас отрезан — мой Париж!

И в час, когда внизу, барахтаясь и воя,
Вы околеете, без крова, без гроша, —
Блудница красная всей грудью боевою,
Всем торсом выгнется, ликуя и круша!

Когда, любимая, ты гневно так плясала?
Когда, под чьим ножом так ослабела ты?
Когда в твоих глазах так явственно вставало
Сиянье будущей великой доброты?

О полумертвая, о город мой печальный!
Твоя тугая грудь напряжена в борьбе.
Из тысячи ворот бросает взор прощальный
Твоя История и плачет по тебе.

Но после всех обид и бед благословенных,
О, выпей хоть глоток, чтоб не гореть в бреду!
Пусть бледные стихи текут в бескровных венах!
Позволь, я пальцами по коже проведу.

Не худо все-таки! Каким бы ни был вялым,
Дыханья твоего мой стих не прекратит.
Не омрачит сова, ширяя над обвалом,
Звезд, льющих золото в глаза кариатид.

Пускай тебя покрыл, калеча и позоря,
Насильник! И пускай на зелени живой
Ты пахнешь тлением, как злейший лепрозорий, —
Поэт благословит бессмертный воздух твой!

Ты вновь повенчана с певучим ураганом,
Прибоем юных сил ты воскресаешь, труп!
О город избранный! Как будет дорога нам
Пронзительная боль твоих заглохших труб!

Поэт подымется, сжав руки, принимая
Гнев каторги и крик погибших в эту рань.
Он женщин высечет зеленой плетью мая.
Он скачущей строфой ошпарит мразь и дрянь.

Все на своих местах. Всё общество в восторге.
Бордели старые готовы к торжеству.
И от кровавых стен, со дна охрипших оргий
Свет газовых рожков струится в синеву.

331. РУКИ ЖАНН-МАРИ

Ладони этих рук простертых
Дубил тяжелый летний зной.
Они бледны, как руки мертвых,
Они сквозят голубизной.

В какой дремоте вожделений,
В каких лучах какой луны
Они привыкли к вялой лени,
К стоячим водам тишины?

В заливе с промыслом жемчужным,
На грязной фабрике сигар
Иль на чужом базаре южном
Покрыл их варварский загар?

Иль у горячих ног мадонны
Их золотой завял цветок,
Иль это черной белладонны
Струится в них безумный сок?

Или, подобно шелкопрядам,
Сучили синий блеск они,
Иль к склянке с потаенным ядом
Склонялись в мертвенной тени?

Какой же бред околдовал их,
Какая льстила им мечта
О дальних странах небывалых
У азиатского хребта?

Нет, не на рынке апельсинном,
Не у подножия божеств,
Не полоща в затоне синем
Пеленки крохотных существ,

Не у поденщицы сутулой
Такая жаркая ладонь,
Когда ей щеки жжет и скулы
Костра смолистого огонь.

Мизинцем ближнего не тронув,
Они крошат любой утес,
Они сильнее першеронов,
Жесточе поршней и колес.

Как в горнах красное железо,
Сверкает их нагая плоть
И запевает «Марсельезу»
И никогда — «Спаси, господь».

Они еще свернут вам шею,
Богачки злобные, когда,
Румянясь, пудрясь, хорошея,
Вы засмеетесь без стыда!

Сиянье этих рук влюбленных
Мальчишкам голову кружит.

Под кожей пальцев опаленных
Огонь рубиновый бежит.

Обуглив их у топок чадных,
Голодный люд их создавал.
Грязь этих пальцев беспощадных
Мятеж недавно целовал.

Безжалостное солнце мая
Заставило их побледнеть,
Когда, восстанье поднимая,
Запела пушечная медь.

О, как мы к ним прижали губы,
Как трепетали дрожью их!
И вот их сковывает грубо
Кольцо наручников стальных.

И, вздрогнув, словно от удара,
Внезапно видит человек,
Что, не смывая с них загара,
Он окровавил их навек.

332. ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

Между тем как несло меня вниз по теченью,
Краснокожие кинулись к бичевщикам,
Всех раздев догола, забавлялись мишенью,
Пригвоздили их намертво к пестрым столбам.

Я остался один без матросской ватаги.
В трюме хлопок промок и затлело зерно.
Казнь окончилась. К настежь распахнутой влаге
Понесло меня дальше, куда — всё равно.

Море грозно рычало, качало и мчало,
Как ребенка, всю зиму трепал меня шторм,
И сменялись полуострова без причала,
Утверждал свою волю соленый простор.

В благодетельной буре теряя рассудок,
То как пробка скача, то танцуя волчком,

Я гулял по погостам морским десять суток,
Ни с каким фонарем маяка не знаком.

Я дышал кислотою и сладостью сидра.
Сквозь гнилую обшивку сочилась волна.
Якорь сорван был, руль переломан и выдран,
Смыты с палубы синие пятна вина.

Так я плыл наугад, погруженный во время,
Упивался его многозвездной игрой
В этой однообразной и грозной поэме,
Где ныряет утопленник, праздный герой.

Лиловели на зыби горячечной пятна,
И казалось, то в медленном ритме стихий
Только жалоба горькой любви и понятна —
Крепче спирта, пространней, чем ваши стихи.

Я запомнил свеченье течений глубинных,
Пляску молний, сплетенную, как решето,
Вечера — восхитительней стай голубиных,
И такое, чего не запомнил никто.

Я узнал, что в отливах таинственной меди
Меркнет день и расплавленный запад лилов,
Как, подобно развязкам античных трагедий,
Потрясает раскат океанских валов.

Снилось мне в снегопадах, лишающих зренья,
Будто море меня целовало в глаза.
Фосфорической пены цвело озаренье,
Животворная, вечная та бирюза.

И когда месяцами, тупея от гнева,
Океан атакует коралловый риф,
Я не верил, что встанет Пречистая Дева,
Звездной лаской рычанье его усмирив.

Понимаете, скольких Флорид я коснулся?
Там зрачками пантер разгорались цветы,
Ослепительной радугой мост изогнулся,
Изумрудных дождей кочевали гурты.

Я узнал, как гниет непомерная туша,
Содрогается в неводе Левиафан,
Как волна за волною вгрызается в сушу,
Как таращит слепые белки океан.

Как блестят ледники в перламутровом полдне,
Как в заливах, в лиманной грязи, на мели
Змеи вяло свисают с ветвей преисподней
И грызут их клопы в перегное земли.

Покажу я забавных рыбешек ребятам,
Золотых и поющих на все голоса,
Перья пены на острове, спячкой объятом,
Соль, разъевшую виснущие паруса.

Убаюканный морем, широты смешал я,
Перепутал два полюса в тщетной гоньбе.
Прилепились медузы к корме обветшалой.
И, как женщина, пав на колени в мольбе,

Загрязненный пометом, увязнувший в тину,
В щебетанье и шорохе маленьких крыл,
Утонувшим скитальцам, почтив их кончину,
Я свой трюм, как гостиницу на ночь, открыл.

Но, укрывшись в той бухте лесистой и снова
В море выброшен крыльями мудрой грозы,
Не замечен никем с монитора шального,
Не захвачен купечеством древней Ганзы,

Лишь всклокочен, как дым, и, как воздух, непрочен,
Продырявив туманы, что мимо неслись,
Накопивший — поэтам понравится очень! —
Лишь лишайники солнца и мерзкую слизь,

Убегавший в огне электрических скатов
За морскими коньками по кипени вод,
С вечным звоном в ушах от громовых раскатов,
Когда рушился ультрамариновый свод,

Сто раз крученый-верченый насмерть в мальстреме.
Захлебнувшийся в свадебных плясках морей, —
Я, прядильщик туманов, бредущий сквозь время,
О Европе тоскую о древней моей.

Помню звездные архипелаги, но снится
Мне причал, где неистовый мечется дождь,
Не оттуда ли изгнана птиц вереница,
Золотая денница, Грядущая Мощь?

Слишком долго я плакал! Как юность горька мне,
Как луна беспощадна, как солнце черно!
Пусть мой киль разобьет о подводные камни,
Захлебнуться бы, лечь на песчаное дно!

Ну, а если Европа, то пусть она будет,
Как озябшая лужа, грязна и мелка,
Пусть на корточках грустный мальчишка закрутит
Свой бумажный кораблик с крылом мотылька.

Надоела мне зыбь этой медленной влаги,
Паруса караванов, бездомные дни,
Надоели торговые чванные флаги
И на каторжных страшных понтонах — огни!

Гийом Аполлинер

333. МОСТ МИРАБО

Под мостом Мирабо вечно новая Сена.
    Это наша любовь
    Для меня навсегда неизменна,
Это горе сменяется счастьем мгновенно.

    Снова пробило время ночное.
    Мое прошлое снова со мною.

И глазами в глаза, и сплетаются руки.
    А внизу под мостом —
    Волны рук, обреченные муке,
И глаза, обреченные долгой разлуке.

    Снова пробило время ночное.
    Мое прошлое снова со мною.

А любовь — это волны, бегущие мимо.
    Так проходит она,

Словно жизнь, ненадежно хранима,
Иль Надежда, скользящая необгонимо.

Снова пробило время ночное.
Мое прошлое снова со мною.

Дни безумно мгновенны, недели мгновенны,
Да и прошлого нет.
Все любви невозвратно забвенны...
Под мостом круговерть убегающей Сены.

Снова пробило время ночное.
Мое прошлое снова со мною.

334. КОМЕДИАНТЫ

Вдоль садов бредет их орда,
Удаляется в никуда,
Мимо серых харчевен, мимо
Деревень безлюдных гонима.

Впереди ватага ребят.
В смутных грезах взрослые спят.
Им достаточно лишь привета,
Чтобы вишни падали с веток.

У них золотом блещет всё —
Мандолины, бубны, серсо.
Подмигнул медведь обезьяне —
Просят умники подаянья.

335. ЦЫГАНКА

Ты, цыганка, заранее знала,
Что впотьмах наши жизни бредут.
Попрощались мы с нею, и тут
Нас Надежда в пути обогнала.

А любовь тяжела, как медведь,
Что старается танцам учиться.
Есть бесперая синяя птица.
Да и нищие молятся ведь.

Знают люди, что время их судит.
Но надежда любить по пути
Нам позволила руки сплести.
Что сулила цыганка, то будет.

336. ЧТО ЕСТЬ

Есть корабль, увозящий мою дорогую.
Есть вверху дирижабли и полночь в личинках,
где вызрели звезды.
Есть подводная лодка врага, что грозит моей милой.
Есть вокруг меня тысячи маленьких елок,
разбитых снарядами.
Есть бедняк пехотинец, ослепший от газа фосгена.
Есть траншеи, где мы искромсали Ницше,
и Гёте, и Кёльн.
Есть письмо запоздавшее — вот отчего я зачах.
Есть в планшете моем фотографии милой моей.
Есть тревога на лицах у пленных, бредущих гуськом.
Есть прислуга вокруг батарей орудийных,
Есть обозный, бегущий рысцой к одинокому дереву.
Есть шпион — говорят, он остался невидимым, как
горизонт.
Есть цветущий, как лилия, лик моей милой.
Есть еще капитан, ожидающий в сильной тревоге
известий с Атлантики.
Есть солдаты, которые делают в полночь доски
для новых гробов.
Есть вопящие женщины в Мехико, они молят Христа
о маисе.
Есть Гольфстрим, благодатный и теплый.
Есть повсюду кресты, здесь и там.
Есть на кактусах винные ягоды в знойном Алжире.
Есть сплетенные длинные руки любви.
Есть осколок снаряда — чернильница сантиметров
в пятнадцать, потерять ее я не могу.
Есть седло у меня, всё промокшее в ливне.
Есть бегущие реки, которые не возвращаются.
Есть любовь, что влечет меня нежно вперед.
Был и бош, он попался нам в плен с пулеметом.
Есть на свете счастливцы, которые не воевали ни разу.
Есть индусы, которые смотрят на запад, на наши поля
удивленно.

Они думают грустно о тех, что, наверно, назад
не вернутся,
Оттого что на этой далекой войне научились играть
в невидимок.

337. ЕСЛИ Я ТАМ ПОГИБНУ...

Если я там погибну, в бою у переднего края,
Целый день ты проплачешь, Лулу, о моя дорогая.
Быстро память моя улетучится, дай только срок.
И снаряд, разорвавшийся там, у переднего края,
Тот красивый снаряд превратится в непрочный цветок.

В скором времени память моя растворится
в пространстве,
Моей кровью она окровавит миры, и моря,
И долины, и горы, и звезды в предвечном убранстве.
И, окрашена кровью в распахнутом настежь пространстве,
Возмужает окрепшая, полная силы заря.

Всей потерянной памятью снова живущий вовеки,
Я прильну к твоей нежной груди и смежу твои веки,
Распущу твои волосы и зацелую уста.
Ты со мной не состаришься, ты обновишься навеки, —
Ты останешься вечно такой, молода и чиста.

Это кровь моя брызжет и заново мир украшает,
Это солнце свершает свой круг, запылав от нее,
Крепче пахнут цветы, и волна за волной поспешает,
И любовь моя заново, заново мир украшает,
И счастливый любовник вторгается в тело твое!

Если я и погибну, Лулу, обречен на забвенье, —
Вспоминай меня всё же, задумайся хоть на мгновенье
О любви нашей юной, о пламени наших ночей.
Моя кровь превратилась в прозрачный и звонкий
ручей, —
Не горюй ни о чем, хорошей, не жалей о забвенье,
О единственная — в сумасшедшем бреду вдохновенья!

Жан Кокто

338. БАРАБАННАЯ ДРОБЬ

Я тебя обожаю, солнце, дико,
Пред тобой ползу на брюхе, владыка!

Лакировщик винограда, яблок и груш,
На меня свой яркий лубок обрушь!

Дуби мне кожу, вытри мой пот,
Избавь меня от прочих забот.

Блеснул зубами негр. Смотри —
Он черен снаружи, розов внутри.

Я черен внутри, розов снаружи, —
От превращенья не стану хуже.

Повтори меня в существе другом,
Как ты Гиацинта сделал цветком.

Стрекоза ненормально вверх сиганула.
На меня из печки хлебом пахнуло.

Преврати сейчас же полдневный зной
В прохладу ночи, в сумрак лесной.

Преврати мой бред в то самое Древо,
Под которым Змей любезничал с Евой.

Помоги привыкнуть к миру обид,
К тому, что мой бедный друг убит.

Лотерею свою быстрей разгрузи,
Расставляй на полках дорогие призы.

Не нуждаемся мы в стеклянных бусах, —
Припаси их в Антилах для голопузых.

Выбирай нарядней нам барахло,
Чтобы в ноздри било и сердце жгло!

Чтоб арпеджио скрипок пело мажорно
В салоне зеркал, в палатке обжорной!

Укроти мой нрав, распали мой бред,
Шарлатан, хозяин золотых карет!

Пусть вьется по жилету цепь золотая.
... Я сам не знаю, о чем болтаю...

Моя тень внезапно ушла от меня.
Твой зверинец, солнце, полон огня.

Директор цирка, синьор Чинизелли,
Завари мне покрепче пьяное зелье!

Ты клоун-смехач, матадор-лихач,
Циркач, летящий по небу вскачь.

Ты негр, чемпион мирового бокса,
О твои лучи экватор обжегся.

Я всё терплю. Я лишь хорошею,
Когда ты дубасишь меня по шее.

Я славить ныне и присно рад,
О солнце, твой упоительный ад!

339

Весь грузный хлам веков, всё золото музеев —
Как мне постыло всё!
Пускай же сокрушит дремоту ротозеев
Работа Пикассо!

Пускай всплывает вверх вся мебель наших комнат,
Все двери отперты,
Все руки ищут рук, все рты себя не помнят —
Ждут поцелуев рты.

Художник с музами сдружился в пляске вечной
И властною рукой
Из беспорядочности создал человечный
Порядок и покой.

Поль Элюар

340. СВОБОДА

На школьных своих тетрадках
И на древесной коре,
На зыбких холмах песчаных
Я имя твое пишу.

На всех страницах прочтенных,
На всех страницах пустых,
На крови, камне и пепле
Я имя твое пишу.

На золоченых картинах,
На королевских венцах,
На воинском вооруженье
Я имя твое пишу.

На пустырях и в дебрях,
На птичьих гнездах в кустах,
На всех отголосках детства
Я имя твое пишу.

На очарованьях ночи,
На белом хлебе дневном,
На первых днях обрученья
Я имя твое пишу.

На всех осколках лазури,
На глади лунных озер,
На солнечных водоемах
Я имя твое пишу.

На беспредельных равнинах,
На крыльях летящих птиц,
На мельничных сонных крыльях
Я имя твое пишу.

На каждом луче рассветном,
На море, на кораблях,
На горных безумных высях
Я имя твое пишу.

На облачных испареньях,
На струях косых дождей,
На ураганных ливнях
Я имя твое пишу.

На всех мерцающих формах,
На бубенцах цветов,
На явно видимой правде
Я имя твое пишу.

На торной прямой дороге,
На опустевшей тропе,
На площади многолюдной
Я имя твое пишу.

На лампе, в ночи зажженной,
На лампе, погасшей к утру,
На всех домах, где бы ни жил,
Я имя твое пишу.

На зеркале, отразившем
Пустое мое жилье,
На теплой пустой постели
Я имя твое пишу.

На шерстке доброй собаки,
На острых ее ушах,
На лапах ее неуклюжих
Я имя твое пишу.

На каждой близкой мне плоти,
На лбу любимых друзей,
На каждой раскрытой ладони
Я имя твое пишу.

На окнах, раскрытых настежь,
На полуоткрытых губах,
Внимательно молчаливых,
Я имя твое пишу.

На брошенных укрепленьях,
На сломанных фонарях,
На стенах тоски вседневной
Я имя твое пишу.

На гибели без возврата,
На голом сиротстве своем,
На шествиях погребальных
Я имя твое пишу.

На возвращенном здоровье,
На дерзости, что прошла,
На безрассудных надеждах
Я имя твое пишу.

Могуществом этого слова
Я возвращаюсь к жизни,
Рожденный дружить с тобою,
Рожденный тебя назвать —
Свобода!

341. МУЖЕСТВО

Париж продрог. Париж не ел три дня
Ни корки, ни печеного каштана.
Плетется он в лохмотьях стариковских
И стоя спит, задохшийся в метро.
Но беднякам остались, кроме горя,
Вся мудрость, всё безумие Парижа,
Его огонь, его священный разум,
И доброта его, и красота.
Так не зови на помощь!
Ты сущность, не сравнимая ни с чем.
В твоих глазах нет смертной наготы,
Нет тусклости — одно возникновенье
Живого человеческого света.
Как угорь — скользкий и тугой, — как шпага,
Изобретательный и мудрый город,
Не терпишь ты несправедливой власти.
В ней беспорядок злейший для тебя.
И ты освободишься!
Трепещущая юная звезда,
Надежда, пережившая невзгоду,
Освободишься ты от лжи и грязи.
Мы нашим братьям мужества желаем.
Ни шпаг у нас, ни касок, ни сапог —
Есть только пламя в напряженных жилах.
Все лучшие меж нами — мертвецы.

Но кровь их перельется в наше сердце.
Подходит час парижского рассвета.
Подходит миг освобожденья.
Раскрыта площадь настежь для весны.
У идиотской силы есть низы,
Рабы, которых мы зовем врагами:
Едва поняв,
Едва достигнув пониманья,
Восстанут сами.

342. ЦЕЛЬ ПОЭЗИИ — ПОЛЕЗНАЯ ПРАВДА

Когда я говорил, что солнышко в лесу
Подобно женщине, отдавшейся в постели,
Вы мне поверили, вы подчинились мне.

Когда я говорил, что этот день дождливый
Струится и звенит в любовной нашей лени,
Вы мне поверили, чтобы продлить любовь.

Когда я говорил, что на плетеном ложе
Свил гнездышко птенец, не говорящий «да»,
Вы мне поверили, деля мою тревогу.

Когда я говорил, что в родниковой влаге
Ключ от большой реки, несущей людям зелень,
Вы мне поверили еще сильней и глубже.

Но если я пою об улице моей,
О всей моей стране, об улице без края,
Вы мне не верите, вы прячетесь в пустыню.

Бесцельна ваша жизнь. Забыли вы, что людям
Необходима связь, надежда и борьба,
Чтоб этот мир познать и переделать мир.

Всем сердцем бьющимся хочу я вас увлечь.
Я слаб, но я расту, и я живу еще.
Мне странно говорить о вашем пробужденье,

Когда хочу вам дать единство и свободу
Не только в тростниках свирели заревой,
Но рядом с братьями, построившими правду.

343. ВСЁ СКАЗАТЬ

Всё — это всё сказать. И мне не хватит слов,
Не хватит времени и дерзости не хватит.
Я врежу, наугад перебирая память,
Я нищ и неучен, чтоб ясно говорить.

Всё рассказать — скалу, дорогу, мостовую,
Прохожих, улицу, поля и пастухов,
Зеленый пух весны и ржавчину зимы
И холод и жару, их совокупный труд.

Я покажу толпу и в каждом первом встречном —
Его отчаянье, его одушевленье,
И в каждом возрасте мужского поколенья —
Его надежду, кровь, историю и горе.

Я покажу толпу в раздоре исполинском,
Всю разгороженную, как могилы кладбищ,
Но ставшую сильней своей нечистой тени,
Разбившую тюрьму, свалившую господ.

Семью рабочих рук, семью листвы зеленой,
Безликого скота, бредущего к скоту.
И реку, и росу в их плодотворной силе,
И правду начеку, и счастие в цвету.

Смогу ли я судить о счастии ребенка
По кукле, мячику и солнышку над ним?
Посмею ли сказать о счастии мужчины,
Узнав его жену и крохотных детей?

Смогу ли объяснить любовь, ее причины,
Трагедию свинца, комедию соломы
Сквозь машинальный ход ее вседневных дел,
Сквозь вечный жар ее неугасимых ласк?

Смогу ли я связать в единство эту жатву
И жирный чернозем — добро и красоту
И приравнять нужду к желаниям моим,
Сцепленье шестерен — к тому, чем я томим?

Найду ли столько слов, чтоб ненависть
приончить,
Чтоб стихла ненависть в широких крыльях гнева,

Чтоб жертва поднялась на палачей своих?
Для революции найду ли я слова?

Есть золото зари в глазах, открытых смело, —
Всё любо-дорого для них, всё новизна.
Мельчайшие слова пословицами стали,
Превыше бед и мук простое пониманье.

Смогу ли возразить — достаточно ли твердо —
Всем одиночествам, всем маниям нелепым?
Я чуть что не погиб, не смогши защищаться,
Как связанный боец с забитым кляпом ртом.

Я чуть не растворил себя, свой ум и сердце
В бесформенной игре, во всех летучих формах,
Что облекали гниль, распад и униженье,
Притворство и войну, позор и равнодушье...

Еще немного — и меня б изгнали братья.
На веру я примкнул к их боевым делам.
От настоящего я больше взял, чем можно,
И лишь о будущем подумать не умел.

Обязан я своим существованьем людям,
Живущим вопреки всеобщему концу.
Я у восставших взял и взвесил их оружье,
И взвесил их сердца, и руки им пожал.

Так человечным стал нехитрый человек.
Песнь говорит о том, что на устах у всех,
Кто за грядущее идет войной на смерть,
На подземельный мрак беспутной мелюзги.

Скажу ли наконец, что в погребе прокисшем,
Где бочки спрятаны, открыта настежь дверь,
Нацежен летний зной в сок виноградных лоз, —
Я виноградаря слова употребляю.

Похожи женщины на воду иль на камень,
Суровы иль нежны, легки иль недотроги.
Вот птицы странствуют наперерез пространству.
Домашний пес урчит, тревожится за кость.

Ночь откликается лишь чудаку седому,
Истратившему жар в банальных перепевах.

Нет, даже эта ночь не сгинет понапрасну.
Сон для меня придет, когда других оставит.

Скажу ли, что над всем владычествует юность,
Морщины на лице усталом замечая?
Над всем владычествует отсветов поток,
Лишь только вытянется из зерна цветок.

Лишь только искренность живая возникает —
Доверчивый не ждет доверья от других.
Пускай ответят мне до всякого вопроса,
Пускай не говорят на языке чужом.

Никто не посягнет дырявить мирный кров,
Жечь эти города и мертвых громоздить.
Я знаю все слова строителей вселенной,
А время для таких — живой первоисточник.

Потребуется смех, но это смех здоровья.
То будет братское веселье навсегда.
То будет доброта такая же простая,
Как к самому себе, когда ты стал любим.

Легчайшим трепетом ответит зыбь морская,
Когда веселье жить свежей соленых волн.
Не сомневайтесь же в стихотворенье этом.
Я написал его, чтоб вычеркнуть вчера.

344. ДОБРАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Есть горячий закон у людей:
Из лозы виноградной делать вино,
Из угля делать огонь,
Из объятий делать детей.

Есть суровый закон у людей:
Уберечь свою суть, несмотря
На войну и на горе,
Несмотря на грозящую гибель.

Есть спокойный закон у людей,
Превращающий воду в свет,
Сновиденья в реальность,
А врагов своих — в братьев.

Это древний закон и новый.
Он растет, совершенствуясь,
От самого сердца ребенка
Вплоть до высшего разума.

345. МЫ ДВОЕ

Мы двое крепко за руки взялись.
Нам кажется, что мы повсюду дома —
Под тихим деревом, под черным небом.
Под каждой крышей, где горит очаг,
На улице, безлюдной в жаркий полдень,
В рассеянных глазах людской толпы,
Бок о бок с мудрецами и глупцами —
Таинственного нет у нас в любви.
Мы очевидны сами по себе,
Источник веры для других влюбленных.

Луи Арагон

346. РАДИО — МОСКВА

Слушай, Франция! В недрах весеннего леса
Чья там песня вплетается в шелест ветвей,
Чья любовь совершенно подобна твоей?
Слушай, слушай! Откройся доверчиво ей.
Слушай, Франция! Есть на земле «Марсельеза»!

О, далекая, — как она нас отыскала?
Еле слышимый еле забрезжил мотив.
Так Роланд погибает, за нас отомстив.
Мавры мечутся. Но, Ронсеваль захватив,
Он швыряет вдогонку им горные скалы.

Бьется сердце. С биеньем его совпадая,
Откликается полная слез старина.
Жанна д'Арк сновиденьями потрясена.
А в глазах у нее вся родная страна —
Вся седая история, вся молодая.

Чей язык это? Кто его переиначит?
Не по школе я знаю грамматику ту.
Так стучит барабан на Аркольском мосту.
Так Барра и Клебер исступленно кричат в темноту:
«Боевая тревога!» — вот что это значит!

Слушай, Франция! Ты не одна. Так запомни:
Не безвыходно горе, ненадолго ночь.
Просыпайся, крестьянская мать или дочь!
Выйди засветло, чтоб партизанам помочь!
Спрячь их на сеновале иль в каменоломне!

До рассвета Вальми остаются часы.
Просыпайся, кто спит! Не сгибайся, кто тужит!
Пусть нас горе не гложет, веселье не кружит.
Пусть примером нам русское мужество служит.
Слушай, Франция! На зиму нож припаси!

347. ЛЕГЕНДА О ГАБРИЕЛЕ ПЕРИ

На старом кладбище в Иври,
В могиле братской, безымянной,
В ночи безлунной и туманной
Остался Габриель Пери.

Но, видно, мученик тревожит
И под землей своих убийц.
Там, где народ простерся ниц,
Любое чудо сбыться может.

Спокойны немцы за Иври:
Там трупы свалены на трупах,
Там в тесноте, в объятьях грубых
Задушен Габриель Пери.

Но палачам не спится что-то!
Недаром злая солдатня,
Французов с кладбища тесня,
К ограде нагнана без счета.

И вот на кладбище в Иври
Никто венка принесть не вправе.
Один убийца топчет гравий,
Напуган призраком Пери.

Но обвиненьем служит чудо:
Прах и в земле не одинок.
Гортензий голубой венок
Расцвел над ним, бог весть откуда

Пускай на кладбище в Иври
Забиты наглухо ворота.
Но в час ночной приносит кто-то
Цветы на бедный прах Пери.

Их столько раз сюда носили!
Осколок неба иль слеза,
Легенды синие глаза
Глядят на черное насилье.

И вот на кладбище в Иври
Тяжелые венки печали
Легчайшим звоном прозвучали,
Чтобы порадовать Пери.

В тех лепестках синеет лоно
Родимых средиземных волн,
Когда он, молодости полн,
Бродил по гавани Тулона.

И дышит кладбище в Иври
Влюбляющим благоуханьем,
Как будто только что с дыханьем
Простился Габриель Пери.

Да! Мертвецы такого рода
Тиранам смерть сулят давно.
Их гибель — грозное вино
Для разъяренного народа.

Пускай на кладбище в Иври
Толпа редеет, гул слабеет, —
Но ветер веет, пламя рдеет
Во имя нашего Пери!

Стрелки, вы помните, когда
Он пел нам песню в час рассвета.
Он здесь давно истлел, но где-то
Еще горит его звезда.

На старом кладбище Иври
Еще поет, еще поет он.
День разгорается. Встает он —
Всё тот же Габриель Пери.

День — это жертвенная смена
Тех, кто в земле, и тех, кто жив.
Сегодня честно отслужив,
День завтра вспыхнет непременно.

На старом кладбище Иври,
В бездушной мгле, в могиле узкой,
Всей кровью жаркою французской
Нам верен Габриель Пери.

348. ПАРИЖ

Где шире дышишь ветром непогоды,
Где зорче видишь в самом сердце тьмы,
Где мужество — как алкоголь свободы,
Где песня — разбомбленных стен углы,
Надежда — горсть нестынущей золы?

Не гаснет жар в твоей печи огромной.
Твой огонек всегда курчав и рыж.
От Пер-Лашез до колыбели скромной
Ты розами осенними горишь.
На всех дорогах — кровь твоя, Париж.

Что в мире чище твоего восстанья,
Что в мире крепче стен твоих в дыму?
Чьей легендарной молнии блистанье
Способно озарить такую тьму?
Чей жар под стать Парижу моему?

Смеюсь и плачу. О, как сердце бьется,
Когда народ, во все рога трубя,
На площадях твоих с врагами бьется!
Велик и грозен, мертвых погребя,
Париж, освободивший сам себя!

349. ПОЭТ ОБРАЩАЕТСЯ К ПАРТИИ

Мне партия дала глаза и память снова.
Я начал забывать, как детский сумрак сна,
Что сердцем я француз, что кровь моя красна.
Я помнил только ночь и цвет всего ночного.
Мне партия дала глаза и память снова.

Мне партия дала родной легенды благо.
Вот скачет Жанна д'Арк, Роландов рог поет.
Там, в Альпах, есть плато, где наш герой встает.
Простейшее из слов опять звенит, как шпага.
Мне партия дала родной легенды благо.

Мне партия дала живую суть отчизны.
Спасибо, партия, за грозный твой урок.
Всё песней быть должно. Мир для нее широк.
И это — боль и гнев, любовь и радость жизни.
Мне партия дала живую суть отчизны.

350. НОЧЬ В МОСКВЕ

Мне странно бродить по Москве, мне странно,
Что всё изменилось и всё сохранно:
Не явственен двадцатилетья след —
Всё тот же город в полуночи снежной,
И звезды башен, и корпус манежный.
А полночь светла, а я уже сед.

Я сбился с пути, я спутался, право!
Был Пушкин слева, теперь он справа.
Рисунок черных решеток в снегу
Бежит, как строки его черновые.
Мерещится, что бульвары впервые
Зовут на прогулку, бегут в пургу.

Чайковский улицу видит далече.
Декабрь порошит ему руки и плечи.
И только взмах этих бронзовых рук
Седую темень слегка колышет,
И только одно изваянье слышит
Рожденье струнных глиссандо вокруг.

Дома исчерчены вспышками света.
Скользящие тени скрестились где-то.
Не дремлет огромный город в ночи.
Над скопищем улиц, над вьюжною пряжей
Высотные зданья стоят на страже,
В пространство звездные шлют лучи.

Вон дом деревянный с крышей зеленой.
Подходит путник, глядит удивленно:
Всё тот же дворник колет дрова,
Как будто внешний вид сохранился,
И только масштаб во всем изменился,
Не тот человек, другая Москва.

Всё выросло вверх, всё в отменном здравье,
Мосты, саженные плечи расправив,
Простерлись над водною быстриной,
И набережных гранитные плиты,
И волны реки естественно слиты
С далекою Волгой, со всей страной.

А там, где стропила до туч взлетели,
Москва потягивается, как в постели,
Как женщина в томных грезах любви.
Как будто сквозь сон улыбнулась жадно,
Как будто видит простор неоглядный
И там размещает стройки свои.

И сильные руки вдаль устремила
К возлюбленному — Грядущему мира.
А с гор Воробьевых, с Ленинских гор,
Откуда ее Бонапарт заметил,
Университет ей смеется, светел,
Грядущий сын ей руки простер.

ИЗ ПОЭЗИИ НАРОДОВ СССР

С АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

Самед Вургун

351. СВОБОДНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Вижу добрый прищур, вижу ясность лица,
Ранний час, когда день еле-еле сквозит.
Он, вселенную всю распахнув до конца,
Каждый сноп световой прямо в сердце вонзит,

Вдохновенье, лети в поднебесную высь,
Проложи в облаках неисхоженный путь.
Если пущена метко стрела, то промчись.
Издавна повелось, что себя не вернуть.

Вдохновенье мое! Ты опора опор,
Ты охрана охран и порука моя.
Я дышу, я с тобой заодно до сих пор,
Да не буду лишен этой милости я!

Говорил Насими, наш певец дорогой:
«Если праведно жил, то и речь хороша.
Но правдивую речь душат петлей тугой —
В этой петле барыш для мошны торгаша.

Тронь мизинец моллы — завопит этот шут,
Отречется при всех от аллаха молла.

А с ашуга несчастного кожу сдерут —
Что ему эта боль и людская хула!»

О, звезда на заре, мастер наш Насими,
Дальнозоркий стрелок, заглянувший в века!
И осталась в веках и пошла меж людьми,
Не состарилась мысль, и она нам близка.

По сей день Физули безутешно скорбит
У распахнутых в мир озаренных ворот.
Незабытая боль его давних обид
Заставляет рыдать весь восточный народ.

В сединах Физули — та морозная стынь,
Тех пронзительных лет еле видный канун,
Где прошел караван по заносам пустынь,
Где блуждали без крова Лейли и Меджнун!

И приходит еще к нам Вагиф издали,
Чей оборванный саз — как народная грусть.
И курлычут Вагифу вослед журавли,
Его песенный плач повторив наизусть.

От фарсидских письмен, от арабских прикрас
Он навек излечил нашу тюркскую речь.
И, ширяя крылами, та речь понеслась,
Чтоб народ молодой воспитать и увлечь.

Горемычный певец! Будто в камни стены,
Ударялся твой стон о людские сердца.
Только эхо пошло по ущельям страны,
Откликалось навзрыд между скал без конца,

Ты нам мать и отец, нашей песни родник,
Вольный сокол в плену у ручных лебедей.
И я в песню твою, опечаленный, вник,
Чтоб вернуться к своей и сказать о своей!

Вдохновенье мое! Ты опора опор,
Ты охрана охран и порука моя!
Я дышу, я с тобой заодно до сих пор,
Да не буду лишен этой милости я!

Над моей головой нет угрозы ничьей.
Стоном лопнувших струн не прославится саз.
Не сковали мне рук, не лишили речей,
Не нужны небеса для живых моих глаз.

Мне сказали: «Саг-ол!» — это значит: «Живи!»
Орден Ленина мне прикололи на грудь.
Комсомолец-поэт, всем пожаром в крови,
Всею жизнью живу — вот широкий мой путь.

Вдохновенье мое! С того самого дня
Выше гор, дальше туч мою песнь понесли
И курлычут опять надо мной, для меня
Облетевшие мир трубачи журавли.

Мать, качая дитя, пусть меня назовет
Как приветственный звук, как приятную весть,
Колыбельная снова ко мне доплывет —
Значит, друга нашел... Но и недруги есть!

Зорче молнии будь! Оглянись на тихонь,
Тех, что мух на лету превращают в слонов.
Истребителем будь! Под обстрел, под огонь
Двоедушных друзей, прописных болтунов.

Что за умники, глянь! Оцени их сполна.
Их пустые слова — как кимвалы и медь.
Если честного сына любила страна,
Ей за эту любовь не придется краснеть!

Так бичуй, не жалей шулеров-подлипал,
Кто, меняя лицо, не меняет души,
Кто жену продавал, и со всякою спал,
И, вползая ужом, навредил нам в тиши.

Есть еще и такой, что парит в облаках,
Отрешенный от «будничных» наших забот.
Есть другой, что торчит день и ночь в погребках,
Подпевает любому, и с каждым он пьет.

Прочь их с наших путей! Я в работе своей
Был подручным весны. Я природу любил.
О любимая! Шею мне крепче обвей,
Я живые слова, как огонь, раздобыл.

Мое сердце! Не хмурь своих тонких бровей,
Ибо кончилась боль и рассеялся мрак.
Мое сердце! Не хмурь своих тонких бровей,
С малых лет я ночам ненавистник и враг.

Я чеканил слова не за хлеба кусок,
У народа их брал, чтоб народу отдать,
Я не Байроном рос, но могу быть высок.
В жарком сердце не всю исписал я тетрадь.

Человек — это всё. Он властитель земли.
Без него и заря не горит с вышины.
Цель искусства — душа. Только тронь, и вдали
Откликается мир звону каждой струны.

Что мне злая зима, что мне клетка ее?
Спутник милой души, я, как птица, лечу.
Прочь насмешку и злость! Я веселье свое
Добываю трудом, как могу и хочу

Не отрекся от мира, не ныл: пощади!
Не назвался нулем на родимой земле.
Чайльд Гарольдом с ничтожной обидой в груди
Не уплыл за моря на чужом корабле.

Тот бесчестен и лжив перед родиной, кто
Отречется от нашей любимой страны.
О друзья! Наше небо зарей залито.
Вы в нарядные платья одеться должны.

Птичий гомон в листве, испаренья росы,
Упоение пчел над пыльцою цветка!
О, свободы моей молодые часы!
О, ведущие в даль молодые века!

О, скользящая в зыбь стайка уток речных,
Будь спокойна за свой сизокрылый наряд.
О, земля матерей, что родят семерых,
Вот охрана твоя — юной поросли ряд.

О, весенняя рань, о, моя детвора!
Как светлы эти личики ранней весной!
Веселись же в садах, разгорайся, игра!
Каждой матери люб ее птенчик родной.

Громыхание туч и струение вод!
Не мутней, половодье, гори, как хрусталь.
Человек на земле свое счастье кует,
А не в смутных мечтах, заплывающих вдаль.

Раскрывайся, цветок! Все твои лепестки
Я целую подряд, благовонный апрель.
Пой, бюль-бюль, в цветнике. Мы с тобою близки.
Пьет дыханье мое упоенная трель.

Встаньте, девушки, в ряд! Вы — невесты земли.
Не смущайтесь своих заалевших ланит.
Вы на солнечный свет заглядеться пришли.
Этот мощный огонь вас легко опьянит.

О, родная земля! Свет очам твоим, мать!
О, счастливых знамен ярко пышущий жар!
Если б не было вас, я бы должен сломать
Эту краткую жизнь, мне врученную в дар.

Пограничник-боец! Свет очам твоим, брат!
Зоркий сокол, прими мой привет издали.
Мы с тобою в строю. Мы не знаем преград.
Наше имя — весна и свобода земли.

С ГРУЗИНСКОГО

Галактион Табидзе

352. ЛУНА МТАЦМИНДЫ

Я не видал нигде такой луны безмолвной,
Такой блаженной мглы, благоуханья полной,

Такой голубизны между ветвей древесных,
Таких ночных небес не помню бессловесных.

Как ирис, легкая луна, в монистах света,
Сияньем призрачным так бережно одета,

Метехи и Кура сверкают белизною
Под нежной, призрачной, невиданной луною.

Здесь Церетели наш почиет в смутных грезах.
Над ним, над кладбищем, что утопает в розах,

Мерцанье звездное так чисто и так нежно.
Бараташвили здесь любил бродить, мятежный.

Пускай и я умру, как лебедь в час печальный,
О, лишь бы выразить восторг мой изначальный,

Когда в полночный час цветы глаза раскрыли,
Когда всех снов моих широко плещут крылья

И паруса мои раздуты вдохновеньем
В соседстве с кладбищем, с немым его забвеньем.

Я знаю! Для души, исполненной мечтами,
Путь смерти — тот же путь, усеянный цветами.

Я знаю, что поэт создаст и сказку смело,
Когда такая ночь им властно завладела,

Что рядом с кладбищем я полон юной жажды,
Что я простой поэт и что умру однажды,

Что перейдет в века написанное мною
Под этой голубой безмолвною луною!

353. ЛЕНИН

Город сегодня с утра взволнован.
Сборища в каждом саду и сквере.
Высится Ленин над миром новым,
Смотрит в лицо непогоды.
Вихорь стучится в окна и двери.
Людям открыт кругозор просторный.
Страстно взывают к буре валторны,
Кричат фаготы.

В честь этих дней бокал подымаю.
В гудках заводов рождается слава,

Сдвинута с мест природа немая,
Время пирует с нами.
Ленин, явленье мощного сплава
Трех революций, досель небывалых,
В грохоте войн, в лавинных обвалах
Он наше знамя.

Тянет к нам руки свои, уповая,
Из-за далеких снегов избенка,
И отвечает ей боевая
Дружба рабочего класса.
Как по сердцам ударила звонко
Самоотверженность этого часа:
Всем угнетенным земли без изъятья —
Наши объятья!

354. ГРОЗДЬЯ ЖИЗНИ

Подними высоко чашу жизни,
Выжми в чашу гроздья вдохновенья...
Всё, что не достойно званья жизни,
Уничтожь, сожги без сожаленья!

Огненною, светлой влагой брызни
На печаль разлуки, на забвенье!
Будь глашатаем рожденной жизни!
Остальное жги без сожаленья!

355

Безвестный месх, я стихи слагал.
И сколько в прошлом дорог ни легло, —
Мой стих меня раньше солнца сжигал,
А солнце раньше стихов сожгло.

Да будет чеканка стихов моих
Напряжена, как звон тетивы,
Грозна, как битва в скалах родных,
Светла, как шелест майской листвы.

В ней бубна стук и пандури стон,
В ней звон воздушных незримых волн.

Мой стих, открытый со всех сторон,
Дыханием жизни да будет полн!

Как раненый барс в теснинах скал,
По всей стране столько дней и лет
Скитался я и мечту искал —
Безвестный месх, исступленный поэт.

Тициан Табидзе

356. ПАОЛО ЯШВИЛИ

Вот мой сонет, мой свадебный подарок.
Мы близнецы во всем, везде, до гроба.
Грузинский полдень так же будет ярок,
Когда от песен мы погибнем оба.

Алмазами друзья нас называют:
Нельзя нам гнуться, только в прах разбиться.
Поэзия и под чадрой бывает
Такой, что невозможно не влюбиться.

Ты выстоял бы пред быком упорно
На горном пастбище, на круче горной,
Голуборожец, полный сил и жара.

Когда зальем мы Грузию стихами,
Хотим, чтоб был ты только наш и с нами, —
Будь с нами! Так велит твоя Тамара.

357. СКИФСКАЯ ЭЛЕГИЯ

1

Здесь горевал Овидий о Риме,
Плакал о злой судьбе сыновей.
Рима и времени необоримей
Пламенный стих в чеканке своей.

Пушкин тут помнил низкое небо,
Северный серый город Петра.

Гибнущий город, — он был или не был,
Или он рухнул только вчера?

Тут Александр Македонский с боем
Гнал амазонок в оные дни,
Не променял он на женский пояс
Львиную доблесть львиной брони.

Скифские орды в похмелье диком
Яро ломали хребты коней.
Рати ислама промчались с гиком,
Чтоб на Дунае осесть прочней.

Много племен прошло, чье семя
Смешано тут и втоптано тут.
Стихла их ярость. И надо всеми
Тучи седой Киммерии идут.

Что же мне делать? Песней ли это
Сердце мое взмывает, друзья?
Нет, лебединой песни поэта
С порванным горлом запеть нельзя...

Много еще племен прокочует,
Высохнут гирла понтийских рек.
Но что поэт однажды почует,
В жилы стиха прольется навек.

Здесь горевал Овидий о Риме,
Здесь вспоминал сыновей своих.
Рима и времени необоримей
Мною подхвачен памятный стих.

2

Разве я кем-то из дому изгнан?
Сам добровольно кинул отчизну, —
Вот и брожу по скифской стране,
Да не поможет чужбина мне.

Но Киммерия нынче близка мне —
Дикие степи, голые камни...
Иль это пушкинский горький стих —
Первопричина скорбей моих?

Или слепец настроил бандуру
И обошел христа ради базар,
Или собака завыла сдуру,
Или я сам дал волю слезам?

Детство ли вспомнил, юность ли прожил?..
Сердце мое бандурист растревожил.
Что же он плачет, бедный слепец,
Миру всему пророчит конец?

Словно я ждал еще с колыбели
Ночи такой, непогоды такой, —
Скифы на море песню запели,
На сердце смута и непокой.

358. КАРТЛИС ЦХОВРЕБА

(Вступление к поэме)

Говорят, что раз в сто лет колышет
Небо языки такого пламени.
То не старец летописец пишет,
То моя бессонница сожгла меня.

С каждым, кто назвал себя поэтом,
Только раз такое приключается.
Черноморье спит. Под легким ветром
Зыбь трепещет, парусник качается.

Пароход «Ильич» причалил к Сочи,
Словно «Арго», воскрешенный заново:
В золотом колодце южной ночи
Дивный след преданья первозданного.

И сладка мне, так сладка навеки,
Как ребенку ласка материнская,
Соль морская, режущая веки,
Ширь твоя, прародина эвксинская!

Родина! К твоей ли колыбели
Прикасаюсь, за былым ли следую,
Человек я или кахабери,
Сросшийся корнями с почвой этою, —

Кем бы ни был, но, мечте покорный,
Напишу поэму бедствий родины.
Что мне жизнь! Пускай лавиной горной
Сметены пути, что раньше пройдены!

Словно речь Овидия Назона
О себе самом или о римлянах,
Речь моя — пускай в ней мало звона —
О путях забытых и задымленных.

Часто их меняли. Так меняют
Лед на лбу страдальца госпитального.
Правнуки и ныне поминают
Пропасти у перевала дальнего.

В пламени небесные ворота.
Брошен якорь у высокой пристани.
Мне приснился белый сон народа —
Снег Эльбруса, еле видный издали.

359. АЛЕКСАНДРУ ПУШКИНУ

На холмах Грузии играет солнца луч.
Шумит Арагва, как бывало.
Здесь, на крутой тропе, среди опасных круч,
Мысль о тебе — как гул обвала.

Мы знаем счастие. Мы помним этот миг,
Когда любимой обладали.
И, полный песнями, изнемогал тростник,
И млели розы Цинандали.

Сто лет уже прошло, и тысяча пройдет,
Но пред тобой бессильно время,
И слава звонкая по следу путь найдет
До Эльбруса, до Ванкарема.

Погибельный Кавказ! Его живой красы
Ты не узнал бы в наши годы,
Счастливых этих гор не раздирают псы,
Насильники людской свободы.

Ты не услышишь вновь печальной песни той, —
Ее красавица допела.

Протяжный гул работ владеет высотой,
Жизнь молодая закипела.

Пройди мою страну всю из конца в конец.
Куда лишь может свет пробиться,
Везде отыщется горячих пуль свинец
Сразить жандармского убийцу.

Я встану, как хевсур старейший, у котла,
Чтоб в чашу первую, запенясь, потекла
Струя кипучего веселья.
И слово я скажу заздравное над ней
В честь храбрых прадедов и в честь советских дней,
О Пушкине и Руставели.

Два гения войдут в один могучий сплав,
Два мощных первенца народа,
Чтоб зазвучал напев, крылат, и величав,
И неподкупен, как свобода.

Пусть, как созвездия, горят они вдвоем
Над родиной счастливой нашей,
Мы в память Пушкина и Руставели пьем
И чокаемся звонкой чашей.

360. МАТЬ И СЕСТРЫ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

«Что же сказать мне Люде и Оле?
Как же, сынок, исцелиться от боли?
Слезы текут помимо воли...»

Плачет женщина, тихо сгорбясь,
Матерью став для всех поэтов.
Братья, поддержим бедную в скорби, —
Нас и самих возвышает это.

Мне вспоминается в детстве недавнем
День революции здесь, в Кутаиси.
Смелость была в нем,
И никогда в нем
Наши не стерлись горные выси.

Он не остался в долгу перед веком,
Каждым шагом и каждым жестом

Дрался за то, чтоб быть человеком,
Званье поэта пронес над веком.

В черных сугробах лежала Пресня,
Выла метель над путником поздним.
В сердце его возникала песня,
Слышал он гул над Кавказом грозным.

Он вспоминал светляков мерцанье,
Пар облаков в поднебесной сини,
Пену Терека, бубна бряцанье
Он вспоминал в далекой России.

Землю Багдади, шелест травы ее
Мать и сестры слезой оросили, —
Здесь узнал он счастье впервые,
Здесь узнал о славной России.

Будет в Багдади отлит искусно
Бронзовый мальчик, такой, как вначале.
Так и сказал я матери грустной,
Чтобы отвлечь гостей от печали.

361. ТАК ЖЕ ПРОСТО

Так же просто, как в долине Мухрани
Каждая травинка славит апрель,
Так же просто, как в утренней рани
В Арагви плещется и пляшет форель;

Так же просто, как ласточки кружат
Вокруг своих прошлогодних гнезд,
Так же просто, как горцам служат
Изголовьем кошницы утренних звезд;

Так же просто, как по кручам от века
Гонит овечьи гурты пастух,
Как туман скрывает вершину Казбека,
Как в Тереке луч блеснул и потух, —

Так же просто и непроизвольно,
Как песня пахаря в сельском краю,
Грузинской речью, впервые вольной,
Я нынче о родине нашей пою.

362. ОПИСАНИЕ ВЕСНЫ И БЫТА

Вот комната. Солнце. Живое тепло.
Зеленое пекло в распахнутых окнах.
В еще непроветренном мире светло.
Мир плавает в матовых ватных волокнах.

Вот важная мудрая кошка в лучах.
В оранжевых отблесках книги и кресла.
Слежавшийся мир. Человечий очаг.
Опять это вылезло. Снова воскресло.

Поэт проклинал свою комнату. Но
За это ему и платили дороже.
Но сердце поэта прогоркло давно
И стало на комнату очень похоже.

Бывало, оно воевало, круша
Прогорклую кухню жилого адата.
Тут первый мятеж начинался когда-то.
Тут первое слово сказала душа.

Но корни пустили и гнезда мы свили,
Боялись, как нянек, домашних тишин.
И — словно традицию Бараташвили —
Поставили стол, и тахту, и кувшин.

И демон белесый, как гипсовый слепок,
По комнатам ходит. И колокол воет:
«Не тронь, революция, этого склепа!
Не двигай вещей! Не ломай бытовое!»

Поэты, не тратьте на опись чернил.
Изменим страну и обрушим гранит.
Но комнатный демон лицо сохранил.
И комната рухлядь свою сохранит.

Иль дайте ей визу, на запад отправьте —
К лжецам эмигрантам, к поэтам без тем.
Отправьте к изменникам собственной правде —
На запад, на запад, — и к черту затем.

Вот в комнату входят и небо и пихта,
Влетаст луна вместо маленьких ламп.
Поэт! Если ты не потомок каких-то
Прапрадедов — сердце разбей пополам.

На две половинки! И выкинь одну!
Останется лучшая, верная в бое.
И комната лопнет в прожилках обоев.
И книги ей тоже объявят войну.

И время ей бросит «прощай», уходя,
И ласточек горсть, и последний звоночек
У двери, и листья, и капли дождя.
Так время с одной из жилых одиночек
Простится, на волю навек уходя.

Помогут ей ласточки, незаселенной.
Поможет ей солнце, пустой и большой.
Поэты придут из деревни зеленой
Бороться с ее постаревшей душой.

363. ДОРОГА

По рельсам, по степи, по знойной долине,
Не оскудевая, как свист соловья,
Летит она в свивах бесчисленных линий,
Прямая, ночная дорога моя,

Республика правды, труда и свободы!
За свистом, за стспью, за цепью колес
Вот желтое небо в кусках непогоды
Орлами за мной из-за гор понеслось.

Всё мимо! Вот на поле мельницы сели,
Руками дощатыми ветер ловя.
Вот поле за полем под звон карусели
Сменяется, как ритурнель соловья.

Всё мимо! Кавказ уже кончился. Каспий
Лежит позади. Протянулись в струну
Огни за окном. Набирает их наспех
Задымленный в трубах Ростов-на-Дону.

Кто скажет, кто помнит историю боя,
Историю гордых боями годин?
Где пляшет Азова лицо голубое
И морщится рябью весенних путин?

Вот в окнах проносится старая церковь,
У поля подкошенная на краю.
И вечер. И вечер, на взморье померкнув,
Смывает осеннюю краску свою.

Большая страна, где свобода и труд
Решают, что сбудется, в будущем кроясь.
Какие бои человечество ждут —
А сколько, а сколько их было...
Но поезд

Гудком запевает. Но из-под колес,
Сминаясь, опять выпрямляются степи,
И трутся рессоры, и лязгают цепи.
И снова — гудок, доводящий до слез.

А горы-то в Грузию, видно, вернулись.
Дороги вперед устремляются все.
Дорога летит в лихорадочном пульсе,
Несется страна в первозданной красе.

Ты родина всех человеческих стран,
Ты родина Грузии! Здравствуй, Россия!
Какими дорогами ни колеси я,
Найду по морям, по полям, по кострам,

По горным тропам, за Азовом и Понтом —
Глаза золотые от хлеба твои,
И кожу, покрытую бисером потным,
И чащу, где льются в ночи соловьи.

Где рельсы и свищут, и льются, и стелют
Огни по уже пролетевшим огням,
Где конь мой Мерани ныряет в метели
В безжалостной жадности к будущим дням!

364. МАСТЕРА-ПЕРЕПИСЧИКИ «ВЕПХИС ТКАОСАНИ»

На ветхом списке «Вепхис ткаосани»
Цветная тушь и пурпур не померкли.
Вот вся земля в полуденном сиянье,
Вот опрокинут тополь в водном зеркале.

Как будто только что монашек истовый
Воскликнул: «Кшш!..» —
и пташка заметалась,
Потом он долго книгу перелистывал,
Но гостья в ней пернатая осталась.

Ее художник на листе привесил,
Ей перышки вздувает ветерок.
А рядом — всё родное поднебесье
Плывет, плывет, синея между строк.

Не сгинет пташка под охраной львиной
У башен руставелевских шаири.
Не сгинет семь столетий с половиной,
Вскормленная родимой яркой ширью.

Зеленый мир по-прежнему теснится
Пред витязем, сидящим у реки.
И тигры обступили ту страницу,
И лапами касаются строки.

И вспомнил витязь о «Висрамиани»,
О повести, похожей на печаль его.
Лицо любимой видит он в тумане,
В воде и в чаше — розовое зарево.

А там — второй в пустыне одичалой
Со звездами родными говорит.
И только слово песни прозвучало,
Небесный свод сочувствием горит.

Так переписчик и художник рядом
Усердствуют в товарищеском рвенье,
И дивным облекается нарядом
Страница в миг ее возникновенья.

И в ней сквозят Иран и Византия
Дымками благовоний, пестрой пряжей.

Синеет даль, синеют льды седые,
Синеют пропасти родимых кряжей.

Художник — тоже витязь, полный
доблестным
Восторгом и любовью беззаветной,
Как бы в ночи разбужен ранним проблеском
Иль пеньем петуха передрассветным.

Не целовал он древа крестной муки,
Не кланялся языческим божкам.
Сжимали кисть его сухие руки,
И покорялись формы тем рукам.

Как Тариэла Автандил, бывало,
Художника вел переписчик грамотный,
И дружба их народу отдавала
Богатство этой были незапамятной.

Был слышен переклик дозоров башенных
Из Тмогви, Вардзии, Бостан-калаки
И дальний конский топот —
в ошарашенных,
Разбуженных расселинах во мраке.

И, бодрствуя в каморке полунощной,
Трудясь над дивным вымыслом поэта,
Для Грузии своей, грядущей, мощной,
Сокровище они хранили это

И свечи жгли... А между тем под спудом
Горело пламя слова ярче свеч,
Чтобы своим простым и вольным чудом
Врагов отчизны беспощадно жечь!

365. КТО СКАЗАЛ?

Кто сказал, что мала она ростом,
Моя родина в сердце Кавказа?
Кто измерил по кручам и звездам
Кругозор, неохватный для глаза?

Пусть в горах заливается буря,
Вечных льдов разгорится блистанье,

С храбрым витязем в тигровой шкуре
На века обручится Нестани...

Нет, у нас небосвод не принижен,
Не зачахнут орлиные крылья.
Наши скалы над крышами хижин
Для орленка всё небо открыли.

Не в саду, обнесенном оградой,
Ветерок обвевал его слабый.
Если б не было на небе радуг,
Вдохновенная мысль не росла бы.

Здесь горят, как алмазные грани,
Вековые развалины Гори,
Здесь луна — словно щит Амирани,
Колыбель — словно мощные взгорья.

Кто сказал, что она низкоросла,
Наша Картли за синим Казбеком?
Ветер Картли в грядущее послан.
Он как горная буря над веком.

366. НОЧИ ПИРОСМАНИ

Ты кистями и красками спящих будил,
Делал розы возлюбленной ярче и краше,
По гористым, кривым переулкам бродил
И домой возвращался с тарелкою хаши.

И, пока ворота на засове, пока
Не уснет в Ортачала красотка, ты снова
Шел к Майдану, и мчал фаэтон седока,
Заводилу грузинского пира честного.

Вот гуляют кутилы и пляшет кинто,
И шашлык на шампуре, и зелень на блюде...
Где же ночь? Или вправду не видел никто,
Как ты шел под хмельком в предрассветном
безлюдье?

Сколько лестниц и каменных стен украшал,
Сколько красок извел за ничтожную плату!
Вот девчоночка держит на привязи шар,
Вот пшено на гумне исклевали цыплята...

Рядом горы. И тощий художник в ночи
Приглашает их запросто в знак пониманья.
И трубят, словно лопнуть хотят, зурначи.
Горы входят как гости: «Привет, Пиросмани!»

Ты окинул глазами плоты на Куре,
И стога на полях, и туманные выси
И поставил на стол их на ранней заре.
Стал столом твоим весь разноцветный Тбилиси.

Эта сытость тебе и без денег далась.
Эти вина и кушанья кисть создавала.
Только черная сажа мелькает у глаз...
Только лестница рушится в темень подвала...

А почем у людей огурец иль чеснок,
Сколько стоит кусок неразменного быта —
Разве это касается сбитого с ног?
... И лягнуло тебя между ребер копыто.

И отброшена кисть. И на выпуклость век
Синеватые тени положены густо.
И неведомо, где погребен человек.
И конец,
И навек остается искусство.

Паоло Яшвили

367. ЛЕЙЛИ

Глаза Лейли во мгле сияли.
Был бел от лилий лик Лейли.
Над ней прислужницы стояли
И лен ей в локоны вплели.

Всё было — тленье, утомленье.
Она от ласк изнемогла,
Простерла пальцы для моленья,
Любви ждала. И не спала.

368. АРТЮР РЕМБО

Весь в пламени, в тяжелых грезах детства,
Распятый и не знавший воскресенья,
По всей Европе ты искал спасенья,
На Млечный Путь не в силах наглядеться.

Парижские поэты умолкали,
Когда ты ритмом плавил мостовую,
Когда, как триумфатор торжествуя,
Сам солнцем стал в полуденном накале.

На пьяном корабле по океанам
Ты плыл в ничто и жаждал всем плениться —
Богатством, и банкротством, и больницей,
Бедняк безногий в мире окаянном.

Плачь, нищий! Вот она — в тоске смертельной,
Европа освежевана на бойне.
Ты победил. Ты можешь спать спокойно.
Мы за тебя, с тобою безраздельно.

С УКРАИНСКОГО

Микола Бажан

369. СМЕРТЬ ГАМЛЕТА

Я знаю вас, Гамлета, сноба двуличного,
Я знаю ваш старый издерганный грим,
Любую гримасу актера трагичного,
Весь будничный ваш и нехитрый режим:
Живя на мансарде,
                    гуляя по дворику,
Сопите в ночи
                    за старинным бюро,
По желтому черепу бедного Йорика
Чертя вензеля отупевшим пером;

О мудрости тайной толкуете, бродите,
Чужой Эльсинор — это ваша земля,
И пьете
на память о давнем прародиче
Капли датского короля.
Вот всё, что осталось у вас королевского:
Ведь не раскошелишься, если в долгах,
И часто
является
тень Достоевского
Гостить
и гостит, по ночам напугав;
Приходит, грозится и мучит жестоко,
Чтоб зря не мудрили вы — «быть иль не быть? ..»
Но легче вцепиться вам в собственный локоть,
Чем твердой ногой на дорогу ступить...
Двоишься,
горюешь,
загадками даришь,
Охваченный трансом проблем и кручин,
И слышишь, как кто-то промолвил:
«Товарищ!»
И слышишь, как шепчет другой: «Господин!»
И Гамлет очнется,
попробует здраво
Ответить на это и то.
Всмотритесь, пожалуйста, слева и справа
В двоякое это лицо.
Не верьте ему!
Не давайте Гамлетику
Таить между фраз и поз
Двуязыкую ту гомилетику,
Его раздвоенья психоз.
Двойник!
Раздвоение!
Призрак романтики!
Пустые блужданья раздвоенных душ!
Такой романтизм, запредельный туман такой
Как падаль смердит почему ж?
Доказано ясно:
двуликие янусы
В былое глядятся, косить перестав,
И манна надземности, манна гуманности
Химический свой изменила состав.

Наукой давно это званье прочитано,
Небесный подарок на слух и на вид.
Сегодня, как герцогский титул, звучит оно:
Дихлордиэтилсульфид.
Вот — пища мессий, Моисеева манна
С подливкой из хлора
или мышьяка.
Моисей!
И Мессия!
И Цезарь!
Осанна!
И — черным крестом бомбовоз в облака.
Другой у романтики вид и повадка —
Вид бравого унтера.
Странно,
когда
В шкафу у кого-нибудь, словно крылатка,
Двойник старомодный пылится года.
Откуда досуг и откуда терпенье?
К лицу ли кому-нибудь ветошь отца?
Бредет Достоевский по Западу тенью,
Царапает когтем двойные сердца.
И чувства выходят из панцирей крабьих,
Из раковин злобы, безделья и мук, —
И сын генеральский,
и гетманский правнук,
И прусского юнкера выродок-внук
Встают в униформе на окрик и стук.
Ступайте, ищите Алеш Карамазовых
В святых легионах, в муштре и строю,
Когда они в масках противогазовых
Фильтруют блаженную душу свою.
Резина раздулась, и хобот — в одышке,
И дует Исус респиратору в зад.
И кажется,
князь — христианнейший Мышкин —
И тот подтянулся, как бравый солдат!
Значит, гнусавый, и вас таки
Завлекли просветители те —
И выросли хвостики свастики
На вашем смиренном кресте!
И, лихо намуслив холеные усики
И наглые личики выпятив в глянце,
Безумствуют черногвардейцы, исуси[illegible],

Прозелиты святой сигуранцы.
А Гамлет колеблется?
Все церемонии
Отброшены в мире таком.
Принц Дании!
Слышите?
Принц Солдафонии
Зовет вас к себе денщиком!
Забиться ли в башню надземную Гамлету?
В углу притаиться,
и прочь — ни на пядь!
Сегодня развязка трагедии впрямь не та,
Довольно вам руки ломать и стонать,
Ведь в башне той — снайперов черных засада,
В той башне, где рифмы из кости слоновой.
И рифмы умеют стрелять, если надо.
В кого они метят?
За Гамлетом слово.
Там с контрразведчиком рядом поэтики
Стоят — крестоносцы святого полка,
Пройдя сокращенные курсы эстетики
Погромов Петлюры, расправ Колчака.
За горло ее, как убийцу, — беспечность
Гуманных, коварных отравленных слов!
Одна настоящая есть человечность —
В ленинской правде последних боев.
Меж новым и старым —
все разведены мосты.
Разъят на два лагеря век.
Смерть черному Гамлету,
принцу Терпимости,
Чтоб в боях родился человек!
На место в бою —
не вслепую брести,
А твердо к нему идти:
Учиться у класса любви и ненависти,
Учиться у класса расти.
Стань вровень с другими, простыми бойцами,
Где каждый привычный к боям рудокоп
Научит — противника мерить глазами,
Научит — противнику целиться в лоб.

370. ПУТЬ НА ТМОГВИ

М. Ч.

Усталые, в соленой влаге едкой,
Медлительно стекающей по лбу,
Ступили мы на голый прах, на ветхий
Тмогвийский путь, на рыжую тропу.

Зигзаг расщелин, вычерченный криво
На треугольных скалах, среди круч,
В кристаллах гор, над зубьями обрыва —
Скользящий косо, преломленный луч.

Везде молчанье. Только тень дороги,
Как тонкий звук, всплывает издали.
И полнится предчувствием тревоги
Недобрая, седая тишь земли.

Скрежещет гравий. И травы скрипенье
Молниеносных вспугивает змей.
И пахнут углем знойные каменья,
И тянется, как время, суховей.

Удушливо, до края тяжким зноем,
Горячей медью дали налиты.
Открыты пришлецу за крутизною
Святые двери в эпос нищеты.

Жестоки, скупы, сдержанны и голы —
Слышны для уха, зримы для очей,
Здесь чудятся нам вечности глаголы
О голоде, о гибели людей.

Ущелье всё сужается. И взгорья
Взвиваются, как вихри, в вышине.
Всё глубже путь и путаней — и вскоре
Ныряет он в беззвучной глубине.

Потеряно сравнение и мера
Молчанью, цвету, высоте горы.
И входим мы, принявши путь на веру,
В легенду, и стихаем до поры.

И вот оно глазам явилось сразу,
И холодом дохнуло на плато —
Страшилище немыслимое то,
Гигантская махина диабаза.

В зубцах, в резцах, в граненой их игре,
В тиаре варварской сверкает круча
И дышит тьмой. Высоко на горе,
Как белая овца, пасется туча.

Сплетаются студеные ветра
В ее порывистой, вихрастой ткани.
За пропастью, за прорвой великаньей,
Как голый конус, высится гора.

В ее массиве, словно в урне черной,
Дымится прах прадедовский, глухой,
Дворцы и церкви, ставшие трухой,
Вал крепостной, когда-то необорный.

Еще кружит слепой окружный град,
С уступа на уступ вползают башни...
Между развалин яростью тогдашней
Глазницы амбразур еще горят.

Еще вверху круглятся своды храма,
В песчаник врублены секиры и кресты.
Врата, зияющие черной ямой,
Отверсты в ширь ветров и пустоты.

Как шкура тигра в ржаво-бурой шерсти,
Величественный, грустный и немой,
Рыжеет город на скалистой персти,
И темный шлем горы увит чалмой.

Как в смерть — в глухие трещины и шрамы,
В следы рубцов на черепной кости,
В крошащиеся сводчатые храмы, —
Живые, мы глядимся на пути.

И этот путь отвесной круговерти
Ведет в века меж пропастей и гор.
Но горе тем, кто только в знаки смерти
Свой неподвижный погружает взор!

Прославим же тревогу огневую
Людей, чья жизнь поистине жива,
Тех, кто несет, трудясь и торжествуя,
Не смерти, а бессмертия слова.

Я отворачиваюсь. Там, в горах,
Сверкает гравий льющейся дороги,
Уходит вдаль, за дымные отроги,
Безвестный след, затоптанный во прах.

И вдруг — из-под ноги, на повороте —
Тропа, как птица, обрывает лет.
И на закатной тусклой позолоте
Тень человека светлая встает.

То странный муж проходит в отдаленье,
Чтоб выйти в мир, как спутник вековой.
Чтоб в каждом доме, городе, селенье
Жить и встречаться с дружбою живой.

Зиянье Тмогви. В знойной крутоверти
Бесплодных гор горючий ржавый склон.
И мы тогда узнали: это он,
Единственный, кто здесь достиг бессмертья.

И мы тогда узнали: мимо нас
Проходит, озарив навек ущелья,
Пред временем и смертью не склонясь,
Безвестный месх, чье имя — Руставели.

371. ЛЕСЯ УКРАИНКА В СЕН-РЕМО

Моей жене

...Сколько в мире звуков разнотонных,
И все крикливы, чужды, неприветны, —
Трусливый лай собак, мычанье, визг,
Рыданье ветра в монастырских звонах,
Могильных кипарисов шелест смертный,
И суета и гомон в пансионах,
И на прибрежье шум соленых брызг.
...Сколько запахов и влажных испарений,
Сплетенных туго, стелющихся душно,
Зацветших плесенью, перебродивших в сок.

Лимонных рощ ленивое струенье,
Сухое мленье горечи воздушной,
И в недрах кухонь — перец, спирт, чеснок,
И дуновенье известковой пыли,
И надо всем — как душный купол — йод
Горбящихся, соленых, теплых вод.
И в пестрый полдень, в этот блеск фальшивый,
Как балаган, открытый настежь весь,
Чужая и далекая, пришли Вы
И незаметно притаились здесь.
Вы — ласточка больная, что прибилась
Под черепицей где-то у окна.
И Ваше одиночество — как милость,
Которая навеки Вам дана.
...Сколько в горле надломилось стона,
Сколько слез в невыплаканной мгле!
Дыханье их бесплотно и бездомно,
Не задушить их ни в какой петле.
И лишь одна болезнь, одна усталость
Пришла сюда за Вами вслед.
Когда и чьим глазам бы разблисталась
Заря, вестующая свет?
До чьих ушей — не сослепу, не тщетно —
Дойдет Ваш тихий выстраданный стон?
Неужли прозвучит он безответно,
На умолчанье обречен?
С днепровских дальних круч,
с глухих озер Волыни
Несется к Вам далекий тихий зов,
И украинских песен взлет орлиный
До лигурийских прянет берегов.
Летят слова, летят они, как птицы,
Роями дум врезаются в лазурь,
Как вестники грядущих грозных бурь,
Вычерчивают знаки ауспиций.
И, вслушиваясь в дальний их полет,
Вы на распутье времени стоите,
И это странно светлое наитье
Вам обещанье и надежду шлет.
Пусть, скошенная приступом болезни,
Изнемогает молодая плоть,
Но сила духа, свет и пламя песни
Должны изнеможенье побороть...
. . . .

И час настал, когда в окне вагонном
Раздвинулись сады над горным склоном,
Вот профилем готическим плывет
Старинный городок в листве узорной,
И нас с тобой, любимая, зовет
Пророческий тот голос непокорный,
И смотрим мы тревожно и упорно
На Сен-Ремо, плывущее вдали
В лимонных рощах, в золотой пыли.
Мы снова вспоминаем крыши звонниц,
Меж узких улиц пестрое белье,
И площади, и башенки, и рынки,
Где в жарком одиночестве бессонниц
Рождался вещий стих ее,
Стих Украинки.

Леонид Первомайский

372. СНЕГ ЛЕТИТ

Снег летит и летит... Мы уже никогда не забудем,
Как на мертвые лица ложится нетающий снег.
Кто останется жив, пусть расскажет по совести людям:
Об отходе в ту зиму и думать не мог человек.

Снег летит и летит... Если по приговору потомства
Нас осудят за тяжкий от Сана до Дона отход,
Пусть припомнят: не нас одолело врага вероломство, —
С целым миром мы бились один на один в этот год.

Снег летит и летит... Мы не дешево жизнь отдавали
В той долине, где юность в осенней калине цвела.
В эти села глухие, в нагие кварталы развалин
Враг вошел, попирая холодные наши тела.

Снег летит и летит... Всё равно, в сентябре иль
в апреле
Не видали мы дня, не вставало нам солнце во мгле.
Восемнадцатилетние, в час поседев, догорели.
Их горячая кровь — под ногами у нас, на земле.

Снег летит и летит... Тяжелей умирать довелось им,
Чем отцам их, прожившим свой век от войны до войны.
Черной каплей свинца иль гранатой, ударившей оземь,
Думы юные скошены, юные прерваны сны.

Снег летит и летит... Вместе с ними погибла навеки
Тайна первой любви, и ушли в эту мглу навсегда
Не пройденные ими дороги, и горы, и реки,
В нерасцветших садах непостроенные города.

Снег летит и летит... А в степи, на холмах,
на пригорках
Ни крестов, ни имен. Только хлопья сплошной седины,
Словно горькая слава, совьются в стенаниях горьких.
Лучше лавров не надо безвестным героям войны.

Снег летит и летит... Мы идем по взметенному следу.
Что ни шаг, приближается час и рожок возвестит —
И другие пойдут в наступленье, и вырвут победу,
И пробьются по нашим могилам сквозь снег, что летит.

373. АЛОНСО ДОБРЫЙ

Памяти Михаила Светлова

Дон Алонсо, гидальго Ла-Манчи,
Узнаю тебя в нашей толпе!
Не в сраженьях раздавленный панцирь,
А потертый пиджак на тебе.

Нет коня, как читал я в романе,
Нет меча, что наточен остро,
А взамен ты в пиджачном кармане
Только вечное держишь перо.

Разве рыцарей так снаряжают
В наш нелегкий, в наш атомный век?
Дульцинею твою обижают.
Ты не стерпишь обиды вовек.

Ни сомненья, ни пренебреженья
Не грызут тебе сердца впотьмах.
Есть отвага. Есть воображенье.
Крылья мельниц шумят на холмах!

Ты не дремлешь и в мужестве дерзком
Взял копье и летишь напролом...
И когда рассвело в Камергерском,
Еще лампа горит над столом.

И колодец двора городского
Наливается светом до дна,
И как будто от блеска такого
Заиграла тенями стена.

И на ней, как на ярком экране, —
Все, кому ты так щедро дарил
Светлый ум и огонь дарованья,
Все, кого от беды защитил.

Жанна д'Арк озирается в муке.
За Херсоном тачанки скрипят.
Хлеборобов могучие руки
Нивы дальние потом кропят.

И в Каховке гремит канонада —
В знаменитом навеки селе.
И полтавский боец про Гренаду
Запевает, качаясь в седле.

Час пришел для последнего слова,
Наступила такая пора.
Ты к столу приближаешься снова
С вековечным оружьем пера.

И, веселый добряк, а не скептик,
Доброту завещаешь строке —
Дон Алонсо в мосторговской кепке
И потрепанном пиджаке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворное наследие П. Г. Антокольского достаточно обширно. При жизни поэта вышли 43 книги стихотворений и поэм, а также Собр. соч., в котором два первых тома составляют поэтические произведения.

Начиная с первых книг избранного, вышедших в конце 20-х — 30-е гг., Антокольский никогда не располагал стихи в строго хронологической последовательности; для разных его изданий характерен циклический принцип; в течение десятилетий циклы переформировывались, но ко второй половине 50-х — 60-м гг., когда были изданы итоговые двухтомники Антокольского, циклы в основном стабилизировались и в таком виде вошли в Собр. соч. 1971—1973 гг.

Структура Собр. соч. отличается четкостью: выделены большие разделы, соответствующие десятилетиям («Двадцатые годы», «Тридцатые годы» и т. д.) или периодам меньшим, но творчески плодотворным («Середина века», «Повесть временных лет» и др.); внутри разделов стихи группируются по циклам или подразделам, которые часто носят названия отдельных книг Антокольского, выходивших в разные годы («Запад», «Пушкинский год», «Железо и огонь», «Четвертое измерение» и др.); некоторые циклы (подразделы) вошли в Собр. соч. под названиями, «отстоявшимися» в книгах избранного, итоговых двухтомниках («Путевой журнал первый», «Путевой журнал второй», «Мастерская первая», «Мастерская вторая» и др.). Большие разделы Антокольский открывал заглавными стихами, которые набраны курсивом или прописными буквами. В настоящем издании соблюдены все авторские шрифты — курсивы, написание отдельных слов, строк и целых стихотворений прописными буквами, ибо таким образом поэт акцентировал особенно важное, значимое, настаивал на дорогих для него идеях.

Знаменательно, что ранние стихи Антокольский, как правило, помещал после разделов и подразделов, включающих написанное в 20-е и 30-е гг.; вообще, он печатал юношеские стихи очень выборочно или, возвращаясь к ним в последние годы, подвергал значительной переработке (см. «Ночной смотр»). Многие ранние стихи Антокольского так и остались неопубликованными, не вошли и в настоящее издание, включающее главное, лучшее из написанного одним из старейших советских поэтов, снискавшим еще при жизни репутацию мастера.

Рукописное наследие Антокольского хранится у родных поэта и сейчас готовится к передаче в ЦГАЛИ. Тщательно разобранное покойной Н. П. Антокольской, внуком поэта А. Л. Тоомом и другом

поэта В. М. Шатиловым, поэтическое наследие Антокольского представляет собой десятки тетрадей, аккуратнейшим образом оформленных, переплетенных самим поэтом, снабженных рисунками (стихи пронумерованы, в конце тетрадей оглавление). Лучше всего оформлены самые ранние тетради и тетради 50—70-х гг.

К сожалению, однако, целый ряд рукописей утрачен. Это затруднило датировку стихотворений. В настоящем издании стихи датируются следующим образом. Большинство дат — точных, иногда вплоть до месяца и числа, что установлено по рукописям или, в отдельных случаях, по авторским сборникам из личной библиотеки Антокольского (карандашом или чернилами поэт датировал стихи). Две даты через запятую означают, что существуют разные редакции стихотворения, разделенные во времени. Две даты через тире обозначают длительный период времени, в течение которого шла работа над стихотворением. Дата «между» таким-то и таким-то годом устанавливалась по тетради, в которую Антокольский заносил стихи, написанные за несколько лет, но при этом каждое стихотворение точно не датировал. Дата с вопросом ставится в том случае, когда автограф найден среди стихотворений, относящихся в основном к определенному году, но полной уверенности, что каждое стихотворение этой группы написано именно в этом году, — нет. Кроме того, с вопросом датированы стихи без автографа, — по связи с событием, отраженным в стихотворении. Даты с обозначением «или» ставятся в случае, если в разных изданиях стихотворение датировано по-разному, а автограф не обнаружен. Наконец, некоторые стихи датируются по первой публикации, и тогда год ставится в угловых скобках.

Настоящее издание имеет три части, отражающие главные линии поэтической работы П. Г. Антокольского: Стихотворения. Поэмы. Переводы. Поэмы расположены в хронологическом порядке, переводы — в порядке обращения Антокольского к поэзии того или иного народа (в разделе «Из поэзии народов СССР» — в алфавите языков, с которых переведены стихи); в настоящее издание включена лишь небольшая часть переводов Антокольского (полно они представлены в книгах: П. Антокольский, Два века поэзии Франции, М., 1976; П. Антокольский, Побратимы. Стихи о Грузии. — «Из грузинских поэтов», Тбилиси, 1963; «Стихи азербайджанских поэтов», Баку, 1959).

Требует пояснения структура первой части настоящего издания («Стихотворения»). Она делится на несколько частей: «Собрание сочинений» с сохранением всех разделов и подразделов в нем, но с необходимым сокращением количества стихотворений (в подраздел «Раннее», датированный 1916—1926 гг., Антокольский включил также и стихи, написанные позднее); «Ночной смотр»; «Конец века» (обе книги вышли после того, как было осуществлено Собр. соч. поэта; для настоящего издания из этих книг взята, за небольшими сокращениями количества стихотворений, лирика) и «Из несобранного и неизданного» — 22 стихотворения, в основном примыкающих к последней книге «Конец века» и впервые опубликованных в журнале «Нева», 1981, № 2.

При жизни Антокольского стихотворения перепечатывались многократно, при этом в текст постоянно вносились те или иные изменения. Непрерывно совершенствуя поэтический текст, Антокольский, тем не менее, редко менял его в корне, до неузнаваемости, — по этой причине в настоящем издании нет раздела «Варианты», наиболее ин-

тересные ранние редакции и варианты отдельных строф приводятся в Примечаниях.

В Примечаниях сообщаются сведения о первой публикации текста, об изданиях, в которых текст подвергся авторской правке; указывается источник, по которому печатается текст; отмечается наличие автографов. Там же сообщаются необходимые сведения историко-литературного и реального характера. В связи с тем, что таких сведений очень много, имена литературных героев, мифологических персонажей и т. п., часто встречающиеся в стихах, комментируются обычно лишь при первом упоминании, без отсылок в дальнейшем.

Сокращения, принятые в примечаниях

А — журнал «Аврора».
Бажан М. — М. Бажан, Избранное, М., 1974.
БР — П. Антокольский, Большие расстояния, М., 1936.
В — П. Антокольский, Время, М., 1973.
ВН — П. Антокольский, Высокое напряжение, М., 1962.
ДВПФ — П. Антокольский, Два века поэзии Франции, М., 1976.
ДЛ — П. Антокольский, Действующие лица, М., 1932.
Десять лет — П. Антокольский, Десять лет, М., 1953.
ДН — журнал «Дружба народов».
ДП — сборник «День поэзии».
ЖиО — П. Антокольский, Железо и огонь, М., 1942.
З — П. Антокольский, Запад, М., 1926.
Загл. — заглавие.
З — В — П. Антокольский, Запад — Восток, М., 1960.
Зв — журнал «Звезда».
Зн — журнал «Знамя».
И I — П. Антокольский, Избранные стихи, М., 1933.
И II — П. Антокольский, Избранное, М., «Молодая гвардия», 1946.
И III — П. Антокольский, Избранное, М., Гослитиздат, 1946.
И IV — П. Антокольский, Избранное, М., 1947.
И V — П. Антокольский, Избранные сочинения в 2-х тт., М., 1956.
И VI — П. Антокольский, Избранные произведения в 2-х тт., М., 1961.
И VII — П. Антокольский, Избранное в 2-х тт., М., 1966.
КВ — П. Антокольский, Конец века, М., 1977.
КН — журнал «Красная новь».
Л — журнал «Ленинград».
ЛА — личный архив П. Г. Антокольского.
ЛГ — «Литературная газета».
ЛР — «Литературная Россия».
М — П. Антокольский, Мастерская, М., 1958.
МГ — журнал «Молодая гвардия».
Н — журнал «Нева».
НМ — журнал «Новый мир».
НС — П. Антокольский, Ночной смотр, М., 1974.
Ог — журнал «Огонек».
Окт — журнал «Октябрь».
ОП — П. Антокольский, О Пушкине, М., 1960.
ПВЛ — П. Антокольский, Повесть временных лет, М., 1969.
ПГ — П. Антокольский, Пушкинский год, М., 1938.

Первомайский Л. — Л. Первомайский, Избранные произведения в 2-х тт., М., 1978.
Печ. — печатается.
ПЖП — П. Антокольский, Путевой журнал писателя, М., 1976.
Побратимы — П. Антокольский, Побратимы. Стихи о Грузии, Тбилиси, 1963.
РиГ — П. Антокольский, Робеспьер и Горгона, М.—Л., 1930.
СВ — П. Антокольский, Сила Вьетнама, М., 1960.
См — журнал «Смена».
СПЛ — П. Антокольский, Стихи последних лет, М., 1965.
СС — П. Антокольский, Собрание сочинений в 4-х тт., М., 1971—1973.
стих. — стихотворение.
Стихи азербайджанских поэтов — Стихи азербайджанских поэтов. С предисловием П. Антокольского, Баку, 1959.
Сын — П. Антокольский, Сын, М., 1943.
Сын (1946) — П. Антокольский, Сын, М., 1946.
С I — П. Антокольский, Стихотворения, М., 1922.
С II — П. Антокольский, 1920—1928. Стихотворения, М.—Л., 1929.
С III — П. Антокольский, Стихотворения и поэмы, Л., 1934.
С IV — П. Антокольский, Стихотворения, М., 1936.
С V — П. Антокольский, Стихотворения, М., 1941.
С VI — П. Антокольский, Стихи и поэмы, М., 1950.
С VII — П. Антокольский, Стихотворения и поэмы, М., 1958.
С VIII — П. Антокольский, Стихотворения, М., 1967.
Табидзе Т. — Т. Табидзе, Стихотворения и поэмы, М.—Л., «Библиотека поэта» (Б. с.), 1964.
ТК — П. Антокольский, Третья книга, М., 1927.
ТКВ — П. Антокольский, Третья книга войны, М., 1946.
ФВ — П. Антокольский, Франсуа Вийон, М., 1934.
ЧИ — П. Антокольский, Четвертое измерение, М., 1964.

СТИХОТВОРЕНИЯ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Эпиграф — из Пролога к трагедии Шекспира «Генрих V» (пер. А. Ганзен).

1. «Художественное слово», 1920, кн. 2, с. 5 (др. ред.); СII; ИV. Печ. по СС, т. 1, с. 11, Автограф (др. ред.). Журнальный текст (то же — СI):

Дитя! Понимаешь ты? Вот он, твой мир — златотронная школа,
Расплавленный глобус на вахте, скелеты и чучела тьмы.
Будь смелым, будь нищим, и жадно сквозь щель бредового
раскола
Разлейся в глаза первым встречным, и мертвым заройся в умы.

Не тьма за окном подымалась, не время над временем стлалось —
Из мрака растущее тельце несли пеленать в паруса.

Твоя колыбель — целый город и вся мировая усталость,
Твоя колыбель развалилась — подымем тебя на леса.

Рожденный в годину расплаты, о тех, кто платил, не печалься, —
Расчет платежами был красен: недаром на вышку ты влез.
Недаром от Волги до Рейна, под легкую музыку вальсов,
Под гром императорских гимнов, под огненный марш марсельез

Матросы, ткачи, рудокопы, шпионы, застрельщики, вестники,
Полки, корпуса Белой Расы друг друга зовут из-за гор,
В содружестве бурь всенародных и в жизни и в смерти ровесники,
Недаром, недаром, недаром меж вами немой договор.

Так слушай смиренно все правды, вещанные в том договоре:
Тебя обступили три века шкафами нечитаных книг,
Ты маленький их барабанщик, векам выбивающий зори;
Весь Космос твой друг огнекосмый, твой верный и равный двойник.

Неизвестные солдаты

2. «Россия», 1924, № 3, с. 80, без загл.; З, как первая ч. стих. «1914—1924»; ИI, как первое стих. цикла «1914 год». Печ. по ИV, т. 1, с. 15. В CVIII ошибочно указана дата: 1934. *Премьер-министр* — Горемыкин И. Л. (1839—1917), был на этом посту в годы первой мировой войны. *Выстрел по австрийской каске* — убийство 28 июня 1914 г. в Сараеве австрийского престолонаследника Франца Фердинанда, послужившее поводом к войне (см. также примеч. 156). *Война объявлена.* 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России.

3. ИV, т. 1, с. 16. Печ. по ИVII, т. 1, с. 11. Речь идет о начале первой мировой войны.

4. ИVI, т. 1, с. 18, разделено на три части. Печ. по ИVII, т. 1, с. 13. Отдельные строфы ранее неоднократно печатались в качестве самостоятельных стихотворений. Строфы 1—7: КН, 1932, № 6, с. 123, под загл. «1914»; ДЛ, как первое стих. цикла «Девятьсот четырнадцатый»; ИI, как третье стих. цикла «1914 год»; ИIV, как третья ч. стих. «Четырнадцатый год». Строфы 8—12: «Россия», 1924, № 3, с. 81, без загл., как четвертая ч. стих. «1914—1924»; З, как вторая ч. стих. «1914—1924»; CII, как последние 20 строк стих. «1914—1924»; ИI, как второе стих. цикла «1914 год». Строфы 13—15: ДЛ, как 3—6 строфы третьего стих. цикла «Девятьсот четырнадцатый»; ИI, как 3—5 строфы пятого стих. цикла «1914 год». Строфы 16—19: CIII, с. 204, как строфы 1—3, 9 стих. «Проект автобиографии». *Долго молоко волчицы* и т. д. Образ восходит к легенде об основании Рима братьями-близнецами Ромулом и Ремом, вскормленными волчицей. *Джоконды кража.* Знаменитая картина Леонардо да Винчи в 1911 г. была украдена из Лувра. *Процесс Кайо.* В 1918 г. французское правительство арестовало министра финансов Жозефа Кайо (1863—1944), обвинив его в государственной измене. *Пинкертоновский раж.* В начале XX в. большую популярность в Европе и в России приобрела «пинкертоновщина», по имени американского сыщика А. Пинкертона, — бульварная, лубочная разновидность детективной литературы. *Макс Линдер* (наст. имя — Габриель Лёвьель, 1883—1925) — французский актер, был ранен на фронте первой мировой войны.

5. ДЛ, с. 102, без загл., как пятое стих. цикла «Девятьсот четырнадцатый»; ИI, без загл., как седьмое стих. цикла «1914 год»; ИIV, как седьмая ч. стих. «Четырнадцатый год». Печ. по ИV, т. 1, с. 16. В CVIII ошибочно указана дата: 1934. *Могила Неизвестного Солдата* была открыта 11 ноября 1920 г. под *аркой Триумфа* (Триумфальной аркой) в Париже.

6. «Известия», 1956, 22 апр., в статье «День рождения», без загл. ИV; CVIII, под загл. «Накануне», дата: 1947. Печ. по СС, т. 1, с. 18. *В безлюдье Цюриха иль Берна* и т. д. Во время первой мировой войны В. И. Ленин жил в Швейцарии (в 1914—1916 гг. в Берне, в феврале 1916 — марте 1917 г. в Цюрихе), в работах этого периода он выдвинул лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую.

7. ИV, т. 1, с. 19; CVIII, дата: 1947. Печ. по СС, т. 1, с. 20.

Кубок Большого Орла

В статье «У себя дома» (1975) Антокольский так характеризовал стихи, вошедшие в этот подраздел: «Моя встреча с потрясающими событиями эпохи была, если угодно, парадоксальна. Да, я стал писать так называемые гражданские стихи — но о чем же, о ком? — О Петре Великом, Павле Первом... наконец, о «последнем» — злосчастном Николае Втором, уже в ту пору расстрелянном. Было бы нелепо назвать эти стихи «монархическими». Но такие упреки мне приходилось выслушивать, да и впоследствии иносказательно они звучали в печатных отзывах обо мне. Между тем явной, бьющей в глаза тенденцией в этих стихах была оглядка на прошлое из тогдашнего «сегодня», был историзм вйдения революции, связь времен в воображении романтика» (ПЖП, с. 291—292).

8. CI, с. 3 (др. ред.); CII; CIII, под загл. «Петр Великий»; CIV, дата: 1917. Печ. по ИVII, т. 1, с. 21. Автограф, без загл. (др. ред.). В CI после второй строфы:

И вновь на рассвете пешком в Департамент
Весь город, прильнувший гранитными ртами
К туманам, как к Кубку Большого Орла.
Стрельцы! вы оглохли — на Лобном, от звона,
От водки, от ветра, от пушек. С разгона
Вам головы вьюга сама сорвала.

Россия! ты в бунт сатанинский и славный
Нахлынула стаей зегзиц Ярославны,
Настроила тысячи новых Россий.
Забыла, чей лик на рублях твоих выбит,
Кто вздернул тебя на дыбы и на дыбе.
А он не забыл. Он с тобой. Ты еси.

Хранимый наитием, вьюгой ведомый,
Сквозь Мертвые Души и Мертвые Домы
Свершает полуночный факельный смотр
В полярном сиянье, как в пляшущих перьях,

Механик и Демон по льдяной Империи, —
Неистовый, стужей обсвистанный Петр.

Антокольский не раз возвращался к образу *Петра* I (1672—1725), например, в поэме «Кубок Большого Орла» (1972, вошла в книгу «Ночной смотр», М., 1974). *Меншиков* А. Д. (1673—1729) — сподвижник Петра I, крупный военачальник во время Северной войны 1700—1721 гг. *Лефорт* Ф. Я. (1655 или 1656—1699) — сподвижник Петра I, адмирал. *На финский гранит вознесенный* и т. д. — памятник Петру I («Медный всадник») скульптора Э. М. Фальконе, открытый в Петербурге в 1782 г.

9. CI (др. ред.). Печ. по ИVII, т. 1, с. 23. Автографы (др. ред.), один из них — среди стихотворений зимы — весны 1918 г. *Павел* I (1754—1801) — российский император с 1796 г., ввел в государстве военно-полицейский режим, в армии прусские порядки, убит заговорщиками-дворянами. *Пален* П. А. (1745—1826) — граф, петербургский генерал-губернатор, один из организаторов и участников убийства Павла I. *Господа Сенат встречают манифестом новый век.* 12 марта 1801 г. после убийства Павла I на престол вступил его старший сын Александр I, начало его царствования ознаменовалось проведением умеренно-либеральных реформ.

10. CI, с. 8; CII, без двух последних строк. Печ. по ИVII, т. 1, с. 25. *Ходынка.* Имеется в виду катастрофа на Ходынском поле в Москве, где во время раздачи царских подарков по случаю коронации Николая II из-за халатности властей произошла давка и погибли тысячи людей. *Цусима* — Цусимское сражение во время русско-японской войны, закончившееся разгромом русской Тихоокеанской эскадры.

11. CI, с. 6. Печ. по ИVII, т. 1, с. 27. *Путилово* — поселок близ *Колпино* под Ленинградом. *Петарда* — бумажный снаряд, начиненный порохом, используется при фейерверках.

12. ОП, с. 76. Печ. по ИVI, т. 1, с. 52. В 1924 г. в Ленинграде было одно из сильнейших за всю историю города наводнений.

13. ТК, с. 45, без строфы 10; ИII, дата: 1927; ОП, под загл. «Вступление», дата: 1927. Печ. по ИVI, т. 1, с. 50. *Пусть на площади, раньше мятежной* и т. д. На Сенатской площади, ныне площади Декабристов, названной в память о декабрьском восстании, стоит памятник Петру I (см. примеч. 8).

Запад

Автографы — в тетрадях: «Дневник Павла Антокольского. Часть вторая. Начата 12 июня 1928 г. Paris», «Париж. 1928»; «Человек в толпе. Вторая книга стихов. 1922—1924 гг. Москва, Петроград, Стокгольм, Берлин, Северное море». Антокольский так вспоминал о создании стихотворений, составивших этот подраздел: «Весной 1923 года Театр имени Евгения Вахтангова... двинулся в далекие края на гастроли. Маршрут был: Таллин — Стокгольм — Гётеборг — Берлин. Эта поездка, длившаяся больше двух месяцев, оказалась для меня

зарядом очень большой мощности и толчком к овладению новыми и важнейшими темами и мыслями... Это была мысль о гибели буржуазной культуры, или, говоря языком того времени, о *закате Европы.* Особую роль здесь сыграл послевоенный, голодный, страшный Берлин» (ПЖП, с. 293).

14. З, с. 5, без загл., как второе стих. цикла «Запад»; ИVI. Печ. по ИVII, т. 1, с. 36. *Орфей* (греч. миф.) — фракийский певец, сын музы Каллиопы, верный возлюбленный, спустившийся за своей женой *Эвридикой* в Аид, царство мертвых.

15. «Петроград», 1923, № 15, с. 8 (др. ред.); «Красная нива», 1924, № 49, с. 1180, как первое стих. в цикле «Швеция», без строф 5, 6; З, как первое стих. в цикле «Швеция 1923 года»; СII. Печ. по ИVI, т. 1, с. 28. Автограф.

16. «Россия», 1924, № 1, с. 77, под загл. «Первый ночной разговор»; З. Печ. по ИVII, т. 1, с. 45. Автограф (др. ред.). Эпиграф — слова Духа Земли из трагедии Гете «Фауст». *Факельный Броккен.* С Брокkеном, вершиной в горах Гарц, связан ряд немецких народных поверий — например, шабаш ведьм в Вальпургиеву ночь. *Тиргартен* — парк в Берлине. *Шарлеруа* — город в Бельгии.

17. З, с. 17; СII, строфы 11—15 выделены под загл. «Клятва молнии». Печ. по СС, т. 1, с. 41. Автографы, один из которых под загл. «Дождь в Тиргартене». *Курфюрст* — владетельный германский князь. *Брыжи* (польск.) — оборки в складках на воротнике, груди и манжетах. *Тор* (сканд. миф.) — верховное божество, бог грома, бури и плодородия, изображался богатырем с каменным молотом. *Бранденбургер-тор* — Бранденбургские ворота в центре Берлина. *Куклы Аллеи Побед* — статуи военачальников в Аллее Побед в Берлине, олицетворяющие торжество немецкого милитаризма.

18. З, с. 28, под загл. «Немецкая выставка Межрабпома»; СII, с пояснением к загл.: «Выставка рисунков и графики немецких художников-экспрессионистов послевоенного десятилетия, устроенная в Москве Межрабпомом в 1924 г»: ИI. Печ. по ИVI, т. 1, с. 39. Автограф, без строф 5, 6, 10, 11. *Экспрессионисты* — художники первой четверти XX в., выразившие индивидуалистический протест против уродств капитализма, чувства обреченности и ужаса перед унижением человека и войнами; в творчестве немецких художников-экспрессионистов Э. Нольде, Ф. Марка, П. Клее — болезненная напряженность эмоций, гротескная изломанность образов, деформация мира; художники Э. Барлах, Ж. Гросс, О. Дикс сближались с антиимпериалистическим движением и реализмом. *Кафры* — наименование юго-восточных африканских народов. *Голем* — в древнееврейских сказаниях человеческая фигура, вылепленная из глины, в которую вдохнули жизнь; такая фигура была создана в Праге в XVI в.; символизирует бездушный автомат, робот. *Пикассо* Пабло (1881—1973) — французский живописец, в начале XX в. создал обостренно-выразительные произведения, посвященные обездоленным людям (см. также примеч. 163).

19. КН, 1930, № 6, с. 135, под загл. «На ты с Парижем»; ДЛ, без загл.; СIII, под загл. «Париж 1793—1928». Печ. по ИV, т. 1, с. 25,

Автограф. Встреча с Парижем произвела на Антокольского огромное впечатление: «Сегодня я уже третий день в Париже. Боже мой как это мне странно и почти тягостно почувствовать до конца!» — записывал он 12 июня 1928 г. в «Парижском дневнике» (ЛА). *Пантеон* — усыпальница выдающихся людей в Париже. *Гарсон* — букв.: мальчик; официант во французском ресторане.

20. КН, 1930, № 6, с. 134, под загл. «Великанша»; ДЛ, под загл. «Республика». Печ. по ИIV, с. 51. Автограф. *Третья республика* (1870—1940) — была образована во Франции после падения Второй империи, ее начало ознаменовано Парижской коммуной. *Куафюра* (фр.) — пышная женская прическа. *Кайенна* — город во Французской Гвиане, с конца XVIII в. место ссылки политических заключенных, куда после падения Парижской коммуны было сослано много коммунаров. *Аграф* (фр.) — нарядная пряжка или застежка. *Гражданский кодекс Бонапарта* — действующий гражданский кодекс Франции, составленный при активном участии Наполеона в 1804 г.; Ф. Энгельс характеризовал этот кодекс как классический свод законов буржуазного общества. *Горгона* (греч. миф.) — крылатая женщина-чудовище со змеями вместо волос; взгляд ее превращал все живое в камень. *Якобинский жаргон* — речи членов Якобинского клуба в период Великой французской революции, выражали интересы революционно-демократической буржуазии, выступавшей в союзе с крестьянством и плебейством (см. также примеч. 25).

21. КН, 1928, № 10, с. 135. Печ. по ИVII, т. 1, с. 58. Автограф, без загл. Антокольский записывал в «Парижском дневнике» (1928 г.): «Бульвар Сен-Мишель. Сердце Латинского квартала. Рядом Сорбонна. Много молодежи... может быть, это современные Растиньяки, нищие гении Сорбонны. И может быть, одному из них предстоит через два-три года сказать слова, — в стихах или прозе, — от которых закружится голова у пол-Европы. Пока мы тут, этому хочется верить. И можно верить» (ЛА). *Сен-Мишель* — бульвар в Париже. *Латинский квартал* — неофициальное название одного из старейших районов Парижа, где расположены многие школы и высшие учебные заведения, в частности парижский университет Сорбонна; в XIX — начале XX в. здесь проживали преимущественно студенты и менее обеспеченные слои интеллигенции; квартал артистической, художественной богемы.

22. СII, с. 82, под загл. «Химеры говорят». Печ. по ИVII, т. 1, с. 60. Автографы (черновой и беловой), под загл. «Химеры говорят». Антокольский писал в «Парижском дневнике» о впечатлении, произведенном на него собором Парижской богоматери: «Это чудище стоит, может быть, того, чтобы только на него и смотреть в Париже. Во-первых, неожиданность. Собор черен, как кусок антрацита, как обгоревшее дерево. И, как на обгоревшем, выпуклости посыпаны пеплом. Барельефы дверей главного входа — история гражданских войн христианства, повесть о борьбе за существование. Все фигуры борются, попирают ногами дьявольских врагов, угрожают посохами. Попы, святые, блаженные девы, мученики — всех их скульптор мобилизовал для пропаганды. Они жестикулируют безо всякого смиренномудрия. Они полны отваги и злобы... химеры... царствуют над собором. Это его гении-хранители... Мы поднялись к химерам по

витой лестнице. Накрапывал дождик... Химеры скалили зубы, высовывали языки. По ним текла вода. Внизу был город, в туманной дымке, в бензиновой гари, полный воздуха, напряжения, воспоминаний и слов. Что бы ни случилось на свете, как бы ни менялась мода внизу... каменные бестии останутся на своих насиженных местах. Им некуда ниже и незачем выше. Это самое достоверное из всего, чем обладает и что знает Париж... У меня чувство, что именно сюда, к собору и к его химерам я и приехал. Я приехал к *первоисточнику*. Не могло быть, чтобы рядом с таким камнем не вырос реалистический роман и романтический театр. Да, да! Химеры помнят игорные дома Пале-Рояля, пантомимы Дебюрро, баррикады 30-го года, тирады романтиков. У них отличная, бешеная, веселая эрудиция. Это они заказали букинистам стоять на набережных Сены» (ЛА). *Химера* — в средневековом европейском искусстве скульптурное изображение фантастического чудовища.

23. ДЛ, с. 25. Печ. по СIII, с. 87. Автограф.

24. СII, с. 91; СVI. Печ. по ИVII, т. 1, с. 63. Автограф, под загл. «Хвала». *Площадь Де-ля-Конкорд* — площадь Согласия в Париже. *Лупанар* (лупанарий) — дом терпимости. *Скелет баррикады, Разбитой в тридцатом году*. Речь идет об июльской революции во Франции 1830 г.

Действующие лица

О стихах, составивших этот подраздел, Антокольский писал: «Кроме русских исторических образов, сюда вторгались Гамлет с Дон-Кихотом, фламандские гёзы, и гуляки времен лондонской чумы, циркачки и цыганки, и всякого рода балаганные зазывалы... Фигуры эти были *физиогномичны*, то есть преувеличенно, даже искаженно отражали мой жизненный и душевный опыт, как он сложился в ту пору, и делал меня не похожим на поэтов-сверстников или на тех, что постарше» (ПЖП, с. 292).

25. КН, 1927, № 4, с. 118; в кн.: Поэзия революции, М., 1930, с. 43; ТК; СII. Печ. по СС, т. 1. с. 59. Черновой автограф, без загл.; беловой автограф. Антокольский так комментировал историю стих.: «Когда в черновой тетради начал я набрасывать автобиографию вымышленного персонажа:

Мать моя колдунья или шлюха,
А отец какой-то старый граф, —

я совсем не представлял себе дальнейшего пути этого незаконнорожденного отпрыска, не знал и того, когда и в какой стране это происходит. Это определилось по ходу развития сюжета, по мере того как работало воображение. Так возник образ горбуна и акробата, ставшего санкюлотом, а вокруг атмосфера якобинской диктатуры и в самом конце обращение героя к нам, людям двадцатого века. Стихотворение это стало по-своему программным для меня, чем-то вроде манифеста поэта-романтика» (ПЖП, с. 292—293). *Санкюлот* — термин времен Великой французской революции: представитель городской бедноты; в годы якобинской диктатуры самоназвание револю-

ционеров. *Якобинский клуб* — политический клуб периода Великой французской революции, имел много филиалов в провинции (см. примеч. 20). *Нас венчает равенство кокард* и т. д. Имеются в виду трехцветные эмблемы республиканцев, членов национальной гвардии во время Великой французской революции.

26. НМ, 1931, № 7, с. 65, с подзаголовком «Куски поэмы» и другим делением на части; ИIV. Печ. по СС, т. 1, с. 62. *Брабант* — провинция в Бельгии, в 1789—1790 гг. здесь началась буржуазная революция, направленная против австрийского господства в бельгийских провинциях. *Аркебуза* — пищаль, ручное огнестрельное оружие. *Драбант* — солдат-пехотинец королевской стражи. *Ландскнехт* — солдат немецкой наемной пехоты в XV—XVII вв. *Алебарда* (фр.) — длинное копье, поперек которого прикреплены топорик или секира. *Гёзы* — во время нидерландской буржуазной революции народные повстанцы-партизаны. *Маэстозо* (итал., муз. термин) — торжественно. *Остенде, Гент* — города-порты в Бельгии. *Сент-Омер* — город на севере Франции.

27. Зв, 1930, № 5, с. 43, под загл. «Рождение прозы»; КН, 1930, № 6, с. 137; ДЛ; CIV. Печ. по СС, т. 1, с. 68. Автограф, над зачеркнутым загл. «Бальзак» надписано: «Рождение прозы». В Зв перед первой строкой:

Казалось, ночь была черней и крепче кофе,
Вся залита свинцом, в ожогах и в дыму,
В слезах и ссадинах, как жуть средневековья.
Но гибнет бестия. Конец. И потому —

Там же, после 22-й строки:

Он трет вспотевший лоб.
В итоге наблюдений
Остался перечень ошибок и обид.
И только дождь долбит: дай денег, денег, денег!
Долбит по капле дождь, и тишина долбит.
И если твой башмак по этой грязи хлюпал,
Будь трезвым, как вода, и — глупым, глупым, глупым,
Как дождь, как ржавая блевота желобов,
Как власть традиции, как вечная любовь.

Каверин Вениамин Александрович (р. 1902) вспоминает обстоятельства посвящения: «Стихотворение Антокольского, посвященное мне... было написано, помнится, в связи с нашим разговором о несходстве жизни прозаика и поэта. Я рассказывал ему о неизбежной прикованности к столу, свойственной жизни романиста, а он рассказывал мне, с какой непоследовательностью, с какой неожиданностью для поэта подчас возникают стихи. Я часто приезжал тогда в Москву из Ленинграда и, разумеется, непременно посещал моего близкого друга» (из письма к Н. Б. Банк от 19 июля 1980 г.). О взаимоотношениях писателей см. в статье Антокольского «Вениамин Каверин» (СС, т. 4, с. 216—220), в книге В. Каверина «Вечерний день» (М., 1980, с. 129—132, 253) и в его воспоминаниях «Старый друг» (НМ, 1982, № 3, с. 223— 231). *Гарпии* (греч. миф.) — богини вихря, крылатые чудови-

ща-птицы с женскими головами. *Голконда* — государство в Индии в XVI—XVII вв., славившееся добычей алмазов.

28. СII, с. 133. Печ. по ИVII, т. 1, с. 91. *Кржижановский* Сигизмунд Доминикович (1887—1950) — литератор, знакомый Антокольского.

29. ДЛ, с. 32, с посвящ. Л. П. Русланову (актеру Театра им. Вахтангова). Печ. по ИVII, т. 1, с. 93. Черновые автографы, все без загл.; беловой автограф, под загл. «Венера Милосская»; автограф, под тем же загл., с припиской карандашом в скобках: «Лувр».

30. КН, 1930, № 6, с. 136. Печ. по СIII, с. 111. *Инфанта* Маргарита-Мария — дочь испанского короля Филиппа IV (1621—1665). Ее портрет кисти Веласкеса (1599—1660) хранится в коллекции Лувра. «За эти дни был: в Лувре — наскоро. Старые мастера живописи. Отмечаю Веласкеса, Делакруа и Мантенью», — записывал Антокольский в «Парижском дневнике» 14 июня 1928 г. (ЛА). *Дуэнья* — пожилая женщина, неотступно следящая за поведением молодой девушки. *Эскуриал* — резиденция испанских королей близ Мадрида.

31. СIII, с. 221. Автограф, без строф 3 и 4. *Фальстаф* — персонаж пьес Шекспира «Виндзорские насмешницы» (1602) и «Генрих IV» (1598). *Смуглая леди из предместья* — возлюбленная Шекспира, которой посвящены его сонеты. *Калибан* — персонаж романтической драмы Шекспира «Буря» (1612). *Бедный Йорик* — реплика Гамлета в трагедии «Гамлет» (акт V, сцена 1), обращенная к черепу давно умершего королевского шута.

32. «Сороконожка», 1918, № 1, с. 29; ТК, под загл. «Актер». Печ. по ИI, с. 100, ошибочно указана дата: 1920. Автограф. *Эдмонд* (Эдмунд) *Кин* (1787—1833) — великий английский актер, лучшие роли создал в трагедиях Шекспира, после краткого триумфа испытал травлю со стороны реакционных кругов английского общества.

33. ТК, с. 38, ч. 1—5, где четвертая ч. с незначит. изменениями — это строфы 1—5 из стих. «Гамлет» (СI), а пятая ч. без первой строфы; СII, как девятое стих. цикла «Театральный разъезд», состоит из шести частей, дата карандашом в авторском экземпляре: 1920—28 г.; ИI, то же, дата: 1925—26 гг.; ИII, дата: 1927 г.; ИV, как цикл из шести частей, где первая ч. под загл. «Завязка» (1925), вторая ч. — под загл. «Решение» (1925), третья ч. — под загл. «Разгар трагедии» (1925), четвертая ч. — под загл. «Комедиант» (1925), пятая ч. — под загл. «После представления» (1930), шестая ч. (впервые) — под загл. «Приписка» (1925—1955); ИVI, состоит из семи частей, где седьмая ч. впервые. Печ. по СС, т. 1, с. 84. Автограф, седьмая ч. *Эльсинор* — замок, в котором происходит действие трагедии Шекспира «Гамлет». *Эспланада* — открытое место, площадь перед каким-нибудь зданием.

Зоя Бажанова

Автографы главным образом в тетради «Зое». *Зоя Бажанова* — Бажанова-Антокольская Зоя Константиновна (1902—1968) — актриса

Театра им. Е. Вахтангова, жена П. Г. Антокольского, адресат его лирики.

34. СС, т. 1, с. 148. Автограф (др. ред.), без загл.

35. СС, т. 1, с. 149. Автограф, без загл.

36. «Ковш», кн. 1, Л., 1925, с. 36, без загл.; ТК, без загл. Печ. по ИVI, т. 1, с. 93. Автографы, под загл. «Цыганская песня» и без загл. *Падуга* — верхняя вспомогательная декорация, скрывающая от зрителя механизм верхней части сцены. *Антигона* (греч. миф.) — дочь царя Эдипа, последовавшая за отцом в добровольное изгнание из Фив в Колон; олицетворение дочерней и родственной любви, долга и мужества.

37. ТК, с. 24, без загл.; СII; ИVI. Печ. по СС, т. 1, с. 152.

38. ТК, с. 3, без загл.; ИVI. Печ. по СС, т. 1, с. 153. Автограф, без загл., дата: 1929. *«Паяцы»* (1892) — опера итальянского композитора Р. Леонкавалло (1857—1919).

39. СС, т. 1, с. 154. Автограф.

40. ДЛ, с. 57; СIII, с посвящ. З. К. Б. (Зое Константиновне Бажановой, см. с. 710). Печ. по СIV, с. 225.

41. БР, с. 67, без загл.; СV, под загл. «Приближается время. . .». Печ. по ИIV, с. 68. Автограф, без загл.

42. БР, с. 65. Автограф, без загл. *Где-то в колхозе ребята Тебя провожают* и т. д. В 30-е гг. З. К. Бажанова вместе с Антокольским шефствовала в качестве режиссера над колхозным театром Горьковской области.

43. Зв, 1935, № 9, с. 49, под загл. «Тост»; ИIV, с эпиграфом: «Вот наше прошлое сжато в горсти. Чокнемся в честь прожитого пути!»; ИV; ИVI; ИVII. Печ. по СС, т. 1, с. 164.

44. Зв, 1933, № 1, с. 46, без загл.; СIII. Печ. по СС, т. 1, с. 166. Автограф, без загл.; автограф (в письме З. К. Бажановой от 16 апреля 1929 г.), перед первой строфой:

О любимице мглы моей сонной,
О звезде моих черных ночей,
О неведомо как занесенной
В этот мир — и неведомо чьей.

О тебе, моя скромная прелесть. . .
Еле слышно, но громче нельзя.
Но глаза мои не насмотрелись
В эти юные злые глаза.

После третьей строфы:

Я люблю тебя — верность и милость,
Доброты золотой колосок.

Ты не птица, — а в клетке томилась,
Не преданье, — а сон мой высок.

45. СІІІ, с. 198, без загл.; ИVI. Печ. по СС, т. 1, с. 167. Два автографа, без загл.

46. Л, 1946, № 6, с. 9; Десять лет, под загл. «Опять!». Печ. по СVI, с. 31. Автограф, без загл.; автограф, под загл. «Опять!».

47. СС, т. 1, с. 171. Автограф, как надпись на переплетенном журнальном экземпляре поэмы «В переулке за Арбатом».

РАННЕЕ. 1916 — 1926

Автографы — в тетрадях «1967» (раздел «Очень ранние»), «Стихи 1916—1919» (Красная Пахра — 1967), «Человек в толпе. Вторая книга стихов. 1922—1924 гг.». Эпиграф — из сказки датского писателя Х. К. *Андерсена* (1805—1875) «Снежная королева».

48. ПВЛ, с. 79. Автограф, без загл.; автограф, без загл. и без двух последних строф.

49. ТК, с. 3, под загл. «Вступление». Печ. по ПВЛ, с. 80. Автограф, под загл. «Вступление».

50—51. СІІІ, с. 224, первое стих. под загл. «Цыганская песня», второе стих. — под загл. «Еще цыганская»; ПВЛ. Печ. по СС, т. 1, с. 181. Автограф.

52. ПВЛ, с. 89. Автограф, без загл.; автограф, без загл., с посвящ. Н. Игнатовой (театральной знакомой Антокольского). *Василиск* (греч. миф.) — животное в виде змеи, от взгляда которого погибает все живое. *Рында* — оруженосец или телохранитель придворной охраны московских царей.

53. ПВЛ, с. 93. Автограф, как первая ч. стих. «В девятнадцатом веке».

54. СІІІ, с. 189. Печ. по ПВЛ, с. 98. Автограф.

55. Зв, 1933, № 1, с. 45, без загл. Печ. по ПВЛ, с. 101.

56. «Дон», 1967, № 9, с. 126, под загл. «В 1920 году». Печ. по СС, т. 1, с. 198. Автограф, под загл. «В 1920 г.».

57. «Дон», 1967, № 9, с. 125, под загл. «В 1918 году». Печ. по ПВЛ, с. 105. Автограф, под загл. «В 1918 г.», без строфы 5; автограф, без загл.

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

Эпиграф — из монолога Чацкого в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 4, явл. 3).

58. «30 дней», 1936, № 2, с. 32. Печ. по ИV, т. 1, с. 81.

Сумерки трагедии

59. ИVII, т. 1, с. 315. Автограф, с припиской карандашом: «Памяти трагедии». *Крещендо* (итал., муз. термин) — всё громче. *Елена* (греч. миф.) — дочь Зевса и Леды, славившаяся необыкновенной красотой; похищение ее троянским царевичем Парисом послужило поводом к Троянской войне. *Кассандра* (греч. миф.) — дочь царя Трои Приама, получившая от Аполлона пророческий дар; отвергнутый Кассандрой Аполлон сделал так, что ее прорицаниям перестали верить. *Одиссей* — царь Итаки, участник осады Трои. *Орест* — герой трагедий Эсхила, Софокла, Еврипида и др.

60. ПГ, с. 53. Печ. по CV, с. 100. *Пергам* — древний город в Малой Азии, столица Пергамского царства, культурный центр эллинистического мира. *Эсхил* (ок. 525—456 до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург, «отец трагедий». *Золотое Руно* (греч. миф.) — золотая шкура волшебного барана, похищенная аргонавтами. *Аид* (греч. миф.) — царство мертвых.

61. КН, 1927, № 10, с. 145 (ран. ред.), под загл. «Эпилог»; CII, без загл. Печ. по ИVII, т. 1, с. 319. Автограф. *Прометей* (греч. миф.) — титан, похитивший у богов с Олимпа огонь и передавший его людям, за что по приказу Зевса был прикован к скале и прилетавший каждый день орел (здесь — *коршун*) расклевывал его печень. *Хроматическая гамма* — гамма, включающая все 12 входящих в октаву полутонов.

62. Зв, 1929, № 4, с. 42 (др. ред.), под загл. «Реквием», без посвящ.; CII, без загл. Печ. по ИVII, т. 1, с. 321. Автограф, под загл. «В тридцатых годах двадцатого века». *Луговской Владимир* Александрович (1901—1957) — советский поэт, друг Антокольского; см. также примеч. 75, 133.

Нетерпенье

63. КН, 1932, № 10, с. 46, под загл. «1932. Май. Утро»; CIII, без загл.; CVI, как первая ч. стих. «Нетерпенье» (вторая ч. — см. примеч. 64). Печ. по ИVII, т. 1, с. 349.

64. ДЛ, с. 104, под загл. «Заключение»; CIII, без загл.; ИIV, под загл. «В тот год. . .»; CVI, как вторая ч. стих. «Нетерпенье» (первая ч. — см. примеч. 63). Печ. по СС, т. 1, с. 375. *Голодал Поволжьем.* Имеется в виду голод в Поволжье в 1921—1922 гг.

65. ДЛ, с. 21, без загл.; В, под загл. «Спор». Печ. по СС, т. 1, с. 380.

Большие расстояния

«Тридцатые годы, в противоположность двадцатым, были ознаменованы знакомством с родной страной, с ее разными широтами и долготами. Еще некомфортабельные аэропорты и несовершенные са-

молеты, шоссейные дороги, вокзалы — все это давало ощущение простора и новизны. Так жили многие поэты, актеры, художники... Но, в сущности, весь советский народ так или иначе стронулся с обжитых мест. Слово «темп» было лозунгом, понятным каждому и заражающим энергией, заложенной в любом мимолетном, мимолетящем дне» (ПЖП, с. 296).

66. БР, с. 10, без загл., с эпиграфом: «За жар души, растраченный в пустыне» — из стих. М. Ю. Лермонтова «Благодарность» (1840). Печ. по СVI, с. 63. *Дым грибоедовский.* Подразумевается строка из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «И дым отечества нам сладок и приятен!»

67. ДЛ, с. 75; ИI, под загл. «Приезжий говорит». Печ. по ИVII, т. 1, с. 364. Автограф. В стих. отразились впечатления от поездки в 1930 г. на Сясьстрой в составе писательской бригады.

68. БР, с. 16, без загл. Печ. по ИIV, с. 92. Написано под впечатлением поездок в Армению в 1934 и в 1935 гг. *Порфира* (греч.) — пурпурная мантия монарха. *Дарий I* — царь государства Ахеменидов в 522—486 гг. до н. э., жестоко подавлял восстания подчиненных ему народов, в том числе армян. *Митридат* VI Евпатор (132—63 до н. э.) — царь Понта, подчинил себе Армению во II в. до н. э. *В ночном кафе усталый химик Рассказывает про каучук.* В 1934—1935 гг. в Ереване начато строительство первого в СССР комбината по производству синтетического каучука. *Сарьян* М. С. (1880—1972) — советский живописец, вдохновенный певец Армении. *Янычар* — солдат турецкой регулярной пехоты, созданной в XIV в. *Где-нибудь в ночном вагоне* и т. д. В начале 30-х гг. существовало железнодорожное сообщение Еревана с Турцией. *Аракс* — река на границе СССР с Турцией.

69. КН, 1936, № 1, с. 134, с эпиграфом: «Только что в ущелье над селением Джута найден разбившийся самолет П-5. *Из газет*» и посвящ. В. В. Гольцеву (1901—1955), критику, автору работ о грузинской литературе, вместе с которым Антокольский ездил в Грузию; БР, без эпиграфа, с тем же посвящ. Печ. по ИVI, т. 1, с. 137. Черновой автограф, под загл. «Ночь на станции Казбек», без эпиграфа, с посвящ. В. Гольцеву; беловой автограф. Антокольский так вспоминает о событиях, под впечатлением которых написано стих.: «...Часа в четыре ночи мы остановились у подножия Казбека, против гостиницы, длинного и некрасивого двухэтажного строения, дышавшего девятнадцатым веком... На застекленной террасе был свет, две или три керосиновые «молнии» освещали лица сидящих за столом. Это были летчики и альпинисты. Недавно в горах разбился почтовый самолет, несколько дней продолжались поиски разбитой машины и погибшего экипажа. Как раз накануне были найдены искалеченные тела, и вот летчики и альпинисты справляли поминки по товарищам. Они братски разделили с нами свою печальную трапезу. Много лет прошло с той поры. И такая встреча за ночным столом не однажды повторялась в нашей жизни, уже в суровой обстановке войны, на аэродромах дальнего действия, в метельные ночи сорок первого — сорок второго года. И теперь мне кажется, что тогда, в тридцать пятом году, сквозь стекла террасы на Казбеке в наши бессонные глаза смотрело наше будущее, пристально смотрели ждавшие нас беды и утраты» (СС, т. 4, с. 95—96).

70. «Известия», 1937, 26 дек., под загл. «Руставели», без посвящ.; ПГ, под тем же загл.; ИV, ошибочно указана дата: 1938. Печ. по ИVI, т. 1, с. 162. Посвящено *Гольцеву Виктору* Викторовичу (см. примеч. 69). Заглавие стих. восходит к названию поэмы Шота *Руставели* (кон. XII — нач. XIII в.) «Витязь в тигровой шкуре»; Антокольский переводил эту поэму (Побратимы, с. 37—86). *Мкинвари* (букв.: ледник) — грузинское название Казбека. *Каджи* — население горной местности Каджети, фигурирующей в поэме Руставели. *Нестан*-Дареджан — главная героиня поэмы.

71. КН, 1936, № 1, с. 136. Печ. по СVI, с. 69. Автограф. *Пиросманишвили Нико* (1862?—1918) — грузинский живописец, самоучка-примитивист. *Кинто* — разносчик и продавец фруктов.

72. Зв, 1936, № 8, с. 147, под загл. «Поэт»; БР. Печ. по ИV, т. 1, с. 101. *Табидзе Тициан* Юстинович (1895—1937) — грузинский советский поэт; о встречах с ним Антокольский рассказал в статье-воспоминаниях «Тициан Табидзе» (СС, т. 4, с. 94—99); переводы стихов Т. Табидзе — №№ 356—361.

73. Л, 1945, № 23-24, с. 14; ТКВ, дата: 1940. Печ. по ИV, т. 1, с. 103, где дата: 1939. *Абакелия Тамара* Григорьевна (1905—1953) — советский скульптор и график. *Сангина* — карандаши без оправы, красно-коричневых тонов.

74. КН, 1936, № 8, с. 147, под загл. «Завод в Зестафони»; ИIV, под загл. «Ферросплав». Печ. по ИVII, т. 1, с. 389. *Мцыри* — герой одноименной поэмы (1839) М. Ю. Лермонтова. *Тициан* — Табидзе (см. примеч. 72). *Паоло* — Яшвили П. Д. (1895—1937) — грузинский советский поэт; переводы стихов Яшвили — №№ 367, 368.

75. «Литературный Азербайджан», 1938, № 4, с. 22, без посвящ.; ПГ. Печ. по СV, с. 96. См. воспоминания Антокольского о совместном пребывании с В. А. Луговским в Баку в мае 1938 г. (СС, т. 4, с. 126, 127). *Агурамазда* (Ахурамазда) — в древнеперсидской религии бог добра. *Волчьи Врата* — окраина старого Баку. *Хвалынь* — Хвалынское море, древнерусское название Каспийского моря. *Ашуг* — народный певец-поэт у кавказских народов.

Пушкинский год

76. «Смена», 1937, № 1, с. 4, без строк 32—35. Печ. по ПГ, с. 3. Автограф, без загл.

77. Зн, 1937, № 1, с. 116. Печ. по ПГ, с. 6. *Ризнич* Амалия (1803—1825) — адресат лирики А. С. Пушкина.

78. ОП, с. 133. Печ. по ИVI, т. 1, с. 158. *Гвардеец-гусар неизвестный* — М. Ю. Лермонтов (1814—1841). *Как звезда со звездой говорит* — измененная строка из стих. М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

79. КН, 1937, № 1, с. 25, под загл. «1837—1937»; ИIV, под загл. «Столетие». Печ. по CVI, с. 83. *Феокритовы розы* — по имени Феокрита (кон. IV — первая пол. III в. до н. э.), древнегреческого поэта, основавшего жанр идиллии.

80. ДЛ, с. 87; CIII. Печ. по СС, т. 1, с. 439. *Памятник Гоголю* скульптора Н. А. Андреева (1873—1932) был установлен в Москве на Гоголевском (бывш. Пречистенском) бульваре (1909), позднее перенесен на Суворовский бульвар и установлен во дворе дома, где жил писатель. К судьбе и творчеству Н. В. Гоголя Антокольский обращался также в прозе — «Сказках времени» («Незваный-негаданый» — СС, т. 3, с. 58—59) и статьях («Мертвые души. Поэма». — СС, т. 3, с. 285—318). *Масс Владимир* Захарович (1896—1979) — советский поэт, драматург, в 30-е гг. вместе с Антокольским работал в самодеятельном театре Горьковского автозавода.

81. ДЛ, с. 91, под загл. «Около Гоголя». Печ. по ИVI, т. 1, с. 56. *«Гейша»* — оперетта С. Джонса, впервые поставлена на русской сцене в 1897 г. *Раджа* — титул туземных феодальных владетелей, князей в Индии. *Падишах* — титул некоторых восточных монархов.

82. ИII, с. 96, под загл. «Лермонтов»; ТКВ, без загл., как первое стих. в цикле «Лермонтов». Печ. по ИIV, с. 126. Автограф, под загл. «1841—1941», как первая ч. стих. «Лермонтов». *Страшная весть.* Речь идет о дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым в Пятигорске у подножья Машука 15 июля 1841 г., закончившейся трагической гибелью поэта.

83. ЛГ, 1939, 31 дек.; CV; ИV, ошибочно указана дата: 1938. Печ. по ИIII, с. 27. *Бажан* Н. П. (р. 1904) — украинский советский поэт, друг Антокольского; переводы Бажана — №№ 369—371. *Чиковани С. И.* (1903—1966) — грузинский советский поэт, друг Антокольского; переводы Чиковани — №№ 362—366. *Зарьян* Н. (Айастан Егиазарьян, 1901—1969) — армянский советский писатель; Антокольский переводил его стихи (см. ПГ, CV и др.). *Вургун* С. (Самед Юсиф-оглы Векилов, 1906—1956) — азербайджанский советский писатель; перевод Вургуна — № 351. *Ушаков* Д. Н. (1873—1942) — советский филолог, редактор и составитель «Толкового словаря русского языка». *Даль* В. И. (1801—1872) — русский писатель, лексикограф, этнограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». *О Родная Земля! Ты уже за холмами еси* — переведенная Антокольским строка из «Слова о полку Игореве».

Предполье

Комментируя стихи, вошедшие в этот подраздел, Антокольский писал: «За меня и на меня работала жизнь. Я говорю о второй половине тридцатых годов, о нарастании предвоенной тревоги, о войне в Испании, о Мюнхене и обо всем последующем развитии мировых событий, неотвратимо подступавших» (ПЖП, с. 296—297).

84. ЛГ, 1937, 30 мая, под загл. «Доблесть». Печ. по ИV, т. 1, с. 131. *Четверка* — И. Д. Папанин, Е. К. Федоров, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов — экипаж первой советской научно-исследовательской

станции на дрейфующей льдине «Северный полюс-1» (1937—1938). *Коперник* Н. (1473—1543) — польский астроном, объяснил движение небесных светил вращением Земли вокруг оси. *Путь от Московского моря до Фриско.* Очевидно, имеется в виду беспосадочный перелет М. М. Громова Москва — Северный полюс — США.

85. «Известия», 1939, 1 янв., под загл. «Европа (Новогодняя кинохроника)». Печ. по ИVI, т. 1, с. 180. *В Судетскую область Вторгаются злобные, тусклые люди.* В сентябре 1938 г. правительство Чехословакии под давлением правительств Англии и Франции приняло решение об отказе в пользу гитлеровской Германии от пограничных с ней территорий (в частности, Судетской области). *Башня Аббатства* — часовня Генриха VII (1457—1509) в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. *Консоль* — балка, заделанная одним концом в стену и поддерживающая карниз, балкон, фигуру. *Молодцы де ля Рокка* — фашиствующие элементы во Франции конца 30-х гг. (по имени руководителя французских фашистов де ля Рокка). *Фауст, Елена* — герои трагедии Гете «Фауст». *Взыванья картавого голоса* и т. д. Речь идет об Адольфе Гитлере (наст. фамилия — Шикльгрубер, 1889—1945), главаре фашистской национал-социалистской партии. *Карабанчель* — рабочий район Мадрида. *Парк* — парк Каса-дель-Кампо в западной части Мадрида, на окраине которого шли ожесточенные бои во время национально-революционной войны испанского народа. *«Капрони»* — итальянские военные самолеты. *«Юнкерс»* — германский бомбардировщик.

86. НМ, 1938, № 7, с. 173, разделено на три части; CV; ИIV; CVI, первая ч. без строф 4—6, 8—11. Печ. по ИVII, т. 1, с. 472. *Ясак* — в России XV—XX вв. натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной. *Третий Рим.* Так называли Москву в период Московской Руси. *Лал* (перс.) — рубин. *Сытин* И. Д. (1851—1934) — русский издатель-просветитель, к началу XX в. издательство Сытина стало крупнейшим в России. *Трехгорка* — текстильный комбинат («Трехгорная мануфактура») в Москве. *Вырвался звонкий мальчишеский голос* и т. д. Речь идет о первых выступлениях молодого В. И. Ленина. *Баррикады расстрелянной Пресни.* Имеются в виду упорные бои на Красной Пресне в Москве в дни Декабрьского восстания 1905 г. *Чкалов* В. П. (1904—1938), *Громов* М. М. (р. 1899) — советские летчики, осуществили, каждый в отдельности, беспосадочные перелеты Москва — Северный полюс — США.

87. Зн, 1941, № 2, с. 85, под загл. «Ленинград. Декабрь 1939»; ИII, под загл. «Ленинград. Декабрь 1939 года»; ИIII, под загл. «Ленинград»; ИV, с посвящ. Николаю Брауну (см. примеч. 114, 220). *Кессон* — ограждающая конструкция в виде бетонной камеры, используется при устройстве мостовых опор. *На Грибоедовском канале* и т. д. В доме № 9 по каналу Грибоедова в Ленинграде с 1934 г. два верхних этажа занимали писатели; в стих. имеется в виду, вероятно, квартира Н. Л. Брауна. *Тихонов* Н. С. (1896—1979) — советский писатель, друг Антокольского; участвовал в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. *«Метелица»* — песня А. Е. Варламова «Вдоль по улице метелица метет».

88. НМ, 1939, № 7, с. 96, под загл. «Франция»; ИII, без трех последних строф; ИIII, первая ч., под загл. «Париж 14 июля 1939 г.»,

вторая ч., без загл. (пять первых строф), как первое и второе стих. в цикле «Марсельеза»; ИIV, под загл. «Через полтораста лет после взятия Бастилии (1789—1939)». Печ. по ИVI, т. 1, с. 199. *Взятие Бастилии* (14 июля 1789 г.) восставшим народом явилось началом Великой французской революции. *Маркитантка* — торговка мелким товаром, сопровождавшая войска в походах в европейских феодальных армиях. *Когда дымились кровью Пиренеи* и т. д. Значительная часть Франции в годы первой мировой войны была оккупирована Германией. *Цезарь* Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.) — римский диктатор, консул, а затем наместник Галлии. *Галлы* — римское название кельтских племен, населявших территорию Галлии. *Ça ira!* — из «Марсельезы». *Тридцатый, сорок восьмой, семьдесят первый* — июльская революция 1830 г., февральская революция 1848 г., Парижская коммуна 1871 г.

89. ТКВ, с. 68, под загл. «Мицкевич»; ИIII, только вторая ч., под загл. «Польска не сгинела»; ОП, то же, под загл. «Письмо в Польшу»; ИIV; CVI. Печ. по ИVI, т. 1, с. 203. Автограф, без загл., как вторая и третья ч. стих. «Львов. Осень 41 г.». Посвящено Адаму Мицкевичу (1798—1855), польскому поэту, деятелю освободительного движения; памятник Мицкевичу — в Кракове. *Паладин* — отважный рыцарь, человек, беззаветно преданный идее, делу. *Валленрод* — герой поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод» (1828). *Пилсудский* Ю. (1867—1935) — диктатор Польши после организованного им в мае 1926 г. военного переворота. *Смиглы* (Рыдз-Смиглы, 1886—1941) — маршал, фактический диктатор Польши с 1935 по 1939 г. *Под одним плащом два брата... Мицкевич с Пушкиным!* Речь идет об отношениях Мицкевича с Пушкиным, исполненных взаимного интереса и дружбы, оставивших заметный след в творчестве обоих поэтов.

90. Зн, 1937, № 5, с. 152, без загл., как третье стих. в цикле «Стихи из дневника»; ПГ. Печ. по CVI, с. 123. *«О Шиллере, о славе, о любви»* — строка из стих. А. С. Пушкина «19 октября» (1825). *Гуттен* Ульрих фон (1488—1523) — немецкий писатель, гуманист, идеолог рыцарства. *Гейне* Генрих (1797—1856) — немецкий поэт и публицист.

91. Зн, 1940, № 8, с. 176. Печ. по CV, с. 161.

Жизнь поэта

92. CII, с. 153, без загл.; CIII, без загл., объединенное в одно целое со стих. «В то утро комната была махиной...» (отдельно в ДЛ). Печ. по ИVI, т. 1, с. 212.

93. Окт, 1935, № 2, с. 74; ИV. Печ. по СС, т. 1, с. 506.

94. «Правда», 1939, 17 ноября, под загл. «Песня»; CV; ИV; ИVI. Печ. по ИVII, т. 1, с. 506.

95. КН, 1940, № 26, с. 68, как первая ч. стих. «Юг», без посвящ.; CV, без загл.; ИIV, под загл. «Искусство поэзии». Печ. по ИV, т. 1, с. 164. *Матусовский Михаил* Львович (р. 1915) — советский поэт, ис-

пытал на себе большое влияние Антокольского. «С годами у нас появился такой обычай, — вспоминает Матусовский, — регулярно в мой день рождения Павел Григорьевич дарил мне... специально переплетенную им и оформленную тетрадь для стихов. Тетрадь эта украшалась всяческими рисунками, фотомонтажами, картинками, смешными надписями... Однажды на одной из тетрадок я увидел несколько строк из стихотворения, о котором Вы спрашиваете... Я спросил: откуда эти строки? — и Павел Григорьевич прочел мне стихотворение целиком, — мне показалось, что оно удивительно точно передает все отношение Антокольского к творчеству. Он спросил: Хочешь, посвящу тебе? Нечего говорить, что я был счастлив и горд таким предложением. Так и появилось под стихами это посвящение...» (из письма М. Л. Матусовского Н. Б. Банк от 14 июля 1980 г.).

96. КН, 1940, № 5-6, с. 58, первая и вторая ч., без загл.; CV, первая, вторая и третья ч. как отдельные стих., без загл.; ИV, под загл. «Весна сорокового года». Печ. по ИVI, т. 1, с. 222. В 1939 г. на Горьковском *автозаводе* получил постоянную площадку театр, руководимый Антокольским и Бажановой (см. примеч. 42).

97. CV, с. 186. Печ. по СС, т. 1, с. 517. Написано в память Ольги Павловны Антокольской. «К двум утратам — Зои Бажановой и Владимира Антокольского — могу прибавить третью, гораздо более раннюю: в 1935 году умерла моя мать. Причем меня не было в Москве, лежал сам больной в Кутаиси и туда была переслана траурная (с черной рамкой) молния из Тбилиси ⟨...⟩ самое страшное заключается как раз в том, что время затягивает не только физические раны, но и душевные с таким же жестким искусством затягивает, рубцует, оставляет незаметный шов — и всё. Время, жизнь, дорога — все это разные названия для одного и того же, на что все мы обречены вплоть до гробовой доски» (из письма Антокольского Н. Б. Банк от 23 июня 1975 г.).

98. Л, 1946, № 6, с. 9, под загл. «Июнь сорокового года». Печ. по СС, т. 1, с. 519. Автограф, под загл. «Год назад».

99. CV, с. 195; ИIII, без загл.; ИIV; ИV, под загл. «Заключение»; CVII, под загл. «Поэт и время»; В, под загл. «Во время войн». Печ. по ИVII, т. 1, с. 521.

СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

Автографы стихотворений военных лет — в тетрадях: «Война миров» (зачеркнуто), надписано: «Железо и огонь. Стихи 1941—1942 г., 1943—1944 г.», «Павел Антокольский. Стихи. Начато в ноябре 44 г. Москва. Памяти В. П. А.». Эпиграф — из древнемесопотамского «Эпоса о Гильгамеше» (конец 3 — нач. 2 тысячелетия до н. э.).

100. Сын, с. 48. Печ. по ИII, с. 133. Автограф, под загл. «31 декабря 1942».

Комментируя стихи военных лет, Антокольский писал: «По совести, я и не знаю точно, что из этой массы стихов выдержало испытание огнем, метелью, мраком и временем. Да это и не важно! Во всяком случае, наша советская поэзия вся сплошь была поэзией гражданской, политической, а еще вернее — мобилизованной, в самом точном, а не расплывчатом значении слова. Она была целенаправленна и била в цель прямой наводкой. Пишущий эти строки был в одном строю, одним из многих, чье сердце было зажато в кулак» (ПЖП, с. 297).

101. ЛГ, 1941, 24 сент., под загл. «Послание в Ленинград»; то же — «Комсомольская правда», 1941, 6 дек.; ЖиО, под тем же загл., без пятой и шестой строф; ИV. Печ. по ИVI, т. 1, с. 247. Автограф, под загл. «Послание в Ленинград».

102—103. ЖиО, с. 12. Автограф, под загл. «Письмо в Среднюю Азию». 2. «Литература и искусство», 1942, 1 января, под загл. «Мой сын». Автограф, под загл. «Мой сын». Объединено в ЖиО. Печ. по ИV, т. 1, с. 190.

104. ЖиО, с. 31; ИIII. Печ. по ИV, т. 1, с. 195. *Блок Жан-Ришар* (1884—1947) — французский писатель и общественный деятель, член французской компартии, после захвата Франции гитлеровской армией ушел в подполье, весной 1941 г. приехал в СССР; систематически выступая по московскому радио, рассказывал соотечественникам правду о войне. О встречах Антокольского с Ж.-Р. Блоком (первая встреча в Казани в 1941 г.) см. статью-воспоминания «Жан-Ришар Блок» (СС, т. 4, с. 180—185).

105. «Известия», 1942, 1 янв., под загл. «Москва!»; ЖиО, под тем же загл.; ИV, без первой строфы. Печ. по ИIV, с. 198. Автограф, под загл. «С Новым годом, Москва!».

106. ЖиО, с. 21, под загл. «Баллада о неотправленном письме». Печ. по СVI, с. 178. Автограф, с подзаголовком в скобках «Подпись к плакату», последняя строфа сначала зачеркнута, потом восстановлена.

107. ЖиО, с. 42, без строк 53—60; СVI; ИV. Печ. по СС, т. 2, с. 28. Автографы — на отдельном листке и в тетради. *Спорт-палас* — спортивный дворец в Берлине, где происходили фашистские сборища. *Вертлявый, щуплый, наглый человечек* — Гитлер. *Еще не пал Мадрид.* Героическое сопротивление Мадрида фашизму в национально-революционной войне испанского народа продолжалось с 1936 г. до марта 1939 г., когда Мадрид пал в результате предательства. *Париж и Прага плакали навзрыд.* Речь идет об оккупации Франции и Чехословакии гитлеровцами. *Карл Моор* — герой драмы Шиллера «Разбойники» (1781).

108. Сын, с. 80. Автограф (др. ред.). *Первомайский Леонид* Соломонович (1908—1973) — украинский советский поэт, друг Антокольского. Переводы Первомайского — №№ 372, 373. *Кони ржут за*

Днепром и Сулою — перепев строк «Слова о полку Игореве», своеобразный ответ Первомайскому, который в 1938 г. посвятил Антокольскому стих. «Плач Ярославны». *Помнишь — кручи Кавказа кругами... шевченковский ранний напев.* Антокольский вспоминает совместные поездки по стране перед войной — на Кавказ, на Украину, переводческую работу друзей-поэтов.

109. Сын, с. 82, без загл.; ИII, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 39. Автограф, без загл.

Еще раз железо и огонь

110. Зн, 1944, № 1-2, с. 160, под загл. «Запев», со сноской: «Посвящается войскам гвардии генерал-лейтенанта Горбатова»; ИIII. Печ. по ТК, с. 13. Автограф, как первое стих. в цикле «Армия шла по орловской земле». Это и последующие стих. написаны под впечатлением поездки в августе — сентябре 1943 г. на освобожденную Орловщину в составе писательской бригады (А. Серафимович, К. Федин, Б. Пастернак, Вс. Иванов). *Алазани* — река в Закавказье.

111. Зн, 1944, № 1-2, с. 161. Печ. по ИII, с. 157. Автограф, как второе стих. в цикле «Армия шла по орловской земле». *Эмигрант сорок восьмого года* и т. д. — Рудин, герой одноименного романа И. С. *Тургенева* (1818—1883).

112. Зн, 1944, № 1-2, с. 163; ИIII. Печ. по ИIV, с. 226. Автограф, как четвертое стих. в цикле «Армия шла по орловской земле». *Леди Гамильтон* — здесь героиня одноименного кинофильма английского режиссера А. Корда (1941). *Лихой адмирал* — английский флотоводец, вице-адмирал Г. Нельсон (1758—1805).

113. Зн, 1944, № 1-2, с. 163; ИIII; ТКВ. Печ. по СС, т. 2, с. 71. Автограф, как пятое стих. в цикле «Армия шла по орловской земле». *Жиздра* — город в Калужской области. *Здесь погиб мой сын любимый.* О гибели В. П. Антокольского, сына поэта, см. примеч. 313.

114. Зн, 1943, № 2-3, с. 111; Сын; ИIII. Печ. по СVI, с. 183. Автограф. Посвящено поэту *Брауну Николаю* Леопольдовичу (1902—1975). В статье-воспоминаниях «Николай Браун» (ПЖП, с. 237) Антокольский писал: «Морской транспорт, на котором Браун был эвакуирован из Таллина, был разбомблен в открытом море фашистами. Браун, хороший пловец, выгребал руками и левым плечом зеленые, злые, холодные балтийские волны. То держась за обломок снасти, то теряя ее, он отмахивал несчитанное число километров и еле добрался до Кронштадта». *Тулон* — город и порт во Франции на Средиземном море, где в 1942 г. французские моряки затопили свои военные корабли, чтобы их не захватили немецкие фашисты.

115. Зн, 1945, № 10, с. 34; ТКВ. Печ. по ИV, т. 1, с. 233. Автограф, без загл.

116. Зв, 1946, № 1, с. 74, без эпиграфа; ТКВ. Печ. по ИVI, т. 1, с. 303. Автограф.

Победа

117. Зн, 1944, № 1-2, с. 166, в цикле «Осень 1943», без строк 15—18, 69—72; ИII; ИIII, без строк 69—72. Печ. по ТКВ, с. 25. Автограф. Вспоминая «прекрасного поэта, мыслителя, человечнейшего человека, которого я смею называть другом, которого любил, люблю и буду до смерти любить, — Павла Григорьевича Антокольского, незабвенного Павлика», М. Бажан говорит о «совместной поездке в 1943 году к Днепру, к Киеву, на Букринский плацдарм, откуда собирались нанести последний освободительный удар по засевшим в Киеве немцам». «Павлик тогда не дождался освобождения Киева, — продолжает М. Бажан, — и уже только летом вместе с Зоей приехал ко мне в Киев. Мы много бродили по разрушенному городу. Он медленно оживал, но оживал и даже музыку слушал. Начались симфонические концерты в надднепровском парке. Дирижером был — я помню — Натан Рахлин» (из письма к Н. Б. Банк 10 октября 1980 г.). О совместной поездке М. Бажана и П. Антокольского к Днепру в 1943 г. см. также: М. Бажан, Страницы воспоминаний. Мастер железной розы. — Зн, 1980, № 3, с. 120—125.

118. «Комсомольская правда», 1945, 24 апр.; ТКВ, под загл. «Двадцать третье апреля». Печ. по ИVII, т. 2, с. 139. Автографы — под загл. «22 апреля 45» и без загл. *Это входят в пригород Берлина* и т. д. Имеется в виду Берлинская операция во время Великой Отечественной войны (16 апреля — 8 мая 1945 г.).

119. Зн, 1945, № 2, с. 8, только первая ч., без посвящ.; ТКВ, то же, дата: 1942; Десять лет, обе части, без посвящ., дата: 1944—1946; В, только первая ч. Печ. по ИVI, т. 1, с. 324. Автограф, первая ч., под загл. «Портрет Николая Тихонова»; др. автограф, вторая ч., под загл. «Николаю Тихонову», с эпиграфом: «Седой солдат, седой поэт. . .», дата: 12 декабря 1946. Стих. завершено к пятидесятилетию Н. С. Тихонова. Антокольский неоднократно обращался к судьбе и творчеству друга (см., например, статью «Николай Тихонов» — СС, т. 4, с. 197—215). *Тульча* — город в Румынии, в XVIII—XIX вв. входил в систему турецких крепостей; во время русско-турецкой войны 1787—1791 гг. русская гребная флотилия, прорываясь к Измаилу, десантным отрядом овладела Тульчой. *Троя* — древний город, в течение девяти лет осаждаемый греками, но оставшийся неприступным. *Чертов мост* — название моста в Швейцарских Альпах; во время швейцарского похода А. В. Суворова русские войска в 1799 г. с боем перешли по этому мосту. *«Брага»* (1922), *«Орда»* (1922) — первые книги стихотворений Н. С. Тихонова.

Путевой журнал первый

120. «Комсомольская правда», 1946, 6 ноября, под загл. «В ночь на седьмое ноября»; ИIV; Десять лет; ИV. Печ. по СVI, с. 222. Автограф, под загл. «В ночь на седьмое ноября 1946». *Манеж* — монументальное сооружение первой трети XIX в. в центре Москвы.

121. ИIV, с. 244. Печ. по СС, т. 2, с. 134. *Кариатида* — женская статуя, поддерживающая крышу подъезда, балкон.

122. Ог, 1947, № 51, с. 23, под загл. «Ночь в Тбилиси». Печ. по ИV, т. 1, с. 274. *Дивы* (дэви) — демонические существа в фольклоре народов Кавказа.

123. ИVI, т. 1, с. 453. Автограф.

124. ТКВ, с. 43, под загл. «Формула перехода». Печ. по ИVII, т. 2, с. 177. Автограф, под загл. «Формула перехода».

СЕРЕДИНА ВЕКА

Эпиграф — из стих. А. С. Пушкина «Элегия» (1830). В «Проекте предисловия» к новой книге (тетрадь «Ток высокого напряжения. Стихи. 1958») Антокольский писал: «Мы живем во времена исторические. «История», «поколение», «середина века» — это не пустые слова, не фикция досужего ума, но сполна пережитые жизненные данности. Я жил в истории, в поколении, в начале века, а потом в его середине. Любой будничный, обыкновенный, ничем не примечательный день был освещен изнутри, как прозрачный транспарант, и сквозь его скоропись или петит был ясно виден крупный шрифт истории, ее уроки» (ЛА).

125. Десять лет, с. 3, под загл. «Вступление»; CVII, под загл. «Опять поэт и время». Печ. по З—В, с. 3. *Девять сестер* — девять муз. В *Московском университете* Антокольский учился в 1915—1916 гг. на юридическом факультете (не закончил). *Она внесла мой ранний ямб На сцену* и т. д. С 1917 г. Антокольский, ученик Мансуровской студенческой драматической студии, пробует силы в жанре стихотворной пьесы («Кукла инфанты», «Обручение во сне» репетировались под руководством Е. Б. Вахтангова, Ю. А. Завадского). *Беречь мой партбилет.* 22 июня 1941 г. на писательском митинге Антокольский подал заявление о приеме в партию.

Путевой журнал второй

«Журнал» составляют стихи, написанные под впечатлением поездок Антокольского в Бельгию и во Вьетнам.

126. М, с. 20. *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт, Антокольский переводил его стихи (ДВПФ, с. 212).

127. М, с. 23; З—В, под загл. «Баллада-реклама». Печ. по ИVII, т. 2, с. 310. Автограф, под загл. «Сюрреалистическая баллада». *Анадиомена* (греч. миф., букв.: выныривающая) — прозвище Афродиты, возникшей из морской пены. *Безрукая Милосская* — статуя Венеры (Афродиты) Милосской в Лувре.

128. З—В, с. 15, без загл.; СВ. Печ. по СС, т. 2, с. 267. Эпиграф — первая строка «Баллады о Западе и Востоке» Р. Киплинга (пер. Е. Полонской).

129. Зн, 1959, № 5, с. 87, под загл. «У тропика Рака»; З—В; СВ, под загл. «У тропика Рака». Печ. по ИVII, т. 2, с. 315.

130. Зн, 1959, № 5, с. 92; З—В. Печ. по ИVII, т. 2, с. 326. Автограф. В журнале под загл. авторское пояснение: «Бухта Тонкинского залива Ха Лонг — что значит по-русски «Спуск дракона» — окружена множеством остроконечных скал. На одних из них несколько католических крестов. Здесь погребены моряки, погибшие от японской торпеды».

131. Зн, 1959, № 5, с. 93; З—В. Печ. по ИVI, т. 1, с. 392. *Ты увидишь небо в алмазах!* — перефразированная цитата из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» (1897).

Мастерская первая

132. ИV, т. 1, с. 294, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 286. Автограф (ран. ред.), под загл. «1 января 1941» — строфы 1—4, 9; автограф, под загл. «Вступление».

133. Десять лет, с. 127, без посвящ., без строф 9, 13, 14; ИV, без строф 13, 14. Печ. по СС, т. 2, с. 288. Стих. дополняют воспоминания Антокольского «Владимир Луговской» (СС, т. 4, с. 117—142). *В сполохах ночных.* «Сполохи» (1926) — первый сборник В. А. *Луговского* (см. примеч. 62, 75). *Сквозь снегопад сибирской стужи* и т. д. Поэтический пересказ «Песни о ветре» (1926) Луговского. *Нетопленый полночный зал* и т. д. Подразумевается «Курсантская венгерка» (1940) Луговского.

134. Десять лет, с. 137, только вторая ч., под загл. «На морском берегу»; ИV. Печ. по ИVII, т. 2, с. 339. *Коктебель* (ныне Планерское) — поселок в восточном Крыму. *Хозяин* — Волошин М. А. (1878—1932), поэт, с 1917 г. постоянно жил в Крыму, в Коктебеле. *Киммерийцы* — племена Северного Причерноморья в VIII—VII вв. до н. э. *Голова царевны* — слепок со скульптурного портрета египетской царицы Таиах в мастерской Волошина. *Чатырдаг* — горная гряда в Крыму. *Нефрит, сердолик, халцедон* — минералы, которыми богато море у Коктебеля.

135. Десять лет, с. 132, без строф 2, 3, 6. Печ. по ИVII, т. 2, с. 345. Написано к столетию со дня смерти Н. В. *Гоголя* (1809—1852). *Земляной вал* — название улицы в Москве (ныне ул. Чкалова). *Флигель С Никитского бульвара* (ныне Суворовский бульвар) — дом № 7, где с декабря 1848 г. жил и в феврале 1852 г. умер Н. В. Гоголь.

136. ДП, М., 1956, с. 8. Печ. по М, с. 82. *Александр* Петрович *Межиров* (р. 1923) — советский поэт, был в семинаре Антокольского в Литературном институте; Антокольский высоко оценивал стихи Межирова (см., в частности, ПЖП, с. 20—28).

137. ИV, т. 1, с. 309. Печ. по М, с. 65.

138. НМ, 1955, 17, с. 109, под загл. «Встреча»; ИV. Печ. по СС, т. 2, с. 303. Загл. навеяно стих. А. С. Пушкина «К ***» («Я помню

чудное мгновенье...»), посвященным *Анне Петровне Керн* (1800—1879) и положенным на музыку М. И. Глинкой. *Отлит на диво из гулкой бронзы* и т. д. Речь идет о памятнике Пушкину в Москве скульптора А. М. Опекушина (открыт в 1880 г.).

139. М, с. 5.

Мастерская вторая

140. М, с. 63.

141. ТК, с. 7 (др. ред.). Печ. по М, с. 80. Текст стих. в ТК:

Кончился отдых. Пора балаганить.
Странствовать. Верить в неправду.
Не разберешься три века в гиганте,
Кто он — герой или автор.

Вот он, — по замыслам верст небывалых,
Хилый, коварный и старый,
В скалах кастильских, в безводных обвалах,
С грубой дощатой гитарой.

Ревом ослов и похлебкой пословиц
Полнилось время. И снова
Дрогнули брови безумца. Не словишь
На слове сна напускного.

С дюжею девкой, звездой из Тобозо,
Снов костыляют ходули.
Бурно развернута сельская проза
В годы скитальческой дури.

Бурно играет Сервантес Саведра
В кости с грохочущей скукой.
Красные хари в харчевнях от ветра
Валятся в ящик для кукол.

Валятся жалкие мельницы, канув
Крыльями в желтое небо.
Только и гибнет, что рать великанов,
Только и было, что небыль.

Только и есть. Балагань. Декламируй.
Верь, что она белокура.
Слушай поток небывалого мира,
Старая карикатура!

142. М, с. 77. Автограф, под загл. «Баллада Страшного суда». *Босх* (Бос ван Акен) *Иероним* (ок. 1460—1516) — нидерландский художник, автор триптиха, в состав которого входит *«Страшный суд»*; один из любимых художников Антокольского.

143. М, с. 94. Печ. по СС, т. 2, с. 317. Автограф, под загл. «Три стихотворения». Написано под впечатлением смерти А. А. Фадеева (1901—1956).

144. М, с. 97, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 319. Автограф, без загл.

145. М, с. 104, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 322. Автограф, без загл.

146. М, с. 106, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 324. Автограф, без загл.

Уроки истории

147. ЛГ, 1957, 19 окт. Печ. по М, с. 89. *Когда на Кремль солдаты шли.* Имеется в виду октябрьское вооруженное восстание в Москве 25 октября — 2 ноября (7—15 ноября) 1917 г.

148. М, с. 87; ИVI. Печ. по СС, т. 2, с. 330. Автограф (др. ред.), под загл. «Стихи под эпиграф», без первой строфы. Эпиграф — из стих. Ф. И. Тютчева «Цицерон» (1830).

149. Десять лет, с. 143, под загл. «Заключение»; ИVI, под загл. «Первомайское», с посвящ.: «Памяти Тютчева»; CVIII, под загл. «Вы любите грозу в начале мая...». Печ. по СС, т. 2, с. 337. Автограф. *Вы любите грозу в начале мая* и т. д. — измененные строки из стих. Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» (конец 1820-х гг.). *Апрельские тезисы* — тезисы доклада В. И. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» (1917).

150. ИVI, т. 1, с. 469, только «Антитеза», без загл.; ВН, то же, под загл. «Диалог». Печ. по СС, т. 2, с. 340.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Эпиграф — из записной книжки (1497—1499) Леонардо да Винчи. Автографы многих стихотворений этого раздела — в тетради «1962. Время — система отсчета». В конце тетради Антокольский так комментирует стихи: «Большинство стихов... являются чем-то вроде «разговора с временем». Это мой давний лейтмотив... В этой книге лейтмотив достиг самоопределения. Он не шумит в ушах, не летит где-то там, в мировых пространствах, это не трубы, не скрипки — а голос самого времени» (ЛА).

151. «Наука и жизнь», 1963, № 12, с. 21. Печ. по ЧИ, с. 11.

Болгарская рапсодия

Эпиграф — из стих. болгарской поэтессы *Лиляны Стефановой* (р. 1929).

152. Окт, 1962, № 1, с. 82, без загл., как первое стих. в цикле «Болгарская рапсодия»; в кн.: «Страна чудесная Болгария», М., 1964, под загл. «Два рукава одной реки»; ВН. Печ. по СС, т. 2, с. 352. *В моей крови шуми, Марица* и т. д. — начальные слова старого болгарского национального гимна.

153. Окт, 1962, № 1, с. 87, без загл., как четвертое стих. в цикле «Болгарская рапсодия». Печ. по ВН, с. 91. *Кифара* — древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент. *Пальмира* — древний город на территории северо-восточной Сирии, знаменитый своими величественными архитектурными сооружениями, неоднократно подвергался опустошению. *Геракловы столбы* — по преданию, две скалы, поставленные Гераклом на границе мира; иносказательно — крайняя граница чего-нибудь. *Глюк* Кристоф Виллибальд (1714—1787) — немецкий композитор, автор оперы «Орфей и Эвридика». *Манон Леско* — героиня романа французского писателя А.-Ф. Прево «История кавалера де Гриё и Манон Леско» (1733). *Зевес-Перун* — греческое и славянское имена бога-громовержца.

По дорогам Югославии

Эпиграф — заключительные строки стих. «Соловей» в переводе А. С. *Пушкина* из сборника сербских песен Вука *Караджича* (1787—1864).

154. ЛГ, 1963, 1 окт.; Окт, 1964, № 1, с. 70. Печ. по ЧИ, с. 81. *Габсбург мнет штабную карту.* В XIV—XVI вв. словенцы и хорваты попали под власть Габсбургов.

155. Окт, 1964, № 1, с. 70; СПЛ, без строк 29—32. Печ. по СС, т. 2, с. 370. *Гайдуки* — участники вооруженной борьбы южнославянских народов против турецких завоевателей. *Юнак* (болг.) — герой, молодец.

156. Окт, 1964, № 1, с. 73, под загл. «Сараево 1914 (Гаврило Принцип)». Печ. по СС, т. 2, с. 377. *Принцип Гаврило* (1894—1918) — национальный герой Югославии; по заданию организации «Молодая Босния», выступавшей за освобождение Боснии и Герцеговины от австро-венгерского господства, убил 28 июня 1914 г. австрийского престолонаследника Франца Фердинанда; умер в тюрьме.

Высокое напряжение

157. ЛГ, 1960, 2 апр. Печ. по ВН, с. 3. Автограф, без загл., без строф 5, 6, 10, 11. *Бездомный король Шекспира* — Король Лир из одноименной трагедии.

158. ДН, 1958, № 9, с. 94, без посвящ. Печ. по З—В, с. 28. Автограф, под загл. «В Ходженте». К *Константину* Михайловичу *Симонову* (1915—1979) Антокольский относился с чувством большого дружеского расположения и полного доверия, ценил его многогранную деятельность (см.: «Константин Симонов». — СС, т. 4, с. 221—230). *Коджент* (Ходжент) — прежнее название Ленинабада в Таджикской ССР.

159. Окт, 1961, № 1, с. 92. Печ. по СС, т. 2, с. 393. Автограф. Стих. дополняет статья-воспоминания Антокольского о В. В. *Маяковском* (1893—1930) «Две встречи с Маяковским» (СС, т. 4, с. 33—38).

160. «Литературная Грузия», 1962, № 6, с. 10. Печ. по СС, т. 2, с. 394. Автограф, без загл. и без девятой строфы. Посвящено *Марине* Ивановне Цветаевой (1892—1941), поэтессе, с которой Антокольского связывали годы дружбы. См. также статью-воспоминания «Марина Цветаева» (СС, т. 4, с. 39—76), очерк «Анастасия Цветаева» (ПЖП, с. 191—200) и стих. 306. *В Париже или в Праге.* В этих городах М. И. Цветаева жила в годы эмиграции.

161. Окт, 1961, № 1, с. 92; ВН. Печ. по ИVII, т. 2, с. 468. Автограф, без загл.

162. Окт, 1961, № 1, с. 91; ИVI, без загл.; ВН, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 397. Автограф, без загл., после четвертой строфы:

Вихрями отчаянья носимы,
Волнами забвенья залиты,
Оба мы спаслись от Хиросимы,
Но не повстречались, я и ты.

Дети огня

163. Окт, 1963, № 3, с. 119, без эпиграфа, без «Заключения»; ЧИ; СПЛ, только «Баллада времени». Печ. по СС, т. 2, с. 398. Автограф. Эпиграф — из «Беседы с Мариусом де Зайас» (1923) П. Пикассо. *Герника* — город в Испании, разрушенный в 1937 г. в результате бомбардировки германской авиацией (отражено в картине Пикассо «Герника», 1937). *Сергей Иваныч* — Щукин С. И. (1854—1937) — московский фабрикант, известный коллекционер, собирал произведения новейшей французской живописи, в частности Пикассо. *Финь-шампань* — марка вина. *Крупп* — основатель крупнейшего военно-металлургического концерна империалистической Германии, снабжал оружием многие капиталистические страны. *Все в переулке Знаменском висят.* Щукинское собрание французской живописи находилось в Большом Знаменском переулке, д. 8, в первые годы Советской власти картины были переданы в Музей нового западного искусства. *Кобальт, краплак, ультрамарин, хром* — краски, употребляемые в живописи. *Был голубок изображен.* Имеется в виду рисунок Пикассо «Голубь мира» (1947).

164. ЧИ, с. 121. Автограф, без эпиграфа и без строк 90—127. Эпиграф — из стих. Антокольского «Звезда» (CI, с. 25), с изменением во второй строке. *Ванька* — городской легковой извозчик с бедной упряжью и плохой лошадью. *Илион* — Троя. *Пиккадилли* — одна из центральных площадей Лондона.

Четвертое измерение

165. ЛГ, 1963, 8 авг., под загл. «Сказка времени». Печ. по «Наука и жизнь», 1963, № 12, с. 21.

166. «Наука и жизнь», 1963, № 12, с. 21.

167. «Неделя», 1962, 21—27 окт., с. 12, под загл. «Время». Печ. по «Наука и жизнь», 1963, № 12, с. 22. Автограф, без загл.

168. «Неделя», 1962, 9—15 дек., с. 11, под загл. «Действующие лица и время». Печ. по ЧИ, с. 19. Автограф, под загл. «Разговор с Временем».

169. Окт, 1962, № 12, с. 77. Печ. по ЧИ, с. 28. *Гравитация* — всемирное тяготение. *Пресвитер* — священнослужитель.

170. «Неделя», 1962, 5—11 авг., с. 5, без посвящ.; СПЛ, без посвящ. Печ. по ЧИ, с. 31. Автограф, без посвящ. *Фиш Геннадий* Семенович (1903—1971) — советский писатель; см. о нем также очерк «Геннадий Фиш» (ПЖП, с. 227—234). *Финикийская девочка дышит пока* и т. д. Имеется в виду миф о похищении Европы Зевсом (греч. миф.).

171. «Неделя», 1962, 5—11 авг., с. 5. Печ. по ЧИ, с. 33. Автограф.

172. «Неделя», 1962, 5—11 авг., с. 5; ВН. Печ. по ИVII, т. 2, с. 523. Автограф, без загл.

Подмосковная осень

173. ВН, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 451. Автограф, без загл.

174. Окт, 1961, № 1, с. 91, под загл. «Вдоль просеки лесной». Печ. по СС, т. 2, с. 452. Автограф, без загл.

175. ВН, с. 38. Автограф, без загл. Комментарий Антокольского к этому стих. см.: «Костер», 1969, № 12, с. 12—13.

176. ВН, с. 39, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 454. Автограф, без загл.

177. ВН, с. 41. Автограф, без загл.

178. ДП, Л., 1961, с. 50, без загл.; ДП, М., 1962, под загл. «О старости»; ВН, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 457. Автограф, без загл.

179. «Литературная Грузия», 1962, № 6, с. 11, без посвящ. Печ. по ИVII, т. 2, с. 548. Автограф, без загл. и без посвящ. *Соколов Владимир* Николаевич (р. 1928) — советский поэт.

180. ЛГ, 1960, 2 апр., с. 4, под загл. «Заключение». Печ. по ИVII, т. 2, с. 550. Автограф, без загл., без пятой строфы, четвертая вычеркнута.

Как это ни печально

Эпиграф — из романа Сервантеса «Дон-Кихот» (гл. MXXIV).

181. Окт, 1962, № 12, с. 78, без загл., первые три строфы; ЛГ, 1963, 8 авг. Печ. по ЧИ, с. 103.

182. «Неделя», 1962, 5—11 авг., с. 5, без загл. Печ. по ЧИ, с. 112. Автограф, без загл.

183. ЧИ, с. 114, без первой строфы. Печ. по ИVII, т. 2, с. 563. *Старый скульптор* — М. М. Антокольский (1843—1902), с которым поэт был в родстве. *В монашеском обличье Грозный* — статуя Ивана Грозного (1870—1871). *В отваге юношеской Петр* — статуя Петра I (1872). *Но, полон злобы дня насущной* и т. д. Имеется в виду скульптура «Мефистофель» (1883). *Стасов* В. В. (1824—1906) — русский художественный критик, историк искусства; М. М. Антокольский дружил со Стасовым, много переписывался с ним. *Быть академиком.* В результате большого успеха статуи Ивана Грозного М. М. Антокольскому было присвоено Академией художеств звание академика (1871).

184. «Московский комсомолец», 1963, 24 ноября. ЧИ, без посвящ. Печ. по СС, т. 2, с. 469. Автографы — без загл. и под загл. «Общая надпись ко всему». Обращено к *Зое* Константиновне Бажановой.

185. ДП, М.—Л., 1963, с. 45; А, 1970, № 9. Печ. по СС, т. 2, с. 471. Автограф, строфы 1—3, 6, 7, 8. Об отношениях Антокольского с *Ольгой* Федоровной *Берггольц* (1910—1975) см. его статью-воспоминания «Ольга Берггольц» — ПЖП, с. 222—226. *Углич* — город детства О. Ф. Берггольц, место действия в книге *«Дневные звезды»* (1958—1959).

186. Окт, 1964, № 5, с. 90 (др. ред.). Печ. по ПВЛ, с. 43. Автограф (др. ред.).

187. ЛР, 1964, 18 дек. Автограф.

188. ЧИ, с. 130.

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Эпиграф — из драмы А. А. Блока «Роза и Крест» (песня Бертрана).

1966 — 1968

Автографы в тетрадях «1964 (I) На дальних подступах к новой книге», «1964 (II). Опять на подступах к Новой книге... (продолжение)», «1968. Избранное 1966—1968. Красная Пахра», «1966. Красная Пахра», «Новые вещи. 1965—1966», «Стихотворения 1965—1966. Красная Пахра».

189. ЛГ, 1964, 19 дек., под загл. «Равноденствие»; ИVII, т. 2, под тем же загл. Печ. по ПВЛ, с. 33. Автограф, под загл. «Равноденствие», без седьмой строфы; автограф, без загл., как третье стих. в цикле «Музыка». *Гиперборея* — северная страна. *Клио* — муза, по-

кровительница истории. *Мельпомена* — муза, покровительница трагедии. *Терпсихора* — муза, покровительница танцев.

190. «Комсомольская правда», 1966, 6 июля. Печ. по ПВЛ, с. 35. Автограф.

191. «Кругозор», 1966, № 11, с. [13], без загл.; ПВЛ, под загл. «Вот свободен мой дом». Печ. по СС, т. 2, с. 501. Автограф, под загл. «Вот свободен мой дом»; автограф, без загл. и без второй строфы.

192. «Неделя», 1966, 11—17 дек., с. 6, без загл. Печ. по ПВЛ, с. 38. Автограф, без загл.

193. НМ, 1966, № 6, с. 91, только вторая ч., под загл. «Ночь в театре». Печ. по ПВЛ, с. 45. Автограф, в двух частях, вторая ч. — под загл. «Ночь в театре». *Лондон* Т. И. — артист самодеятельного колхозного театра в Горьковской области, которым руководил Антокольский. *Безумный день для Фигаро.* В самодеятельном театре на Горьковском автозаводе Антокольский ставил «Женитьбу Фигаро» Бомарше. *Капулетти* — семья в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». *Гаррик* Д. (1717—1779) — английский актер, прославился своим участием в спектаклях по пьесам Шекспира. *Кин* — см. примеч. 32. *Ведьма Шекспира* — персонаж трагедии «Макбет».

194. НМ, 1969, № 8, с. 4. Печ. по ПВЛ, с. 50. Автограф, под загл. «В жутком балагане»; автограф, под загл. «Жуткий балаган».

195. ПВЛ, с. 59, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 519. Автограф под загл. «Так бывает»; автограф без загл.

196. ПВЛ, с. 60. Автограф, без загл.; автограф, под загл. «Реплика некстати». В тетради-дневнике 1968 г. за текстом стих. (без загл.) следует: «Написал это еще в декабре, и, наверно, стихи эти будут началом какой-то новой книги... Стихи своего рода запоздалый отголосок на пышные разглагольствования Сельвинского о бессмертии и путаный ответ ему Льва Озерова. Все это было подхвачено в «Литер. России». Мне давно уже хотелось выругаться на эту ложную тему, якобы очень важную...» (ЛА).

197. НМ, 1969, № 8, с. 3, без третьей строфы; ПВЛ. Печ. по СС, т. 2, с. 521. Автограф. *Обходя моря и земли* и т. д. — измененные строки стих. А. С. Пушкина «Пророк» (1826).

198. ЛР, 1968, 29 ноября, с. 15. Печ. по ПВЛ, с. 65. Автограф.

199. ЛР, 1968, 29 ноября, с. 15; ПВЛ. Печ. по СС, т. 2, с. 526. Автограф, после четвертой строфы:

Может быть, он не наш,
И неведомо чей вообще
Неживой персонаж
В полумаске, в условном плаще...

Еле внятный намек,
Перебранка бесструнных гитар.
Мне и то невдомек,
Отчего он печален и стар.

Там же, после шестой строфы:

Нет, он весел и юн,
Но живет на планете другой.
Так поет Гамаюн
За весенним дождем, за пургой.

200. ЛР, 1968, 29 ноября, с. 15; ПВЛ. Печ. по СС, т. 2, с. 527. Автограф.

201. СП, с. 220. Печ. по СС, т. 2, с. 528. Автограф (ран. ред.), под загл. «Чарльз Диккенс».

202. «Неделя», 1971, 15—21 февр., с. 10. Печ. по СС, т. 2, с. 531. Автографы.

203. ПВЛ, с. 75, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 536. Автограф (ран. ред.), без загл.; автограф, без загл., дата: 1946—IV.1964. *Сирин* — фантастическая птица с женским лицом и грудью. *Гамаюн* — по древнерусским поверьям, сказочная птица-вещунья с человеческим лицом.

204. ПВЛ, с. 76, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 537. Автограф, под загл. «Почему»; автограф, без загл.

205. СС, т. 2, с. 538. Автограф, с подзаголовком «В двадцатых годах»; автограф, в разд. «Из двадцатых годов».

Зоя Бажанова

Эпиграф — из стих. Антокольского «Вот наше прошлое...» (№ 43).

206. ДП, М., 1967, с. 55, под загл. «Музе моей венок сонетов. 1920—1967»; ПВЛ. Печ. по СС, т. 2, с. 543. Автограф, где «кольцевой» (15-й) сонет замыкает все стих. *Тверская* — ныне ул. Горького в Москве. *Царьград* — древнерусское название Константинополя (ныне Стамбул). *Менады* — в античной мифологии спутницы бога Диониса. *Камена* (римск. миф.) — муза.

1969—1971

Эпиграф — из стих. А. С. Пушкина «Телега жизни» (1823).

207. Н, 1971, № 5, с. 70. Печ. по СС, т. 2, с. 581. Автограф.

208. Зв, 1970, № 4, с. 45. Печ. по СС, т. 2, с. 582. Автограф. *Голодай* — ныне остров Декабристов в Ленинграде.

209. Зв, 1970, № 4, с. 45. Печ. по СС, т. 2, с. 584. Автограф, под загл. «Русский историк» (часть строф вошла в одноименное стих. — см. № 257). *Ингерманландия* — Ижорская земля, область по берегам Невы и побережью Финского залива. *Пятины* — пять областей, со-

ставлявших Новгородскую землю в XII—XV вв. *Зорко высмотрел царь московитов* и т. д. Речь идет о плане строительства Петербурга Петром I. *Преображенцы* — солдаты Преображенского полка, сформированного Петром I. *Фрахт* (нем.) — плата за перевозку грузов, главным образом морским транспортом. *Пять героев декабрьского бунта* — П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, К. Ф. Рылеев, М. П. Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский, были повешены и похоронены на острове Голодай. *Звезда Полярная* — альманах «Полярная звезда», орган декабристов, а затем периодические сборники, издававшиеся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. *Шагом державным войдут Двенадцать* и т. д. Речь идет о поэме А. А. Блока «Двенадцать» (1918).

210. Н, 1971, № 5, с. 70. Печ. по СС, т. 2, с. 587. Написано в связи с постановкой романа на сцене Академического театра им. Моссовета («Петербургские сновидения», 1969). *Сонечка Мармеладова* — героиня романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866). Ее роль в спектакле исполняла *Саввина Ия* Сергеевна (р. 1936), нар. артистка РСФСР.

211. «Отчизна», 1971, № 2, с. 18, без посвящ. Печ. по СС, т. 2, с. 611. Автограф (сокращ. ред.), как первая ч. стих. «Юность» (вторая ч. — см. примеч. 215). *Орлов Владимир* Николаевич (р. 1908) — близкий друг Антокольского, литературовед; многие его работы посвящены жизни и творчеству А. А. *Блока. Земля благодатная* — подмосковное имение Блоков — Бекетовых Шахматово. *Пела девушка в хоре церковном* — неточная цитата из стих. Блока «Девушка пела в церковном хоре. . .». *«Возмездие»* (1910—1921) — поэма А. А. Блока. *Тайный зов Души Мировой.* А. А. Блок в молодости увлекался поэзией В. С. Соловьева, проникнутой культом «мировой души».

212. СС, т. 2, с. 613. Автограф.

213. СС, т. 2, с. 614. *Парка* (римск. миф.) — богиня судьбы.

НОЧНОЙ СМОТР

Автографы в тетрадях: «Последние стихи. Лето — осень 1972 г. (Москва — Красная Пахра)»; «1969»; «Очей очарованье»; «Для выступлений. 1966». Эпиграф — из баллады В. А. Жуковского «Ночной смотр» (1836).

Ночной смотр

Эпиграф — из трагедии Шекспира «Генрих IV», ч. II (акт III, сц. 2).

214. ЛР, 1974, 4 окт., с. 13. *Восьмое февраля* — день рождения З. К. Бажановой.

215. НС, с. 10. Автограф, как вторая ч. стих. «Юность» (первая ч. — см. № 211). *Там, за столицей нашей, на взгорье* и т. д. З. К. Бажанова похоронена на кладбище в Вострякове; там же, рядом, теперь могила П. Г. Антокольского.

216. НС, с. 11. Автограф, под загл. «Мой двойник», с посвящ. «Памяти Ж.-Р. Блока», дата: 1941 под Новый год, 1972 октябрь; автограф, дата: 1941—1973. *Я жил среди актеров.* В 1928 г. Антокольский и Бажанова поселились в Большом Левшинском переулке (ныне ул. Щукина), 8-а, в доме, где жили многие артисты-вахтанговцы.

217. Окт, 1974, № 4, с. 83, под загл. «В такой-то день и час». Печ. по НС, с. 14. *Молоткастый и серпастый* — неточная цитата из «Стихов о советском паспорте» (1929) В. В. Маяковского. *Нас тьмы, и тьмы, и тьмы* — цитата из стих. А. А. Блока «Скифы» (1918).

218. Зн, 1974, № 7, с. 61. Печ. по НС, с. 16. *Три дальних гонца* и т. д. — Волков В. Н. (1935—1971), Добровольский Г. Т. (1928—1971), Пацаев В. И. (1933—1971) — летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза, погибли при завершении программы полета в июне 1971 г.

219. НС, с. 19. *Мейерхольд* Всеволод Эмильевич (1874—1940) — советский режиссер. См. о нем статью Антокольского «Станиславский и Мейерхольд» (ПЖП, с. 265—275). *Грозный царь... неврастеник Треплев* — роли Мейерхольда на сцене Московского Художественного театра, где он играл Грозного в «Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого и Треплева в «Чайке» Чехова. *Доктор Даппертутто* (волшебный доктор из сказки Гофмана «Приключение накануне Нового года») — псевдоним, под которым Мейерхольд печатался в журнале «Любовь к трем апельсинам» (1914—1916). *Калиостро*, он же Джузеппе Бальзамо (1743—1795) — знаменитый авантюрист XVIII в. *«Ревизор»* Н. В. Гоголя (1926), *«Горе от ума»* А. С. Грибоедова (сценическая редакция под загл. «Горе уму», 1928) — постановки Мейерхольда. Ставил также пьесы «Мистерия-Буфф» (1921), «Клоп» (1929) и «Баня» (1930) В. В. *Маяковского*; «Командарм 2» (1929) И. Л. *Сельвинского*, «Мандат» (1925) Н. Р. *Эрдмана* (1902—1970). *Третьяков* С. М. (1892—1939) — советский писатель, активно работал как драматург и сотрудничал с Мейерхольдом в его театре (1922—1926).

220. НС, с. 21. *На Петроградской стороне.* В последние годы Н. Л. Браун жил на ул. Ленина, 34, в писательском доме в Ленинграде (см. примеч. 87, 114). *На Ирпене*, под *Киевом* находится Дом творчества писателей.

221—222. НС, с. 23. *Ахмадулина Белла* Ахатовна (р. 1937) — советская поэтесса и переводчица, Антокольский написал о ней статью «Белла Ахмадулина» (СС, т. 4, с. 248—256).

223. А, 1972, № 7, с. 4; ДП, М., 1972, дата: 1941. Печ. по НС, с. 25. Автограф, без загл., дата: X.1945, с дополнительной строфой вначале (то же в ДП); автограф, дата: 28.X.45. Дополнительная строфа автографа:

Эти мокрые избы что гнезда вороньи,
Эти голые сучья что розги черны.
Это осень что вражьи войска в обороне,
В подмосковном селе, в самом сердце страны.

224. ДП, М., 1973, с. 16. Печ. по НС, с. 26. Автограф, без четвертой строфы. *Эксцеленца* (итал.) — ваше сиятельство.

225. Зн, 1974, с. 62. Печ. по НС, с. 27.

Сказки

Эпиграф — из стих. А. А. Блока «Не венчал мою голову траурный лавр. . .» (1909).

226. ЛР, 1974, 4 окт., с. 13.

227. НС, с. 33.

228. ЛР, 1974, 4 окт., с

229. НС, с. 38.

230. Зн, 1974, № 7, с. 61, без третьей строфы. *Америго* Веспуччи (между 1451 и 1454—1512) — мореплаватель, с именем которого связано открытие Америки. *Фалерно* — вино, изготовлявшееся в Фалернской области в Италии; прославлено поэтами античности.

231. ДП, М., 1973, с. 44, с подзагол. «Четырнадцатая сказка времени», разделено на пять частей, без эпиграфа. Печ. по НС, с. 42. Автограф, под загл. «Четырнадцатая сказка времени», без эпиграфа, разделено на четыре части; др. автограф, разделено на три части. Эпиграф — с незначительными синтаксическими изменениями строки из второго стих. в цикле «Плащ» (1918) М. И Цветаевой.

232. ДП, М., 1973, с. 45, без эпиграфа. Печ. по НС, с. 47. Автограф, под загл. «Похищение Европы, или Ленинградская Камаринская». *Похищение Европы* (греч. миф.) — любимый сюжет многих мастеров искусств, в том числе русского живописца и графика В. А. *Серова* (1865—1911), написавшего картину «Похищение Европы» (1910). *Ахилл Татий* — греческий писатель II в. н. э., выступал в жанре любовного романа. *Навзикая* (Навсикая, греч. миф.) — прекрасная дочь Антиноя, нашла потерпевшего кораблекрушение Одиссея, одела его и послала в дом своего отца.

233. НС, с. 50. *Поприщины, чичиковы, хлестаковы* — ставшие нарицательными имена героев Н. В. Гоголя («Записки сумасшедшего», «Мертвые души», «Ревизор»). *Хочется в Рим.* В Риме Н. В. Гоголь работал над первым томом «Мертвых душ» (1840—1841), а летом 1842 г. подготовил там четырехтомное издание своих сочинений. *Донской монастырь.* Антокольский не совсем точен: Н. В. Гоголь был похоронен на территории Даниловского монастыря, имевшего общие владения с Донским; позднее его прах был перенесен на Новодевичье кладбище. *Попик Матвей* — протоиерей Матвей Константиновский, фанатик и мистик, губительно влиявший на Гоголя. *Кража бедной шинели.* Имеется в виду повесть «Шинель».

234. Зв, 1974, № 12, с. 48, под загл. «Кантата пушкинского года». *Вальсингам* — персонаж трагедии Пушкина «Пир во время чумы» (1830). *Пока безмолвствует народ.* Подразумевается авторская ремарка, заключающая трагедию Пушкина «Борис Годунов», «Народ безмолвствует». *Родионовна* — Арина Родионовна, няня Пушкина.

235—245. Печ. по НС, с. 57. *А. Н. Н.* — Александра Николаевна Некрасова, филолог, защитила на филологическом факультете Ленинградского государственного университета диплом по творчеству Антокольского. Эпиграф — первые строки стих. Ф. И. *Тютчева* «Последняя любовь» (1853?).

1. Зв, 1972, № 3, с. 58, без второй строфы. Печ. по НС, с. 59.
2. Зв, 1972, № 3, с. 58. Печ. по НС, с. 60.
3. Зв, 1972, № 3, с. 58. Печ. по НС, с. 61. Автограф, под загл. «Я должен», первые три строфы.
4. Зв, 1972, № 3, с. 58. Печ. по НС, с. 62.
5. Зв, 1972, № 3, с. 59. Печ. по НС, с. 63. Автограф.
6. Зв, 1972, № 3, с. 59.
7. Зв, 1972, № 3, с. 59. Печ. по НС, с. 65. *Ушкуйники* — в Новгородской земле XIV—XV вв. воины вооруженных дружин, формировавшихся боярами для захвата северных территорий.
8. НС, с. 67. Автограф, вначале еще одна строфа:

> Стихи, опять стихи... Как скучно это!
> Не в первый, не в последний раз несут
> Смешные полуночники-поэты
> Свои изделья женщине на суд.

9. ДП, М., 1973, с. 16. Печ. по НС, с. 68.
10. ДП, М., 1974, с. 113.
11. ДП, М., 1974, с. 113. Печ. по НС, с. 70. Автограф.

Из старых тетрадей

В НС этому разделу предшествует авторское пояснение: «...эти совсем юношеские стихи, сочиненные бог знает когда (я даже не берусь установить точные даты), совсем недавно были раскопаны мною в тетрадях, не то что старых, а полуистлевших. И мне захотелось ⟨...⟩ воскресить их, чуть тронув акварельной кисточкой некоторые строки. Но одно из этих стихотворений, якобы «полуистлевших», именно «Театральный разъезд», все же было давным-давно напечатано в моей первой книжке, в 1922 году. Оно значительно переделано — даже не акварелью, а густой тушью. На старости лет естественно и неизбежно заглядывать в самые дальние ящики своего рабочего стола». Автографы — в тетрадях «1967» (раздел «Очень ранние»), «Стихи 1916—1919 (Красная Пахра — 1967)».

246. НС, с. 73. Автограф, без загл.

247. НС, с. 74. Автограф (ран. ред.), без загл.; автограф, без загл.

248. CI, с. 12; А, 1972, № 7, с. 4. Печ. по НС, с. 75. Автограф (ран. ред.), с посвящ. Г. Завадскому; автограф, без загл. *Саламандра* — здесь: божество огня. *Мандрагора* — многолетняя трава, корни которой иногда напоминают по форме человеческую фигуру, в связи с чем в древности мандрагоре приписывали магическую силу.

249. А, 1972, № 7, с. 4. Печ. по НС, с. 77. Автограф (др. ред.), без загл.

250. А, 1972, № 7, с. 4. Печ. по ЛР, 1974, 4 окт., с. 13. Автограф.

251. НС, с. 80. Автограф, без загл., второе стих. в цикле «Лирический антракт», с посвящ. З. К. Б.; автограф (тетрадь «Зое»).

252. НС, с. 81.

253. НС, с. 83.

254. НС, с. 85. Автограф, без загл.

255. НС, с. 87. Автографы — без загл. (ран. ред.); под загл. «Как жил? — Я не жил»; под загл. «Из 1918»; без загл.

256. НС, с. 87. *Громовержец* — Зевс (греч. миф.). верховное божество.

КОНЕЦ ВЕКА

Автографы главным образом в тетрадях «1975» (на титульном листе несколько названий будущей книги: 1. Конец века. 2. Не наука. 3. Ручей меняет русло); «Стихи на Открытом шоссе, палата 206».

257. Зн, 1975, № 6, с. 69, с эпиграфом из стих. № 267. Печ. по КВ, с. 7. Автограф, где часть строф вошла в стих. «Колыбель русской поэзии» (№ 209); автограф, под загл. «Историк»; автограф (др. ред.), без загл. *Обло, озорно, стозевно, лаяй* — неточная цитата из «Тилемахиды» В. К. Тредиаковского, ставшая эпиграфом к «Путешествию из Петербурга в Москву» (1789) А. Н. Радищева.

258. Зн, 1975, № 6, с. 70, без эпиграфа. Печ. по КВ, с. 9. Автограф, без эпиграфа и без пятой строфы. *Мишле Жюль* (1798—1874) — французский историк-демократ, автор трудов «История Франции», «История французской революции».

259. КВ, с. 11. Автограф, без загл.

260. КВ, с. 21. Автограф, под загл. «На Каме».

261. Зн, 1975, № 6, с. 71. Печ. по КВ, с. 22. Автограф, без загл., без второй и четвертой строф.

262. Окт, 1977, № 3, с. 91, с посвящ. «Моему правнуку Денису», без третьей строфы; Н, 1977, № 9, с. 71, без последней строфы. Печ. по КВ, с. 23. Автограф (ран. ред.). *Воробьевы горы* — ныне Ленинские горы в Москве.

263. ДП, М., 1976, с. 14, без последней строфы; НМ, 1977, № 6, с. 129, под загл. «Пиши!». Печ. по КВ, с. 24. Автографы — под загл. «О старости» и под загл. «Вечная Женственность».

264. ДП, М, 1975, с. 34. Печ. по КВ, с. 25. Автограф (др. ред.), без загл., после десятой строки:

Тем, что, никак не разумея
Простейших правил мастерства,
Не приготовился к зиме я
И не желта моя листва.
И вот — в отчаянье бывалом
Перед космическим обвалом
Вошел в харчевню сам Шекспир
И с ним галдеж, и гам, и гогот,
А это значит — ведьмы смогут
Украсить полуночный пир!
Что́ ведьмы! Сыщутся и краше
На свете крали в добрый час.
Но кто же в рыцарском бесстрашье
Ворвется к ним, не постучась?

265. ДП, М., 1976, с. 15; КВ. Печ. по автографу в письме *Владимиру* Эммануиловичу *Рецептеру* (р. 1935), драматическому артисту и поэту, от 15 февраля 1974 г. По словам Рецептера, Антокольский не оставил себе копии стих. и воспроизвел текст в КВ по памяти, с пропуском строфы и вариантами строк. Ответ на стих. Рецептера «Из письма», обращенное к Антокольскому. См. также предисловие Антокольского к сборнику стихов Рецептера «Опять пришла пора...» (Ташкент, 1974, с. 5—6). *Du bist* и т. д. — слова Мефистофеля из «Фауста» Гете.

266. ДП, М., 1976, с. 15. Печ. по КВ, с. 28. Автограф, под загл. «Памяти дружбы».

267. Ог, 1975, № 33, с. 9. Печ. по КВ, с. 30. Автограф, под загл. «Заздравная»; автограф, без загл., без четвертой и пятой строф.

268. Ог, 1975, № 33, с. 9. Печ. по КВ, с. 31. *Флуоресценция* — свечение тел, возбуждаемое посторонним освещением.

269. ДП, М., 1975, с. 35. Печ. по КВ, с. 32. Автограф (др. ред.), без загл.; автограф, под загл. «Pro domo sua» («о своем» — лат.), автограф, под загл. «Реплика».

270. НМ, 1977, № 6, с. 131. Печ. по КВ, с. 33. Автограф.

271. Ог, 1975, № 33, с. 9. Печ. по КВ, с. 34. Автограф, под загл. «Ты сбежишь», сверху надписано: «Так случилось».

272. Ог, 1975, № 33, с. 9. Печ. по КВ, с. 35. Два автографа — без загл. и без третьей строфы.

273. Ог, 1975, № 33, с. 9. Печ. по КВ, с. 36.

274. КВ, с. 37. Автограф, под загл. «Из 192... года».

275. ДП, М., 1975, с. 34. Печ. по КВ, с. 39. Автограф, под загл. «Приход зимы».

276. ДП, М., 1975, с. 40, под загл. «Тоже ночью». Печ. по Ог, 1975, № 33, с. 9. Автограф.

277. КВ, с. 41. Автограф.

278. НМ, 1977, № 6, с. 129. Печ. по КВ, с. 43. Черновые автографы, под загл. «Поэзия гипотез», с посвящ. Александру Межирову; автограф (др. ред.), под загл. «Мольба», с посвящ. А. Межирову.

279. КВ, с. 44. Автограф. *Астероид* — малая планета.

280. НМ, 1977, № 6, с. 128. Печ. по КВ, с. 47. Автограф, под загл. «Петербург»; автограф, под загл. «Девятнадцатый век». См. примеч. 211.

281. НМ, 1977, № 5, с. 7. Печ. по КВ, с. 49. Автограф, без загл. Эпиграф — перефразированные строки из стих. И. Бунина «Поэту» (1915).

282. Окт, 1977, № 3, с. 91, под загл. «Баллада». Печ. по КВ, с. 50. Автограф. *Геральдика* — гербоведение.

283. КВ, с. 54. Автографы: под загл. «Разберемся!» (др. ред.); под загл. «Очень старое»; под загл. «Еще старее».

284. КВ, с. 55. Автографы: под загл. «Казнь»; под загл. «Бессмертие».

285. КВ, с. 57. Автографы: без загл.; под загл. «Пора смириться!». *«Пора смириться, сöр!»* — из стих. А. А. Блока «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (1912).

286. КВ, с. 58. Автографы: без загл., как первое стих. в цикле «Из старой тетради» (1929); без загл. Посвящение *Зое* поставлено после смерти З. К. Бажановой.

287. КВ, с. 59. Автографы, один из них без загл. и без третьей строфы. *Китеж* — легендарный затонувший город, упоминаемый в русском фольклоре.

288. КВ, с. 60. Автографы, среди них — без загл. Эпиграф — из «Трактата о движении и измерении воды» Леонардо да Винчи.

ИЗ НЕСОБРАННОГО И НЕИЗДАННОГО

Автографы не изданных при жизни Антокольского стихотворений обнаружены в тетрадях: «Ток высокого напряжения. Стихи. 1958», «1962. Время — система отсчета», «Стихотворения 1965—1966», «Новые вещи 1965—1966. Красная Пахра», «Опять на подступах к новой книге. 1964. Продолжение», «1969», «Новые стихотворения 1974», «1975», «1976» и др.

289. Н, 1981, № 2, с. 95. Автограф.

290. Н, 1981, № 2, с. 96. Автограф; автограф, без загл.

291. Н, 1981, № 2, с. 97. Автограф; автограф, без загл.

292. Н, 1981, № 2, с. 97. Автограф; автограф, дата: VIII (1964).

293. Н, 1981, № 2, с 95. Автограф.

294. Н, 1981, № 2, с. 97. Автограф; автограф, под загл. «Между сороковыми и шестидесятыми годами». *Халдеяне* (халдеи) — племена, жившие в первой половине первого тысячелетия до н. э. в южной Месопотамии. *Амврозия* (греч. миф.) — пища богов.

295. Н, 1981, № 2, с. 97. Два автографа (1968 и 1969).

296. Н, 1981, № 2, с. 94. Автограф; автограф, под загл. «История».

297. ЛР, 1971, 29 окт., с. 7. Печ. по В, с. 150. Не входило ни в одну из книг, определивших структуру данного сборника. *В ту ночь К нему пришли Белинский и Некрасов* и т. д. Речь идет о поддержке Ф М. Достоевского на заре его литературной деятельности Н. А. Некрасовым, напечатавшим повесть «Бедные люди» (1845) в «Петербургском сборнике» (1846), и В. Г. Белинским (1811—1848), восторженно отозвавшимся о повести. *Утро на Семеновском плацу* и т. д. Имеется в виду пережитый Достоевским обряд приготовления к смертной казни на Семеновском плацу в Петербурге 22 декабря 1849 г., а затем каторга в омском остроге.

298. Н, 1981, № 2, с. 96. Автограф.

299. Н, 1981, № 2, с. 96. Автограф; автограф, под загл. «Еще одна Манон Леско».

300. Зв, 1977, № 10, с. 97. Автограф, без загл. *А. Н. Н.* — Александра Николаевна Некрасова (см. примеч. 235)

301. Зв, 1977, № 10, с. 97. Автограф, без загл.

302—304. Зв, 1977, № 10, с. 98. Автограф, с посвящ. И. С. Козловскому (р. 1900), советскому певцу, с которым Антокольского связывали годы доброго приятельства, совместные поездки на пушкинские праздники и т. д.

305. Печ. впервые по автографу; черновой автограф, под загл. «Отложенное на завтра».

306. Н, 1981, № 2, с. 96. Эпиграф — первая строка стих. М. И. *Цветаевой* «П. Антокольскому» (март 1919. — ДП, М., 1965, с. 221). *«Бессонница, восторг, Безнадежность»* — из этого же стих.

307. Н, 1981, № 2, с. 95. Автограф. *Влад. Орлов* — см. примеч. 211.

308. Н, 1981, № 2, с. 95. Автограф. Ответ на стих. Рецептера «Дон Кихот», посвященное Антокольскому. *Мечтательный поляк.* Вероятно, подразумевается Ян Потоцкий (1761—1815), польский писатель, автор романа «Рукопись, найденная в Сарагоссе», полного необычайных приключений. *Мерлин* — король колдунов, один из героев бретонского цикла сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. *Роланд* — герой «Песни о Роланде», сказания французского эпоса раннего средневековья.

309. ДП, М., 1978, с. 17. Автограф, с посвящ. Евгению Евтушенко (р. 1933), поэту, которого Антокольский ценил и поддерживал. *Перро* Шарль (1628—1703) — французский поэт и критик, автор всемирно известных сказок.

310. Н, 1981, № 2, с. 96. Автограф.

ПОЭМЫ

311. РиГ. Печ. по ИVI, т. 2, с. 7. Автограф (отдельная тетрадь, весь текст карандашом, с поправками, дата на обложке: 1928). Антокольский так комментировал замысел поэмы: «Замысел поэмы, безусловно, был навеян внутрипартийной борьбой в те годы. О ней были хорошо осведомлены широчайшие круги советского общества. И мысль о том, что в борьбе с оппозиционерами речь идет о защите коренных основ революции, неизбежно возникала у автора поэмы, поэта и романтика. Именно для такого поэта была естественна и оглядка назад, в историческое прошлое, в судьбы якобинской диктатуры. Прямых аналогий в поэме нет и не могло быть. Такой пошлости я не мог позволить себе. Совершенно другая атмосфера, накал других страстей, биение других сердец — все это господствовало в поэме в полной сохранности правдоподобия, исторического и душевного» (ПЖП, с. 294).

Гл. первая. *Термидор* — одиннадцатый месяц революционного календаря Французской республики (19-20 июля — 17-18 августа). *Нивоз* — четвертый месяц этого календаря (21 декабря — 21 января). *Фригийский колпак* — головной убор древних фригийцев, послуживший моделью для шапок участников Великой французской революции. *Ксантиппа* — жена греческого философа Сократа (469—399 до н. э.), тип злой жены. *Роялисты* — монархисты. *Секция Пуассоньер* — одна из секций Якобинского клуба.

Гл. вторая. *«Монитер»* — название официальной газеты, основана в 1789 г., вначале орган якобинцев. *Феокрит* — см. примеч. 79. *Антуанетта* — Мария Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI, с начала Великой французской революции вдохновительница контрреволюционных заговоров; казнена по приговору Конвента. *Тальен* Ж.-Л. (1767—1820) — якобинец, затем

один из главных руководителей термидорианского переворота. *Карманьола* — французская народная революционная песня-пляска. *Питт* Уильям Младший (1759—1806) — премьер-министр Великобритании, один из главных организаторов коалиции европейских государств против революционной Франции. *Барер, Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа* — организаторы термидорианского переворота. *Фуше* Ж. (1759—1820) — министр полиции Франции. *Вадье* — один из прокуроров по делу якобинцев. *Конвент* — высший законодательный и исполнительный орган Первой французской республики. *Монтаньяры* — революционно-демократическое крыло Конвента, представлявшее якобинцев. *Консьержери, Лафорс, Люксембург* — тюрьмы в Париже. *Сент-Жюст* Л. (1767—1794) — один из организаторов побед революционной армии над интервентами в период якобинской диктатуры, сторонник Робеспьера, был казнен термидорианцами. *Амьен, Блуа* — города во Франции. *Квинтал* (фр.) — центнер. *Декларация Прав* человека и гражданина — политический манифест Великой французской революции. *Дантон* Ж.-Ж. (1759—1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев, участвовал в подготовке восстания, свергнувшего монархию, в развертывании обороны революционной Франции от интервентов; в дальнейшем занял примиренческую позицию, был осужден революционным трибуналом и казнен. *Фиваида* (библ.) — название пустыни. *Трапписты* — члены католического монашеского ордена. *Лье* — старинная французская мера длины. *Проскрипционный список* — список лиц, объявленных вне закона.

Гл. третья. *Фельяны, бриссотинцы* — политические группировки во время Великой французской революции. *Комитеты* Общественного *Блага, Спасенья, Безопасности* — комитеты французского Конвента. *Луи Капет* — Людовик XVI (1754—1793), французский король из династии Бурбонов, казнен по приговору Конвента.

Гл. пятая. *Девятое термидора.* Термидорианский переворот 1794 г. знаменовал победу буржуазной контрреволюции. *Кондорсе* Ж.-А.-Н. (1743—1794) — французский философ-просветитель, в Конвенте примыкал к жирондистам. *Верньо* П. В. (1753—1793) — деятель Великой французской революции; казнен по приговору революционного трибунала.

Гл. шестая. *Фонтенебло* — загородная резиденция французских королей. *Триумвиры* — по-видимому, Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст. *Жирандоль* — фигурный подсвечник для нескольких свечей. *Фрагонар О.* (1732—1806) — французский живописец. *Содом* (библ. миф.) — город у устья реки Иордан, жители которого погрязли в распутстве. *Кутон* Ж.-О. (1755—1794), *Леба* Ф.-Ф.-Ж. (1762—1794) — соратники Робеспьера.

Гл. седьмая. *Инсургент* — участник восстания. *Сатурн* (римск. миф.) — древний римский бог посевов, отождествлялся с титаном Кроном, который проглатывал своих родившихся детей; в литературе часто встречается образ Сатурна-Крона, пожирающего своих детей.

312. КН, 1934, № 2, с. 47, ⟨ч. 2⟩, «Ярмарка»; ЛГ, 1934, 20 апр., ч. 3, картина 1, под загл. «Франсуа Вийон». Отрывок из поэмы; МГ, 1934, № 4, с. 72, ч. 1, картина 4, под загл. «Разрыв». Отрывок из поэмы «Франсуа Вийон»; ФВ, с авторским предисловием, эпиграфы к частям даются сначала по-французски. Печ. по ИVI, т. 2, с. 91. Автограф утрачен. Антокольский отмечал, что эта поэма, «хотя и была написана в начале 30-х годов, но, по существу, примыкает к двадцатым. Она посвящена великому французскому поэту Франсуа Вийону. Да, это поэма о поэте. О несчастном, таинственном для историков и литературоведов поэте, которого, может быть, и действительно повесили, однако все известия о нем шатки и неопределенны. Для меня, в моей сегодняшней оценке, эта поэма столь же безусловна, как «Робеспьер и Горгона». Вообще, может быть, она — лучшее мое произведение. Писал я ее, мало заботясь о композиции, плохо знал французское средневековье. Но я действительно жил в той далекой эпохе, жил в каждом из действующих лиц, начиная с Вийона и вплоть до эпизодических лиц, вроде скупщика краденого Шермолю» (ПЖП, с. 295). В предисловии к ФВ Антокольский писал: «Особо следует говорить о жанре. Это пьеса для чтения и поэма для театра. Но в то же время я могу здесь поручиться за сценичность каждой ее строки. Правда, такая сценичность нигде не апробирована. Наши театры не хотят поэтического репертуара. По-своему они правы, так как актеры не умеют читать стихов. Это обидно для поэтов, но и для театров не очень лестно. У нас нет театра поэтов. Он должен быть создан» (ФВ, с. 4). *Франсуа Вийон* (1431—1463?) — французский поэт, учился на факультете искусств в Сорбонне, где получил звание бакалавра, затем магистра искусств; убил в драке священника, бежал из Парижа; был помилован, но, вернувшись, связал судьбу с воровскими шайками, не раз сидел в тюрьмах, был осужден за убийство и приговорен к повешению, но казнь была отменена, а Вийон изгнан из Парижа. *Вахтангов* Е. Б. (1883—1922) — советский режиссер, сыграл огромную роль в творческой судьбе Антокольского (см., в частности, статью-воспоминания Антокольского «Вахтангов» — ПЖП, с. 243—264).

Ч. первая. Эпиграф — из баллады «François Villon». *Рыцарь Ахилл* (греч. миф.) — герой Троянской войны, совершивший много подвигов; в «Илиаде» Гомера наделен красотой, ловкостью, силой, не имевшей равной, быстротой. *Мальвазия, Бордо* — названия виноградных вин. *Пинта* — в старину мера емкости во Франции. *Мессир* (старофранц.) — господин. *Мессалина* — одна из жен римского императора Клавдия (I в. н. э.). Имя ее стало нарицательным обозначением распутной женщины. *Каноник* — духовное лицо католической церкви. *Алеф* — первая буква в иудейском алфавите. *Экю, ливр* — старинные денежные единицы Франции. *Сен-Жак* — церковь в Париже. *Тур, Амьен* — города во Франции.

Ч. вторая. Эпиграф — из романа Ф. *Рабле* «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532). *Нотабли* — во Франции XIV—XVIII вв. члены собрания, созывавшегося королем для обсуждения государственных вопросов; назначались из числа представителей высшего дворянства, духовенства, городской верхушки. *Магистрат* — сословный орган государственного управления. *Курия* — организация, осуществляющая церковное управление. *Клир* — духовенство какой-нибудь церкви. *Монфокон* — холм около Парижа, на котором французским королем

Филиппом Красивым была воздвигнута виселица. *Хризопраз* — полудрагоценный камень. *Ковчежец* — в православных церквах ларец для хранения различных предметов, признаваемых священными. *Рака* — большой ларец для хранения мощей святых. *Трисмегиста* (греч.) — трижды славный. *Знак Пентаграммы* — магический знак. *Геката* (греч. миф.) — богиня призраков, волшебства и заклинаний. *Флорин* — золотая монета Флоренции XIII—XVI вв. *Грифон* — в древневосточной мифологии фантастическое животное с туловищем льва, орлиными крыльями и головой орла или льва. *Стигмат* (стигма) — клеймо; в средние века — кровавая язва, появлявшаяся на теле фанатика в припадке истерического религиозного экстаза.

Ч. третья. Эпиграф — первая строфа «Баллады повешенных» Ф. Вийона (пер. Антокольского). *Приснодева* — богоматерь. *Так забавлялась некая утонченная компания при куртуазном дворе Шарля Орлеанского.* Ф. Вийон участвовал в состязаниях поэтов при дворе герцога Шарля Орлеанского (1394—1465), известного как поэт. *Маро Клеман* (1496—1544) — французский поэт. *Франциск I* (1494—1547) — французский король, в начале правления покровительствовал гуманистам, был известен как меценат.

313. См, 1943, № 4, с. 10, с подзагол. «Повесть в стихах» и эпиграфом — отрывком из письма, извещающего о гибели «Вашего сына Володи»; состоит из семи частей; Зн, 1943, № 7-8, с. 1; Сын (1946), с «Двумя послесловиями»; ИIII, в одиннадцати частях, из которых десятая соответствует послесловию I в Сыне (1946). Печ. по ИV, т. 2, с. 153. Автографы: машинопись; машинопись с правкой, под текстом: «Калуга — М. Ярославец. Декабрь 1942»; текст карандашом; текст чернилами; вставки на отдельных страницах. Текст послесловия I (Сын, 1946):

Ответьте, суша и моря,
Века, и вы ответьте,
Что правды, большей, чем моя,
Не может быть на свете.

Я не один. Все старики,
Все Иовы вселенной,
Мы и в отчаянье крепки.
Нам горе по колено.
И после всех ночных погонь

Команда раздается:
— Огонь!
— Огонь!
— Огонь!
— Огонь!
И сердце сына бьется.

Сын человеческий встает,
Каким он был когда-то.
Кровь человеческая бьет
Из черных ран солдата.

Пускай сводящая с ума
Не стихнет канонада.
Ведь я не врач. Я боль сама,
А ей конца не надо.

Среди автографов (вставок на отдельных страницах) следующий текст:

Пускай мое несчастие огромно,
Но смысл его раскрыт и оголен:
Владимир Палыч с молодостью скромной
Один из тех, чье имя легион.
Да, я видал таких же точно — милых,
Неприхотливых, чистых, как и он.
Не я, не ты, так наш народ вскормил их
И воспитал. Их имя легион.
Все сверстники, все рослые ребята,
Все первенцы и баловни семей.
Они пришли с Крещатика, с Арбата,
С проспекта Руставели. Так сумей
В такой толпе узнать лицо родное.

Антокольский писал родным в Ташкент 10 февраля 1943 г.: «Поэма ⟨...⟩ печатается в журнале «Смена» и отдельной книжкой в «Молодой гвардии» ⟨...⟩ комсомольская печать — единственно подходящая для памяти, достойной Вовы. Весь гонорар пойдет на танки» (ЛА). Одна из тетрадей («Стихи. Начато в Ноябре 44 г.») открывается обращениями к сыну. 6 июля 1944 г. Антокольский писал: «...Твоя жизнь продолжается ⟨...⟩ Через поэму тебя узнали и полюбили десятки тысяч людей: отцов, матерей, сыновей и девушек. Ты будешь рядом со мною до последнего смертного часа. Все, что я делаю, и все, что сделаю еще, посвящено тебе» (ЛА).

1. *Владимир Павлович Антокольский* (1923—1942); обстоятельства его гибели подробно выяснены А. Миндлиным (см.: «Было ему восемнадцать. Страницы воспоминаний». — ЛР, 1974, 19 июля, с. 16). *Мать* В. П. Антокольского — Наталия Николаевна Щеглова (р. 1895). *Сестра* — Наталия Павловна Антокольская (1921—1981), художница.

3. *Гигантский город видел я когда-то.* Речь идет о Берлине. *Вотан* — в древнегерманской мифологии верховное божество, бог ветра и бурь, позднее бог войны. *Зигфрид* — герой древнегерманского народного эпоса, бесстрашный в бою. *Каин* (библ. миф.) — старший сын *Адама*, убийца своего брата Авеля; в переносном смысле — предатель. *Сиена, охра, сурик* — краски для живописи. *Выжлятник* — охотник, ведающий гончими собаками. *Гоген* П. (1848—1903) — французский живописец. *Духан* — небольшой ресторан, трактир. *Зурна* — духовой деревянный музыкальный инструмент у народов Кавказа. 6. *Пресня, Кропоткинские ворота, Сокольники, Арбат* — районы Москвы. *Спокойно может Любимый город спать.* Перефразированная цитата из песни «Любимый город» из кинофильма «Истребители» (муз. Н. Богословского, слова Е. Долматовского, 1939). *Хороша Страна родная.* Подразумевается песня «Широка страна моя родная» (муз. И. Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача, 1936). *Главы не сложит Ермак* и т. д. Имеется в виду популярная песня «Смерть Ермака» на

стихи К. Ф. Рылеева. *Брюгге* — город и порт в Бельгии, *Берген* — город и порт в Норвегии; оккупированы гитлеровцами в годы второй мировой войны.

314. ЛР, 1967, 11 авг., с. 10; 3 ноября, с. 4, гл. 2 и 3; ПВЛ, с эпиграфом из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» («На старости я сызнова живу, Минувшее проходит предо мною...»). Печ. по СС, т. 2, с. 481. Автограф, под загл. «Сколько лет, сколько зим!», с эпиграфами — из трагедии «Борис Годунов» и из книги А. И. Герцена «Былое и думы» («Отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге»); автограф, где тексту поэмы предшествует «запоздалый пролог», обособившийся в стих. «Память» (см. № 202); автографы отдельных глав. Загл. поэмы идет от общерусского летописного свода, составленного в Киеве Нестором во втором десятилетии XII в.

Гл. первая. *«Выдьнаволгучейстон...»* — из стих. Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858). *«Черный Монах»* (1894) — повесть А. П. Чехова. *Маньчжурка* — меховая шапка. *Тверская-Ямская* — улица в Москве. *Филер* — полицейский агент, сыщик. *«Красный Смех»* (1904) — рассказ Леонида Андреева, обличающий ужасы войны. *Шапокляк* (фр.) — складная шляпа-цилиндр на пружинах.

Гл. вторая. *Резерфорд Э.* (1871—1937) — английский физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома. *Кюри* П. (1859—1906) — французский физик, один из создателей теории радиоактивности. *Остоженка* (ныне Метростроевская), *Волхонка, Моховая* — улицы в Москве. *Студенческая драматическая студия* и т. д. Воспоминания Антокольского о занятиях в студии см. в ПЖП, с. 291. *Руководитель* — Е. Б. Вахтангов. *С высшим образованьем Навсегда расстаться спешу.* Антокольский оставил университет в 1916 г. *Храм Христа* — церковь Христа Спасителя в Москве (не сохранилась). *Распутин спущен под лед.* Имеется в виду убийство монархистами Г. Е. Распутина (Новых, 1872—1916), фаворита Николая II и его жены Александры Федоровны.

Гл. третья. *Артиллерия вышибает Из Хамовников юнкеров.* В октябре 1917 г. красногвардейцы Замоскворецкого и Хамовнического районов Москвы вели ожесточенные бои с юнкерами. *Бромлей* — крупный машиностроительный завод в дореволюционной Москве (ныне станкостроительный завод им. А. И. Ефремова «Красный пролетарий»). *Гужон* — один из старейших металлургических заводов Москвы (ныне «Серп и молот»).

Заключение. *Брашно* — яство, кушанье.

315. См, 1969, № 22, с. 7, отрывки из поэмы; ПВЛ, с. 191. Печ. по СС, т. 2, с. 551. Автографы (черновики, машинопись с правкой, варианты, вставки и т. д.); один из автографов, под загл. «Вечная память», в семи частях: 1. Только вчера. 2. Только в будущем времени. 3. Война. 4. Память мечется (самое давнее и самое недавнее). 5. Миф. 6. День последний. 7. Конец; автограф, под загл. «Тебе», с эпиграфами из Евангелия — «Блаженны кроткие, ибо они насле-

дуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Матф., гл. 5) и из поэмы «Сын» — «Так не стихай и вырвись вся наружу...» и т. д.

2. *Братья Гриммы* — Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859) — немецкие писатели, авторы «Детских и семейных сказок» (1812—1814), «Немецких преданий» (1816—1818). *Гофман* Э. Т. А. (1776—1822) — немецкий писатель-романтик. *Левшинский переулок* — ныне ул. Щукина в Москве. *Я люблю тебя в дальнем вагоне* и т. д. — первая строфа стих. Антокольского «Я люблю тебя...» (см. № 44). *Скромнейшая из актрис.* Долгие годы З. К. Бажанова состояла в труппе Театра им. Вахтангова. *В драме Горького* и т. д. З. К. Бажанова играла роль служки Таисьи в пьесе Горького «Достигаев и другие» (1933). *«Ты.., собака... стерва... волчиха...»* — перефразированная цитата из роли Таисьи (д. 2). *Назову я Пушкинским годом* и т. д. В 1937 г. были написаны стихи, составившие книгу Антокольского «Пушкинский год» (М., 1938). *«Рыцарь на час»* (1860) — стих. Н. А. Некрасова.

3. *Бездушная воздушная война. Убившая Театр.* Здание Вахтанговского театра было разрушено бомбой во время налета фашистской авиации. *В следах разгула бедный Бежин луг, В следах ожогов Ясную Поляну.* З. К. Бажанова сопровождала Антокольского в поездках по местам, только что освобожденным от гитлеровского нашествия. *Непобедимость русской правоты* и т. д. В пьесе К. Симонова «Русские люди» (1942) З. К. Бажанова играла роль Вали. *Глагол времен* — из оды Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского».

4. *Ты — учительница простая Театрального мастерства.* З. К. Бажанова преподавала театральное мастерство в Училище им. Щукина. *Леший, Гулливер, Пращур, Макбет, Царь Лесной, Актеон, Альциона, Дафна, Горгона* — здесь: сказочные, мифологические персонажи, герои книг, по-своему воплощенные З. К. Бажановой в скульптурах из дерева.

316. ДП, М., 1971, с. 110, под загл. «Повесть о мощах Александра Невского». Печ. по СС, т. 2, с. 592. Автограф, под загл. «Достоверное известие о мощах Великого князя Александра Невского». *Преосвященный* (церк.) — титул епископа. *Царь* — Петр I. *Невская лавра* (Александро-Невская с 1797 г.) — один из монастырей царской России, основанный в 1710 г., к открытию лавры в 1790 г. было приурочено перенесение мощей Александра Невского (1220—1263), умершего в Городце; серебряная *рака* с мощами Александра Невского — памятник металлического ремесла XVIII в., в советские годы переданный в Эрмитаж. *Кимвал* (библ.) — музыкальный инструмент, состоящий из двух металлических чаш. *Кравчий* — придворный чин у московских царей, первоначально боярин, услуживший царю за столом. *Игуменья* — настоятельница женского монастыря. *Клирошаночка* (от «клирошанин») — лицо, принадлежащее к духовенству какой-либо церкви. *Златые* (Золотые) *ворота* — памятник древнерусского зодчества (1164) во Владимире. *Яруга* — овраг. *Шафиров* П. П. (1669—1739) — русский государственный деятель и дипломат, вице-канцлер, сподвижник Петра I. *Шелонь* — река, впадающая в озеро Ильмень. *Скуфейка* (скуфья) — остроконечная мягкая шапка черного или фиолетового цвета у православных слу-

жителей культа. *Катя, Душенька-царица* — Екатерина I (1684—1727), вторая жена Петра I.

317. СС, т. 2, с. 599. Автографы, каждая глава в отдельной тетради под своим загл.: 1. Граф Орлов. 2. Князь Голицын. 3. Художник Флавицкий. *Тараканова* Елизавета, *«княжна»* (ок. 1745—1775) — выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны (1709—1761 или 1762), объявила себя претенденткой на русский престол. Отличаясь красотой, находчивостью и знанием языков, разъезжала по европейским странам под вымышленными именами. Деятельность Таракановой была вызвана дипломатическими интригами, в которых ее использовали для антирусских происков. По приказанию Екатерины II командующий русской Средиземноморской эскадрой граф А. Г. *Орлов* (1737—1807 или 1808) заманил самозванку на русский военный корабль, стоявший в *Ливорно* (Италия), и там арестовал. В 1775 г. она была доставлена в Петербург, заключена в Петропавловскую крепость и 4 декабря 1775 г. умерла, не открыв своего настоящего происхождения и имени. *Ключевский* В. О. (1841—1911) — русский историк, автор многотомного «Курса русской истории».

1. *Ты управился в Ропше.... с ... Петрушкой-голштинцем.* Имеется в виду участие графа Орлова в свержении (в результате переворота, организованного Екатериной II) и убийстве Петра III (1728—1762). *Царское* Село (ныне г. Пушкин) — резиденция Екатерины II.

2. *Голицын* Д. А. (1734—1803) — князь, русский ученый и дипломат. *Левант* (фр., итал.) — название некоторых стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря. *Пилат* Понтий — римский наместник Иудеи, отличавшийся крайней жестокостью. *Алексеевский равелин* (в Петропавловской крепости) — со 2-й четверти XVIII в. тюрьма с особо жестоким режимом.

3. *Художник* — Флавицкий К. Д. (1830—1866), автор картины «Княжна Тараканова»; использованное художником предание о трагической гибели княжны Таракановой во время наводнения в Петербурге, не соответствует истине, так как наводнение произошло в Петербурге не в 1775, а в 1777 г.

ПЕРЕВОДЫ

Антокольский писал о пристрастии к переводческой работе: «Почему я так люблю переводить разных поэтов? Так ревностно люблю это неблаговидное искусство? Я часто задавал себе этот вопрос и всегда отвечал на него неточно... Поэт переводит другого поэта в силу инстинктивного, естественного и непреложного стремления расширить себя и свои пределы. Это должно быть свойственно каждому творческому человеку. Вообще говоря, творческому человеку свойственны два противоположных стремления, одинаково сильных: сохранить себя и *потерять* себя, раствориться, расшириться. Второе стремление в большой мере удовлетворяется при переводе... Кстати сказать, у перевода полная аналогия со *всякой театральной работой*,

т. е. и с режиссурой и с собственной игрой на сцене. А ведь именно в театре инстинкт *расширения себя* действует в самом чистом, беспримесном и обнаженном виде!» (Запись в тетради «Павел Антокольский. Стихотворения. 1958». ЛА).

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Виктор Гюго

Трактовка поэтической судьбы Виктора Гюго (1802—1885) дана в статье Антокольского «Виктор Гюго» (СС, т. 3, с. 473).

318. ДВПФ, с. 54. Перевод стих. «L'art et le peuple». («Les châtiments»).

319. ДВПФ, с. 78. Перевод стих. «Il est des jours abjects...» («Les châtiments»).

320. ДВПФ, с. 94. Перевод стих. «Réponse à un acte d'accusation». Написано под впечатлением жестокого подавления Парижской коммуны. *Афинам в подражанье.* Имеется в виду независимость Греции, завоеванная в результате греческой национально-освободительной революции. *Гренадеры* — солдаты из отборной части войск с особенно рослым составом. *Префект* — начальник департамента.

321. ДВПФ, с. 103. Перевод стих. «Les fusillés» («L'année terrible»). *Горит ваш Тюильри* и т. д. В дни Парижской коммуны сгорела большая часть дворца Тюильри — резиденции французских королей.

322. ДВПФ, с. 107. Перевод стих. «Dans l'ombre» («L'année terrible»).

Шарль Бодлер

О Шарле Бодлере (1821—1867) см. статью Антокольского «Шарль Бодлер» в кн.: Бодлер Ш., Лирика, М., 1965, с. 5—17.

323. ДВПФ, с. 171. Перевод стих. «La géante» («Spleen et idéal»).

324. ДВПФ, с. 173. Перевод стих. «Le serpent qui danse» («Spleen et idéal»).

325. ДВПФ, с. 175. Перевод стих. «Le chat». *Серафический* — священный.

326. ДВПФ, с. 178. Перевод стих. «La pipe» («Spleen et idéal»).

327. ДВПФ, с. 190. Перевод стих. «A une passante» («Tableaux parisiens»).

328. ДВПФ, с. 206. Перевод стих. «Vers pour le portrait d'Honoré Daumier». *Домье* О. (1808—1879) — французский график, живописец и скульптор, мастер сатирических рисунков. Написано в ответ на просьбу известного прозаика и теоретика реализма Шанфлери написать стихи для портрета Домье в его книге. *Мельмот* — герой «романа ужасов» английского писателя Ч. Р. Мэтьюрина «Мельмот Скиталец» (1820). *Эриннии* (греч. миф.) — богини мщения.

Артюр Рембо

Об Артюре Рембо (1854—1891) см. статью Антокольского «Артюр Рембо» (СС, т. 3, с. 505—534).

329. ДВПФ, с. 225. Перевод стих. «Le dormeur du val». Антокольский пишет, что этот «сонет принадлежит не только к лучшим созданиям самого Рембо. Он надолго останется во всей мировой антивоенной лирике» (СС, т. 3, с. 524).

330. ДВПФ, с. 231. Перевод стих. «L'orgie parisienne ou Paris se repeuple». «Еще ярче и самобытнее Рембо... в тех стихах, которые связаны непосредственно с Коммуной. В них он окончательно нашел себя: свой голос, свой стих и стиль, свой несравненный словарь и синтаксис, адекватный бурным переживаниям революционного подростка. Немедленно вслед за разгромом Коммуны он обращается к «победителям», не только к тупой солдатне... но и к всесветному мещанству, возвратившемуся на свои насиженные места в столице», — комментирует Антокольский это стих. (СС, т. 3, с. 524—525).

331. ДВПФ, с. 234. Перевод стих. «Les mains de Jeanne-Marie». «Еще одно сильное свидетельство революционного и патриотического гнева Рембо — его «Руки Жанн-Мари», — пишет Антокольский. — Жанн-Мари — это перевернутое имя Мари-Жанн, то есть Марианна, народное прозвище Республики, сохранившееся до наших дней» (СС, т. 3, с. 525). *Белладонна* — ядовитое растение. *Першерон* (фр.) — лошадь-тяжеловоз особой породы.

332. ДВПФ, с. 238. Перевод стих. «Le bateau ivre». В стих. отразилась скитальческая судьба Рембо, однако Антокольский пишет, что «независимо от воли самого Рембо «Пьяный корабль» оказался своего рода *декларацией* прав поэта, изъявлением его державной воли, его упорства, если угодно — юношеского упрямства» (СС, т. 3, с. 528). *Флорида* — полуостров на юго-востоке Северной Америки. *Левиафан* (библ. миф.) — огромное морское чудовище. *Ганза* — торговый и политический союз северных немецких городов в XIV—XVI вв.

Гийом Аполлинер

333. ДВПФ, с. 253. Перевод стих. «Le pont Mirabeau» («Alcools»). *Мост Мирабо* — мост через Сену в Париже.

334. ДВПФ, с. 255. Перевод стих. «Saltimbanques» («Alcools»). *Серсо* (фр.) — тонкий легкий обруч.

335. ДВПФ, с. 256. Перевод стих. «La tzigane» («Alcools»).

336. ДВПФ, с. 273. Перевод стих. «Il y a» («Calligrammes»). Послано с фронта Мадлене Пажес, с которой поэт переписывался. *Есть корабль* и т. д. Мадлена Пажес жила в Алжире, и морское путешествие в условиях немецкой подводной войны было опасным. *Кельн* — город на территории ФРГ, знаменит романскими и средневековыми постройками, в том числе готическим собором. *Бош* (фр.) — презрительная кличка немцев во Франции, появившаяся во время первой мировой войны.

337. ДВПФ, с. 278. Перевод стих. «Si je mourais là-bas». Обращено к Луизе де Колиньи-Шатийон (Лулу), с которой поэт познакомился в Ницце в сентябре 1914 г.; стремлением преодолеть ироническую холодность Лулу можно в немалой степени объяснить то, что Аполлинер записался добровольцем в армию.

Жан Кокто

338. ДВПФ, с. 288. Перевод стих. «Batterie» («Poésies»). *Гиацинт* (греч. миф.) — юноша, из крови которого Аполлон создал цветок. *Антилы* — Антильские острова в Вест-Индии. *Чинизелли* — владелец цирка в Петербурге.

339. ДВПФ, с. 290. Перевод стих. «J'ai peine à supporter le poids d'or des musées» («Plain-Chant»).

Поль Элюар

Полю Элюару (1895—1952) посвящено предисловие Антокольского в кн.: Элюар П., Избранные стихотворения, М., 1961, с. 5—8.

340. ДВПФ, с. 295. Перевод стих. «Liberté» («Poésies et vérités»). Напечатано в 1942 г. при алжирском журнале «Фонтен», стих. листовкой в тысячах экземпляров сбрасывали над Францией летчики английских самолетов.

341. ДВПФ, с. 300. Перевод стих. «Courage» («Au rendez-vous allemand»).

342. ДВПФ, с. 307. Перевод стих. «La poésie doit avoir pour but la vérité pratique» («A mes amis exigeants»).

343. ДВПФ, с. 315. Перевод стих. «Tout dire» («Pouvoir tout dire»).

344. ДВПФ, с. 318. Перевод стих. «Bonne justice» («Pouvoir tout dire»).

345. ДВПФ, с. 319. Перевод стих. «Nous deux» («Le phénix»).

Луи Арагон

346. ДВПФ, с. 333. Перевод стих. «Radio-Moscou». *Ронсеваль* — перевал через западные Пиренеи; битва в Ронсевальском ущелье послужила сюжетом «Песни о Роланде». *Жанна д'Арк,* Орлеанская дева (ок. 1412—1431) — народная героиня Франции. *Стучит барабан на Аркольском мосту.* Имеется в виду сражение 15—17 ноября 1796 г. при Арколе (населенный пункт в Северной Италии) между войсками Наполеона Бонапарта и австрийцами; бросившись на Аркольский мост со знаменем в руках, Наполеон увлек за собой солдат и добился победы. *Барра* П.-Ж.-Фр.-Н. (1755—1829) — деятель Великой французской революции, полководец. *Клебер* Ж.-Б. (1753—1800) — французский полководец. *Вальми* — небольшой населенный пункт во Франции, в районе которого произошел бой между войсками революционной Франции и реакционными австро-прусскими войсками 20 сентября 1792 г.; для французского народа победа под Вальми стала символом борьбы за свободу родины.

347. ДВПФ, с. 341. Перевод стих. «Légende de Gabriel Péri». *Пери Габриель* (1902—1941) — герой французского Сопротивления, один из организаторов движения коммунистической молодежи; с 1924 г. редактор «Юманите»; казнен немецко-фашистскими оккупантами. *Иври*-сюр-Сен — южный пригород Парижа.

348. ДВПФ, с. 345. Перевод стих. «Paris». *Пер-Лашез* — кладбище в Париже, место последних боев в мае 1871 г. коммунаров с версальцами; 27 мая у северо-восточной стены расстреляны пленные коммунары; в 1899 г. воздвигнут памятник «Стена коммунаров».

349. ДВПФ, с. 346. Перевод стих. «Du poète à son parti».

350. ДВПФ, с. 347. Перевод стих. «La nuit de Moscou». *Корпус манежный* — здание Манежа в Москве, ныне Центральный выставочный зал. *Был Пушкин слева, теперь он справа.* Памятник Пушкину (скульптора А. М. Опекушина) в 30-е годы был перенесен с Тверского бульвара на правую сторону улицы Горького. *Чайковский улицу видит далече.* Памятник Чайковскому (по проекту В. И. Мухиной) перед зданием Московской консерватории. *Глиссандо* (муз.) — скользящий переход от звука к звуку. *Волны реки естественно слиты С далекою Волгой* и т. д. В 1937 г. был открыт канал Москва — Волга (ныне Канал имени Москвы).

ИЗ ПОЭЗИИ НАРОДОВ СССР

С АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

Самед Вургун

О Самеде Вургуне Антокольский написал статью-воспоминания «Самед Вургун» (СС, т. 4, с. 100—116).

351. Стихи азербайджанских поэтов, с. 89. *Насими* (Несими) (ок. 1369—1417), *Физули* М. С. (1494—1556) — азербайджанские поэты. *Лейли и Меджнун* — герои романтической поэмы Физули; история трагической любви Меджнуна и Лейли — сюжет многих поэтических произведений Востока. *Вагиф* Молла-Панах (ок. 1717—1797) — азербайджанский поэт и государственный деятель. *Саз* — струнный щипковый музыкальный инструмент, распространен среди народов Закавказья. *От фарсидских письмен* и т. д. Речь идет о том, что Вагиф способствовал освобождению азербайджанского языка от влияния персидского (фарси) и арабского языков и приближению его к нормам народного языка. *Бюль-бюль* (азерб.) — соловей.

С ГРУЗИНСКОГО

Галактион Табидзе

352. Побратимы, с. 188. *Мтацминда* — гора в Тбилиси, где расположено небольшое кладбище — пантеон выдающихся грузинских писателей. *Метехи* — замок V в. в Тбилиси на высоком берегу Куры, древняя цитадель и резиденция грузинских царей, позднее тюрьма. *Церетели* А. Р. (1840—1915) — грузинский поэт и общественный деятель. *Бараташвили* Н. М. (1817—1845) — грузинский поэт.

353. Побратимы, с. 190.

354. Побратимы, с. 192.

355. Побратимы, с. 195. *Месхи* — одна из грузинских народностей. *Пандури* — грузинский трехструнный щипковый музыкальный инструмент.

Тициан Табидзе

О Т. Ю. Табидзе Антокольский написал статью-воспоминания «Т. Ю. Табидзе» (СС, т. 4, с. 94—99).

356. Табидзе Т., с. 108. *Паоло Яшвили* — близкий друг Т. Табидзе. *Голуборожец.* Речь идет об участии П. Яшвили в группе грузинских символистов «Голубые роги», организованной в 1915 г. Т. Табидзе.

357. Побратимы, с. 205 (первая ч.). Печ. по Табидзе Т., с. 129. *Скифы* — древние племена в Северном Причерноморье (VII в. до н. э.— III в. н. э.). Публий *Овидий Назон* (43 г. до н. э.— 17 г. н. э.) — римский поэт; в конце 8 г. н. э. сослан в г. Томы (порт Констанца в Румынии), где и умер. *Пушкин тут помнил низкое небо* и т. д. Имеется в виду южная ссылка Пушкина (1820—1824). *Александр Македонский* (356—323 г. до н. э.) — крупнейший полководец и государственный деятель древнего мира. *Рати ислама* и т. д. Речь идет об арабских завоеваниях. *Киммерия* — древнее название Северного Причерноморья. *Бандура* — украинский народный музыкальный инструмент.

358. Табидзе Т., с. 145. *Картлис цховреба* («Жизнь Грузии») — сборник исторических трудов феодальной Грузии. *«Арго»* (греч. миф.) — корабль аргонавтов, на котором они приплыли в *Колхиду* (прародину эвксинскую) за Золотым руном. *Кахабери* — прославленный грузинский витязь средневековья.

359. Побратимы, с. 218, под загл. «За Пушкина и Руставели». Печ. по Табидзе Т., с. 230. Две первые строки — перифраз начала пушкинского стих. «На холмах Грузии...». *Ванкарем* — мыс на Чукотском полуострове за Полярным кругом.

360. Побратимы, с. 224, под загл. «Матери Маяковского». Печ. по Табидзе Т., с. 232. *«Что же сказать мне Люде и Оле?..»* — восходит к строкам поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах» («Скажите сестрам, Люде и Оле, — ему уже некуда деться...» — гл. 1). *Багдади* (ныне с. Маяковски) — родина В. В. Маяковского.

361. Побратимы, с. 226, без загл. Печ. по Табидзе Т., с. 237. *Мухрани* — село в окрестностях Тбилиси.

Симон Чиковани

О С. И. *Чиковани* Антокольский написал статью-воспоминания «Симон Чиковани» (СС, т. 4, с. 186—196).

362. Побратимы, с. 232.

363. Побратимы, с. 234. *Понт* Эвксинский — древнегреческое название Черного моря. *Мерани* — крылатый конь; популярный образ грузинской мифологии и древней поэзии, близкий античному Пегасу.

364. Побратимы, с. 240. *«Вепхис ткаосани»* — грузинское название поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (здесь — в барсовой). *«Висрамиани»* — грузинский роман XII в., созданный в период расцвета феодальной Грузии. *Тариэл, Автандил* — герои поэмы «Витязь в тигровой шкуре». *Тмогви* — развалины старинного города-крепости на высокой горе в Месхетии, откуда происходил Шота Руставели. *Вардзия* (Вардзиа) — пещерный город в ущелье Куры. *Бостан-калаки* — старый город (Тбилиси).

365. Побратимы, с. 243. *Амирани* («Дитя Солнца») — герой народного эпоса древней Грузии («Амираниани»; миф об Амирани родствен мифу о Прометее. *Картли* (Карталиния) — историческая область в Восточной Грузии, в долине реки Куры.

366. Побратимы, с. 243. *Орта*ч*ал, Майдан* — районы Тбилиси.

Паоло Яшвили

367. Побратимы, с. 270.

368. Побратимы, с. 271. *На пьяном корабле по океанам* и т. д. Яшвили переводил стихи Рембо в том числе «Пьяный корабль» (см. (примеч. 332).

С УКРАИНСКОГО

Микола Бажан

369. Бажан М., с. 37. *Гомилетика* (греч.) — учение о христианском церковном проповедничестве. *Моисей* (библ.) — пророк. *Осанна* — молитвенный возглас древних евреев.

370. Бажан М., с. 82. Посвящено Марии Николаевне Элиава-Чиковани, жене С. И. Чиковани.

371. Бажан М., с. 162. *Украинка Леся* (Лариса Петровна Косач, 1871—1913) — украинская писательница; в связи с тяжелой болезнью в последние годы жизни много жила на юге, в частности в Италии. *Сен* (Сан)-*Ремо* — город-курорт в Северной Италии. *Жена* Н. П. Бажана — Нина Владимировна Лауэр-Бажан (р. 1911), физиолог, доктор медицинских наук. *Волынь* (г. Новоград-Волынский) — родина Леси Украинки. *Лигурийские берега* — побережье Лигурийского моря в Италии.

Леонид Первомайский

372. Первомайский Л., т. 1, с. 153. *Сан* — река на юго-востоке Польши.

373. Первомайский Л., т. 1, с. 294. *Камергерский* — переулок, ныне Проезд Художественного театра, где в доме № 2 с 1931 по 1962 г. жил и работал М. Светлов.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Действующие лица

Зоя Бажанова

Раннее. 1916—1926

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

Сумерки трагедии

Нетерпенье

Большие расстояния

Пушкинский год

Предполье

Жизнь поэта

СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

Железо и огонь

Еще раз железо и огонь

Победа

Путевой журнал первый

СЕРЕДИНА ВЕКА

Путевой журнал второй

Мастерская первая

Мастерская вторая

Уроки истории

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Болгарская рапсодия

По дорогам Югославии

Высокое напряжение

Дети огня

Четвертое измерение

Подмосковная осень

Как это ни печально

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

1966—1968

Зоя Бажанова

1969—1971

НОЧНОЙ СМОТР

Ночной смотр

Сказки

Из старых тетрадей

КОНЕЦ ВЕКА

ИЗ НЕСОБРАННОГО И НЕИЗДАННОГО

ПОЭМЫ

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Виктор Гюго

Шарль Бодлер

Артюр Рембо

Гийом Аполлинер

С УКРАИНСКОГО

Микола Бажан

Леонид Первомайский

Павел Григорьевич Антокольский

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1982. 784 стр. План выпуска 1982 г. № 418.

Редактор *Д. М. Климова.*
Художник *И. С. Серов.*
Худож. редактор *А. С. Орлов.*
Техн. редактор *Г. В. Белькова.*
Корректор *И. Г. Клейнер.*

ИБ № 3129

Сдано в набор 12.01.82. Подписано к печати 04.05.82. М 33684. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 41,66. Уч.-изд. л. 39,14. Тираж 40 000 экз. Заказ № 47. Цена 3 р. 80 к. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.